ВОСПОМИНАНИЯ КРЕСТЬЯН-ТОЛСТОВЦЕВ

ВРЕМЯ СУДЬБЫ 1989

ВОСПОМИНАНИЯ КРЕСТЬЯН-ТОЛСТОВЦЕВ

1910–1930-е годы

ВРЕМЯ • СУДЬБЫ
МОСКВА «КНИГА»

ВОСПОМИНАНИЯ КРЕСТЬЯН-ТОЛСТОВЦЕВ

1910–1930-е годы

МОСКВА «КНИГА» 1989

ББК 84Р
В77

Редактор Т. В. Громова
Разработка серийного оформления
Г. М. Грозная, Е. А. Родионова, А. Т. Троянкер

Составитель А. Б. Рогинский
Примечания Д. И. Зубарева, А. Б. Рогинского
Предисловие М. И. Горбунова-Посадова

На фронтисписе портреты:

1. *Я. Д. Драгуновский*
2. *В. В. Янов*
3. *М. И. Горбунов-Посадов*
4. *Д. Е. Моргачев*
5. *Е. Ф. Шершенева-Страхова*
6. *И. Я. Драгуновский*
7. *Б. В. Мазурин*

В книге публикуются фотоматериалы из семейных архивов крестьян-толстовцев, их детей и внуков.
Все фотографии воспроизводятся впервые.
Л. Н. Толстой. 1910 г. Не публиковавшийся автограф писателя.

В $\frac{4702010000-067}{002(01)-89}$ Без объявл.

ISBN 5-212-00299-0

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Много лет как я чувствую необходимость написать свои воспоминания. О том же говорят мне и многие друзья. Я сын Ивана Ивановича Горбунова-Посадова и Елены Евгеньевны Горбуновой, учеников и друзей Льва Николаевича Толстого, редакторов и руководителей основанного им и просуществовавшего полвека (1885—1935) народного издательства «Посредник». Мое детство и юность прошли в толстовском мире, среди участников толстовского движения в России.

Толстой и его дело присутствовали в моей жизни всегда. Моя детская кроватка, железная с сеткой, была подарена родителям Львом Николаевичем (это была кроватка его младшего, особенно любимого сына Ванечки, рано умершего. Сейчас она вернулась в московский Музей-усадьбу Толстого). Самые яркие воспоминания моего детства — это Ясная Поляна и Овсянники, усадьба старшей дочери Толстого Татьяны, в восьми километрах от Ясной, где наша семья жила каждое лето и куда Лев Николаевич почти ежедневно приезжал на своем жеребце Делире, чтобы повидаться с моим отцом, привозя рукописи и корректуры. Мои школьные и студенческие годы я усердно работал для издательства «Посредник» (после революции оно стало кооперативным, а председателем его правления была мама) — переводил детские книжки с английского, занимался брошюровкой книг, развозил их по магазинам. У нас на квартире в 20-е годы набирались и печатались ежемесячные «Письма Московского Вегетарианского общества» — последнее периодическое издание толстовцев, и я печатал статьи на машинке, размножал листки на отцовском ротаторе, раскладывал по конвертам, надписывал адреса, разносил по почтовым ящикам...

Всё детство и отрочество я хотел продолжать деятельность родителей. Чтобы продолжать дело «Посредника», необходимо было только желание и трудолюбие, а этих качеств у меня хватало. Но история решила иначе. Закрыто было (в 1929 году) Московское Вегетарианское общество, закрыты были все кооперативные и частные издательства (в том числе и «Посредник»), и моя жизнь потекла по иному руслу. Я целиком отдал себя точным наукам.

Но я всегда считал и считаю, что жизнь и работа друзей и единомышленников Л. Н. Толстого представляют собой значительнейшую сторону в духовной истории России (и не только России) с 80-х годов XIX века до 30-х годов века XX (когда толстовство как организованное движение было уничтожено), что необходимо приложить все усилия, чтобы воскресить ее из мрака замалчивания. История толстовского движения заслуживает многотомного исследования.

И в былые годы, еще при жизни матери, мне хотелось вместе с нею написать такую историю, использовав печатные и архивные материалы, сохранившуюся переписку и фотографии. Для этой огромной работы у меня уже не осталось ни времени, ни сил. Но я уверен, что такая книга будет написана. Для рассказа о толстовских издательствах и журналах, об Обществах Истинной Свободы в память Л. Н. Толстого, основанных в 1917 году почти во всех уголках России, о вегетарианском движении, об антивоенной деятельности толстовцев в годы мировой войны, об их международных связях, о борьбе Объединенного совета религиозных общин и групп (создан В. Г. Чертковым в 1918 году) за свободу совести, о толстовской академии (курсах свободно-религиозных знаний), работавшей в Москве в голодную зиму 1918—19 годов, о Яснополянском музее и школе, возглавлявшихся до 1929 года любимой дочерью Толстого Александрой Львовной, будущий исследователь найдет богатый материал в библиотеках и архивах (там он найдет и мои воспоминания). Но есть ещё одна интереснейшая и могучая ветвь толстовского движения в первые десятилетия советской власти — это жизнь толстовцев-земледельцев. Вдохновленные мыслями Льва Николаевича о великом нравственном смысле хлебного труда, тысячи последователей Толстого — интеллигенты и крестьяне, рабочие и бывшие солдаты — начали осуществлять на деле заветную мечту Толстого о мирной, братской жизни на земле, о свободном, ненасильственном земледельческом труде как идеале человеческого общежития. Большинство толстовцев-земледельцев объединились в сельскохозяйственные артели и коммуны, некоторые обрабатывали землю в одиночку. Но все они считали, что их жизнь и труд содействуют приближению провозглашенных русской революцией целей — построению на всей земле братского безгосударственного общества, свободного от насилия и эксплуатации. Их ждали суровые испытания. На них, принципиальных противников насилия, двадцатый век обрушил это насилие в небывало жестоких формах — две мировые войны, гражданская война, сталинский террор. Многие сотни последователей толстовского учения погибли. Но те, кто выжил, оставаясь верными своим убеждениям, кто сумел пронести живую истину Толстого, свет добра и любви сквозь ад тюрем и лагерей, заслужили право на любовь и уважение современников и потомков. Книга, которую вы держите в руках,— это их воспоминания о своей жизни. Я хорошо знал многих её авторов, помню те коммуны, о которых они рассказывают.

Я счастлив, что об их жизни, полной деятельного добра и любви ко всему живому, узнает наконец наш читатель.

В. В. ЯНОВ

КРАТКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ПЕРЕЖИТОМ

МОЕ РОЖДЕНИЕ И СМЕРТЬ ОТЦА

Родился я в 1897 году, в конце июля, в Калужской губернии Жиздренского уезда в деревне Большая Речка, или, как теперь называют, «Малая Песочня».

Я почему-то сам не помню всех обстоятельств и разговоров, связанных с моим рождением, и поэтому расскажу, что довелось слышать от других.

В этот день отец со старшей своей дочерью только что приехал с пропашки картошки и распрягал потную лошадь, как к нему подошла соседка и со стеснением и в то же время с радостью сказала ему: — Ну, Василий Иванович, поздравляю тебя с сыном!

— Ну, слава Богу, слава Богу,— ответил отец. А соседка говорит: — Теперь семья большая, а твое здоровье слабое, хоть бы Господь прибрал дитя поскорее.

— Так грех думать, тетя Марья,— сказал отец,— наоборот, надо положить все усилия вырастить и воспитать его хорошим человеком и тружеником-крестьянином.

Отец было понес упряжь к амбару, как тетя Марья опять подошла к нему: — Он весь в тебя, никак не дождешься от него крику. Я его и так и эдак, а он молчит, не чуткий к боли, терпеливый, как отец.

— Что ж, это хорошо, он чувствует, что глупо из-за всяких пустяков расстраиваться. Нервность и капризы не ведут к добру, этот опыт пригодится ему в жизни.— Отец вошел в избу и подошел к матери, где она лежала на кровати. Мать, встречая его со своими большими заплаканными глазами, но радостными, говорит: — Вася, какой он хорошенький, погляди на него скорее!

— Ну, слава Богу, слава Богу, а ты-то как сама?

— Да что, со мной все благополучно. Я рада за него, что он такой милый.— Отец кротко поцеловал мать. Так встретили меня впервые в этом мире мои родители.

— Вот, мы назовем нашего новорожденного Васей, моим именем, а мне уже недолго остается жить, я все слабее и слабее становлюсь, я уже не работник, с чахоткой долго не протянешь.

— Вот как ты меня обрадовал, что скоро умрешь, а мне-то что делать одной с пятерыми? — сказала мать.

— Это хорошо, что я раньше умру, а что бы я делал с ними без тебя? Я знаю, ты проживешь с ними, с голоду не уморишь и приучишь к жизни, и сама с ними, как пчелка, им хорошо будет с такой матерью.

— Зачем же мы с тобой и детей наживали, если чувствуем, что не в силах их вырастить,— сказала мать.

— Это ты верно говоришь, из-за влекущего мгновения земных радостей становишься как слепой и не думаешь о тяжелых последствиях. Ну да ведь прошлого не воротишь, виноват я, прости меня.

— Ты-то всей вины не бери на себя, и я ведь не семнадцатилетняя девочка, а вот уж девятого родила, и каждый раз не мед был, губы кусала в кровь, и зарекалась я, и каялась, что больше не будет этого, так что винить-то некого, вставай, девка, и берись за дела.

И мать стала подниматься с постели, но отец уложил ее.

— Полежи хоть недельку, а я сам управлюсь с ребятами.

Через год отец умер от чахотки. Перед смертью он сказал, что сегодня умрет. Мать хотя и привыкла к болезни отца, но от этих слов залилась слезами, и мы все дети плакали.

Соседи и все близкие деревенские более и более сходились в дом, чтобы в последний раз увидеть отца, доброго человека, чудесного рассказчика, который, пожалуй, один в деревне мог читать Евангелие.

Все, кто приходил, старались пройти вперед, посмотреть, показаться отцу и услышать от него мудрое слово напоследок, но при виде тяжелых страданий отца все каменели и в полном молчании заполняли избу. Потом отец позвал соседку Марью. Та подошла, вся в слезах, и, глядя на отца, не шевелилась. Мать также стояла рядом.

— Вот, люди добрые,— сказал с глубоким вздохом отец,— я скоро, сейчас, помирать буду, но мне хочется напоследок сказать свое желание. Вот слушай, Настя, детей в люди не отдавай, воспитывай сама. Маленького жалей больше всех, он будет тебе кормилец, а сейчас он слабее всех. Девок рано замуж не отдавай, поспеют в горе и страдание окунуться, но лучше, чтоб они совсем оставались в девушках во всю свою жизнь, это самое лучшее, как я сейчас понимаю. Ребята тоже хорошо бы сделали, если бы воздержались от женитьбы, но у них совсем другой путь, их в солдаты заберут, а там всячески их развратят, но хо-

рошо было бы, если б они воздерживались и не научились пить, курить. С трезвой головой они в силах будут устоять от раннего разврата и годны будут Богу служить, а не властвующим людям.

Когда отец говорил, никто не шелохнулся, и было тихо-тихо.

— А теперь,— задыхаясь, обратно заговорил отец, обращаясь ко всем,— я не буду просить вас, чтобы вы помогали сиротам, это вы сами знаете и по доброте своей сделаете, что сможете. Об одном прошу вас всех: бросьте пить, курить. Это гибельное дело для всех. Я всё это хорошо знаю, всем своим жизненным опытом. Меня еще мальчико́м заморозили пьяные хозяева, которым я был отда́н в учение портняжить. Вот я всю жизнь свою болел и теперь умираю через это.

— Тетя Марья, зажги мне свечку. А теперь все, все братья и сестры, простите меня и прощайте,— и, тихо вздохнув три раза, он умер на глазах у всех. Тетя Марья закрыла ему глаза, и тут только раздался плач на разные голоса и в доме и вокруг.

СИРОТСКАЯ ЖИЗНЬ

Мать осталась верной отцовской предсмертной просьбе: мы все воспитывались дома, ходили в школу и занимались дома разными рукодельями повседневной деревенской жизни. Сестры пряли, ткали холст, плели лапти себе и людям, и мать никогда не позволяла иметь грустные лица и печальное настроение, а всегда налаживала на пение и сама запевала.

Это зимой, а летом — хлебопашество и огород, ходили иногда к людям помогать, за что им что-нибудь давали. Старшей сестре было двенадцать лет, а младшей десять лет. За ними шли мои старшие братья, они тоже ходили в школу, но и дома были вместо хозяина: где изгородь подгородить, где соломенную крышу подправить, заготовить сено, дрова — и так росли, стараясь подражать взрослым хорошим хозяевам. Но моя участь была совсем другая: я был мал и ничем не мог помочь, а только прибавлял трудов и забот семье и сильно мешал. И некоторые досужие «добрые» соседи очень не хотели, чтобы я жил на свете, и старались разными, будто невинными способами так, чтобы мать не знала, меня травить, чтоб я помер. Так они

хотели пожалеть мою мать и облегчить, но всё сходило благополучно, и я вырос до школьной скамьи. Я же не чувствовал ни от кого к себе недоброго отношения, жил в душевной радости ко всем и ко всему и рос как на дрожжах.

Шести лет повели меня в школу. На мою беду учительница попалась злая. По всякому поводу драла учеников за уши так, что хрящи трещат; то линейкой била с размаху по стриженой голове так, что шишка вскакивала, то на колени ставила у доски — притащит из-за парты за уши; то без обеда оставляла — и одного, и всем классом. Вот в такие злые руки попал я, малыш.

На большой черной доске учительница пишет, а мы должны переписывать это на грифельные доски. Учительница ходила меж рядов и смотрела, как пишут; если замечает ошибку, то лупит по голове линейкой, а ученик не должен ни пошевелиться, ни охнуть. Парты были очень высокие, и ученики почти все занимались стоя. Я очень боялся дикой учительницы, и пальцы мои тряслись от страха, и грифель выскочил из них и упал на пол. Его стук об пол при мертвой тишине в классе меня пронзил, как электрический ток, и тут подошла учительница, и вмиг у меня затрещали хрящи в ушах. И больше я уже ничего не помню, в школу пошел уже только на следующий год, к доброй и милой учительнице Варваре Васильевне, которая и проучила меня три зимы. И на десятом году своей жизни я сдал экзамен на окончание трехгодичной церковно-приходской школы. Старшие мои братья уже работали в это время самостоятельно на заготовке дров для угольных печей, где выжигался уголь для доменной печи Песочнинского чугунолитейного завода. Средний брат был очень способен учиться, и учителя и священник просили у матери пустить его дальше учиться, и он сам хотел. Но мать сказала, что ей не под силу обуть, одеть и содержать его в городе. Так что я уже не повторял о себе этой просьбы и сразу же после окончания школы пошел резать дрова. Но кто дома у нас хотел учиться — мать поощряла и всё, кому что надо было, покупала охотно...

Среднему брату не понравилась лесная работа, и он пошел работать на завод. Туда же ушел и старший брат, а лет одиннадцати и меня туда взял. Я сперва работал на подноске литья, вверх на склад по длинной лестнице, мне было тяжело, и я очень уставал. И так я работал до 16 лет.

Потом начальство стало меня замечать и перевели

работать в кузницу. Мне нравилась кузнечная работа и я отдавался ей весь. Сначала я работал молотобойцем, а потом меня перевели в кузнецы. Как-то вызвал меня мастер и спрашивает:

— Ну, как тебе нравится твоя работа?

— Нравится.

— А кем бы ты еще хотел работать?

— Слесарем.

Дали мне на пробу сделать одну вещь, я сделал и стал слесарем. Через некоторое время вызывает меня опять мастер цеха и спрашивает:

— Ну, как тебе нравится работа слесаря?

— Нравится.

— А кем бы ты еще хотел работать?

— Токарем.

И тут же перевели меня работать на токарном станке, и я опять, по своему обыкновению, влез с ушами в свою токарную работу и не знаю, как бы пошла дальше моя жизнь, но тут подошла война.

ЮНОСТЬ. ЗНАКОМСТВО С ТОЛСТЫМ И ЧТО ИЗ ЭТОГО ПОЛУЧИЛОСЬ.

Я любил читать, и этому способствовало то, что мой старший брат выписывал до 1913 года «Вестник знания» и к нему были приложения: Л. Н. Толстого «Так что же нам делать?», «О жизни» и другие произведения; были и других писателей, но я был к ним как-то холоден, а вот Толстой сразу мне по душе пришелся, как что-то родное. Бог знает, как это получилось во мне, но еще в 1910-м году, не имея никого из близких и знакомых, знающих и любящих Толстого, как услышу о Толстом, то воспламеняюсь сердечной радостью.

И вот приехал на праздник домой один парень с брянского завода и давай рассказывать нам разные городские новости, и между прочим он нехорошо отозвался о Толстом, что он безбожник, революционер, анархист и что он подох. Во мне всё возмутилось внутри:

— Не может быть, чтобы рабочий парень так говорил о Толстом, наверное, он не наш, не рабочий.

Я никому ничего не сказал, но у меня больно защемило на сердце, как будто со смертью Толстого я потерял кого-то близкого, родного.

В 1913 году моего среднего брата призвали на военную службу. Я его очень любил, и мне было тяжело — я лишаюсь такого умного, начитанного и доброго ко мне брата.

Последний вечер, все наши уже спали, а мы долго сидели с ним за столом и читали Рубакина и других. Потом он тяжело вздохнул: — Может быть, мы в последний раз сидим за столом с тобой в этой жизни и, может быть, нам больше не свидеться (что и сбылось), научат меня других убивать и меня кто-нибудь убьет. Я тогда легко, не задумываясь, сказал: — А ты откажись, не ходи, на основании Евангелия.

— Да, Евангелие говорит одно, а жизнь другое. Приходится делать как все,— ответил он мне.

Я, конечно, не пустился в доказательства и замолчал, и он больше ничего не сказал и лег спать, а наутро отправился со всеми рекрутами. Мы простились с ним. Он был ранен на войне, а потом и убит, и совсем не осталось от него и до сего времени нет никаких известий, хотя я очень стараюсь отыскать его следы. Шла война, бессмысленно и жестоко пожирала все новые и новые жертвы. Дошла очередь и до меня. И вот пришел я вместе со всеми новобранцами в воинское присутствие. Надо раздеваться догола и идти на осмотр врачей и военных. Мне было очень противно отдаться бессмысленной волне и плыть по течению со всеми в омут человеческой бойни.

Но что надо делать? Что говорить? Я ни от кого не слыхал и сам не решался предпринять что-то. Многие уже побыли, выходят, одеваются, а я сижу, одевшись, и не знаю что делать. Твердого ничего нет, но очень противно подчиняться. Некоторые, те, что оделись, спрашивают жандарма: можно выйти на улицу?

— Нельзя! — ответил жандарм, и, как только он сказал это слово «нельзя», у меня явилось твердое решение, что раздеваться не буду и никуда не пойду, пусть что хотят со мной делают, но сам не разденусь и не пойду.

В это время, со списком в руках, вышел директор завода и сказал, что всех нас оставляют работать на заводе, жандарм отошел от двери, и все вышли на улицу. Я стал по-прежнему с юношеским задором работать на заводе токарем. Пыл-горение к механическим работам у меня остался. Через некоторое время меня перевели на новый станок, на котором исключительно работали снаряды. В душе у меня сделался мрак, сознание стало смутно шевелиться

о ненужности этого дела, связанного с кровью, даже моя любознательность не взяла верх над нравственным сознанием, и мне очень противно стало работать слесарем и токарем. Я стал искать всяких причин, чтобы не делать снарядов. Ничего никому не говоря, пошел в больницу и попросился, чтобы положили. Удалось. С месяц я пролежал в больнице, а после больницы пошел домой самовольно, где провел все полевые работы, сенокос, и лишь после трехмесячного пребывания дома в сентябре пришел на завод.

Мастер встретил меня очень сдержанно, хотя весь горел гневом на меня. К счастью, он только лишил меня токарного станка и поставил в кузницу. Я очень охотно взялся за эту работу, но вся беда была в том, что мастер давал такую работу, которая имела самые низкие расценки. Я прилагал все усилия, терпение, уменье, не считался ни с чем. Но за месяц тяжелой работы я получил только на харчи. Я думал, что гнев мастера пройдет и всё пойдет по-старому, но ошибался. На второй месяц я заработал еще меньше, и мы с мастером по-прежнему молчали: он с гневом на меня, я с обидой на него. Получив получку в субботу, я тут же направился в цеховую контору и сказал мастеру тихо и спокойно, что с таким заработком я не только не могу прокормить мать, но и самому на харчи не хватит. Он блеснул на меня гневно злорадными глазами и сказал: — Что же, если тебе плохо, подавай на расчет,— а сам опять уткнулся носом в бумаги, лежащие перед ним. Я, ничего не говоря, собрал весь инструмент и сдал в инструменталку, а сам пошел домой. Дома всё рассказал матери. Мать моя всем своим существом верила моей искренности и считала, что я плохо не поступлю.

— А что ты думаешь делать дальше? — спросила она.

— Вот что: собирай мне сумочку, и я завтра поеду к сестре на Каменский завод (Екатеринославской губернии, там работал ее муж).

Я простился с матерью и уехал. Приехав к сестре (это было в 20-х числах ноября 1916 года), я на другой же день поступил на завод клепальщиком. Из дома я получил письмо, что приходила полиция и взяла адрес, куда я уехал.

Котельная работа меня не привлекала, и я стал присматриваться по сторонам, какие корпуса рядом работают и какую работу. Я заглянул в мехцех. В нем вращались ва-

лы огромных размеров и на них такие же огромные детали, резцы гонят стружку, а мастера, токаря работают без суеты, кто спокойно курит, кто чай пьет и закусывает, а кто даже заглядывает в газету или книгу, пока механизм совершает свою работу, совсем не так, как у нас, как на нашем заводе, когда точишь какую деталь, всякую мелочь, и не выпускаешь ручек из рук, беспрерывно, напряженно следишь и двигаешь взад и вперед резец.

Мне хотелось поговорить с рабочими, и я шел и приглядывался и остановился у одного, кто показался мне попроще и подобрее. Он заметил меня, поздоровался, наклонил голову, и мы заговорили. Здесь можно было говорить, а в нашем клепальном цехе разговор понимали только по движению рук и выражению лица, даже самый сильный крик в ухо не давал результатов. У нас стояли огромные, собранные котлы, и их клепали разогретыми заклепками в две кувалды по обжимке в клещах, от которых исходил такой грохот, что рабочие становились совсем глухие и, даже выйдя из цеха, еще долго не слышали. Здесь было тихо, мы заговорили, но его позвали, и я ушел к себе. Я хотел переходить на работу в токарный цех, но наутро меня вызвал начальник цеха и предложил работать слесарем. Я согласился, и он дал мне пробу: сделать циркуль. Я сделал. Начальник подозвал трех инструментальщиков и спросил, какова моя работа? Какого разряда она стоит? Старший инструментальщик сказал, что я достоин получать тот же разряд, что и он, и два других подтвердили то же. Но начальник запротестовал: — Что же, если мы ему дадим сразу ваш разряд, а на тот год выше вашего?

— Пускай будет так, если он будет достоин этого,— сказали ребята, но начальник поставил меня разрядом ниже этих рабочих. Так я стал работать инструментальщиком со своими добрыми товарищами.

Иду на квартиру в счастливом радостном настроении. За воротами, по своему обыкновению, меня встречают маленькие дети сестры: один мальчик и три девочки, и радостно наперебой рассказывают мне свои дневные новости и события. Обычно мы радовались вместе их детским радостям, и я утешал, как мог, их кратковременные детские горести. Но на этот раз они были встревожены.

— Дяденька, приходил городовой, и тебе в колигардию велели,— говорили они, перебивая друг друга, заскакивая один перед другим и заглядывая своими тревожными глазами в мои глаза.

С грустью и сестра мне это сообщила. Я не знал деления чинов власти; как прежде, так и теперь не знаю; знаю только одно, что сущность власти во всех чинах и во все времена — одна, что они все смотрят на человека не просто, а недоверчиво, холодно и даже злобно, смотря по характеру попавшего во власть человека; само положение властвующего изменяет человека, требует от него такого отношения, а иначе, мягче вести себя с людьми, как с равными, нельзя — тогда не получается вся суть власти.

Не поэтому ли так встревожились дети? Не поэтому ли так погрустнела сестра? И я сам почувствовал что-то недоброе.

НАЧИНАЮТСЯ МЫТАРСТВА МОИ

Вхожу в комнату. За столом направо сидит средних лет человек с круглым добрым лицом.

— Это вас вызывали?

— Да.

— Вы работаете в котельной?

— Да.

— Ну, тогда идите, отдыхайте, а мы сделаем все что нужно.

Я встал было уже выходить, как отворилась дверь сбоку и какой-то человек сказал: обождите.

Я стою и молчу, жду. После радостного оборота дела опять зашевелились во мне недобрые сомнения.

— Вы давно приехали сюда?

Я ответил.

— Почему уехали?

Я тоже ответил.

— У кого на квартире? — Тут вмешался первый и стал что-то тихо говорить ему.— Ну, тогда идите.

Я вышел в коридор, но меня опять позвали. Теперь их было за столом уже трое.

— Так ты недоволен той заводской властью? А ты знаешь, что ты военнообязанный и должен безоговорочно работать на том заводе, где за тебя ходатайствовали, работать на защиту нашей веры, царя и отечества? А ты вздумал предъявлять разные требования! Ты знаешь, к чему ты себя подводишь?

Я стоял, смотрел на него и молчал.

— А теперь скажи, почему ты не явился, когда тебя

призывали? Или тоже нашел причину быть недовольным на военное начальство или на все государство? Ну, говори, почему не явился на призыв в солдаты?

— Мне только жалко каждого человека, и я не могу учиться убивать людей,— ответил я.

— А ты знаешь, что тебе за это будет?

— Я отвечаю перед своей совестью только за свои поступки, а за других я не отвечаю, у них у каждого есть своя совесть.

— Ты хочешь сказать, пусть с каждым человеком разделывается его совесть, а ты умываешь свои руки от всего, что будут делать с нами немцы? Будешь ждать действия их совести? Ты что, баптист? Евангелист? Или еще кто?

— Я человек и хочу руководствоваться своим разумом и поступать так, как подсказывает моя совесть.

— Ну, завтра мы еще поговорим с тобой, а пока отведите его, Богданов, в холодную.

А назавтра меня отправили в городскую тюрьму в г. Екатеринославе, где я просидел до февральской революции. Власти меня больше не вызывали и не спрашивали, им было не до меня, они чувствовали всё нарастающий, как бы подземный гул и ропот народный, вся их когда-то мощная власть сотрясалась и расползалась.

ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ

Вернувшись из тюрьмы, я опять пошел работать на свою работу. Жизнь кипела ключом, везде были разговоры, споры, но я в это время поступил в техникум и весь был поглощен учебой и лишь по выходным дням отдавал дань своему увлечению политическими текущими делами.

Средний брат мой погиб где-то на войне, но я не забывал его, и он был для меня авторитетом, как более развитой и начитанный. Поэтому у меня было слепое детское доверие ко всему, чем он увлекался. Я знал, что брат искал правду в политических партиях, и меня потянуло хорошенько узнать, а что же он любил? Не может быть, чтобы он ошибался. Я стал прислушиваться ко всему тому звону политическому, который, благодаря своей пустоте, грозно тарахтел и привлекал внимание. Я слышал, как все партии, одна перед другой, обещали необыкновенные благодеяния крестьянам и рабочим, каждая заманивала к себе, а ко

всем остальным партиям относилась с ненавистью. Я взялся в первую очередь изучить ту партию, которая громче всех кричала о крестьянах, о свободной жизни: это были эсеры. Я стал посещать их притон, заваленный всякой печатной гадостью: газеты, журналы, листовки, книги разных авторов. Я стал просить книги читать на дом.

— Это можно,— сказали мне,— но только надо записаться.— Я записался и с головой окунулся во всё написанное, кипящее злобой, и я как ошпаренный выскочил оттуда. Но я еще верил, что есть другие благодетели для крестьян и рабочих, и пошел к большевикам и опять решил начать с книг. Здесь мне опять поставили такие же условия — запишись. Я записался и брал книги на дом и стал читать, но, к счастью моему, я скоро очнулся. Я увидел, что эти партии создали себе каких-то воображаемых крестьян и рабочих, которых очень возвеличивали на словах, а к живым людям относились, как и прежде относилась власть к рабочим и крестьянам,— на основе насилия, приказа и беспрекословного выполнения того, чего захотелось властителям или спасителям и благодетелям, как они себя считали. Ожегшись на партиях, добивавшихся власти над людьми, я пошел к анархистам, отрицавшим власть. К ним я всегда заходил свободно и просто. Ко мне здесь не предъявляли никаких требований, и я честно пользовался всей их литературой, которая меня обновляла своей высокой нравственностью и глубиною мысли.

У них я увидел новые произведения Л. Н. Толстого, которых я не только не читал, но даже и не слышал о них. В этом клубе я впервые увидел всего, во весь его рост, Толстого и его горячего соратника Владимира Григорьевича Черткова с его святым трудом по распространению учения Толстого и у нас в разных книгах, и за границей. И поэтому я это место назвал не политическим притоном, а действительно свободным клубом, где широко охватывается вся человеческая жизнь и освещается разумной мыслью, тем обновляя мир людской.

ЗРЕЛОСТЬ МЫСЛИ

Примерно в это время сложилось мое мировоззрение, понимание себя и своего отношения ко всему миру и жизни, то, что Толстой называет религией. Сложилось это мировоззрение из того, что я воспринял от других лю-

дей, и того, что глубоко сидело во мне бессознательно и что постепенно я сознавал.

Получилось так, что я родился в мире, когда человечество существовало уже миллионы лет и уже были выработаны крепко впитавшиеся в сознание людей формы жизни, разные церкви, партии, секты, научные и философские направления, государства, нации, экономические отношения и т. д., и мне оставалось только прирасти к какому-нибудь участнику этого готового и жить заодно с ним, но я сознавал в себе, кроме всего этого готового и уже омертвевшего, еще нечто живое, движущееся, разумное и свободное, и я стал разбираться. Я почувствовал в себе судью, способного верно и нелицеприятно, независимо ни от каких личных соображений и внешних положений, разбираться, что верно, что нет, что дурно, что хорошо.

И я стал искать и разбираться. В политических партиях, у политических деятелей я не нашел правды. Они вроде горячо любили народ и даже порой за это сами шли на самопожертвование, но любовь эта была фальшивая. Они любили каких-то выдуманных людей, а настоящих не считали ни во что. Для них люди были пешками в политической игре, в стремлении к власти над людьми, с чем я никак не мог согласиться, хотя это и прикрывалось хорошими целями — как будущее благо человечества.

К церкви я был совершенно равнодушен и отрицал всю их ложную веру, потому что хотя церковь и носила название христианской, но я понял, что их вера не имеет ничего общего с тем, чему учил Христос, и даже противоположна учению Христа. Непонятны мне были также и баптисты, и евангельские христиане, как и церковь, обожествляющие Христа и в то же время кладущие во главу угла своей веры грубое и даже библейское учение, не совместимое с учением Христа. Что-то дикарское и темное виделось мне в их обряде — есть мясо своего Бога и пить Его кровь. Нелепа была их вера, что человека спасает вера в какое-то искупление кровью Христа, когда я хорошо знал, что спасает человека только его горячее усилие не делать зла. Правда, я видел, что многие из сектантов ведут более нравственный образ жизни, что доказывает их нравственность, и я не винил их, что они не разобрались в том хитросплетении самого святого, что есть в учении Христа, с библейской дичью, преподносимой им их проповедниками. Не мог я принять и атеизм — безбожие, потому что я ясно сознавал, что жизнь моя и всего мира идет не как-нибудь,

а по своим строгим законам, созданным не людьми. Эти законы движут жизнью, и главный закон жизни человеческой — это добро, разум, любовь, свобода.

Вот этот-то высший закон жизни, который я знаю в себе несомненно, я и называю Богом. Разобраться во всем этом я старался сам, но это было очень трудно, и вот тут-то и подал мне руку братской помощи Толстой. Когда я читал его мысли о жизни, то сразу принимал их душой, и мне казалось: да ведь я и сам так думал, только не мог выразить так ясно.

И так, после молодых исканий и колебаний, я нашел, в чем смысл жизни, и дальше шел по пути, который освещался этим светом. Это не значит, что я больше не спотыкался, не колебался, не отклонялся с пути, всё это было, но тогда я останавливался, вспоминая, кто я и в каком направлении мне идти, и находил светлый путь и снова выходил на него. И в этом стремлении познавать, в чем истинный смысл жизни, «Волю Отца» — как говорил Христос, сливаться с этим законом жизни и есть истинная жизнь.

И этим высшим законом жизни человеческой, Божеским законом, я стал руководствоваться во всех случаях жизни, а не теми «законами» римскими и прочими человеческими, надуманными почти всегда в корыстных интересах лиц или групп, властвующих над людьми. Из высшего закона жизни я вывел равенство всех людей, отрицающих всяких властителей, необходимость самому вести труд для удовлетворения своих потребностей, не заедая чужой жизни, признавая ненасилие и разумное соглашение с законом человеческой общественной жизни.

Я не удивлялся теперь, что без религиозной нравственной основы деятельность всех политических течений неизбежно скатывалась к величайшим жестокостям. Я не удивлялся теперь их отношению к Толстому: они признавали его и любили только тогда, когда он сидел на графском кресле, с папиросой в зубах, описывая кровавую вражду между людьми и жизнь людей, далеких от разумного сознания, но когда Толстой в простой рубашке, без отравы себя вином и табаком, стал говорить «одумайтесь, люди-братья, стыдно так жить!», когда он стал разоблачать все эти суеверия церкви, государства, научные — тогда они возненавидели Толстого и отвернулись от него, потому что свет учения Толстого разоблачил их черные дела.

И в этой ненависти к Толстому сошлись и церковники, и монархисты, и черносотенцы, и революционеры, по-

тому что, несмотря на противоположность их взглядов, в основе у них у всех было одно — насилие.

У Толстого же совсем противоположное — любовь. Я отошел от политики, перестал ходить на собрания и читал только Толстого. Так я жил и работал на заводе. Вдруг нагрянули немцы, всё стихло, в смутном беспокойстве люди метались, сами не зная куда. Многие рабочие возвратились на родину, в деревню. Так как в центральной части России был голод, то закупали зерно, хлеб, откупали вагоны, грузили и ехали домой. С ними уехал и я. Мать, конечно, была рада моему возвращению. То, что я бросил есть мясо, ее ничуть не смутило, она тут же сказала, что у нее есть маленькие горшочки и она мне будет варить отдельно.

Кроме домашних крестьянских работ, я еще работал людям разные работы — плотницкие, столярные, печные, стекольные, по ремонту обуви и жестяные. За эту работу платили кто сколько может. После большой войны работы было очень много, и я почти ни минуты не был без дела.

СНОВА СОЛДАТСТВО, А Я НЕ МОГУ

В апреле 1919 года вдруг нагрянул какой-то отряд набирать крестьянских парней в солдаты. Забрали и меня. Я сразу заявил начальнику отряда, что я не могу учиться убивать людей. Он пожал плечами и сказал: «Мне приказано забирать всех по возрасту, а такие случаи, как отказ по религиозным убеждениям, я решать не могу». И меня вместе со всеми увезли в районный центр.

Там сказали: «Напиши заявление». А я ничего не знаю, как писать, как их именовать. Трудно мне это было решать, но спрашивать было не у кого, и я написал так:

«Дорогой брат!

Ваш вооруженный отряд ворвался в крестьянскую деревню, захватил молодых ребят с собой, в том числе и меня. Но я вам заявляю, что я по своим религиозным убеждениям служить не могу. В. Янов».

Мне указали стол главаря. Я подал ему свою бумагу, он взял и стал читать и тут же вскинул на меня свой пламенный взгляд.

— Какой я тебе брат! Иди к тому столу.

Другой начальник спокойно прочитал мое заявление и стал подробно меня расспрашивать: какие мои убеждения, откуда они у меня появились, кто еще в деревне с та-

кими взглядами, где берете книги для чтения и многое другое.

Из уезда нас перегнали в губернию и поместили в казармах, где формировались полки из дезертиров, которых ловили по лесам и деревням. Месяца два нас держали под замком. Потом стали приезжать агитаторы и сказали, чтоб всех выгнали на площадь, и там давай убеждать, чтобы они охотнее шли убивать друг друга. Я никогда не ходил на эти собрания. Раз пришли опять два агитатора и сказали, чтобы выходили на площадь, мы там поговорим. Все вышли, потом вернулись и стали меня звать, чтоб я вышел и сказал что-нибудь. Я долго не соглашался, не зная, что мне говорить? и надо ли говорить? Но приходили еще и еще ребята и звали меня. Я вышел. На верхних ступенях казарменного крыльца стояли агитаторы и говорили свое обращение к народу. После них просят меня выступить, и я стал говорить:

— Дорогие братья! Я вас потому называю братьями, что все вы равные со мной дети земледельческого труда, работники хлеба для всего человечества, а хлеб — основа всей человеческой жизни, и труд земледельца должен цениться дороже всего другого.

Многие из вас только что вернулись с кровавых полей, все вы измученные, только что переступили порог своих хижин, не успели как следует приласкать своих, таких измученных родных, как вас обратно схватила вооруженная рука и оторвала от милой семьи, от родных полей и бросила сюда за решетку, и теперь вам льстиво говорят, что вы товарищи, равные им, что вам надо исполнять властные приказы, опять проливать человеческую кровь.

Милые братья, не верьте этому. Вчера только нам говорили, что крови человеческой жаждут только коронованные звери, что это они не могут жить без войны, война — их жизнь, и они через десять-двадцать лет обязательно затевают войны и льют человеческую кровь. Не успеют залечить военные раны, награбят с трудового народа деньги, и опять у них начинает пульс военный подниматься, и опять приходит война. Но ныне же не коронованные монархи сидят на тронах, а опять повторяется то же самое. В чем же дело? Какой выход? Или из этого заколдованного, злобного круга нет и не может быть никакого выхода?

Да, из этого круга нет выхода, если ждать его от тех, кто сидит у власти. Ведь к власти пробиваются жестокой борьбой, обманом, подкупами, лестью, хитростью, и вот все

ожидают, что от этих-то людей будет действительно благо народа. Но напрасно такое самообманывание, такого чуда не может быть: если человек отказался в себе от правды и добра, от жалости и любви, то как же он сможет другим дать добро?

Поэтому нужно помнить нам всегда, что от тронных владык никогда, во веки веков, ни в прошлом, ни в будущем, нельзя ждать добра для народа: это будет чудом, если они дадут людям то, чего у них у самих нет. И мы все, люди земли, во веки веков не перестанем мучиться и страдать, пока не станем верить себе, своему разуму и совести и не полюбим в себе правду, жалость и любовь и станем жить со всеми людьми этими чистыми свойствами своей души, и тогда угаснут на земле войны, а будет добрая человеческая жизнь на всей земле.

Я кончил говорить и ожидал, что на меня с гневными речами обрушатся агитаторы, но меня никто ни разу не перебил, и мертвая тишина наступила, когда я замолк, вздрогнула и разорвалась на всей площади, и многосотенная толпа людей вся враз вскрикнула:

— Не пойдем на войну! Нас обманывают как малых детей, уговаривают, а дома покос, дети голодные.

С большим трудом, сквозь этот общий шум, удалось агитатору взять опять слово.

— Товарищи, слушайте! Слушайте, что я вам сейчас скажу. Ведь этот товарищ, что сейчас говорил, высокой чистой души человек, религиозно-нравственный,— и толпа сразу утихла, желая узнать, что он скажет доброго обо мне, вместо обычного унижения и презрения,— ведь он даже вегетарианец, не убивает скотину на пищу из-за любви к животным и тем более не может делать плохого людям, но все-таки мы ведь не такие, мы не так живем и не можем без крови навести порядок в нашей жизни. Если бы все так жили, как этот товарищ, тогда и мы согласились бы с ним. Но вся беда наша в том, что мы еще далеко не такие, и наш путь через борьбу за лучшее, за наш идеал, который тот же, что и у этого человека...

Я дальше не стал слушать и ушел в казарму и лег на нары. Вскоре все разошлись с площади, и каждый занимался своими делами: кто лежал, кто с голоду пил голую воду, кто общипывал свою трехсотграммовую пайку, раздумывая, оставлять ли ее, изувеченную, на обед или докончить сейчас.

Я лежал, закрыв глаза. Вдруг меня кто-то осторожно

трогает за плечо и предлагает мне идти за ним. Я встаю, одеваюсь, и вдруг все казарменные ребята окружили меня плотным кольцом и шипят:

— Мы не отдадим его никому, берите нас всех. Знаем, для чего вы нас по одному уводите.

— Уходите! Не дадим! — шумела толпа.

Трое попятились к дверям, всячески отговариваясь. Но мне стало так грустно и нехорошо на душе, что я не вытерпел и заговорил, обращаясь к окружающим меня ребятам:

— Послушайте, братцы! Я недавно говорил вам, что ни один человек — власть в мире никому никогда не может сделать доброго, но из этого никак не следует, чтобы и мы грубили и злобствовали с представителями власти, если мы считаем себя разумными и любящими добро людьми. А если мы встали на этот путь, что и они, то через короткое время мы и сами готовы будем занять любую властную должность и угнетать своих же соседей, земляков и родных братьев. Поэтому я прошу вас — не спорьте. Всех вас я благодарю за доброе чувство ко мне. Желаю вам только радостной жизни. Мы не должны заражаться их плохими поступками и чувствами, а будем отвечать им кротко, спокойно и с любовью к ним, тогда наши слова будут иметь силу и цену. Прощайте, прощайте, дорогие братья.

Сказав это, я сам вышел из кольца к ожидающим меня.

Меня привели в Чека.

Там за разными столами сидело шесть человек. Мне предложили сесть, вежливо пододвинув кресло.

Я в дорогое, обитое бархатом кресло не сел и продолжал стоять. Они опять вежливо, даже с лаской, предложили мне сесть. Я их поблагодарил, но сел на свою сумку у двери.

— Почему же ты не садишься в кресло? — спросили меня.

— Я благодарю за любезность, но я в кресло не сяду, потому что за эти кресла идет братоубийственная война.

Они переглянулись между собой с улыбкой, и тот, кто больше всего уговаривал меня сесть, пошел в другую комнату и принес простой стул.

— Вот, это рабочий стул, которым пользуются все рабочие в нашей стране, садитесь, пожалуйста,— сказал он мне ласково.

Но я не сел и сказал ему:

— Да, когда я буду рабочим, то с удовольствием буду садиться на него, но так как я в ваших глазах презренный арестант, то я спокойнее себя чувствую только на сумочке каторжника мира сего.

Больше мне никто ничего не говорил, и я сидел на своей сумочке. Потом они все разошлись, кроме одного молодого человека, который долго сидел молча, потом спросил:

— Что это там у вас было? И кто что говорил?

Я молчал. Он опять повторил свой вопрос. Я взглянул в простое, доброе лицо, и мне стало его жалко, и тогда я ему сказал:

— Нам стыдно друг друга обманывать и задавать глупые вопросы. Разве вы не знаете, что там было и из-за чего меня привели к вам?

Потом, посидев некоторое время молча, он проговорил:

— Да-а, посидите немного, я скоро приду,— и правда, он вскоре вернулся, но не один, а с солдатом с винтовкой и со штыком, и я пошел с солдатом. Он привел меня на станцию железной дороги, где стоял эшелон с арестантами, будущими солдатами, и сдал меня начальнику эшелона. Ночью эшелон прибыл в Смоленск. Пошел сильный дождик, по дороге были ручейки. Нас высадили и погнали по улицам в казармы. Я ничего не видел, очевидно, получилась куриная слепота. Я шагал наугад по лужам и грязи, от меня летели брызги, обдавая соседей, я спотыкался и падал. Тогда выделили человека средних лет, и он вел меня под руку.

— Егоров, здорово!

— Здорово!

— Ты кого это ведешь?

— Да вот, ослеп, ничего не видит, вот и веду.

— Эх, брат, такие слепые как бы не увидали своей особой дороги, ты смотри за ним.

— Да, бывает и это.

В это время я ступил в большую лужу и обдал всего его грязью. Конвоир мой, несмотря на все его добродушие, выругался.

В Смоленске нас приняли по всем тюремным правилам: и окна с решетками, и в дверях форточки. Наутро нас выгнали на большую площадь на учение, на зеленый луг. Вышел и я на улицу, все встали в ряд, но когда они по команде пошли вперед, я остался стоять. Потом обратно все встали со мной рядом и стали кружиться около меня,

как около вбитой сваи, но я стоял, не обращая внимания на всё, что они делали. Испробовав все способы гипноза своего и видя, что он на меня не действует, они увели от меня молодежь на другой край площади и там шагали, вертелись и прыгали. Потом ко мне подошли трое начальствующих и спросили: — Почему я не делаю, как все?

Я стоял молча и смотрел вниз, но когда они задали мне вопрос простым голосом, без всяких начальственных интонаций, то я так же просто посмотрел на них и сказал:

— Где это видано, чтоб нормальный человек, разумное существо, кружился, прыгал по-лягушачьи, вертелся, как опаленный баран, в то время когда сотни миллионов крестьян день и ночь работают: косят, жнут, сушат, молотят, задыхаясь от трудов, собирают тот хлеб, которым питается все человечество?

Все трое тяжело вздохнули, и двое пошли прочь, а один помоложе остался возле меня. Оба мы молчали, потом он лег на траву, я постоял, постоял, да и тоже лег, где стоял...

На сегодня ученье кончилось, все зашли в казарму, и я зашел, и с тех пор меня не трогали, на ученье не выводили, я оставался один, и ходил вольно, и делал что мне угодно, до осени.

Однажды, идя из библиотеки с книжками, я увидел афишу: Луначарский читает лекцию, кажется, на тему: «Толстой и Маркс».

Здание это было близко, и я пошел, но к началу не поспел. Народу было так много, что протиснуться было трудно, но я все же пролез и слушал стоя. Луначарский говорил (конечно, я помню приблизительно):

— Со страниц всех произведений Толстого он встает как небывалый, непревзойденный писатель. Нет в мире никого, с кем можно было бы сравнить Толстого. Это титан человеческой мысли. О смелости его даже страшно подумать. Он, как неземной Геркулес, ковыряет, взламывает вековые священные тропы, по которым шло человечество, а Толстой могучей силой своей не оставил от них камня на камне. Вот в этом мы говорим: Толстой наш, мы с ним, и он с нами. Но там, где Толстой смиренно складывает свои могучие руки и кротко подставляет свою другую щеку и всему миру говорит, что надо любить врагов своих,— то тут мы не твои и ты не наш.

Дальше я в речь Луначарского не вслушивался, и он вскоре закончил, и тут я бросился протискиваться к трону,

откуда он разливал свою речь, и я хотел сказать от себя, но какая-то старушка уже успела влезть туда и что-то говорила, но так тихо, что мне не удалось расслышать ни одного слова. И никто не слышал, шум нарастал, и все стали двигаться к выходу. Это было в 1919 году.

Вся дрессировка и гипнотизация заключенных в казармах давала свои плоды. Все лето они ходили в драных заплатанных одеждах и лаптях, но когда им объявили идти получать форму солдата, то все с каким-то поспешным восторгом рядились в новую одежду, скидывая свое деревенское рванье, и, как бы отдаляясь от крестьянского звания, принимали новое солдатское. Потом их вывели из казарм, построили в ряды и по команде двинулись вперед, туда, где они будут убивать друг друга и их будут убивать.

На все огромное здание казармы я остался один совершенно, если не считать крыс, шныряющих в брошенном рванье. Вечером кто-то прошел насквозь всю казарму, но меня не заметил, так как я лежал, скорчившись комком от холодного ветра, гулявшего в казарме в разбитые окна и открытые двери. Через час тот же человек подходит ко мне и говорит тревожно:

— Эй, ты, человек, как звать тебя?

Я открываю свое лицо и говорю ему: — Так и зовут меня, как ты сейчас назвал меня.

— Зачем ты попал сюда?

— Я сам, братец мой, совершенно не знаю, зачем сюда попал.

Спроси там, может быть, знают, зачем я сюда попал.

— Тогда пойдем со мной.

— Хорошо, пойдем.

Привел он меня в такие же казармы, битком набитые людьми в солдатской форме. Они идут на фронт и сейчас, в последнюю ночь, ночуют в смоленских казармах. Подвели меня к куче людей, сидевших на вещах. Эти более украшены красными лоскутками и блестящими железками.

— Вот, товарищ полковник, я привел, если это он,— сказал мой конвоир.— Э-э, да это наш братец! Дайте ему место на столе, пусть отдыхает.— Товарищ полковник, разрешите мне с ним поговорить, я о нем много слышал.— Нет, нет, товарищ полковой комиссар, не нужно его тревожить. Да и что, о чем вы будете говорить с ним? С ним мы уже все говорили, и мы не знаем, что с ним делать. Я это на себе испытал.— И, обращаясь ко мне, сказал: — Идите, идите, братец, никто не будет вас беспокоить, отдыхайте.

Меня подвели к большому столу, на нем спали трое. Их согнали, а мне сказали: — Ложись...

Согнанные стояли и не знали, куда притулиться. Мне стало жалко, что их из-за меня потревожили, и я попросил их опять ложиться, а сам сел к стене на вещевой ящик, а стол так и простоял всю ночь пустой. На ранней зорьке все из казармы двинулись на станцию железной дороги. Поезд за поездом отходили эшелоны с людьми, оружием, а я все стоял и стоял один на платформе, оставленный всеми в покое. Уже на закате солнца шел, наверное, последний поезд, нагруженный людьми и хозяйственными вещами. Поезд шел мимо меня совсем тихо. Вдруг из широко открытой двери вагона, сравнявшегося со мной, послышался ласково-добрый голос:

— Да это наш братец стоит один! Идите сюда! Сюда! Поезд сейчас остановится.— Когда поезд остановился и я подошел, полковник стал меня расспрашивать, где мне будет лучше — с ними на фронте или в тюрьме?

Я сказал, что ничего не знаю и никакого выбора делать не могу.

— Я думаю,— сказал полковник,— у нас, с нами тебе будет лучше, а там... там совсем пропащее дело, да еще в такое время. Нет, нет, полезай в этот вагон.

Во время разговора собралось много солдат и молча слушали, но как только полковник сказал, чтобы я лез к ним в вагон, то больше десятка голосов заговорили вдруг, прося у полковника дозволения, чтобы я ехал с ними.

— Нет, нет, никому не отдам, а то вы его где-нибудь потеряете, и он в беду попадет.

— Товарищ полковник, честное слово, нас трое, мы не потеряем.— А нас девять, разрешите нам взять.

Но в это время подошел здоровый молодой человек, взял меня за руку и говорит полковнику: — Я больше всех свободен и беру его с собой.— Полковник согласился. Взявший меня человек был в полку воспитателем. Мы доехали до города Рогачева. Там я с ним много ходил по городу, и он мне много рассказывал о себе. До войны он был студентом. В нем было много человечного и мало начальственного.

В Рогачеве меня поместили в пустую каменную школу, и я был там один. Ко мне приходил в гости полковой комиссар и много беседовал, как бы объясняя и оправдывая свою жизнь и деятельность: — Я сам ненавижу, мол, войну и всякое человекоубийство, и вся наша партия так-

же, но беда в том, что нам не дают мирной жизни капиталисты...— говорил он мне, расхаживая по классу, и останавливался против меня, как бы спрашивая ответа.

— Да, точно так же говорят все: и капиталисты, и монархисты, и прочие социалисты, что им противна война, что их окружают враги,— говорю я ему,— а дикое эгоистическое море бушует из века в век в беспросветных кровавых войнах и захлестывает собою все человечество, и вас в том числе.

— Э, правда,— сказал он,— что с вами трудно говорить. Пойду отгоню ребят, а то они все накинулись на крестьянские возы с картошкой.— Он выскочил из школы и, выхватив револьвер, закричал на ребят. Все сразу разбежались.

Утром всех направили на фронт, который был в тридцати километрах. Меня прикрепили к хозяйственной части, я шел за обозом, по морозу босиком. Не доходя до фронта, хозчасть остановилась в большом пустом дворе какого-то богача. Кругом был большой фруктовый сад, к шоссейной дороге от дома шла старая липовая аллея. В доме стоял рояль. Через несколько дней я почувствовал: что-то неладное случилось. Начальство хозчасти забегало. До меня, до моего костра долетали короткие фразы: связь всякая прервана... не знаю, что делать... до обеда подождем, а потом надо отходить... а может быть, уже окружены?.. Кто знает, а вы все-таки будьте наготове. А с обеда хозчасть быстро собралась и двинулась обратно на Рогачев. Отказываясь от езды на лошадях, я шел босой за обозом. С закатом солнца усилился ветер с кристалликами снега, и мои босые ноги совсем отказывались меня нести. Товарищи отвели меня в одну избу в деревне, а сами пошли дальше. Хозяева показали мне греться на печке.

На печке я хорошо согрелся и крепко уснул. Среди ночи меня и хозяев разбудил сильный стук, так что окна и двери тряслись, и в избу вломилось шесть военных, осветили лампой и сели за стол и стали спрашивать — у кого в деревне есть сало, масло, яйца.

Старик говорит : «Не знаю», а старуха: «Да я дам вам два кувшина молока да хлеба, вот и поедите».

— Нет, давай нам старосту, а то плохо будет всей деревне.

Я лежал на печи и думал, кто же это, красные или белые, с такими угрозами? Привели старосту и стали ему наказ давать — немедленно доставить с каждого двора по

килограмму сала, масла и яиц по десятку, без разговоров, а то плохо будет.

— Да что вы, братцы, ночное дело, все спят, когда кого достучусь, да и нет уже ни у кого ничего, сколько частей проходило, и все голодные, всем надо.

— А какие у вас части проходили? Белые или красные?

— А Бог их всех знает, какие они, ведь ни у кого не спросишь, чьи они да какие,— давай и всё. Да вон один из них на печке греется,— сказала старуха.

— Кто? Где? — ко мне подошли и стали трогать.

— Эй, человек, человек, как тебя звать?

— А так и звать, как ты называешь.

— Э! Стой, стой, это наш браток, не трожь его, оставь его в покое,— и, обращаясь к старосте, уже мягче сказали: — Ну, ладно, того, что я сперва говорил, не надо, а сделайте, что можете, товарищ комиссар.

Обрадованный староста, произведенный в комиссары, ушел и вскоре вернулся, и затрещало, закипело свиное сало на сковороде, и они, наевшись, легли спать.

На рассвете стали собираться, и Кузьмич, комиссар полка, сказал полковнику, что надо и меня взять, а то попадет в плен, станут его мучить. Полковник возразил:

— Я уверен, что братца никто не тронет и он сам потихонечку подойдет к нам в Рогачев.

Когда солнце хорошо пригрело, хозяева накормили меня хорошо картошкой, и я пошел, не спеша, один по шоссе на Рогачев. Не доходя до города, меня встретили солдатики, закричали: наш браток идет. Завели к себе, так же накормили картошкой, угощали и мясным и не понимали моих вегетарианских «капризов». Увидев мою босоту, они с радостью дали мне лапти и портянки, и как раз — выпал снег. Попрощались они и двинулись к фронту, а я пошел за хозчастью к польской границе. Пришли в деревню, я не знал, куда мне приткнуться, и стою сиротливо среди деревни и присесть боюсь, чтобы не застудиться в своей ветхой одежде. Размещенные по деревне солдаты получили горячую пищу, и все были заняты утолением голода. И вдруг из отдаленного домика показался солдатик и стал всматриваться в мою сторону и обратно ушел в дом. Потом выскочили трое и во все ноги ко мне: — Пойдем, браток, к нам, будешь жить с нами вместе.— Я пошел за ними, но вдруг выскочили двое здоровенных солдат, схватили меня под руки: — Пойдем к нам! — Но тут появились еще двое

и закричали: — Бросьте эти штучки, человек не вещь, надо предлагать, а не тащить насильно,— и предложили мне идти с ними.

Я растерялся и не знал, что мне делать и за кем идти. Тут подошел командир хозчасти, ему всё объяснили, и он сказал мне, указывая на двух последних: — Идите к ним,— и я пошел. Один из них оказался завхозом, а другой каптером хозчасти. Изба была большая, без перегородок, вокруг по стенам были сложены продукты питания, а на лавках спали солдаты. Хозяйка дома, вдова, имела семью: три мальчика и три девочки. Младшие два мальчика и девочка ходили в школу, но бросили, потому что учительница немилосердно била детей. Каждый день комиссар хозчасти заходил и ругал хозяйку, почему не посылает детей в школу. Мне жалко было детей, забивавшихся под печку, прячась от комиссара. Я поговорил с детьми, и они согласились со мной идти в школу.

Так все вчетвером мы и пришли. Учительница вежливо приняла нас и посадила вместе. Три дня я ходил с ними, а потом они уже одни ходили всю зиму и говорили, что учительница перестала драться. В этой деревне я прожил до весны. Работал среди крестьян, всякую мне давали знакомую работу. Потом я узнал, что полк наш весь разбит и его присоединили к другому полку, и новый полковой комиссар отправил меня в город Витебск в Чека.

На фронте что-то не ладилось, и меня пугали некоторые, что чекисты сейчас злые,— не сдобровать тебе. Меня допрашивали двое.

— Итак, вы вполне разделяете взгляды Толстого?

— Да,— ответил я.

Тогда он передал меня другому.

— Михаил Григорьевич, допросите и оформите все, как следует, а я пойду на собрание, и в кино хотелось сегодня сходить.

— Да я в этих делах не разбираюсь, никогда о них не слыхал и не вел, лучше вы сами.

— Да я тебе сказал, куда я иду, возьми бланк, анкеты заполни.

— Да это-то я сделаю, а куда его девать?

— Отправь его в авиационную роту.

— А кто там за ним будет?..

— Никого не нужно, он и так уже почти год безо всяких... не убежит...

— Я Толстого кое-что читал... да... он мне нравится.

В авиационной роте я пробыл с месяц. Летчики были ребята добрые, меня звали братиком, но они редко бывали в помещении, и я был почти все время один.

Как-то пришел молодой человек в шинели и повел меня, а куда — не знаю. Привез меня по железной дороге в большой город. Уже идя по городу, он встретил знакомого.

— Здорово!

— Здорово!

— Куда? Зачем?

— Да вот,— показывает на меня кивком головы.

— А это, наверное, туда?

— Ну да, конечно. Этот тоже сегодня ночью будет готов.

— Вчера шестнадцать человек... и каждый день. А у вас как?

— Да тоже почти так же... Мне сказали, чтобы винтовки не брал, но я все же взял, а то туда с голыми руками неудобно...

— Ну, счастливо...

Вошли в здание управления. Мой конвоир подошел к сидевшему человеку средних лет, с круглым, пухлым лицом и большой головой, и сдал пакет. Тот прочитал пакет, взглянул на конвоира:

— А ты все же взял винтовку, как тебе не стыдно! Иди!

На нас обратили внимание сидевшие за соседним столом мужчина и высокая, средних лет женщина, которая и обратилась к начальнику:

— Павел Михайлович, разрешите и мне присутствовать на допросе? Я очень много слышала о нем...

— И нам, и нам,— стали просить его еще три женщины, вошедшие в дверь слева.

— Нет, нет, что вы! Нельзя!

— Павел Михайлович, почему нельзя? Ведь это же не политический допрос, а о нравственности,— заговорила первая женщина.

— Все равно нельзя!

Те три женщины скрылись за дверью.

— Почему нельзя? Ведь это же не государственная тайна. Я буду сидеть смирно в своем уголке, а вы меня не замечайте.

— Нельзя, Марья Михайловна, посторонней женщине присутствовать.

— Я не посторонняя! А скажите, вы просто привык-

ли не считать женщину за человека,— рассердилась она.— Вы не понимаете, что женщина — мать, от нее зависит воспитание детей, порядок в семье, в обществе.

— Марья Михайловна, я вполне с вами согласен, но только не сейчас об этом, в другой раз.

— Да, вы все согласны, а делаете свое старое, дикое. Сколько я заявлений писала — прекратить выпускать водку, табак, и все согласны, а муж приходит домой пьяный, я — мать — не знаю: куда спрятаться с детьми, а он всё бьет... и так живет все общество. Вот ваше согласие какое, а мне надо узнать нравственную сторону жизни... я уже много слышала о таких людях. Я хочу сама слышать.

— Нельзя! Нельзя! Нельзя!

Марья Михайловна вышла, хлопнув дверью.

— Ну и народ, эти женщины,— и, не допрашивая меня, он вызвал какого-то молодого человека и распорядился: — Вот, возьми адрес, пакет, но безо всякого оружия, в вольном...

Долго ехали мы по железной дороге, и привезли меня опять в то же место, откуда начали меня водить и возить. Опять та же тюрьма, где всё так же, везде всё дерево из стен выломано, и из камеры в камеру сияли просветы сквозь толстые каменные стены.

Рядом в камере плакала и истерически билась молодая женщина, дочь заводчика, Люча. Успокоившись, она много рассказывала о себе и о своей жизни, как воспитывалась, что читала, чем интересовалась. Больше она уже не плакала, она делилась со мной, и одиночество уже не угнетало ее. И так прошло несколько недель голодной тюремной жизни, пока не нашлись любители посмотреть на эту основу всех царств и государств, посмотреть и решить, какой надо в этом святая святых государства сделать ремонт и какое вносить прогрессивное совершенствование в них.

Загремели замки, послышался лязг ржавого железа. Дверь открыла свою пасть, и на пороге показались шесть человек в приличных вольных костюмах. Они окинули взором сначала решетки, стены, а потом уж, как на что-то второстепенное, взглянули на пол, на валявшегося на голом полу человека — узника.

— А! Ты еще здесь, братец! — обратился ко мне один из них, с сияющим добрым выражением лица. Сияло ли это лицо оттого, что он увидел меня, или оттого, что что-то уже было сделано им в пользу меня?

— Ах! Я и не знал, я не знал! Вас сейчас выпустят!

И правда, к вечеру пришли за мной и повели опять к нему, владыке чиновников. Стали меня подробно расспрашивать и что-то писать, но я молчал, не сказал ни слова. Они стали мне давать какую-то бумажку на руки, но я не взял никаких их бумажек.

— Вас же могут опять забрать отряды, они еще действуют.

— Ну что же, вас не миную с тюрьмой.

Он посмотрел на меня, помолчал и сказал: — Ну, идите домой.

И вот я опять живу дома. Прожил до глубокой осени, потом меня вызвали в суд. В суде за одним столом сидел секретарь с длинным, глупым и злобным лицом и рылся в своих бумажных сокровищах. За особым столом сидел судья с добродушным лицом. Секретарь зачитал все мои злостные, ужасные дела против государства, партии и правительства и какие наказания за это следуют и потом спрашивает меня, признаю ли я свою вину?

Я молчал. Секретаря это бесило, и он всё больше злобился и грозил мне тюрьмой.

— Ну, скажи же, скажи хоть слово, что ты виноват, что больше так поступать не будешь, и если суд дозволит, то желаешь искупить свою вину трудом.

Я продолжал молчать и смотреть себе в ноги, но потом взглянул на всех, и председатель кивнул мне головой: говори как можешь.

— Что есть суды на земле, это совсем не ново. Но за что судят? Всегда судили за злодеяния, за убийство, а сейчас меня судят за жалость, за любовь к людям и требуют, чтобы я эти свойства признал незаконными и раскаялся в этом, но я этого не могу. Эти свойства — жалость и любовь к людям — я считаю законными и необходимыми для человеческой жизни всех людей.

Секретарь немного смягчился, но требовал отправки меня в Москву, чтобы пройти экспертизу в Объединенном совете религиозных общин и групп, и если меня там признают искренним — освободить, а не признают — усилить кару. Тогда поднялся судья:

— Никуда мы его отправлять не будем. Нам и так понятно: человека протянули по всем трибуналам, и он остался незапятнанным, а мы не будем доверять высшим органам? Нам его прислали не ковыряться в нем, а для оформления освобождения. Если бы на нем была тень какая, его бы до нас никогда не допустили. А вы, Янов, иди-

те спокойно домой и занимайтесь чем вам угодно. Мы знаем вашу жизнь с детства, и все остальные сведения только дополняют нам самое хорошее мнение о вас. В верхах, по трибуналам, зорче нас на этот счет, и те вас не осудили... Идите, идите домой, никто вас больше не тронет.

ДОМА

И вот я опять среди любящей семьи, среди своих односельчан и родных полей. Кругом не слышно слов команд и допросов, а спокойная человеческая речь, и не маршировки, прыжки, судорожные движения по команде, а разумный, необходимый всем людям труд, тот труд, без которого не может прожить ни министр, ни поэт, ни ученый, ни генерал, ни бухгалтер — все те, чей труд, часто в кавычках, ценится непомерно выше крестьянского. Я вошел в свою трудовую колею, но пережитое неотступно, вновь и вновь, вставало передо мной. Зачем? Для чего всё это нужно? По выражению Толстого, каждый человек есть посланник Бога, того высшего, что осознаешь в себе, и каждому из нас дана в жизни работа по выполнению этого высшего закона жизни. И, выполняя этот труд, надо забыть, откинуть все личное, эгоистические стремления, желания, цели; тогда выполнение воли Бога будет легко, не будет никаких сомнений, разочарований, страха, ни тоски, ни одиночества. Я выполнял только свой долг, то, что требовали от меня высшие свойства моего существа, и ничего не желал для себя лично, и мне было легко. Я не заражался духом злобы и вражды, которые окружали меня всюду на моем пути, ни в тюрьме, ни на допросе, ни в казарме, ни в пути за солдатами. Я не злился, не завидовал, не боялся, мне было легко, и я был радостен и спокоен и замечал, что окружающие люди, с кем я соприкасался, сами заражались этим и были ко мне добры и сочувственны. Если я и бывал когда недоволен, то только собой, что много еще во мне эгоистичного, что я еще не целиком в воле Бога...

О СЕСТРЕ

Так жил я дома. Вдруг получаю письмо от сестры из Каменского завода. Она пишет: в их стороне голод, муж поехал за хлебом и умер в дороге, дети пухнут от голода.

Что делать? Как помочь сестре в такой беде? Посылками не прокормишь четыре души, мать с тремя детьми. Нужно брать на родину, но куда деть их?

Нужен совет с родными. Сперва я обратился к своему родному брату: — Брат, что будем делать? Как помочь сестре, спасти ее с детьми от голодной смерти?

— Не знаю,— ответил брат,— у меня у самого своя семья, четыре души.

Потом я спросил свекра сестры. Тот ответил так же: мне до себя только впору. Но я все же решил, что привезти сестру надо, но где взять денег на переезд? Был у нас в деревне один богатый человек, я к нему, рассказал всё тяжелое положение сестры.

— А сколько тебе денег надо на всё?

Я сказал.

— Нет, этим ты не обойдешься,— и дал вдвое больше и пожелал успеха.

Я сказал матери, что денег достал и теперь еду за сестрой. Мать сквозь слезы говорит: — Я очень рада за тебя во всем, но боюсь, что тебе трудно будет с сестрой, ты еще не знаешь ее характер. Но я поехал.

Положение сестры было, действительно, тяжелое. Двое младших детей уже умерли от голода, а эти трое, хотя и ходили, но пошатывались от слабости. При виде меня они все встрепенулись, бледные личики засияли радостью, и все они цеплялись за мою шею и, толкая меня своими острыми коленками и локтями, лезли на мои колени, обнимая и целуя меня. И когда я рассказал сестре, зачем я приехал, они все закричали: — Мама милая, мы все поедем с дядюшкой!

Сестра, расспросив меня, кто как живет и что говорят о ее приезде, сказала, что не поедет: — Лучше я буду умирать здесь с голоду, чем жить сытой под ненавидящими взглядами.— Дети заплакали.

— Чего вы ревете? Здесь у нас крыша есть, а там где будем жить? Дядя сам живет в одной комнате пять человек, свекор отказал совсем, а в деревне у каждого теснота. Кому мы там нужны?

Я ожидал, что сестра, говоря всё это, будет горько плакать, но она за всё это время так много пережила, что страдания уже иссушили ее слезы, и она только смотрела печальными глазами в одну точку. А дети твердили всё одно:

— Мы поедем с дядюшкой.

— Ну, поезжайте одни, а я здесь останусь.

Дети и на это согласились: — Мы будем там с дядюшкой картошку сажать, варить и печь в золе, тебе будем письма писать, что нам здесь очень хорошо — едим печеную картошку вволю...

Сестра улыбнулась:

— Картошку-то вы есть будете, а ночевать где будете? Ни крыши, ни одежды у вас нет.— А мальчик Кузька с восторгом закричал: — Я возьму топор, дров нарублю, натаскаем, огонь большой разложим с дядюшкой и будем спать у костра.— А маленькая Маша: — А я оладушки буду печь из картошки и с дядюшкой есть.— А жить так и будете у огня? — спросила мать.— А где дядюшка, там и я,— ответила Маня.

А старшая девочка Ира: — А я, дядюшка, буду на всех кухарить, стирать, носки вязать, и всё штопать, и латать, и с бабушкой прясть и холсты ткать.— А учиться? — спросила мать.— Хватит с меня трех классов, а вырасту, если надо, буду на курсы ходить.

— А жить-то где будете? — опять спросила мать.

— А с дядюшкой, и бабушка будет с нами жить,— ответила Ира.

Утром сестра говорит мне:

— Ты вот ехал за нами, а обдумал ли, где мы будем жить?

— А где я, там все со мной будете, так я думал и думаю, и с этим я за вами приехал.

— Ну, ладно, посмотрим, что из всех твоих дум выйдет, как мы все бедствовать будем...

На другое утро мы все выехали. Дорогой мы перенесли много трудностей, но сестра меня не упрекнула ни одним словом. Наверно, некоторым людям трудно только сдвинуться с мертвой точки, а потом невольно с каждым шагом всё больше вживаются в новое. Дети также, видя мое спокойствие, как бы внутренне решили, что значит так все и надо, и спокойно отдавались своим детским впечатлениям, находили во всем интересное и радостное, зная, что с ними близкие и любимые, кому они вполне доверяют.

Так бывают похожи на этих детей взрослые, верящие в своего Бога — любовь, который зорко смотрит за каждым через совесть. И тогда, любя этого Бога в себе и во всем живом, люди успокаиваются, зная, что с ними неотлучно Бог, который охраняет всех своею любовью и дает благо.

И вот мы приехали домой, мать встретила всех с присущей ей материнской заботой о каждом и делала всё по возможности, чтобы всем было хорошо. Старший брат и его жена, наверно, не очень были довольны, но всё же при виде несчастья сдерживали себя, и поэтому все было тихо и спокойно.

В нашем доме, вернее, комнате, стало очень скученно, как в вагоне, но крайняя нужда не нарушала благоразумия, жалости, и жизнь шла своим чередом. Я так же занимался обычными крестьянскими делами и еще разными ремеслами по дереву, металлу, глине. Местная молодежь относилась ко мне хорошо, с уважением. Меня знали не только в нашей деревне, но и в окружающих селах. У более пожилых крестьян не было особых стремлений к познанию смысла жизни. После долгой, мучительной военной жизни и разлуки им было чем заниматься, хозяйственные интересы поглощали их целиком. Но молодых ребят эта инерция жизни не заполняла целиком, любознательность влекла их в разных направлениях, а некоторые интересовались также и религиозными вопросами. И ко мне стали приходить поговорить, просили даже книжечек почитать, и я им очень охотно давал всё, что у меня было, главным образом Льва Толстого. Простой и ясный язык Льва Толстого был доступен всем, его слова отвечали на возникающие вопросы жизни и находили у них согласие и сочувствие. Да, Толстой есть мировое чудо, он изливает свет божественной, истинной жизни, и бушующая людская эгоистичность не в силах забросать его грязью и затоптать. Я ничего не могу сказать о будущем. Может быть, еще придется сидеть Толстому в пещерах, засыпанному непониманием и злобой, но когда-нибудь эту находку найдут под грудами камня, и новое человечество радостно вздохнет, увидев свет, идущий от нее и разгоняющий сгущающуюся веками тьму.

Да, в будущем будет то, что должно быть.

А мы сейчас должны быть благодарны, что в своей жизни, благодаря Толстому, узнали истину.

Больше всех ко мне льнул Дмитрий Иванович Гришин. Я ему сообщил свои планы: весной выйти из деревни, с крестьянских полей, из-за которых, ввиду малоземелья, вечно идет недовольство и вражда. Я решил за пределами крестьянских земель, на земле лесничества, на окраине леса, сделать себе «дворец», наподобие всякой птицы (кроме кукушки), расчистить огород, посадить несколько фруктовых деревьев и жить этим. Митя с радостью при-

соединился ко мне. Из наших домов мы решили не брать ничего, кроме топоров и пил, а всё хозяйство оставить братьям.

В полутора километрах от села был кустарник и овражек болотистый, возле речки, и мы облюбовали это болотце осушить и жить там, чтобы не было к нам зависти, что мы взяли хорошую землю. Работа закипела. Кустарник мы вырубили, раскорчевали, раскопали под огород и построили себе «небоскреб»: четыре метра ширины и шесть длины. Но в самый разгар наших работ нас обоих забрали и повезли в Брянскую тюрьму, которая была куда крепче нашего «дворца».

Прокурор начал нас допрашивать, на каком основании мы нарушаем государственные законы: рубим лес, строим дома? Я ответил, что мне стыдно знать, что есть люди, воображающие, что весь шар земной принадлежит им, и я не хочу утверждать их в их болезненном, ненормальном мнении и просить их разрешения, чтобы в тухлом болотце свить себе гнездо из болотного хвороста. Сказав это, я замолчал. Мы стояли, а прокурор и еще кто-то тихо совещались между собой.

Потом прокурор обернулся к нам и сказал:

— Ну, идите! Но куда вы сейчас пойдете и что будете делать?

— Пойдем к своему строящемуся гнезду и будем стараться к зиме его закончить и ухаживать за огородом, чтобы было чем питаться зимой.

Мы молча вышли из кабинета, и нас выпустили из тюрьмы. К зиме мы, действительно, закончили свой «дворец», надрали драни, покрыли крышу, напилили досок и покрыли пол, наделали кирпичей, сложили русскую печь. Собрали урожай с огорода и на зиму взяли к себе сестру с детьми. Дети прыгали, так были рады, и весело щебетали вокруг меня. Митя по своей жизнерадостности тоже подходил к детям, и болотное наше гнездо превратилось в уголок рая.

К нам много приходило любопытных, чтобы найти тему для своего досужего рассуждения. Они не стеснялись, давали всякие советы, как нам жить, чтобы нам было еще лучше. Так мы прожили год, и тут я раз невольно услышал, как одна кумушка говорила сестре:

— Да, все было бы хорошо, если бы у вас было молоко и мясо. В деревне какая соседка могла бы уделить, а тут никто и ниоткуда.

— Да, в деревне я могла бы и заработать себе и молоко и мясо... а тут и слова сказать не с кем...— жаловалась на свою уединенную жизнь от общества.

Летом, когда крестьяне стали делить землю, я пошел к ним и попросил у них выделить мне усадьбу. Общество с веселыми шутками отмерило мне усадьбу.— Ну, Василий Васильевич, в лесу построил себе дачу, а в деревне, в ряд с нами, зимний дворец поставь,— шутили они.— Давай, давай, мы рады, что ты не отделяешься от нас.

И вот мы с Митей натаскали из оврага, рядом с усадьбой, всякого хлама, на месте замесили глину и сделали хату. Наделали кирпичей и сложили печку, покрыли крышу, оштукатурили, сделали двери, рамы оконные, стол, четыре табуретки.

— Ну, сестра,— сказал я,— собирайся, пойдем в деревню, в общество, в свой собственный домик, и будешь жить без стеснения — свободно.

Сестра сразу в слезы:

— Что это ты задумал? Чтобы от меня избавиться? — И пошли сетования: — У меня там огорода нет, рассаду где буду брать? И что я буду там делать? Вот если бы была машинка, я бы шила и кормилась, а так что я буду делать там?

Но все же я перевел ее в новый дом, говоря:

— Здесь сама будешь огородница, и рассады будет столько, что на полдеревни хватит.

Она улыбнулась сквозь слезы:

— Знаем мы эти ласковые уговорчики, а потом майся с детьми, как знаешь.

К зиме мы купили ей машинку швейную и корову. Сделали просторную стайку. Кур дала мать. Весной сделали большой рассадник, посеяли капустные семена и поручили детям охранять от кур и поливать. И сестра стала приветливее к нам с Митей. Мы часто заходили друг к другу по разным причинам, которых всегда бывает много у тех, у кого есть любовь между собою. А мы с Митей оставались вдвоем, потом взяли двух мальчиков-сироток, остались они без отца и матери. Зиму они прожили у нас, привыкли и были рады. Но их дед по каким-то темным причинам забрал их к себе. Потом умерли Митин брат и жена, осталось шестеро детей. Старшие братья были уже взрослые, лет по двадцати. Они остались жить в своем доме, и мы помогали им.

Девочку грудную взяла одна крестьянка к своим трем

детям, а мальчика четырех лет взяли мы с Митей к себе. Приходили к нам интересующиеся из разных мест и городов, изъявляли желание жить с нами совместной жизнью, но скоро им становилось у нас скучно, и они уходили, пока не находили более привлекательный путь жизни. Шли туда, где ходят с чистыми руками, не «ковыряются в грязи», а едят готовый, чистый хлеб, выработанный теми, кто живет скучно и копается в грязи. А они становились «мудрыми руководителями», думая, что без их помощи крестьяне не могут прожить... Они занимались всякими науками, игрой в театрах, плясками, игрой в футбол, в шахматы, кувыркались в заоблачных пространствах и т. д., но в то же время заботливо следили, чтобы крестьяне не поели сами свой хлеб, а чтобы и для них достался хороший кусок, а то, пожалуй, и умрешь с голоду со всеми своими культурными играми и занятиями.

Только религиозно-нравственное отношение к жизни помогает человеку выбрать нужный труд и держаться в нем, несмотря ни на какие трудности, выполняя его в первую неотложную очередь, и уже оставшееся время отдавать и забавам, и веселью, и гулянью. Только встав на этот трудовой крестьянский путь, может человек установить братские отношения с людьми и сам быть независимым, и не продавать свой труд, тем самым создавая эксплуататоров; а также и сам может уважать такого же свободного труженика-брата.

ЗНАКОМСТВО С БРАТЬЯМИ ФРОЛОВЫМИ, ВАСИЛИЕМ И ПЕТРОМ

Во время отказа от военной службы я случайно услыхал, что есть журналы, выпускаемые друзьями Толстого. Когда после суда я почувствовал себя свободным, я пошел на почту, километров семь от нас,— спросить у них совета, где такие журналы приобрести.

На почте мне сказали, что таких журналов у них нет и не бывает, но один работник посоветовал мне обратиться в их селе к Фролову Василию Ивановичу, у него есть связь с Москвой и, может, у него есть что-нибудь такое. Я пошел разыскивать Фролова. Оказалось, он работает в конторе, и я пошел туда. Там мне сказали, что он еще не вернулся с обеда.

Я стал ждать, пристально вглядываясь в возвращаю-

щихся на работу в контору. Я ожидал увидеть во Фролове пожилого человека с окладистой бородой, но такого не было. Больше уже никто не входил, а я всё ждал и опять спросил о Фролове.— Да он уже на работе.— Его позвали ко мне, вышел зеленый юнец и спрашивает меня: — Что вам надо?

— Мне Фролова надо, Василия Ивановича.

— Это я.— Так мы и познакомились.

Потом он увел меня к себе домой и надавал много нужного и интересного. С этого времени я бывал у него и он приходил ко мне и к Мите, когда тот бывал дома.

Брат его Петя тогда еще учился в ремесленном училище. Когда он закончил курс в училище, он тоже часто заходил к нам. Митя зимой портняжничал, а я бывал дома один, работал по столярному делу и другие работы. У меня было до пяти учеников, они захотели учиться столярному, я их взял. Жили мы все вместе, работали и учились грамоте. За две зимы учения у меня их принимали за семиклассников. Жил и учился у меня один мальчик из коммуны имени Льва Толстого близ станции Новый Иерусалим — Боря Кувшинов.

В 1923 году Вася и Петя сказали, что хотят работать вместе с нами лето. Мы, конечно, не возражали. Стали работать вместе. Во время отдыха я в то время читал Библию. Мне хотелось ближе познакомиться с этой старинной книгой. Никакого особого значения я не придавал ей. Раз я истопил печку, накормил всех и вышел с лопатой в огород. Вася спросил, что будем делать, какой порядок в работе? Петя никогда не вникал в эти дела, полагаясь на меня, как на более опытного в крестьянском деле. Я им рассказал, что и как будем делать. Петя опустил лопату в землю и, не глядя на меня, спросил:

— Почему так именно, а не иначе? Что это, так в Библии написано?

Я бы Петины слова легко обратил в шутку и шутя договорился бы до согласованности в работе, но Вася также поддержал его. Я понял, что они чем-то недовольны мною, что-то хотят делать как-то иначе, но меня несколько задело, что делают они это не с простотой, а как-то немного ехидно. Я смолчал и не стал углублять размолвку, ушел в деревню к матери сказать ей, что уезжаю на все лето под Москву, в коммуну, откуда был Боря Кувшинов и где жил Евгений Иванович Попов, друг Толстого, автор книги «Хлебный огород».

В Новоиерусалимской коммуне председателем был Вася Шершенев, я с ним много виделся, но близости у нас как-то не получилось. Съездил я раз в гости в другую коммуну «Жизнь и Труд», как ее называли — «Шестаковка», и там познакомился с Борисом Мазуриным, с которым я с одной встречи почувствовал близость, которая и до сих пор сохраняется во мне. На зиму я мог бы остаться у Владимира Григорьевича Черткова, он предлагал мне это, но я получил письмо от Васи Фролова, он просил приезжать, так как они ушли с Петей и надо кому-то быть в нашем домишке. Приехав домой, я сразу вошел в свою колею; один, так как Митя уже ушел на заработки портняжничать. Мне всегда было хорошо, а на этот раз особенно хорошо. Я рад был, что познакомился с В. Г. Чертковым, познакомился и подружился. И еще подружился со многими друзьями. А также был рад, что избежал всякой размолвки с Петей.

В нем была какая-то ненормальность, это я заметил еще при знакомстве с ним, года три назад. Забегая вперед, скажу, что эта ненормальность развилась в нем в психическую болезнь, от которой он и погиб в конце концов. Зимой Вася и Петя приходили ко мне, поживут день-два, неделю и уйдут обратно к себе. Отношения были хорошие. Однажды они пришли вдвоем, и Вася мне потихоньку рассказал о Пете. У него был приступ болезни, он залез на паровоз и стал давать распоряжения машинисту — быстро ехать в Москву и т. д. Машинист был в затруднении, он не знал о болезни Пети, с трудом отстранил его от управления, обещаясь быстро доставить в Москву, и все-таки дал знать родным. Его сняли с паровоза и привели ко мне. И вот я один должен был день и ночь караулить его, не сводя глаз. Ел он то, что я ел, и во всем слушался меня, но ночью его тошнило, рвало, он сильно мучился, а у меня это был первый случай, и я не знал, чем и как помочь ему, облегчить его страдания. Однажды я топил печь, готовил пищу. Петя быстро сорвался с постели и, ловко проскользнув мимо меня, бросился к речке, а речка у нас широкая и глубокая — метра три-четыре, топь и грязь. Я быстро бросился за ним, догнал и успел схватить и хотел вести к дому, но у него появилась необыкновенная сила, и я не мог с ним совладать. На счастье, на шум прибежали соседи, которые поселились около нас, они помогли мне затащить его в дом и связать веревкой. Я попросил последить за ним, а сам побежал к Фроловым, за девять километров, сообщить и решить, что делать. Они все своим советом решили отправить

Петю в больницу и просили это сделать нас с Васей. Нашел я в деревне подводу, и отвезли мы его на поезд. В вагон я ввел его один, и всю дорогу он вел себя спокойно, все время молчал и лежал с закрытыми глазами. И так с закрытыми глазами он сказал нам свои первые и последние слова за всю дорогу и последние в своей жизни для нас. Он сказал, улыбаясь: — Отчего это там, где сидит Вася Фролов,— все черно и мрачно, а где Вася Янов,— какое-то идет от него сияние?

Больше он нигде и ничего не сказал. Ни у врача, ни в палате, куда я его ввел, и у меня на совести осталась какая-то тяжесть, которая держится и до сего часа.

Владимир Григорьевич очень любил Петю, и когда узнал, что он заболел и его отправили в больницу, то тоже не одобрил нас всех за этот поступок. Это было в марте 1935 года, а в апреле нас забрали в лагеря.

АРЕСТ

С 30-го года я жил с мальчиком Ваней. Митя тоже вернулся с зимних заработков, и мы в апреле уже работали в огороде. В этот день я встал раньше всех и взялся, по своему обычаю, готовить пищу. Неожиданно открывается дверь и входят двое в военных шинелях, один становится у двери, а другой начал всё кругом осматривать. Дошел до стенных полок с книгами и начал рыться в них, отбирать и откладывать в сторону. Наклал два мешка книг и все письма, все мои рукописи уложил на телегу, и меня забрали одного. Я молча шел до их табора в теперешнем городе Кирове, где встретил в ту же ночь арестованного Васю Фролова. Потом перевезли нас в брянскую тюрьму. В тюрьме я отказался от пищи, долго валялся в камере, а потом меня перенесли в больницу...

Перед судом пришли ко мне в тюремную больницу прокурор и судья и стали мне говорить, чтобы я согласился быть на суде, а то без меня им нельзя меня судить. Я сказал им:

— Вы очень добрые ко всем, никого не обижаете, сроками для меня не поскупитесь и дадите от всего сердца то, что вами уже решено...

— Это так, но без виновного нам нельзя судить.

— Да кто вас будет контролировать, что вздумаете, то и делайте без меня.

Они стали спрашивать, какие у меня убеждения? какая вера? Я им сказал, что это им совсем не нужно, что для самого большого срока наказания у них уже есть все данные.

— Мне стыдно бросить вам разумно-нравственные слова под ноги, когда вы не хотите понимать ничего, кроме вашей власти над народом. Вы оледенели в своем эгоизме и поэтому не можете вникать в жизнь и убеждения других людей. Поэтому самое разумное с вами — молчать.

— Пойдемте в суд, там вы всё это скажете.

Но я больше уже ничего не говорил. Они посидели еще некоторое время у моей постели и ушли.

Пищи я не принимал, потому что мне стыдно было есть хлеб, отобранный у голодных крестьян. А я вполне мог работать свой хлеб и питаться им. Меня кормили насильно. Через рот не могли вливать и делали клизмы, и так это делали со мной шесть месяцев. В конце седьмого месяца мне принесли мешок сухарей и два кило сахару, сказали, что это привезла мне сестра. Перед арестом я дал сестре два мешка своей муки, и у меня теперь было основание без сомнения есть свой хлеб. Я принял передачу и стал есть, но вдруг меня отправили на этап. Сухари мои кончились, и я вновь голодал, и конвойным приходилось меня где нести, где волочить, и так до самого места, где были забиты колышки с надписью: «Здесь будет строиться город Воркута».

Были натянуты огромные палатки, и туда охрана, с ружьями и собаками, загоняла прибывших для работы заключенных, всё новые и новые этапы. В палатке был мрак от пасмурной полярной ночи. Люди во тьме прыгали по кочкам, срывались в растаявшую местами жидкую грязь по колени и глубже. Но натерпевшись страданий в этапах, никто не удивлялся, не плакал и не смеялся, и барахтались в растворенном мшистом грунте, озабоченно выискивая, где бы устроиться на ночь на отдых.

Больно мне было смотреть на всё это, и тем больнее, что делали это не какие-то враги, а свои же русские люди, товарищи, которых историки назовут героями, освоителями севера, строителями нового города, энтузиастами великих строек, ничего не упоминая о тяжких смертных страданиях рабочих, русских же людей, ни в чем не повинных, но заклейменных кличкой «контрики» и присланных сюда лечь фундаментом счастливого, культурного, научного будущего людей. Настало утро, солнечные лучи проникли

сквозь ткань палатки. В палатку вошел начальник с козлиной бородкой в сопровождении свиты. Он шел и рычал на валявшихся бледных, измученных людей. Из свиты ему показали на меня. Он окинул меня своим злобным взглядом, прорычал что-то неразборчивое, и все пошли дальше.

Утром меня перевели в заполярную тюрьму, огромный барак, деревянный с маленькими окошечками и решетками. Из тюрьмы нас, несколько человек, повели на суд. Меня вели под руки на гору, где стояло здание суда. Нас вели целиком по тундре, кое-где валялись черепа и человеческие кости. В суде меня посадили с краю на клубной скамейке, а судьи разместились на сцене. Дошла очередь с вопросами и до меня. Меня спрашивает суд, но я молчал; судьи три раза спрашивали меня, почему я не работаю? Я молчал. Суд удалился на совещание и, вскоре выйдя, объявил торжественно свой приговор: всех нас к высшей мере — расстрелу... Нас обратно увели в тюрьму. В тесной камере, освещенной электрической лампочкой, без окон, нас было набито двенадцать человек смертников. Трое уже сидели до нас. Один средних лет латыш, второй еврей из чиновничьей среды, а третий оказался мой старый знакомый по тюремной больнице, Давид, немецкий еврей, комсомолец, убежал от своих родителей через границу к своим коммунистам-братьям. Его хорошо приняли, и он стал учиться коммунистическим наукам. Он во всем искренне верил своим учителям. Но вот арестовали его товарища по учению. Давид знал его как искреннего, преданного большевика и убежденного и решил, что здесь какое-то недоразумение, пошел к ректору и высказал свои мысли. Ректор его успокоил: ничего, мол, завтра всё выяснится, успокойся, ты увидишь его. И в эту же ночь его арестовали и дали пятнадцать лет, а здесь вновь пересудили и дали расстрел... Продержав 14 месяцев под приговором, его расстреляли тут же, в тундре.

Нас, вновь посаженных смертников, было девять человек, из них пять вологодских крестьян, один украинец, еще один корреспондент-журналист Елизаветинский Борис и я. Когда Давид увидел меня, он весь просиял, стал меня обнимать и целовать и громко кричал: — Как я рад! Как я рад, милый Василий Васильевич, теперь мне хорошо и ничего не страшно с тобой.— Когда же он узнал, что и нас привели как смертников, он стал просить прощения у меня, что обрадовался мне, а я-то смертник. Он повлек меня к своему местечку у стены и тут же начал просить, что-

бы я что-нибудь рассказал, как я это делал в больнице, лежа в огромной палате, где в два этажа лежали больные двести пятьдесят человек. И вот я там рассказывал по ночам при полной тишине Толстого: «Войну и мир», «Анну Каренину», «Воскресение» и другие рассказы; Виктора Гюго «Отверженные», «Девяносто третий год», «Человек, который смеется» и другие; Диккенса; Достоевского.

Тогда один из слушавших сказал:

— Ваши прибавки от себя ничуть не искажают Толстого, но углубляют его силу, где он по деликатности умалчивал или обходил, выявляют главное, опуская второстепенные приличия. Мне, десятки раз читавшему Толстого, это интересно.— И многие говорили, что, слушая меня, вспоминаешь ранее читанное, но самому рассказывать — это нужна огромная память, Толстого пересказать!

Вот и теперь, лежа с Давидом, рассказываю ему то, что я ему еще не говорил, и он с замиранием сердца слушает и впитывает, как жаждущий пьет ключевую воду. Елизаветинский тоже внимательно слушал, сидя возле нас. Коммунисты, латыш и еврей, тоже вздыхали, охали и водили по сторонам глазами, полными злобы и страха. Крестьяне стояли на коленях и тихо читали свои молитвы.

Из крестьян четверо умерли в камере, один сошел с ума, его забрали в больницу. Елизаветинский тоже умер. Меня перенесли в больницу, не дав умереть в тюрьме, я уже бредил.

В БОЛЬНИЦЕ

Когда принесли меня в больницу, огромную палату, всю обледеневшую внутри, доктора, осматривая меня, сделали знак стоявшему сзади, что, значит, и меня скоро выносить в морг, куда носилки делали почти беспрерывно свои рейсы, относя умерших.

Взял меня в больницу врач Гальперин Борис Александрович, он же дал знак о том, что я близок к смерти, и он же что-то спросил меня. Я знал, что это он спрашивает, но не видел его. У меня перед глазами двигались какие-то горящие нити, и я громко сказал ему:

— Нечего тут ходить и свои крестики ставить над больными, а лучше смотрите, что люди мрут ежечасно: кормят соленым ядом, а воды нет, и люди в уборной скребут лёд своими трясущимися руками и грызут его.

— Смотри, смотри, заговорил молчальник Янов, а слова разумные. Чем вы сегодня кормили больных? — спросил старший врач Гальперин.

— Да рыбные котлеты, правда, они были чуть пересолены,— ответил врач этой палаты.

— Янова переведите отсюда вниз,— сказал Гальперин, а сам наклонился надо мной, уговаривая: — Переезжайте, там врач хороший, женщина, Фаина Филипповна. Вы согласны? — Я молчал.— Там вам будет гораздо лучше. Но перед моим закрытым взором по ледяной поверхности палатки все продолжали тянуться горящие нити, я ничего, кроме этого, не видел и молчал.

Внизу на берегу реки Воркуты стоял шлакоблочный корпус, и меня положили туда. Врач Фаина Филипповна действительно отнеслась ко мне как мать родная, спрашивала, что я буду есть, перебирая все кушанья, которыми она могла меня угостить. Но я на все ее вопросы и просьбы, пропитанные любовью, молчал.

— Ну хорошо, сейчас вам принесут луку фаршированного,— сказала она, распрямляясь. И правда, с кухни скоро принесли две больших головки луку, но я не помню, что я дальше делал, ел ли, и вообще ничего не помню.

Я вообще не помню, сколько я дней пробыл в таком состоянии. Когда я очнулся, надо мною стояли врачи, но только не в белых халатах, а в синих. Фаина Филипповна наклонилась надо мной и стала уговаривать поесть манной каши. Первыми словами, с которыми я обратился к своему врачу, были:

— Почему вы сегодня надели синие халаты?

— Это мы сегодня вошли в прачечную, и нас всех там пересинили.

— И лица у вас тоже синие,— сказал я.

— Синька нам и на лица попала,— ответила она и опять предложила есть манную кашу.

— Нет, не буду я есть манной каши, она вся с ядом, с отравой.— Фаина Филипповна взяла мою ложечку и стала есть манку: — Смотри, отравы нет никакой.— А я пальцем показывал ей еще и еще: вот тут, вот тут...— Да я всю кашу съем, и вам не останется. Ешьте теперь вы,— сказала она. Но больше я ничего не помню. В таком тяжелом положении я пробыл три года.

Я не принимал никаких лекарств, говоря, что это яд, и когда лекпом отходил, я всё бросал в плевательницу. Иногда приходил главный врач Гальперин, и я ему говорил, что

ночью мне приносят яд. На что врач в тон мне говорил: — Да, им ночью тут нечего ходить, больных беспокоить.

Доверял я только Фаине Филипповне во всем, и в лекарствах, и из ее рук принимал. Из болезней и других немощей я стал приходить в состояние здорового человека только на седьмой год заключения. Немного помню из всего пребывания в психиатрической больнице. Длинная землянка, посредине дверь, по концам маленькие окошечки, посредине столы, а по стенам, по обе стороны, койки. Больных полно... Одного забил припадок, он упал на пол по проходу. Санитары бросились его держать, потом второй упал. Санитары возятся с ним. В это время один больной вскочил с койки на стол, выбил раму, высунулся на улицу и дико закричал. Санитары к нему, тащат его в палату, но тут еще один выбежал в дверь и исчез в кочках и кустарниках тундры. Дали знать охране, она с собаками два дня проискала его. Повели нас в баню. По дороге один больной все говорил что-то веселое, а в бане налил себе в шайку кипятку и одел себе на голову. В это время я из жалости стал помогать более слабым больным. Меня стали просить санитары помогать им при раздаче пищи, но я отказался. Всем нравилось мое участие, стали приглашать на врачебные лекции по разным отдельным болезням. Я согласился и стал ходить слушать. Потом пригласили на курсы фельдшеров, дали мне все нужные книги и даже учебник латинского языка. В это время просили меня раздавать больным лекарства и делать разные процедуры под контролем старшего фельдшера.

Я охотно все делал. Потом врачи, проверив меня по всему, что мне должно делать, перевели меня на шахту № 11 старшим фельдшером и дали двух младших. Так я проработал год. Познакомился с врачами и начальником санчасти, и мне предложили стать заведующим складом при аптеке-базе Воркуты. Я не хотел, но они уговорили меня. Вскоре я освободился из лагеря, и мне захотелось повидать свою мать, от которой я со дня своего ареста не имел никаких известий. Год уже работаю вольным, прошу отпуск — не дают. Рассчитался. Прихожу как-то к своему знакомому, которому заказал сшить костюмчик легонький, чтобы не ехать домой в грязном, лагерном. И тут я встретил одного бывшего больного, за которым я ухаживал, когда он тяжело болел водянкой, и теперь он в благодарность за мой уход предложил мне стать заведующим мебельной фабрикой. Я говорю, что хочу ехать на родину, узнать о

матери и других родных. Но он сказал, что оформят меня на должность и сразу дадут отпуск и будут ждать, пока я вернусь.

Быстро всё это оформили, и я поехал на родину.

Вернусь немного назад. Я забыл сказать, что меня еще раз вызывали на суд. В суд пришли также два человека, которые свидетельствовали о моей контрреволюционной агитации против власти. Судья Волков спрашивает их:

— Вы хорошо знаете Янова, и это он ли?

— Да, мы его хорошо знаем, это он.

— Ну, что же он вам говорил и чему научил?

— Он говорил, что большевистская власть нехорошая, и всё против говорил.

— Он что, во время работы говорил с вами, или за столом, или когда спали в одном бараке?

— Нет, он нигде не работал и находился все время в изоляторах и тюрьмах.

— А в изоляторах и тюрьмах никто Янова не караулил?

— Ну, там всегда день и ночь охрана.

— Тогда позвольте, где же вы слышали агитацию Янова, когда он всегда был под строгим надзором? — спросил судья.— Выходит, что вы ложно на Янова показываете. А знаете, к чему был приговорен Янов за ваше показание? Теперь вы у Янова спросите, к чему он вас желает приговорить за ложное показание, к смерти или еще к чему? Ну, скажите, Янов, как вы желаете с ними поступить, мы выслушаем вас, и так я и поступлю.

— Я знаю только одно,— начал я говорить,— что человек — разумное существо и мыслящее, и если он поступает в жизни по разуму и совести, то он счастлив и радуется и своей жизни, и жизни всего живого; но если человек отказывается от этих человеческих свойств и руководствуется эгоизмом, то он бывает очень несчастлив и недоволен и жизнью, и всем окружающим. Большего наказания придумать нельзя. Таких не судить надо, а жалеть.

— Ну, идите и благодарите Янова, что он не поступил с вами так, как вы с ним,— закончил судья, и мы пошли по домам.

О ВРАЧАХ

Теперь надо сказать хотя бы несколько слов о наших сердечно-добрых врачах. Иду я раз по нарождающемуся городу и вдруг встречаю молодого врача, который мне во многом помогал. Он шел с фельдшером. Издали увидев меня, закричал: — Василий Васильевич! (Фамилии моей никто не знал, и все звали по имени и отчеству.) Здравствуйте! Далеко идете? — сказал мне Исаак Константинович Гинзбург.— Мы идем на лекцию. Войновская будет читать о болезнях легких, идемте с нами.

— Исаак Константинович, мне хочется узнать, где Гальперин Борис Александрович? — спросил я.

— Гальперин освободился, уехал в Москву, но уже прислал письмо из Москвы с просьбой приехать обратно в Воркуту: лечить, помогать несчастным каторжникам, но ему не разрешили. Не санчасть, а высшее начальство.

— Ну, а о Фаине Филипповне вы уже сами знаете,— продолжал он,— что она лежит больная больше года. Мне сестра, которая ухаживает за ней, говорила, что вы уже два раза заходили к ней. Ее дети, сын и дочь, оба учатся и обещают приехать и забрать ее. Ну, идемте с нами на лекцию.

Я поблагодарил их, но не пошел. Расставшись, фельдшер взял меня за руку, дружески сжал ее и, смотря мне в глаза, воскликнул:

— Исаак Константинович, я не нарадуюсь на Василия Васильевича! Вид у него такой молодой, а ведь он куда старше нас обоих.

— Да разве Василий Васильевич так живет, как мы? — воскликнул доктор.— Ни вина, ни табаку, ни женщин! Ну, еще раз до свидания! — И мы расстались, наверное, навсегда с этим добрым человеком, воспоминание о котором до сих пор живет во мне и обливает мою душу радостью.

Фаина Филипповна. Высокая, гармонично стройная, она была очень красивая. Голос ее, нежный и мягкий и в то же время деятельный и добрый, непрерывным потоком, не уставая ни днем ни ночью, изливался на больных и страждущих душой и телом, поступающих к ней, как по конвейеру; но большинству даже ее забота не могла помочь, и тот же конвейер уносил их дальше, но уже трупами в морг, где их вскрывали, узнавали болезнь, а потом складывали в огромные страшные штабеля, из которых их но-

чью грузили на подводы и увозили в тундру, где их растаскивало зверье по своей потребности.

И вот струны ее души не выдержали такой нагрузки, и сияние ее любви прекратилось — она заболела. Фаина Филипповна не могла быть простым зрителем этого бескровного, истощенного до голых костей людского потока. Она знала, что у каждого из них есть мать, отец, сестры, братья, нежно любимые дети и жены, о которых они грезили день и ночь, так же, как она страдала о своих детях.

Беспрерывный поток мягких морских волн полирует крепкие скалы. Так же непрерывные страдания людские стерли физическую крепость души, и она угасла, остыла ко всему.

В разгар ее болезни я зашел навестить ее. Сестра, ухаживавшая за ней, знала, как хорошо относилась она ко мне, и пустила меня. Фаина Филипповна, одетая в больничный халат, стояла около своей постели и искала какой-то ботиночек. Ни меня, ни моего приветствия не замечала. Я постоял около нее минут пятнадцать, думая, что она, может быть, очнется; но нет, ее поиски ботиночка продолжались, и она не замечала меня. И в таком состоянии я оставил ее. Второй раз я был у нее, когда кончался ее срок и ей было разрешено уехать. Лицо ее было уже осмысленным, во взоре струилась доброта. Она сразу узнала меня, встала из-за столика и спокойным голосом благодарила меня, что я не забыл ее и навестил.— Помню, помню вас, когда мы были для вас в синих... а я видела всех в черном, и лица черные, и глаза у всех огнем горели. А теперь жду детей, обещают за мной приехать, посмотрите: вот их карточки, посмотрите.

Я боялся, что в ее состоянии долгие разговоры утомят ее, не стал задерживаться, на прощанье поблагодарил ее за доброе, любовное отношение ко мне; она так же ровно и спокойно поблагодарила меня, и мы расстались. Вскоре приехали ее дети, и они уехали из заполярного края — Воркуты — в Россию.

...Когда я был в бессознательном состоянии и только стал приходить в себя, она как-то спросила Гальперина, приду ли я в нормальное состояние? И он, глядя мне в глаза, уже не ей, а мне ответил:

— Да вы мыслить будете!

И во время этого разговора они для меня были в моем взоре уже не синие, а в белых халатах и с настоящим цветом лица.

НА РОДИНЕ

Я поехал на родину. Мать моя умерла при немцах. Нас было три брата, и всех она вырастила без отца. Она была человеком большой нравственной чистоты, но ясно выраженного, чистого, разумного мировоззрения у нее не было, не могла она освободиться от народных традиций и обычаев, в которых выросла. Но когда она видела, что кто-то из нас отступает от этих обычаев, ради веления совести, то она охотно это принимала и по своим силам помогала нам. Старшего брата призывали, но не взяли, оставили в ополчении. Он был руководителем колхозной жизни в нашем селе.

Когда пришли немцы, он не убежал с начальством, но отказался быть старостой, несмотря на все угрозы гитлеровцев, и за это его расстреляли. Сын его был убит в армии. Дочь его, солдатка с четырьмя детьми, умирала с голоду. Из них пятерых остался в живых один мальчик, которого я хотел взять к себе в 60-м году, но не пришлось.

Среднего брата взяли в армию. Он был добрый человек, но социалистические взгляды взяли у него верх над совестью, и он пошел воевать (это еще в первую войну), и его ранили. Он в письмах писал о своей горькой участи, но не в силах был повернуть направление своей жизни и плыл по течению. Его подлечили и вновь отправили на бойню, где он и погиб безвестно.

Старшая сестра умерла на второй год замужества от чахотки. Вторая сестра жила все в той же усадьбе с дочкой, вторая дочь замужем в Москве, а мальчик умер. Деревня вся была разбита и сожжена. Люди жили в землянках и хлевах, но, кроме земли, им жить было нечем, и они трудились до изнеможения. Лошадей не было. Люди на себе в мешках носили навоз на поля, собирали урожай, но его весь забирали, оставляли немного. Кругом деревни леса были заминированы, и чуть свернешь с дороги — убивало и людей и скот.

Мой же хуторок, сад, огород — все было перекопано окопами, смято злодейской ногой.

Да, мои братья и родные погибли от рук гитлеровцев, а я жил в «роскошных наслаждениях» десять лет у своих. Где же те весы, на которых можно взвесить злодейства людские, под разными цветами тряпок своих? И такая жизнь идет тысячелетиями, и люди так свыклись с этим — вроде

так и надо. И все политические течения, какие бы они ни были, находят уважительные причины всему этому ужасу и считают, что это чуть ли не необходимость для роста и цивилизации. Современная наука рассказывает свысока о дикости первобытных людей, что они убивали друг друга камнями и дубинкой по голове, связывали пленным руки жилами животных, а потом поедали их, да еще без соли. Современная наука захлебывается от восторга, чего она теперь достигла в XX веке: кувыркаются в космосе, убивают не по-дикому, дубинкой, а по-научному — ракетой и атомной бомбой, вяжут руки людям не жилами, а хитрыми законами юридическими и экономическими и пожирают людей не штуками, а миллионами.

Наука без нравственной основы и религиозной привела людей к сумасшествию и самоубийству. В злобе, мучениях и страданиях погибают те, кто, отказавшись от разума и совести, превыше всего поставили свой эгоизм. Те же, что возлюбили свет, кто признал в себе высший разум, совесть, добро,— те даже в своем последнем шаге к смерти не омрачают своей любви к людям и с чашей яда в руке или растерзанные на кресте, под пулями ружей жалеют и прощают людей, врагов своих, и своей смертью утверждают и возвеличивают жизнь в любом месте, в любую минуту, а не где-то в будущем раю церковном или политическом.

И так я посмотрел на родину свою — муравейник, как медведем изрытый, по которому бродят измученные, исстрадавшиеся, перепуганные, голодные, в рваных одеждах люди, боясь ступить шаг в сторону от зарытых мин.

Не знаю, какой такой специфический запах я издаю, но меня сразу разнюхали агенты НКВД. Меня взяли и повели в свое логово, но когда я сказал, что еду в Воркуту, где меня держали десять лет, меня отпустили.

ОПЯТЬ В ВОРКУТЕ

Около года я работаю заведующим мебельными мастерскими, и вот меня опять вызывают в НКВД и спрашивают, почему я вернулся с родины, и говорят, чтобы я немедленно выезжал из Воркуты. Я ответил, что меня здесь знают, а в другом месте мне опять предстоят этапы, тюрьмы, лагеря. Мне отвечают: поезжайте, куда хотите, живи-

те, где хотите, вас никто не тронет, но здесь оставаться вам нельзя, после будете жалеть.

И правда, тех, кто после отбывал срок, после его окончания сразу же сажали в вагоны и куда-то увозили. Что делать? У меня был знакомый инженер, он собирался ехать к своей семье в Ялту и стал звать меня с собой и жить у него на квартире. У инженера было двое детей: дочь училась на медицинском, а сын на спиртоводочном, жена работала врачом в Ялте. Выбора у меня не было, и я решил ехать с с ним.

ЯЛТА

Жена инженера встретила нас хорошо. Меня прописали, я вскоре нашел работу, стал работать столяром в санатории.

Я жил в Ялте уже второй месяц. Из ученья из Симферополя приехала в гости к родителям дочь. Квартира была тесная, и она ложилась на полу, но в этот раз отец и мать говорят, что нечего тебе валяться дома на полу, а ложись с Василием Васильевичем на постель вместе и спите, и никаких разговоров.

Дочь стала расправлять мою постель и класть еще свою подушку. Я сидел среди комнаты за столом и читал книгу, но услышав разговор обо мне, оглянулся и, увидев все эти перемены с моей постелью, без моего ведома, решил, что делают они правильно, по своему мировоззрению, в своей квартире, а если мне это не нравится, то, пожалуйста,— на все четыре стороны. Я поднялся из-за стола, вышел из тесной квартиры на широкий простор улицы и сел на скамейку под стройными и прекрасными кипарисами. Здесь никто не говорил о тесноте и никто не поступал со мной так бесцеремонно.

Я знал, что если дать волю своей страсти, то она будет загораться от прикосновения одного волоса с женской головы, а потом потянет за собой, как рыбу в воду. Но я понимал, что тому, кто выбрал себе путь, освещенный разумом и совестью, предстоит много трудностей и борьбы, и связывать себя семейными узами — это лишить себя свободы. Волны страстей давно бились об меня, но в палатах, при беспрерывных стонах больных и среди страданий людских, они не имели той силы, чтобы совладать со мною. На аптеке-базе была одна женщина, она льнула ко мне, и ког-

да я уезжал, хотела приехать ко мне в Ялту. Там же одна девушка взялась чистоту наводить в моей одинокой квартире, все мыла и чистила, занавесочки развешивала, но она была очень скромная и стыдливая и ничего не говорила мне. Другая девушка, китаянка, пламенела при виде меня, но я ни о чем с ней не говорил, кроме деловых бумажек, но она, юная хвастунья, сказала своим родителям, что у нас с ней договоренность есть жениться. И отец ее и мать, вызвав меня к себе на квартиру, прямо сказали, что пора нам с Эммой сходиться жить вместе, что от дочери им уже всё известно и у них всё готово для совместной жизни.

На мебельной фабрике тоже были две девушки, заканчивающие десятилетку, которым я нравился. У одной из них была совсем еще молодая мать, которая тоже приставала ко мне, но меня спасало то, что у меня была общая комната с художником цеха.

И они также осаждали меня в Ялте письмами. При новом аресте в Ялте в НКВД мне читали выдержки из писем ко мне, ими задержанных.

Но всё это было как бы уже давно, а сейчас я сижу, одинокий беглец, под покровом кипарисов и южной ночи, а в просветы на меня зорко смотрят яркие звезды и шлют мне свое нежное и доброе успокоение.

— Будь кроток и смирен, и весь путь жизненный твой будет радостен. Держи беспрерывно взнуздавши свою страсть и похоть свою, а всё остальное предоставь Господу своему, разумному ходу жизни. Ты не по своей воле пришел в жизнь, а призван без согласия своего, и дай волю Ему распоряжаться тобой во всех делах, как угодно Ему. Весь мир, все поэты возвышают плотскую любовь мужчины и женщины, но к чему ведут эти заманки, если человек отдается им без удержу?

Человек становится гаже самых диких животных. Ни одно животное не уничтожает своих детей, как это делает человек, и делает по-научному, в белых халатах, всё по-стерильному, выбрасывают своих детей в кровавый таз и в уборную. Во всей животной природе нет той распущенности, как у людей. Против целомудрия восстают, как против чего-то дикого. То их беспокоит, будто бы, что род людской прекратится, а когда убивают своих детей, то их это не беспокоит.

Все эти думы бегали в моей голове, но всё же была темная ночь, и я сижу один, и мне стало как-то неуютно. Ведь места здесь пограничные, недавно здесь шла война,

и за каждым новым человеком следят, и, может быть, и моя одинокая фигура уже привлекла чье-нибудь внимание. Надо куда-то подаваться, и я стал припоминать, кого я знаю. К дочери моих хозяев приходила подружка, жена их сына с маленьким грудным ребенком, она живет где-то здесь у своих родителей, пока ее муж учится; но где ее квартира, я не знаю, хорошо бы переночевать у них, а дальше было бы виднее. Я стал осматриваться кругом — кого бы спросить. Вдруг из соседнего двухэтажного дома вышла женщина, подошла близко ко мне и стала смотреть сквозь кипарисы, вернее, на звездное небо. Я замер, боясь напугать ее своим внезапным появлением. Когда она повернулась, чтобы идти домой, я быстро встал и спросил, не знает ли она, где живет невестка Лаптевых?

Она ответила спокойно и холодно:

— Знаю, идемте.

В квартире она, открывая дверь, сказала:

— Надя, к тебе человек пришел.

— Василий Васильевич! — радостно воскликнула Надя и в то же время удивленно глядя на меня: что, мол, побудило меня ночью прийти к ней.

Я сказал, что пришел попроситься переночевать, так как там приехала их дочь Аза и очень тесно, и мне жаль, что она будет валяться на полу. Она мне постелила в парадном коридоре и сказала, что этот коридор совершенно свободен, можно в нем жить, никому не мешая, через него никто не ходит, из него есть отдельный выход во двор, а дверь в комнату глухая с замком и ключом.

Я остался жить у них, продолжая работать в санатории. В выходные дни я ездил с моими хозяевами в горы, с ручной тележкой за дровами и за цветами.

Горы меня привлекали. Но недолго пришлось мне любоваться равнодушным шумливым морем и безмолвными скалами Крыма. Раз я вечером в темноте возвращался домой с работы, а там уже дожидаются меня двое с оружием и, не дав мне поесть, забрав всё, что было: мои книги, записи, карточки и письма,— усадили в машину и увезли в Ялтинский подвал, за решетки. При аресте сестра хозяйки квартиры навзрыд плакала, доказывая, что я человек хороший. Они ей грозились, но она не умолкала.

Я припомнил этих людей, что пришли меня забирать, я их не раз видел на берегу моря, куда я часто ходил со своим любимчиком Колей, сыном Нади, и учил его в море плавать. Он со страхом и радостью цеплялся за меня и улы-

бался, доверяя мне. Последний раз мы возвращались домой. Коля, уже узнав дорогу, бежал впереди меня. Ему было всё интересно, и он смотрел по сторонам, а не под ноги, и упал. Я поспешил к нему на помощь, поднимаю и утешаю его и, разгибаясь, вижу надо мной этих шпионов. И не раз я их видал по месту моей работы.

Они молча посмотрели, как я поднимаю Колю, и прошли мимо, как будто обычные люди идут, развлекаются, а не готовят страдания людям. Рано утром меня вывели из подвала и посадили в машину, где в кузове уже сидели две женщины и четверо мужчин. Конвойный с винтовкой сидел в кузове над нами, как коршун над цыплятами, а шпион все еще бегал по учреждениям и, верно, не всю еще переписал добычу заданного плана. Потом привел еще двоих, один из которых был студент с толстым портфелем под мышкой. Сам шпион сел в кабину, и машина тронулась.

— Прощай, свободная стихия,— подумал я. Всё время до перевала я смотрел на море и вспоминал, когда, кто и что говорил о нем.

На перевале в Симферополь машина остановилась. Из машины вышел шпион, проверил свою добычу, и вдруг он заметил тяжкое преступление: студент с увлечением углубился в чтение своих записок и не мог оторваться от них даже во время стоянки.

— Кто тебе разрешил смотреть эти бумаги?

— Да я же свои читаю,— робко возразил студент.

— Не разговаривай и не смей носа совать в портфель.

Я еще раз взглянул на море, и машина тронулась... Дорога змеей извивалась по зарослям, подвела нас к стенам тюрьмы, верного оплота всех владык всех времен.

Долго мы стояли у стен тюрьмы, пока мимо нас прогоняли большие партии арестованных под ружьем. В тюремную пасть меня ввели последним.

На цементном холодном полу меня стал раздевать добродушный старичок. Я дрожал и трясся, пока он медленно, своими старческими дряблыми руками перещупывал карманы и все швы моей одежды. Потом вроде и ему стало жалко меня, он вернул мне мою одежду и сказал: одевайся, а всё остальное завтра доделаем. Завтра и объяснение вам дам, в чем вы обвиняетесь, хотя это надо было сделать перед арестом, но не получилось.

Я, одеваясь и дрожа, сказал ему:

— Нужно ли ягненку знать причины волка, за что

он его хочет съесть? И что они ягненку дадут, эти знания, у волка в зубах?

Старичок ничего не ответил мне и передал солдату, который отвел меня в камеру на пытку. В камере, кроме четырех часов отдыха, остальные двадцать часов должен молча сидеть и не дремать. Поминутно ходили по коридору часовые и шпионили за арестантами. Все сидевшие, шесть человек, были острижены, и от холода и тяжелых, мучительных переживаний лица и головы были синие, а сквозь рваную одежду, без пуговиц и застежек, проглядывало такое же синее тело с выступавшими костьми. Люди сидели два с половиной месяца в таком мучительном и томительном состоянии, и многие не рады были своей жизни и искали разные причины к самоубийству.

Все сидевшие в каморочке без окон с удивлением взглянули на меня, как на нечто необычное: в неизуродованной одежде и с длинными волосами. Каждую ночь, с восьми вечера и до двенадцати ночи, шло предварительное следствие, а с четырех до шести утра шли тяжелые допросы с побоями и увечьями.

В тишине брали людей из камер на допрос и тихо приводили с допроса всего трясущегося, изодранного, в синяках и приказывали садиться и не спать сидя. Всё делалось тихо, в змеином шипенье и злобными знаками руки. И хотя на семь заключенных были две койки, и то они почти всегда пустовали. Но меня пока всё это не касалось, и эта тяжелая атмосфера не проникала сквозь броню моего равнодушия, и я спокойно лег на койку и спал до подъема. Вечером меня повели на предварительный допрос. Я шел бодро, в своем обычном костюме и с зачесанными волосами. Меня как бы с восторгом встретил молодой добродушный следователь.

— Так вот это тот самый Василий Васильевич, который пишет своим друзьям такие чарующие письма. Садитесь, пожалуйста, я рад с вами поговорить обо всем. Я всё о вас знаю и всю вашу переписку перечитал и восторгался, как сильно вы всё выражаете.

— Вы-то хотите гоголевским героем около меня крутануть с лестью,— на все его восторги ответил я.

— Нет, нет! Я честно говорю. Вот вас спрашивает художник из Воркуты, завели ли вы себе сад фруктовый, а вы ему отвечаете: рук не хватает, чтобы заниматься садоводством, я одной рукой держусь за скалу, а другой продираюсь в очереди за куском хлеба. Как ловко, как сильно!

Надо сказать, что в Ялте в это время давали хлеба по 1 кило в руки, и очереди стояли с темна и до темна. Потом, после восторгов, где и что я говорил или писал, он перешел к тому, возможно ли христианство на земле мирным путем. Я коротко отвечал. Вдруг вошли еще трое и стали не спрашивать, а излагать свои взгляды и мнения...

Один говорил: — Да, это во всем Толстой виноват. Он возродил христианство, объяснив его разумно, а без Толстого на христианство уже могильный памятник поставили. А другой: — Да, Толстой и революции помог родиться. Без него богоподобная монархия еще лет триста царствовала бы. Суеверия религии и церковная власть очень и очень медленно покидают свое царство, и не тряхни их Толстой, социализму трудно было бы вылезти из подполья.

И так четверо следователей и я, арестант, вели меж собою дружеский мирный разговор. Потом трое ушли, мой следователь нажал кнопку, вошел часовой и увел меня в камеру, где я тут же крепко и спокойно уснул. На другой день меня остригли и отрезали пуговицы на одежде. Вечером опять повели на допрос. Вчерашний следователь начал разговор по-вчерашнему, весело и добродушно, но я молчал. Молчание мое было для него очень томительно, и он не знал, что делать со мною. Тогда он вышел из-за стола, подошел ко мне, взялся нежно за плечо и спросил:

— Василий Васильевич, что с вами? Вы же так хорошо разговаривали со мной вчера, шутили, а сегодня ни звука?

Тогда я сказал ему:

— Вчера я еще был человеком, и вы со мной говорили как с человеком, и я так же с вами, а сегодня голова моя обезображена, тело оголено, и я должен держать руками всё время одежду, чтобы она не свалилась. Значит, вы считаете меня ни за что. Ведь разумный человек даже скотину не позволит себе так обезобразить, а не то что человека. Вы меня поставили ниже всякого животного и хотите, чтобы я унижения не замечал, считая это за естественное состояние, и, обманывая себя, говорил бы с вами по-хорошему, как с человеком. Я говорю сейчас откровенно и, думаю, и у вас есть нравственные человеческие свойства и хотя вам и стыдно будет за ваш обман по долгу службы, но в глубине своей души вы почувствуете мою правоту и даже затеплится ко мне благодарность за мою откровенность. Я не могу дикость признавать за нормальность и поэтому говорить не буду.

После моих слов мы долго молчали, потом он позвонил, и часовой увел меня в камеру. На второй день меня вызвали днем, и больше меня никогда не вызывали не только ночью, но даже и вечером...

Конвоир ввел меня в другой кабинет, там сидел уже другой следователь.

— Садитесь, пожалуйста! Моя фамилия Кручинин. Вы знаете пьесу Островского «Без вины виноватые»? Там героиня пьесы Кручинина, вы любите эту пьесу? И вообще, как вы смотрите на драмтеатр? — закидал он меня вопросами.

Я сказал, что люблю всего Островского в искусстве и очень люблю его на сцене театра.

— Вы ходите в кино, театр?

— Грешен, батюшка,— с улыбкой сказал я.— Если знаю, что хорошая вещь, то не могу удержаться и иду.

— А как вы смотрите на военные произведения?

— Да кому убийство и дикость эта будет нравиться — только диким людям может нравиться то, на что разумный, добрый человек не может смотреть без слез и страданий.

Потом следователь перевел разговор этот на другие вопросы, но я быстро обнаружил его хитрость, что это уже не простой разговор, а служебный, и замер. Он долго мучился со мной, но так ничего и не добился. На другой день я также промолчал, и на пятый день он пытался меня разговорить, но я молчал.

Тогда он без раздражения и озлобления, а тихо и мягко сказал мне: — Ну, тогда идемте за мной.

Привел меня в совершенно темную комнату и притаился, и вдруг ярко загорелся свет, и я увидел сидящих за столиками шесть человек с блестящими у всех погонами и другими побрякушками. Мне предложили сесть на табуретку у двери. Я спокойно сел. Кручинин тут же удалился. Потом поднялся с кресла человек, коренастого толстого сложения, и начал ходить по узкому проходу между столиками и говорить мне. Долго-долго он говорил, а потом спрашивает меня грозно: — Чего молчишь?

— В человечестве выработался долг вежливости: когда один говорит, то все должны слушать его до конца,— ответил я.

Некоторые из бывших в комнате фыркнули, но сейчас же постарались овладеть собой и замерли. Но оратор, видимо, уже оскорбился или моим ответом, или тем, что некоторые фыркнули, и заговорил с угрозой: мы, дескать, умеем слона заставить на мячике вертеться волчком и т. д.

Потом подошел ко мне со свирепым выражением и, оскаливая зубы, закричал:

— Чего всё время молчишь, как осел?

Я совершенно не думал о его разговоре и всех его вопросах, но когда я услышал последние его слова, я, ничего не думая и не помня, сказал горячо и громко:

— Правы все философы и мудрецы, утверждая, что каждый человек в другом человеке, как в зеркале, видит себя самого. Мы все часто походим на собаку, которая видит свое отражение в воде и бросается на нее, думая, что это другая собака. Так и этот оратор. Вчера рвал эти побрякушки с других, а сегодня разукрасился ими, как кукла. Апостол братства народов с пистолетом в кармане. Разоблачая вчерашних фарисеев, сегодня сам еще худшие дела делает, не моргая своими бесстыжими глазами перед мучениками.

Сказав это, я нагнулся и сидел молча. Долго было гробовое молчание. Потом тихо-тихо — скорее не слова слышались, а их подергивание плечами и разные знаки руками...

Мне никто ничего не сказал, и меня обратно увели в камеру. На утро опять привели к Кручинину. Он долго мне говорил о радио, кино, театрах, но я всё молчал.

— Хочешь, сейчас подтвердит тот человек, который слышал ваши разговоры против советской власти? Молчишь? А я вызову, и он подтвердит и в глаза вам всё скажет.

И действительно, вошла Надя и подтвердила, что я говорил, что в деревне мужики живут очень плохо, работают без меры, а сами и семьи голодают, всё забирают на поставки в город.

В это время вошел прокурор — женщина.

Кручинин воскликнул: — Встать! Прокурор идет.

Но я не изменил своего положения, продолжал сидеть, глядя себе под ноги.

— Зачем вы это? — сказала она ему и стала с ним тихо разговаривать, как идут дела с допросом. Кручинин показал прокурору показания Нади и сказал, что я не обращаю внимания даже на эти личные подтверждения моих слов. Прокурор читала вопросы, какие стояли в протоколе, и сама делала на них ответы.

— В деревнях, действительно, жили голодно после войны. Лошадей не было, и люди таскали навоз на себе... Это не секрет. Кино. Я сама не каждую картину могу смотреть. Радио... тоже, зарядит что-либо одно, а у меня настрое-

ние совсем другое, и я не хочу его слушать, и ничего нет в этом опасного.

Спокойно, мягко и добродушно прокурор делала свои замечания, посматривая на меня.

— А все-таки мне хочется спросить, при каких обстоятельствах шел между вами и этой свидетельницей разговор о деревне? — спросила прокурор.

— Бесполезно, он и вам не ответит, если не встал при вашем приходе,— сказал Кручинин.

Но я ответил:

— Я хотел взять к себе в Ялту родную сестру, которой в ее шестидесятилетнем возрасте там было очень трудно жить, и я спрашивал свидетельницу о квартире для сестры, а она спрашивала меня о положении сестры в деревне. Так был этот разговор.

Прокурор: — Вот, вот, так я и думала, что о ваших семейных обстоятельствах. Теперь не скажете ли, какие это у вас адреса: в Саратов к директору плодоовощного хозяйства и в город Джамбул?

— Это еще в Воркуте, когда мне приказали уезжать и я говорил, что не знаю, куда ехать — родина моя разбита и сожжена, и мне знакомые стали давать адреса и свои советы, куда ехать.

— Теперь всё ясно,— обратилась она к Кручинину.

Потом Кручинин шепотом с ней заговорил, но она сказала, что это не стоит спрашивать, но он всё равно ее уговорил, и она спросила:

— Скажите, пожалуйста, вот вы до этого возраста одинокий, не женатый, нигде не проявляете себя в женском обществе, избегаете его, может, у вас свои мысли есть против всех женщин вообще?

Я ответил:

— О женщинах я так понимаю. Женщина — это лучшая половина человечества, она дает жизнь, насыщая её своим молоком и согревая своей жалостью и самоотверженной любовью. И только из женщин проявляются святая мать, жалостливая сестра, добрый самоотверженный друг всего человечества. И такую женщину я очень люблю, уважаю, приветствую, уступаю дорогу и место больше, чем мужчинам. Но когда женщина по разным причинам, вольным и невольным, отступает от своей святой нравственности, возвышающей ее над людьми, и начинает подражать ошалелым мужчинам, занимающимся диким зверством, и тогда за такую, похожую на этих развратных мужчин,

женщину — мне очень больно и жаль ее, и я тогда не могу отдать ей предпочтения.

— Ну, вот и всё понятно, теперь я пойду,— сказала прокурор и вышла. Мы остались вдвоем в полной тишине. Кручинин, делая вид, что он очень занят своими бумагами, уткнулся в них, но я заметил, как он нажал кнопку звонка, и вскоре вошел человек средних лет и сел против меня, тут же за столик у двери. На нем не было никаких знаков отличия, чинов, заслуг. Он поздоровался со мной кивком головы. Начал говорить, и я сразу понял, что он тайно слышал весь мой разговор с прокурором.

— Я очень люблю тех людей, которые говорят смело всё, что они думают,— начал он.— Наши товарищи, коммунисты в Германии, беспрестанно говорили всю правду, зная, что они будут за это расстреляны. Так и вы, я думаю, прямо и правдиво скажете, что вы думаете о советской власти — что она, хуже монархии или лучше?

— Нет таких весов, чтобы можно было взвешивать злодеяния властей и их сравнивать. Всякая власть есть отступление от нравственности, и всякая власть ставит себя выше нравственности, считает себя «помазанником Божиим», и поэтому, что бы власть ни делала, должно народом почитаться священным, без всякого сомнения и критики. Но кто против дерзнет, того ждут смертные муки...

Только этой ложью и властвовала монархия. Люди всячески старались разоблачить эту ложь и довести до сведения человеческого, чтобы она прекратилась. А держится эта ложь на двух рабских понятиях, основанных на эгоизме: одни рвутся к власти и властвуют, другие свято подчиняются им. И все вместе эти люди, не доверяя своему разуму и совести, остаются во тьме и рабствуют и угнетают друг друга. И эти люди никогда не понимают тех, кто хочет строить свою жизнь на свете разума, на нравственности, чуткости, добре и совести. На добре и любви к людям.

Революционеры решили, что раз монархическая власть — зло, то мы её уничтожим и устроим власть, которая не будет делить по расам и крови, а будет равенство и братство. Но беда в том, что таких строителей оказалось много, закипела борьба за власть, посыпались десятки советов, как достичь хорошей власти, каждая партия хвалила только себя, ненавидя других, и разгорелась жестокая борьба за трон, и в этой борьбе не осталось места для нравственности и человечества.

Взвесить и сравнить все злые дела людей, больных властолюбием, нет никакой возможности.

— Но по своим личным страданиям вы можете сравнить, какая власть к вам лучше и какая хуже относилась? — перебил он меня.

— Прошлой власти я захватил только небольшой кусочек и не прошел полного курса страданий, но знаю по истории, как она относилась к отказывающимся от военной службы, там были всяческие физические истязания, унижения, побои, увечья. В эту власть с самого её возникновения на троне я прохожу полный курс страданий десятками лет, но меня никто не бил, даже пальцем не тронул, и в словах никто никогда не обижал, кроме вчерашнего...

— Нет, нет! Не вспоминайте про вчерашнее, это было, это... но продолжайте, пожалуйста, я вас с вниманием слушаю.

Я продолжал:

— Я не знаю обо всех отказывающихся от военной службы по религиозным убеждениям при этой власти, но лично я встречал и понимание и жалость. Я вегетарианствовал, и мне давали сухой паек, считались со мной, не давая погибнуть, и это было в разгар борьбы политической, когда горела злоба в людях, а мне все же попадали капли жалости...

— Ну, хорошо, хорошо, теперь всё понятно,— и с этими словами он ушел. Больше меня на следствие не вызывали и вскоре перевели в тюрьму, в общую камеру. Когда я вошел в тюремную камеру, меня поразила шумная веселость находившихся в ней, после мертвой, в страхе и с угрозой тишины, царившей в следственной тюрьме. Тут свободно говорилось о сроках — пять, десять, бессрочная высылка и т. д. Никто не удивлялся этим наказаниям, к ним привыкли, и внешне они не вызывали тоски или отчаяния.

Тут были инженеры, агрономы, учителя, доктора наук и медицины и немного рабочих. Но все ребячились и дурачились, как будто хотели наверстать упущенное в следственной тюрьме. Никто не хотел оставаться в тиши, сам с собою или в тихой беседе с товарищем. Нет, таких бесед все боялись и убегали, страшась нарваться на наседку, притаившуюся под личиной товарища по несчастью. И поэтому я оставался один.

Постепенно любопытство всё же осиливало, ко мне стали подходить, заговаривать, стали просить рассказывать, и я много рассказывал из Диккенса, Гюго, а Толсто-

го рассказывал целыми ночами напролет до рассвета. И тут установился в камере уже другой дух. Волна хулиганских выражений и ругани стала меньше, и даже часовой сидел молча возле нас и слушал рассказы. Потом начальство вызвало меня в свой кабинет и объявило, что меня скоро отправят в Красноярский край, в ссылку, и если что нужно в дорогу, заявляйте.

Я сказал, что мне нужна теплая одежда, но как её получить, я не знаю. Они мне сказали: хорошо. Но я подумал, что всё это впустую, но назавтра приехала хозяйка квартиры, привезла одежду и наскоро сготовленных продуктов на дорогу. Хозяйка добилась свидания со мной. Она спросила меня: — Что всё это значит? — Я сказал, что меня хотят отправить в ледяной Красноярский край, где птицы на лету замерзают. Она сказала: — Я слышала, некоторые женщины говорят, хоть на край света, хоть на полюс, мы всё равно поедем за ссыльными, своими мужьями,— и помолчав немного, сказала: — И мы, всей ялтинской семьей, если вы разрешите, поедем за вами, где вы будете, там и мы. Говоря это, она вся сияла от своих мыслей, слов и радостных слез.

СИБИРЬ

Через некоторое время всех нас вызвали на этап. Посадили в холодные вагоны и повезли в Сибирь. Высадили нас в г. Канске. Из Канска на машинах — в Тасеевский леспромхоз. В Тасееве распределили: часть оставили за лесным хозяйством, а часть развезли по колхозам. Я попал в Середянский колхоз, в котором были объединены десятки деревень. Деревни эти были более чем на половину пустые, люди разбежались. В деревне из ста двадцати дворов осталось тридцать, да и то те, кто не надеялся уже на свои силы, что где-то могут устроиться на работу.

Меня назначили пчеловодом за двадцать километров, на полях разоренных деревень. Пасека числилась в сорок семей, но фактически их было всего десять. За первый год я поднял пасеку до двадцати пяти семей, но сам был голодный, разутый, раздетый. Что было, всё порвалось. Колхоз сказал, что мы и сами никогда ничего почти не получаем и помочь ничем не можем. Я, рваный и босой, пошел в Тасеево к энкаведешникам и сказал, что я бежать никуда не буду, но сделайте так, чтобы я не бедствовал. О работе моей они уже знали, что я за зиму тридцать ульев заново переделал, новые магазины и все рамки новенькие, всё готово

к выставке. Всё делал из своего колотого и тесаного материала, который заготовлял сам в тайге.

И вот молодой энкаведешник сказал мне:

— Всё о твоей работе и положении я знаю и поэтому говорю: ищи себе работу, какая нравится и где хочешь, в пределах Тасеевского района. Но я советую тебе в Машуковку, лучше ты нигде не найдешь, там есть электростанция, шпалозавод, столярные и плотницкие работы, печные и другие.

Потом подошел ко мне комендант Брагин и говорит:

— Меня переводят в Машуковку, и я тебя заберу туда, а работу там выбирай, какая нравится, не спеша.

Я сделал себе плотик и отправился вниз по рекам. На реке Усовка был затор, я кое-как выбрался, и сплавщики помогли мне устроить новый плотик из трех бревен, и я оказался на широком просторе реки Тасеева. По сравнению с этой могучей рекой я чувствовал себя ничтожным на своем плотике убогом, но уж раз так, я улегся спать и спал крепким спокойным сном на всех пятидесяти километрах пути.

Проснулся я к закату солнца. Вижу впереди высокие трубы, дымящиеся, и по берегу поселка люди. Я их спрашиваю: — Это что за город? Как его имя? — Одна женщина мне ответила: — Это город Машуковка.— И я причалил свой плотик. Пошли расспросы: откуда? какой губернии? где родина? Я объяснил.

— Ну, пошли к нам в барак,— сказала одна женщина. Муж ее приехал из лесу, и пошел оживленный разговор. У них я поужинал и ночевал.

Я стал работать в лесу. Квартиру мне дали в бараке, в общежитии: коечку, матрасик, одеяло. Хозяйка квартиры, где я жил в Ялте, всё время поддерживала со мной переписку. То присылала мне мои вещи, то книги, а потом и инструмент переслала столярный. У нее было большое горе: умер муж, о котором она очень плакала. Дочь ее Надя с сынишкой Колей переехала к мужу. Сестра ее жила в другой квартире, и она осталась одна. Потом стала писать, что приедет ко мне.

Я писал ей подробно о холодном климате, морозы до 50 градусов, мошка дышать не дает и без накомарника никуда, да и живу я в общежитии, в тесноте. Но она мне пишет: я понимаю, что я тебе не нужна как жена, но позволь мне жить возле тебя как родная сестра, как мы жили побратски в Ялте, мне будет возле тебя хорошо. После этого долго не было от нее писем. Вдруг к вечеру заходит комен-

дант и кричит на меня: — А ты еще не уехал? И как тебя назвать после этого! Хозяйка приехала, уже неделю живет в Троицке, а он тут книжечки почитывает. Скорей беги, поезжай, а то она заждалась тебя,— кричал он на меня при всех.

Ночью я не пошел, боясь заблудиться по таежной глухой дороге незнакомой, а рано утром тронулся в путь. До Троицка семьдесят километров, но уже к вечеру я был там. Искали мы трактор, чтобы ехать, но ничего не нашли и решили сделать плотик. Погрузили всё на него и двинулись в путь. Доехали хорошо, но только выгрузились и перетащили все её вещи, а их было много: и ведра, и швейная машинка ножная, и одежда, и кастрюли, и прочее,— как меня на другой день этапировали в экспедицию до глубокой осени. Ее тоже хотели отправить в тайгу жить, но она упорно отказалась:

— Это вы над ссыльным делайте, что задумается, а я вольная,— и никуда не поехала.

Когда я вернулся, то задумали мы сделать себе домик, как делали другие ссыльные. Зимой на саночках возили мы на себе лес и весь строительный материал, и на ту зиму были уже в своем доме. Весной к нам приехали Надя с Колей. Он ходил в школу и со мной столярничал, помогал делать табуретки и столы. Потом мы сделали домик и Наде с Колей. Купили корову себе и Наде. Потом приехал муж Нади, но он уже сильно болел туберкулезом и тут умер.

Елизавета Лаврентьевна (приехавшая ко мне женщина) была человек жизнерадостный всегда, а тут была так счастлива своим приездом, что пела всё время. Голос у нее был очень хороший, и за ее песни вся Машуковка ее узнала и любила.

С покосом я управлялся один, а она вела хозяйство и огород, а потом собирала разные ягоды, и лесные, и болотные. В лесу она прямо блаженствовала и, собирая ягоды, всё время пела. К ней всегда присоединялись товарищи, и пожилые, и молодые женщины, и, как бы они ни уставали, она всегда пела жизнерадостные песни, ободряя всех.

Домой приедет, и опять не отдыхать, а берется за хозяйственные дела, и тоже с песнями. Она любила всех людей, не заводила ни с кем ссор, а ссорящихся примиряла своей жизнерадостностью и шутками на свой счет. Очень любила животных, и своих, и чужих; ее знали все осиротевшие собаки, которых бросали хозяева, уезжая из Машуковки.

Один раз, это было 30 сентября, управившись со всеми делами к десяти часам утра, она стала собираться по ягоды и, по своему обыкновению, пела, но на этот раз почему-то очень возбужденно. Было пасмурно, и чувствовалась изморось с осадками. Я просил ее не ходить, время уже позднее — одиннадцать часов, и погода ненадежная — вот-вот снег сорвется, и мороз возможен, и в тайге можно будет заблудиться в такую погоду. Но она сказала, что пойдет не одна, а с Надей, и не заблудится в тайге, и все же, на всякий случай, взяла спички в карман. Говоря всё это, она улыбалась мне, стоя на коленях и завязывая свою походную сумку. Пришла Надя. Я стал и Надю упрашивать, чтобы не ходили: вот-вот пойдет снег или дождь, и где я буду вас тогда искать ночью, по незнакомым мне болотистым клюквенным местам.

— А я вот при Наде говорю, что бы со мной ни случилось, ты меня никогда не ищи,— сказала Елизавета Лаврентьевна.

И всё же они сговорились идти. Надя пошла за ведрами, а Елизавета Лаврентьевна, немного погодя, пошла за Надей. Я опять стал упрашивать не ходить, но она с доброй улыбкой сказала, что идет с Надей и ничего не случится.

И они пошли, а я занялся уборкой огородных остатков. Вечером уже темнело, идет Надя мимо меня по переулку и спрашивает: — А мама еще не пришла?

— А ты разве не пошла с ней? — тревожно спросил я.

— Нет, она одна пошла, а я осталась. Ну она, наверно, кого-нибудь с собой взяла,— сказала, успокаивая, Надя.

— Ну, тогда пойдем искать,— сказал я.

Ветер поднимается, темнеет, а я не знаю, куда они собирались и где раньше ходили.

— Да она с какой-нибудь старушкой пошла. Придет, это ж мама, она всё везде знает и ничего не боится,— успокаивала меня Надя. Но тут же сорвался снежный ураган, завьюжило так, что ничего на солнышке даже не видно. Кругом окутала тьма, так что и соседнего дома не стало видно.

Я промучился всю ночь, очень тяжело на душе было. Утром рано всё стихло и выпал снег, до десяти градусов мороза. Я пошел и заявил в сельсовет, и все охотно откликнулись искать. Пошли охотники и народ, но нигде ничего не нашли, никаких следов и признаков человека. Так проискали обществом целую неделю. Ничего уже не нашли.

Когда охотники стали расходиться по своим таежным избушкам, я просил смотреть, но все возвращались, ничего не обнаружив.

По ее необыкновенному веселому состоянию, и особенно в два последних месяца, мне стало думаться, что, может быть, она заболела и, вместо ягод, подалась еще куда-нибудь.

Надя уехала в Ялту.

По радио как-то сообщили, что с самолета найдена заблудившаяся женщина и что она доставлена в больницу. Тут я стал писать во все концы, в газеты, просить их выяснить фамилию этой женщины и где она находится. Дописался до ЦК партии и до Хрущева, но за целый год ничего я от них не добился толкового, а все свалили с себя на районную милицию. А милиция сообщила, что если где кто найдет труп и нам укажет, мы тебя уведомим, жди. Я писал, что, может быть, женщина заболела и лишилась сознания и будет валяться в больнице годами, неизвестная никому. Но нигде я не встретил живого и деятельного участия, только один архивный работник сказал, что он три дня пересматривал архивы, но дальше не стал смотреть без точной даты.

Невдалеке от нас была деревня Никольское. Один рабочий, живший там, взял ружье и пошел побродить по болотам. Лето было сухое и жаркое, по мхам было везде сухо, в любом направлении. Перешел он небольшое болотце, и дальше в кедровничке зачирикали рябчики, он туда — и вдруг видит человеческий череп, а возле него лежит кучкой одежда, из которой все кости вытасканы зверями. Один сапог резиновый, наполовину отгрызанный, валяется. В мешке ведро клюквы набранной. У правой руки по положению одежды лежали портяночки выкрученные. Сообщили мне. Я упросил охотника, и он провел меня, и я по всем остаткам установил, что это была Елизавета Лаврентьевна.

Дал телеграмму, быстро приехала ее сестра. Все останки похоронили на общем кладбище. Все вещи в доме ее сестра забрала и увезла в Ялту, но корову из жалости не забрала, и я ее теперь, как старушку-пенсионерку, кормлю, хотя она по старости своей уже не носит телят и третий год без молока.

И так Елизавета Лаврентьевна замерзла в холодную ночь в тайге 30 сентября 1963 года. И вот уже третий год я живу совершенно один, в самом горестном состоянии внезапной трагической потери друга.

Е. Ф. ШЕРШЕНЕВА

НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ КОММУНА ИМЕНИ Л. Н. ТОЛСТОГО

В 1923 году организовалась сельскохозяйственная коммуна имени Л. Н. Толстого близ станции Новый Иерусалим Виндавской железной дороги.

Группе желающих жить и работать на земле была отведена земля и постройки, ранее принадлежавшие помещику Швецову. Главным инициатором и вдохновителем был Митрофан Нечесов, а его основными помощниками — группа молодых людей, единомышленников Л. Н. Толстого. Детская колония в Снегирях тогда ликвидировалась. Роно противодействовало всё глубже укоренявшемуся в ней духу Толстого. Оттуда в Новый Иерусалим сначала перешли Митрофан Нечесов, Вася и Петя Шершеневы, Коля Любимов, Георгий Васильев, Петр Никитич Лепехин. Всем, кто раньше или позже переселился туда, кто жил долго или хоть немного гостил, навсегда запомнилась та пора как самая лучшая, самая лучезарная из всего их длинного прошлого.

Хозяйство в бывшем имении Швецова было очень запущено, не было инвентаря, семян, не было денег и неоткуда было их взять. Не было ни одежды, ни обуви. Были только единство взглядов, доверие друг к другу, любовь к труду, к новому общему делу и молодость с ее выносливостью и оптимизмом. И ничего, что на пятерых мужчин были одни сапоги и по вечерам надо было решать, кому завтра с утра они будут нужнее, кому нужнее более приличный пиджак.

Как только ни изворачивались, чтобы поднять хозяйство! Ведь в нем было еще и несколько изголодавшихся, качающихся от слабости животных, которых надо было во что бы то ни стало оздоровить. Но умелые руки, вера в себя, предприимчивость и неиссякаемая инициатива делали свое дело. Копали, пахали, пололи, косили, вставали с восходом солнца — и выдержали, вынесли, спасли животных. Летом сдали помещение под дачу Георгию Христофоровичу Таде, милейшему, сочувствующему нашему начинанию человеку. Он щедро поддержал коммунаров в ту пору, стал на долгие годы их другом и советником. Продавали в тот год хорошо уродившееся сено, наладили ин-

вентарь, купили коров, привели в порядок молодой, но запущенный сад, починили парники. Вырастили чудесного жеребца. Это, конечно, произошло не сразу и далеко не легко. Были разочарования, ошибки, промахи, но вообще подъем хозяйства шел интенсивно, и довольно скоро это заметил и районный земельный отдел.

В коммуну стали вливаться новые члены. В первое время председательствовал Митрофан Федорович Нечесов; Вася Шершенев помогал ему в административных делах, а также, вместе с Ваней Свинобурко (потом именовавшимся по жене — Рутковским), работал на поле. Ваня хорошо знал сельское хозяйство, был большой любитель и знаток лошадей. Сережа Алексеев взял на себя огород; Коля Любимов везде охотно и умело применял свой труд. Административные дела, а также наблюдение за поведением и режимом нашей зеленой молодежи вел степенный, выдержанный и иногда, как нам казалось, слишком рассудительный Петр Никитич Лепехин, работавший ранее в детской колонии воспитателем. Георгий Константинович Васильев взял на себя пчеловодство. Через какое-то время прибыл к нам Петр Яковлевич Толкач с семьей и оказался опытным животноводом. До ликвидации коммуны (а потом на Алтае) он продолжал вести это никому неприглядное дело.

Появились женщины. Первой приехала Маня Савицкая, которой и досталось вести еще такое бедное, скудное домашнее хозяйство тогда еще холостяков-коммунаров. Конечно, не было ни кастрюль, ни посуды, и особенно Маня мучилась с бельем, которого ни у кого не было, и ей приходилось чуть ли не ежедневно то вшивать оторвавшийся рукав, то из двух рубах с трудом выкраивать одну, то делать безрукавки. Потом пришла Оля Брэн, ставшая впоследствии женой Коли Любимова; потом, кажется, Оля Деева, и в 1924 году совсем переселилась от Чертковых я. Много позднее приехали вслед за Петром Яковлевичем его жена Марта с детьми и из детской колонии Юлия Францевна Рутковская, до конца существования коммуны державшаяся особняком, в отличие от ставшего ее мужем Вани Свинобурко, бывшего воспитанника колонии. Ваня был на редкость покладист, открыт, благодушен и миролюбив. Широкоплечий, малограмотный, простецкий труженик, совершенно аполитичный, никогда не задававшийся никакими общественными вопросами. Не помню, откуда у нас появился Прокопий Павлович Кувшинов с женой

Ниной Лопаевой — хорошей работницей, но чрезвычайно трудной по характеру, с истерическими выпадами и постоянным недовольством другими. Одним из первых в коммуну переселился Ваня Зуев, исключительно выдержанный, спокойный, крайний вегетарианец.

Почти с каждым жившим в коммуне было что-то связано глубокое, хорошее. Почти каждый, кто меньше, а кто больше, проявлял себя по-особенному и, разрывая шаблон общепринятого, клонил в какую-то свою собственную сторону, ради поисков лучшего (как тогда казалось, как того хотелось). Думали, искали, проявлялись в жизни кто как понимал. Ваня Зуев, закаляясь, спал зимой на балкончике, ел сырые овощи и зерна, совершенно не употребляя вареной пищи. Он считал, что это полезнее и удобнее. Сережа Алексеев не стриг волосы и одно время вдруг решил ходить совсем без одежды, считая, что естественность утверждает целомудрие, воспитывает здоровый взгляд на половое различие. Некоторые — Костя Благовещенский, те же Сережа Алексеев и Ваня Зуев, Петя Шершенев, Женя Антонович, а одно время и я — не употребляли молока, не желая быть участниками в животноводстве, а следовательно, в убийстве молодых быков и старых коров, непригодных ни для чего, кроме мяса. Все перечисленные мною лица, кроме меня, не употребляли по этим же причинам, т. е. желая быть до конца последовательными вегетарианцами, кожаной обуви. Никто ни над кем не смеялся, уважая взгляды друг друга. Подтрунивали только над «голизмом» Сережи. И не только подтрунивали, а возмущались (особенно Петр Никитич) и боролись (особенно Вася). «Ну что это такое, правда!» — восклицала Надя Хоружая, встречая по дороге к речке голого Сережу. Надя — худенькая, хрупкая, всегда чем-то напряженно озабоченная или огорченная какими-нибудь неурядицами, которые, конечно, бывали у нас, но глубоко не внедрялись. «Всемирная плачея» или «Надежда Суматоховна Пищалкина» — так звали ее за это, шутя, Вася и Митрофан. Она не обижалась (или, может быть, не показывала вида) и продолжала хлопотать, о ком-то заботиться, чем-то огорчаться и кого-то убеждать своим тоненьким, немного писклывым голосом. Помню Таню Вишневскую, пришедшую к нам из какого-то детского дома. Круглая сирота, кажется, подкидыш — маленький бычок, с глубоким шрамом на щеке. Она и Катя Доронина занимались с Евгением Ивановичем Поповым, совершенствуя знания по грамматике и арифметике, учась

стенографии и, вероятно, еще чему-нибудь, используя всестороннее образование этого удивительного человека. Из Тани Вишнёвской потом вышел серьезный, волевой человек. Она стала детским врачом. Катя Доронина — светлая блондиночка, хорошая, добрая, скромная подруга моя. Работая по неделям в паре (мы всегда дежурили в кухне парами), то на кухне, то на огороде, в поле, на скотном дворе,— сколько мы вместе провели тогда молодых дней наших!

Наш простодушный Вася Демин — стихоплёт и ловкий парень, отмечавший наши воскресенья пышными булочками и сладкими плюшками. Мастер столярного дела — Вася Птицын. Веселый шутник, балагур и немного ворчун, слесарь Миша Дьячков. Украинец, неповоротливый Павло Чепурный, он один из очень немногих, кто как-то не нашел себе места в коммуне. Самоучка, посредственный, но уверенный в себе рисовальщик Сережа Синев. Братья Благовещенские — Костя и Миша. Костя — аскет, с философским настроем ума, изучавший в то время теософию и сумевший убедить меня в том, что я — вторая Ани Безант, которая должна нести миру свет и разумение, а не устраивать свое личное счастье, заводя обыкновенную семью. Он увлек меня кармами, потусторонними мирами, возмездием в жизни будущей (после смерти) за грехи в настоящей. Много страданий причинило нам всем троим (мне, Васе и Косте) мое увлечение Костиной фантазией. Она крепко переплелась с привитым мне с детства стремлением к полному целомудрию и отдаче себя без остатка служению людям. Как применить эти стремления в жизнь, я не знала, и первое, на что решилась, был отказ Васе, который тогда предлагал мне брак. Миша Благовещенский — брат Кости, худой, болезненный весельчак, не разделял Костиных мудрствований. Оба брата были очень музыкальны. Костя, не доучившийся в консерватории, виртуозно играл на мандолине, а Миша на балалайке. Вася иногда подыгрывал им на гитаре. Мы с Мишей одно время наладились петь дуэтом. Костя нами руководил и аккомпанировал.

Уж вечер, облаков померкнули края,
Последний луч на башне догорает...

В зимнее время Мишиной обязанностью было чинить коммунальную обувь и подшивать всем валенки.

Еще жили у нас одно время Митя и Варя Филипповы, гостили Зоя Григорьевна Рубан с Надеждой Григорьев-

ной и мальчиком её Лёсиком; жила, как и в «Березках», очень близкая нам по духу, умная, ко всем ласковая Вера Ипполитовна Алексеева со всеми детьми, которые по мере сил участвовали в общем труде. В разное время, приезжая и уезжая, жили в коммуне: Дуня Трифонова, бывшая воспитанница колонии, с которой потом нам довелось спать на одной тюремной койке в Воскресенской тюрьме, Пелагея Константиновна, дружившая с Херсонским (фамилии ее не помню); Миша Салыкин с женой. Миша исполнял сильным баритоном классические произведения. До сих пор многие из нас не забыли, как серьезно и проникновенно он пел из «Демона» Чайковского: «Не плачь, дитя, не плачь напрасно», а еще «Смелей вперед, моряк, плыви, пой песню, пой. Уж цель виднеется вдали. Пой песню, пой...» Помню крепкого скрытного блондина — Клементия Емельяновича Красковского, в свое время много пережившего, с которым мы жили вместе еще у Пыриковых в Смоленской губернии; Борю Непомнящего, всегда страдавшего из-за идейного расхождения со своей женой.

Исключительно яркой личностью был Сережа Булыгин, сын современника Л. Н. Толстого, писавшего и печатавшего о Толстом воспоминания. У них с Васей укрепилась большая дружба, несмотря на некоторые расхождения во взглядах. Сережа верил в божественность Христа. С незаурядным умом у него уживалась какая-то особая мистика, близкая к мистике евангельских христиан, сектантскую веру которых он неизмеримо внутренне перерос. Красивый лицом и мятежный духом, высокий, черноволосый, курчавый, с черными глазами, весь внутренне светящийся, он горел желанием немедленно осуществить всемирное братство. Он верил в практическую возможность этого, в установление для этой цели особой аграрной реформы — землеустройства по системе Генри Джорджа. Сережа долго и упорно думал об этом, составил план и проект реформы и позднее, уже в 30-е годы, невзирая на то, что друзья не советовали ему этого делать, отвез свои материалы в ЦК ВКП(б). Не знаю, ознакомились ли там с существом его предложений, но слыхала потом, что ему дали пакет с сургучной печатью и предложили отвезти его в какое-то учреждение (может быть, в земотдел) по месту его тогдашнего жительства, т. е. в Сибкрай. Потом нам стало известно через его жену, к которой он успел заглянуть на короткое время, что, прочитав содержание пакета, привезенного самим Сережей, его арестовали и он уже

больше никогда не вернулся на свободу. Через десяток лет прошел слух, что, переправляясь в числе освобожденных арестантов на пароходе, он погиб вместе со всеми на утонувшем судне. Между прочим, дело, по которому Вася был осужден в последний раз (в 1951 г.), неизвестно по каким причинам было связано с делом Сережи, арестованным на много лет раньше, а также с делом Петра Никитича Лепехина, который был взят «по делу Булыгина» (вероятно, только потому, что у него в комнате хранился чемодан Сережи с его бумагами). Потом, когда разбиралось дело Васи и Пети Шершеневых, пересмотрено было и дело Сережи. Его жену вызвали и сказали ей, что муж ее реабилитирован. Реабилитировали и Васю, а о Петре Никитиче мы знаем, что он погиб во время войны от голода и холода на лесозаготовках. Помочь ему было некому...

Еще одно время жил у нас Илюша Колпачников. Я, по поручению Владимира Григорьевича Черткова, навещала его в московской тюрьме, куда он был заключен за отказ от воинской повинности; потом, после освобождения, он приехал к нам и вдруг, по непонятным причинам (надо думать, романтического характера), покончил с собой. Кажется, это было первым самым горестным событием у нас в то время.

Вторым горестным событием, нарушившим нашу солнечную жизнь, был арест Фаддея Ивановича Заболотского. Я помню этот день, в июне 1928 года. Цвели луга, шел сенокос, едко пахло сухим сеном и свежескошенной травой. Мы чувствовали себя молодыми, счастливыми, независимыми. Вдруг в нашу независимость ворвалась чужая воля — арестовали Фаддея. Он, желая быть до конца последовательным антимилитаристом, отказался внести деньги на военный заем. Его посадили в телегу между двумя вооруженными милиционерами и повезли. Мы все, кто тогда жил в коммуне, шли за телегой. Прошли двор, аллейку с жимолостью, свернули на дорогу. Фаддей сидел спиной к лошади и все время спокойно, кротко улыбался нам, а мы плакали и махали ему, пока телега не скрылась из виду.

Хочется привести тут недавнее письмо Юлика Егудина ко мне, в котором он рассказывает о вторичном аресте Фаддея, когда он, отбыв наказание, поселился в коммуне в Сибири. Вот что пишет Юлик:

«Вспоминается суд у нас в столовой, на Алтае. В числе других судят Фаддея Ивановича. Его слова перед судом напоминают последние слова Сократа к судьям, так

они звучат правдиво, торжественно, бесстрашно. Он, почти как Сократ, в заключение сказал: «Я кончил. Судите меня и делайте со мной что хотите». Все почти друзья прослезились от жалости».

Вероятно, об этом же событии мне рассказывал кто-то из алтайских друзей следующее: на собрании, где присутствовали представители власти, Фаддей сказал, что не может участвовать в выборах в Верховный Совет, потому что власть действует насилием, а он против насилия. Представители власти стали ему говорить, что он враг народа, что он «волк в овечьей шкуре», что такие люди, как он, очень вредны и страшны для людей. Лева Алексеев стал в защиту Фаддея говорить, что Фаддей самый миролюбивый человек, что он не обидит и муху. Левину фамилию взяли на заметку. Потом собирали подписи присутствующих на собрании о том, что Фаддей враг народа. Лева отказался подписать. За это его арестовали вместе с Фаддеем. Фаддей не вернулся, Лева же после долгих лет мытарств по тюрьмам и ссылкам вернулся. А сколько таких, как он, не вернулось!..

Где вы — дорогие, милые братья! Вероятно, давно уже на ваших могилах растет, засыхает и вновь вырастает трава, а ведь жизнь для некоторых ваших сверстников еще продолжается! Отчего же на вашу долю выпало так рано уйти? Ведь в вас столько было жизненной силы, правды, энергии! Вы несомненно были лучшими из многих людей, живших на этом свете...

Вернусь к общей жизни в Иерусалимской коммуне. С прибавлением членов коммуны, особенно с появлением в ней семейных, организация труда, распределение денежных доходов, решение многих хозяйственных вопросов — всё стало много сложнее. Появились неудовлетворенные. Кому-то, вроде Пети Шершенева, хотелось иметь побольше свободного времени для живописи, кому-то хотелось удовлетворить уже не такие скромные, как это было у первопришельцев, потребности своих семейных. И потребности, и трудоспособность оказались различными. Митрофану как председателю хотелось во что бы то ни стало сохранить в коммуне дух опрощенчества и братства, какой был в ней в первое время. Ему совершенно чужды и противны были мещанские, с его точки зрения, традиции семейного быта, всякое проявление личного эгоизма. Он требовал подчинения, и его председательство стало носить несколько деспотический характер. Собрания становились

бурными, накопившиеся вопросы не находили разрешения. Митрофану предложили снять с себя обязанности председателя, выбран был Вася Шершенев. К этому времени Вася уже был моим мужем. Ему пришлось встать во главе уже очень разношерстного и в то время взволнованного коллектива. Были недовольные матерями. В их адрес направлялись упреки. Васино положение осложнялось еще тем, что в то время и у нас был маленький ребенок, я страстно отдалась материнству и сильно оторвалась душой от коммунальной жизни. Во-первых, ребенок не давал мне возможности участвовать в общих работах, а также присутствовать на общих собраниях и вечерах отдыха; во-вторых, потому что я как бы, если так можно выразиться, опоэтизировала слишком свое материнство. Да и уход за ребенком требовался большой. И потому, что мальчик был слабым и много болел, и еще потому, что воспитывала я его, не имея никого, кто мог бы мне помочь, и руководствуясь книжными указаниями и советами врачей в консультации, т. е. исключительно чисто, аккуратно, по всем правилам и не отступая от режима. В какой-то степени материнство тогда заслонило от меня радостное значение трудового братства нашей коммунальной семьи, не хватало сил и умения сочетать одно с другим. Я часто проводила ночи без сна с больным Федей, а потом вставала в четыре часа утра на дойку. Это было не легко, но что делать!.. «Нельзя в условиях коммунального труда тратить столько времени на ребенка! — говорил Сережа Синев.— У меня нет ребенка, но зато я хочу иметь время для рисования». Некоторые считали несправедливым то, что матери работают меньше холостяков, а получают столько же. На общих собраниях вставал вопрос, как сделать так, чтобы, уделяя достаточное время детям, не ущемлять материального положения холостяков. Количество времени по уходу и необходимые для него средства тоже определяли различно. Мои желания (например, Марте Толкач) казались преувеличенными, она воспитывала своих детей проще и осуждала меня. Осуждали и Юлию Рутковскую, которая одно время вовсе отказывалась из-за маленького сына принимать участие в общем труде, а также отказывалась кому бы то ни было (исключая Дуню Трифонову) доверить своего Витуся. Но в конце концов всё понемногу отрегулировалось, нашелся выход, все успокоились и помирились. Много этому содействовала мягкость и миролюбие Коли Любимова (у него тоже были маленькие дети), равновесие и справед-

ливость Вани Рутковского, никогда не защищавшего эгоистические выпады Юлии. Решено было матерям, кроме выходного дня в неделю, иметь еще один выходной, для обслуживания детей; устранили от дойки женщин, страдающих ревматизмом рук, и на нас с Варей Филипповой возложили обязанность ухаживать за всеми детьми коллектива. Сначала противившаяся этому, Юля потом стала доверять нам Витуся и сама включилась в дежурство по уходу за всеми детьми. Мужчины сделали нам манеж из прутьев, который мы выносили на лужок, где и паслись все наши малыши.

Пошли навстречу и нашим художникам. Общим собранием решили признать за Петей особые способности к рисованию и выделить ему два часа в день. Прокофий Павлович сказал на собрании: «Пойманный художником момент в природе неповторим, этим надо дорожить». Петя Шершенев стал много работать над живописью. Если не ошибаюсь, и Синеву, чтобы не обидеть, тоже дали такую возможность, хотя его данные как художника были очень слабые. Петя в то время, загорелый, с чалмой на голове, стройный — сам был настоящим сыном природы. Георгий называл его солнечным братом. Спустя много лет ко мне попали чьи-то стихи, которые Е. И. Попов прислал Пете, по-видимому, связывая их с тогдашним его состоянием:

Не мир хорош, а хороша
Порой в тебе твоя душа.
И не гармония природы
Звучит среди лесов и вод,
А сердце в чистый миг свободы
Само в груди твоей поет...

Думается, были у нас тогда и раздолье природы, и чистота сердец, и желание свободно и правильно мыслить и жить. Поэтому и удавалось Васе, которому было еще только двадцать пять лет, справляться со сложной обязанностью председателя. Хотя надо сказать, что он обладал большим тактом, выдержкой и вместе с тем решительностью, которые помогали ему быть главой и душой общества, где был общий котел, общий бюджет, в котором надо было сберечь принцип «давать по способности и брать по потребности». Надо было выявить и реализовать способности и не дать разыграться потребностям. Надо было, чтобы расчет не умертвил братства и радостей труда. Конечно, были у нас промахи, но все-таки вся жизнь коммуны того времени имела характер подъема, доверия, снисхож-

дения и настоящей радости труда. Отдельные штрихи недовольства нейтрализовались общим настроем добродушия, веселости и молодого счастья.

Жизнь начиналась с трех-четырех часов утра, а то и с двух часов ночи. Дежурный будил сначала того, кто должен был отправить на станции в товарном вагоне в Москву молоко; потом тех, кто доил коров и выезжал пахать или косить. Кто-то вскакивал по первому зову, кто-то вставал сам, кого-то трудно было добудиться, но от своих обязанностей никто не отлынивал. А вечером, особенно в первые годы, непременно было веселье. Веселье до изнеможения. Несмотря на усталость, играли в лапту, в горелки, а зимой устраивали спектакли, пели, шутили и просто дурачились и смеялись до упаду. Вася и Митрофан были зачинщиками веселья, которое, впрочем, забирало всех. Летом в нем принимали участие и наши гости — дачники: Н. Ф. Страхова с сыном и мужем, Куракины, Добролюбовы; приезжали к нам и из колонии Арманд. Никто не стеснялся и не жеманился. Много удовольствия доставила нам Надежда Григорьевна Добролюбова своим удивительно мягким, задушевным и мелодичным пением. У нее образовалась привычка всем нам по очереди как бы «посвящать» из своего репертуара что-либо, по ее мнению, имевшее отношение к каждому из нас. Мне она «посвятила» романс Рахманинова «Сирень», а Васе — «Жаворонка» Глинки. На всю жизнь милая песенка этого полевого жителя и для меня, и для Васи была связана с той порой нашей молодости.

Как-то летом одно из наших помещений занимал детский очаг — пункт, организованный Вегетарианским обществом для маленьких беспризорных детей. Мы ребятишек называли «пунктиками» и снабжали молоком и овощами. Руководительницей очага тогда была Саша Знаменская. У нее тоже был мелодичный голос и тонкая, своеобразная манера петь русские народные песни и старинные романсы. Бывало, после трудового дня соберутся где-нибудь под луной, на ступеньках террасы, и кто-нибудь скажет: «А ну-ка, Сашенька, затяни нам «Ноченьку». Кто-то вторит, кто-то подтягивает. Не могли мы знать тогда, что это были лучшие наши дни, лучшие и неповторимые... Вася и Митрофан были неистощимыми рассказчиками. У них всегда находился новый материал для отображения когонибудь в лицах. Исполнительский контакт создавался на лету, один удачно и своевременно дополнял другого.

Был у наших коммунаров и другой репертуар, не имеющий почти никакого содержания, но вызывавший всегда столько смеха и веселья, что он мне запомнился. С этим репертуаром они выступали однажды зимой даже в железнодорожной колонии «Железниково» (или «Дубрава», теперь я уже запамятовала), выехав туда в сопровождении чуть ли не всех нас на санях, да не на одних, а целым поездом. То был очень морозный день, под полозьями скрипел и искрился снег. Чтобы согреться, мужчины выскакивали из саней и догоняли лошадей бегом. Инсценировали старинную песню «Три красавицы небес шли по улицам Мадрида. Донна Клара, донна Рес и красавица Пепита». «Красавицами» были Вася, Петя и Коля Любимов. Они наряжались в наши женские яркие платья, юбки и платки. Нищим, поцеловавшим Пепиту, был Митрофан, а продавцом роз — Георгий Васильев. Они изображали всё это с феноменальной серьезностью и до того смешной грацией, что трудно было от смеха не свалиться на пол. Митрофан, вместо роз, преподносил Пепите (Пете) веник-голяк. Уморительней всех выглядел наш скромный Коляшка Любимов, в сильно декольтированном платье и платочке, завязанном на затылке.

Иногда после ужина, в длинные зимние вечера, вдруг расшалившись, к ужасу хозяев, по какому-то сигналу взрослые балагуры схватывали с плиты и откуда ни попало кастрюли, крышки и сковородки и в кухне гремел душу раздирающий шумовой оркестр. Миша Благовещенский и еще кто-нибудь плясали трепака.

Тоже, конечно, зимой ставили мы спектакли. Помню «Живой труп» Толстого. Вася играл Федю Протасова, Митрофан — Каренина, Надя или Соня Никитина — Лизу, Костя был режиссером. Приезжали гости из Москвы. Петр Никитич организовывал в кухне чтения литературных произведений, пытался наладить регулярное чтение «Круга чтения» и «На каждый день», но это как-то не прививалось, хотя беседы на серьезные темы — о смысле жизни и различном проявлении нравственности и ее ступенях и о других серьезных вопросах — затягивались иногда далеко за полночь.

У Васи были хорошие черты — прямота и благожелательность. Эти черты помогали ему откровенно говорить людям об их неправоте и оставаться с ними в самых хороших отношениях. Так было и с Митрофаном. Васе пришлось много спорить с ним, поправлять его и делать за-

мечания. Пришлось сказать ему и о решении общего собрания устранить его с должности председателя, а потом самому принять эту должность. Вместе с тем до конца дней он оставался с ним в самых хороших отношениях. Митрофана, конечно, обидела отставка, но, несмотря на это, он говорил потом, что стерпел это потому, что именно Вася занял его место, что только ему он мог доверить коммуну. Вместе с тем Митрофан знал, что Вася, а не кто иной поднял вопрос о его — Митрофана — смещении.

В сентябре 1928 года Васе предложили заведование в зимнее время вегетарианской столовой в Москве. Вася поехал попробовать и познакомиться с делом, но вернулся через некоторое время назад, убедившись, что не может смотреть сквозь пальцы на злоупотребления служащих, к которым они очень уже привыкли, а заводить свои порядки значило бы набирать новый штат сотрудников. Это было бы очень большим делом, требующим много времени, а Вася мог им заниматься только в зимнее время, когда была возможность отлучиться из коммуны. Если не ошибаюсь, в то же время Вася был избран председателем Вегетарианского общества и после этого стал часто уезжать в Москву.

В 1924 году Вася был в числе делегатов мирных антимилитаристов. Делегация была на приеме у Сталина. Просила о легализации и о невмешательстве в их жизнь и труд. Подробных пунктов их заявления я не помню, но помню, что Сталин принял их хорошо и сказал: «В военном деле вы нам не помощники, а в мирном строительстве мы знаем вас как людей честных и трудолюбивых».

Как официальный представитель коммуны Вася хорошо умел ладить с местными властями. В хозяйственном отношении коммуна вышла на первое место в районе. Все окружающее население полюбило нас. Многие пользовались нашими семенами, которые, к слову сказать, выращивал Ваня Зуев, не принимавший в других работах участия. В коммуну местное население приходило за советами по хозяйству, мы оказывали некоторым из одиноких женщин физическую помощь. У нас был устроен для имеющих коров сливной молочный пункт, что крестьянам, конечно, было очень удобно. Мы становились популярными, о нас говорили, нас ставили в пример другим хозяйствам. Но... идеология наша была чужда местной власти. Мы своих убеждений никому не навязывали и отнюдь не вели никакой пропаганды. Но сама популярность наша и большое расположение окружающего населения заставляло начальст-

во относиться к нам настороженно, и кончилось тем, что нам было предложено принимать в члены нашей коммуны окружающее население и всех тех, кого пожелает к нам прислать начальство. Это и было началом нашего конца.

К тому времени коммуна наша разрослась. За столом нас собиралось не менее 30—35 человек. Пополнять коллектив, да еще чужими нам людьми, нам не хотелось. Все мы вегетарианствовали, никто не пил, не курил, не сквернословил. Мы хорошо понимали, что стройность уклада нашей жизни сохранялась у нас благодаря общности убеждений большинства, доверию и уважению друг к другу. Понимали, что удержаться нашей коммуне имени Льва Николаевича Толстого, т. е. сохранить ее миролюбивый и свободный дух, не удастся, если вольются в коммуну люди, не только не разделяющие наших убеждений, но посягающие всячески им противодействовать. Сначала нам просто предлагали изменить лицо нашего коллектива, потом поставили это ультимативно. Представители местной власти приезжали к нам на наши общие собрания. Вася председательствовал и прямо говорил о том, что без общности и внутренней сплоченности не может по-прежнему хорошо протекать наша жизнь, изменится и продуктивность труда.

Общего языка и общего решения с представителями власти найдено не было. Нас упрекали, что мы живем слишком замкнуто. «Вы болтаетесь между небом и землей», «вы ни Богу свечка, ни черту кочерга»,— говорили нам и, в конце концов, объявили, что мы должны готовиться к переформированию коммуны в совхоз и слиться с другой организацией, а также переименоваться в «Красный Октябрь». В этом вливающемся к нам совхозе имеется свой устав, который должны принять и мы. Нам дали срок, когда нам следует принять новых членов «Красного Октября».

Началось волнение, обсуждение. Некоторые семьи, как, например, Толкачи, приехали к нам издалека, ликвидировав свое хозяйство и внеся в коммуну фонд — в виде коров и кое-какого инвентаря. Не так-то легко было сразу сняться с места, да и куда направиться? Кто-то мог уйти налегке и хотел это сделать немедленно; кому-то верилось, что можно опять, в другом месте, возродить дорогое нам дело; кто-то предполагал на некоторое время остаться в новом коллективе. Надо было сдавать наше хозяйство новому коллективу. Многие собирались переезжать в коммуну «Шестаковка», куда нас охотно принимали. На-

значен был день и час, когда должны были приехать представители из районного центра, земельного управления и вновь вливающегося коллектива. (Часть их уже переехала к нам и разместилась в наших домах.)

Тут-то и случилось такое, чего, вероятно, не забыл никто из нас. Оно-то, не дав нам опомниться, решило дальнейшую судьбу многих...

К тому времени нашему сыну Феде было два года. О том, как всё произошло, мне напомнила запись из дневника, который я много лет вела для Феди, обращаясь прямо к нему. Эту запись я сделала в Ховрине, где мы временно летом 1929 года поселились:

«Прошел почти месяц с тех пор, как я в последний раз записывала в этом дневнике. Роковой месяц! Мне кажется, прошло несколько месяцев, так много произошло за это время. Около двух часов дня, 29-го апреля, у нас вспыхнул пожар. В этот день ликвидационная комиссия должна была принимать наше хозяйство. Все лошади были заняты перевозкой вещей коммунаров, воды привезти было не на чем и, чего никогда не бывало, нигде не было запаса воды. По-видимому, труба выкинула горящую сажу на уже успевшую подсохнуть под весенним солнцем дранку крыши. Ветер быстро раздувал пламя. На открытом воздухе огнетушители не действовали. Горел дом, в котором жили мы, Рутковские, Ваня Зуев, Дуня Трифонова и кто-то из новых членов «Красного Октября». Ты спал в одной рубашечке и проснулся от какого-то шума на лестнице. Выбежав на этот шум и топот, Вася тут же крикнул мне: «Одевай скорее Федю, у нас пожар!» Потом всё завертелось, замелькало, забегало, загудело. Я никак не могла всунуть твои ноги в штанишки, одежда твоя вдруг куда-то пропала. Потом я сдала тебя на руки Марте Толкач, а сама бросилась выносить вещи. Марта держала тебя перед самым пожаром, потом передала Илюше Алексееву, который почему-то тоже сел на попавшийся ему под ноги стул и сидел перед полыхающим домом. Я вбегала и выбегала из дома и потом вдруг сообразила, что ты можешь перепугаться. Поэтому напустив на себя спокойствие, подошла к тебе и сказала: «Ты на что смотришь? На огонек? Хороший, большой огонек, правда?» Я не могла себе представить, что меня кто-то слушает, что за мной следят, что моим словам придают совсем иной смысл и записывают, что они дают повод заподозрить нас в поджоге. Между мечущимися коммунарами с вещами, ведрами появились люди с красными

ободками на фуражках, из уголовного розыска. Я искала глазами твоего отца и видела его то разбрасывающего крышу с соседнего сарая, который тоже начинал гореть, то дающего какие-то распоряжения, то с ведрами воды в руках. Потом, когда с большим опозданием приехала из Воскресенска пожарная команда, он бессменно качал насосом из пруда воду. Забежав ко мне на минуту, он сказал: «Меня, вероятно, сейчас арестуют».— «Почему?» — «Будут обвинять в поджоге».

По двору разбредались, тихо и плавно, выпущенные из скотного двора коровы и принимались как ни в чем не бывало щипать траву. Люди из уголовного розыска их куда-то бессмысленно и безрезультатно, сидя на лошадях, загоняли.

Узнав, что я жена председателя, мне тут же, в суете, стали задавать вопросы: «Не знаете ли, отчего загорелось?» и проч.

Прибежавшие из деревни бабы помогали перетаскивать пожитки в другой дом, причитали и говорили между собой что-то совсем несуразное, например: «Вишь, вздумали выгонять коммунаров! Нешто это возможно? Люди-то какие хорошие, сколько лет жили, работали. Понятное дело, как же тут пожару не случиться!..»

Мебель нашу кто-то выбросил со второго этажа, и она, конечно, сломалась. Мальчишки из деревни рылись в куче мелочей... Рояль отца, который в то время был у нас в коммуне, коммунары увезли к сестре в Москву за несколько дней до пожара. «Заподозрят нас теперь в поджоге, непременно заподозрят»,— говорили наши женщины. Я их урезонивала, успокаивала рыдавшую навзрыд Нину, говорила, что не надо так отчаиваться, и тоже не подозревала, что и это мне будет поставлено на вид как улика в поджоге. Тебя я посадила с Илюшей в комнате уцелевшего дома, всунула ножки в откуда-то вынырнувшие валенки. Дом догорал. Отца твоего, Ваню Зуева и Ваню Рутковского рассадили по разным комнатам и по очереди вызывали на допрос. Илюша отдал тебя Нине, которая совсем обезумела и то причитала, то плакала. Ты плакал у нее на руках. Покормить тебя было нечем, ты целый день не ел. Но мне не пришлось заняться тобой. «Собери мои вещи: белье и еще что-нибудь. Найди документы, я их кому-то передал»,— сказал, войдя в комнату, твой отец. Задача была трудная. У тебя же начался понос... Кое-как я отыскала всё, что просил папа, сварила тебе что-то, но только начала кор-

мить, как и меня вызвали на допрос.— Происхождение? образование? как провела время до возникновения пожара? когда вышла замуж? когда расписалась? когда фактически вышла замуж, «выражаясь по-русски»?.. Я не нашлась оборвать и остановить его!

— Вы толстовка?

— Я разделяю взгляды Толстого.

— Не с детства, не по убеждениям, а так, случайно?

— Нет, сознательно.

— А зачем же просите дать вам прочесть протокол, прежде чем подписаться? Толстовцы должны верить всем людям!

Мне было дано всего десять минут для сборов в Воскресенск «для допросика», но молодой конвойный задерживал меня: «Ведь Лев Толстой проповедовал, что надо всех любить, всем верить, а вы вот не верите! И Зуев ваш тоже не настоящий толстовец, он тоже не поверил агенту и читал протокол...»

Когда я вернулась в комнату, ты, Федюша, мой бедный, спал. Твой папа подошел ко мне, чтобы попрощаться, но я с радостью объявила ему, что иду вместе с ним.

— И тебя тоже?

— Да, вместе.

— На кого же оставим Федю?..

— Я останусь с ним, не тревожься, Алечка, пожалуйста,— сказала Дуня Трифонова. Ей можно было поручить мальчика. Мы поцеловались.

— Трифонова, вы тоже собирайтесь...— сказал все тот же конвойный, заглянув к нам.

Ваня Рутковский переобувался после пожара и никак ничего у него не получалось, всё было мокрое, сухого найти было невозможно. Я тоже ничего для себя не могла найти в царящем хаосе. Кто-то из своих совал мне и Ване какие-то платки, носки, шали. Тихонько притронувшись к тебе губами, я собралась к походу.

— Не оставим Федю, будь покойна,— сказал Коля. Он как-то особенно заботливо и ласково поцеловал меня. Марта суетливо и удивленно спрашивала: «Разве их арестовали?»

— А вы думаете, гулять ведем? — сказал конвойный.

Прокофий Павлович как сел после того, как кончили тушить, так и сидел на каком-то узле. Сидел и молчал, опустив голову к самым коленям.

Мы вышли на крыльцо и погрузились во тьму, в снег, весеннюю слякоть и воду. Кто-то провожал нас до аллеи.

Помню только Колино родное лицо и словно виноватую улыбку. Глаза его говорили: «Что же вы без меня? Я-то почему остался?»

Конвойные предложили нам с Дуней сесть вместе с ними на телегу. «Женщинам особое уважение, а вы — мужчины — уж пешочком!» — сказали они. Мне хотелось побыть со своими, с Васей, а не в обществе милиционера, и несмотря на то, что Вася и Ваня убеждали меня не тратить попусту силы, мы с Дуней пошли пешком и не раскаялись. Агенты уехали, поручив нас конвойному. Ночь была теплая, небо чистое, появились звезды. Казалось, что слышно было, как таял последний снег, шлепали по грязи наши шаги, шуршали, переливая воду в лужах, колеса ехавшего позади конвойного. Вскоре надоело, видно, и ему, и он очень вежливо просил нас дойти самостоятельно до Воскресенского отделения милиции. Вася тоже очень вежливо обещал ему это и повторил за ним сообщенный адрес. Мы остались одни. До шоссе дорога была очень плохая, Вася то и дело подавал мне руку, помогая выбираться из грязи. Когда вышли на шоссе, пошли шеренгой. Я шла между Ваней Свинобурко и Васей. Вся наша пятерка была объединена сознанием невиновности, внутренней свободы и готовностью встретить новую форму жизни бодро, хотя трудно было постичь, как всё это вдруг свалилось так внезапно на наши плечи. «Сон какой-то! До чего странно, прямо не верится, что это не сон»,— говорил Вася. Действительно, трудно укладывалось в сознании все случившееся. Надо же было вспыхнуть пожару тогда, когда так естественно было заподозрить нас в поджоге! Мы были готовы расстаться с детьми, с семьями, друг с другом надолго. «Я сейчас подумал,— сказал Ваня Зуев,— как хорошо быть честным и проводить этот принцип всегда и без исключения. Я знаю — что бы меня ни спросили, я всегда буду говорить только правду, и поэтому мне нечего беспокоиться». Все вполне согласились с ним. Будь же и ты, наш мальчик, всегда честным, как в большом, так и в малом.

В милицию мы пришли в половине двенадцатого ночи. Пока нас допрашивали, из соседней комнаты рвались пьяные, громко ругаясь.

— Сколько вам лет? — спрашивали меня.

— Двадцать четыре года.

— Моя ровесница! — прокричал пьяный голос и крепко выругался. Вася вздрогнул и зачем-то усадил меня ря-

дом с собой. Конвойного, дожидавшегося нас возле милиции, отпустили. «Странные люди,— сказал кто-то,— пять человек, пришли одни, без конвоя».

— Идемте! — и нас с вооруженной, но уже другой охраной провели через двор в воскресенский домзак, устроенный в бывшем Иерусалимском монастыре. Когда вели, Вася говорил: «Всё это не случайно! В этом есть какой-то смысл». И я тоже верила, что ничто в жизни не случайно.

Потом вонючая камера, параша, звон запирающегося замка и крепкий молодой сон в первую ночь, вместе с Дуней, на каменном полу. На следующий день нам дали место, одно на двоих, на нарах.

Я изо всех сил старалась как-то убить время, чтобы не думать о тебе, и вдруг... знакомый кашель! Вася в соседней камере? Потом передача из коммуны, забота друзей, конечно, Коли Любимова. Мой отказ от мясного супа и сухая, до жути пересоленная пшенная каша, которую мы умудрились выбросить на крышу голубям. Неожиданное столкновение (в коридоре) со своими — на одну секунду. Надзиратели не грубые, мне казалось, что сочувствовали, я была им благодарна. В камере — кроме нас с Дуней, женщины, взятые за проституцию. Они что-то запели, и мы для единения подтянули им. Хотелось показать, что мы не смотрим на них свысока, хотелось поговорить. Может быть, с ними или с такими на долгие годы... Готовность на всё, подъем, сила молодых лет. Вера в торжество правды и добра везде и всюду. Готовность ко всему, но ужас и страх перед возможным расстрелом Васи. Тогда было много расстрелов. То и дело в газетах публиковали: «Расстрел за поджог в колхозе»... Докажем ли, что мы не поджигали? Останется ли Вася живым? Хотелось всё, всё пережить вместе. Только бы вместе!

Я просунула записку в ту камеру, откуда слышен был Васин кашель. Получилось что-то ужасное: в отверстии между нашими камерами застряла кем-то, может быть, очень давно просовываемая записка, а я своей её протолкнула. Моя же осталась между стен. Вася принял записку. В ней кто-то выражал полное отчаяние, намерение покончить с собой. Почерк был не мой, но Вася подумал, что он изменился от внутреннего состояния. Всё выяснилось, когда протолкнулась моя следующая записка.

Нашему хорошему другу и большому другу Сережи Булыгина, Надежде Варфоломеевне Виноградовой, рабо-

тавшей в то время врачом-психоневрологом в воскресенской больнице и, по-видимому, имевшей какие-то связи, удалось выхлопотать (как врачу) с нами свидание. Сначала с Васей, потом со мной. Она сообщила, что Коля Любимов хлопочет, чтобы к нам в коммуну выехала из Москвы пожарная экспертная комиссия, что все друзья взволнованы случившимся с нами, что ты у сестры Наташи, жив, здоров и благополучен, что Иван Иванович Горбунов хочет ходатайствовать о взятии нас всех на поруки до суда. Раза два меня вызывали на допрос. Спрашивали, почему я во время пожара говорила ребенку про «хороший огонек», почему останавливала все толки своих о возможном подозрении в поджоге; где была, когда загорелся дом. Через десять дней нас с Дуней выпустили. У выхода из тюрьмы нас встречали сестра Наташа и Коля Любимов. Коля снял угол в Воскресенске, носил нам передачи, связался с Горбуновыми, хлопотал о выезде экспертной комиссии: как секретарь коммуны был занят еще и сдачей имущества коммуны.»

Наташа привезла меня к себе в московскую квартиру. Федя в момент приезда спал, уложенный Елеазаром Ивановичем на кресло возле Наташиной постели. Увидя меня, он как-то очень взволновался, губки задрожали, ручонки потянулись сначала к Наташе, а потом уже ко мне, долго всхлипывал и не отрывался от меня.

Потом разыскивала юриста, ходила с Иваном Ивановичем к Н. К. Муравьеву (адвокату), составляла вместе с ним заявления, встречалась с друзьями, и в душе поднималась волна страшной тревоги за судьбу Васи и обоих Вань. Иван Иванович приезжал в Воскресенск к следователю и лично ходатайствовал, чтобы отпустили арестованных ему на поруки. И их отпустили до суда.

Так закончился период Нового Иерусалима.

Сестра Наташа и ее муж Елеазар Иванович Пыриков предложили нам до суда, решение которого должно было выяснить наше дальнейшее положение в жизни, пожить у них на даче, при станции Ховрино. Мы переехали к ним, и вскоре к нам приехал еще и Ваня Зуев.

Наконец был назначен суд. Московская экспертная пожарная комиссия, выезжавшая на сгоревший участок нашей коммуны, дала заключение, что в уцелевшей после пожара кирпичной трубе была трещина, через которую вполне могла проникнуть искра на сухую дранку крыши. Тем более что, как было установлено, печь в сгоревшем доме,

обогревавшая и нижний и верхний этажи, топилась почти без перерыва, обслуживая два больших коллектива. А в день пожара в ней два раза подряд выпекались хлебы.

Вася как председатель коммуны обвинялся в халатном отношении к государственному имуществу (не усмотрел трещину в трубе). Ему присудили отработать несколько месяцев с выплатой зарплаты государству. Это было лучшее, что могло быть. Трещина в трубе, т. е. выявление ее пожарной командой, вызванной Колей Любимовым, выручила нас.

Васе надо было срочно поступать на работу. Мы перебрались в предоставленную нам Клавдией Дмитриевной Платоновой служебную комнату в Хамовническом доме Толстого. В поисках работы Вася ездил в Воронеж. У нас, вместе с Ваней Зуевым, были планы ехать или в Воронеж или на Кавказ и там вместе начинать устройство новой жизни. Но в Воронеже Вася ничего подходящего не нашел и поступил работать на хорошо оплачиваемую, но ужасно физически тяжелую работу каменоломщиком. К нему присоединился тогда остро нуждающийся материально Сережа Булыгин. Они ездили на какое-то вновь строящееся подмосковное шоссе, где разбивали и подносили камни. Руки у них были в кровавых мозолях. Все тело болело и ныло. Приходя домой, т. е. в Хамовники, Вася еле добирался до постели от усталости. Но из жалованья большую часть вычитали по суду, многое сгорело у нас и пропало, и Вася решил терпеть. Настроение у него продолжало быть бодрым. Уныние вообще было ему не свойственно.

Через некоторое время надо было освобождать занимаемое нами помещение. Вася свез нас с Федей в коммуну «Шестаковка» в район Красной Пахры. Там уже жили некоторые из наших иерусалимских коммунаров.

В первое время я чувствовала себя в Шестаковке плохо. Очень недоставало Васи, который приходил туда (от Москвы до коммуны было верст десять) пешком. Там были свои правила, своя спайка, свой уклад жизни, к которым надо было привыкать. Я встретилась с большой внутренней культурой Мазурина, с мягкостью характера Александра Николаевича Ганусевича и еще некоторых других, но вообще, как мне казалось тогда, того и другого недоставало в общем настрое той жизни. Кроме того, лично для меня снова встали трудности с воспитанием ребенка. Федя, которому было немного больше двух лет, связывал меня

по рукам. Дети коммунаров слонялись кто где, грязные, без присмотра. Остальные матери как-то привыкли к этому и приспособились. Я не могла привыкнуть, продолжала придерживаться для мальчика и режима, и, вероятно, преувеличенной чистоты. Организовать, как в Иерусалиме, детский очаг я и не пыталась, совершенно не чувствуя единодушия с некоторыми матерями, которые, в свою очередь, вероятно, считали мое поведение барским. Не хватило у меня сил охватить все положение самолюбия и с бóльшим пониманием интересов общего дела. И там не нашлось никого, кто понял бы меня. Вася, приходя на выходные к нам, не находил успокоения, видя, что наша жизнь так плохо налаживается. И когда кончилась его сезонная работа на шоссе, он решил вступить в артель по производству графита для какого-то тогда нового вида полов. Мы с Федей переехали в Москву во временно снятую комнату на Плющихе.

Работа с графитом тоже была тяжелая и очень грязная. Они с Елеазаром Ивановичем Пыриковым, который тоже вступил в эту артель, ежедневно мылись в бане и даже там не могли отмыть глубоко въедавшуюся пыль графита.

Вася часто бывал в чертковском доме и на собраниях в Вегетарианском обществе, в делах которого принимал участие. Работа с графитом в артели не подошла Васе. Оказалось, что дело строилось на каких-то беспринципных началах, организатор его проявил себя человеком непорядочным. Связь с ним Вася посчитал недопустимой, и мы снова вернулись в Шестаковку. Вася старался поддержать меня, выступал на общих собраниях, горячился и огорчался непониманием некоторых. Но постепенно острота положения сгладилась. Осенью, когда стало холодно, а дети продолжали бегать в грязь и дождь без присмотра, уже не только я, но и другие матери стали испытывать затруднения, тем более что дети простужались и начали болеть. И тут опять помог Коля Любимов, который тоже перебрался в Шестаковку. Он в то время был слаб здоровьем, не мог участвовать в тяжелых работах и предложил на собрании присматривать за всеми детьми со мной на смену. Дети его любили за мягкость и какую-то женственность в характере, и он, помню, обращался со всеми малышами (своими и чужими) удивительно ласково и заботливо. В коммуне тогда уже жил опять с нами Евгений Иванович, который вносил в общую жизнь уют и какую-то теплоту. Жизнь налажи-

валась. И вдруг Вася заболел. Сначала мы думали, что у него просто какое-то затянувшееся желудочное заболевание, но ему становилось все хуже и хуже, и приглашенный врач установил брюшной тиф. Я свезла его, лежачего, на телеге, в очень тяжелом состоянии в Москву, на Калужскую улицу, в ту самую больницу, где работала его сестра Людмила и где при больнице жила с нею их мать и младшая сестра Маня. С телеги его сняли санитары. Он был почти без сознания. Болел очень тяжело и долго. Наконец вернулся. Он был сильно ослабевший, с трудом ходил с палкой, болели ноги. К коммуне мы уже совсем привыкли, всё както уравновесилось, я стала много дежурить на кухне; с Федей часто оставался Евгений Иванович. Вася поправился и стал на сменку с Колей возить в Москву молоко, сначала на телеге, потом на санях. Это давало ему возможность часто видеться с матерью. Он немного помогал ей, привозя молоко и овощи. Казалось бы, всё налаживалось, но не тут-то было. Местным органам власти уже давно не нравилась идеология коммуны, на нас надвигались те же тучи, что и в Новом Иерусалиме.

Началась ликвидация и коммуны «Жизнь и труд». Вася был в числе делегации, направившейся к Сталину с ходатайством о выделении земли и предоставлении людям права на жизнь и труд. В ходатайстве были выражены желания и возможности людей, имеющих свои взгляды на жизнь, свои религиозно-нравственные убеждения, не позволяющие им участвовать в каких бы то ни было формах насилия и убийства, а также и в других отношениях, направляющих их жизнь по своему особому руслу. Предусматривалось и вегетарианство, не позволяющее этим людям заниматься разведением скота, и невозможность обучать детей в общих школах, где проводилось военное обучение. Над составлением этого ходатайства много думали, об этом много говорили, спорили, волновались. В этом принимали участие и некоторые московские друзья. Не помню, в чем именно правительство пошло навстречу, а в чем было несогласно с ходатайством делегатов, но землю дали в Сибири. Мы готовились к переселению. В кухне ежедневно женщины пекли хлебы и сушили сухари, овощи, картофель. В Запсибкрай стягивались люди с Кавказа, из Смоленской губернии и из других мест. В марте 1931 года, когда уже шла речь о назначении дня отъезда, Васю вызвали в Москву. Владимиру Григорьевичу Черткову, тогда сильно ослабевшему, нужен был секретарь-санитар, и его друзья — Ни-

колай Сергеевич Родионов и Алексей Петрович Сергеенко, считая Васю очень подходящим для этого дела, просили нас не уезжать, а остаться в Москве, переехав к Чертковым. Вася посчитал невозможным отказаться от этого предложения, и, кажется, в апреле 1931 года, когда Феде было уже почти четыре года, мы переехали вместо Сибири в Лефортовский переулок, в дом Чертковых.

Б. В. МАЗУРИН

РАССКАЗ И РАЗДУМЬЯ ОБ ИСТОРИИ ОДНОЙ ТОЛСТОВСКОЙ КОММУНЫ «ЖИЗНЬ И ТРУД»

Часть I.

ПОД МОСКВОЙ

ШЕСТАКОВКА

(1921—1931)

31 декабря 1921 года несколько молодых людей, решивших вести коллективное сельское хозяйство, заключили с УЗО (Московский уездный земельный отдел) договор на аренду небольшого бывшего помещичьего имения, носившего название Шестаковка. Площадь всех угодий — пашня, луг, парк, сад, кустарник и пруд — всего 50 гектар.

В старом липовом парке стояли два больших деревянных дома, а возле небольшого старенького скотного двора стоял еще дом, когда-то что-нибудь вроде кухни для скота и для жилья рабочих. Низ был из кирпича (одна большая комната с русской печью), выше был надстроен еще один убогий этаж из бревен, а сбоку к кузне был прирублен небольшой флигелек в три комнаты. Вот в этом-то доме и поселились новые поселенцы.

Шестаковка была совсем недалеко от Москвы, от Калужской заставы, если напрямик, кустами, проселком, то километров 12, а если по Боровскому шоссе, через деревню Никулино и село Тропарево — километров 15. Но, несмотря на близость Москвы, место было на редкость тихое и уединенное. Находилось оно в большой развилке двух железных дорог — Павелецкой и Киевской и в меньшей развилке двух шоссе — Калужского и Боровского. Поля по слегка всхолмленной местности, осиннички да кустарники. По лощине протекал небольшой ручеек, за которым расположилась деревушка Богородское (дворов 20) и еще немного в стороне село Тропарево. Судя по названию сел, земли эти когда-то были церковными, и в самом имении стояла небольшая каменная церковь старинной архитектуры, осматривать которую иногда приходили экскурсии любителей старины, и они говорили, что время ее постройки относится к царствованию Иоанна Грозного. А один из деревянных домов в парке — «старая дача», как мы называли ее, стоял уже более 100 лет и, по преданию, в ней останавливался Наполеон в 1812 году. Стояла она на хоро-

шем фундаменте из пиленого известняка, а бревна были обшиты тесом. Когда в 1928 году мы ее разобрали для постройки большого коммунального дома, то сосновые бревна звенели, как новенькие, были необычайно крепки и торцы у них были обработаны топором; видно, когда ее строили, пил еще не было.

Уезд был Московский, волость — Царицынская, сельсовет — Тропаревский, год революции — пятый.

До нас там стоял рабочий полк и вел, очевидно, небольшое подсобное хозяйство, потому что, уходя, они передали нам одну корову — Маруську — и две семнадцатилетних лошади — Во́рона и Лыску, у которых были года, кости и на костях голая кожа, потому что шерсть вся повылезла от снадобий против чесотки: из инвентаря была одна военная двуколка (та самая, на которой я как-то ехал в Москву через богатое Тропарево на лошади без шерсти, с супонью из проволоки и вдобавок чека выскочила и колесо покатилось в канаву, а проезжавшие мимо на рессорных «качках», на сытых лошадях тропаревские огородники презрительно говорили: «Вон коммуна поехала», а я, съежившись от стыда, пыжился, надевая грязное колесо). Оставил нам еще рабочий полк яму с силосом из картофельной ботвы, 70 пудов сушеных веников на корм скота и 500 пудов мороженой картошки. Вот и все. В стране был еще голод и разруха. Надо было жить и начинать хозяйство. Средств не было. Начали разбирать один из деревянных домов в парке. Пилили на чурки, кололи на дрова, вязали в вязаночки, запрягали Ворона и везли в Москву. Двенадцать километров ехали иногда целый день, у лошади не было сил. Москва бедствовала топливом, и мы меняли дрова на продукты — хлеб, сухари, фасоль, крупу и т. д. Этим питались.

Приближалась весна, добыли семян овса всего 7 пудов и этими семью пудами засеяли гектара три. Сеяли рядками, рядок от рядка сантиметров 50 и овес вырос сильный, как камыш. После первого урожая жизнь пошла легче, было вволю картошки, моркови, овощей и молоко понемногу.

Назвали наш коллектив «Жизнь и труд» — так предложил Ефим Моисеевич Сержанов, первый застрельщик всего этого дела. Это был человек необыкновенно энергичный и трудоспособный. Проработав целый день, он мог лечь, не раздеваясь, где-нибудь на дрова за печку и, поспав часа 2—3, вставал и опять брался за какое-нибудь дело.

Его товарищ и единомышленник Швильпе, Шильпа, как мы называли его упрощенно, как и Ефим Моисеевич, был душою дела. Оба они были из анархистов, образовавших свою группу «Ао», о чем я скажу еще после. Шильпа любил огородничество и любил возиться с механизмами. Он шнырял по соседним разрушенным хозяйствам, собирал поломанные машины и из них собрал косилку, жнейку-самостроску, ручную молотилку, сеялку, все это сильно помогало нам в труде. Оба они были вегетарианцами, и с первых дней было решено, что общее питание будет вегетарианское.

Еще в состав коммуны входили Завадские — большая крестьянская семья, состоящая из стариков — отца и матери, трех взрослых сыновей и двух дочерей и жены одного из сыновей. Старики были простые крестьяне, а дети все в большей или меньшей степени придерживались коммунистической идеологии и были замечательными, культурными работниками, относились к труду с большой любовью и энергией. От них я многому учился в крестьянском труде.

Еще работали в коммуне две рязанские девушки Анисья и Алена. От голода и малоземелья пришли они искать заработков у подмосковных огородников, зашли в коммуну, да так и остались в ней. Были еще два подростка из детского дома — Федя Сэпп, эстонец, и Антоша Краснов, чуваш. В дружном, трудовом, трезвом коллективе и они, естественно, вырастали трудовыми и хорошими людьми. Да еще присоединились я и мой товарищ по стремлению на землю, московский школьник Котя Муравьев. Бывал и еще народ приходящий и временный. Жили весело, трудились с большим подъемом. Чуть свет вставали, ложились, когда уже совсем темнело. Частенько, бывало, за вечерним столом сговаривались, кому сегодня дежурить ночь — кормить лошадей, подчищать у коров, собирать молоко, везти в Москву, разбудить и помочь запрячь возчику, разбудить доярок, да и вообще караулить ночью, и кто-нибудь дежурил до утра, пробыв без сна целые сутки. Разбудив доярок, в 4 часа ложился спать, а часов в 10 уже выходил на работу, причем никто его не будил. А один раз, я помню, получилось так: проработав день, я отдежурил и ночь. С молоком должен был ехать Ефим Моисеевич, а когда я его разбудил, оказалось, что он заболел — сильный жар, тогда я решил съездить сам. Развез молоко во 2-ю Градскую больницу на Б. Калужской улице, в детясли фабрики Гознак на М. Серпуховке и поехал домой. Хотелось спать, глаза сли-

пались и клевал носом. С удовольствием предвкушал, как, приехав домой, завалюсь спать. Приехал — а там тревога,— куда-то делись жеребята, то ли убежали сами,— надо искать. И я побежал тоже. А когда нашли, я повалился на солому во дворе и заснул. Потом подсчитал — пробыл без сна, в труде 36 часов.

Но все это тогда не тяготило, и хозяйство быстро шло в гору. Уже с начала 23 года хозяйство стало товарным, мы снабжали молоком 2-ю Градскую больницу и детские ясли фабрики Гознак, причем молоко было всегда отличного качества и доставлялось на кухни ежедневно в течение более семи лет аккуратно рано утром.

Все дела обсуждались сообща за столом в завтрак, обед, ужин. Никто не был официальным руководителем. Наоборот, мы стремились, чтобы все члены коммуны были всегда в курсе всех дел, и решили, что все по очереди, сменяясь каждый день, будут руководить текущими работами — дежурить.

В начале нас совсем никто не касался. Мы не знали ни прописки, ни устава, ни налогов, ни разных сельскохозяйственных инструкций и т. д. А дело шло хорошо.

Единственным недостатком (как я это теперь вижу) было чрезмерное увлечение трудом. Труд поглощал все время, все силы, все внимание. Это, конечно, было ненормально, а может быть, этого требовало само время, надо было стране выходить из разрухи и голода каким-то чрезмерным усилием.

Здесь хочу немного сказать об «Аоистах» — Сержанове и Швильпе, поскольку они были первыми зачинателями этого дела. Вначале они были анархистами, потом отделились в свое особое течение.

Сержанов как-то раз сказал мне: «Мы, собственно говоря, не анархисты, а экстархисты — т. е. внегосударственники». Зная мой толстовский уклон, они говорили: «Вот вы, толстовцы, стремитесь к естественному, а мы, наоборот, считаем естественное — диким, хаосом. Мы считаем, что всё, всё в области человеческой жизни без исключения надо совершенствовать, изобретать. Надо изобретать так, чтобы все было разумно, целесообразно. Например, язык, на котором сейчас говорят люди, это же такой бессмысленный хаос. Надо, чтобы каждое слово имело связь с родственными словами и понятиями. Ну, например — нос. Почему нос? откуда это? — все должно бы быть так: запах, пахнуть, тогда логически надо бы говорить — ню-

халка, а не нос», и т. д. Это, конечно, я взял грубый пример, но они изобрели свой язык «Ао». Они говорили меж собой на нем. Дали себе имена, которые имели свой смысл. Сержанов был Биаэльби, что-то вроде изобретатель жизни, а Швильпе — Биаби, тоже что-то вроде этого. Называли они себя по-русски — всеизобретатели. Они мечтали создавать искусственные солнца, устроить межпланетные сообщения. Они хотели сделать жизнь человека вечной. У них был на Тверской улице свой клуб и при нем был так называемый «социотехникум», где они проводили разные эксперименты над собой. Они говорили: это же глупо, что человек треть своей жизни, такого драгоценного времени, проводит во сне, и упражнялись в том, чтобы спать как можно меньше. Они говорили: человек много ест, пища эта сгорает в человеке, и человек от этого быстро изнашивается, надо изобрести такое концентрированное питание, в виде пилюль — «пиктонов», проглотив которые, человек получил бы все нужное для жизни своего организма, но чтобы в то же время это питание было безвыделительное и человек не сгорал бы, а сохранялся долговечно. Они делали эти опыты, и один наш будущий коммунар, Миша Роговин, чуть не отдал Богу душу от этих опытов. Они говорили: природа несправедлива — одного сделала красивым, другого некрасивым, это надо исправить, надо всем носить маски. Елку они считали наиболее совершенным деревом по всему ее строению. Толстого считали великим изобретателем в области морали.

Они были вегетарианцами, антимилитаристами и не шли на военную службу, очень любили всякую технику и изобретения. Но каковы бы ни были их убеждения, но в жизни, коллективной, трудовой жизни, это были незаменимые люди — трудолюбивые, сметливые, общественные и всегда веселые.

Табаку, водки, ругани, разврата они не допускали, что при их вегетарианстве и антимилитаризме и отрицании государства создавало почву для близости с нами, толстовцами, в практической жизни.

Сельское хозяйство они любили, но оно поглощало все время и все силы без остатка, а им хотелось работать в своем направлении, и, кажется, в конце 23 года они выбыли из коммуны.

С уходом Сержанова и Швильпе стала ощущаться острая нехватка людей, и не просто людей — рабочей силы, а людей, сознательно стремящихся к общей жизни и общему труду.

Надо было привлечь новые силы. Для этого сложились очень благоприятные условия. Существовало Московское Вегетарианское общество им. Л. Толстого, там почти ежедневно происходили какие-нибудь собрания, доклады, беседы, но по субботам вечером бывали наиболее значительные и многолюдные собрания, и я после трудового дня, закончив немного пораньше, бежал в Москву, в Газетный. Там я встречался с многими людьми, с разных концов страны. Многие из них стремились жить на земле трудами рук своих, но они не имели за что ухватиться, не было ни средств, ни земли, и вот они узнавали, что есть и земля, и дело начато, и товарищи есть, и к нам потянулся народ.

А. Н. Ганусевич с семьей, С. В. Троицкий с семьей, Поля Жарова, Надя Гриневич, А. В. Арбузов, Алеша Демидов, И. С. Рогожин и другие.

К этому времени нами уже был принят и зарегистрирован в земельных органах устав коммуны. Но здесь получилось расхождение с семьей Завадских. Мы хотели роста коммуны, не ограничивать число желающих вступить в нее. Завадские же были сторонниками небольшой, но сработавшейся, почти семейной коммунки. И они вышли, найдя себе участок еще поменьше и с меньшим количеством людей. Имущество выходящим мы выдали без всякого спора пропорционально вложенному по времени труду, и осталось у нас опять очень бедное хозяйство. Но энергии было много, навык уже был, организация уже сложилась.

Мы заняли в банке 600 рублей и поехали вдвоем с Мишей Поповым в Тамбовскую область, на его родину. Там у крестьян был хороший молочный скот и хорошие лошади. Мы закупили коров, привезли к себе и быстро восполнили и расширили стадо.

Молочное дело поставлено было хорошо. Луговое и клеверное сено, корнеплоды — турнепс, свекла, брюква в изобилии, жмых и отруби не переводились. Кормили, придерживаясь подбора кормовых единиц, согласно удою и весу. Коров, которые с новотела давали менее 25 литров в сутки, мы не держали. Были коровы, дававшие 30—35 и до 40 литров. Но эти удои достигались не сразу, а когда они уже более года стояли у нас на правильном кормлении. Молоко возили в больницы — средства были. Был скот, был навоз, для которого мы сделали правильное навозохранилище, с ежедневным поливом навозной жижей из жижеотстойника. Был хороший навоз и вовремя вносимый в землю,

были минеральные удобрения, был правильный севооборот и культурная обработка почвы, были и хорошие урожаи. Корнеплодов мы собирали более 3000 пудов с гектара, картофеля — 1500—2000 пудов, ржи — 120—150 пудов с гектара. Клевера снимали два укоса.

К 1925 году мы уже жили вполне обеспеченной жизнью. Питание было общее, бесплатное, также жилище, освещение, отопление, а на одежду и обувь выдавали каждому ежемесячно 25 рублей на расходы по его усмотрению.

По вечерам иногда пели песни русские, народные, а иногда и плясали до отрыва каблуков. Я узнал тогда, что когда человек работает с горячим желанием, то он может легко преодолевать большие трудности, и наоборот — немилый труд иногда бывает для человека так невыносимо тяжел, что он может по-настоящему заболеть и надорваться.

Тогдашнее наше самочувствие я попытался выразить в стихе «Сенокос».

С косогора зеленого,
Гладко сбритого косой,
Прогремим на телеге подмазанной
На широкий луг большой.
Жарко! Лыска рыженький,
Озорной, в скачки бежит...
Мы с телеги ноги свесили,
Сердце радостью дрожит.
Босоногие, беззаботные,
В этот день голубой,
Мы с природою лучезарною
Прозвеним одной струной.
Вилы длиннозубые,
В копны рыхлые, душистые
С силою вонзим
И напружившись,
Вёдру радуясь,
Воз высокий нагрузим.
Стог, широкий в основании,
Только к ночи завершим
И, усталые, но веселые,
Шумно к пруду побежим...

Коммуна достигла хозяйственного расцвета. Хорошо питались. Все были обуты и одеты. Помню, как в холодный, грязный, осенний день я увидел Сергея, работающего возле скотного в новых, добротных сапогах, и это было так необычно и радостно — ведь мы привыкли видеть его лазящим по глубокой, вязкой грязи босым. Справили мы и рессорную качку возить молоко. Завели хороших лоша-

дей. И раз мне случилось ехать в Москву через Тропарево, и как раз в том месте, где когда-то, в первые дни коммуны, соскочило колесо с моей двуколки. Я сидел на козлах хорошей повозки, одежда моя — поддевочка и высокая черная шапка — напоминала подмосковного огородника, а сытая, красивая, серая в яблоках лошадь, с высоко подтянутой под дугу головой, говорила за то, что мужик едет богатый, и шедший навстречу старик с седой, длинной бородой издали снял шапку, приветствуя, очевидно, кого-то достойного уважения, а увидев меня, досадливо отвернулся.

Окрестные мужики стали стремиться взять у нас на племя хорошую телочку. Стали приходить брать попахать двухлемешный саковский плуг (а пахали тогда под Москвой больше сохами), то веялку попросят (веяли лопатой), то молотилку (молотили палкой по бочке).

Но самым ярким признаком нашей победы был запомнившийся мне случай: уродился хороший хлеб. Достали мы в одном совхозе, в Черемушках, напрокат сноповязалку. Наладил ее Прокоп. Я запряг тройку добрых коней и поехал по кругу. Ровно ложились связанные снопы. Переставляя регулятор, я делал их больше или меньше — как надо было. За дорогой было тропаревское поле. Низкие, изреженные хлеба их не могли равняться с нашими. Два тропаревских крестьянина, остановившись, наблюдали за моей работой. Я остановился. Поздоровались. «Да,— сказал один из стариков,— ваше дело идет вверх, а наше — вниз»,— показал он на свои хлеба.

Понемногу ознакомились с окрестным населением, и отношения сложились хорошие, несмотря на уклад нашей жизни, совсем другой, чем у них. Народ в Тропареве и Богородском был привержен церкви. Строго соблюдали все церковные праздники, гуляли по два, по три дня, а я по молодому задору каждый год на первый день Пасхи запрягал лошадь и возил навоз на огород, сопровождаемый недоброжелательными взглядами шедших разнаряженной праздничной толпой крестьян из церкви.

Задумали мы как-то провести в Тропареве беседу о Толстом и его мировоззрении. Обратились к председателю сельсовета Рубликову, серьезному мужику, коммунисту. Рубликов любил всякие доклады, лекции и беседы, охотно разрешил и оповестил мужиков. Собрались в чайной. Чайная была в селе своего рода клубом, сидя за чайником дешевого чая, мужики беседовали о своих делах, о базаре и т. д. Туда и явились мы — мой отец, Нико-

лай Васильевич Троицкий и я. Народу собралось много — исключительно мужики, в большинстве старые, бородатые и серьезные. Отец говорил о Евангелии Толстого и читал выдержки. Сначала его встретили суровыми окриками: «Не смешивай духовного со светским» и т. д., но потом слушали со вниманием и по окончании просили заходить и беседовать еще. Особенный успех выпал на долю Николая Васильевича, он прочел известное письмо Толстого крестьянину о том, «долго ли будут многомиллионные серые сермяги тащить перевернутую вверх колесами телегу».

Я притащил целую кипу брошюрок Толстого — «Истинная свобода», «Проезжий и крестьянин», «О войне» и другие издания «Посредника», и у меня их все раскупили. Звали нас еще приходить с беседой, но больше не пришлось.

Народу в коммуне прибывало. Кроме постоянного ядра, у нас все время были еще люди, приходившие кто на день-два, а кто на все лето. Бывали и гости, люди, интересующиеся коммуной, присматривающиеся — подойдёт ли для них такая жизнь. И у нас выработался неписаный обычай — приходи кто угодно, садись за общий стол, гуляй, смотри три дня, а на четвертый и далее — будь гостем, но принимай участие в труде, наравне со всеми. Много интересных людей прошло через коммуну. Некоторые из них с первого же дня вливались в общую семью, брались за работу и оставались в коммуне навсегда. Были и иные. Помню, пришла к нам из Москвы девушка, мы ничего не знали о ней, только видно было, что она горожанка, деревни не знает совсем. Дня два она ходила, осматривалась и все время молчала. Вид у нее был печальный, замкнутый, что-то тяжелое прошло в ее жизни. На третий день она попросила работу. Ей сказали вычистить скотный. Неумело, но прилежно выкидала она навоз, прибрала стойла, почистила скребницей коров, подмела метлой проход, и когда я вошел, она, познав радость труда, сказала: «Как чисто». Так она работала еще два дня, но когда я опять зашел в скотный, она спросила: «И это так каждый день?» — «Да».— «Как скучно»,— сказала она и ушла из коммуны в ту же неизвестность, откуда и пришла.

Бывали и такие гости: пришли двое, один курчавый, толстогубый, брюнет — Лейцнер, и другой помоложе, попроще — Шура Постнов. Все бы ничего, но они оказались «голистами». Выйдут на работу и разденутся, как есть в чем мать родила. Усядутся на грядках, полют, а женщины

отвернутся от них спиной, уткнутся лицом в грядку и тоже полют. Хорошо! Когда к столу приходили, трусы все же надевали. Народ мы были свободолюбивый, кто говорит: «Ну и пусть», а кто: «Ну, все же неудобно». Дальше — больше, волнение возрастало чуть не до трагедии, и все же их выдворили.

Пришел к нам белокурый, тихий человек — Клементий Красковский. Он что-то не прижился в Новоиерусалимской коммуне, и у нас ходил какой-то безучастный, как в воду опущенный. Раз как-то зашел у меня с кем-то из коммунаров разговор о нем: «Да что ж Клементий,— сказал я,— для него здесь все чужое, не родное». А Клементий стоял над нами на балкончике и все слышал. «Почему ты так говоришь?» — спросил он меня.— «А что ж, неправда?» И у нас состоялся разговор, без ругани, но вполне откровенный, и с того дня Клементия как подменили, для него коммуна стала дорогим, родным домом, тем более что родных у него никого не было. Он весь ушел с головой в ее жизнь и заботы и таким и оставался до своей трагической гибели в 1937—1938 годах.

Мы с ним были очень дружны, но, живя в коммуне, мы так были полны настоящим, что мало касались прошлого. Теперь я сожалею об этом. О Клементии я знаю только то, что происходил он из бедных крестьян Смоленской (кажется) губернии. Окончил четырехклассную школу, и поэтому, когда началась война (1914 г.), его направили в школу прапорщиков, и вскоре он оказался на фронте. Верил он тогда наивно, так, как говорили ему в школе сельской и потом в военной. Верил, что немцы — враги, что надо защищать родину, царя и веру православную. Он мне рассказывал, что на войне ему приходилось бывать и в боях, и в атаках, но чувства страха смерти он не испытывал. Все было просто. Но потом стали находить сомнения. Он встретился с толстовцами, и все перевернулось,— немцы стали не врагами, а такими же обманутыми людьми, а царь-батюшка и вера православная оказались пустым, жестоким обманом. Жизнь его приобрела новый смысл. Оружия он больше не брал в руки.

Ему (да и многим другим нашим коммунарам) впоследствии часто приходилось слышать от представителей власти упрек: «А за царя ты воевал, а теперь оружия брать не хочешь!» Да, они воевали, воевали честно до тех пор, пока верили, что так надо. Но страдания войны, революция и могучее, правдивое слово Л. Толстого открыло

им глаза, разбудило сознание, подтвердило то, что смутно говорила им совесть, и эти люди навсегда сменили свой путь, отказались от насилия.

Наиболее яркой и наиболее трагичной была, наверное, из членов нашей коммуны жизнь Сергея (Сергей Васильевич Троицкий). 1917-й год застал его в рядах действующей армии. Февральскую революцию он встретил с радостью, а Октябрьскую — принял всем сердцем. Идеал коммунизма захватил его целиком, без остатка. Идеи Толстого были известны ему и тогда от его старшего брата Николая — толстовца. Они много беседовали, спорили, но каждый пошел своим путем. Сергей окончил Красную военную академию, не захотев оставаться на штабной работе, уехал в действующую армию.

Шла война с Польшей, и он с боями дошел до Варшавы. Сергей воевал, воевал за свой идеал, но толстовские зерна, наверное, раз запав в его сознание, не гасли, а тлели в душе его — и вдруг вспыхнули ярким пламенем. Толчком послужил такой случай: в его части два молодых парня, чуваши, оторванные от своей тихой, трудовой жизни и брошенные в непонятный им ад кровавой бойни, решили вырваться из нее и отстрелили друг другу пальцы. Их судили и приговорили к расстрелу. Дело было осенью, на закате солнца. На большой луговине с трех сторон выстроили войска, в середине командиры. Зачитали приговор. Поставили этих ребят рядом. Позади них золотистая, освещенная розовым светом заходящего солнца спелая несжатая рожь, а за рожью, на горизонте, огромный, багровый шар заходящего солнца. Ударил залп. Пули разбили черепа, и оттуда бурными фонтанчиками забила вверх кровь, еще более горячая и красная, чем солнце. И так они стояли и не падали несколько дольше, чем надо.

На другой день Сергей пришел в штаб полка и сложил там оружие и сказал, что больше воевать он не может. Его должен был судить военный суд, наверное, и его ожидало бы то же, что и тех двух, но на другой день началось отступление нашей армии. Все смешалось. В дальнейшем Сергей оказался в психиатрической больнице.

Потом появился у нас в коммуне. Серьезный и немногословный, он весь отдавался труду и горой стоял за принцип коммуны. Иногда, когда ему было веселее, он брал гитару и, закрыв глаза и сохраняя серьезный вид, пел нам какие-то романсы: «Конь мой невзнузданный, бурей летучею в степь улетает стрелой». Или: «Танечка-матанечка, ла-

зоревый цветок, сядем на пролеточку, прокатимся разок», какие-нибудь сатиры на библейские легенды: «Вот из ковчега вышел Ной, он видит Бога пред собой», и т. д.

У нас никто не курил, но он не мог бросить эту привычку, но курил редко и всегда где-нибудь наедине. Мы уважали его. Иной раз кто-нибудь из нас, по молодости, отпустит какую-нибудь двусмысленную шуточку, он только тихо, но убежденно скажет: «Не надо», и это действовало больше всяких убеждений.

Несмотря на то, что Сергей пришел к нам по убеждению, добытому тяжелым, страшным опытом жизни, у него внутри не все еще утряслось, он еще был в движении, как и всякий искренний и мыслящий человек. Один раз он сказал мне: «А все-таки, если капиталисты нападут на нас, я пойду защищать родину».— «Ну что ж, это твое дело»,— ответил ему я.

Если бы он был один, но у него еще был тяжелый хвост — жена, Елизавета Ивановна. Нельзя сказать, чтоб она была глупая, или злая, или слишком вздорная, нет, но, конечно, ей совсем не нужна была коммуна. Ей, конечно, гораздо приятнее было бы быть женой офицера, да еще с высшим образованием, чем женой босоногого рабочего, день и ночь копающегося в земле и навозе. Он тянул в коммуну, она держалась за Москву. Так и жили они на два дома. Порой она подолгу жила и работала у нас, а иной раз он уходил в Москву подзаработать малярным делом средств для семьи, потому что коммунального заработка не хватало для городской жизни ее и двух девочек. Но он не хотел бросать семью и нес эту тяжесть, не раздражаясь, терпеливо и спокойно, стараясь разъяснить, как он думает. Все же она перетянула его в Москву. Но он отказался встать на учет как командный состав, и ему запретили проживать в Москве. Опять жизнь на два дома. Он работал где-то по дорожному строительству. Изредка он нелегально приезжал на денек навестить семью, тем более что Елизавета Ивановна в то время уже безнадежно и тяжело болела — рак — лежала и жила на уколах. Мы из коммуны иногда помогали им картошкой и овощами. В один из приездов Сергея домой кто-то из соседей по квартире «стукнул», и его арестовали. Коммуна в это время переселилась в Сибирь. Елизавета Ивановна умерла, и связь наша прервалась надолго. Лишь каким-то чудом в 1936 году, когда я сидел в КПЗ при Первом доме (НКВД) г. Сталинска, ко мне в одиночную камеру дошел его голос. Письма, какие шли мне

в коммуну с почты, переправлялись к моему следователю, а тут по какому-то недоразумению мне принесли в камеру нераспечатанное письмо. Оказалось от Сергея, из лагерей, из далекой Коми АССР.

Он писал, что все время протестует, что его так бесчеловечно оторвали от семьи, что он перенес в разное время голодовок в общей сложности 242 дня. Это было последнее письмо от него. Так больно, что он не получил от меня ответа и, может быть, обиделся на меня, ведь он не знал, что я тоже уже не на воле.

Вскоре я был в диких лесах Коми и в каждом новом лагере разузнавал о нем, но безрезультатно, и лишь после я узнал, что он находился в лагере для психически больных в Кылтове. Там он и погиб, не знаю, или от голода, или от болезней, а может быть, состряпали новое дело, как на непокорного и прямого.

Пришел как-то раз поинтересоваться нашей коммуной человек средних лет, стрелочник на одной из станций московского узла, Александр Николаевич Ганусевич. Потом пришел еще раз. Работа его была такая: сутки дежурил, двое свободен, и вот, отдежурив, он шел к нам, работал у нас, а потом опять в Москву на работу. Так постепенно он стал одним из самых деятельных членов коммуны. По происхождению он был из крестьян и много помогал нам своим крестьянским опытом и знаниями. У него была семья — жена и маленькие детишки, которые все полюбили коммуну и охотно принимали участие в работах. Приходили иногда погостить и поработать его сестра с дочкой, братья, целый большой, дружный коллектив.

Александр Николаевич и брат его, Степан, в начале революции отказывались от военной службы, но время тогда было попроще, оба были рабочие-транспортники, и к ним никаких репрессий не применили.

Александр Васильевич Арбузов. Быстрый в движениях, вроде даже суетливый, но ловкий в работе, востроносенький, в очках, он шутками, прибаутками — «девоньки, бабоньки, пошли, пошли» — весело увлекал на работу. Хорошо пел тенором русские песни. Но за всем его весельем чувствовалась какая-то напряженность душевная. В первые годы революции он был следователем ЧК, потом узнал Толстого, отказался от военной службы, которую ему заменили работой санитара в венерическом госпитале. Потом он попал к нам. Хорошо и дружно работал, но его взбудораженная душа все чего-то еще искала, он ударился в край-

ности, стал сыроедом — есть сырые овощи, немолотое зерно и т. д... Потом он сошелся с Юлией (о которой скажу дальше), и они ушли странствовать на юг к малеванцам.

Пришла к нам и оставалась жить в коммуне Поля Жарова, одинокая женщина, учительница по профессии. Ее смолоду привлекали общины, и она жила в щейермановской общине в Люботине, кажется, «Кринице» и других.

Приехали к нам в коммуну жить и работать Миша и Даша Поповы — тамбовские крестьяне. Он учился у моего отца в учительском институте, любил Толстого, любил землю, и это привело его в коммуну, а она до поездки в коммуну нигде дальше своей деревни не была. Когда они вышли с Павелецкого вокзала на улицы Москвы и она впервые в жизни увидела автомобиль, она схватила мужа за руку и воскликнула: «Миша, Миша! Смотри! растопырка поехала!»

Работала некоторое время у нас Юлия Лаптева. Сначала она жила в Новоиерусалимской коммуне. Туда ее направил Владимир Григорьевич Чертков, когда она после пережитых потрясений и в поисках смысла жизни пришла к нему еще в военной форме, остриженная наголо и в черных очках. Она во время гражданской войны на Кавказе работала в политотделе армии. Их часть попала в тяжелое положение и была разбита белыми. Юлию захватили в плен белые офицеры, смертно избили шомполами и бросили в яму с мертвыми, но она оказалась жива. Ее спасла проходившая мимо женщина, которая услышала стоны, взяла к себе и долгое время выхаживала Юлию. Эта женщина оказалась сектанткой, к ней иногда приходили еще женщины, они в соседней комнате потихоньку пели свои песни. Звуки этих песен, то печальные, то торжественные, долетали до слуха Юлии и размягчающе действовали на ее ожесточенную, потрясенную пережитым душу. Юлия стала искать смысла жизни, и это привело ее к В. Г. Черткову, а потом и к нам. Она была неразговорчива, сухощавая, стриженая, в черных очках, босая, родом откуда-то из Коми. Она говорила, что у нее была напечатана книжечка о пережитом ею в годы гражданской войны, издана она была под фамилией Юлия Славская. Они сошлись жить с Александром Васильевичем и вместе ушли странствовать. Впоследствии она, кажется, вернулась на свой партийный путь.

Пришел в коммуну и остался жить Алеша Демидов, молодой человек, владимирский плотник, не очень грамот-

ный, но хорошо разбиравшийся в жизни и убежденный последователь Л. Толстого. Он как-то раз занялся стихотворством, и у меня навсегда остались в памяти две строфы из его стиха:

Не далече, эва тут,
Есть коммуна
«Жизнь и труд».
Для коммуны
Мало чести
В материализм
Глубоко лезти... и т. д.

Он хотел сказать, что мы слишком увлекались хозяйственными заботами и интересами, в ущерб другому.

Позднее вступили в коммуну две девушки, землячки Александра Николаевича — Маруся Лазаревич и Светлана Синкевич.

Помню еще Рогожина Ивана Степановича, крестьянина из-под Епифани. Он не очень ясно выражал свои мысли, но очень сильно работал, всегда сохраняя неторопливость и хладнокровие. Когда что-нибудь волновало коммунаров и ему одному, хранившему невозмутимое спокойствие, говорили: «Иван Степанович, да что ж это тебя не волнует?!» — он отвечал: «Беспокойный человек всегда беспокоится».

Взят был в 1937 году и не вернулся.

Ну что ж, и о себе надо немного сказать, раз я был членом коммуны. Еще на школьной скамье в 1918 году я идейно присоединился к большевикам. Уже студентом Горной академии разошелся с ними после доклада Арского о том, что надо сдать иностранным капиталистам концессии на горные богатства и под крупное механизированное сельское хозяйство.

В 1921 году умер Петр Алексеевич Кропоткин. В академии у нас были студенты-анархисты, и они устроили вечер в память Кропоткина. Я познакомился с ними и стал им сочувствовать. На этом же вечере я услыхал выступление толстовца Сережи Попова. Во время вопросов после доклада на записку «Какая разница между анархистами и толстовцами?» один анархист ответил: «Разница та, что толстовцы более последовательны, чем мы». Я стал искать, где бы познакомиться с толстовцами, и, наконец, нашел «Вегетарианку» и собрания толстовцев.

Интересно то, что отец мой уже давно бывал на этих собраниях. Еще при жизни Толстого он трижды посещал его и беседовал о разных вопросах жизни.

Отец пробовал говорить со мной о взглядах Толстого, но мне, увлеченному большевизмом, они претили. Когда отец говорил слово «любовь», меня чуть не тошнило физически. «Какая там любовь, когда на нас кругом лезут враги!» — кричал я.

Так что я самостоятельно нашел собрания толстовцев и там встретился с отцом и сошелся в понимании жизни.

Сережа Попов в своих выступлениях часто читал стихи, призывающие на землю. «Покиньте удушливый город, друзья»..., «Идите туда на широкий простор, там, где нивы без вас все травой заросли, а луга заливные — осокой». Он говорил, что земледельческий труд — самый нужный, самый чистый и самый благодарный и что каждому человеку надо обязательно самому нести свою долю этого труда, чтобы не садиться ни на чью шею и себя чувствовать свободным человеком.

То же я читал у Толстого, Бондарева, близкое к этому у Кропоткина, и я оставил Горную академию, хотя специальность геолога-разведчика мне очень нравилась и увлекала. И я перешел на землю уже сознательно, хотя еще в мае 1919 года я вступил и работал в сельскохозяйственной огородной студенческой артели «Артельный труд», но туда привел меня голод, а вывел призыв в Красную Армию.

Весной 1922 года, когда я еще был студентом московской Горной академии, но уже решил, что надо мне переходить на землю, я пришел в коммуну и попросил земли. Мне дали 0,5 гектара на отлете в кустах, чтобы мы, живя там, как бы охраняли посевы коммуны от потравы деревенским скотом. Я думал ручничать, т. е. обходиться без помощи скота.

Ко мне присоединился, бросив среднюю школу, молодой паренек Котя (Николай) Муравьев, необычайно молчаливый и застенчивый, но крепкий и горевший желанием трудиться. Мы выстроили себе шалаш и там жили. К нам присоединились мои младшие братья и его брат. Частенько приходили к нам погостить мой отец, а иногда и наши матери. Немного ниже нас стоял еще шалашик, там жил и ручничал Николай Васильевич Троицкий, к нему иногда приходил Сережа Попов.

Жили мы там весело и свободно, собрали хороший урожай, помогли семьям в то еще голодное время, а главное, окрепли и почувствовали, что мы что-то можем в жизни делать самостоятельно. Весной 23 года мы с Котей окончательно вступили в коммуну. Впоследствии он стал нашим

животноводом, и надо сказать, что, несмотря на свою молодость, очень способным. Все шло хорошо у него. Он захотел учиться по этой специальности, поступил в Тимирязевскую академию, но там узнали как-то, что он был из нашей «толстовской» коммуны. Это сочли за великий грех, его исключили, чуть ли не лишили голоса, вообще исковеркали жизнь парню.

Проходило через коммуну еще много людей, но я остановлюсь пока на этих, более тесно с нею связанных.

Из вышесказанного видно, что народ у нас был очень разнообразный и по возрасту, и по профессии, и даже по взглядам на жизнь, но все же было нечто, объединявшее всех нас. Все мы желали трудиться и любили этот труд. Все мы отвергали вино, ругань, табак. И этого было достаточно, чтобы общая жизнь и труд шли успешно.

Я говорил уже, что мы жили и нас никто-никто не касался, но это время прошло. Нас заметили, стали наезжать разные комиссии, обследования, появилась какая-то предубежденность: «Как же, толстовцы!», хотя, по-моему, повода против нас мы не давали. Был одно время некто Тишкин, кажется, начальник УЗО: он всегда составлял неблагоприятные акты обследования, придирался ко всяким недостаткам, которые всегда и везде можно найти: «Почему у вас устав не перерегистрирован?» и т. д.; даже требовал ликвидации нашей коммуны.

Но бывали и другие обследования. Так, я помню, приехал проверять заключение Тишкина некто Грисенко, он был партийным работником. Он познакомился с нашим хозяйством, удоями, полями, проверил отчетность и т. д., был немногословен и все больше молчал, но под конец сказал: «Так вот она какая, коммуна «Жизнь и труд», а я и не знал», и вынес благоприятное для коммуны заключение.

Но мы мало обращали внимания, когда на нас нападали, мы знали, что трудимся честно и нам нечего ни стыдиться, ни бояться, и мы вели себя настойчиво и независимо.

Если первые годы наша коммунальная жизнь шла, можно сказать, стихийно, то со временем начали появляться у коммунаров потребности осмыслить и ясно выразить, почему, зачем мы живем коммуной, и высказывались мнения, не всегда совпадавшие одно с другим.

Были среди лиц, близких по взглядам к Л. Толстому, и такие, которые прямо отрицали нужность коммуны. Пом-

ню, как-то раз попросил меня Владимир Григорьевич Чертков отнести к К. С. Шохор-Троцкому какие-то бумаги. Не успел я еще войти в комнаты, еще в передней Константин Семенович, узнав, что я из коммуны, выпалил: «Я против коммуны». Я сразу не нашелся, что ответить, и разговор на эту тему не состоялся, но уже по дороге домой мне пришло в голову много ответов, и я жалел, что не высказал Константину Семеновичу, почему я живу в коммуне. Я жалел об этом еще долгие годы. Мне хотелось сказать, что я не воздвигаю себе кумира «коммуна», что коммуна — это только слово, а есть люди и отношения между людьми, и как можно быть против того, что люди чувствуют близость и доверие друг к другу, стремятся к единению, объединяются для общего дела, такого нужного всем людям, как земледельческий труд.

Приходилось иногда слышать среди нас и такое мнение, что в коммуну надо идти ради духовных целей, ради духовного единения, что в коммуне единомышленников лучше условия для духовного совершенствования, что в коммуне отпадают собственнические инстинкты и т. д.

Я не был согласен с таким мнением, я думал:

1. Стараться соединяться со всеми людьми в хорошем мы можем и должны всегда и везде, не только в коммуне. Единение же только с членами коммуны есть сектантство, значит, не это приводит людей свободных в коммуну.

2. Мы не сторонники монастырей, ухода от жизни со всем ее злом и добром, страданиями и радостью. Именно среди потока жизни должны мы стремиться быть лучше, быть людьми, так что не лучшие условия совершенствования привлекают нас в коммуну.

3. Собственность, хотя и коммунальная, остается все же еще собственностью, и вступить в коммуну — это еще не значит, что мы уже перешагнули эту черту.

4. Я думал, что идея коммуны — не христианская идея, не в том смысле, что она противоречит христианству, а в том, что человек, живя или не живя в коммуне, остается все тот же, с теми же слабостями, какие у него есть, и с тем же стремлением быть лучше, и коммуна в смысле духовной жизни значения не имеет. Не это собрало нас здесь. Мы собрались вокруг земли, вокруг труда, вокруг хлеба.

Мы считаем, что нести каждому человеку свою долю тяжелого, но необходимого физического труда по добыванию хлеба, постройке жилища, добыче топлива и одежды —

есть естественный закон жизни. Исполнение его легко и радостно и в то же время дает человеку огромные преимущества, делая его физически здоровым, живущим в общении с природой, не допускает изнеженные, превратные, извращенные представления о жизни, способствует правильному воспитанию детей, делает людей независимыми и равными членами общества.

Кропоткин и другие подсчитывали, что для того, чтобы обеспечить себя всем этим, самым необходимым, людям достаточно работать 3—4 часа в сутки, а остальное время можно отдавать и наукам, и искусствам, и спорту, и ремеслам, чему угодно, без уродливой непропорциональности: один весь век сидит за шахматной доской или пишет романы о труде, не зная труда, а другой — весь век ворочает землю и бревна, не имея времени не то что играть в шахматы и читать романы, а просто отдохнуть по-человечески. И много теряет в жизни не только тот, кто тяжело трудится, но и тот, кто не знает тяжелого труда.

Я уже говорил, что нам приходилось слишком много работать. Это начинало сказываться. Не раз раздавались среди нас голоса: «Мы собрались здесь не ради хозяйства, а ради братской жизни», «Работай, работай, как вол, даже почитать некогда, разве это жизнь? Разве затем мы собрались здесь?», «Коммуна «Жизнь и труд» — труд-то есть, а жизни нет», и на эти справедливые замечания мы отвечали себе так: да, мы собрались не для одного труда, но и для жизни, но жизни без труда не может быть, трудиться надо. Хозяйство нужно. И налаженное, в нормальных условиях, оно будет занимать немного времени, не будет тяжким бременем.

Сельское хозяйство, а особенно при организации коммуны (обычно из ничего), требует много сил и труда. Не желаешь видеть, что все рушится, зарастает, расползается, не ладится — работай, не жалея сил, и все наладится.

Работай не ожесточенно, а с любовью и желанием, это ослабит тяжесть труда.

И мы работали, не жалея сил.

И это было видно и со стороны.

И это нас, очевидно, спасало.

Наступил 1927 год.

Времена начали меняться.

Деспотизм, бюрократизм, нетерпимость вступили в силу.

Постановлением государственных органов была ликвидирована «Тайнинская с.-х. артель» в Перловке. Поводом послужило якобы слабое хозяйство. Но повод всегда найдется. Когда шел разговор о ликвидации Новоиерусалимской коммуны имени Л. Толстого, им ставили в вину то, что они не брали кредитов — «финансовая замкнутость», когда хотели ликвидировать нашу коммуну, нам ставили в вину то, что мы когда-то брали кредит на покупку коров.

После ликвидации «Перловки» к нам прибавилось оттуда несколько новых членов — Вася Лапшин, крестьянин из-под Епифани, Миша Дьячков — бывший рабочий тульского оружейного завода. Часть членов перешла в Иерусалимскую коммуну.

Но в 1929 году была ликвидирована и Новоиерусалимская коммуна. Хозяйство там было хорошее, но нашлись другие причины, по крыловской басне «Волк и ягненок». Оттуда и нам прибавилось еще несколько членов — Кувшинов Прокоп Павлович с женой Ниной Лапаевой и детьми; братья Алексеевы — Сережа, Шура, Лева; Катя Доронина; Зуев Ваня; Ромаша Сильванович; Павло Чепурной; Ваня Свинобурко с женой Юлией Рутковской и с детьми; Миша Благовещенский; Вася Птицын; Петя Шершенев; Фаддей Заболоцкий; Вася и Аля Шершеневы; Ульянов Коля и с ними же приехал жить с нами Попов Евгений Иванович.

Жизнь в коммуне пошла полнокровней, больше людей, больше разных интересов, больше детей. Появились песни не только народные, но и близкие по содержанию нашим взглядам.

К этому времени мы построили большой коммунальный дом с водяным отоплением, общей кухней и столовой и десятью жилыми комнатами, и еще две летние комнаты на втором этаже.

Трижды в день собирались все коммунары за столом, здесь обсуждались все хозяйственные и текущие дела, без потери особого времени на совещания, а вечером, по окончании всех работ, желающие выходили из своих комнат в общую залу — шли беседы, музыка, песни, чтение писем от друзей и т. д.

Питание было хорошее. Работали весело и уже не так напряженно. Так текла наша жизнь, пока не подошла коллективизация.

Вокруг нас по деревням началась сплошная коллекти-

визация. Ревели сведенные в одно место коровы. Ревели бабы.

Однажды меня, как председателя совета коммуны, вызвали в Кунцево в райисполком к председателю. Я явился.

В кабинете, кроме председателя райисполкома Морозова, было еще несколько человек. «Ну, доложи нам, что там у вас за коммуна»,— сказал Морозов.

Я кратко рассказал об уставе, о хозяйстве, удойности, урожайности и т. д.

«Ну ладно, это все хорошо»,— сказал Морозов.— «Вы уже несколько лет живете коллективно, освоились, а теперь мы начинаем всю деревню переводить на коллективные рельсы, нам нужны опытные люди, руководители. Становитесь во главе соседних сел, помогите им организоваться в колхоз».

Я наотрез отказался.

— Почему? Ведь вы тоже за коллективный труд.

— Да, мы за коллективный труд, но за добровольно коллективный, по сознанию, а они против своего желания. Потом у нас уклад жизни очень отличный от их уклада, в отношении питания, вина, ругани, признания церкви и ее праздников и всяких обрядностей. Мы жили до сих пор коммуной и дальше думаем жить так, но сливаться в один коллектив, а тем более руководить этим делом мы не будем. Ничего из этого не выйдет. Что касается нашего опыта, то мы охотно будем делиться с теми, кому это будет нужно.

Морозов был очень рассержен. «Тебе давно пора районом руководить, а ты со своей коммуной возишься. Иди! Да зайди к начальнику милиции».

Я вышел и хотя шел мимо милиции, но предпочел туда не заходить — сообразил в чем дело.

Вскоре райисполком вынес постановление о роспуске нашей коммуны и передаче всего имущества и хозяйства группе крестьян из села Тропарево.

Дальше события стали развиваться быстрее и напряженнее.

Раз я возвращался из Москвы в коммуну. Пройдя длинную березовую аллею, я подошел к нашей конюшне. Ворота были открыты, там ходила какая-то незнакомая баба. Напротив конюшни, через дорогу, у нас стояло аккуратно сложенное между четырех высоких столбов сено с подъемной крышей. Сено было сброшено, и на нем с ногами стояла незнакомая лошаденка и ела его.

— Чья это лошадь? — спросил я.

— Наша,— ответила женщина.

— А что вы тут делаете?

— Мы теперь будем здесь работать, нам отдали все.

— А нас куда?

— А я не знаю.

Я понял. Что-то горячее подкатилось к сердцу. Я пошел к дому. Едва открыл дверь в нашу столовую, как мне ударил в нос едкий запах махры, по комнате ходили клубы сизого дыма, за столом сидело человек двенадцать мужиков, знакомых и незнакомых, они оживленно разговаривали и, когда я вошел, замолчали и оглянулись на меня.

Я тоже стоял молча среди комнаты.

Внутри меня все было напряжено до предела.

В голове бегали мысли: зачем здесь эти люди? Что им надо? Они люди, но ведь и мы люди! Как же они могут так делать? Наступать на горло таким же рабочим людям?

Я оглянулся кругом, невдалеке стояла табуретка, на секунду взор задержался на ней, потом я обернулся к мужикам и сказал, не очень громко, только одно слово: «Вон!»

Безмолвно все поднялись и один за одним, цепочкой вышли в дверь на улицу. В открытую дверь потянулись за ними клубы синего табачного дыма.

В опустевшую залу стали выходить из своих комнат наши коммунары. Они рассказали: «Пришли люди, предъявили бумагу — постановление Кунцевского райисполкома о роспуске нашей коммуны и о передаче всего хозяйства новому коллективу. Потребовали печать, и Прокоп отдал ее. Затем они ходили по дому и распределяли комнаты, кто в какой будет жить».

Мы решили отстаивать свои права.

В приемной М. И. Калинина я был принят заместителем председателя ВЦИК — П. Г. Смидовичем.

Я рассказал все.

Через несколько дней пришел за ответом. Смидович сказал, что постановление райисполкома отменено, мы восстановлены в своих правах. Соответствующую бумагу он заклеил в конверт и, подписав «председателю Кунцевского райисполкома Морозову», дал мне вручить лично.

Я поехал в Кунцево. Морозов ходил сильно возбужденный по своему кабинету.

— Ну, что? — неласково спросил он, увидав меня.

Я молча подал пакет.

Он посмотрел штамп ВЦИКа на конверте, молча ра-

зорвал, прочел, буркнул что-то и опять сказал зайти к начальнику милиции.

Я почему-то на этот раз решил зайти. Зашел и был арестован и водворен в кутузку. Я требовал объяснения — что за причина? Но мне ничего не отвечали.

Тогда я сказал, что объявлю голодовку, а сам зашел за угол печки, чтобы меня не было видно дежурному, достал из кармана батон и от волнения с большим аппетитом съел его. Это была моя единственная в жизни «голодовка».

К вечеру я услыхал, как дежурный несколько раз звонил куда-то по телефону и спрашивал, что же со мной делать... «Он ведь голодовку объявил... у меня же нет никаких оснований на его арест...», и меня выпустили.

Печать наша находилась все еще в сельсовете. Там уже было известно об отмене решения райисполкома, и, когда я пришел туда и, подойдя к секретарю, сказал: «Давай печать», он, ни слова не говоря, ее отдал. В комнате было много мужиков, были и те, которых я выгнал. «Пожили в коммунарском доме»,— сказал один из них, добродушно посмеиваясь.

Жизнь коммуны пошла внешне своим чередом, но чувствовалась какая-то напряженность, что так все не кончится.

Действительно, потерпев неудачу в прямом, слишком грубом нажиме на нас, в котором явно просвечивало нарушение самых основных человеческих прав, районные власти предприняли другой способ убрать нас, способ более дипломатический, прикрывающийся законом. Против пятерых из нас — меня, Клементия, Кати, Маруси и Александра Ивановича — было возбуждено судебное дело.

Повода к этому не было, но на то и юристы учатся, чтобы находить статью к любому человеку.

Нас судили в Кунцеве.

Когда нас стали обвинять в отсутствии счетоводства, Клементий (ведший его у нас) не вытерпел, вскочил с места и высоко поднял над головой связку конторских книг, предусмотрительно взятых с собой.

— А это что? — воскликнул он под смех зала.

Были и свидетели из числа тех, кого я выгнал. Один из них сказал: «Мазурин выгнал нас из дома».

— Как выгнал? — спросил судья.

— А так, сказал «вон» — мы и пошли.

— А сколько было вас?

— Двенадцать.

— А Мазурин?

— Один.

Судья и публика засмеялись.

Защитником у нас был член коллегии защитников Кропоткин, кажется, племянник П. А. Кропоткина. Защищая нас, он сказал: «За что же их судить? Они ведь действительно жили коммуной, а не болтали об этом, как некоторые».— «Кто это — некоторые?» — взъелся судья, и было составлено частное определение суда, и Кропоткин впоследствии был удален из коллегии защитников.

Осудили нас по какой-то совсем незначительной и расплывчатой статье, что-то вроде халатности. Двоим дали по два года, остальным — меньшие сроки.

Дело, конечно, было не в вине и не в сроках, а в том, что нас надо было удалить из этой местности. Но чем мы мешали, чем наша коммуна могла мешать другим — я этого не пойму и до сих пор. Областной суд отказал нам в нашей жалобе. Но, хотя мы и оставались на свободе, вставал вопрос: как жить дальше коммуне? Как ни невиновен ягненок, волк все равно съест его, потому что хочет есть.

И тут встал вопрос о переселении.

Во всех краях страны были единомышленники Л. Толстого, большинство из них жили на земле, кто работал коллективно, кто — единолично. И почти у всех у них возникали трения с представителями местной власти, подобные тем, какие испытывала наша коммуна.

Кто просился в колхоз — а его не принимали как толстовца. Кто не хотел идти в колхоз, а его тащили. Кто вступил, но столкнулся с разными сторонами колхозной жизни, идущими вразрез с их убеждениями — забой скота на мясо, на работе общественное питание с мясом, сторожить с ружьем и т. д.

Живших в с.-х. общине «Всемирное братство» под Сталинградом выгнали, а имущество все взяли, и т. д. и т. д.

Вины за этими людьми не было никакой, но они были виноваты в том, что не стриглись под одну общую гребенку, и каждый из них смел иметь какие-то свои личные особенности, свои взгляды на жизнь. На имя В. Г. Черткова стали приходить сотни писем от единомышленников об их положении.

И тут возникла мысль — единомышленникам Л. Толстого, желающим работать на земле, собраться и переселиться в одно место для совместной коллективной жизни и труда. Владимир Григорьевич сообщил эту мысль нам.

Мы начали думать, обсуждали со всех сторон. Не хотелось нам порывать с родными местами, где таким тяжелым трудом удалось наладить хорошую жизнь. И что нас ждет впереди? Необжитые места, лишения и вновь тяжелый труд, и какие взаимоотношения сложатся внутри нового коллектива, куда соберется так много людей незнакомых, разнообразных, из разных мест? И какие сложатся на новом месте взаимоотношения с местными представителями власти? Нелегко все это будет. Уже и маленьких детей появилось немало. Каково-то им?

Но все же мы почти единодушно решили переселяться, мы чувствовали, что на старом месте у нас уже будет не жизнь, а борьба. И наша коммуна, поскольку она была более организованна, находилась в центре страны, можно сказать — в Москве, где и В. Г. Чертков жил, и находились высшие органы государственной власти, с которыми надо было решать все эти дела, стала организационным ядром переселения.

Мне, как председателю совета коммуны, Владимир Григорьевич передал всю переписку о переселении, и мне же пришлось принять ближайшее участие во всех хлопотах, переговорах, составлении списков желающих переселяться, в организации и оформлении переселения.

Заявление во ВЦИК было подано от имени В. Г. Черткова.

И вот 28 февраля 1930 года состоялось постановление Президиума ВЦИК, протокол 41, параграф 5, о «переселении толстовских коммун и артелей».

И мне, и другим коммунарам приходилось неоднократно бывать по делам переселения у Смидовича, а раза два беседовать и с Михаилом Ивановичем Калининым, приходилось бывать и у В. Д. Бонч-Бруевича, и всюду мы встречали хорошее к нам и терпимое к нашим убеждениям отношение.

В первый же разговор со Смидовичем я сказал, что для успеха переселения надо бы составить какую-то инструкцию для представителей местной власти о некоторых особенностях наших убеждений, чтобы они не относились к ним как к чему-то злонамеренному и считались с ними. Смидович просил меня написать примерно то, что нам казалось нужным.

Вот что я написал и подал ему:

«Ввиду того, что вышеозначенные переселенцы имеют свои определенные религиозные убеждения и вытекаю-

щие из них особенности быта и жизни, это необходимо учесть и предусмотреть в инструкции об условиях переселения, для того, чтобы избежать конфликты и недоразумения с представителями местной власти.

Необходимо указать, что эти особенности не являются злонамеренными, корыстными или политическими действиями, а вытекают из религиозных убеждений переселенцев.

1. Переселяющиеся не могут принимать участия ни в каких повинностях, кампаниях, займах, связанных с военными целями, и, самое главное, отказываются брать оружие в руки.

2. Переселяющиеся — вегетарианцы и не могут принимать участие в мясозаготовках и контрактации скота на мясо и вообще в действиях, связанных с убоем скота.

3. Переселяющиеся по своим убеждениям не могут участвовать в органах государственной власти и производить в них выборы представителей.

4. Переселившиеся коллективы могут входить в систему с.-х. кооперативных объединений при условии невмешательства во внутренние распорядки и быт переселившихся.

5. Не препятствовать переселенцам самостоятельно организовать школу для обучения грамоте своих детей.

6. Переселяющиеся считают коллектив жизненным только тогда, когда все члены одних взглядов, и поэтому никакое административное укрупнение и слияние с людьми других взглядов недопустимо, а также недопустимо и административное вмешательство во внутренний уклад жизни коллективов.

7. Направление и способы ведения хозяйства определяются общим собранием каждого коллектива.

8. Переселенцы на отведенном участке объединяются в один или несколько коллективов (коммун или артелей), смотря по обстоятельствам и желанию самих переселенцев.

9. Для того чтобы переселение совершилось безболезненно, надо предоставить возможность существовать толстовским коммунам на старых местах впредь до полного переселения, но не дольше весны 1931 года.

10. Ввиду большой нужды в средствах для переселения и устройства на новом месте, предоставить возможность переселяющимся реализовать при ликвидации прежних хозяйств все нажитое ими имущество, чтобы перене-

сти полученные средства на строительство нового коллективного хозяйства».

Смидович сидел за большим столом в кожаном кресле и читал эту мою записку, читал про себя и только по временам гмыкал и приговаривал потихоньку:

«...Оружия не брать... будем судить... будем освобождать... мясозаготовки не можем... можно заменить чем-нибудь другим... в выборах не участвовать...» Так, значит, у вас советской власти не будет?

— У нас есть совет коммуны,— вставил я.

— Школа? Да, школа,— проговорил он в раздумье,— не будете посылать в государственную, будем штрафовать родителей... Подумаем,— заключил он.

Очевидно, какие-то нам неизвестные указания на этот счет на места давались, но какой-либо цельной, официальной инструкции дано не было, по крайней мере, мы ничего об этом не знаем, а не имея таковой, очевидно, не надо было соглашаться на переселение, но колесо уже было пущено в ход, завертелось, и остановить его уже было трудно.

Дело было решено.

Из ВЦИКа вопрос перешел в Наркомзем, которому было поручено оформить практически наше переселение в порядке плановых переселенцев. Начинать надо было с выбора и закрепления участка. Выдал нам Наркомзем ходаческий билет для выбора участка из переселенческих фондов.

Тогда еще были в местах малозаселенных, где имелись свободные земли, переселенческие управления, которые встречали ходоков, давали им приют, снабжали продуктами, давали адреса и планы свободных участков и закрепляли выбранный ходоками участок, согласно их ходаческому билету.

Нам указали большой район — Казахстан и Западную Сибирь. Можно было бы и в Восточную, но мы что-то туда не решились, далеко уж очень, но все же знакомились с теми районами Восточной Сибири, куда было переселение, по данным переселенческих управлений и географической литературе.

Ходоками были избраны — я и Ваня Зуев от нашей коммуны и Иоанн Добротолюбов от сталинградской общины «Всемирное братство». В мае 1930 года ходоки тронулись в путь. Всего мы проехали не менее 15 000 километров.

Побывали в Ташкенте, Аулиа-Ате, Фрунзе, Алма-Ате,

Семипалатинске, Усть-Каменогорске и вверх по Иртышу чуть не до озера Зайсан, затем — Новосибирск, Щегловск (ныне Кемерово), Новокузнецк, в районе которого и закрепили за собой переселенческий участок на реке Томи, километров 20 вверх по течению от Старого Кузнецка. Поездка эта была очень интересна и нужна, и о ней можно бы написать особую главу. Сколько мест мы осмотрели, сколько людей встречали, сколько событий! Ездили на поездах, на лошадях, пешком.

У меня была объемистая клеенчатая тетрадь, где я вел дневник ходока, чтобы потом полнее рассказать пославшим нас о нашей работе. Но этот дневник постигла печальная участь. При аресте меня в 1936 году его забрали вместе с другими бумагами, и он послужил одним из документов, на котором строилось обвинение меня в якобы контрреволюционности, с чем я никак не могу согласиться.

Ходоки вначале было остановились на участке в степном левобережье Иртыша, километрах в 100 от него в большом треугольнике между казацкими станицами Буконь, Баты и Чешлек.

Только потом я понял, что это было бы большой ошибкой. Что стали бы мы делать в этой степной, безлесной местности? Конечно, там можно было бы занятся богарным зерносеянием и животноводством, но ведь большинство из нас стремились, как вегетарианцы, к овощному и даже садоводческому направлению хозяйства.

Иоанн, знакомый с овцеводством, говорил, что здесь замечательные условия для разведения овец. Вдоль по речушке Чешлек растянется поселок. Можно будет отводить воды Чешлека на низменные места, прилегающие к реке, и развести хорошие поливные огороды.

Может быть, все это было бы и так, но кругом на сотни километров никакой промышленности, нет путей сообщения, куда же сбывать продукты? Где брать средства на разные необходимые расходы?

Но все же мы тогда решили остановиться на этом участке. Иоанн затесал кол, забил его и сказал: «Здесь будет город заложен».

Согласие местных властей было дано. Оставалось только на другой день сделать последние формальности, но, видно, кто-то «более политически развитый» подсказал им — и нам отказали. Сказали: «Переселенцы нам сюда нужны, но здесь недалеко граница, и нам нужны здесь люди боевые, а не вы».

И, к нашему счастью, мне думается, мы покинули те места.

Опять пароход, вниз по Иртышу. Пыльный Семипалатинск. Поезд на север, на Сибирь. Ночью и наутро в окна нам глянули уже не пески и колючки, а березовые рощицы и зеленая травка, все такое близкое, родное, русское.

— Вот это нам подходит — единодушно согласились три ходока.

Нас потом спрашивали — неужели вам в таких просторах и попались всего эти два участка — Кузнецкий да на Чешлеке? Неужели вы не могли подыскать место, пригодное для садоводства?

Да, не получилось тогда.

В благодатную Киргизию мы заезжали, но в том году переселение туда было закрыто.

В Алма-Ате нас приветливо встретил начальник республиканских земельных органов: «Я слышал, что толстовцы хорошие хозяева, и мне хочется, чтобы вы работали у нас». И он предложил нам под самой Алма-Атой целый поселок с готовыми домами, с плодоносящими, хорошими садами, близ города, сбыт хороший, трудностей почти никаких, одним словом — заходи и живи и ешь яблоки. Заманчиво было нам это предложение, но мы отказались. Из этого поселка недавно были вывезены его жители, как зажиточные и не вступившие в колхоз.

От другого участка в Казахстане мы отказались, испугавшись ведения неизвестного нам поливного хозяйства, а главное, из одного источника должны были поливаться и земли переселенческого участка, и земли местных жителей — казахов, воды было не в изобилии, и мы не захотели споров.

Коммуна стала готовиться к ликвидации хозяйства.

Но на нас висел приговор суда, нас могли лишить свободы, и я пошел опять в приемную М. И. Калинина к Смидовичу. Объяснил положение. Смидович при мне взял телефонную трубку и вызвал какого-то прокурора (кажется, республики).

— Там у вас имеется дело таких-то... Они сами уезжают далеко в Сибирь... Я полагаю, дело это можно прекратить... И на этом дело с судом кончилось.

Хозяйство свое мы сговорились передать психиатрической больнице имени Кащенко.

Эта больница по окрестным деревням практиковала так называемый патронат, т. е. спокойных душевнобольных

раздавали на прожитие крестьянам за соответствующее вознаграждение, и на месте нашей коммуны они решили сделать как бы небольшое отделение больницы, ведающее делами таких больных.

Всего они уплатили нам 17 тысяч. А Ворона нашего, уже тридцатилетнего, который из вороного стал седым и был еще крепкий, купил за 100 рублей один крестьянин и еще работал на нем.

Наркомземом нам, как плановым переселенцам, был предоставлен льготный тариф на проезд людей и на вагоны для скота и багажа.

В марте 1931 года начали мы подвозить груз — с.-х. инвентарь, семена, продовольствие, картошку, личные вещи, фураж и т. д. на станцию Канатчиково Окружной железной дороги.

Лучших коров, телят и лошадей мы также увозили с собой. Со скотом отправился Петр Яковлевич Толкач. В отдельном вагоне, прицепленном к скотским, везли сено и корма на длинную и долгую дорогу. Дружно кипела работа по погрузке, чувствовался какой-то подъем. Коммуна бодро переходила к новому этапу своей трудовой жизни.

Шестаковка и наш коммунальный дом стали заполняться новыми людьми, рабочими и служащими больницы.

И вот 22 марта 1931 года и сами коммунары погрузились в вагон поезда, следующего с Ярославского вокзала через Вятку, Пермь, Свердловск, Омск, Новосибирск, Болотная, Новокузнецк.

От станции Новокузнецк наши вагоны с грузом по веточке подали к самому берегу Томи и выгрузили все под открытым небом. Было начало апреля, таял снег. Дальше, километров 20, надо было перевозить все на лошадях. Лед на реке сначала вспучило посередине, а у берегов вода стояла по льду, а потом и по всей реке, поверх одряхлевшего уже льда, разлилась вода.

7 апреля погрузили на сани остатки багажа и тронулись через реку. Жутко было ехать по широкой реке, по воде, а под водой ненадежный лед, промоины и трещины, но наш обоз благополучно стал выезжать на правый берег Томи в Топольниках, и только последняя подвода провалилась сквозь лед, но было уже близко к берегу, неглубоко, и ее вытащили.

Так благополучно, не растеряв ничего ни из материального, ни из духовного, закончила коммуна «Жизнь и труд» свое переселение из-под Москвы в Сибирь.

Часть II.
СИБИРЬ

Апрель 1931 года. В природе победно идет весна — сияющая, быстротечная, сибирская. На пустынный, незаселенный дотоле берег р. Томи стали группами и поодиночке съезжаться переселенцы. Открывалась еще одна страница истории русского народа, страница небольшая, но яркая и полная обнадеживающего смысла и силы.

Еще в августе 1930 года приехала сюда рабочая дружина из нашей коммуны — несколько человек. Они, сколько смогли, подготовили условия для переезда остальных. Вместе с ними зиму 1930—1931 года жила группа членов сталинградской общины «Всемирное братство». Дружина построила один дом, да три дома купила, накосила сена и просодержала зиму молодняк скота, привезенный из-под Москвы.

Эти дома с приездом нашей коммуны и начавшимся массовым притоком переселенцев быстро заполнились до отказа. И сени, и чердаки, и навесы — все было занято, а народ продолжал прибывать с разных концов страны.

Приехали «уральцы» (по месту их последнего места жительства) — давно сжившаяся сельскохозяйственная артель, украинцы из разряда сектантов-субботников. Следует сказать, что эти субботники раньше жили с толстовцами и усвоили многие взгляды последних.

Общее количество приехавших достигало нескольких сот, весна быстро сгоняла остатки зимы. Почти все приехавшие были крестьяне, и первой их мыслью было — как скорее взяться за землю.

Тем временем стала другая, не терпящая отлагательства задача: надо было как-то оформить взаимоотношения всех съехавшихся и их хозяйственную организацию.

Как сейчас помню — под чистым небом на бревнышках и на траве разместились переселенцы, собравшиеся обсудить один вопрос: «Как будем жить?».

Было внесено предложение — всем составить одно целое с общим хозяйством и общим имуществом; однако, поразмыслив, пришли к другому решению — что не надо стеснять друг друга. Опыт жизни наших дружинников, их

разговоры и высказывания говорили за то, что лучше объединиться не в одну, а в несколько организаций, объединяющихся по своим склонностям (коммуна, артель) и в зависимости от тех или иных руководящих убеждений каждой группы.

Было решено: «уральцы» составят сельскохозяйственную артель «Мирный пахарь» и поселятся по Осиновской щели с землями к западу от ручья Осиновка. Сталинградцы составят общину «Всемирное братство» и поселятся по щели Каменушка с землями к востоку от ручья Каменушка.

И, наконец, подмосковная коммуна «Жизнь и труд» так и осталась коммуной с поселком на реке Томь и с землями в центре всего переселенческого участка.

Это были три основные ядра, уже ранее, до переселения, сжившиеся вместе, а все остальные переселенцы, по мере прибытия, знакомились с этими организациями и присоединялись свободно к какой-либо из них, смотря по своим склонностям.

Постепенно организовались еще группы: «барабинцы», примкнувшие к общине, «омские» и внутри коммуны «малеванцы», «ручники».

В это первое лето 1931 года численность нашей коммуны достигала 500 душ, «Мирного пахаря» до 200 и общины «Всемирное братство» до 300 душ.

Несколько слов о географическом положении нашего участка и о природных условиях местности, где мы поселились. Как-то само по себе вошло в обиход и у нас, и среди друзей, в толстовских кругах, называть наше переселение «Алтай». Даже Ив. Ив. Горбунов-Посадов в своем стихотворении, посвященном нашему переселению, говорил:

На светлых предгорьях Алтая,
где плещется Томи волна,
семья собралася большая,
одним устремленьем полна.

Это романтическое слово «Алтай» нравилось и крепко привилось, но это было неточно. Правда, здесь начинались предгорья. Бескрайняя Западно-Сибирская равнина начинала морщиться и складываться во все более мощные гривы, горы, покрытые земляным покровом, и далее, уже за нами, в Горной Шории, переходила в каменистые горы, покрытые лесом — тайгой. Но все-таки это были предгорья не Алтая, а хребта Кузнецкий Алатау, отделявшего бассейн Оби с ее притоками от бассейна Енисея.

Рельеф нашего участка был очень волнистый. Одной из граней его с юга была река Томь с чистой, голубой, холодной водой, текущей с гор по каменистому дну, а к Томи с севера на юг тянулись щели (лога) с ручейками Зыряновка, Осиновка, Алма-Атинка, Каменушка первая, Каменушка вторая, а далее уже за гранью нашего участка начиналась Горная Шория и при впадении речушки Сухая Абашевка в Томь стоял шорский улуч (поселок) Абашево. А между щелями — гривы с крутыми склонами, поросшими буйной травой, которую мы косили, и только вершины грив и пологие склоны шли под пашню. По логам и склонам кое-где рос лес — осинник, березы, а еще кое-где — сохранившиеся от прошлых столетий отдельные могучие, корявые сосны. В логах, где пониже и посырее, травяная растительность достигала роста человека и выше с разнообразными красивыми цветами.

Красота природы, нетронутость ее, тишина первозданная восхищали нас. А когда выйдешь наверх, на гриву повыше, то открывался вид, захватывающий дух: внизу, причудливо извиваясь, блестела светлая Томь, за ней на много километров расстилалась ровная, покрытая кустами тала, черемухи, калины пойма реки, а дальше начинали подниматься все выше и выше, одна за другой, горы, покрытые синеющей тайгой, а на востоке в хорошие дни на самом горизонте иногда четко вырисовывались хребты и вершины Горного Алатау, покрытые снегом.

Лето в 1931 году выдалось для этих мест на редкость сухое и жаркое, но настоящей засухи все же не было, а по утрам бывали такие обильные росы, будто дождик прошел.

Климат местности резко континентальный: зимой крепкие морозы до —50°, летом днем жарко, много солнца, а ночи холодные.

Старинная крестьянская бездорожная, без механизмов и машин, глухая Сибирь, где даже обыкновенная телега при подъеме в горы уже становилась непригодной, а надо было садиться верхом и ехать тропой. А далее на восток по Томи к ее притокам Усе, Мирасу, к далеким поселкам и золотым приискам ехали и везли грузы на долбленых лодках, «на шестах», так как на веслах нельзя было преодолеть быстрое течение бегущих с гор рек.

На запад от места нашего поселения до Старого Кузнецка, если идти под горами, не встречалось ни одного домика, а если идти низами, по реке, то было только одно большое селение Феськи (ныне Бойдаевка).

Первое время на дороге и по лугам было много змей.

Мы жили как бы на краю света. Вечерами, выйдя на гору, на западе можно было видеть зарево от огней новостроек Кузнецкстроя, а на востоке и юге глушь и тьма. Там безлюдная, нежилая, непроходимая тайга по горам на сотни километров. Забегая вперед, скажу: среди переселившихся оказались и такие, кого, после возникновения первых трений с местными властями, поманила эта глушь. Им захотелось уйти еще дальше, оторваться от мира с его суетой и основать новое поселение, где бы никто не мешал. И вот, трое из сталинградцев — брат Иоанн и с ним двое других — отправились искать удобное место в тайге. Проходили они несколько дней и вернулись. Все с интересом слушали их рассказ. Сначала натыкались они кое-где на пасеки, а еще дальше — никого, но по тайге, по крутым склонам, пробираться очень трудно. Внизу в лога травы могуч е, духота, топко, а на горах тайга и тоже воды, родники, ручьи. Удобных для сельской жизни мест они не нашли, и эта мысль отпала.

По тайге бродили только охотники да золотоискатели. Даже у нас, на берегу реки, по дороге в Кузнецк, можно было видеть старателей, промывающих золото самым простым образом: небольшая бутарка — станок с решеткой вверху. Бутарка стоит у самой воды, один подвозит тачкой из обрывистого берега наносную почву, песок с галькой, и насыпает на решетку, другой качает насосиком воду на эту же решетку, третий шевелит все это лопатой, откидывая камни; вода смывает песок и грязь по наклонной доске, а более тяжелые золотые песчинки оседают в разостланном на доске бобрике. Потом этот бобрик пром ают несколько раз в тазу, все более очищая тяжелый золотой песок от грязи, а потом окончательно отделяют золото от посторонни примесей при помощи ртути в миске.

Деревянный городок Старый Кузнецк с улицей и домиком Достоевского, в котором он жил здесь в ссылке, с заброшенной каменной крепостью на горе под городом. Крепость эту в давние годы строили пленные шведы. От всех этих мест, от всей природы, жителей, уклада жизни веяло еще стариной, глухой Сибирью, но населенной крепким, бодрым, предприимчивым народом.

Но такая жизнь продолжалась при нас недолго, лет семь — восемь.

На нашем участке открылось несколько больших угольных шахт. Провели от города к шахтам железную

дорогу, появились мосты через Томь. Конный транспорт постепенно вытеснялся машинами, по бездорожью стали прокладывать шоссейные дороги. На полях появились тракторы. Вошли в быт горожан электрический свет, радиовещание. По другую сторону Томи от Старого Кузнецка вырос большой современный город Новокузнецк (Сталинск). Но все это в дальнейшем.

А пока — в далекую суровую Сибирь, под открытое небо, со скромным запасом продовольствия, а кто и вовсе без всяких запасов, почти без средств, кто в одиночку, а кто с семьями и малыми детьми, без всякой помощи от кого бы то ни было, а скорее окруженные каким-то любопытством и недоверием, съезжались в большинстве своем незнакомые раньше друг другу люди.

Кто были эти люди? Что влекло их сюда, на большие лишения и труды, на жизнь, полную опасностей?

По своему социальному положению это были трудовые крестьяне, а по убеждениям, по взглядам — так называемые толстовцы.

Слово «толстовец» появилось от фамилии Толстой, но не в смысле выделения личности Толстого и не в смысле всеобщего признания его великим художником слова, а в смысле признания идей и учения Льва Толстого.

Шел сеятель с зернами в поле и сеял;
И ветер повсюду те зерна развеял.
Одни при дороге упали...*

Сеятель сеял, ветер развеял, зерна падали в разные места, на разную почву, но эти зерна были живые, и они принимались и давали ростки и плоды.

Так появлялись толстовцы.

Эти люди не составляли из себя ни партии, ни секты. Они не хотели и не могли этого делать в силу самих идей Толстого, отрицавших ложные политические учения и религиозную штамповку и окостеневшие, застывшие в догматизме церкви и секты.

Но как ни свободно воспринимались этими людьми идеи Толстого, все же они клали на них свою печать, чем-то выделяли из массы других людей. И главное в этом смысле было то, что мы привычно обозначаем как «образ жизни».

Движение это молодое, в нем нет традиций, устоявшихся веками. Сюда попадали и бывший «барин», понявший весь стыд над своей прошлой жизнью; и забитый нуж-

* Из стихотворения А. М. Жемчужникова.

дою мужик, придавленный церковью, порабощенный властью и вдруг осознавший свое человеческое достоинство и с благодарностью устремивший глаза и сердце к Толстому, открывшему ему правду; и студент, подходивший к диплому, обеспечивавшему ему уважаемое положение, и резко бросивший все и перешедший к главному и несомненно нужному труду — земледельческому; и солдат, обовшивевший и погибавший в окопах мировой бойни в угоду могучим властителям императорам, вдруг познавший в себе человека, рожденного не для того, чтобы быть тупым военным рабом, а для блага и своего и общего, и решительно и бесповоротно воткнувший штык в землю и вернувшийся к мирной, трудовой, человеческой жизни; и рабочий оружейного завода; и эсер; и анархист, делавший бомбы; и командир бронепоезда; и красный партизан; и следователь Чека, под влиянием идей Толстого уходившие от своей политической деятельности и бравшиеся за плуг; и сектанты различных течений, понявшие разумный и свободный дух толстовского учения и ушедшие от рабства библейской буквальности и дикости; и учительница казенной школы, отшатнувшаяся от губительной штамповки и калечения детских душ государством и с радостью принявшая идеи Толстого о свободном и нравственном воспитании детей.

Когда был жив Лев Толстой, нити от искавших правды людей тянулись к нему. После смерти Толстого остались его единомышленники, ученики и друзья. Общность стремлений влекла их друг к другу и сохраняла единение.

После войны, после революции еще действовало толстовское издательство «Посредник», существовало Московское Вегетарианское общество имени Л. Толстого, издавались ближайшим другом Толстого В. Г. Чертковым и другими журналы «Голос Толстого», «Единение», «Истинная Свобода», было много сельскохозяйственных групп, коммун, артелей, общин, объединявших единомышленников Толстого.

Все эти люди стремились к дружескому общению и знали друг друга хотя бы по переписке и понаслышке.

Большую роль тут сыграл Владимир Григорьевич Чертков.

При жизни Толстого ближайший его друг и единомышленник, он и до самой своей смерти в 1936 году остался верен идеям Толстого. Всю свою жизнь он посвятил делу Л. Н. Толстого.

Будучи большой фигурой в обществе, он умел быть

5 9—165

близким и чутким другом для многих и многих из нас, единомышленников Льва Николаевича, другом, которому можно было поведать самое сокровенное, а порой и трудное, и встретить самое горячее сочувствие, добрый дружеский совет.

Когда понадобилось составить списки толстовцев, желающих переселиться, то и в этом помог Владимир Григорьевич. Он вникал во все мелочи, интересовался всеми нашими делами, но никогда ничего, ни одним словом, нам не навязывал.

Было так: ранее приехавших уже затягивали текущие хозяйственные дела, стройка, поле, сенокос, а переселенцы все подъезжали и подъезжали к нам. Всем им уделялись какое-то внимание и помощь. Снимали с пахоты лошадей, посылали привезти семью, имущество, если было, или давали совет — встать где-либо пока на квартиру в окрестностях, чтобы было где голову притулить.

Большим препятствием была Томь. Там, где теперь мост в Топольниках, тогда был паром, приводимый в движение лошадиной силой. Посреди парома стоял вертикальный вал с четырьмя водилами, как в конной молотилке, и четыре лошади ходили по кругу, вращая вал, передачи и колеса с плицами, сгребавшими воду. Быстрое течение реки сносило громоздкий паром, и чтобы точно причалить к пристани, погонщик нещадно бил кнутом по очереди бедных лошадей, рассекая им спины рубцами до крови. У парома часто было «завозно», и ждать очереди приходилось иногда по целому дню, а то и заночевать. Но и паром не всегда ходил: в начале мая, после ледохода, была большая вода и паром не мог работать, потом вода спадала, а уже в июне, когда по верховьям Томи, по горам и тайге проходили теплые дожди, смывая еще лежавший там глубокий снег, вода вторично поднималась, иногда много больше, чем весной, и паром опять не мог ходить, а переселенцы переправлялись кто как мог, со страхом и опасностью для жизни, кто на лодке, кто на самодельном плоту, преодолевая последнюю преграду на пути к коммуне после долгого, тысячеверстного путешествия в вагонах.

Некоторые привозили с собой кое-что из крестьянского имущества: повозку, плуг, корову, ульи,и даже несколько лошадей прибыло к нам, но большинство были «налегке»; хорошо, если было при себе сколько-нибудь денег, хлеба в зерне, а чаще всего квитанции Заготзерна на сданный на месте хлеб, который мы получали на руки в Загот-

зерне в Кузнецке. Это правило, существовавшее для плановых переселенцев, было очень удобно и сильно нам помогло.

Вновь приехавший обычно приходил ко мне, бывшему тогда председателем совета коммуны. Знакомились: «Чей?», «Откуда?», «Где семья?», «Дадим лошадь», «Имущество есть?», «Хлеб?», «Деньги?»

Далее разговор продолжался в таком духе:

— Зайди к Ульянову Коле (это был наш счетовод), запиши все; деньги ему, хлеб в кладовую. Вот где разместиться? Смотри — или здесь как сумеешь, или пока на квартиру.

— Питание?

— Общее.

Все у нас было просто. Никаких устоявшихся традиций еще не было. Некоторых, привыкших к другим формам жизни, это, возможно, несколько как бы ошарашивало. Я помню, приехал с Кавказа Никон Щелкунов с женой, горского вида женщиной, дочкой и сыном. Он приехал как раз к обеду и попал за стол, еще не повидавшись со мной. Щелкунов человек пожилой, выходец из какой-то секты, степенный и серьезный. Он с некоторым удивлением оглядывался на с шумом и смехом усаживавшихся за стол коммунаров. Он, может быть, ждал молитвы перед едой или хотя бы большего «благочиния»,— этого не было. Он сидел через два человека от меня, и я слышал, как он спросил соседа: «А как же мне увидеть Бориса Мазурина?».— «А вот же он»,— указал на меня его сосед, и надо было видеть, какое удивление выразилось на его лице, когда он увидал молодого, ничем не отличающегося от всех остальных человека. Он, наверно, все же ожидал другого. Да, были и такие, и Щелкунов недолго прожил в коммуне, уехал обратно на юг, попал там в условия голода 1932 года, и все они умерли. В живых остался только один из его детей.

Известно, каковы главные телесные потребности человека: хлеб, одежда, жилище. Хлеб у нас пока был привезенный с собой, одежда тоже была пока, а вот жилище стало главной заботой. Сухая жаркая погода никого не обманывала. Быстро промелькнут летние месяцы, а впереди — сибирская зима. Надо думать, надо делать. У всех, во всех группах об этом шел разговор. Предлагалось много разных способов, как быстрее и легче построить жилье.

Бывшие жители лесных мест думали о лесе, но настоящего строевого леса на участке было мало. Возить из-

далека не устраивало, слишком трудоемко, нет транспорта. Бывшие жители южных мест говорили о глине, но и это было отвергнуто: сильно влажный климат этих мест был против. Уральцы делились своим опытом переселения с Украины в безлесные степные места Южного Урала. Они там запрягали в плуг несколько пар лошадей, прикрепляли нож — резак, и по вековечной целине отваливали ровную, длинную ленту крепкого пласта. Резали его лопатами на кирпичи и из них делали дом, сводя кверху сводом, при наименьшей затрате леса. К этом дому впритык (экономилась одна стена) строился другой и так далее. Получался быстро, из местного материала, теплый, длинный, многоквартирный дом. Этот способ привлек общее внимание. Сталинградская община применила его, и они жили в таких домах.

Однако у нас в коммуне этот способ отвергли. Земля в наших местах оказалась хотя и черноземная, но рыхлая, рассыпчатая. Пласт получался некрепкий, разваливался. Таким способом, и то не сводчатый, был у нас построен один дом.

Выручило другое. Поселок наш вырос в основном все же бревенчатый. Шел 31 год, будоражила в Сибири крестьянскую жизнь коллективизация. Многие крестьяне уходили из села на производство, уезжали в другие места, на золотые прииски, кто куда, и продавали по деревням, и недорого, много построек. Вот и отправляли человек четырех с деньгами и топорами куда-нибудь вверх по Томи, в Буравково, в Безруково, в Атаманово. Покупали дом или амбар. Размечали, разбирали, подвозили к Томи, делали плот, садились на него и плыли к коммуне.

Здесь их уже ждали, встречали. Бревна вытаскивали, и дня через три-четыре стоял уже дом на нашей новой улице. Потом появлялся другой дом в линию, но отступив метров 5—6. А потом вспоминались уральские длинные дома, и пространство между двумя домами забирали двумя стенами, подводили под одну крышу, и получался трехквартирный барак.

Рубили лес и на своем участке, строили и из него. Применялся, особенно успешно для строительства скотных дворов, и третий способ: делался каркас из толстых бревен, а стены забирались кое-какими жердями. Между жердями густо выкладывалась глина, замешанная с длинной соломой. На эту глину клали следующую жердь, крепко пристукивали ее кувалдами и так далее. Глина с соломой силь-

но выступала на обе стороны, а когда она начинала затвердевать, женщины обмазывали еще слоем глины, выравнивая стены по-украински, и получалась плотная стена. Скотные получались хорошие — теплые. Работа кипела. Но форма этой работы нашлась не сразу. Сначала было собрание, на котором решалось, как же будем строиться? Сообща ли? Или как уральцы — каждая семья себе?

Разговоров было много, но решили все же: раз коммуна,— значит, сообща. Создали бригаду,— благо, плотников было много, и к зиме все вошли под крышу.

Но как вошли? В каждом доме жили по нескольку семей. Сплошные койки, а некоторые одиночки, как Миша Благовещенский, ради экономии места ухитрялись подвесить свою койку на проволоке под потолком. Скученно было очень, но дружно. Помогло нам в стройке и то еще, что в тот год так называемый мулевой сплав по Томи был произведен не по-хозяйски. Много бревен оставалось по берегам, в кустах и вмерзали в лед. Весной этот лес был обречен на гибель, он все равно ушел бы со льдом в Ледовитый океан. И мы много им пользовались — и бесплатно, и за очень дешевую плату.

Нашлись свои пильщики, и одна-две пары распускали бревна на тес, на плахи. Пилили Вася Птицын, Ваня Сурин, Алексей Шипилов и я, и Егор Епифанов, и Егор Иванов, и Василий Шинкаренко, и другие. Было у нас много молодежи. Еще жилья было мало, а у них родилась мысль построить дом молодежи, где они могли бы собираться, проводить свой досуг, заниматься. Обнаружили на Томи один заливчик, куда течением нагнало полно бревен. Зимой все это сковало льдом, а весной, когда лед на реке ушел, в заливе остался целый склад бревен. Взяли лошадей, цепи и за один день вытянули на берег штук до 80 прекрасных бревен. Распустили их пилой на однорезки и построили из них большой дом в центре поселка. И... сейчас же он вплошную заполнился койками, ведь жить-то надо было где-то!

Впоследствии здесь разместилась наша школа, а еще позднее была контора.

Прибывшей с Киевщины большой группе малеванцев захотелось жить вместе в отдельном доме. Они облюбовали на дальнем краю участка место в сосновом лесочке. Народ все мастеровой, трудовой, и они быстро соорудили большой, длинный, многокомнатный дом, по-украински его вымазали и побелили. Потом они все же перешли в поселок коммуны: жить на отлете было скучней.

Так и получилось, что к зиме 1931—32 года все переселенцы, хотя и тесно, но вошли под крышу. Вырос поселок наш — улица в два ряда домиков и два отросточка, один по щели, другой на гору и ниже поселка, к Томи, где расположились конюшня и скотные дворы.

Одну потребность из трех главных большим напряжением сил, дружным трудом разрешили.

Вторая потребность — одежда — пока еще не так давала себя знать, обходились тем, что было. Фаддей Заболотский как-то сказал: «Я пришел к убеждению, что в одном пиджаке можно проходить всю жизнь: где получится дыра, поставь заплатку, а на заплатке дыра — еще заплатку». Но вот третья, главная потребность — хлеб — вставала перед нами во всей своей остроте.

Хорошо еще, что на лето, время стройки, сева, сенокоса, до осени кое-как натянули хлеба, привезенного с собой и какой удавалось где-либо подкупить. Но эти запасы подходили к концу.

Бывало, вечерком, когда уже замолкнут все работы, придет ко мне кладовщик Коля Слабинский.

— Ну, как у тебя с хлебом?

— Ой, плохо, всего дня на три осталось, как тает.

— Это хорошо,— скажу я.

— Чем же хорошо?

— Значит, люди здоровы, аппетит отменный...

Так пошутишь, а потом ночью лежишь, думаешь: а где же брать хлеб? Ведь семья-то немаленькая, пятьсот душ, коммуна, каждый делает свое дело и, проработавшись, придет к столу в уверенности, что кто-то позаботится, как и чем его накормить.

А что тут можно придумать? Своего хлеба посеяли мало и засуха. Собрали всего 300 пудов пшеницы и ссыпали в амбар, как неприкосновенный фонд, на семена на предстоящий год. Картошки, овощей собрали, правда, достаточно, но и хлеб был нужен. Помощи мы и не просили и не получили бы ни от кого и никакой.

Трудное положение создалось в коммуне, а в других группах было еще труднее. Барабинцы собирали съедобные травы, сушили, толкли в муку и пекли лепешки. Попробовал я одну — горечь.

И на этот раз собралось общее собрание, пришли все решить вопрос — как же быть дальше с хлебом?

И если на первом собрании были еще слышны голоса: «Пусть каждая семья строит для себя», то на этот раз

таких голосов не было. Не было сомнений, что этот вопрос надо решать сообща. Коммуна ведь!

И выход нашли.

Постановили: все взрослые трудоспособные мужчины уйдут на заработки.

К этому, кстати, были благоприятные условия. Строился Кузнецкстрой, рос при нем город Новокузнецк. Рабочей силы требовалось много. Условия жизни были трудные, и чтобы привлечь и удержать рабочую силу, продовольственные карточки выдавались не только самому рабочему, но и на всю его семью.

И вот, артель человек 30—40 ушла работать на галечный карьер в Абагуре, грузить гальку на вагоны,— конечно, тогда еще вручную лопатами. Вторая такая же артель — плотники — ушла в тайгу, по речке Сухая Абашевка, на урочища — Сиенка, Узунцы и другие, строить бараки для спецпереселенцев, которых ожидал леспромхоз для заготовки леса. Меньшие группы и в одиночку рассеялись кто куда; и на Кузнецкстрой, и в садово-парковое хозяйство, и так кто где.

В этом стеснения не было, но было общее решение — на себя тратить только на необходимое питание, а весь заработок, а главное — все продовольствие, полученное по карточкам на семью, сдавать в кладовую коммуны. С этой целью каждую субботу высылались подводы — одна в тайгу, другая на Абагур, третья в город, и возвращались они нагруженными в основном печеным хлебом.

Вот так и жили зиму 1931—32 года, лето 32-го и отчасти зиму 1932—33 года. В выходные дни приходили «мужики», то есть работники, и делалось полно, весело и многолюдно, а на буднях оставались одни женщины на трое-четверо взрослых мужчин.

Летом 1932 года посеяли побольше и собрали больше хлеба, можно было всем возвращаться домой, к своему любимому труду. Надоело жить в отрыве от семьи, от своего общества.

К тому же и на работе стали обращать на коммунаров внимание и стали несколько обостряться отношения с администрацией. Давали себя знать некоторые особенности наших убеждений.

В тайге нашей бригаде приказали разобрать два дома в шорском селе Абашево. Пришли, а оказалось, что это дом раскулаченного, в доме живет вся его семья и выходить из дома не хотят.

— Как же разбирать? — спрашивают наши.

— Разбирайте, да и все.

— Да ведь там живут!

— Разбирайте!

Наши посмотрели, постояли, повернулись и пошли. Разбирать не стали.

Само собой разумеется, «начальству» такое поведение коммунаров не понравилось, и оно взяло их «на заметку».

На Абагуре нашу бригаду очень ценили по труду — работали быстро, безотказно, в любое время, без пьянства, без прогулов, но подошла подписка на какой-то заем, кажется, на укрепление обороны. Наши подписываться не стали. Свой отказ от подписки на заем они мотивировали так:

— Во-первых, как мы можем давать взаймы, когда сами бьемся, чтобы только прокормиться самим и прокормить наши семьи. А во-вторых, мы не можем давать средства на военные дела.

Однако заемные деньги с них удержали при выдаче зарплаты. Облигаций наши не взяли. Тогда их пачкой принесли в барак и оставили. Наши запечатали их в конверт и отослали по почте обратно.

Новая «заметка», на этот раз большая.

Пора бы уж и закончить описание жизни коммуны, связанное с отхожими заработками. Скажу еще только, что никто из коммунаров, бывших на заработках, не соблазнился остаться там, все вернулись, и никто не нарушил общего согласия — сдавать весь заработок в общую кассу, кроме одного молодого парня Фесика младшего, купившего себе ботинки.

Надо коснуться еще одного важного вопроса: был ли состав коммуны вполне однороден в смысле сознательного, идейного влечения к коммуне? — Нет, было довольно много людей, попавших в коммуну не по идейному стремлению, а в силу сложившихся обстоятельств — например, некоторые жены, дети подросшие, но не захваченные этой идеей. Но это серьезное обстоятельство сглаживалось у нас тем, что большинство были крестьяне по жизни и это совпадало с крестьянским уклоном толстовских убеждений. Затем — идеи Толстого — не надуманность, не какая-то выдумка для узкого круга, его учение охватывает широкий круг нравственных, религиозных и общественных вопросов, которые естественно присущи в той или иной

мере всем людям. Поэтому большой неувязки в нашей жизни между людьми, идейно пришедшими в коммуну и попавшими в нее в силу случая, не было. Здесь надо сказать отдельно о сельском хозяйстве. Мы любили крестьянский труд. Сознательно, по влечению, избрали его основной своей деятельностью, и для многих из нас он занимал то место, какое у людей интеллигентных профессий занимают искусства и науки. Всю пытливость своего ума, жажду знания и творчества направляли на то, как лучше обрабатывать землю, в какое время и какими семенами посеять, как ухаживать за растениями и как вести уборку, чтобы труд давал хорошие плоды.

Как сейчас помню, однажды подошел ко мне, почти подбежал до крайности взволнованный тульский крестьянин Димитрий Киселев.

— Борис, Борис! Да что же это делается? Да это же как нарочно вред делается! Да разве так убирают сено?! Да ведь у нас пройдешь прокос, а назад идешь скосьем, вал растряхиваешь, чтобы сохло скорей; днем поворочаешь, если день хороший, к вечеру в маленькие копешки, а на другой день их раскидаешь тоненько, да за день раза два-три поворотишь, а к вечеру в копешки побольше, а потом смотришь по погоде, по траве — или в копнах доходит, или еще раз раскидаешь, досушишь. Так ведь сено-то — что твой чай! Как чай! А здесь что делают? — шумел он.

Я знал, что говорил Димитрий; у нас под Москвой так же убирали сено, но сибирский климат, сибирский травостой нарушали привычное и делали его ненужным.

— Пойдем,— позвал я его, и мы вышли недалеко за поселок, где по крутому, почти в 45 градусов южному склону лежали сверху вниз скошенные два дня тому назад валы травы. За нехваткой времени их ни разу не переворачивали, не растрясали, а трава под горячими лучами солнца, бьющего в упор, высохла. Высохла так, что ворочать ее дальше было бы только во вред, оббивать листья. Правда, сено было не такое душистое, как у нас на родине, но это уж оттого зависело, что травы здесь были другие, подтаежные.

Димитрий ворочал валы, щупал, мял сено и молчал. Нет, он еще не согласился, еще не отказался от своего, выработанного веками его предками способа уборки сена, но... но он молчал: сказать было нечего.

Такие стычки происходили первое время часто. Надо было видеть, с какой иронией смотрел житель средней Рос-

сии, какой-нибудь смоляк, как житель Средней Азии крепил косу к откосью длинным ремнем.

— Да разве так крепят? Мотай, мотай, а у нас кольцо, клин, быстро, крепко...

Затем шла проверка в работе. Оказывалось — и так хорошо, и так.

Почти каждый привез с собой в мешочках, узелочках своих лучших семян. Многое было испробовано в первое же лето. Так, посаженная у нас на южном склоне бахча дала хорошие арбузы, чего мы никогда не могли бы вырастить под Москвой. Мы радовались, но оказалось, что это помогло исключительное лето, в дальнейшем от посева бахчевых пришлось отказаться.

Южане предлагали сеять мак. 50-процентный выход масла! Да какое масло! Но мак не сеяли — отпугнула трудоемкость. А вот волжане привезли семена горчицы, она требовала очень мало затрат труда и давала хорошие урожаи и хорошее масло.

Так же хорошо созревали подсолнухи, только сорта пришлось подбирать.

Привезли мы с собой из-под Москвы семена озимой пшеницы. Нам говорили, что в Сибири она нейдет. Но мы упорно, года три сеяли ее, собирая совсем ничтожный урожай, пока не убедились на опыте, что нейдет она здесь.

Обо всем этом думали, думали еще тогда, когда и жилья-то еще не хватало. Думал и принимал к сердцу каждый труженик полей, а не один наемный агроном, на которого обычно возлагается вся эта работа, а непосредственно работающим на земле остается только более или менее добросовестно выполнять, что ему велят. Как недавно одна молоденькая агрономша, девчушка, проходящая еще практику в совхозе, на слова старого, опытного рабочего в огороде: «Я думаю, что надо так сделать» — ответила:

— Вот это-то и плохо, что вы думаете; поменьше надо думать, побольше выполнять.

И даже если агроном попадается знающий, любящий свое дело, и то он зачастую не может самостоятельно делать так, как считает нужным, а должен выполнять директивы и обязательные рекомендации сверху. Тот же, кто сидит наверху, в министерском кабинете, даже при всем желании, даже если он семи пядей во лбу, не может охватить и разрешить всего многообразия и условий сельского хозяйства и работы.

Нет, мы шли не сверху вниз, пирамидально, наверху

один, а вниз все шире и шире, а уж в самом низу, в основании — рабочие люди земли,— мы начинали снизу, от каждого, кто работает на земле сам. Но это не значит, что мы чурались агрономии, науки о земле, что мы не ценили трудов тех, кто работал в этом направлении; наоборот, мы искали их и обращались к ним. Так, послали Гитю Тюрк и еще кого-то в Омск на зерновую опытную станцию, и они привезли много разных сортов пшениц, овса и ячменя, и уже на второе лето нашей жизни в Сибири у нас было свое опытное поле, разбитое на аккуратные делянки. Уход за полем мы поручили Ивану Прокопьевичу Колесникову, воронежскому крестьянину-опытнику и садоводу. Я и Савва Блинов съездили в Барнаул, на Алтайскую опытную станцию масличных культур, и привезли семена горчиц — белой и черной, подсолнуха скороспелого «Пионер Сибири», рыжика, льна.

Сергей Алексеев, любивший огородничество до такой степени, что даже говорил: «Огород — моя религия», эсперантист, писал своим заграничным друзьям, и нам присылали семена огородных культур из Болгарии и других стран.

Северяне держались за любимую ими брюкву, незнакомую южанам, которая, кстати, дала богатый урожай и вместе с картошкой сильно помогла нам в питании первое время, когда с продуктами было трудно.

Сильно выручала нас первые годы гречиха, которую мало сеяли в Сибири, но которая прекрасно родилась, и мы ее сдавали в хлебозаготовки, тем более что сданный пуд гречихи засчитывали более чем за пуд пшеницы.

С первого же года или со второго была сделана теплица и парники. Мы были пионерами разведения клубники, неизвестной ранее в этих местах, а теперь так распространенной вокруг Новокузнецка.

Мы не только выписывали семена, но с первых же лет завели у себя семенной участок. Это дело было поручено аккуратнейшему Ване Зуеву, и он вел его с большим успехом. Один раз, правда уже значительно позже, он вырастил на нашем семенном участке 80 кг первосортных семян лука (чернушка), в то время очень дефицитных; в возможность выращивания чернушки в Сибири агрономы не верили. Сибиряки вообще раньше мало занимались огородничеством. Бывало, вывезем на базар подводу огурцов — зеленых, некрупных, подойдет какой-нибудь сибиряк и просит:

— Ты мне выбери какой покрупнее, пожелтее, поспелей, похруще...

Наша огородная продукция имела неограниченный спрос в Новокузнецке — и на базаре, и в столовых для рабочих Кузнецкстроя. Сдавали мы овощи и в столовые для иностранных специалистов-строителей, которые, боясь Сибири, для предупреждения цинги, перед обедом обязательно грызли сырую капусту.

Под огороды мы распахали, выкорчевав редкие кусты, ровную площадь под горами, по пойме реки. Земля была целинная, черная, рыхлая, овощи росли замечательно, да еще и семена попадались хорошие — болгарские, и урожаи были огромные.

В Новокузнецке, не помню, в каком году, примерно в 1933-м, была районная сельскохозяйственная выставка. Наша коммуна приняла в ней участие. Наши коровы заняли первое место по удойности; первое же место занял наш жеребец Овсадай, гордо проводимый по кругу Артемом Колесником, нашим конюхом. Наши овощи и клубника занимали также первое место, об этом писали в местной газете, но премией нас обошли. Нам было понятно, почему: «толстовцы». Мы были обижены и решили больше участия в выставках не принимать.

Вспоминая трудности и быстрый рост и успехи нашего небольшого переселения, мне невольно, и, может быть, не особенно кстати, приходит в голову сравнение с большим переселением на целину.

Наше переселение было делом рук и мысли самих крестьян, вызывая и развивая в них самодеятельность, инициативу, подъем. Никакой мысли не было о вознаграждении за труд, о каком-то строгом оформлении плана, о каком-то руководстве,— никаких заранее стесняющих рамок! А дело шло.

Свободный дух предприимчивости, не капиталистической, а коллективной, крестьянской, гаснет там, где работают за зарплату и по указке свыше.

Перед нами вставал целый ряд хозяйственных проблем и помимо жилищного строительства: мельница, кузница, зерносушилка, маслобойка, крупорушка, хлебопекарня, сапожная мастерская, теплица, парники, водоснабжение и т. д.

И как же быстро, с наименьшей затратой труда и средств, разрешались все эти нужные дела! Много лет спустя мне довелось работать в совхозе десятником по строительству, и я невольно сравниваю: насколько это было жи-

во и просто у нас, в коммуне, и насколько сложно, громоздко, дорого и медленно — в совхозе.

В коммуне не было директоров, прорабов, титульных списков, проектов, банковских счетов, ассигнований, смет, перечислений, проблемы кадров, норм выработки, разрядов, экономистов, целого взвода бухгалтеров, бюллетеней (больничных листов)... Не было всего этого громоздкого, скрипучего, бюрократического аппарата, убивающего любую живую инициативу рабочих и тормозящего дело.

Бывало обычно так. Возникла потребность в мельнице. Собираемся на производственное совещание. Помимо совета коммуны, приходят все, кому интересно. Вопрос ясен — мельница нужна. Выдвигаются разные предложения, иногда самые фантастические.

— Томь бы запрясь! Вот сила!

— А как ее запряжешь?

— Давайте плот закрепим на якорях, а колеса чтобы течение крутило...

Заманчиво. Какое-то время это предложение обсуждается, но затем отвергается.

— Движок бы!

— А где он?

Поднимается Михаил Полбин.

— Помогите мне найти только шарик стальной, и через неделю будет мельница.

— Давай!

И действительно, он быстро соорудил небольшую мельничушку с вертикальным валом, вращающимся силой воды ручья Осиновка. Вода из ручья была пущена по другому, выкопанному выше руслу с менее крутым падением, постепенно отходя от старого русла в гору, затем падала в старое русло, но уже с высоты двух метров, и силой падения вращала вал.

Хорошо росли у нас масличные культуры — подсолнух, горчица, рыжик.

— Вот бы маслобойку!

— А где ты ее возьмешь?

И сразу находились люди, знающие это дело.

— А у нас на Киевщине сколько их валяется, пропадает после раскулачивания!

— За морем телушка-полушка...

— Пошлите меня, я привезу.

Это говорит Марко Бурлак.

— А кто тебе вагон даст?

Снова «стоп», но дело очень заманчивое, мозгуется всеми. И вот, находится выход, использовать переселенческий билет замешкавшегося, еще не выехавшего к нам переселенца.

И появляется у нас и маслобойка, и крупорушка, чего нет во всей округе.

Воду в поселок подвозили на лошади, бочкой, с Томи. Воды надо много, а возить ее порой было и грязно и тяжело.

Раз старичок Евгений Иванович Попов, гуляя с палочкой, наткнулся в щели выше поселка на хороший родничок. Подал мысль — отсюда недалеко и удобно сделать водопровод в поселок, вода пойдет самотеком.

Родник расчистили, сделали срубик, достали в городе, на складе утиля, труб, и вскоре на нашей кухне, в пекарне, у парников стояли колонки с кранами. Вода была чистая, вкусная.

Направление нашего хозяйства создавалось — огородное. Продукции было много, сбыт хороший, но дело упиралось в транспорт. Лошадей и так было мало для работы внутри хозяйства, а до города 25 километров проселочной дороги, да еще через Томь, где паром часто создавал заторы.

Надо было искать выход, и его нашли. Мысль подали сталинградцы — использовать водную дорогу по Томи. Конечно, это было не ново, каждый день мы видели нагруженные лодки, идущие на местах вверх по течению и плывущие вниз налегке по течению. Но лодка, даже большая, поднимала меньше полтонны. Сталинградцы подали мысль делать карбуза, род лодки, но гораздо больше и размерами и грузоподъемностью. Коммуна и завела два таких карбуза, каждый грузоподъемностью до шести тонн.

Подводы с овощами заезжали прямо в воду к карбузу и загружали его обычно с вечера. Два матроса часа за 4—5 доплавляли его до места — левый берег Томи, против Топольников. Там мы сделали домик и при нем конюшню на две лошади. В домике постоянно жили сторож, он же и повар, и два возчика, они же и экспедиторы, которые развозили овощи по столовым, магазинам и на базар.

Так же возили зерно, картофель и овощи на сдачу государству. Это было большим облегчением для коммуны, экономило много сил и средств.

Внешне, для постороннего глаза, наш поселок выглядел небольшой деревушкой с небольшими бревенчатыми и комбинированными — дерево с глиной — домиками. Немного в стороне, ближе к Томи,— скотные дворы. По

щели, откуда шел водопровод (ныне Капустный лог), расположились мельница, пекарня, сушилка, кузница, баня, амбар, овощехранилище. Немного выше над поселком, где теперь дорога на кладбище, стояли еще несколько домиков — горная улица.

На горе, над поселком, на голом взлобке, начали мы и кладбище. Первым поселенцем там стал Еременко Андрей Павлович, мы же посадили там, на своих первых могилках, березки, которые сейчас разрослись уже в небольшую рощицу. Много дорогих могил оставила там коммуна, но, пожалуй, не меньше коммунаров покоится в безвестных могилах, рассеянных по бескрайним просторам Севера.

Как-то само получилось, нигде этот вопрос отдельно не обсуждался, что с самых первых дней, когда еще и домов-то не было, а по воскресеньям мы не работали — отдыхали. Может быть, это было несколько странно — гулять, когда ничего еще не сделано для встречи суровой зимы — ни жилищ, ни хлеба, и с одеждой тонко, но все же это было хорошо,— так было нужно. По будням мы работали сильно, безоглядно, не считаясь со временем, и если бы так работать без перерывов, получилось бы переутомление и отупение. А то — наступает воскресенье, и все заботы позабыты! В поселке всюду кучками народ, пение, беседы. Гуляют по окрестностям, по берегу Томи, ознакомляются больше друг с другом. И, освежившись и телесно и духовно, с новыми силами и желанием люди берутся за необходимый труд.

Если внешне наш поселок ничем не отличался от тысяч ему подобных русских деревень и если в нем жили люди такие же, как и во всех русских деревнях, с теми же достоинствами и слабостями, но все же было в нашей жизни и что-то особое, свое. Это, не побоюсь сказать так,— дух Толстого.

Это не выражалось чем-нибудь внешне, как нередко недоброжелательно описывают первых последователей Толстого,— длинные бороды, умышленное опрощение в одежде, лапти и подделка под народный говор: «каво», «чаво». Нет, ничего этого не было, или, вернее сказать, все это бывало: и бороды у некоторых, и простая одежда, и даже изредка и в лаптях бывал кое-кто, и некоторые говорили даже не только «каво», а иной раз выговаривали даже вместо могила — «мугыла» и т. д., но во всем этом не было ни малейшей нарочитости.

Люди были искренне такие, какие они были.

Так же и в отношении религиозности. Напрасно было бы искать в нашей жизни признаков религиозности в том смысле, как это понимают церковники и безбожники: никаких обрядов, никакого «культа», никаких молитвенных собраний,— ничего этого не было. И даже если взять глубже — не было никаких догматов, катехизисов, программ, авторитетов, непререкаемых каких-либо писаний. Было свободное принятие того понимания и пути жизни, которое так сильно и ярко выразил Л. Н. Толстой, и это было не потому только, что так сказал Толстой, а и потому, что каждый чувствовал это в большей или меньшей степени и в себе, в своем сознании, в своей душе.

Если разобраться, то, пожалуй, нельзя было бы найти двух человек вполне согласных друг с другом во всем, но все же что-то главное, основное объединяло всех и объединяло крепко. Отсюда вытекала и терпимость ко взглядам всякого другого.

Этой веротерпимостью объяснялось и то, что на наших собраниях можно было слышать иногда песни, не отражающие толстовского мировоззрения, а сектантского содержания. Тут были песни и евангелистов (баптистов), и молоканские (духовных христиан) «псалмы», и так называемые «хлыстовские», или «мормонские» (на редкость музыкальные!) духовные стихи, и песни малеванцев, и добролюбовские, и многие другие. Все это, на мой взгляд, было своеобразной данью прошлому, откуда эти люди вышли. Вместе с тем у нас можно было услышать и теософскую песню, и индусский гимн Вивекананды, и излюбленную песню народовольцев — «Медленно движется время...», и столь же известное стихотворение — «Колодники».

Собственно, толстовских песен было сравнительно не так много: «Слушай слово, рассветает...» и «День свободы наступает...» А. К. Чертковой, «Нам жизнь дана, чтобы любить...», «Счастлив тот, кто любит все живое...», «Учитель он был во французском селе» — Ив. Ив. Горбунова-Посадова. Пели и «Мирную марсельезу» А. М. Хирьякова, и некоторые стихи, сложенные самими переселенцами. Были некоторые песни от Евгения Ивановича Попова, любителя и собирателя народных мелодий («Нива моя, нива...»). Что же у нас не пелось совсем? Это были песни типа «разинских» («Выплывали... острогрудые челны...», затем — «Когда б имел златые горы...» и проч.).

Петь у нас любили, и пели много, иногда с большим воодушевлением, но надо признать, что не очень-то складно.

Лучше пели уральцы, но особенно хорошо — «барабинцы». В сектантском мире это, вообще говоря, наиболее одаренный в певческом отношении народ, непревзойденные вокалисты.

Религиозность у нас понималась как внутреннее отношение к жизни, ко всему миру и к себе и проявлялась не в обрядах и культах, а в отношении к жизни, в поведении, вытекавшем из понимания жизни: отказ от оружия, вегетарианство, трезвость, честность и доброе отношение к людям и всему живому, свободолюбие и признание равенства всех людей и отсюда — несогласие с государственной формой жизни, как основанной на насилии человека над человеком, а не на разумных, добрых началах; отрицание всяких суеверий, обрядов и церквей, отрицание общественной молитвы, отсутствие погони за богатством.

По воскресеньям мы отдыхали, но и будни заполнялись не одним трудом. По понедельникам бывали производственные совещания, на которые приходили не одни члены совета коммуны, а и все желающие. Все свободно принимали участие, и часто эти собрания превращались не в сухое, деловое заседание, а в живую, интересную и нужную беседу. По вторникам пели, разучивали песни. По средам — философский кружок, по четвергам учительское собрание, которое тоже бывало не узкопедагогическим, приходили и родители, обсуждались не только учебные вопросы, но и о воспитании детей. По субботам молодежная спевка, музыка. По воскресеньям большие общие собрания, на которых, кроме пения, проводились чтения и беседы на самые различные темы. Зачитывались письма от друзей-единомышленников по нашей стране, а иногда даже из-за рубежа — от духоборов из Канады, из Болгарии из коммуны единомышленников. Один раз из бюллетеня пацифистской организации «Интернационал сопротивляющихся войне» (в Англии) мы узнали об одном итальянце, отказавшемся участвовать в шедшей тогда войне итальянцев против Абиссинии и присужденном за это к смертной казни. Мы послали ему от общего собрания коммуны приветствие и сочувствие. Не знаем, дошло ли наше приветствие и какова судьба этого мужественного человека.

На этих же собраниях возникла мысль — делиться со всеми фактами из своей биографии, и некоторые охотно рассказывали о своей жизни. Эти рассказы бывали очень интересными и еще более нас сближали. При помощи Кости Благовещенского создался у нас хороший струнный ор-

кестр из молодежи. Ставили своими силами кое-какие постановки — «Первый винокур» и другие. Кроме всех этих собраний, часто бывали общие деловые собрания, на которых глубоко обсуждались и решались вопросы текущей жизни,— а их было много.

Когда-то в письме нашему другу Ване Баутину, заключенному в Соловках и очень интересовавшемуся ходом нашего переселения, я писал:

«Наша жизнь сейчас не надуманность, а живой поток вопросов, каждый день становящихся ребром и требующих ясного разрешения их, и последствия решений такие жесткие, суровые, что решать приходится серьезно. Особенно дорого единство, которое наблюдается во всех важных случаях, несмотря на многочисленные трения в мелочах».

В редкие минуты, когда удавалось душою вырваться из круговорота повседневных дел и забот, я иногда с интересом, как бы со стороны, взглядывал на наше переселение — выходит ли что из этого пестрого, крайне разнообразного соединения людей в общую семью?

И с радостью убеждался, что дело клеилось. И не только с хозяйственной стороны, а и в смысле принятия и освоения людьми новых, непривычных еще большинству форм жизни — коммуны, коммуны вольной, по сознанию.

Некоторые говорили: «Это вас нужда сбила в кучу, не будь коллективизации, не было бы и вашего переселения и вашей коммуны». Однако несостоятельность подобного воззрения ясна каждому непредубежденному человеку.

Первые коммуны зародились в Самарской губернии еще в 1918 году, а наша коммуна «Жизнь и труд» возникла в 1921 году. И многие, многие из переселившихся сюда, к нам, в Сибирь, еще раньше объединялись для общего труда и общей жизни. А сколько после февральской революции 1917 года возникло коммун не на религиозной, а на политической основе. Были коммуны и из вернувшихся в Россию американских реэмигрантов, которые, кстати, привезли с собой из Америки и инвентарь и с.-х. машины. Многочисленные факты говорят как раз о том, что мощный толчок к возникновению самодеятельных сельскохозяйственных коммун (как на политической, так равно и на религиозной основе) дала вовсе не коллективизация, а февральская революция. На долю коллективизации выпало нечто обратное — свести все эти подлинно самодеятельные коммунистические организации на нет, заменив ини-

циативу в них узкими рамками казенного колхозного устава.

Я приведу здесь далеко не полный список известных мне подобных объединений:

«Тайнинская сельскохозяйственная артель» — Перловка, Московской обл.

«Сельскохозяйственная коммуна имени Л. Толстого» — г. Воскресенск, Московской обл.

«Бодрая жизнь» — коммуна в Калужской обл.

«Селещина», «Братская жизнь» — Полтавская обл.

«Берег» — Крым.

«Алма-Атинская община» — Алма-Ата.

«Всемирное братство» — Царицын.

Поселок «Всемирное братство» — Самарская обл.

«Царство света» — Украина.

«Единение» — Тульская обл.

«Община в с. Раевка» — Башкирия.

«Коммуна Дм. Моргачева» — Орловская обл.

«Криница» — Геленджик, Черноморское побережье.

«Березки» — Московская обл.

«Клинская коммуна» — г. Клин.

Много коммун и общин на Смоленщине, во Владимирской и Ивановской областях, в Брянской, Саратовской, Харьковской областях. Сюда следует причислить малеванские объединения на Киевщине, самодеятельные артели «Братский труд», «Знамя братского труда» в Самарской области и много, много других.

Так что не случайно было наше стремление к объединению, оно вытекало из нашего отношения к жизни. Отношения наши с внешним миром, с органами местной власти и отдельными ее представителями складывались с первых же дней и даже ранее, со дня приезда рабочей дружины,— негладко.

Большое значение в этом сыграло то обстоятельство, что, кончая 30-м годом, когда были упразднены переселенческие управления, порядок был такой: на время данных переселенцам льгот (нам три года) переселенцы были в ведении переселенческой администрации, а не сельских и районных советов. Отводило нам участок в 30-м году переселенческое управление, а когда мы приехали в 31-м, его уже не существовало, и мы попали сразу в ведение райземотдела и сельсовета. Они, конечно, знали, что нам как плановым переселенцам предоставлены льготы в отношении хлеба и прочих поставок, в отношении налогов, трудовых повинностей, но, как известно, эти годы в сельском

хозяйстве были очень напряженные, старые формы сельской жизни были нарушены, и это сильно сказывалось во всем, но больше всего обнаруживало себя нехваткой сельскохозяйственной продукции.

И вот, пришлют на район цифру заготовок, район распределит на сельсоветы. Требуется много, собрать трудно, подчас непосильно для молодых колхозов. А в Есаульском сельсовете мы, переселенцы, составляли большую часть населения,— соблазн большой! — давайте дадим и толстовцам нагрузочку. И давали, и брали. Мы протестовали, обращались выше, оттуда указывали, но... все же ежедневно мы имели дело с теми, кто был рядом, с местными представителями властей. Им указывали, но им, конечно, было больше доверия. И они из двух зол — не выполнить план заготовок или нарушить какие-то переселенческие льготы, да еще данные каким-то толстовцам, понятно, выбирали меньшее.

Еще в первую зиму 1931—32 года с нас потребовали сена. Мы ответили, что мы плановые переселенцы и нам даны льготы на три года, и сено не повезли.

Один раз у нас было воскресное собрание. В столовой собралось много народа, все взрослые. Вдруг вбежал взволнованный Андрей Самойленко:

— Там приехал целый обоз из города и накладывают наше сено.

Все были очень взволнованы: не дать! Но все же, несмотря на возмущение, было принято разумное решение — никому не выходить, продолжать собрание. «Это их дело, наше — не раздувать зла».

И когда мимо окон столовой поехали один за другим воза, нагруженные нашим зеленым, трудовым сеном, с особым воодушевлением зазвучали в зале слова песни:

Буря грозная настанет,
то предвестие зари.
Пред властями и царями
не склоняйте вы главы.

Мощно звучали голоса, и по спине бежали мурашки от наплыва чувств. Ни страха, ни жалости об отнятом; не озлобление, а спокойная, твердая решимость — быть на своем, не становиться на путь взаимной злобы.

Увезли сено. Сено было пробным камнем. Никто не остановил их, никто не указал на незаконность. И так пошло и далее и далее — непрерывная цепь недопониманий, трений, требований, которые мы как плановые переселенцы

не должны были выполнять; заданий посевов, превышающих количество пахотной земли, которая за нами числилась. Согласно заданию посева, давалось задание на поставки продуктов, райфинотдел выписывал налоги, и все это уже имело силу закона: не выполнять нельзя, выполняй и доказывай свое законным путем через соответствующие инстанции. И мы шли и доказывали. Но в районе этими инстанциями были как раз те, что дали незаконное задание. Писали в край, а в ответ или молчание или — «выполняйте!»

Обращались выше, в Наркомзем, там жались: «Обращайтесь во ВЦИК, там вашим делом ведают, нам неудобно, вам самим удобнее туда обратиться». Обращались во ВЦИК, там разбирались, понимали, давали на места указания, но тут продолжалось то же.

Много было столкновений из-за лесозаготовок. Ежегодно осенью присылались нам (как и всем колхозам) предложения выслать на лесозаготовки столько-то людей, столько-то лошадей, заготовить столько-то кубометров. Лошадей у нас остро не хватало летом, но и зимой была им полная нагрузка — вывозка сена и соломы по глубоким снегам и горам, подвозка топлива, вывозка навоза к парникам и т. д., без конца. Весной с лесозаготовок лошади возвращались вконец вымотанные и не успевали набраться сил для предстоящих весенних работ. И мы отказывались ехать на лесозаготовки и давать лошадей. Лошадей у нас забирали сами, помимо нашего согласия. Мы собирали собрания, обсуждали, писали протоколы, обращались всюду, и всюду получали ответ — лесозаготовки обязательны для вас.

Раз осудили у нас несколько членов совета коммуны за невыполнение лесозаготовок. Общее собрание командировало меня в Москву добиваться правды. Добрался я до Сольца, занимавшего тогда высокий пост и о котором шла слава как о старом большевике, очень внимательном и справедливом. Он прочитал наше заявление о невиновности наших осужденных товарищей, что не совет коммуны решал вопрос о лесозаготовках, а общее собрание и что доводы наши вот такие и такие. Он прочитал, написал какую-то резолюцию и сказал: «Идите в кабинет такой-то». Я пошел было, подошел к нужной двери, но что-то меня удержало, я отошел в сторону, к окну, и прочитал, точно не помню, но смысл такой: им мало дали, надо пересмотреть и увеличить срок. Я сунул бумагу в карман и уехал в Сибирь.

Я не буду перечислять все эти стычки, слишком их много было, да и не могу — позабылось уже многое, но все

это привело к тому, что Кузнецкий райисполком постановил — нашу коммуну ликвидировать.

Прислали бумажку, но она не произвела на нас никакого впечатления, слишком нелепо это было. Мы продолжали так же жить и трудиться, как жили и до этого.

Но вот приехал представитель от райисполкома с предписанием — отобрать у нас печать и устав.

В небольшой комнате собрались совет коммуны и много членов коммуны. Настроение было очень возбужденное. Представитель тоже горячился, стучал по столу кулаком, требовал подчиниться — отдать ему печать и устав. Но мы твердо стояли на своем: мы крестьяне, мы имеем право на землю и на труд, постановление райисполкома незаконное, печать не отдадим, будем жить, как жили, и обратимся во ВЦИК, согласно постановлению которого мы переселились.

Наконец, представитель сказал: «В последний раз спрашиваю — отдадите печать?» — «Нет!» И тут получилось неожиданное: он совсем другим тоном, спокойно и даже дружественно, крепко пожал мне руку как председателю коммуны и сказал:

— Ну, ежели так, то так и держитесь крепче, только так чего-нибудь и добьетесь.

Видно, простой и искренний рабочий человек понял в нас таких же людей и посочувствовал. Спасибо ему.

Нашлись в коммуне свои «Несторы-летописцы», которые записывали все события, протоколы, документы, факты.

Во время «сабантуя» 1937—1938 годов все это погибло. Чудом уцелели только кое-какие отдельные бумажки. Вот одна из них:

«Кому: т. Смидовичу П. Г., Западно-Сибирскому крайисполкому и пред-телю, Кузнецкому райисполкому, Наркомзему РСФСР.

Выписка из протокола № 38.

Заседание от 2 марта 1932 г.

Президиума Всероссийского Центрального исполнительного комитета Советов.

Слушали: Постановление Кузнецкого райисполкома Западно-Сибирского края от 23 ноября 1931 года о роспуске толстовской коммуны «Жизнь и труд».

Постановили: 1. Обратить внимание Западно-Сибирского крайисполкома на нарушение Кузнецким райисполкомом постановления Президиума ВЦИК от 20 июня

1931 года о поселении толстовской коммуны и сельскохозяйственных артелей в Кузнецком районе Западно-Сибирского края.

2. Предложить Западно-Сибирскому крайисполкому:

а) немедленно отменить решение Кузнецкого райисполкома от 23 ноября 1931 года о роспуске коммуны «Жизнь и труд»;

б) рассмотреть хозяйственные вопросы, связанные с восстановлением и укреплением коммуны «Жизнь и труд» и принять необходимые меры.

3. Предоставить коммуне «Жизнь и труд» на общих основаниях установленные законом льготы для переселенцев.

Секретарь ВЦИК Киселев

Верно: Делопроизводитель Секретариата Пред. ВЦИК Паролова».

Документ ясный, но его значение сказалось только в том, что постановление райисполкома о роспуске коммуны было отменено. Указание о предоставлении нам переселенческих льгот так и осталось невыполненным.

Но в отношении военного учета и воинской обязанности, очевидно по указанию из Москвы, с нами считались.

Летом 1932 года пришли повестки — явиться для зачисления на военную службу Леве Алексееву, Феде Катруху и Егору Гурину.

Егор не пошел совсем, а Лева и Федя явились и заявили о своем отказе служить.

В октябре 1932 года состоялся «показательный» суд. Леве дали 5 лет и Феде 4 года заключения.

Коммуна обратилась в Президиум ВЦИК с заявлением, в котором говорилось, что мы никогда не скрывали своего отрицательного отношения к военной службе, что многие из нас еще в царское время носили каторжные цепи за это же, и мы просим посчитаться с искренностью наших убеждений и заключенных освободить.

И они были освобождены — примерно через полгода.

И больше нас в этом отношении ни с призывами, ни с учетом не тревожили почти до войны 1941 года.

Руководители Кузнецкого района не простили нам нашего обращения во ВЦИК, по которому было отменено их постановление о роспуске коммуны, и донимали нас разными другими способами.

Летом 1932 года были вызваны в Первый дом (горотдел НКВД) Сергей Алексеев и Петя Шершенев. Им пред-

ложили уехать из коммуны. Случайно бывшему с ними Васе Птицыну заодно сказали то же. Во избежание худшего, они предпочли уехать.

Вызывали и некоторых других, предлагали давать сведения. Один из них «не смог» отказаться и дал подписку, но жить так среди нас не смог и уехал в Москву. Но и там его нашли, вызвали и сказали: «Ты что же, дал подписку, а сам уехал?». На том дело и кончилось, а в 37-м году он погиб.

Вспоминая первое время нашей жизни на новом месте, мне хочется остановиться на двух представителях местной власти. Первый — Садаков, начальник районного земельного отдела. Мне с ним пришлось иметь много дела по регистрации нашего устава коммуны. Устав у нас был существовавший тогда примерный устав сельскохозяйственной коммуны, но мы в него добавили несколько слов о том, что членами коммуны могут быть единомышленники Л. Н. Толстого, отрицающие насилие человека над человеком. Садаков никак не хотел регистрировать такой устав, но один раз я как-то сумел его убедить, и он поставил свою подпись и поставил печать райисполкома. Но вскоре он опомнился, что это могут ему посчитать за большой политический промах, и всячески старался заполучить этот устав обратно, но это ему не удалось. Так он и жил у нас, этот устав, и козыряли мы им не раз на судах, когда нас обвиняли, что коммуна наша незаконная. Когда пришли к Садакову представители «Мирного пахаря» регистрировать свой устав артели с таким же добавлением, то он наотрез отказался.

Кроме заведования земельным отделом, Садаков или сам взял на себя или ему это было поручено, старался переубеждать, перевоспитывать нас.

Много раз он бывал в коммуне. Роста немного ниже среднего, со светлыми, непокорно торчащими вихрами, в серой кепчонке на затылке, просто одетый, в кирзовых сапогах, а главное — своим характером, убежденным и настойчивым, простотой в отношениях он напоминал хорошего большевика первых лет революции, еще не успевшего подернуться начальственным и бюрократическим налетом. На его горячие речи он выслушивал наши, не менее горячие, и, кажется, начинал немного понимать нас. В общем, хотя мы с Садаковым и были идейными противниками, воспоминание о нем все же осталось не плохое.

Второй, кто вспоминается, был Попов, начальник

Кузнецкого НКВД. Он тоже интересовался нашим переселением, даже тогда, когда приехали одни лишь дружинники. Когда мы приехали уже все, он опять бывал у нас. Вел себя просто, но чувствовалось, что это не садаковская простота, а напускная, что потом и оправдалось. Со мной как с председателем он и вовсе взял тон дружеский, запанибратский. Бывало, увидит где-нибудь в городе на улице, издали кричит: «Здорово, Мазурин!». Раз был он у нас в поселке, сидели на бревнышках, беседовали. Я ему и говорю: «Ты не думай, что мы считаем тебя за какого-то начальника».

— А за кого же? — спросил он.

— Да за такого же человека, как и все.

Он согласился:

— Это, конечно, так...

— Когда тебе что-нибудь надо, заходи ко мне запросто,— говорил он мне. И вот, такой случай представился.

Один наш еще подмосковный коммунар Фаддей Заблотский отбывал ссылку где-то на севере и с ним там же отбывал ссылку один духобор из Канады, по имени Павел. Больше мы о нем ничего не знали. И вот этот Павел, по окончании срока ссылки и не имея в России никого из родственников, узнал от Фаддея, что есть такая коммуна, взял и поехал к нам. Но он не доехал: его арестовали.

Узнав, что он в Кузнецке, в милиции, я пробрался под окошко камеры и попросил подозвать к окну Павла. Он подошел, я сказал, что я из коммуны, немного поговорили, и я обещал ему похлопотать за него. Пошел я на улицу Свободы, попросил пропуск к Попову. Сразу дали. Зашел в кабинет, он встретил меня очень радушно:

— В чем дело?

Я рассказал о Павле и добавил, что человек этот хотя несколько и странный и резкий на словах, но, во всяком случае, очень мирный и неплохой человек, и попросил отпустить его жить к нам.

— Эх, вот досада! — воскликнул Попов.— А мы только вчера дали ему еще пять лет!..

С тех пор о Павле мы больше ничего не слыхали.

На этом случае, пожалуй, и закончились наши приятельские отношения с Поповым. Потом пошли другие...

Дошел до этого места и просто даже не хочется писать дальше.

Что ждало нас впереди?

Аресты, суды, заключения, тюрьмы, лагеря, этапы,— все такое постылое, дикое и ненужное.

Ведь всякому человеку было простым глазом видно, что мы собрались для мирной трудовой жизни. А то, что у нас были свои верования, согласно с которыми мы хотели жить, так это мы не скрывали.

Свои убеждения мы никому не навязывали, но когда нас спрашивали, то не кривили душой и не таили ничего.

Но — какое же это счастье «жить во-всю!» Какую полноту жизни создавала «жизнь во-всю», то есть никого не давить и ни перед кем не пресмыкаться, говорить открыто правду и поступать так, как хочешь, с тем только непременным условием, чтобы не повредить другому; жить радостно, без озлобления и без малейшего страха.

Мы испытали это не только каждый в отдельности, но и всем обществом. Не потому ли, уже десятки лет спустя, это время, прожитое в коммуне, вспоминается как лучшее, незабываемое время жизни. Помню, уже много позднее, уже в лагерях, как мне стало больно, когда я услышал по своему адресу от одного жулика:

— Прищуренный...

Это выражение на его языке означало, что я уже утратил эту способность «жить во-всю», быть свободным человеком даже в неволе. Я сам не чувствовал еще тогда себя «прищуренным», но знал, что и жулики любят также «жить во-всю», хотя в это понятие они, естественно, вкладывают уже другое, свое содержание, но такой обиды я не переживал еще ни от каких ругательств, ни от какой клеветы, как от этого слова «прищуренный». А может быть, оттого мне было так больно, что я почувствовал в этом какую-то долю правды?

Так вот, это и было главным содержанием нашей жизни тогда в коммуне — жизнь с глазами и сердцем, широко открытыми на весь Божий мир, жизнь «во-всю», без «прищура».

Я уже говорил, что мы решили сделать водопровод, и вот от этих водопроводных труб и начались события, о которых я расскажу сейчас. Димитрий Моргачев, уполномоченный коммуны по закупкам и сбыту продукции, нашел в утильскладе Кузнецкстроя нужные нам трубы. Оплатил и оформил документы, взял двух лошадей и одного мальчика в помощь и поехал за ними. Но к вечеру назад вернулся один мальчик с двумя пустыми подводами.

— А где Димитрий? А где трубы?

Оказалось, на обратном пути их нагнал Попов с милиционером, трубы свалили в феськовском колхозе, а Димитрия забрали.

На другой день я поехал искать Димитрия. Дня три ходил то в милицию в Старом Кузнецке, то в Первый дом, к Попову, но и тут и там мне говорили: — «Моргачева у нас нет».— «А где он?» — «Не знаем».

Я растерялся: как же так? И тут, в ожидалке Первого дома, я увидел людей с узелками. Оказалось, что с передачами для заключенных в камере предварительного заключения при Первом доме.

Приготовив небольшую передачку, я на другой день подал ее в общем порядке: «Моргачеву». И... получил в ответ маленькую записочку: «Все получил, спасибо. Моргачев».

Так мне стало обидно на Попова: врет в глаза, а зачем?

На другой день я опять иду в Первый дом, а на душе чую: «Не ходи». Но идти надо, не покидать же товарища в беде!

Опять беру пропуск к Попову. Опять такой же любезный встречает меня в своем кабинете.

— Ты что опять, Мазурин?

Я молча достаю бумажку с подписью «Моргачев» и кладу ее на стол.

Попов покраснел весь.

— Подожди, я сейчас! — и вышел. Потом вошел другой, незнакомый мне военный и сказал:

— Пойдемте со мной!

Мы спустились в первый этаж и пошли длинным коридором, по обе стороны которого были глухие двери с волчками. Потом я слишком хорошо узнал эту «КПЗ».

В конце коридора одна комната была открыта, и в ней сидел один военный, и мне сказали: «Посидите здесь».

— За что арестован? — спросил меня дежурный.

Я понял все, но согласен с этим не был и ответил, что я не арестован, что я человек свободный.

— Ну да? — недоверчиво сказал дежурный.

Вскоре подошла смена. Старый дежурный сдавал, новый принимал заключенных, отпирал двери камер и считал заключенных, которые становились в ряд лицом к двери. Когда открыли дверь камеры против дежурки, заключенные встали там в ряд, а оба дежурных и еще двое из охраны стали их считать, стоя ко мне спиной, я, не долго думая, тихими шагами прошел сзади их спин и пошел по коридору. Они не заметили. В конце длинного коридора,

у выходной на улицу двери, сидел на табуретке часовой с винтовкой и штыком, на который были наткнуты пропуска выходивших из этого дома. У меня, конечно, никакого пропуска не было, но я шел решительным шагом, не обращая внимания на часового. Он приподнялся и сказал: «Пропуск». «Без пропуска» — отвечал я, не останавливаясь, и он сел, а я взялся за ручку выходной двери. Там улица, свобода, но сзади по коридору послышался тяжелый топот бегущих ног и крики: «Держи! Держи!».

Меня схватили, конечно не очень деликатно, так что рубаха затрещала, и заперли в уборную. Я достал свою записную книжку, вырвал адреса, какие были, чтоб никого не замешивать, и спустил все в уборную. Вскоре пришел комендант:

— Который тут власти не признает?

И повел меня опять наверх, в кабинет начальника НКВД (Попов тогда был уже помощником).

Начальник сидел за столом, там же был и Попов.

— Как же это ты задумал бежать?

— А я не бежал, я ушел как человек свободный.

— Какой ты свободный! — дико заорал Попов, с матерной бранью засучивая рукава и подскакивая ко мне — бить.

Я стоял спокойно, повторяя: «Я человек свободный». Попов все же не решился меня ударить, высоко занесенная рука опустилась.

— Отправить его к уркам!

В камере было очень тесно и несметное количество клопов. Я нашел себе место под нарами, там было попросторнее, и мне хотелось быть одному. Успокоиться. Утром и вечером происходили поверки. Все выходили в коридор и строились в две шеренги.

— А на шута мне эта комедия! И я не стал выходить на поверку. Меня вытащили из-под нар за ноги и вывели в коридор, а потом в карцер.

На другой день меня привели в кабинет начальника арестного дома. За столом сидел, опустив голову, большой, крепкий человек с серьезным, суровым и немного грустным лицом. Он поднял голову, пристально посмотрел на меня и спросил тихо:

— Почему на поверку не становитесь?

— А почему я должен становиться перед вами? Что, мы не одинаково родились на этот свет? Не одинаковые люди?

— Это верно,— все так же тихо сказал начальник,— но видишь, мы тут работаем, нам надо сосчитать всех, а в камере тесно, сосчитать невозможно. Я тебе советую — становись на поверку.

— Хорошо,— неожиданно для самого себя ответил я. Не знаю, почему так получилось. Наверное, потому, что он говорил серьезно, тихо и просто, по-человечески. Если бы он кричал, грозил, приказывал, было бы все, наверное, иначе, задору у меня тогда хватало.

А в коммуне в это время произошло вот что: к вечеру приехали на ходке два человека и попросились переночевать. Их пустили. Встали они рано, запрягли ходок и подъехали к крыльцу дома. В это время на крыльцо вышел Клементий. Один из ночевавших неожиданно повалил Клементия в ходок, вскочил на него верхом и наставил на него револьвер. Другой вскочил на козлы и пустил лошадь вскачь по улице. Было рано, улица была пуста, но случайно оказавшаяся там Нина Лапаева схватила Клементия за ногу и так бежала с ходком рядом и громко кричала:

— Клементия украли! Клементия украли!

Так его увезли и он оказался в тюрьме; я узнал об этом, услыхав в коридоре голос, вызывавший фамилию «Красковский».

В это время в сталинградской общине Иоанн Добротолюбов, Василий Матвеевич Ефремов и Эммануил Добротолюбов были у реки, смолили лодку. К ним подъехали и арестовали. Они полегли, как это в свое время делал Сережа Попов в подобных случаях: когда его арестовывали и предлагали следовать, он не подчинялся, ложился и говорил: «Дорогие братья, я не хочу развращать вас своим повиновением». Их уложили на подводу, как они были, без шапок, босиком, налегке. В Первом доме они объявили голодовку и дней десять не принимали пищу в знак протеста. Так прошло недели две. Моргачева отпустили домой. Трубы наши увезли в коммуну. Водопровод сделали.

Нам, пятерым, вели следствие. Раз Попов зашел к нам в камеру и, выкатив на меня глаза, злобно сказал: «Что, сел?» Я ничего не ответил ему и отвернулся.

Следствие вел следователь по фамилии, кажется, Веселовский, молодой, приятный человек.

Раз я сидел у него в кабинете, он что-то записывал, и я ему сказал:

— Бросили бы вы заниматься этим ненужным делом. Сами время зря проводите и людей от труда отрываете...

— А что же мне делать? — спросил Веселовский.

— Мужик здоровый, шел бы сено косить, пользы больше было бы...

Веселовский громко и искренне захохотал. В это время в кабинет вошел Попов.

— Попов, Попов,— продолжая весело смеяться, воскликнул Веселовский,— ты послушай, что он нам предлагает? Бросить наше вредное дело и идти сено косить!

Попов кисло скривился и вышел.

— Нет, Боря,— перестав смеяться, сказал Веселовский,— я человек уже испорченный и не гожусь уже сено косить...

Раз как-то, часа в четыре дня, меня и Клементия вызвали из камеры в коридор. Там уже стояли, прислонившись к стене, бледные и худые после десятидневной голодовки Иоанн, Эммануил и Василий Матвеевич, все так же босые, без шапок, в длинных рубахах враспояску. Мы поздоровались.

Куда это нас? Оказалось — на суд. По позднему времени, по тому, что не было никого из коммуны, мы поняли, что нас хотят судить тайком, чтобы не было лишнего шума, как и арестовали нас без всякого основания.

Нас это возмутило, и мы тут же решили, что принимать участие в этом суде мы не будем.

Суд в то время находился в одном из бараков, длинных, низких, дощатых, какими тогда (1932 г.) временно был застроен Сталинск.

Перед дверями суда мы остановились и дальше не пошли. На все вопросы: «Почему?» — мы молчали. Двое взяли меня под руки и повели, так же повели и Клементия. А сталинградцы полегли на землю. Их брали двое за руки, а третий за ноги и так тащили по узким проходам к дверям барака. Случайная публика с недоумением смотрела на эту необычную картину, происходившую серьезно, в полной тишине. Наконец, нас усадили на скамью подсудимых. В пустом зале собралось несколько человек, заинтересовавшихся происходящим, и охрана.

— Встать! Суд идет! — раздался громкий возглас. Вошли судьи, мы сидели.

— Встать! — закричал судья,— вы что, глухие?

Мы молчали. Судьи постояли, переговорились о чем-то между собой и сели.

— Вам известно, в чем вас обвиняют? — Молчание.

— Как ваша фамилия? — спрашивают первого. Молчание.

— А ваша? — Молчание.

Молчали и третий, и четвертый. Я сидел пятый.

— Ваша фамилия? — Молчу.

— Снимите фуражку! — Молчу и не шевелюсь. Сзади кто-то подошел, снял с меня фуражку и положил рядом.

Говорить — надо делать усилие, но насколько же труднее молчать и насколько силен и красноречив этот язык!

— Так вы хотите знать, в чем вас обвиняют? — Молчание.

Зачитали обвинительное заключение, какие-то надуманные, незначительные, слабые обвинения.

Опять опросили по очереди, не желает ли кто сказать по предъявленному обвинению. Все молчали.

Молчали подсудимые, полная тишина была в зале, только говорили судьи — то спокойно, то теряя самообладание, явно нервничая.

— Вызвать свидетеля! — Вошел Фатуев, председатель Есаульского сельсовета. Он стал говорить, что мы, толстовцы, агитируем население, что Красковский давал ему книжечки Толстого о войне и государстве.

И тут Клементий не выдержал.

— Что ты врешь? — воскликнул он, вскочив с места.— Ведь ты же сам просил дать тебе почитать что-нибудь из Толстого!

— Подождите, подождите, подсудимый, вам сейчас будет дано слово,— обрадованно воскликнул судья.

Молчаливое напряжение, царившее в зале, было прорвано, в публике тоже послышался облегченный вздох и легкий смех.

Клементий понял свою промашку, сел и опять замолчал.

Так и закончился суд. Больше никто из нас не сказал ни слова. Приговор был — мне и Клементию, как членам коммуны, имевшей зарегистрированный устав, дали, кажется, 109 статью, должностную, заключение сроком на полтора года, а сталинградцам, как не имевшим официального устава, дали 61-ю — невыполнение государственных заданий, сроком по два года каждому.

Арест был незаконный. Обвинение дутое. Приговор легкий — лишь бы удалить «головку» от «обманутой массы», как думали они.

Суд кончился. Судьи ушли. Мы сидели и молчали. Ко мне подошел Веселовский:

— Пойдем, Боря! — сказал он мягко. Я встал и по-

шел. Пошел и Клементий. А тех троих из суда выносили таким же способом, как и заносили.

Коммуна, конечно, обратилась в Москву, во ВЦИК. Приговор был отменен, и мы, пробыв месяцев 6—7 в заключении, были освобождены. Но мне и Клементию было запрещено проживать в коммуне.

Кстати скажу: и раньше, и на этот раз, и после, когда кто-либо из членов коммуны бывал в заключении, им всегда помогали. Посылали специальных людей, которые ехали, привозили передачи, деньги, одежду и целую кучу писем из коммуны, которые передавались, конечно, как-нибудь тайком. А потом с восторгом читались где-нибудь у костра в тайге.

Жизнь в коммуне шла своим чередом. Мы с Клементием вернулись, но над нами висело запрещение проживать.

Положение создалось такое, что надо было сдавать дела. Собралось собрание и решили — избирать председателя совета коммуны на год, ежегодно переизбирая нового. Для нас это не имело значения. При нашей широко развитой общественности роль председателя сводилась к взаимоотношениям с внешним миром и к подготовке возникающих вопросов к общему собранию, а для представителей районной власти мы показывали, что у нас действительно все имеют равные права, а не какие-то отдельные личности, подчиняющие себе массу.

Осенью 1933 года мимо поселка коммуны проехал большой обоз порожняком по направлению к общине сталинградцев. Подъехали к их поселку и приказали собираться и грузить вещи.

Куда? Зачем? Оказалось, есть постановление (не знаю, чье) о их выселении. Они не шли. Но все же их погрузили, и их земляной поселочек опустел.

Осенью, без средств, всех — и старых и малых, оторвали от их жалких хижин и повезли в неизвестность, на новые, пустые места суровой Сибири.

Выселяемых переправили на другой берег Томи. Длинная процессия вступила в поселок Абагур. Они шли медленно и все пели, а по сторонам все нарастала и нарастала толпа жителей поселка, жадно слушавших пение.

Пели много. Тут было и известное в народовольческих, революционных кругах стихотворение «Мысль» («Ее побивали камнями во прах, ее на кресте распинали...»), и надсоновское — «Друг мой, брат мой усталый...», тут были и песни безвестных авторов, хранившиеся устно в сектант-

ской среде, переходившие от поколения к поколению среди людей малограмотных, а часто и вовсе безграмотных, что, естественно, приводило к грамматическим ошибкам и даже к искажению иногда логического смысла певшихся слов. Но эти люди, хотя и малограмотные, но честно мыслящие и ищущие правды, хорошо понимали, что скрывалось за порой нескладными словами.

Пусть мир нас не знает,
пусть нас ненавидит,
пусть будем посмешищем
гордой толпы,
но вскоре узнает,
и все тогда скажут,
за что нас так гнали,
что жаждали мы.

Мы жаждем свободы,
любви всенародной,
мы равенства, братства
желаем найти,
желаем мы жизни
для каждого мирной
и жаждем душою
друг в друга войти...

Привезли их к Абагурской гавани. Туда подали состав товарных вагонов, все погрузились, и вновь песни. Особенно хорошо пели барабинцы. Поезду давно уже надо было трогаться, а машинист стоял у вагона и, как только кончалась одна песня, просил:

— Ну, спойте еще одну!..

В Новосибирске всех погрузили на баржи, и под звуки песен баржи поплыли вниз по Оби. Высадили их на пристани Кожевниково и поселили в местности, называемой по имени протекающей там речки — Тека. И там они не пропали. Первую зиму прожили по избам местных крестьян, а с весны стали возводить себе землянки и домики на новом пустом участке и разделывать землю ручным способом, так как скота у них уже не было.

Каковы же были причины этого выселения с нашего участка,— выселения, которое, надо думать, было санкционировано кем-то свыше. Дело в том, что наша коммуна и артель «Мирный пахарь» имели уставы, зарегистрированные в земельных органах, община же «Всемирное братство» и примыкающие к ней группы отказывались иметь устав и регистрировать его. Они не желали становиться на учет в сельском Совете, называть свои фамилии представите-

лям власти, принимать и выполнять какие-либо обязательства и платить налоги.

Многим из наших переселенцев это казалось более последовательным с точки зрения чистоты идей Толстого, вольной безгосударственной жизни. Привлекала и вызывала сочувствие та твердость, с какой члены общины принимали репрессии за свою жизнь и свое поведение, и позднее на новое место поселения толстовских переселенцев уже добровольно, по своему желанию, уезжали некоторые и из нашей коммуны, и из артели «Мирный пахарь».

Нам понятны были их побуждения, и мы сочувствовали им, но все же мы стояли на той точке зрения, что хотя мы и не разделяем в идеале форм жизни государственной, но должны считаться, что все вокруг живут в этой форме, должны находить какой-то общий язык и налаживать человеческие взаимоотношения, тем более что мы и сами обращаемся часто к ним. Мы видели, что мы и сами далеко еще не свободны от тех же недостатков, какие присущи и окружающим, и нам не следует слишком гордиться и отгораживаться, надо поступаться некоторыми своими интересами, но крепко держаться того, что было наиболее главным и уже прочно усвоенным нами, от чего мы уже не могли отступиться. Эта точка зрения была менее привлекательна, но более соответствовала нашему — не надуманному, а действительному — нравственному уровню.

Общину «Всемирное братство» от нас вывезли, но на нашем участке организовалась еще одна уставная сельскохозяйственная артель «Сеятель». Она образовалась из членов коммуны. Жить они остались на нашем же поселке. Им выделили пропорциональную часть скота, хлеба, построек, имущества. Земля им отошла в основном та, которой пользовалась ранее ликвидированная община. Их отделение произошло мирно и спокойно. Оно не противоречило основной установке, что все переселенцы объединяются свободно, по своему желанию и склонностям в сельскохозяйственные объединения. Отношения остались хорошие, разрыва между людьми не получилось, но все же мне было больно, когда я узнал об этом по возвращении из Москвы, где я вновь добился разрешения жить в коммуне.

Идейного расхождения не было, причины были чисто материальные.

Прошло уже два года жизни на новом месте. Хозяйство наше крепло, но личное благосостояние членов коммуны было еще очень скромное, даже в питании.

Люди указывали:

— Посмотрите, вон «Мирный пахарь», вместе с нами приехали, а уже у каждого своя коровка есть, значит, и молоко, и сметана, и масло, и курочки, и яички, а у нас — молоко все еще в первую очередь детям, а нам, взрослым, рабочим людям, не всегда, а о сметане, о масле и говорить нечего: борщ да картошка, картошка да борщ.— Это было верно, но они забывали то, что в артели вся забота была сосредоточена на благосостоянии своей семьи, от остальных они отгораживались, а коммуна не замыкалась, шла навстречу тем, кто нуждался в помощи и ничего не имел, кроме больших семей с малыми детьми, а часто еще и без главы семьи. Так, было принято к нам несколько семей из бывших субботников. Они были прежде знакомы и жили с уральцами, но они попросились в коммуну. Почему? Да потому, что у артельцев каждый сам вытягивал жилы, чтобы свою семью ублаготворить, и не было ни сил, ни средств принять к себе многодетные, совершенно неимущие семьи, а в коммуне — приняли: садись за общий стол, получай угол и вливайся в общую жизнь на равных со всеми правах. Так же были приняты некоторые одинокие, старые люди, которым некуда было голову преклонить. Алеша Воронов, Агафья Серебрянникова,— казалось бы, им ближе по взглядам в «Мирный пахарь», но туда они не пошли, что-то тянуло их к нам.

Едоков в коммуне, особенно «мелочи», прибавлялось, а стадо коров росло медленнее; значит, опять надо поделиться, и наши люди психологически уже стали уставать от этого, и это можно было понять. На этой почве было даже отказано в приеме некоторым хорошим людям, которые желали вступить к нам, но многие уже ворчали и их не приняли. Конечно, отказом мы обидели этих людей, ущемленных жизнью и нуждой и ждавших от нас, от людей, которые были им близки и которым они верили, братской помощи. Это были такие, как Я. Т. Яковлев, Т. Ф. Хмыз и другие.

Кроме этой стороны, были и другие, необходимые в общественной жизни, от которых коммуна не отмахивалась, а брала на свои плечи, уделяя им много сил и средств,— например, школа, ясли. В массе члены коммуны были согласны с тем, что и мы своим путем придем к материальному достатку, не меньшему, чем артельцы, но не перешагивая и не отмахиваясь от тех общественных нужд, что встречались на пути сегодня.

Кроме артели «Сеятель», был еще отлив рабочей силы в «ручники». Их было не так много. Они оставались членами коммуны, но они взяли себе отдельный участочек, накопали себе там землянки и работали самостоятельно. Мы понимали ручников, нам понятны были их побуждения — работать без помощи скота, мы сочувствовали их идее и интересовались их работой. Среди нас жил такой сторонник интенсивного, ручного земледелия, как Евгений Иванович Попов, интереснейшая книга которого — «Хлебный огород» — была издана «Посредником». Мы знали опыты ручного земледелия Павла Петровича Горячего, достигавшего своими старческими силами высоких урожаев и высокой производительности труда, и притом труда не одуряющего, а творческого, увлекательного и радостного. Все это было так, но в ручники ушли одинокие, здоровые мужчины, которые много могли бы сделать для общества в коммуне, а теперь их доля труда ложилась на плечи остающихся коммунаров.

Были еще — южане. Их тянул юг. Они звали на юг. Они говорили:

— Мы вегетарианцы, самое наше занятие — садоводство. Какое же садоводство в Сибири? Надо ехать на юг.

Мы, почти все, были согласны с ними, так сказать, идейно, но на практике не могли принять это.

Как сдвинуть и перебросить целую коммуну? На какие земли? Кто даст? Где средства?

Нарушать то, что уже было достигнуто не только в хозяйственном отношении, но и как практическое утверждение ячейки общества, основанного на новых началах, мы не могли. А отдельные горячие головы уезжали. И получилось так, что здесь они ослабили общие усилия, а там, на новых местах, им сделать ничего не удалось.

Случайно сохранились у меня следующие краткие данные.

Весной 1933 года в коммуне было население 300 душ, из них трудоспособных 110, детей 190. Школа, на летнее время детский садик, ясли.

Лошадей — 27. За 1932 год (второй год переселения) сдано свыше 8000 пудов овощей на Кузнецкстрой. Зимой 1932 года работала теплица, сдано свыше 3000 шт. свежих огурцов.

Заключен договор с «Плодоовощем» на контрактацию овощей с 15 гектаров огорода.

Несмотря на постановление ВЦИКа и крайисполкома о землеустройстве коммуны не позднее весны 1932 года, коммуна до сих пор не землеустроена, и часть земли, первоначально входившая в наш участок, отрезалась для окружающих организаций, и у коммуны весной 1932 года не хватило земли для выполнения плана сева.

Заведующий краевым земельным управлением тов. Минаев дал телеграмму в Кузнецкий райисполком о немедленном предоставлении земли или же снижении плана сева до фактического наличия земли, но от РИКа ничего не последовало, и коммуне было вручено обязательство на сдачу зерна государству в 1933 году на 400 центнеров; в соответствии с завышенным планом сева, тогда как в это время мы еще должны были пользоваться переселенческими льготами и быть совсем освобождены от всяких поставок.

...Выборы. Точно не помню, в каком году, но в эти же годы были назначены выборы в органы государственной власти. Приехал и к нам из города представитель — провести собрание. Народу собралось много. Пришли и «Сеятель» и «Мирный пахарь»,— полная столовая. Представитель сделал сообщение.

Общее собрание от участия в выборах отказалось, записав в протокол:

«Мы, будучи единомышленниками Льва Толстого, отрицаем насилие и устройство общественной жизни людей путем насилия государственной власти, и поэтому — подчиняться и выполнять то, что от нас требуют, не противоречащее нашей совести, мы еще можем, но сами принимать участие в организации этого насилия мы не можем».

Представитель попросил проголосовать оба предложения. За участие в выборах не поднялось ни одной руки. В большой зале было полутемно, лишь на столе президиума горел фонарь «летучая мышь», задние ряды было не видать. Председатель встал на скамейку и поднял фонарь повыше, чтобы осветить задние, и еще раз повторил:

— Ни одной руки...

Тем дело и кончилось.

В жизни нашей коммуны несколько особо по своей важности стоит вопрос о нашей школе — школе внегосударственной.

О школе лучше могли бы рассказать те, кто непосредственно работал в ней,— наши учителя, наши коммунары. Но многих и многих из них уже нет. Кто погиб без-

временно в жестокие годы, кто умер, подорвав здоровье за долгие годы неволи, кто умер от болезней и голода, кто сожжен живьем при немцах, кто сейчас стар и слаб и не может уже написать, да и документы почти все погибли.

Скажу, как сумею, что помню, что знаю.

Вопрос о школе возник в коммуне с первых же дней переселения. Учить детей было надо, в этом не было разных мнений. Но все мы понимали, что школа, кроме обучения грамоте, еще является и воспитателем, а это, пожалуй, не менее важно, чем грамота и образованность. Мы знали, что и грамота и всякие научные познания могут стать и во вред людям, если нет настоящего воспитания детей, прививающего детям человеческие свойства — разумные и добрые, благодаря которым человек, собственно, и становится человеком; тогда и знания в его руках становятся орудием, служащим на благо всех людей. Поэтому мы решили, что учителями наших детей должны быть члены нашей коммуны, разделяющие взгляды Л. Толстого, общие всему нашему обществу.

Сейчас я дам место отрывкам из одного документа, случайно где-то и как-то сохранившегося в те бурные годы.

Называется он: «Краткая история школы им. Толстого коммуны «Жизнь и труд» за 1931—1934 гг.».

Автор этих записок — вероятно, Митя Пащенко.

«Первый год обучения 1931—1932.

Коммунары возлагали на свою школу особые, светлые надежды, как на школу, основанную на идеях Л. Н. Толстого. Медленно, бревно за бревном, строилось здание школы. К осени она была готова.

Необычно рано для не привыкших к сибирским холодам людей пришла осень с холодными дождями и ранними заморозками. Люди, занятые спешными огородными работами, не успели обстроиться, между тем на чердаках стало холодно и к началу учебного года школа оказалась занятой — 44 человека ютились в ней в самой невозможной тесноте. В печальном положении оказались дети. Их насчитывалось 50 душ, которые нуждались в учении. Были и учителя, некоторые опытные, со стажем, были у нас кое-какие учебники, немного бумаги, но помещения не было.

Тогда-то, приблизительно в первых числах октября, и началась наша «бродячая школа» из хаты в хату, день в одной, день в другой. Пускали везде охотно, теснились, терпели неудобства от шума и грязи, производимых детворой, но пускали.

С раннего утра дети уже толпой стояли у дверей учителей и добивались: «Скоро ли?», «В какую хату пойдем учиться?», и гурьбой со скамейками, столами, книгами и прочими школьными принадлежностями шли школьники за учителем по коммуне в поисках себе приюта, где за недостатком столов приходилось писать и на окнах и на сундуках.

Посетил нас инспектор народного образования т. Немцев. На созванном по этому случаю общем собрании коммуны он заявил протест против такой нашей самостоятельной школы, назвал ее нелегальной, объявил ее закрытой и предложил коммуне открыть другую школу с программой точной, общеобязательной для всех школ, с учителями, приглашенными от гороно.

На это предложение общее собрание коммуны ответило, что программы точной коммуна принять не может, а лишь постольку, поскольку она не противоречит взглядам в духе Л. Толстого (то есть без военизации и без возбуждения в детях духа вражды к кому бы то ни было и без внушения детям законности насилия).

Тогда т. Немцев окончательно объявил школу закрытой, а учителей предостерег, что они подвергнутся судебной ответственности.

На следующее утро дети, особенно возбужденные, собрались у дверей своих учителей с вопросом — будут ли их учить? Или школу закроют? И получили ответ, что пока учиться они будут, и занятия продолжались своим чередом.

Коммуна подала заявление в Наркомпрос с просьбой дать ей возможность продолжать свою школу с теми своеобразными, указанными выше особенностями, присущими ей, как школе в духе идей Л. Н. Толстого.

Было ли это результатом этого заявления, но школа наша без особых внешних давлений продолжала свое существование вплоть до окончания учебного года.

В конце ноября (1932) школьники занимались уже в освобожденной от жильцов школе, но едва ли можно было назвать сносными и теперь условия занятий: в школе, представлявшей одну большую комнату, занимались три группы до обеда и две — после обеда; все за тем же недостатком помещения в школе находились сапожная, шорная мастерские, верстак, точило, ларек для раздачи хлеба и аптечка.

Второй год обучения — 1932—1933 года.

Осенью, перед самым началом занятий, в коммуну приехал т. Нортович (зав. школой в соседнем селении Фесь-

ках) с предложением «увязать» нашу школу с отделом народного образования в г. Сталинске и предложил кому-нибудь из учителей съездить к заведующему гороно. Свидание и разговор по этому поводу с заведующим гороно т. Благовещенским показали совершенно отрицательное отношение к нашей школе: никакой своей школы у нас не должно быть, программа должна выполняться полностью, без всяких изменений, с военизацией, пионердвижением; учителя из членов коммуны не допускаются.

И вот, в ноябре прибыла к нам заведующая школой, командированная Сталинским гороно. По поводу ее приезда было созвано общее собрание, которое принять новую заведующую не согласилось.

Занятия в нашей школе в это время были на полном ходу, в составе пяти групп, с количеством учащихся 80 с лишним человек. Занятия, в общих чертах, велись по программе обыкновенной школы. Помещение школы было от всего постороннего освобождено, оно разделялось теперь на три класса дощатыми, щитовыми перегородками, снимавшимися для проведения общих собраний.

21 марта 1933 года школу посетила комиссия из трех лиц: представитель от крайоно, зав. Сталинским гороно т. Благовещенский и зав. Феськовской школой т. Нортович.

Прежде всего т. Благовещенский сообщил, что отношение к нашей школе, в связи с его поездкой в Москву, меняется, а именно:

во-первых, нам разрешается школа с учителями из наших же членов;

во-вторых — без военизации;

в-третьих — из программы по обществоведению нами может быть исключено все то, что противоречит нашим убеждениям, о чем, однако, должна быть договоренность с гороно.

В остальном наша школа должна иметь вид обыкновенной школы, по примеру остальных школ Советского Союза.

После роспуска учащихся 1 мая педагогический коллектив школы провел несколько собраний, на которых, наряду с вопросами подготовки школы к следующему учебному году, была просмотрена также и программа Наркомпроса за четыре года обучения. Результатом этого просмотра явились следующие положения, вынесенные на обсуждение общего собрания коммуны и утвержденные им:

«Выписка из протокола учительских собраний в мае 1933 года:

Материал по обществоведению: в связи с просмотром программы Наркомпроса выяснилось, что по всем предметам предлагаемый для обучения материал (например, материал для задач, для грамматических примеров и т. п.) близко увязан с социалистическим строительством СССР, включающим пятилетний план, классовую борьбу и военное дело. В школе же коммуны «Жизнь и труд» материал этот будет использован лишь в той мере, в какой он не противоречит принципам учения Л. Н. Толстого.

Материал по естествознанию: материал по изучению животноводства, охоты, рыбного промысла, согласно программе изучаемый в целях массового избиения животных, для питания и технических и научных целей, в школе им. Л. Н. Толстого может быть использован не для практического применения его, а лишь для ознакомления в направлении привития альтруистических чувств к животным.

О религии: мы избегаем навязывать детям какие бы то ни было сектантские религиозные понятия, но считаем необходимым сообщать им правильные понятия о жизни и вытекающем из них нравственном руководстве (правила нравственного поведения), а также считаем своей обязанностью вести выяснительную мирную работу в смысле освобождения от религиозных и прочих суеверий.

Материал, предлагаемый для внеклассного чтения, а также для изучения пения, может быть использован постольку, поскольку он не внушает враждебных чувств к кому бы то ни было.

Общее направление школы: в нашей школе мы надеемся внушить детям дух деятельного коммунизма, то есть дух равенства, справедливости, трудолюбия, взаимной помощи, миролюбия и трезвого, скромного поведения».

Третий год обучения — 1933/1934 учебный год.

К началу этого учебного года был произведен основательный ремонт школы, были сделаны стены между тремя классами, сделана прихожая, раздевалка, приобретены парты, школа была снабжена при помощи гороно тетрадями и стабильными учебниками, хотя в недостаточном количестве, так как гороно не включил ее в общую сеть школ и не дал ей разнарядку на книги, а снабдил лишь тем, что оставалось на складе.

Школа работала в составе пяти групп при наличии 105 чел. учащихся, занимаясь в две смены.

Состав преподавателей:

Первая группа. А. А. Горяинова, окончила девятилетку, стаж 14 лет.

Вторая группа. Толкач Ольга, окончила медтехникум в Москве.

Третья группа. А. С. Малород, окончила музтехучилище в Краснодаре. Имеет и общее среднее образование.

Четвертая группа. Е. П. Савельева, окончила Ленинградский сельскохозяйственный институт.

Пятая группа. Литература — А. С. Малород. Математика — С. М. Тюрк, окончила физико-математический факультет 1-го Московского университета.

География. Ботаника. Биология.	Густав Густавович Тюрк, окончил физ.-мат. факультет 1-го Московского университета.
Физика. История Нем. яз.	Гюнтер Густ. Тюрк, окончил девятилетку с электротехническим уклоном.

Геометрия. Е. И. Попов, окончил среднее учебн. заведение.

Пение во всех группах — А. С. Малород. Рисование во всех группах — И. В. Гуляев.

Кроме общеобразовательных предметов, учащиеся 4-й и 5-й групп проходили начатки ремесел (столярное, токарное, бондарное, сапожное, кузнечное, кройка и шитье) в имеющихся в коммуне мастерских.

Работа школы направлялась и регулировалась при помощи собраний: 1) ученических — по классам и общешкольных; 2) учительских — деловых и методических; 3) родительских; 4) общих — всех членов коммуны.

В школе производились и внеклассные кружковые занятия. Работали:

1. Стенографический кружок. Руков. Е. И. Попов.
2. Художественный кружок. » И. В. Гуляев.
3. Певческий кружок. » А. С. Малород.
4. Украинский кружок. » А. А. Горяинова.

По вечерам для школьников устраивались чтения (не менее двух раз в неделю). Один раз в неделю им показывались световые картины по курсу географии и естествознания.

Один раз в неделю школьники имели «вечер свободных игр»; кроме того, не менее раза в месяц в школе устраивались ученические литературные вечера (пение, стихи, чтение), ученические доклады (темы: Пушкин, Некрасов, Тур-

генев — их биографии и творчество), ставились спектакли: «Чем люди живы» Толстого, «Недоросль» Фонвизина, «Порченый» Семенова, «Приключения доисторического мальчика».

Экскурсии. Преподаватели с учащимися старших групп провели несколько экскурсий в г. Сталинск, посетили образцовую школу, мастерскую при ней, музей, театр, кино.

При школе существовал кружок по ликвидации безграмотности. Занятия проводились по вечерам.

27 апреля (1934), когда в школе заканчивался учебный год, коммуну посетил командированный гороно т. Благовещенский со следующим извещением от Сталинского горсовета:

«Постановление № 200/535 президиума Сталинского городского совета. 27 апреля 1934 г. гор. Сталинск. О школе толстовской коммуны «Жизнь и труд».

Постановили: 1. Считать совершенно недопустимым дальнейшее существование частной школы, как не входящей в государственную сеть.

2. Предложить зав. гороно т. Шляханову:

а) школу коммуны «Жизнь и труд» немедленно включить в государственную сеть школ, приведомственных гороно, и выделить из местного бюджета потребные средства на ее содержание;

б) укомплектовать школу проверенными и обладающими достаточным педагогическим опытом советскими педагогами, проводя обучение детей в полном соответствии с программой Наркомпроса.

3. Утвердить по совместительству зав. школой ФЗО № 12 т. Благовещенского зав. школой коммуны «Жизнь и труд».

4. Предупредить родителей толстовцев, что в случае попытки с их стороны не допускать детей в школу, а также в случае попытки организации групповых занятий на дому по обучению детей к ним будут применены предусмотренные законом о всеобуче меры административного воздействия.

5. Коммуне «Жизнь и труд» выделить квартиры педагогическому персоналу школы.

Председ. Сталинского горсовета Алфеев».

Общее собрание членов коммуны вначале 1 мая, а потом 20 июня не согласилось с решением Сталинского горсовета и постановило поставить перед ВЦИКом вопрос о действиях местных властей и возбудить ходатайство об оставлении нашей школы в прежнем положении».

Записки Мити Пащенко о школе кончаются 1933/34 уч. годом, но наша школа существовала еще 1934/35 и 1935/36 годы. В этот период школа опять стала «бродячей», как и в первое время, когда не было еще помещения. Теперь помещение было, но мы не могли им пользоваться,— его «опечатали», повесили замок представители районной власти.

Когда это случилось, то вызвало большое возмущение среди членов коммуны: детей надо учить, есть помещение, нами построенное, есть парты, оборудование, нами приобретенное, и вдруг — замок, и дети ходят так.

Раздавались голоса:

— Сбить замок, да и все.

— Нельзя,— возражали другие.

— Почему нельзя?

— Это насилие.

— Да какое же это насилие? Ведь это замок, а не человек...

Все же решили, что задирать не надо, но свое дело продолжать. И продолжали, хотя вновь были угрозы, что опять опечатают помещение, а учителей арестуют.

Помню один разговор о создавшемся напряженном положении со школой с Евгением Ивановичем Поповым.

— А ведь борьба за школу,— сказал Евгений Иванович,— пожалуй, начинает носить политический характер. Стоит ли?

Я не согласился с ним:

— Что же тут политического? Мы же не выходим за пределы интересов и дел нашей коммуны.

Угрозы применить репрессии по отношению к нашим учителям заставляли их глубже задумываться о своей деятельности, взвешивать, стоит ли рисковать свободой ради нашей школы? Мне очень врезался в память такой случай: кто-то из представителей районной власти сказал мне и просил передать учителям, что если они будут и впредь продолжать занятия, то их арестуют.

Я шел по улице поселка, навстречу мне шли Анна Степановна Малород, заведующая нашей школой, и ее муж Павел Леонтьевич. Мы остановились, я сказал им о предупреждении и спросил ее:

— Что будем делать?

Анна Степановна опустила голову, задумалась и некоторое время молчала.

— Ну, как же? — спросил я ее вновь.

Анна Степановна подняла голову, посмотрела мне прямо в глаза и сказала тихо и улыбаясь:

— Ну, что ж, будем продолжать!

Эта кроткая, не крепкая здоровьем, робкая женщина нашла в себе силы так решить. Так же решили и остальные учителя, никто не попятился, никто не бросил нужное дело.

Нам приходилось много ходить и ездить по учреждениям, защищая нашу школу. Помню, я, Анна Степановна и Ваня Зуев стояли в кабинете секретаря райкома. Перед нами стоят Хитаров — секретарь райкома, и Алфеев — председатель горсовета. Они расспрашивают о коммуне, о нашем отношении к жизни. Мы отвечаем. Некоторые ответы их, видимо, озадачивают:

— И много таких коммун в Советском Союзе? — спрашивает Хитаров.

— Наверно, одна наша.

Хитаров комически хватается за голову и, обращаясь к Алфееву, восклицает:

— И за что нам такое наказание? Одна во всем Советском Союзе и та выпала на нашу долю!..

События в коммуне все назревали — и на другом помещении школы повесили замок,— перешли в третье помещение, на пасеке. Стали появляться на уроках чужие учителя — тогда наши учителя и ученики уходили из класса; договора на лесозаготовки мы не заключали — тогда приходили на конюшню и уводили лошадей без нашего согласия.

И вот одиннадцатого апреля 1935 года состоялся суд.

Судили из коммуны учителей — А. С. Малород и Клементия Красковского и членов совета коммуны — Блинова Савву, Слабинского Николая и Наливайко Афанасия. Из артели «Сеятель» Гурина Гришу, Андреева И. И. и Сильвановича Ромашу и от артели «Мирный пахарь» Фата Петро. Учителей наших обвиняли в преподавании в нашей школе религиозных предметов, а всех членов совета коммуны и правлений артелей — в отказе от лесозаготовок.

Получив повестки на суд, обвиняемые сказали, что они явятся к указанному времени, но им не поверили и увезли.

В город на суд пошло полкоммуны. Суд состоялся в том же длинном, низком дощатом бараке, где судили в 1932 году и нас, но тогда тайком, а сейчас зал был переполнен нашими коммунарами и артельцами, принесшими с собой

загар полей, белые платочки женщин и вольный дух коммуны — дух веселых и дружных людей, верящих в свою правоту.

Суд шел два дня. Не обошлось и без комического момента. Учитель гороно Жук, желая доказать вину А. С. Малород в преподавании в школе религиозных предметов, сказал:

— Малород разучивала в школе с учениками религиозную песню «Крейцерову сонату» Толстого.

В ответ раздался дружный смех всего зала и улыбки самих судей.

Но все же Анну Степановну осудили на один год заключения. Другой учитель Клементий Красковский был оправдан. Я как свидетель сказал:

— Мой сын, восьми лет, учится в первом классе, где преподает Красковский. Я вижу, что они учатся писать палочки, кружки, всякие заковычки, учат буквы. Какие религиозные занятия могут быть для таких малышей?

Судья сказал: «Это верно», и Клементия оправдали.

Савве Блинову и Коле Слабинскому дали по два года, Афанасию Наливайко — один год.

Осужденных повели в арестный дом, и все остальные пошли вместе с ними. Когда отворились ворота тюрьмы и туда стали заходить наши друзья, кто-то крикнул:

— Идемте все с ними!

— Идемте! — дружно ответили много голосов, и пошли бы, если бы их не остановили более спокойные.

В этой неволе трудней всего пришлось Анне Степановне. Мужчины наши были втянуты и привычны ко всякому труду, ей же, слабой здоровьем, пришлось таскать носилки с землей и камнями в котловане при постройке школы в городе. Однажды начальник строительства молча положил в карман Анне Степановне пять рублей. Она приняла их для всей бригады.

Через полгода Анну Степановну удалось выручить из неволи, но полученные ею там болезни остались при ней: туберкулез и искривление позвоночника.

Осуждение наших друзей никого не испугало и не изменило нашей жизни. На месте взятых встали новые люди, даже ученики старших классов иногда проводили уроки с младшими.

К этому периоду нашей жизни хорошо подходит французская пословица:

— «Делай, что должно, и пусть будет, что будет».

После этого суда еще с год коммуна прожила без особых потрясений, пока не подошла новая причина.

Как известно, начиная с первых дней революции по всему Советскому Союзу было много сельскохозяйственных коммун. С 1934—1935 годов их начали переводить на устав сельскохозяйственных артелей. Неоднократно заговаривали об этом и с нами, но мы не соглашались.

Раз приехал в коммуну председатель горсовета т. Лебедев — большой, румяный, сильный человек. Он попросил собрать общее собрание. Когда собрались, Лебедев сказал, что уже все коммуны по всей стране переведены на устав с.-х. артели, и предложил нам перейти на устав колхоза.

Мы отвечали, что пришли к уставу коммуны по сознанию и по влечению к такой форме жизни, привыкли так жить, эта форма нас удовлетворяет и дает нам хорошие хозяйственные результаты, и что мы не видим никаких оснований отказываться от коммуны.

Тогда Лебедев выпустил главный козырь:

— Товарищ Сталин сказал, что в настоящее время в коммунах могут жить или дураки или религиозные аскеты.

На это Лебедеву ответили:

— Пусть будет так, пусть мы будем дураки, пусть будем религиозные аскеты, но мы хотим продолжать жить коммуной, и в словах товарища Сталина прямого указания о запрещении коммуны нет.— И общее собрание единодушно отказалось от перехода на колхоз.

Причиной к отказу от устава коммун выставлялось то, что в настоящее время еще не созрели экономические условия для существования коммун. Но мы понимаем, что это было не главное. Главное было в том, что колхоз был чисто хозяйственной организацией, там были правления, коммуна же захватывала круг подлежащих ей вопросов в деятельности гораздо шире, в коммуне было не правление, а совет, решающий не только хозяйственные вопросы, но и вопросы всей жизни нашего общества.

По существу, при существовании таких коммун и советов коммун отпадали бы уже советы как органы государственной власти, так как наступил бы уже коммунизм безгосударственный, как это и сказано в программе партии; но, очевидно, в настоящее время это считалось несвоевременным.

На этом собрании Лебедев настаивал, ему горячо возражали, и были резкие замечания в адрес самого Лебедева. Он обиделся и возбудил дело о привлечении к суду большой группы коммунаров.

26 апреля 1936 года было воскресенье, хороший весенний день. Шло наше обычное собрание — беседа, пение, чтение писем от друзей.

Я зачем-то сходил домой к себе на гору и возвращался обратно. Меня встретил Коля Любимов и сказал:

— У Мити Пащенко обыск, он арестован.

Я пошел туда, хотя и почувствовал, что это и меня не минует. Перед столовой я увидел несколько человек в белых полушубках и фуражках НКВД. Ко мне подошел один из них.

— Вы Мазурин?

— Да.

— Пойдемте к вам, мне надо с вами поговорить.

— Пойдемте.

И дальше все пошло как полагается. Обыск, хотя и искать-то было нечего в моей маленькой избушке из одной комнаты, где стоял стол, две убогие койки, скамья да небольшая полка с книгами. Но искали тщательно. Уже уходя, они заглянули на чердачок и там увидели чемодан, набитый письмами, и несколько моих тетрадок. И тут хватило им дела до полуночи, так что ребятишки уже поснули и не видали, как меня увели.

Ночевали в школе на полу: я, Митя Пащенко, Дмитрий Моргачев, Клементий Красковский, Егор Епифанов, который тогда был председателем совета коммуны. Не помню, кто еще был взят в первый день, но в следующие два дня были взяты еще Гитя и Гутя Тюрки, Анна Григорьевна Барышева, Оля Толкач, Иван Васильевич Гуляев и еще некоторое время спустя Драгуновский Яков Дементьевич, работавший ручником, но присоединенный к нашему делу.

Наутро нас повели в Старый Кузнецк, в тюрьму. Провожала нас вся коммуна, с пением песен. Уже за поселком, на берегу Томи, спели последнюю:

Вперед, товарищи, ступайте,
день славный наступил для вас,
оружье вдребезги ломайте,
убийц не будет среди нас!

И вот все остались, а мы пошли дальше, перепрыгивая через весенние ручьи, стекавшие в Томь. По Томи шел лед.

Коммуна, конечно, была взволнована арестом такого большого количества своих членов, тем более что за ними не было никакой вины, и обратилась к М. И. Калинину. Из Москвы был прислан прокурор Волобуев. Он беседовал с некоторыми членами коммуны, особенно долго с Ваней Зуе-

вым, в присутствии местных прокуроров, председателя горсовета. Он, очевидно, дал указание — с нами обращались вежливо, не ограничивали в передачах, не вызывали на допрос ночью, когда мы этого не хотели.

Следствие вел следователь Ястребчиков Степан Ильич. Его горбатый нос соответствовал его ястребиной фамилии. Не могу сказать ничего плохого о том, как он вел следствие, но, конечно, он был скован предвзятой установкой — обвинить нас в контрреволюции.

Один раз я его спросил:

— Вы взяли всю мою переписку, мои записи. Где вы видите в них контрреволюцию?

Он достал клочок бумаги, на котором я когда-то, в 1932 году, в одиночном корпусе Томской тюрьмы начал писать стих, оставшийся незаконченным, и прочитал:

Из стен тюрьмы глухой,
задавлены камнями,
мы молча вам кричим
и призываем вас
к восстанью...

— Это что, не контрреволюция? — жестко, повысив голос, спросил он.

— Степан Ильич,— сказал я,— зачем вы так делаете? Читайте дальше.

И он прочел дальше:

К восстанью без штыков,
к восстанью без крови,
к сверженью всех оков,
опутавших наш разум...

— Ну, вот,— сказал я,— где же тут контрреволюция?

Ястребчиков ничего не ответил, но я уверен, что в деле так и осталось, как он прочитал сначала, создавая превратное понимание моей мысли.

Так прошло семь долгих месяцев. Легко сказать — семь месяцев, а сколько за это время прошло событий, передумано дум, сколько встреч, сколько увидено, услышано, и все это теснится в голове, заполняет меня всего и не дает мне писать.

Все это описать — была бы большая книга, но ведь моя цель — рассказать о коммуне, и то очень кратко, а тут, на пути, это препятствие. Нет, это приходится оставить в стороне, но все же хоть немного, хоть несколько случаев расскажу.

Яков Дементьевич Драгуновский придерживался того

мнения, что тюрьма ему не нужна и добровольно он в нее заходить не должен. Когда его вызывали и выводили из тюрьмы, он шел, когда же его приводили вновь к воротам тюрьмы (например, с допроса), он не шел, ложился и говорил:

— Мне туда не надо...

И вот, как сейчас вижу: ясный летний день, окна камер открыты на тюремный двор (козырьков тогда еще не было), внимание всех привлечено к проходной, где слышны какое-то движение и шум. И вот во дворе появляется процессия. Двое надзирателей — «Бурундук» и еще кто-то, скрестив руки, несут сидящего на них Драгуновского. Изо всех окон слышны хохот и приветствия. Яков Дементьевич улыбается, борода развевается, и он тоже приветственно машет руками, надзиратели также улыбаются. У Якова Дементьевича все это получалось как-то добродушно, он и сам не напрягался и не ожесточался и такое же настроение создавалось и у окружающих.

Яков Дементьевич все время писал из тюрьмы огромные письма, целые статьи на имя Калинина и других видных тогда деятелей партии и правительства. О чем же он писал, этот не слишком грамотный смоленский мужик? Нет, не о себе лично и не о своей тяжелой судьбе,— о себе он не думал. Он писал о несоответствии государственного устройства с идеалами коммунизма, о бесполезности и вредности средств насилия на пути к коммунизму. О тяжелом положении крестьянства. О значении нравственности и жизни духа. Он не спорил, не упрекал, но взывал к человеческому сознанию правителей. Куда попадали эти письма — не знаю.

Совсем по-другому получалось у Анны Григорьевны. Она также говорила и действовала прямо и смело, но при этом она вся горела негодованием, почти ожесточенностью, и это настроение передавалось и окружающим.

Как-то по какому-то поводу Анна Григорьевна предложила нам начать голодовку. Передала мне записку. Я высказался против. Мне всегда были непонятны голодовки, применявшиеся политическими, а последнее время и всеми. Нам и так приносят вред, лишая свободы, здоровья. Так зачем же мы сами будем еще содействовать этому? Наше стремление должно быть противоположное: сохранить здоровье, силы, бодрость, спокойствие, а протестовать, если в этом есть надобность, разумными словами и поступками. И вот развернулась целая дискуссия — к записке Анны Григорьевны присоединилась моя и пошла дальше и дальше,

пока не обошла всех. А потом ведь надо было нашим запискам пройти и обратный путь, чтобы все узнали мнение всех. Сверточек записок получился довольно солидный, и раз, когда Гитя передавал их мне, нас «попутали», отобрали записки, и потом вся эта «переписка» попала к следователю, в дело.

Голодовку отвергли. Поддержал Анну Григорьевну один Егор Епифанов.

20 ноября 1936 года нас всех вывели из наших камер в коридор и гуськом, руки назад, вывели с крыльца, через которое я когда-то пытался бежать, и пока нас довели до другого крыльца, где был зал суда, мы успели разглядеть наших друзей, толпившихся за оградой, и услышать их приветствия.

Суд был при закрытых дверях и тянулся пять дней, и все это время за оградой видны были наши коммунары, и лишь на пятый день, когда говорили последние слова, желавших впустили в зал.

В чем же нас обвиняли?

Обвиняли нас в том, что мы и сами не отрицали: что мы имеем свою школу, что мы не выполняем некоторых повинностей (лесозаготовки), что мы имеем свои убеждения и выражаем их и на словах, и письменно.

Драгуновского обвиняли в том, что у него обнаружили шесть номеров журнала «Истинная свобода», в которых был целый ряд якобы контрреволюционных статей (в том числе и статьи И. И. Горбунова-Посадова). Но ведь этот журнал издавался и продавался в Москве в 1920 году легально. Редактировал его В. Ф. Булгаков, бывший в 1910 году секретарем Толстого.

Олю Толкач обвиняли в том, что у нее была изъята духоборческая песня «антисоветского характера».

Мне ставилось в вину «составление и хранение к.-р. [контрреволюционных] документов», как, например, «Дневник ходока», в котором я записывал все то, что видел во время своей поездки по делам коммуны в 1930 году.

Красной нитью проводилась в обвинительном заключении мысль, что в коммуне руководило не общее собрание членов коммуны и не совет коммуны, а кучка лиц, подавлявшая всю остальную «малосознательную» массу членов коммуны — «преимущественно бедняков-крестьян, слепо следующих своим религиозным убеждениям».

Судила нас выездная сессия спецколлегии Запсибкрайсуда. Председательствовал Тармышев, члены Рощиков

и Прокопьев, секретарь Григорьева, прокурор Гольдберг. Все судьи имеют одни права и одни обязанности и в то же время все судьи разные, в зависимости от своих личных человеческих свойств.

Тармышев мне был почему-то симпатичен — своей серьезностью, ненадутостью, он не кричал, не одергивал, от него не дышало предубежденной злобой. Может быть, это зависело от него, а может быть, потому, что он знал, что по нашему делу приезжал из Москвы прокурор и там этим делом интересуются. Нет ничего интересного описывать всю процедуру суда. Никто из нас виновным себя в контрреволюционной деятельности не признал.

Зачитали приговор.

1. Епифанов Егор — освободить.

3. Пащенко Дмитрий — освободить.

3. Тюрк Гюнтер — освободить.

4. Толкач Ольга — освободить.

5. Гуляев Иван — 3 года (58.10.1. поражение в правах 3 года)

6. Моргачев Димитрий — 3 года (58.10.1. пораж. 3 г.).

7. Мазурин Борис — 5 лет (58.10.1. пораж. 3 г.).

8. Драгуновский Яков — 5 лет (58.10.1. пораж. 3 г.).

9. Тюрк Густав — 5 лет (58.10.1. пораж. 3 г.).

10. Барышева Анна — 10 лет (58.10.1. пораж. 5 лет)

Мы искренне радовались, что хоть четверо из нас пошли домой. Мы знали, что коммуна не оставит нас — будет хлопотать. И правда, был послан в Москву Ваня Зуев, которому удалось — правда, где-то уже на ходу — перехватить спешившего куда-то Калинина и сказать ему о нас. Ваня теперь уже умер, и я не могу точно вспомнить, что ему ответил Михаил Иванович, но наступивший 1937 год повернул события на другой путь.

П. Г. Смидович умер. Умер и Влад. Григ. Чертков. Во время суда, на одном из перерывов, нам дали газеты, и в одной из них на последней странице был помещен некролог Владимира Григорьевича Черткова. Анна Григорьевна прочитала и тихо заплакала, и всем нам стало грустно, мы все его любили.

П. Г. Смидович был старый большевик и до смерти оставался верен своим убеждениям, но в нем не было узкой, сектантской нетерпимости к инакомыслящим. Он знал учение Толстого и относился к нам гуманно, тем более что верил Черткову, которого хорошо знал еще по эмиграции. Бывало, придешь в кабинет Смидовича по делу коммуны и

переселения — он выслушает, быстро примет какое-нибудь решение, вызовет секретаршу, даст отпечатать, а сам начнет как бы идейный спор с нами, только говорит он один. Редко когда удастся втиснуться, сказать что-нибудь ему в ответ.

— Вот вы не хотите брать оружия в руки, хотите жить мирно, думаете — все такие же, как вы? А мир-то во зле лежит. Это мы, русские, такие, готовы поверить всем. А вот японцы, немцы не такие, в них дух воспитан воинственный. Они воспользуются вашей мягкостью, доверчивостью, придут, поработят нас. Надо оружие. Над защищаться...

— Петр Гермогенович,— встреваю я,— неужели вы так верите в силу оружия? А во время гражданской войны, во время интервенции у кого было больше оружия — у Советской Республики или у ее врагов? У них, а кто победил? Что победило? Оружие? Нет, победила великая сила идей.

И вот не стало ни Черткова, ни Смидовича, тех людей, у кого коммуна находила понимание и поддержку. Конечно, мы и раньше были самостоятельны в своих убеждениях и действиях, но все же теперь почувствовали себя как бы осиротевшими. Круг сужался.

Подумать только! Ровно за сто лет до этого злополучного 1937 года известный русский критик В. Г. Белинский писал: «Завидую я внукам и правнукам нашим, которые будут жить через сто лет...» Веря в грядущие века свободы и разума, Белинский даже помыслить себе не мог, что злодейства, с которыми воочию столкнутся его «внуки и правнуки», по своим масштабам, беспримерной массовости применения и изощренной жестокости превзойдут все виды зверств царских палачей и жандармов... Вот какой злой иронией оборачивается иногда самая благородная и святая зависть к «потомкам»!

Днем и ночью, в одиночку и «пачками», без суда и следствия, а часто даже без ордера на арест стали брать ни в чем не повинных людей. Брать и увозить бесследно туда, откуда никто из них уже не вернулся, а только на руках у родных, хлопотавших за них, оказались бумажки о том, что никакой вины за ними не обнаружено, что они полностью реабилитированы.

Бумажка есть, а человека нет.

Нашлись и у нас, как, наверное, во всяком обществе, во всяком движении, свои иуды. Чтобы сберечь себя, свою шкуру, они помогали губить невинных людей. Иван Рябой, Онуфрий Жевноватый, Иван Иваныч Андреев и еще неко-

торые другие ослабевшие, жалкие, запуганные люди. Но все же это были единицы.

Темной жутью повеяло в коммуне от этих арестов. Некоторые были спокойны, некоторые содрогались и спали по ночам не дома,— кто же хочет неволи? И они уходили от нее.

В это время, когда были взяты десятки мужчин, глав семейств, многие, опасаясь всего, стали жечь письма, записки, книги.

В это же время наша школа стала государственной, не стало даже учителей.

Трудно было в это время, но коммуна не забывала своих членов, отторгнутых от нее грубой силой. К нам в лагеря приезжали коммунары, привозили с собой мешки сухарей, коржиков и прочей снеди. Привозили целые пачки писем от друзей. Привозили дружескую любовь и поддержку душевную.

Так побывали у нас Гитя Тюрк, Савва Блинов, Митя Пащенко, Тося и Тима Моргачевы, Марьяна Моргачева и моя жена Алена.

Летом 1937 года, когда я, Гутя и Димитрий были в лагере Черемошники под Томском, нас известили из коммуны:

— Ждите, к вам выехали Малород Павел Леонтьевич и Николай Денисович Красинский. Сначала они поедут в лагерь Орлова Роза (за Мариинском) к Драгуновскому, оттуда в Мариинск к Анне Григорьевне, а оттуда уже к вам.

Ждем, а их все нет. Узнали — у Якова Дементьевича они уже были, передали передачу, уехали в Мариинск. Уже давно пора им быть у нас, а их все нет. Сделали запрос в коммуну — и там их нет. И только случайно разговорившись с одним парнем, недавно прибывшим по этапу из Мариинска, узнаем:

— А у нас там тоже двое не ели мясного...

— А какие они?

— Один высокий, черный, усы вниз, другой потолще, рыжеватый.

Они! Они! Павел Леонтьевич и Николай Денисыч. Их взяли в Мариинске и, очевидно, создали новое дело, в которое попали и они, и Анна Григорьевна, и Драгуновский. И никого из них уже никто никогда больше не видал.

Парень добавляет еще:

— Рыжий ходил сам, а черного все на руках носили, он не хотел ходить ни на следствие, ни обратно в камеру.

После этого случая к нам приезжали еще раз в далекий Нарым. Там приехавших к нам Марьяну Моргачеву и Колю Ульянова арестовали, заперли в сарай, где они успели уничтожить все письма к нам. Передачу нам все же отдали, их отпустили, но свидания так и не разрешили. Это было в конце 1937 года.

После суда над нами районные власти перестали считать коммуну — коммуной, а вроде как колхоз. Присылали всем членам коммуны извещения на налоги, на всякие поставки — на яйца, молоко, мясо, шкуры и т. д., хотя ни у кого в коммуне не было ни своих усадеб, ни скота, ни огородов. Понятно, никто ничего не платил, канитель углублялась.

1937 год

Приведу здесь фамилии тех, кто был взят у нас в 1937 году. Список жуткий, но ведь одни фамилии мало что говорят. За каждой стоял живой человек со своей жизнью, мыслями, мечтами, убеждениями. Человек с близкими ему родными — жена, дети, родители. Надо бы хоть кратко описать каждого, но эта задача мне сейчас не под силу.

1. Чекменев Семен Иванович
2. Бормотов Василий
3. Бормотов Костя (сын)
4. Головко Василий
5. Головко Лева (сын)
6. Горяинов Николай Алексеевич
7. Кувшинов Прокопий Павлович
8. Красковский Клементий Емельянович
9. Свинобурко (Рутковский) Иван Адамович
10. Каретников Петр Иванович
11. Шипилов Сергей Семенович
12. Рогожин Иван Степанович
13. Лукьянцев Иван Михайлович
14. Малюков Коля
15. Катруха Федя
16. Катруха Миша
17. Коноваленко Мефодий
18. Моргачев Тима
19. Благовещенский Миша
20. Чернявский Иван Андреевич
21. Фомин Анатолий Иванович.

22. Гурин Григорий Николаевич
23. Малород Павел Леонтьевич
24. Красинский Николай Денисович.

Из этих двадцати четырех никто не вернулся — все погибли.

Из вернувшихся трое после десятилетнего пребывания в лагерях, с подорванным здоровьем, умерли:

1. Овсюк Миша
2. Тюрк Гитя
3. Епифанов Егор.

Кроме погибших, еще много членов коммуны и по суду и без суда были взяты из коммуны — кто ненадолго, кто на десять лет, а кому пришлось отбыть по восемнадцати лет (10 лет заключения и 8 лет ссылки).

Хотя насильно вывезенные от нас в 1933 году в Кожевниково и не были членами коммуны, но поскольку они относились к нашему толстовскому переселению, приведу здесь, может быть, и не полный список взятых в 1937 году и почти всех погибших:

1. Тройников Миша
2. Кадыгроб Стефан
3. Цыбинский Иван
4. Цыбинский Василий Иванович
5. Кудрявцев Александр Федорович
6. Безуглый Ефим
7. Черниченко Димитрий
8. Нестеренко Онисим
9. Неделько Евгений
10. Фесик Евдоким
11. Фесик Иван
12. Караченцев Сидор
13. Караченцев Степан
14. Гвоздик Федор
15. Попов Иван
16. Кобылко Гавриил
17. Викалюк Димитрий
18. Тимченко Иван
19. Савченко Артем
20. Недяк Сергей
21. Булыгин Сергей Михайлович
22. Балахонов Платон
23. Балахонов Афоня
24. Балахонова Юля
25. Фесик Петр.

Из этих сухих списков видно, какие страшные опустошения были произведены и у нас, и в Кожевниково. Но, несмотря на это, и там и здесь люди чувствовали себя не сломленными в своей вере, твердо переносили все беды и даже потерю жизни стольких близких людей. Не раз нам приходилось слышать при откровенных беседах от коммунистов, и высокопоставленных, и рядовых, и следователей, и просто рабочих людей:

— Это все хорошо, что говорите вы, толстовцы. Все это будет — и безгосударственное общество без насилия и без границ, и трезвое, и трудовое, и без частной собственности, но сейчас это несвоевременно, сейчас это даже вредно...

Но мы этого не понимали. Жившее внутри нас «царство Божие» властно толкало нас на путь немедленного, без откладывания, осуществления нашего жизненного идеала. Откладывание реализации этих идеалов на какое-то неопределенное будущее казалось нам удивительно схожим с учением церковников, которые предлагали здесь терпеть и сносить лишения и беды с тем, чтобы там, за гробом, в какой-то «будущей» жизни, обрести желанное блаженство. Вот уже более полувека прошло со дня революции, а желаемое всем «будущее» не только не приближается, но, наоборот, все отдаляется и отдаляется, на первый же план продолжают выдвигаться все новые и новые формы насилия и несвободы. А сомневающихся снова, как и вчера, успокаивают:

— Сейчас это несвоевременно. Вот придет время...

Толстовцев часто обвиняли в том, что они, углубляясь в себя, сторонятся от реальной жизни, уходят от разрешения неизбежных в человеческом обществе вопросов. Нет, мы не уходили и не отмахивались от всех этих вопросов. Мы их решали в своем обществе. Решали для себя, на своей шкуре, и не навязывали свои выводы другим людям.

Думал ограничиться сухим списком друзей, безвинно погибших в 1937 году, но мысль неотступно возвращается к ним, и хочется хоть по нескольку слов сказать хотя бы о некоторых из них.

Сеня Чекменев — белокурый, сильный, тихий, трудовой человек. Из самарских молокан, когда-то переселившихся в оренбургские степи (село Раевка). Под влиянием проповеди Александра Добролюбова Чекменев и его друзья отошли от буквального сектантского понимания многих вопросов жизни. Живя в Раевке, они много перенесли за

свои убеждения, создавали там свою общину. В 1937 году на Семена не было ордера на арест. Взяли его старшего брата Алексея, который еще в царское время, в 1916 году, за отказ быть солдатом, был приговорен к 12 годам каторги и освобожден революцией из казанской тюрьмы. Но когда Алексея посадили на машину, то увидели, что у него одна рука болтается парализованная и шея не гнется (он переболел энцефалитом), а в это время вышел на крыльцо Семен. Алексея сняли с машины (куда такого?), а Семена взяли.

Бормотов Вася, тоже из Раевки, из добролюбовцев. Так же, как и Алексей Чекменев, в 1916 году был приговорен к 12 годам каторги. В годы гражданской войны, когда в Оренбуржье правил какой-то правитель (много их было!), кажется, Дутов, у которого, как и у всех правителей, были свои «законы», утверждающие беззаконие. Так же и мужики были по этим законам «повинны» выполнять всякие повинности. И вот с их общины в с. Раевка потребовали лошадей для армии. Они отказались и сказали:

— Для войны мы не можем дать.

Вскоре разнесся слух: в Раевку едет карательный отряд. Что делать? Все оделись почище, женщины в белых платочках, собрались на площади и стали петь свои добролюбовские песни.

Вдали показались конные казаки. Подъехали, остановились. Общинники, не обращая на них внимания, продолжали петь. Казаки слушали, потом один за другим стали снимать шапки. Казаки постояли молча и, ничего не сказав, уехали.

В журнале «Истинная Свобода» (№ 8 за 1921 год) мы читаем:

«Приезжавшие в Москву крестьяне с. Раевки, Оренбургской губ., Орского уезда, В. И. Бормотов и И. Я. Липко сообщили нам интересные сведения о быте этого села. Почти все население Раевки состоит из сектантов — евангелистов, добролюбовцев и т. д., а также из единомышленников Л. Н. Толстого. Среди крестьян много отказывающихся по религиозным убеждениям от всякого насилия, пострадавших за это еще при царском режиме. Общее настроение — также против насилия и против разделения на властвующих и подвластных. Когда однажды раевских крестьян упрекнули на суде, что если они против всякого насилия, то им и сельского Совета не нужно иметь,— они благоразумно решили принять этот совет к сведению и действитель-

но отказались выбирать у себя сельский Совет и даже отказались выбирать председателя на сельских сходах. Жизнь их, конечно, не стала от этого хуже. Напротив, даже сами власти стали относиться к раевцам с уважением, особенно после того, как представился случай проверить их искренность и последовательность. Кругом разразилось крестьянское восстание. Восставшие явились в Раевку и потребовали от жителей примкнуть к восстанию. Те отказались, заявив, что они не могут брать в руки оружие против кого бы то ни было и что ничего, кроме дурного, не ждут от вооруженной борьбы. Тогда восставшие (русские и башкиры) потребовали выдать им скрывшийся в деревне продовольственный отряд из 20 человек, но раевцы отказались это сделать: «Вы их для зла требуете, может быть, для смертоубийства»,— заявили они. И в то время, как кругом преследовались и убивались представители власти, в Раевке свободно разгуливали, даже не арестованные, 20 человек продармейцев. Но зато уж за пределы деревни они не рисковали показываться. Когда восстание кончилось и вернулась прежняя власть, представители ее были поражены поступком раевцев и усердно благодарили их за спасение. Раевцы приняли благодарность, но своей жизни не изменили и живут по-прежнему без Совета».

Костя Бормотов, совсем еще юный, попал случайно. Он был возчиком на подводе, отвозившей арестованных в город. Там его и оставили.

Василь Головко — полтавский крестьянин, могучего телосложения, говорил не спеша. У него была способность к механике. На Украине он сам сделал себе ветряную мельницу, чем и навлек на себя всякие нажимы, хотя работал он сам и никаких рабочих не нанимал. Его пытались донять всякими налогами. Он не платил:

— А за что мне тебе платить? — говорил он налоговому агенту,— хиба ж ты мене дуешь?

А сына его, Леву, совсем почти мальчика, не знаю за что и взяли. Как-то на сенокосе поручили Леве варить обед. Суп варился в большом котле на костре и основательно пропитался и припахивал дымом.

— А суп-то у тебя задымка,— сказал, смеясь, Филимон. Так долго и оставалось за Левой прозвище «Задымка».

Горяинов Николай Алексеевич — сухощавый, высокий старик с белой бородой. Он был одним из самых старых по возрасту коммунаров. Еще задолго до революции он с не-

сколькими друзьями, желая помочь крестьянам в сбыте их продукции на кооперативных, артельных началах, в вологодской глуши организовал сливной пункт молока и переработки его на масло. Продукцию сплавляли на плотах по рекам до промышленных центров, где и сбывали. Работал одно время в общине «Криница» в Геленджике. Он был одним из пионеров культурного плодоводства на Кавказе, где также устраивал кооперативы по сбыту фруктов. Помню, когда он приехал в коммуну и мы вышли с ним на гору, на наши поля, откуда открывался захватывающий дух вид на горы, покрытые темной тайгой, на извивающуюся, блестящую ленту Томи и широкую, поросшую кустами пойму за ней, он воскликнул:

— Вот где надо бы нам поселок строить, красота!

— Да, красиво,— сказал я,— а с водой как?

— Э, вода! — ответил он, улыбаясь,— воду можно заставить, и сюда пойдет...

Чувствовалось, что этот человек не только красоту любит, а и предприимчивости и изобретательности у него хоть отбавляй...

В день, когда забирали других, он вышел к колодцу за водой. Его увидели: заметный человек, весь белый.

— Давай и этого сюда!

Кувшинов Прокоп, невысокий, корявый, из нижегородских мужиков, на вид суровый, с густыми нависшими бровями, говорящий на «о», опытный огородник. Хорошо разбирался в сельскохозяйственных машинах. Справедливый и добрый человек. Принимал участие в рабочих волнениях в 1905 году и носил на память об этом вечный глубокий рубец на голове — знак казацкой расправы.

Ваня Свинобурко по жене принял фамилию Рутковский. Из беспризорных сирот, оставшихся от войны 1914—1918 годов. Вырос в детских трудовых колониях под Москвой, в которых тогда работали воспитателями многие наши молодые единомышленники. Когда же эти колонии прибрал к рукам Наркомпрос, чиновники, нашим пришлось оттуда уйти. Они организовали коммуну имени Л. Толстого недалеко от города Воскресенска. Ваня пошел с ними и стал членом коммуны. Он очень любил лошадей и вообще крестьянскую работу, и все у него как-то особенно ладилось. Большой, сильный, немногословный, тихий, но всегда веселый.

Каретников Петр Иванович из г. Кузнецка Пензенской

губ., где тогда жили многие другие единомышленники Толстого и в их числе Иван Севастьянович Колбаско. Родители его были из торгового сословия, но Петр Иванович удался не в них. Ни в характере, ни в его убеждениях не было ничего от торгового мира. Он искал только правды, много читал, любил книги, любил сельское хозяйство, особенно огородничество.

Ваня Лукьянцев — вечно улыбающийся, как будто иногда излишне веселый, он иногда впадал в обморочное состояние, и тогда он разговаривал сам с собою примерно так:

— Господа правители, не трогайте меня, я же лежу не на вашей земле, я лежу на дороге, на дороге ведь можно лежать всем...

Он приехал к нам из алма-атинской общины единомышленников Толстого. Болезнь его началась, вероятно, с того времени, о котором он мне рассказывал.

Когда в Сибири был Колчак, Ваня работал железнодорожником при станции Омск. Колчаковцы уже чувствовали свою гибель и свирепствовали. Двести железнодорожных рабочих арестовали и повели за город на расстрел. Ваня был в их числе. Была ночь, морозило, шел густой, крупными хлопьями, снег. Партия остановилась, чего-то долго ждали. Все замерзли, сбились в кучу и затихли. Вокруг стояли солдаты — конвой. Ваня заметил, что один солдат вроде задремал, опершись на штык, и тихо-тихо прошел мимо него. Затем скатился с высокого железнодорожного откоса и, проломив еще не толстый лед, весь искупался в воде железнодорожного кювета. Весь обмерзший, обессилевший, дошел он до дома знакомого рабочего, постучал и свалился без чувств. Его втащили, спрятали, а потом вместе с этим рабочим они скрывались в штабелях шпал, наблюдая оттуда, как уходили последние эшелоны колчаковцев, и видели, как приподнялся и рухнул мост через Иртыш, взорванный уходившими.

Коля Малюков — совсем молодой парень, приехал к нам в коммуну уже позже, и я его мало знал, тем более что он был очень молчалив или стеснителен,— стеснялся меня как старшего. Он был из Владимирской или смежных областей.

Миша и Федя Катрухи еще совсем парнишками приехали в коммуну с матерью и старшим братом Гришей. В коммуне они подросли, стали разбираться в жизни, увлеклись

«ручничеством» и стали жить отдельно от коммуны в землянке в долине Радости. Мишу взяли, когда он пришел в коммуну к сестре, 20 октября 1937 года, в 4 часа утра. Он ночевал у других, а утром пришел, а его уже ждали. Федю нашли в долине Радости. Он отказался идти. Его запихали в матрац, завязали, привязали к хвосту лошади и так выволокли по снегу из долины, а наверху положили его в сани и так привезли в коммуну.

Потом мне один из охранников Первого дома рассказывал, что Федя не ходил на допросы, его носили на руках на третий этаж, а оттуда тащили с лестницы за ноги, а он на каждой ступеньке стукался головой и молчал.

Коноваленко Мефодий — из киевских малеванцев. Очень тихий парень, спокойный, мягкий и твердый.

Тима Моргачев — старший сын Димитрия Моргачева, хороший парень, еще не женатый. Умер в лагерях на Севере от истощения.

Фомин Анатолий Иванович не был нашим переселенцем. Он как-то узнал о коммуне и приехал к нам позднее. Он говорил, что он из канадских духоборов-свободников, но не природный духобор, а примкнул к ним идейно. Он вел беседы с членами коммуны, уясняя свое мировоззрение, но я не мог понять его, его слова казались мне туманными, не идущими ни в какое сравнение с ясными, глубокими мыслями Толстого. Но некоторым его беседы нравились. Один раз Клементий во время беседы-доклада Анатолия о чем-то спросил его, выразил свое несогласие. Анатолий тогда сказал:

— Я объявлю голодовку до тех пор, пока Клементий не извинится...

Клементий, обеспокоенный, пришел ко мне посоветоваться, как быть.

— Но ведь ты же его не оскорбил?

— Нет, я только сказал, что не согласен с ним.

— Так зачем же извиняться?

— Так ведь он голодает...

— Ну, и пусть себе голодает, это его дело,— сказал я.

Анатолий голодал недолго. Мне было непонятно и чуждо такое поведение, угроза голодовкой, обида из-за разногласия во мнениях. Все это не имело ничего общего с тем духом, какой был в коммуне,— простой, дружеский, свободный.

Гурин Гриша — из Тульской губернии. Из большой крестьянской семьи — семеро братьев. Во время первой мировой войны был в плену у немцев. Там их обильно снабжали литературой евангелического (баптистского) направления, которая его затронула. Потом, уже в России, он приблизился к толстовским взглядам. Горячий по натуре, он был горяч и в работе. Гриша рассказывал, как в плену он попал к одному хозяину в работники. Тот велел ему вспахать участок земли. Грише давно уже не приходилось работать по крестьянству. Пара лошадей попалась добрая, плужок легкий, хорошо налаженный, и Гриша, что называется, поднажал ото всей души. Когда хозяин пришел посмотреть, как работает пленный, не спит ли,— участок был уже весь вспахан. Хозяин схватился за голову:

— Что ты делаешь? У нас так не работают, так нельзя...

Когда от коммуны отделилась артель «Сеятель», Гриша был ее председателем.

О Драгуновском Якове Дементьевиче я уже упоминал. Он был из крестьян Смоленской губернии. Один раз на собрании он рассказал нам свою биографию, как он пришел к Толстому. Мне запомнилось — в первую мировую войну его взяли в солдаты. Он тянул солдатскую лямку, как и все, но один раз во время ночной атаки его чем-то оглушило. Когда он очнулся, кругом было тихо, он никак не мог понять, где он, куда идти. И долго бродил в темноте по пустынному полю, натыкаясь на обломки орудий и трупы... И тут он начал думать: «Зачем я здесь? Что мне здесь надо? И на что мне эта винтовка? И зачем, за что убивать мне этих немцев?»

Он начал думать, а еще Фридрих II, прославленный немецкий солдафон, сказал как-то: «Если бы мои солдаты начали думать, ни один бы из них не остался в войске». И Яков Дементьевич с тех пор перестал быть солдатом, а стал мыслящим человеком. Во время гражданской войны за отказ от оружия он и вместе с ним еще несколько единомышленников перенесли большие мучения. От смерти его спасло только то, что, узнав об их положении, Влад. Григ. Чертков обратился лично к В. И. Ленину, и Ленин освободил их.

Барышева Анна Григорьевна. Отец ее был крестьянин. Во время войны 1914 года она была сестрой милосердия. Потом учительствовала. Как человек, в общежитии, она была спокойной, ровной, но когда разговор заходил о госу-

дарственном несправедливом устройстве жизни, о войне, о тяжелом положении крестьян,— она вся напрягалась, говорила резко, даже как-то со злобой. Она много раз подвергалась судам, заключениям, ссылкам, и не знаю, что было причиной: ее ли озлобленность и резкость, или наоборот — это настроение явилось следствием всего пережитого ею.

Малород Павел Леонтьевич был из кубанских казаков, но, усвоив толстовские убеждения, он порвал с их образом жизни и с их традициями. В коммуне он отошел от нас, пожелав жить ручным трудом.

Еще несколько слов о кожевниковцах, тем более что туда уехали многие члены нашей коммуны, которых я хорошо знал.

Миша Тройников — москвич, молодой человек из рабочей семьи. Сначала был в коммуне, потом увлекся направлением общины «Всемирное братство», а вернее Иоанном, и перешел туда. Человек он был искренний и убежденный.

Кудрявцев Александр Федорович с наружностью какой-то немного угловатой, топорной. Был когда-то, в гражданскую войну, командиром бронепоезда, а потом оставил все это. Одно время жил в алма-атинской общине, потом в Лефортовском переулке в Москве, у Влад. Григ. Черткова. У нас стал «ручнистом», а потом уехал от нас в Кожевниково.

Стефан Кадыгроб, Онисим Нестеренко, Евдоким Фесик и его сыновья — Иван и Петр, Караченцев Сидор, Гвоздик Федор — это все из бывших субботников, из «Мирного пахаря» и из коммуны.

Надо сказать, что вообще люди, более склонные к руководству в жизни разумом, а не буквой Библии, отсеивались из «Мирного пахаря». Некоторые из субботников предпочитали жить в коммуне, некоторые переходили в общину, и многие уехали в Кожевниково.

Булыгин Сергей Михайлович, живший в свое время возле Ясной Поляны, знавший Толстого, разделявший взгляды Толстого, к которым у него, однако, примешивалось что-то сектантское, в духе евангелизма. Красивый, развитой, всегда увлеченный какими-то проектами антимилитаристических объединений, «христианским коммунизмом» и т. п., он стремился создавать группы, во главе которых был бы он. Не находя себе подходящей почвы в нашей, чересчур рационалистической коммуне, Булыгин уехал в Кожевниково. Со своими проектами ездил в Москву, в Новосибирск, пока его не забрали.

И наш Платон Балахонов оказался там.

Надо сказать, что в нашей толстовской среде было немало людей беспокойных духом, которых все что-то манило вперед. Их не удовлетворяла обычная, будничная трудовая жизнь коммуны, им казалось, что надо что-то делать больше, полнее воплощать в жизни свой идеал. Это было, конечно, справедливо, но иногда в погоне за журавлем терялась синица — та, что была в руках. Иногда человек захватывал больше, чем было в его силах, становился на ходули, и порой это вело к тяжелым разочарованиям.

Вспоминая погибших друзей, хочу сказать еще о двух замечательных людях, которые жили в коммуне, но вернулись в Алма-Ату и там погибли. Даниил Шинкаренко и Жорж Чекменев. Если Данило весь проявлялся в слове и деятельности, то Жорж был полон какой-то внутренней просветленностью, настолько большой, что она всегда отражалась у него на лице, в каждом его слове и поступке.

Здесь же помяну еще некоторых бывших членов коммуны, уехавших когда-то на Украину и погибших совсем в других условиях и от других рук. Дело было уже в немецкой оккупации.

Евдокия Тимофеевна Белоусова, наша бывшая учительница, и там учительствовала и была сожжена немцами живьем в школе.

Илюша Павленко растерзан немцами как партизан.

Очень хотел переселиться к нам, в коммуну, Борис Непомнящий, и даже приезжал к нам, в Сибирь, но его жена никак не хотела ехать в коммуну, и вся семья погибла в Одессе как евреи.

Эпидемия уничтожения невинных людей не была принадлежностью или изобретением какой-нибудь одной страны. Она широко разлилась по всему миру,— стало быть, и причины ее не узкоместные, а гораздо шире.

Причина была в том, что понимание людьми смысла жизни, их религия были порочны, не верны, не соответствовали основному закону человеческой жизни — добру.

Отказывается в фашистской Италии молодой человек брать оружие в руки против абиссинцев — карают, отказывается в царской России — карают, отказывается у нас, в Советском Союзе,— карают, отказывается в «свободной» Америке — карают.

Страны разные, социальные системы разные, а отношение к людям, признавшим для себя нравственно невоз-

можным убивать людей, одинаковое, и слова-то везде одинаковые: «Изменник родины».

Бедная, дорогая ты моя родина! Чего только твоим именем не делается!

Я говорю об этом здесь и упрекаю себя: зачем говорю? Ведь все это гораздо яснее, полнее, глубже много раз высказано у Толстого, но ведь беда-то в том, что его не знают. От его произведений, где он говорит о смысле человеческой жизни, об общественном устройстве, где он критикует современные церковные религии, науки, искусства,— народ всячески оберегают.

1937 и 1938 годы коммуна уже не могла жить полной жизнью: слишком многих своих членов она потеряла. Люди еще крепились, оставались сами собою, но коммуна уже доживала свои последние дни. Взяли и осудили последнего председателя совета коммуны Петра Ивановича Литвинова и члена совета Леву Алексеева, и, наконец, 1 января 1939 года коммуна была переведена на устав сельскохозяйственной артели — колхоз. Грустные расходились люди с этого собрания, как будто потеряли они что-то большое и дорогое.

Сережа Юдин тогда сказал:

— Коммуны больше нет, теперь каждый может поступать кто как хочет...

Распределили дома, распределили часть скота — кому телку, кому корову на два хозяйства, кому выделили определенную сумму денег.

Люди за долгие годы жизни в коммуне уже отвыкли от таких понятий, как «мой дом», «моя корова», и т. д.; все было «наше». Люди уже сильно впитали в себя коммунистические, не частнособственнические чувства, люди привыкли работать не по найму, не за зарплату, а по сознательному отношению к труду, как необходимому и радостному условию человеческой жизни. И вот теперь новым уставом они опять были отброшены назад, к старому, с которым когда-то добровольно и сознательно решили порвать.

Зачем это?

С юных дней своей сознательной жизни выписал я из газеты «Коммунистический субботник» от одиннадцатого апреля 1920 года и храню до сих пор пришедшиеся мне по сердцу слова В. И. Ленина о коммунистическом труде. Вот они:

«Коммунистический труд в более узком и строгом смысле слова есть бесплатный труд на пользу общества, труд, производимый не для отбытия определенной повинности, не для получения права на известные продукты, не по заранее установленным и узаконенным нормам, а труд добровольный, труд вне нормы, труд, даваемый без расчета на вознаграждение, без условия о вознаграждении, труд по привычке трудиться на общую пользу и по сознательному (перешедшему в привычку) отношению к необходимости труда на общую пользу, труд как потребность здорового организма».

За долгие годы жизни в коммуне мы познали возможность и радость такого труда; теперь этого нас лишали насильно.

И, как это ни странно, эта привычка к коммунистическому труду перешла, в частности со мной, и в, казалось бы, совсем неподходящее место — в заключение, в лагеря, где труд — под штыком.

Иногда забывалось все и работалось легко и с увлечением.

Мы грузили баржи круглым лесом. Работа трудная, тяжелая — нянчить целый день тяжеленные бревна, при голодном желудке, но мы работали весело, отдавая все силы. Здесь мне невольно вспоминается «Один день Ивана Денисовича» А. И. Солженицына — работа бригады каменщиков. Вспоминается и рассказ М. Горького о том, как шла разгрузка баржи артелью грузчиков.

Один сумрачный, всегда молчаливый жулик, не помню его по имени, однажды сказал, как будто бы ни к кому не обращаясь:

— Я люблю работать там, где работает Мазурин.

Это было мне самой большой наградой.

Петю Литвинова, Алексея Шипилова и Леву Алексеева осудили, как последних членов совета коммуны. Одним из предъявленных им обвинений была помощь «врагам народа», то есть тем коммунарам, которые были в заключении. Фаддея Заблотского направили по суду на принудительное лечение в тюремную психиатрическую больницу. Пете Литвинову и Леве Алексееву пришлось отбыть по десять лет заключения и по восьми лет ссылки в Красноярском крае.

Общественная и трудовая жизнь в колхозе «Жизнь и труд» стала переходить на другие рельсы. Стали вливаться

в состав колхоза люди со стороны, совсем других убеждений. Вошли в обиход трудодни, нормы выработки и многое другое, чего мы в коммуне не знали.

Одна женщина, прожившая в коммуне более пятнадцати лет и привыкшая относиться к общественному хозяйству как к своему, работать добросовестно, как можно лучше, рассказывала мне:

— Пошли в колхозе мы, бабы, вязать рожь. Ну, вяжу я, как всегда раньше вязала — снопы большие, тугие, чисто, а на другой день смотрю: моя фамилия на черной доске, а другие бабы — на красной.

Потом я стала присматриваться, как работают те, кто на красной доске, и сама так стала, кое-как, лишь бы побыстрее да побольше, да и приврешь еще бригадиру, когда придет считать снопы, выработку. Гляжу, и моя фамилия появилась на красной доске!

И еще она рассказывала, как стали жить в колхозе:

— Стали мы все, бабы, ворами, вся жизнь стала на воровство. Мужиков нет, детей кормить, растить надо, общей столовой, как в коммуне было, нет, а на трудодень дадут по 200 граммов озадков, вот и живи! Ну, и тащишь все. Идешь с работы, тащишь картошку, свеклу, капусту, где что работаешь, да еще и ночью к кучам на огород сходишь. А корову тоже прокормить надо, она главная кормилица семьи. Целый день, с темна дотемна, на колхозной работе, а в «свободное» время и вари, и стирай, и корове коси. Ну, и будишь ночью своего мальчика и идешь по глубокому снегу на ток с саночками — озираешься, как вор,— мякины или соломы привезешь... Вот так и жили. Вот поэтому-то я и не хотела, чтобы дети в колхозе оставались, приучались к воровству, а я-то уж ладно — куда денешься?

Коммуны не стало. О чем же продолжать рассказ? Все? Кончать надо?

Нет! Были еще десятки верных, преданных ей членов, коммунаров без коммуны, разбросанных по лагерям и тюрьмам Сибири, осваивавших ее необжитые, суровые просторы, удобрявших ее своими костями.

Я бодро переносил заключение, все невзгоды и нелегкий труд в тайге. Уже срок перевалил на вторую половину и пошел вниз, уже зашевелилась в сердце надежда увидеть семью, родных, друзей, но из далекой Коми меня везут этапом опять в Сталинск. Зачем?

Провожая, лагерные друзья поздравляют:

— На пересуд!

— Освобождение...

Но они ошиблись. Я опять в строгой одиночке. И вот я в кабинете следователя — новый, незнакомый. На мой вопрос, зачем меня привезли, он сказал:

— Приговор отменен прокурором республики Рогинским.

— Почему?

— За мягкостью,— резко, озлобившись и с ударением сказал он.

Я понял все. Прощай надежды! Статья осталась та же — 58-я, но часть уже вторая, которая гласит «расстрел», «при особо смягчающих обстоятельствах не ниже...» и т. д. Появились пункты четырнадцатый и одиннадцатый. Четырнадцатый — саботаж государственных мероприятий, по этому пункту почти все проходили через смертную камеру, и пункт одиннадцатый — групповой, что еще отягощало и без того тяжелые пункты.

— Теперь «вышка»,— решил я. Кому-кому, а мне в первую голову.

Если бы такой приговор был сразу в 36-м году, мне было бы легче, а то — забрезжилась вдали свобода, и вдруг...

И я пережил несколько трудных месяцев в одиночке. Я не тосковал, внешне был спокоен, но я чувствовал, что со мною делается что-то неладное: то в жар бросит всего, то в голове заколет. Я примирился с мыслью о смерти, пускай смерть, но только не здесь, не в этих мертвых, постылых стенах. Вырваться на волю хоть на день и там умереть!

И я стал думать о побеге. Я знал, что из той камеры, где я сидел, не так давно бежали жулики. Но их было много, у них был, наверное, какой-нибудь инструмент, за ними не так смотрели, а я пробовал голыми руками решетку,— она сама не поддавалась, да и волчок то и дело приоткрывался: следят внимательно, где уж тут! Я стал приглядываться на прогулочном дворике. В одном месте, по углу и швам кирпичного гаража, пожалуй, я смог бы вылезть на крышу, дежурный иногда отлучался на минутку, но я побоялся проводов, протянутых поверх забора: говорили, что по ним пущен ток. Побег отпал. Тогда мне страстно захотелось, чтоб хотя бы мой голос дошел до коммуны — попрощаться, и я написал стихотворение. Писал его мучительно, дня три я не имел покоя. Ходил, как волк по клетке, и время от времени записывал на стене, под бушлатом, обгорелыми спич-

ками, те слова, которые назревали. И когда я дописал стихотворение и перестучал его Егору, а он дальше — всем нашим, я успокоился: кто-нибудь из наших вернется же домой, и мой прощальный стих дойдет. Это, очевидно, был переломный момент, и я одолел свое настроение, принявшее форму злого недуга. Вся болезнь от меня отвалилась.

Измучен годами неволи,
подавлен стенами тюрьмы,
я тяжко томился по воле,
и замерли думы мои.
Но путь испытаний не кончен,
я вновь у порога стою,
а что за порогом — не знаю:
быть может, могилу найду.
О, Боже, не дай мне погибнуть
во тьме, разлученным с Тобой,
дай силы мне с телом расстаться
свободной и светлой душой.
Усилием пламенным воли
в глубины души я проник
и вновь я нашел там опору
и радостно к ней я приник.
И сердце болеть уж не стало,
легко, хорошо на душе,
тюрьма угнетать перестала —
свободу нашел я в себе.
И снова душа в единенье
со всеми, кто правдой живет
не только теперь, но и прежде,
и с теми, кто после придет...

Наш приговор был опротестован еще в 1937 году «за мягкостью» и с указанием — вынести строгое наказание. Но к этому времени мы, приговоренные, уже рассеялись по далеким местам и затерялись там в огромном потоке заключенных, и ничего не знали об этом, пока нас (более двух лет) разыскивали для пересуда и собирали опять всех в Первый дом города Сталинска. А наших оправданных товарищей вновь взяли вскоре, и они более двух лет «ждали», пока нас всех соберут, и им, бедным, пришлось хлебнуть горя за эти два года больше, чем нам в лагерях. Мы все же работали среди тайги, хоть свободный ветер обвевал нас, а они томились в тюрьме и 37-й, и 38-й, и 39-й годы, когда тюрьмы были невероятно переполнены, так что люди нередко теряли сознание от тесноты и духоты в жаркое время. Бывало и так, что мыли бетонный пол камеры своим же потом. И не там ли они уже подорвали свое здоровье?

Вскоре после освобождения Епифанов и Гитя Тюрк умерли от болезней, да и с Пащенко получилось что-то неладное.

Егор Епифанов. Воронежский крестьянин, в годы гражданской войны добровольно вступивший в Красную Армию. Учился в школе красных командиров, чтобы сражаться с белыми, но когда их школу послали по тревоге на подавление какого-то крестьянского волнения, он не смог и не пошел. Он узнал путь Толстого.

У Егора была большая семья. Жена его умерла, когда он сидел в тюрьме. Детям за отца и мать стала старшая девочка пятнадцати лет. Потом до них дошла весть, что отца освободили после нашего второго суда по кассации. Освободили, а дома нет и нет; оказывается, его долго продержали зачем-то в Первом доме. Отчаявшись, девочка повесилась. И вскоре вернулся домой Егор, но уже с туберкулезом. Он недолго прожил.

Густав и Гюнтер Тюрк — москвичи, дети врача, горожане по рождению, каких у нас в коммуне было совсем мало. Они нашли применение своим силам на учительской работе, нужной для коммуны и любимой ими. Гитя Тюрк, пожалуй, был единственным среди всех нас, который обладал поэтическим даром. Здоровье у него было некрепкое. Заключение и вовсе подорвало его силы, он сильно болел и чувствовал, что ему не выдержать, и это наложило отпечаток на его стихи.

В 1940 году в мрачной и строгой тюрьме города Мариинска некоторое время нам довелось быть вместе в одной камере. Утром, 6 августа, проснувшись, он сказал:

— Ложусь в больницу, а это на память тебе написано...

И подал мне большую, оттесанную топором щепку, на которой карандашом было написано:

Я лег одиноко на край дороги,
чью тяжесть не снес.
Мой старший товарищ, прощай.
Простимся без жалоб и слез.
Иди так же бодро вперед,
осиль роковую межу,
а я свое тело под гнет
безумной неволи сложу.
Жене и родным и друзьям
снеси мой прощальный привет.
Прощай, продолжай же свой путь,
а я?.. я хочу отдохнуть...

В этот раз Гитя все же выжил, пролежав семь месяцев в больнице с плевритом.

Митя Пащенко, живой, жизнерадостный, общительный с людьми. Из бедняцкой крестьянской семьи из Поволжья, село Баланда. Попав в тюрьму, он сильно болел, что-то вроде язвы желудка.

Митя, казалось, весело, легче других переносивший неволю, все же не выдержал, что-то надломилось в его психике, после освобождения он не вернулся к семье, ушел, замкнулся от друзей.

...Второй суд над нами состоялся весной 1940 года, когда уже не было ни коммуны, ни предгорсовета, члена ВЦИКа Лебедева, возбудившего против нас дело, не было секретаря горкома Хитарова, не было следователя Ястребчикова.

Все они стали жертвами того же непонятного, не охватываемого мыслью тайфуна, в который они пихали нас.

Время смягчилось. Если бы нас пересудили в 1937 году, когда был отменен приговор, если не всем, то многим из нас был бы конец. На суде нам дали разные сроки — от пяти до десяти лет, но фактически все сравнялись, все отбыли по десять лет, так как в то время по окончании срока 58 статью не освобождали — «до особого распоряжения». Судья на этот раз был желчный, злобный старик. Держали нас строго, даже в перерывах не разрешали переговариваться и даже нельзя было смотреть друг на друга. Троих — меня, Гутю и Ивана Васильевича Гуляева — посадили сзади, а позади нас все время стояло неоправданно большое количество молчаливой охраны. Мы так и поняли — нам троим возможна «вышка».

Как из другого мира показались мне наши друзья, которых мы выставили свидетелями, что в коммуне дела вершила не какая-то кучка, а общее собрание — по уставу. Входили Савва Блинов, Вася Кирин,— такие загорелые, крепкие, налитые жизненным соком по сравнению с нами, высохшими и выцветшими в тюремных стенах. Так бы и бросился их расцеловать, а вместо этого — сухие процедурные вопросы и такие же ответы.

Были свидетели и от обвинения — И. С. Рябой, И. И. Андреев. Они ничего особенного не говорили, только насчет меня, что «Мазурин энергичный», «с ним считались», «как он скажет, так и будет». Немного, невеско, голословно, но суду много и не надо было. Неожиданно крепко меня выручил свидетель обвинения Иван Третьяков.

Судья начал задавать вопросы:

— А как относился Мазурин к Барышевой? Были ли они согласны?

И тут Третьяков сказал:

— Нет, Мазурин был с ней несогласен, он один раз вывел ее с собрания.

Судья:

— За что?

— За то, что нельзя так резко говорить, как она говорила.

Этого, конечно, никогда не было, чтоб я ее или кого-то еще выводил. Этого у нас вообще не было и в заводе. Высказывать ей на собрании свое мнение, что не надо так резко, озлобленно высказывать свои мысли, что от этого они теряют в своей силе и могут обидеть и укрепить зло, мне действительно приходилось. Почему так сказал Третьяков, я не знаю, может быть, от волнения, от необычной обстановки он неточно выразил свою мысль,— это бывает, но только после этого ответа судья перестал «клеить» меня к Анне Григорьевне и ее группе, судьбы которых были нам известны. И чем-то жутким повеяло на меня, как будто в зал вошла Анна Григорьевна и, улыбаясь, манила меня к себе. Мне было стыдно, что я как бы отмежевывался от них. Я сказал, что уважал ее как человека, но во многом с ней не соглашался. В частности, я отметил, что в деле есть взятая у нас переписка о голодовке, где я возражал Анне Григорьевне, и хотя я говорил только правду, только то, что было, и я знал, что теперь ей уже ничто не может повредить, все же мне было стыдно, что я отмежевываюсь от нее в ее страшной судьбе, и как будто она с укором посмотрела на меня и, ничего не сказав, вышла из зала.

Еще на суде к нам хотели присоединить Мишу Барбашова. Он жил и работал в коммуне как ее член, хороший человек, но когда-то перенес отравление, переболел энцефалитом, и на этой почве его психика была несколько нарушена. Он писал большие письма про Сталина, про Гитлера — «мышь белая, мышь черная грызут веревку, на которой подвешен мир, веревку перегрызут, мир погибнет» и т. д. Изо всей его больной писанины можно было, конечно, выбрать наиболее эффектные фразы для обвинения. Мы запротестовали, сказали, что Барбашов человек больной, потребовали экспертизы, что и было сделано, и он отпал от нашего дела, а мы вздохнули облегченно — это было лучше и для него, и для нас.

На четвертый день прокурор взял свое заключительное слово. Было тихо, напряженно, все ждали, что он скажет, и когда он после обвинявшей нас речи заявил, что нас следует наказать сурово, и вслед за этим потребовал для меня десяти лет заключения,— я почувствовал, как будто с моих плеч скатывается огромная тяжесть, грудь расширяется, спина распрямляется.

После речи прокурора объявили перерыв, и что же получилось? Охранников не осталось в зале ни одного, комендант завел патефон, мы поздоровались друг с другом, стали весело разговаривать, и никто нас не останавливал.

Суд вынес те сроки, какие требовал прокурор, только Оле прокурор требовал четыре года, а суд дал пять. Какая к этому была причина — непонятно. Я думаю, что больного, желчного судью, дышавшего, как говорят, на ладан, раздражал спокойный, цветущий вид Оли.

Когда после суда нас развели по камерам, сразу застучал ко мне Егор:

— Как хорошо!

— У меня как праздник! — отстучал я ему.

Хорош праздник — десять лет неволи!

И снова нас разнесло, как ветром листья, по лагерям.

А тут вскоре новое несчастье — война и в связи с ней жестокая проверка наших убеждений — нельзя убивать.

Еще в 1936 году произошел в коммуне один случай, глубоко взволновавший всех.

Двум пьяным шорцам, проезжавшим по нашим полям, понравилось срывать и скатывать с высокой горы вниз росшие там тыквы.

К ним подошел Савва Блинов и спросил их:

— Что вы делаете? Зачем?

Вместо ответа один шорец выхватил нож и глубоко всадил его Савве в спину. Савва побежал. Невдалеке наши работали на молотилке.

Прибежал народ. Молодые, здоровые ребята схватили разбушевавшихся шорцев, связали и заперли в амбар.

Савву увезли в больницу, не вынимая ножа из раны.

Все население поселка в большом волнении собралось у амбара.

Раздавались разные голоса:

— Судить! В милицию! Что пользы в том?

Спор был горячий.

Все же шорцев никуда не сдали. Утром, когда с них сошел хмель, они стали просить прощения, проситься домой.

Их отпустили. Они ушли к своим семьям. Не знаем, какие следы оставил в их душах этот случай, но не сомневаемся, что если бы их осудили «по закону», держали в неволе, добрых чувств это у них никак бы не вызвало. К тому же такие наказания бьют не столько по преступнику, сколько по семье, малым детям, старикам.

Рана у Саввы, к счастью, оказалась не опасной, нож не задел опасных мест, он поправился.

Призванный во время войны на военную службу, он не отказался. У нас не было обязательных постановлений на этот счет, да и быть не могло, каждый поступал свободно, так, как мог, по состоянию своей души, своего сознания. Он пошел, но ввиду его уже пожилого возраста, а может быть, посчитались и с его убеждениями, но только он попал в хозяйственную команду, развозил горячую пищу солдатам в окопы и на передовые позиции. Он был убит уже в 1944 году прямым попаданием снаряда. Был Савва, и нет его. И следов не осталось от этого большого, сильного, необыкновенно мягкой и доброй души человека. Был убит, и вокруг него не возникло горячих споров — как поступить с убийцами. Ведь здесь был не кустарный нож пьяных людей, а снаряд — хитрая выдумка высококвалифицированных специалистов науки убивать, результат многолетних продолжительных опытов и математически точных расчетов. За убийство на войне юридические законы не судят, не судят за это и постановления церковных соборов.

Осуждает эти убийства на войне, так же как и всякие другие убийства, тот неписаный закон, который живет в человеческой душе и проявляет себя совестью и любовью к людям.

Не могу точно сказать, но вероятнее всего в 1938 или 1939 году в коммуне были осуждены несколько молодых людей за отказ от военной службы. Приговоры были не так суровые — от трех до пяти лет. Но из тех, кто отказался в войну, наверно, только один получил пять лет, а остальные — расстреляны.

Свою искренность они еще раз подтвердили своею смертью, на которую пошли с открытыми глазами.

Вася Кирин, человек с большой семьей, когда пошел заявлять об отказе, его жена Мария сказала ему:

— Ведь тебя убьют!

— Пусть меня убьют, лишь бы я сам не убивал никого,— спокойно ответил он и ушел.

Погиб Сережа Юдин, тот, кто сказал:

— Коммуны нет, теперь каждый может поступать так, как желает...

И он поступил так, как был убежден и как верил.

Отдали свою молодую жизнь Ваня Моргачев, тихий, внимательный. Погибли Афанасий Наливайко, Филимон Кузьмин, Вася Лапшин, Анатолий Шведов, Петя Шипилов, Ромаша Сильванович, Ерофей Котляр, Коля Павленко, Андрей Савин, Алексей Попов, Семен Третьяков.

Такая же судьба постигла бывших членов коммуны — Поликарпа Куцего на Украине и Степана Похилко в Узбекистане.

То же было и в Кожевниково. Там погибли: Иван Бобрышев (отец), Алексей Бобрышев, Григорий Бобрышев, Николай Смоляков (отец), Даниил Смоляков, Василий Смоляков, Максим Андрусенко (отец), Сергей Андрусенко, Степан Андрусенко, Корней Андрусенко, Иван Таракан, Владимир Халеев, Петр Власенко, Петр Пискун, Виктор Вельдин, Владимир Гвоздик (отец), Василий Гвоздик.

Из «Мирного пахаря» — Костин Александр.

Это был последний удар по единомышленникам Льва Толстого. Осталось мало, да и те уже без прежних сил и энергии. И кто осудит их за это?

Судит только собственная совесть за свои слабости.

Рассказал я о судьбе коммуны вкратце, то, что не стерлось из памяти за десятки лет, прошедших в условиях не легких, а иногда едва выносимых. Конечно, в памяти много еще всяких подробностей, много личного, и о других, но я не в силах уже все это собрать и связать в стройное целое.

Ограничусь этим.

В заключение хочется сказать еще немного о тех мыслях, которые у меня вызвало воспоминание о коммуне.

Как хорошо, что Л. Н. Толстой не создал никакой церкви, никакой партии, никакой секты, не дал никаких догматов.

Он указывал людям путь жизни, какой считал истинным.

Он делился своим опытом на этом пути, давал направление и оставлял за каждым то, что и должно принадлежать каждому — самостоятельно мыслить, самостоятельно при-

нимать решения и жить, руководствуясь своим разумом и своей совестью, согласно сил и требований души.

Только такая жизнь стоит на прочной основе и дает силы и удовлетворение человеку и прочность обществу.

Никаких программ построения форм жизни у нас наперед не было. Все складывалось само, так как это вытекало из наполнявших душу убеждений.

Все было настоящее, не надуманное.

Мы считали, что основное в человеке — его духовная сущность, но знали, что проявляется она в делах и во внешних формах.

Так же и для жизни общества — его духовная сущность выливается в какие-то внешние формы, но это не значит, что эти внешние формы являются целью, чем-то основным. Мы никогда не преклонялись перед программами, формами и не приносили им в жертву жизнь человека — основную ценность.

Мы испытали счастье жить в обществе, основанном на свободном, разумном согласии, без принуждения; общество без чиновничества — этой могилы всего живого, свободного и самодеятельного; общества без «мое», а где все наше — общее.

Мы счастливы тем, что узнали радость труда не по найму, не из расчета, а вольного, радостного труда.

Теперь, когда все это отошло в прошлое и становится историей, напрашивается еще один важный вопрос: оправдали ли собравшиеся в коммуну имя Льва Толстого, с высокими идеями которого они связали свою жизнь? Достигли ли они в своей жизни высоты и полноты того учения, которое они приняли?

Нет! Конечно, нет.

Слишком тяжел еще был груз прошедших недобрых веков в нашем сознании, слишком много было у нас человеческих слабостей.

И второй вопрос:

Стремились ли мы достичь?

Да, стремились! Стремление было горячее, очень сильное, искреннее, честное, смелое — не щадя своей жизни.

Из бушующего, необъятного океана жизни людской, их стремлений и судеб, бесконечно разнообразных, вдруг какую-то часть могучим водоворотом объединило в одно — оторвало от остальной массы.

Вынесло на пенистый гребень волны. Затем мощным порывом подняло вверх, в воздух, к солнцу, с страшной

силой ударило о скалы. Разбило на тысячи брызг, засверкавших всеми цветами радуги и упавших обратно в океан, слившихся с ним.

И этого нет.

И кажется, что и не было ничего.

Но это было!

И память об этом живет в душе переживших это, как о чем-то светлом, большом, нужном и радостном.

1964—1967
Тальжино

Б. В. МАЗУРИН

ОДИН ГОД ИЗ ДЕСЯТИ ПОДОБНЫХ

ПИСЬМО ДМИТРИЮ МОРГАЧЕВУ, ДРУГУ ПО НЕСЧАСТЬЮ

Дорогой Димитрий! Прошло уже более 30 лет с тех пор, как мы расстались с тобой. Тебя оставили в Тайгинском лагере, в третьей колонне, а меня увезли в далекую Коми. Многое уже стерлось из памяти, но многое стоит как живое. Мне все хотелось рассказать тебе, как я провел этот год — один из десяти подобных.

Ты помнишь 3-ю колонну, где мы хорошо оправились после доходиловки на 41-м квартале, где нас 400 человек «контриков» из хороших новых бараков перевезли в огромное овощехранилище, выкопанное под землей, где была полутьма, сырость и нельзя было съесть ложку без песка, который точился с потолка.

В конце зимы мы пилили лес, в морозном воздухе стоял смолистый дым от сжигаемых сучьев и мы видели, как по дороге проехало несколько саней и в них солидные люди в хороших тулупах. Это была какая-то комиссия. Они осмотрели наше подземное жилище, пробуя пальцем плесень на столбах, и распорядились немедленно вывести нас оттуда. Вскоре объявили этап, собрали наскоро свои шмотки и нас длинной колонной вывели за ворота. Подвод под вещи не дали, а до станции Томск идти было более 30 км. Ты сказал мне: «Давай бросай вещи, все не донести». Но я не согласился, а ты бросил свой чемодан и мешок на дорогу. И так постепенно делали все. Кто бросал с досадой, а кто осторожно ставил на край дороги. Я пронес свои вещи и почувствовал, что по трудной, снежной дороге не донести, и, проходя мимо ворот лагеря «Тимирязевка», бросил свой узелок потяжелее, а легкий фанерный чемоданчик (подарок Алексея Чекменева) пожалел бросить, тем более что там было с килограмм масла, присланного из коммуны, письма родных и друзей, собачьи мохнатки, и упорно тащил его, хотя, как известно, в походе всякий пустяк и тот тянет. Когда уже подходили к мосту через Томь, приблизился город, и дорога была очень раскатана и скользкая, держаться на ней в моих обледенелых сапогах было трудно, и я, боясь разбиться, далеко отшвырнул от себя чемодан в сторону.

Потом холодные вагоны, в которых мы, потные, охлаждались. А когда нас утром высадили, была станция Тайга,

наши все побросанные вещи лежали вдоль дороги, и нас по очереди водили к ним, и мы отыскивали свои. Подводы все же выслали за нами, и вещи подобрали. В колонне бараки были старые, почерневшие от времени, но зато пища была сносная, а главное — был ларек, где можно было купить все. И народ после голода быстро оправился. По вечерам после работы собирались посреди двора и орали песни до отбоя. Пели хорошо, с воодушевлением. За оградой был поселок охраны, они тоже пробовали петь у себя, но это не шло ни в какое сравнение с нашим.

Ну, я не буду описывать жизнь в третьей колонне, ты знаешь сам, и когда нас всех осмотрела медицинская комиссия и меня признали I группы, «Т/Т», что означает тяжелый труд, а тебя II группы. Тебя оставляли, а меня отправляли. Уже более двух лет мы скитались вместе по дорогам неволи, и хотя и в лагерях, но мы как бы были еще исполнены нашей коммуной, все у нас было общее: и интересы, и пища, и труд, и судьба,— и вдруг нас разделяют. Мы пошли к начальнику и просили: «Оставьте нас обоих здесь».— «Нельзя!» — «Ну, отправьте нас обоих в этап».— «Нельзя!» — И мы пошли в свой барак. Оставался какой-нибудь час быть вместе, слова не шли на язык. Я залез на верхние нары и написал коротко, что тогда теснилось в груди: «Опять на краю я разлуки». Ты знаешь этот стих, каким-то чудом он сохранился. Мы простились. Конвой вывел колонну этапников за ворота и подвел к составу товарных вагонов. Мы знали, что в дальний этап хорошо подобраться в вагон людям, уже знающим друг друга, без блатных, которые, пользуясь своей смелостью и дерзостью и раздробленностью остальных арестантов, по очереди обирали всех. Но конвой не дал группироваться, а втиснул по-своему. В нашем вагоне попался все народ трудовой, честный, 58-я. А в соседнем вагоне в пути случилось такое дело: двое жуликов, сильных, ловких ребят, начали обирать по очереди арестантов. Подошли к одному мужику: «Снимай!», а мужик оказался с силенкой, взял их обоих за шеи и стукнул лбами, и оба упали мертвые. На остановке загремели в дверь. Подошел конвой: «Откройте!»

— А чего вам?

— Уберите падаль!

Дверь открыли и трупы забрали.

Во всяком этапе всех волнует вопрос: «Куда?» Ведь от этого зависит так много. Одно дело попасть куда-нибудь в старый, обжитой лагерь, где есть какое-нибудь производ-

ство, и совсем другое дело — «осваивать Север», попасть куда-нибудь в глухую, нежилую тайгу, на снег, под сосну, и там начинать строить все вновь.

При сборе этапа кто-то краешком глаза успел разглядеть списки, три буквы «Кот...», и полетела радиограмма радостная: «Едем в Молдавию, город Котовский, какое-то большое строительство, тепло, фрукты...». Но все обернулось иначе. «Кот...» было правильно, но дальше получалось не «Котовский», а «Котлас». И всех как холодной водой обдало. Котлас — это ворота на север, тайга, болота, гнус, бездорожье...

Ну, что же? Котлас так Котлас! Не ложиться же помирать раньше времени.

Делать в вагоне нечего, народ молодой, и опять пошла песня: «Ой хмелю, хмелю зелененький...»

Ехали не плохо, только по ночам донимал на остановках грохот больших деревянных молотков, которыми конвой добросовестно колотил по стенкам вагона, проверяя, не готовится ли побег, не подрезаны ли доски. Да колотили так, что выданные на этот этап глиняные миски (всю металлическую посуду отобрали) падали с грохотом и разбивались. Для естественных надобностей было прорезано в полу вагона небольшое отверстие, ничем не отгороженное от всего вагона, и все это делалось на глазах у всех. Приятного мало.

Кто-то из едущих показал мне на одного человека и шепотом сказал: «Это раввин еврейский, фамилия его Мезис, он обладает какой-то силой магнетизма, что ли, его даже начальство лагерное боится затрагивать». Я посмотрел на него: наружность обыкновенного какого-нибудь служащего, бухгалтера что ли, сухощавый, лицо нервное, пошмыгивает носом. Про него говорили, что он знает Библию наизусть и все делает так, как там написано. И вот у меня с ним произошел разговор. Он много курил, я спросил его: «Разве в Библии сказано, что надо курить?» Он сказал: «Я подумаю». На другой день подошел ко мне и сказал: «Да, в Библии нигде не сказано, что надо курить, и я бросил курить». Какая его была судьба дальше, я не знаю, наши пути разошлись.

Приехали в Котлас. Вроде и ехали недолго, неплохо, и люди здоровые, а когда вылезали из вагонов, многих пошатывало.

Котласский пересыльный пункт занимал большую площадь. Добротные бревенчатые строения, деревянные

тротуары, чисто подметено; сразу видать — хозяин богатый, лес свой и много, рабочей силы тоже хватает.

Барак, в котором нас поместили, был просторный, высокий, нары в три этажа; но там оказалась такая уйма клопов, что люди не смогли спать, и все вышли на двор и улеглись на дворе на земле, благо было еще не холодно. А я улегся один на нары и спокойно спал всю ночь: или клопы меня не трогали, не по вкусу пришелся, или же я не чувствовал их.

Один заключенный сказал мне, что ему довелось быть здесь в 1930 году, когда непрерывным потоком двигались на север раскулаченные. В этом бараке находились тогда дети, отбившиеся от родителей и потерявшие их. Кормежка плохая, присмотра никакого, дети ослабли. Один мальчик, Ваня, лет десяти, вскарабкался на третьи нары, слабые ручонки сорвались и он упал на пол. Тоненькая струйка крови текла изо рта. Так он лежал, и через него шагали люди, и никому он был не нужен, этот крестьянский мальчик. Я сам не видел этого мальчика, прошло уже много лет с тех пор, как мне это рассказали, но почему же я не могу забыть его? За что страдал он, невинное дитя? Ведь он же был из того жизнерадостного, бойкого, умного племени крестьянских детей, которых так любили Некрасов, Толстой, Тургенев. «Дети — цветы жизни» — пишут на плакатах.

В Котласе мы были недолго. В один солнечный денек нас вывели из бараков на берег реки для погрузки на баржи. Здесь на вытоптанной, замусоренной траве все расположились, наслаждаясь солнышком. У кого-то появилась газета, ее читали вслух, собрался кружок. Подошел и я. «Риббентроп и Москва», переговоры, мы им пшеницы даем и т. д.

Время было не такое, чтобы вслух высказывать свои мнения, но под замызганной арестантской одеждой и такими же физиономиями здесь были люди и развитые, партийные, которые разбирались в политике, и я заметил, как один не выдержал, иронически улыбнулся и сказал: «Нашли друзей».

Подали баржи. Начался обыск: перетряхивали наши мешки, чемоданы. Все железное, кружки, миски, ложки конвоиры отбирали и бросали в реку, несмотря на усиленные просьбы заключенных: «Оставьте, как же нам без них?» У меня была эмалированная посудина, вроде плевательницы. Конвоир мне попался, видимо, добрый, взглянул на меня и оставил. И как же был я рад, и как мало надо человеку для радости — плевательницу оставили! Теперь смешно, а тогда я радовался.

Разместили нас в две баржи. Баржи были крытые, нас загнали внутрь, а наверху, на слегка покатой крыше разместился конвой. У них была большая палатка, собаки, пулемет.

И мы поплыли сначала вниз по течению до Северной Двины, а потом свернули в Сухону, впадающую в Северную Двину, и поплыли уже влекомые буксиром против течения. В трюме было жарко от множества людей, и мы валялись на полу в одном белье. Вдруг открылись люки, ведущие на палубу, и по трапам к нам стали спускаться конвоиры, наставили на нас револьверы и скомандовали: «Ложись на спину! Руки на грудь!», и начался шмон (обыск). Тщательно перетряхивали всю одежду, все вещи.

Что такое? Что случилось? Оказалось, будто ночью от нас прорезали потолок (для нас, а для конвоиров пол), проникли в палатку к конвою и якобы взяли лежавшие на столе 10 тысяч рублей денег.

Когда нас грузили на баржи, конвой предупреждал: у кого есть деньги, сдавайте, запишем, потом вернем, а на руках денег быть не должно. Многие сдали, но по опыту уже зная, что назад их не так легко получить: или пропадут, или запишут на счет, где они будут лежать бесполезно, а деньги бывают иногда очень нужны — купить пайку хлеба, и поэтому не всё и не все сдавали; так и я: рублей 120 сдал, а 60 у меня были запрятаны — тридцатка в шапке и тридцатка в поясе брюк.

Никто из заключенных не поверил, что может быть такое хищение: прорезать пол в палатку к конвою. Да там же собаки! И зачем же на столе будут валяться такие деньги? Но... обыск шел, у кого находили деньги, брали и выводили наверх, оттуда глухо доносились крики, топот... «Бьют» — ползло шепотом, и то тут, то там валялись деньги на полу, потихоньку выброшенные хозяином. «Чьи?» — спрашивают конвойные. Никто не отзывается. Наверх вывели человек двадцать... Грохот и крики продолжались. Дошла очередь до меня. Ощупали шапку и вытащили тридцатку. Ощупали брюки и вытащили оттуда еще тридцатку. «Чьи?» — «Мои»,— ответил я.— «Пошли!» — И меня повели наверх. Я шел в белье, босой, и почему-то на голове моей оказалась черная суконная шапка, сшитая в коммуне. Сердце сжалось, я весь как-то напрягся и собрался. «Бить будут!» — мелькнуло в голове.

За это время мы вышли по трапу наверх. Обостренным взглядом я, не разглядывая, увидел сразу все: и серое небо

с низко бегущими облаками, и такую же темно-серую реку с беспокойными струями и водоворотами, и темный лес на берегу, и часового в шинели с винтовкой и штыком, стоящего на краю баржи, и человек тридцать заключенных, лежащих на палубе в два ряда головами друг к другу, на груди, с вытянутыми ногами и руками по швам, головы их были напряженно приподняты и в зубах у некоторых были железные болты, которыми они упирались в доски палубы; увидал, как один заключенный, средних лет мужик, давно небритый, потихоньку сползал к краю баржи, как я понял, желая свалиться в воду от побоев; из-под него текло, и видел, как подбежавший конвоир ударом сапога в бок загнал его на прежнее место; увидел подальше палатку... и, не раздумывая, не размышляя, сразу принял решение: бить не дам! Спихну конвоира и сам в воду, поплыву к берегу. Тогда я не думал, а потом уже прикидывал, что могло получиться: я не мог бы успеть добежать до конвоира, он посадил бы меня на штык или выстрелил. Но если бы я благодаря неожиданности и быстроте и оттолкнул бы его и он упал бы в воду, то в меня стреляли бы, да если бы и не попали, то вряд ли доплыл до берега по могучей и быстрой реке, да еще в холодной воде; но тогда я ничего не думал, а решил: «Не дамся!», и не знаю почему, может быть, мое решение отразилось на моем лице, но они, взглянув на меня, не положили в ряд со всеми, а сказали: «Садись тут». Я сел на брус немного в стороне, меня никто ни о чем не спрашивал, не трогал, и я жадно рассматривал все творящееся.

Побои уже стали стихать. Только я видел, как начальник конвоя в синем галифе, в ремнях, разъяренный, картинно поставив одну ногу вперед, откинув корпус назад, выхватил из кобуры револьвер и начал им лупить одного жулика, молоденького, черненького еврейчика из Одессы. Он бил его рукояткой и по голове, и по шее. Тот съежился, но не издал ни одного звука. Потом вдруг из лежавших, как пружина, выскочил молодой, стройный парень в синей сатиновой рубашонке и одним прыжком оказался на краю баржи, спиной к воде, лицом к бегущим к нему конвоирам. Лицо его было решительно.— Не подходи, прыгну в воду! — крикнул он. Все остановились.— А чего тебе надо? — спросил начальник.

— А вы что, гады, бить меня будете? Не дамся! — крикнул парень.

— Ну, иди, садись рядом с тем,— сказал начальник, показывая на меня. Он сел.

Больше никого не выводили, шум и побои кончились, лежавшие так и оставались лежать на своих местах, но уже не в напряженных, а в свободных позах. Мы двое сидели молча. Сквозь бегущие облака проглянуло солнышко и осветило берег. В этом месте лес немного отступил назад, а на зеленой поляне стоял одинокий дом, по траве бегали дети, из дома вышла женщина в красной косынке и стала развешивать белье. При виде этой мирной картины так защемило сердце, так потянуло туда, подальше от этого ненавистного, ненужного, дикого мира насилия. Солнышко опять спряталось, одинокий домик остался позади, и по берегам опять надвинулся к самой реке темный, неприветливый лес. Вечером стало холодать, а мы босые, в белье. Конвоиры ушли в палатку. Я с парнем прилегли к лежавшим потеснее — согреваться. Вскоре нас всех отпустили вниз. Внизу шли разговоры. Говорили, что деньги собрали и даже больше, чем якобы было украдено. Говорили, что начальник конвоя некогда был сотрудником НКВД, в чем-то проштрафился, отбыл срок и, отбыв, вновь поступил на службу и, видно, вновь принялся за свое.

Забыл сказать, вместе со мной ехал один жулик — Мишка Хрипатый, знакомый еще по 3-й колонне. У него была тридцатка. Увидев, что делают за деньги, он скатал ее в комок, сунул в рот, послюнявил и проглотил. Дня через два, когда мы уже были в Вогвоздино, он уединился куда-то за отхожие места, потом показал мне совершенно целую тридцатку, только несколько местами пожелтевшую. Он ее еще как-то разгладил горячим котелком и ушел в ларек. Вернулся с кульком конфет. «Ешь,— сказал он, угощая,— конфеты не пахнут».

На пересылке в Вогвоздино было очень тесно. В палатке набилось столько народу, что я, захотев выйти на двор, встал и остановился в недоумении: пройти не было никакой возможности, так плотно переплелись все на полу — руки, ноги, головы, и некуда было ногу просунуть, чтобы не наступить на кого-нибудь. Видя мою нерешительность, кто-то с полу сказал равнодушно, беззлобно: «Да беги прямо по всем, не разбирая, только быстро, не задерживайся». Я так и сделал.

На станции Вогвоздино начинался путь на север, в глубь лесов, на Чибью, Ухту, Печору. Уже на сотни километров было проложено туда заключенными шоссе, в край лагерей.

Наутро нас, весь этап, разбили на несколько групп, вывели на шоссе и сказали:

— Дорога дальняя, идти пешком, берите с собой только самое необходимое, а остальное складывайте в кучи, каждая группа в свою, и их вам после привезут.

Все понимали, как тяжел в дороге каждый килограмм, и сложили вещи. Я взял легкое одеяло, ложку. Скомандовали по четыре в ряд, не растягиваться, шаг влево считается за попытку к побегу, оружие применяется без предупреждения.

Тронулись. Этапом полагается в сутки 25 км, но проходили по 40 км. Хотя дорога была ровная, гравийное шоссе, но идти было трудно, не было тренировки, стирались ноги. Первую ночь переночевали в каком-то заброшенном сарае, насквозь светившемся. Наутро двое стариков, муж и жена, не могли дальше идти, было какое-то волнение, какие-то разговоры, и мы ушли, а куда они делись, не знаю.

Иногда по дороге встречались лагеря. У ворот ходили заключенные, и я справился: — Нет ли у вас здесь Троицкого? — Нет,— отвечали мне. Сергей Васильевич Троицкий был членом нашей подмосковной коммуны и был где-то в лагерях Коми.

Вторую ночь мы ночевали прямо на лугу по левую сторону шоссе, а по правую сторону был лагерь. Когда мы подошли сюда, уже темнело, похолодало, на траве появился легкий иней первых заморозков. Наш конвой долго ходил к лагерному начальству с просьбой пустить нас переночевать в лагере, но им отказали. Предстояла долгая, холодная ночь в открытом поле, люди согрелись, вспотели от ходьбы, а теперь боялись ложиться на холодную землю и ходили, съежившись, засунув руки в карманы и кляня все на свете.

Я в дороге сошелся с двумя алтайскими колхозниками — трактористами, Кривенко Иваном Ильичом и Матвиенко Николаем Романовичем. Мы с ними сделали так: разделись до белья, часть одежды постелили на землю, легли на нее тесно друг к другу и укрылись одеялами, бушлатами и так хорошо проспали ночь.

Прошел еще день, переночевали в каком-то поселке, в сараях. Проснувшись, я почувствовал, что у меня одна коленка распухла и плохо сгибалась, видно, отрыгнулся мой давнишний ревматизм. Как быть? Ведь я не дойду. И я пошел к дому, где стоял наш конвой,— заявить. Не доходя до дому, я увидел издали согнувшуюся фигуру заключенного и с силой взлетающие вверх и падающие ему на спину кулаки, били кого-то, кто, наверное, тоже заявил, что не может идти. Я повернул назад. Этап тронулся. Я сначала ковылял,

а потом понемножку разошелся. Пройдя по шоссе еще километров 20, мы свернули с него и пошли узкой, лесной дорогой. Идти было неудобно, корни, ветки, а тут еще начало темнеть, у многих проявилась куриная слепота. Они спотыкались, падали, хватались за других, те и сами едва брели, ругались, стоял шум, ряды смешались, конвой нервничал, кричал. Шедший рядом со мной старик, ничего не говоря, перекрестился, вышел из рядов и лег на землю, лицом вниз, на спине его белела котомочка. Колонна прошла, он остался позади, и вот послышались громкие крики конвоя, остервенелый лай собак, наверное, гнали старика, лай собак все приближался, я заметил, что люди ускоряют шаг, обгоняют меня, а кто и трусцой бежит, боясь приближающихся собак, а мне какая-то гордость не дает бежать, я иду как шел, и уже остался почти в конце колонны, но все затихло. Лес высокий, совсем стемнело, не видать ничего, и опять ругань, шум. И вдруг над нами громкий, немного нарастяжку голос начальника конвоя:

— Конвою! По колонне огонь!

И загремели выстрелы. Мы все, как один,упали и прижались к земле. Тихо стало, только слышно, как над нами просвистали пули, но я понимал, что это высоко.

— Встать! Построиться! — звучит команда. Сначала тихо, а потом опять беспорядок. Конвою самому, наверно, жутко в диком лесу, в полной темноте. И вот вновь:

— Кон... вой, по колонне... Не успел он еще скомандовать «огонь», мы уже лежали на земле. Я слышу шум, пули свистят, и у меня сразу является решение: «Если увижу, что хотя кого-нибудь ранило, рвану в лес, в темноту». Но стреляют все же не в нас, а поверху. Опять команда: «Встать!» — Опять тихо, сначала идем, а постепенно шум разрастается, и третий раз команда, выстрелы и прижимание к земле: а вдруг по нас? Уже к рассвету подошли к реке, измученные. На той стороне смутные силуэты вышек лагеря. Это место нашего назначения: Вожаель, 1-й ОЛП (отдельный лагерный пункт) Усть-Вымьлага.

Уже когда совсем рассветало, нас приняли в лагерь. Колени мои распухли, и я с трудом передвигался. Пошел к врачу, он дал мне освобождение на три дня. После них я пошел работать в плотницкой бригаде, строить новый барак, так как помещений не хватало. А пока жили в огромном старом бараке. Унылое зрелище представлялось внутри: голые стены, голые нары, ни постелей, ни матрасов, съежившиеся фигуры блатных, оценивавших взглядом тебя, твое

барахло. Ходить на улицу было лень и мочились прямо на крыльцо, отчего наросла там вонючая ледяная горка. Лагерь был лесоповальный, работа тяжелая, в глубоком снегу, и некоторые делали себе всякие «мастырки», чтоб заболеть и не ходить на работу. Кто пил мыльную воду, чтобы вызвать понос, кто пропускал под кожу иголкой нитку, смоченную керосином, и там получалась огромная язва или чирьи. Было в лагере много китайцев, так некоторые из них пустили себе в глаза химического карандаша и ослепли совсем. Семь человек таких слепых китайцев почему-то избрали себе место около выходных дверей, садились там рядком на корточках, прислонясь спиной к стене, и так сидели, пока все уходили на работу. Люди приходили с работы усталые и засыпали, не раздеваясь, на голых нарах мертвецким сном, и были случаи — жулики снимали с сонных обувь, а они и не слышали. У меня были сапоги, которые мы с Димитрием купили мне еще в Моряковке, я, ложась спать, клал их в свой чемоданчик, а чемодан в головах, и раз, проснувшись ночью, обнаружил, что чемодана нет: в чемодане не было ничего, кроме сапог. Я встал, но что найдешь в темноте? В это время вошел дежурный охранник с фонарем: «Что бродишь?» — спросил он меня.— «Сапоги украли»,— ответил я, и мы с фонарем пошли по бараку. В одном месте стоял на нарах мой чемоданчик открытый и возле него один сапог, другого не нашли нигде. Утром я пошел в тот угол, где группировались блатняки, и как бы мимоходом, не обращаясь ни к кому, а так вообще, сказал: «Ребята, вам один сапог не нужен, верните». И правда, сапог мне подбросили, и они мне еще долго служили.

Пища была очень однообразная, об этом я еще скажу, но в первое время еще давали на второе по куску рыбы. Я не ел еще ни мяса, ни рыбы и по просьбе одного заключенного, по фамилии Дубовик, отдавал ему рыбу, а он мне свою баланду. Дубовик был чем-то похож на свою фамилию, кажется, из матросов, большой, крепкий, с продубленным, немного рябоватым лицом, человек, очевидно, смелый и привыкший спокойно встречать опасности. Он здесь начал доходить, не видел выхода, не мог понять — за что, и как-то растерялся, ослаб духом, и мне было его жаль. Не помню его дальнейшую судьбу, наверное, погиб во время постигшей лагерь трагедии, о чем еще скажу.

Вскоре я сам стал есть свою рыбу, нарушив свое вегетарианство, которого придерживался с 1922 года и даже в трудных условиях лагерей более двух лет. Я плотничал:

мы строили новый барак, и когда построили, то туда переселили нас, 58-ю, жулики остались в старом, и жить стало лучше, все вещи и пайки лежали открыто, и никто их не брал. Здесь я познакомился с Целинским Адольфом — коммунист, редактор «Правды Востока». Большой, нескладный, близорукий, в очках и с капелькой, висевшей на носу, он имел не очень-то героический вид. Он много рассказывал мне о своей комсомольской молодости, порывистой и резкой, как он рубил иконы, несмотря на слезы матери, и т. д. Он завидовал мне, что я держусь крепко, могу плотничать, и просил поучить его. Потом во время нахлынувшей в декабре болезни он был в больнице, где я его навещал, принося что-нибудь из посылки. Какая его дальнейшая судьба, не знаю.

В середине зимы стояли суровые морозы, больше 40 градусов. Мы строили еще другой барак. Работать было трудно: глубокий снег, мороз, все обледенело, а наверху, на скользких лесах, пронизывало ветерком, но силенка была, и работа шла. Мороженый мох привозили прямо пластами из лесу и растаивали на кострах, над которыми расстилали решетки из осинника, подносили мох к нам наверх в корзинах, распаренный, мягкий и теплый. В этом лагере было плохо с одеждой, мы все пообносились, и приходилось, чтобы согреться, иногда приплясывать и притоптывать. Как-то идет помощник начальника Янов и, увидев нас, приплясывающих наверху, кричит:

— Ну, как, хорошо?

— Хорошо, товарищ начальник! Нельзя ли еще оркестр сюда?

Смеется. А мы кричим:

— А скоро ли будут бушлаты? Замерзаем.

— Не знаем. Как будут, вам дадим в первую очередь.

Этот начальник почему-то заметил меня. Раз спрашивает:

— Мазурин, ты толстовец?

— Да, а откуда вы знаете?

Он засмеялся: — По носу вижу.

Дело было уже к весне. Мы строили уже за зоной пекарню. Недалеко от пекарни стояло одиноко небольшое здание — изолятор. Как-то туда загнали на ночь партию заключенных, которых гнали мимо нас в штрафную колонну. Наутро их уже гнали дальше, а начальник Янов подошел ко мне и говорит:

— Мазурин, вот ты толстовец, а работаешь, а через нас вчера прогнали на штрафной этап, так там два толстовца, отец и сын, они отказываются работать в лагерях, говорят, что мы любим труд, но только свободный, а не из-под штыка.

Меня как обожгло. Прошли так близко, а я и не знал. Кто же это? Может, знакомые?

— А как их фамилии? — спросил я.

— Не помню, что-то вроде Пономаревы. Так почему же ты работаешь?

— У людей, разделяющих взгляды Толстого, нет никакой обязательной программы, ни догматов, ни партийной дисциплины. Они все идут в одном направлении, но путь у каждого свой, какой ему открылся и каждому по его силам.— Что же вы мне раньше не сказали? — вырвалось у меня. Я бы им хоть пайку хлеба передал.

Начальник помолчал, а потом еще рассказывал об этих страдальцах, очевидно, чем-то удививших его:

— Они разулись, свои носки отдали босым...

И так эта несостоявшаяся встреча с неизвестными людьми и осталась до сих пор загадкой, щемящей сердце и жалостью и любовью. Кто они и где они?

Я уже говорил, что все вещи наш этап оставил в куче в Вогвоздино. Прошло недели три, и как-то вечером, уже было совсем темно, сказали, что вещи привезли, но оставили на том берегу речки, и чтобы шли опознавать. На том берегу горел большой костер и лежала куча мешков и чемоданов. Стали разбираться. Тара была наша, но содержимое было разграблено: все, что получше, было похищено. Очевидно, шофера и сопровождающие заехали по пути куда-нибудь на полянку, вытряхнули содержимое и отобрали что получше и было надо, а остальное попихали назад, причем иногда даже не к прежнему хозяину. Так, у меня в чемоданчике оказались чьи-то трусы, майки... Спрашивать было не с кого.

Лагерь заготовлял лес. Его возили на берег речки Вислянки (Вислянка впадала в Вымь, а Вымь в Сухону), и здесь на низких местах, куда весной заходит вода, мы вязали плоты. У нас был десятником Саша Москвин, кажется, бывший летчик. Как-то раз на работе он дал мне большой кусок сахару. Мы познакомились. Здесь же на вязке плотов у меня были еще две встречи, запомнившиеся мне. Мы вязали вицы, то есть рубили молодые елочки, распаривали их у костров, свивали и связывали концами по две. Ими после

вязались бревна на плоту. У костра хорошо беседовалось. Этот раз в центре внимания был Андре, итальянец из Рима. Он был в том же барахле, что и все мы, но выдавался своим нерусским лицом с тонким прямым носом, серьезный, задумчивый, спокойный и не увлекающийся.

— Ну, Андре, хорошо в Советском Союзе? — гоготала наша насмешливая братия.

— Я был коммунистом и умру коммунистом, но я не понимаю ничего. Я не понимаю, что это значит, — спокойно отвечал Андре.

Его расспрашивали. Он рассказывал, как они в Риме боролись с фашистами, били тех, а они их. А когда все же фашисты пришли к власти, он бежал за границу. Через несколько стран перебрался в Советский Союз, работал в Москве на заводе «Калибр», был доволен и вдруг оказался здесь как «контрик».

Другой, еврей из Палестины, Леснер, тоже член партии, работал наборщиком в подпольной газете, заболел туберкулезом, ему МОПР дал путевку в Советский Союз, и вот он тоже тут.

— Что, Леснер, видел у себя, как лес растят? — смеются ребята.

— К нам привозили из Советского Союза лес в виде аккуратных дощечек, связанных в пачки для ящиков под мандарины. Так я думал, что эти связочки так почти и растут на деревьях,— смеется Леснер,— а здесь! — он хватается за голову,— надо к каждому дереву пробраться по глубокому снегу, откопать, подрубить, спилить, очистить сучки, сжечь их, раскряжевать лесину, трелевать ее до дороги. О Боже! И все это с матом...

Ребята, довольные, ржут.

— Ну как, Леснер, нравится тебе русский язык?

— Да, к нам приезжала одна дама, и мы просили ее за столом поговорить по-русски, мы не понимали, но нам понравился русский разговор.— Я потом расспрашивал его о жизни в Палестине, он рассказывал: тоже живут там поразному, есть и богачи, есть и победней. Узнав, что я из коммуны, он сказал, что и там есть коммуны и артели, занимаются больше фруктами.

Один раз послали бригаду в лес ремонтировать, подправить дорогу. В лесу все растянулись по дороге, я, срубая куст, запел: «К неземной стране путь указан мне...» — песню, которую частенько певали в нашей коммуне. Вдруг работавший дальше человек подошел ко мне, улыбнулся,

протянул руку и сказал: «Так вот где встретились! Здравствуй, брат!» — оказалось, он из баптистов.

— Приходи вечером в прачечную, там наших пять человек, они работают прачками и там и живут.

Я с радостью пошел к ним. Поздоровались, познакомились. Правда, некоторые из них были несколько разочарованы, что я оказался не совсем «брат», а некоторые, особенно один, самый младший, не придали этому различию наших внешних убеждений никакого значения. Но, в общем, я был рад этому знакомству: люди честные, не ругатели, с нравственными запросами. Мне было о чем поговорить с ними, и они относились ко мне хорошо. Предложили хранить у них, когда есть что из посылок, у них было надежнее. Но один раз получилось все-таки так, что к ним залезли, забрали кое-какие вещи, а мою посылку, стоявшую под койкой, не заметили и не тронули.

В декабре или в ноябре вдруг люди стали заболевать — понос, потом с кровью, потом человек высыхал, как щепка, и умирал. Больничный барак был заполнен весь, в два этажа нары сплошь забиты больными, вонь ужасная! Причина болезни была непонятна, а почти сплошные смертельные исходы пугали людей. Заговорили, что врачи в больнице отравляют. Некоторые заболевшие стали скрывать свою болезнь, чтобы не попасть в больницу. Стали думать на воду из реки, она была какая-то коричневая, торфянистая, но дело оказалось не в воде, а в пище. В эти места продукты можно было завезти только весной, в большую воду, когда реки Вымь, Вислянка были полноводны и могли пройти катера и буксиры с баржами с продуктами. В этом году этот момент был упущен, и в нашем Усть-Вымьлаге основной пищей оказалась ржаная мука, да еще не совсем свежая. Питания было не так мало. При выполнении нормы работ давали 1 кг ржаного хлеба, при перевыполнении — еще 300 г премиальных. Утром завтрак был — ржаная затируха, в обед — она же, и на второе — каша из ржаной сечки, а в ужин — опять ржаная болтанка. Не так и мало, но ни жиров (рыба была недолго), ни овощей, и началась болезнь. Как мне объяснил один из заключенных, фельдшер Броновер из Румынии, от такой пищи в желудке и кишках отмирали те сосочки, которые впитывают соки — питание и передают их организму. Поверхность кишок становилась гладкой, всасывать питание становилось нечем, кишки становились тоньше, а местами проходила кровь. Человек питался, но все это было бесполезно, проходило сквозь, не питая организма.

Человек умирал, можно сказать, от голода, хотя и питался. Не знаю, насколько правильно было это объяснение, но я знаю, что когда за три месяца (декабрь, январь, февраль) умерло у нас 500 человек (из 1200), а по всему Усть-Вымьлагу 36 % всех заключенных, начальство спохватилось, на автомашинах завезли продукты, стали давать больным и ослабшим сахар, масло сливочное, лук перетертый через мясорубку с мясом, белый хлеб — болезнь прекратилась. В марте умерло 12 человек и больше не болели так и не умирали.

Жуткое это было время. Знакомые люди, с которыми жил, работал,— вдруг исчезали. Узнавал: в больнице; зайдешь, повидаешься, а потом — умер. Заболели два плотника, с которыми я работал на постройке барака. Один из них, Антушевич — вышел из больницы худой-худой, подошел ко мне и говорит: «У тебя есть молоко сгущенное?» — я тогда получил посылку.

— Да,— ответил я.

— Дай немного, мне кажется, если я выпью немного молока, то поправлюсь.

Я ему дал, а через два-три дня узнаю: он умер.

Почта к нам приходила редко, зато писем привозили сразу много, дежурный приходил в барак и вычитывал: такой-то, такой-то... «Давай сюда!» — радостно восклицал один, тот, кому выпало счастье. Но часто на выклик — «такой-то», кто-нибудь отвечал: «На шестой делянке» — так называлось одно место в лесу, где хоронили умерших.

— Такой-то, такой-то!

— На шестой делянке! — и становилось тяжко, сдавливало горло.

— Антушевич!

— Здесь! — отозвался я и взял письмо умершего. В обычное крестьянское письмо была вложена фотокарточка: еще не старая женщина в белом платочке и вокруг нее дети малые, один на руках. Клали в конверт, радовались: папе, но папа не увидал их.

И сколько же таких пап? И сколько таких детей! Я хотел написать его семье о его смерти и не помню, кажется, не выполнил своего намерения, то ли адреса не нашел, то ли другие соображения о том, что цензура не пропустит, помешали ответить.

Не могу еще забыть Ваню, подростка из жуликов. Он мне нравился какой-то своей скромностью и серьезностью, своей непокорностью. Он нисколько не хотел чувствовать се-

бя заключенным, а чувствовал свободным человеком, делал все, что хотел. Он иногда заходил ко мне и рассказывал о своих переживаниях в лагерях. Работать он совсем не хотел.

— Почему на работу не идешь?

— Ботинок нет.

Дадут ботинки, он их тут же в горящую печь.

На другой день:

— Почему на работу опять не идешь?

— Ботинок нет.

— Тебе же дали вчера.

— Я их сжег.

— Иди босой!

И в 60-градусный мороз выгоняют к вахте. Идет босой, по снегу. Пройдет немного за ворота:

— Вернись! — командует начальство.

И он опять в бараке.

Все это надломило его здоровье, он стал жаловаться на боли в желудке. Один раз пришел ко мне и прилег на нары в ногах.— Живот болит. Дядя Боря, дай мне немного сыру. (Я в то время получил посылку и у меня была целая головка сыру, отец мой, уже совсем больной, болел душой обо мне и прислал посылку.)

— Я тебе хлеб отдам, я не могу его есть — и дал.

Потом что-то Вани не было, я спросил кого-то.— Да ведь он умер! — ответили мне. И мне было очень жаль его, и я никак не мог простить себе, что не навестил его в больнице, ведь у него никого не было.

Меня не раз заключенные из интеллигенции упрекали за то, что я не сторонился жуликов, общался с ними: пригласят поесть с ними, и я садился.

— Как ты можешь есть с ними? Ведь это же ворованное! — говорили мне.

— Это мое дело,— отвечал я.— В жуликах я чувствую людей таких же, как все, а может быть, много более нуждающихся в добром отношении.

Еще о болезни, постигшей лагерь. В лагере было много отделений и только в одном отделении был свой подсобный участок. У них была своя капуста и там за всю зиму умерло только два человека, и то от другой болезни.

Не помню, в какое время меня расконвоировали, то есть я мог выходить за зону без конвоя. Помню, в первый раз разбудили нас, бесконвойных, ночью и велели идти по автодорожной дороге на какой-то километр, где поломался мост и застряла на нем автомашина, и надо ее вытащить,

а мост починить. Мы пошли, и так это было после нескольких лет под штыком, и вдруг идем одни, и все окружающее по дороге в лес и каждая травинка кажутся такими особенными и радостными.

Пришли к мосту, развели большой костер. Машина задними колесами собрала накатанные тонкие бревна и завязла в образовавшейся дыре. Никто нами не распоряжался, не было никаких распоряжений, приспособлений, кроме топоров, никто не понуждал, и машина была быстро вытащена и выкачена на дорогу. Мы срубили пару длинных и толстых сосен, ими подваживали под втулки колес и выжимали кверху. А в это время снизу подлаживали подпорки. Ноги каждую минуту могли соскользнуть, и рухнувшая машина могла бы раздавить бывших внизу. Но находились такие, кто не обращали внимания на эту опасность и лезли сами. А я еще подумал: а я, пожалуй, не полез бы, а если и полез, то было бы страшно.

Когда лагерь постигла болезнь и каждый день умирали люди, ко мне каждый вечер приходил бригадир и говорил: «Идите за зону и сделайте восемь», а чего — он не называл, но мы сами знали: гробов. Иногда говорил «шесть», иногда «десять», смотря по надобности. Я и еще двое расконвоированных шли за зону в пустой строящийся барак и там сколачивали из мерзлого, неошкуренного горбыля ящики — гробы. Лес был мороженый, гвозди не шли, дерево скалывалось, и это увидал как-то зашедший к нам во время работы начальник лагеря и рассердился: гвоздей такой дефицит, а вы столько расходуете, бейте по одному гвоздю в каждый горбыль.

Мы стали так делать. Но утром, когда еще весь лагерь спал, нас, делавших, разбудил комендант:

— Что вы наделали?! Стали грузить гробы на подводы, а они все развалились.

— Да нам так начальник приказал — по одному гвоздю бить.

— Ладно, идите в мертвецкую и обейте гробы.

Когда мы с товарищем открыли двери тесного сарайчика, то увидали 14 мертвецов, лежащих на полу, в одном белье, головы без шапок, а доски рассыпавшихся гробов лежали за ними в углу.

— Я не пойду через мертвецов, боюсь,— сказал мой товарищ.

— Чего же их бояться? — ответил я и пошел, перешагивая через трупы. В одном из них я узнал Гришу Просеко-

ва, работавшего в нашей бригаде, а потом заболевшего. Говорили, что его увезли куда-то в другой лагерь, а он оказался здесь.

Когда пришлось поднимать трупы, они были такие легкие, что я легко поднимал их одной рукой. Один из мертвых был наш десятник — заключенный, его убило в лесу дерево на лесоповале, и он так и замерз с беспорядочно раскинутыми руками и ногами, пришлось сбивать ему особый ящик.

Не знаю, зависело это от начальства лагеря или установка была такая, но хоронили тогда в одном белье, и на могилах ставили столбик с дощечкой и надписью: имя, отчество, фамилия, год рождения и дата смерти. В сосновом лесу на большой поляне было кладбище. Будучи расконвоированным, я иногда собирал себе грибы и выходил туда и любил читать надписи; но однажды, после долгого перерыва, я забрел на место бывшего кладбища и с удивлением оглядывался кругом — или я не туда попал? Никаких следов, ни холмиков, ни столбиков нет, только чистый желтый песок светился под лучами солнца. Я стал оглядываться и нашел в кустах целую гору могильных знаков и дощечек с надписями. Кладбище уничтожили. Когда мне впоследствии и в других лагерях пришлось хоронить умерших заключенных, то хоронили и без гробов и без белья.

Как-то весной наш бригадир повел меня и еще одного заключенного, расконвоированного Ванюшку Волкова (ты, может быть, помнишь его по 3-й колонне, его отец был в том изоляторе, что стоял внутри зоны).

Домик начальника был не такой большой, но красиво отделанный только прошлый год, но делали его зимой, из мороженого леса, на мороженом мху, и он был очень холодный. Начальник вышел и спросил нас, можем ли мы, не разбирая дом, сделать так, чтобы щелей не было и дом стал теплее.

В лагерях все берутся за все дела, даже ранее совсем незнакомые, и все делается, потому что всегда находятся люди, знавшие это дело, и с их помощью и остальные быстро осваиваются. Но я до сих пор удивляюсь, как мы с Ванькой, плохонькие лагерные плотники, не думая, но уверенно ответили: «Можем».

— А как? — спросил начальник.

— Наделаем крепких клиньев, будем их вбивать в пазы, поднимая каждый венец, и устраним все, что мешало осадке бревен.

— Ну, делайте!

Все ушли, а мы с Ванькой начали, да и струхнули: клинья не очень-то было легко вбить в пазы, ведь на бревнах и крыша и потолок, смазанные глиной.

Все же наше упорство преодолело, но мы не стали поднимать каждый венец, а только поверх окон и дверей, где бревна зависли на косяках и были особенно большие щели. Потом отпилили лишние концы косяков, торчащие вверх и держащие бревна. Когда мы выбили клинья, дом сел настолько, что бывшая в доме легонькая тесовая перегородка выгнулась вся пупом от осевшего и давившего на нее потолка. Надо бы было раньше убрать ее или опилить, но мы не предполагали, что потолок настолько опустится, и теперь стояли, не зная, что делать. Перегородка испорчена. И как раз в это время вошел начальник.

— Ну, как дела? — и он с сожалением посмотрел на испорченную перегородку. Но ведь мы же были лагерниками и свою ошибку сумели повернуть в свою заслугу.

— Вот видите, гражданин начальник, насколько дом мы опустили, до перегородки было от потолка сантиметров 20, да и еще ее выгнуло. Всего сантиметров на 25—30 опустили, а ведь это все щели были, а перегородку выпилим, выправим.

Нашу работу похвалили и приняли, но надо сказать правду: после мы узнали, что дом не стал теплее и его пришлось все же разбирать и перекладывать вновь, но это уже нас не касалось.

Лагерь был лесоповальный, лес вывозили на лошадях, в лесу повозки часто ломались и необходим был ежедневный ремонт обоза. И для этого текущего ремонта после окончания работы и до начала ее были выделены два человека: кузнец Миша Сарапулов и плотник — я. За зоной, на берегу речушки Вислянки, среди кустов и пней стояла небольшая кузница, где мы и работали. Ночи были светлые, мы обходили, осматривали весь обоз, штук 100 повозок, и делали что можно было. Где ручицы сменить, где тяж сделать, где подушку сменить, где что, а более серьезные поломки оставляли на день. С работой мы управлялись, было спокойно и хорошо среди природы. Днем мы хитрили: не ложились спать, отдыхать на свои места, в хомутарке, а залезали на чердак конюшни в укромное местечко и там отдыхали спокойно; иной раз нас искали — сделать что-нибудь (у начальника всегда работа найдется), но не могли найти.

Нам иногда еще помогал Ярсон, эстонец, сибиряк, отбывавший по 58-й статье по чьему-то ложному доносу. Когда он рассказывал об этом, то приходил в ярость, сжимал кулаки и говорил: «Если освобожусь, вернусь, я его убью» (это доносчика). А Миша Сарапулов, удмурт, смеется: — Все так говорят — убью, а никто не убивает, и ты не убьешь.

— Убью, все равно убью,— повторяет Ярсон.

Один раз я с Сарапуловым сидел на бревнышке возле кузницы и издали заметил спешившего к нам Ярсона; у него болела нога, и он шел, прихрамывая, но видно было, что он взволнован и торопится. Он подошел к нам и остановился молча. Мы тоже молча смотрели на него, понимая по его виду, что он хочет сказать что-то очень важное.

— Знаете что? — воскликнул он.

— Что? Что? — спросили мы, а он, вместо ответа, снял шапку и с силой шмякнул ее оземь.

— Ежова сняли! Враг народа!

Мы с Мишкой вскочили и тоже шмякнули свои шапки о землю. Мы были взволнованы. Еще бы! Все незаслуженные обиды всколыхнулись в груди и надежда, яркая надежда загорелась внутри...

Загорелась и вскоре угасла опять.

Не могу забыть один случай. Был в лагере при конюшне ветврач, конечно, заключенный, ему кончался 10-й год заключения, и в день, когда кончился его срок, он внезапно умер.

Уже весной, когда болезнь совсем кончилась, я вдруг узнал, что Саша Москвин в больнице. Я пошел в лес, насобирал баночку черники и пошел к нему в больницу. Теперь там было просторно, чисто, хороший воздух. И как же он обрадовался мне, увидев меня! И особенно рад был ягодам.

— Я не знаю, что за болезнь, но очевидно недостаток витаминов. Я твои ягоды буду есть потихоньку, как лекарство,— говорил, сияя, Саша.

Им давали белый хлеб, но он плохо ел и надавал мне несколько паек, хотя я и не хотел брать.

И опять обрыв..., которые так часто бывают в лагерях. Мне больше не удалось увидеть Сашу, и я не знаю его судьбу, меня вызвали на этап, и я не мог не только набрать ему еще ягод, но даже и зайти к нему проститься, но мне так хочется верить, что этот милый человек остался жив.

Настал август. Ночи стали хотя и не долгие, но темные. Кузнец Миша Сарапулов рассказывал мне, что он может ловить рыбу ночью с лучом, острогой, прошлый год

он как-то за ночь наловил целую корзину, вот только нет у него сейчас напарника, кто бы мог лодку гонять на «шестах».

— Да я могу на «шестах» ходить,— сказал я. А мне действительно приходилось это делать у нас на Томи.

— Поедем,— сказал он.

Я заколебался. Все же ведь я был вегетарианец, хотя и нарушенный лагерной жизнью, но все же что-то шевелилось во мне. Но я согласился — ведь я же ем теперь рыбу, да и мое дело только лодку водить, а охотник Мишка.

Дня два мы подготавливались. Мишка ковал «козу», такую железную решетку, которую прикрепляют на носу лодки над водой и на ней разводят яркий костер из смолевых кореньев. Потом нашли спрятанную в кустах лодку кого-то из охранников, угнали ее и перепрятали в другое место. И вот, наладив все это, когда ночная тьма сгустилась до полной, мы сели в лодку, зажгли на носу яркий костер и поплыли вдоль берега против течения. Я был на корме и тихо, беззвучно толкал лодку шестом против течения, а Мишка стоял посреди лодки с наготовленной острогой в руках, зорко вглядываясь в освещенное огнем дно реки. Я тоже смотрел, но ничего не мог различить среди камней и древесины, покрытых мхом и водорослями.

Вдруг Мишка сильным ударом вонзил острогу в воду и быстрым движением выбросил на дно лодки большую рыбину. Незаметная на дне реки, здесь, в лодке, она, извиваясь на остроге, сверкала металлическими отблесками, освещаемая ярким огнем, среди полной темноты.

Охотничий азарт возбудил нас, но мне все же сделалось жаль эту только что бывшую вольной рыбу, так она билась, извиваясь на остроге, что без слов было ясно, ей так же хочется воли и жизни.

В эту ночь мы больше не поймали ничего, а на другой день мне объявили: собираться в этап.

— Куда? Что? — никто не скажет, но товарищи поздравляют:

— Раз пересуд, значит, дело к освобождению. Такие случаи тогда бывали. И на этот раз вместе со мной также вызвали двух учителей из Белоруссии на пересуд, и они были полны надеждой на освобождение. А я не знал, что думать. Но судьба моя резко менялась, и надвигавшаяся неизвестность волновала меня. Числа 10 августа 1939 года меня и тех двух увели с 1-го лагпункта на Комендантский участок, где мы еще пробыли дня три. Денек я ходил по лагерю. На

другой день меня и еще одного заключенного, Горева Андрея Васильевича, отправили на работу — на корчевку старых пней.

На большой площади, где когда-то рос еловый лес, остались теперь большие, старые пни. Подъезжал трактор, за которым волочилась длинная, толстая цепь. Мы брали свободный конец цепи, обводили им несколько пней и цепляли конец также за трактор. Трактор двигался, петля вытягивалась и выворачивала огромные корневища, и трактор волок их в сторону, оставляя вместо пней песчаные воронки. День был сухой, солнечный, работа легкая, и пока трактор оттащит свой груз, мы сидели и разговаривали. Андрей Васильевич все больше рассказывал о себе. Он летчик. Последнее время был инструктором парашютного спорта. Один раз на праздник воздушного флота на одном из аэродромов Белоруссии он должен был делать затяжные прыжки с парашютом, т. е. лететь некоторое время, не раскрывая парашют. «Я прыгнул,— говорит он,— лечу вниз головой камнем, даже сквозь кожаный шлем голову покалывает, чувствую, пора раскрывать парашют, как мне задано, но хочется отличиться, решаю еще падать, не раскрывая. Уже земля близко, вижу хорошо аэродром, публику. Дергаю шнур, а парашют не сработал. Земля совсем близко, даже успел увидеть жену, сидит и платок к глазам. Перехватил руку выше и опять дернул шнур,— парашют открылся и я благополучно приземлился, а по аэродрому уже бегут ко мне люди, едет машина скорой помощи. Конечно, от начальства мне здорово попало за самовольничанье. А шнур оказался вставлен от парашюта другой системы. И как это получилось — не знаю, я ведь проверял все это перед прыжком».

В лагере с ним получился раз такой случай: жуликам понравились его белые фетровые валенки, и они решили их «увести». Гореву кто-то шепнул об этом, и он спрятал под голову топор. В этот день ему нездоровилось, был жар, но сквозь сон он почувствовал, что валенки, в головах у него, кто-то осторожно тянет. Он с силой бросил топор в жулика, но тот уклонился, и топор так вонзился в столб, что его с трудом вытащили. После этого Горева больше не беспокоили.

Андрей Васильевич много рассказывал мне о своей беспутной и буйной молодости, сколько у него было увлечений, связей и просто так легкомысленного баловства. Рассказывал он ярко, образно, слушать его было интересно, да и ничего другого мне не оставалось. Вдруг он замолчал и неожиданно спросил меня:

— А ты не так жил?

Я молча, отрицательно покачал головой.

— И ничего не потерял,— сказал он мне.

На третий день подъехала полуторатонка, в кузов посадили меня и еще тех двух учителей, в кабину сел конвоир, и мы тронулись в обратный путь по тому шоссе, по которому когда-то шли пешком. Ехали ночью. И вдруг шофер и конвоир что-то закричали в кабине. Мы поднялись и выглянули вперед. На шоссе в свете фар, по шоссе, удирал от машины во все лопатки зайчонок.

— В сторону, в сторону! — кричали мы ему, но он не понимал и не догадывался выпрыгнуть во тьму из света фар и шпарил перед машиной. Шофер вошел в азарт и поддавал газу и вилял рулем за зайцем и, казалось, вот-вот раздавит его. Так шло уже долго.

— Да какой же ты глупый, заяц! — рвалось из души.

Но вдруг заяц остановился, сел на задние лапы, передние поджал к груди, поднял уши и уставился глазами на машину.

— Ну, наконец,— мелькнуло в голове. Но в это мгновение заяц сделал огромный прыжок в сторону, во тьму, в кусты, мы облегченно вздохнули, а шофер выровнял ход машины.

«Это мне доброе предзнаменование»,— подумал я.

Вдруг вдали на темном небе проявилось темно-зеленое облачко. Это, наверное, было северное сияние, но не такое, как я видел раньше, а в виде каких-то передвигающихся занавесей или скатертей белесого цвета.

«Зеленый цвет — цвет надежды,— подумал я.— Это опять мне доброе предзнаменование». Хотя и не верил ни в какие предзнаменования. Когда я был еще на комендантском лагпункте, мне приснился сон — мой отец лежит дома на своей кровати, как бы спеленутый своим зеленым плюшевым одеялом. Вдруг он разделился на два точно таких же, но вдвое меньших, потом еще эти два разделились на еще меньших и еще раз, так что вся кровать оказалась занятой маленькими куколками в виде отца, завернутого в свое одеяло.

Этот сон мне запомнился и был неприятен.

11 августа отец умер в Москве, и снилось мне это, наверное, в тот же день. И вскоре мне еще приснился отец. Я лежал на кровати. Он подошел ко мне, весь в слезах, и, горько плача, стал обнимать меня и три раза крепко поцеловал. Этот сон мне часто вспоминался, и я дорожил им.

Потом мне говорили — когда в Москве друзьям стало известно, что нам будет пересуд, все радовались и ожидали освобождения, один отец говорил, что ему чудится что-то плохое за всем этим. И он оказался прав. Мой путь прошел по самому краю обрыва, внизу которого была смерть. Но и добрые предзнаменования, и зайчишка, улизнувший от смерти, и зеленый луч не подвели меня, и я еще десятки лет живу на воле.

К утру мы были в Сыктывкаре. Конвоир погрузил нас на пассажирский пароход, весь заполненный пассажирами. Интересно было оказаться в сутолоке вольного общества, от которого я так уже отвык.

Потом опять Котлас и далее этапом по тюрьмам — Киров, Пермь, Свердловск, Новосибирск. В Новосибирске на пересылке я услыхал, что Германия начала войну против Франции и Англии. Это было, наверное, 1 сентября 1939 года. Потом Новокузнецк. От станции до старокузнецкой тюрьмы пешком. Тщетно я вглядывался во встречных прохожих — а может быть, попадется кто-нибудь из наших коммунаров — но никого. Коммуна уже была разгромлена, и жизнь ее сузилась.

— А ведь в прошлые годы обязательно кто-нибудь да встретился бы,— думал я.

Человек 50 наиболее активных уже были оторваны, коммуна была ослаблена. Я не узнал старую знакомую кузнецкую тюрьму. Прежде всего, дух был совсем другой. На окнах — козырьки, тщательные обыски догола, строгость подчеркнутая. Но все же, входя в нее, я жил ожиданием радостной встречи с друзьями, но меня заперли одного в небольшой камере на втором этаже. Сижу уже несколько дней один, полная неизвестность. Вдруг под вечер отворяется дверь, конвоир говорит: — Бери вещи, пошли! — Пошли вниз по знакомому коридору, в знакомый угол, где смертные камеры.

— Куда же это он ведет меня? — мелькает в голове.

Конвоир молча открывает смертную камеру, не угловую, а рядом,— гремит ключ, и я один. Железная койка без матраца, с ножками, вмурованными в бетонный пол, параша, прикованная большим замком к стене, маленькое окошко с толстой решеткой под потолком — и все.

Я не скажу, что испугался, но почувствовал всем существом мрачный дух этой камеры. «Почему? Зачем?» — теснилось в голове. Я сидел молча в полной тишине и вдруг... стук, стук, стук... кто-то вызывает перестукиваться. Откуда

звук — не разберу — или сверху, или из соседней. И тут я струсил. Не могу себе простить до сих пор, что не ответил, не узнал кто? Может быть, кто из наших? Но неожиданное мое помещение в смертную насторожило меня. Я подумал: а может быть, это подвох, может быть, наседка какая-нибудь стучит — выведывает, и не стал отвечать. А что могли у меня выведать? У меня за душой ничего преступного не было.

На другой день к вечеру меня опять перевели в мою камеру на втором этаже, оказывается, там была побелка и меня временно поместили в смертную.

Потом — знакомый Первый дом. И, наконец, я сижу в кабинете следователя, незнакомого и серьезного.

Он мне объявляет, что приговор 1936 года отменен еще в 1937 году и вот уже два года нас собирают для нового следствия и суда.

— Почему отменен приговор? — спрашиваю я.

— За мягкостью! — резко отвечает следователь.

В душе что-то сжимается, я понимаю сразу, какой приговор должен быть, если прокурор республики признает прежний приговор мягким.

И снова 7 месяцев следствия.

Ну, дальше ты знаешь, и я не стану писать.

12 декабря 1971 года.

Д. Е. МОРГАЧЕВ

МОЯ ЖИЗНЬ

Хочу записать свою жизнь. Но сумею ли это сделать? Так уж много прошло лет. Буду стараться припоминать, что пришлось пережить — радостного и тяжелого, доброго и злого.

Я родился в октябре 1892 года в семье крестьянина села Бурдино, Тербуновской волости, Елецкого уезда, Орловской губернии (ныне Липецкая область, Тербуновский район).

Семья небольшая. Дедушка Сергей Александрович участвовал в турецкой войне, получил какое-то отличие, впоследствии был избран волостным старшиной. Как звали бабушку, не помню. У них было двое детей: дочь и сын. Дочь выдали замуж, и они жили втроем: дед, бабушка и сын — мой отец Егор.

По отцовской линии дедушкино родство было бедное, ходившее на моей памяти на отхожие заработки: в Донбасс, на шахты, и в Ростовскую область, на пароходы. По материнской линии были богатые крестьяне соседнего села Тербуны — они имели купленую землю и жили безбедно. Дедушка, будучи старшиной, купил себе восемнадцать десятин. Он был авторитетным человеком и посватал к сыну своему Егору невесту из богатой крестьянской семьи. Она была сирота и звали ее Любовь Андреевна. Приданое за ней дали шесть десятин земли. Женился мой отец примерно в 1885 году.

Дедушка мой из своей земли шесть десятин отдал дочери в приданое, а двенадцать десятин оставил нам, двоим внукам, когда отец умер, а умер он молодым, 22—23-х годов. Мне было два года, а брату Михаилу два месяца. Через полгода умерла бабушка, а еще через год и дедушка, поэтому я никого не помню, лишь немного остался в памяти дедушка — маленький, седенький старичок; мне тогда было три с половиной года. Осталась одна мать с нами, двумя ребятами. Дом был хороший, кирпичный. Изба, через сени горница, все с полом, что было редко в нашей местности. В горнице было три комнаты: прихожая, зал и спальня; два дивана, посудный шкаф, в спальне кровать — все это простой столярной работы. Был хороший двор, кирпичная кла-

довая, под ней подвал для овощей. В огороде был деревянный амбар, крытый железом, для зерна, рига, сарай для сена и соломы. Как я помню, были у матери две лошади, один подросток, одна корова с подростком-телком и около десятка овец. Мать вела хозяйство после смерти дедушки, последнего из мужчин в нашей семье.

Сельским сходом мать была избрана опекуншей сиротского имущества нас, двух маленьких братьев. Все имущество и скот были переписаны сельским старостой, по предписанию волостного старшины, и сданы моей матери под расписку. Опекун мог быть и посторонний. Ежегодно мать отчитывалась перед сельским сходом в присутствии волостного старшины.

Мать прожила вдовой четыре года или пять, потом приняла в наш дом мужа, вернувшегося с военной службы Болгова Федота Яковлевича, без имущества; до этого она ежегодно нанимала работника. Так прожила она с ним пять лет, родилась у них дочь Анна. Когда мать вышла замуж за Болгова, ее родственники отняли у нее шесть десятин, ранее данные в приданое. Мать стала судиться с ними. Суд тянулся год или два, ездить приходилось несколько раз в Елец за 60—65 верст. Мать простыла и заболела чахоткой, болела недолго и померла. Земли она все-таки высудила семь десятин, хотя она и была далеко, верст за 35 от дома. Мать умерла в 1901 или в 1902 году, и вскоре нашего неродного отца выбрали опекуном над нашим сиротским имуществом.

Так мы жили с год, сами топили печку, я стал ходить в школу. Приду грязный, там меня заставляли умываться. Болгов женился, и у нас стали отец и мать неродные, и у них пошли дети.

Мне уже стало лет 11—12, я уже пахал сохой с его братом Захаром. А ведь сохой труднее, чем плугом. На каждом повороте надо соху вытащить из земли, очистить от земли, переложить палицу на другой сошник, занести соху, поворачивая в то же время лошадь; в руках копалка, т. е. палка с заостренным концом и лопаточкой для очистки сохи. У сохи две ручки, и за эти ручки все время держишься, управляешь сохой, заносишь на поворотах. Нелегко это было.

В школу я ходил около трех лет. Легко мне давались математика и Закон Божий. Священник любил меня и всегда дарил картинки библейского содержания. Священник был старый, он хотел устроить меня в город учиться как

сироту и способного к учению, но мои родственники по родной матери не соглашались со священником — у них есть земля, пусть работает на ней.

В это время наш отчим стал больше пить, как-то у него у пьяного вынули двести рублей. Под чьим вниманием я тогда находился, я не знаю. Мне говорили соседи, что, по-видимому, отец пропивает наше имущество, и я пошел в село к волостному старшине и сказал ему: — Дядя, наш отец пьет и не работает, надо его выгнать из нашего дома.— А куда же вы денетесь? — Куда хотите определите нас.

Старшина вызвал наших родственников по матери — ее родные дяди, они посоветовались, дали согласие — нас взять к себе.

Собрали сельский сход — обсудить вопрос о сиротах Моргачевых. На сходе старики подтвердили, что отчим пьет, и сход постановил немедленно нашему неродному отцу выбраться из нашего дома со всей своей семьей. Весь наш скот продать, а деньги вырученные отдать в сиротскую сберегательную кассу, до нашего совершеннолетия. Весь инвентарь прибрать в кирпичную кладовую по списку и также хранить. На этом же сходе выбрали нового опекуна, нашего соседа, глубоко верующего, православного. Дом наш сдали под квартиру дьякону. А мы с братом пошли батрачить к нашим родственникам, я к Ивану Федосеевичу, а меньшой брат Михаил — к Федору Федосеевичу. Это было от родного села семнадцать верст. Работали бесплатно, работы было много, сеяли хлеба десятин по тридцать-сорок; было много лошадей, с которыми я возился днем и ночью. Так я прожил больше года.

Соскучилось мне так жить, и я попросился сходить в свое село к опекуну И. П. Дорохину. Я сказал ему:

— Дядя, я туда больше не пойду, там очень трудно и тяжело...

— А куда же я тебя дену?

— Куда хочешь. Устрой меня к другим в своем селе.

Он отвез меня к своей сестре Анисье Мячиной, а она повела меня к своим сыновьям, Семену и Николаю. Николай когда-то жил у нашей матери в работниках. Опекун предложил меня им в работники, но они вечером уже пригласили мальчика и выпили магарыч. Но жены братьев в один голос заявили, что тот Петька им не нужен, он рябой и у него есть отец и мать, а этого сироту надо взять. Так я и остался у них. Опекун договорился о плате — двенадцать рублей в год.

Наши родные через несколько дней приехали взять меня, но я не пошел; тогда они взяли с меня шубенку и еще кое-что и уехали. Я остался у Мячиных. Они были хотя мне чужие, но люди добрые, хорошие, и я у них жил и не чувствовал, что я им чужой, и видел, что они тоже не считают меня чужим. Они многому меня научили и в работе, и в поведении.

Был, кажется, 1906 или 1907 год. Пришла весна у новых хозяев. Мы поехали пахать сохами. Мне было трудно, я еще был слаб, да и пашня была сырая, едва выверну соху из борозды. Но все же мы выполнили все работы: посеяли хлеб, посадили картошку. Пришли Петровки, это июнь месяц, приступили к вспашке пара под озимые; в июле началась уборка хлебов. Село наше Бурдино большое, поэтому и поля были дальние, там работали и ночевали. Пошли мы косить рожь крюками, т. е. коса с грабельками: что срежет коса, грабельки забирают на себя, и аккуратно выносишь на сторону и кладешь в ряд, а женщины идут следом и вяжут в снопы и грабельками все зачищают. Было принято— жена всегда вяжет за мужем. За мной пришлось вязать жене уехавшего на заработки брата. Она была женщина горячая, капризная, а я клал ряд плохо, путал, что затрудняло вязку снопов.

Вот она и начала мне служить панихиду и читать акафисты: чтоб у меня руки отсохли, чтоб они у меня отвалились, неумелые. Жена хозяина была добрая, бывало, скажет ей: «Кузьминиха, да ты иди, вяжи за моим мужем, а я буду вязать за парнишкой».

Она не ругала меня и в течение трех лет обмывала и обшивала меня. Хозяин мой Семен Андреевич помогал мне так: во время косьбы хлебов он идет впереди, а я за ним примерно на одну треть прокоса отстану. Он либо поможет мне дойти ряд, либо, заходя на новый, закосит и себе, и мне. Так в первый год за мной всегда вязала жена хозяина, а в следующие годы я уже не отставал от хозяина и клал ряды хорошо.

Я прожил у них более трех лет, до своей женитьбы, и в дальнейшем они были мне как родные. Оба брата умерли не старые; они оба ходили на заработки и оба там оставили свое здоровье.

Мой брат Михаил тоже не стал жить у родственников, его устроили в работники на хутор Березовка (Голопузовка).

Я договорился со своим хозяином посеять мне несколько десятин хлеба: с осени 1908 года — озимой ржи,

а с весны 1909 года — овса, проса, чечевицы и картофеля. Весь этот урожай мы собрали и увезли на нашу усадьбу, к нашему дому, обмолотили, зерно ссыпали в амбар, а солому сложили в ригу, и мы с братом Михаилом осенью 1909 года перешли в свой дом жить; в работниках мы прожили более четырех лет. Последний год я уже получал тридцать рублей.

Поселились мы в одной половине дома, в избе, а в другой половине квартировал дьякон. Семья у него была большая, человек шесть детей.

Мы с братом сами топили печь, но больше топил он, а я уж как хозяин давал ему распоряжение, чего сварить на завтрак, да и на весь день.

Старшая дочь дьякона Шура уже была учительницей в сельской земской школе. Небольшая, человек на тридцать, церковно-приходская школа, где я учился, в 1906 году была перестроена в большую, так как село было большое, дворов на пятьсот. Шура ухаживала за мной. Сначала я как-то боялся, а потом стал привыкать к ней. Ей хотелось стать моей женой, хотя она была старше меня лет на пять, а мне было только семнадцать лет и три месяца.

Я посоветовался со своими родственниками, они не советовали жениться на ученой — что ты у нее будешь во всю жизнь подол заносить, а в жаркие летние дни завешивай окна и гоняй от нее мух, а самому некогда будет работать в поле. Бери крестьянку, земля у вас есть, и будете работать с ней на земле.

Так я с ученой не сошелся. В декабре 1909 года мой хозяин Николай взял меня и поехал сватать за меня невесту. Село было большое, зажиточное. Там мне нашли невесту у очень богатых крестьян. Они жили на четырех хуторах, и на каждом не менее ста десятин, но они не были разделены — два брата и еще старики и два племянника от умершего брата. У меня же еще не было хорошей одежды и даже еще не покупали лошади. Вот к этим богатым людям и привез меня Николай Андреевич Мячин. Опишу, какой обычай был: приехали сватать невесту. Есть, конечно, обязательно сходатай или сходатая (сват или сваха). Они переговаривают сначала с родителями невесты, которые прикажут приехать родителям с женихом в дом, чтобы посмотрел жених невесту, а невеста жениха. Ну, вот приезжают. Родители сядут дальше, около стола, а не за стол, а жених, войдя в дом невесты, сядет около двери на лавку, ее называли «коником» (это было вроде ящика, открывав-

шегося сверху). Невеста, убранная в хорошее платье, пройдет по всей хате к судной лавке (у печи) и станет лицом к двери, против жениха. Так они изредка глянут друг на друга и опускают глаза в землю. Так они посидят около часу, не сказав друг другу ни слова, а родители их разговаривают на разные темы — о лошадях и вообще о скоте и о земле, кто сколько полагает сеять. По существу дела разговора еще нет. Потом выходит из хаты жених и его родные и сходатай — посоветоваться с женихом, понравилась ли ему невеста. Решают на улице или в сенях, а родители за это время совещаются — понравился ли жених невесте. И если невеста не понравилась жениху и его родным, то они, не заходя в хату, уходят молча, не сказав ни слова. А если невеста понравилась, сваты заходят опять в дом и садятся по своим местам. Если же жених не понравился невесте, то родители заявляют, что мы в этом году не подготовились к свадьбе или еще невеста молода, пусть посидит еще годик, и тогда родные жениха уезжают ни с чем.

А как же обстояло дело у меня? Мы вошли в дом к Русину Захару Афанасьевичу. Мой хозяин был шутник и говорит:

— Захар Афанасьевич, мы слышали, что у вас есть продажная телочка?

Тот отвечает:

— Есть, но я свою телочку могу продать только хорошему хозяину, доброму, смирному, не пьянице и не гуляке, а труженику.

Тут начинается смех, а я сижу — ни словечка, как облизанный баран. Потом подали на стол кипящий самовар. Приходит невеста и начинает разливать чай. Наливает и мне стакан и подает его. Я поблагодарил ее и в это время глазком глянул на нее. Она скраснела и схоронилась за самовар, а мой хозяин и отец ее говорили по существу дела. За все время мы с ней не сказали ни слова, только взглянули друг на друга несколько раз. Договорились еще через три дня приехать к ним. Когда мы поехали домой, я говорю Николаю Андреевичу:

— Уж очень она маленькая и дробненькая...

А он мне отвечает:

— Ты не смотри, как на носу бородавка, а смотри, какая будет приставка (т. е. какое будет приданое).— И продолжал:

— Мал золотник, да дорог, велика Федора, да дура.

Через три дня мы опять приехали, договорились о

следующих условиях: к невесте дают две десятины купленой земли, и так как у нас нет никакой живности, дают лошадь, корову и поросенка. А хозяин мой говорит:

— Захар Афанасьевич, ведь всем свойственно жить по паре, а ты даешь одного поросенка.

— Ладно,— отвечает он,— дам пару.

На этот раз, после долгого разговора, нас свели, посадили вместе, мы поцеловались, за столом несколько раз улыбнулись друг другу, но говорили мало и не помню о чем. Договорились, что свадьба будет после Рождества, т. е. в мясоед.

Когда сидели за столом, немного выпили водки. Тесть был уже старый, седой, а жена его моложе, она у него была вторая, и моя невеста была ее дочь. Выпивши, будущий тесть затопал ногами об пол и говорит:

— Ведь мы не пьем, а дело делаем. Знаем, что они сироты. Вот Дмитрий жил у вас более трех лет, хороший работник и сообразительный. Брат его Михаил жил у наших родственников, тоже старательный мальчик, и мы полагаем, что из них должны выйти хозяева, у них есть к чему приложить руки. Если будут трезвыми, честными тружениками, будут хорошо жить, и мы пожелаем им этого.

Наливает еще по рюмочке всем, кроме нас, жениха и невесты, и продолжает: — А если будут ленивы, да пить станут, то что им ни дай, все проживут.

У нас было восемнадцать десятин купленой земли, да два душевых надела в обществе (пять десятин); это считалось, что мы уже можем быть зажиточными крестьянами, при том малоземелье в нашей местности.

После договора пошли мы с опекуном в сберегательную сиротскую кассу и взяли двести рублей. Купили самую быстроходную лошадь в своем селе, которая пробегала пятнадцать верст до железнодорожной станции за двенадцать минут; купили, кажется, за восемьдесят рублей. Справил я себе новую тресковую шубу, крытую тонким сукном, бобриковую чуйку с воротником; купили выездные санки. На Святках я, хорошо убранный, на своей лошади в выездных санках приехал в дом невесты. Там собралось много гостей, и меня сажали за стол на почетное место и рядом с ней. На следующий день они меня провожали, и мы несколько раз проехали по селу в санках на сытой рысистой лошади — то она провожала меня, то я ее.

Это пишется через шестьдесят лет — где же ты, то мое золотое времечко?..

Теперь, катаясь, мы уже разговаривали друг с другом, шутили и смеялись. Но наша свадьба не могла состояться в мясоед, так как мне было семнадцать лет и три месяца, а повенчать нас священник мог в семнадцать с половиной лет, и то только с разрешения архиерея, а вообще-то был закон: венчали мужчину восемнадцати лет, а девушку семнадцати лет, так что наша свадьба отложилась до Красной Горки, т. е. после Пасхи. В мясоед я тоже ездил к ней в гости, на масленице,— но она мне жаловалась, что болеет, чувствует какое-то недомогание, говорила, что под масленицу была где-то свадьба, что гуляла, попила холодного квасу и думает, что от этого заболела.

В пост я, кажется, к ним не ездил, так как наступил сев яровых, были заняты, да и в пост, как говорили, по гостям не ездят. Лишь можно было поехать проведать на Благовещение и в Вербное воскресенье, а в Вербное воскресенье она померла, ушла из этого мира. И так за пятнадцать дней до нашей свадьбы я уже завдовел. А как приятно было бывать у них в гостях, так хорошо встречали ее родные, а особенно она сама: если не у ворот, то уж во дворе обязательно встретит с крепким поцелуем и улыбкой. Я очень жалел ее, но в моем возрасте и в моем крестьянском положении мне надо было думать о женитьбе. Начал я дружить с одной девушкой Настей, но случилось так, что ее дядя, брат ее отца, украл копну хлеба — ржи (52 снопа), и этот позор лег на всю семью. Мои хозяева не посоветовали мне брать Настю в жены: во-первых, у нее нет приданого, а главное — порода воровская.

Но закончу о ней. Я ее увидел через пятьдесят лет, в 1960 году, когда заезжал на родину. Она вскоре после моей женитьбы вышла замуж. Муж ее в 1913 году был взят на военную службу и убит на войне. Остались сын и дочь, которые тоже умерли — сын уже взрослый умер; когда я зашел к ней, она мне сказала:

— В тот день, когда ты венчался с моей подругой Марьяной, мы сажали картофель на своей усадьбе. Наши пошли обедать, а я осталась около повозки с картофелем, чтобы повеситься. Подняла оглобли, привязала и только хотела надеть петлю на шею, как кто-то помешал, а потом пришли наши с обеда, и так вот осталась жива до сих пор, но жизнь свою проклинала.

Так вот, когда умерла моя невеста Нюра, я пошел погоревать к моим хозяевам и подумать, что делать? Они предложили посватать у Лора Комарова дочь. Хозяева мне

пояснили, что матери у нее нет, только отец и сестра черничка, ходит по покойникам читать псалтырь, и хотя они люди бедные, но честные, трудолюбивые. Мы пошли поговорили с отцом, посмотрели невесту Марьяну, сразу нам ее отец никакого ответа не дал. Дома у хозяев я сказал Николаю Андреевичу:

— Уж очень большой у нее нос...

Он мне, как и в первый раз:

— Ты не смотри, что у нее на носу бородавка, а смотри, какая будет приставка.

Отец ее съездил в Голопузовку, где жил у него брат и зять, посоветоваться обо мне, мол, я его не знаю. Они ему сказали: не упускай жениха, Захар Афанасьевич богатей, и то отдавал за него дочь. И когда через день мы еще пришли, то нас приняли как гостей и дали согласие отдать свою дочь за меня и приступили к договору. Отец Марьяны сказал, что отдает в приданое все имущество, и так как они сироты и у них нет старого человека, я пойду к ним в дом.

— Только об одном я хочу договориться с вами: другая моя дочь Ирина (ей, наверно, было лет сорок) ничего не хочет взять себе, а только поставить ей маленький домик около церкви, и больше ничего ей не нужно.

Нам достался дом, который тут же продали за пятьсот рублей, две десятины земли стоимостью четыреста пятьдесят рублей. Земля эта была укрепленный душевой надел по столыпинскому закону; лошадь с повозкою и сохой, корова, несколько овец, куры и всякая утварь. При договоре мы с Марьяной поцеловались и договорились о свадьбе через две недели после Красной Горки. Но надо было еще уладить дело с моим возрастом. Пошли к священнику, он написал мне прошение к архиерею о том, что мы сироты и нам нужна женщина как домохозяйка, и я сам поехал в Орел, это было скорее, чем почтой.

Архиерей жил в мужском монастыре. Поездка произвела на меня большое впечатление: впервые ехал по железной дороге, и большой город, Орел. Остановился в монастырской гостинице, спал на пружинной койке, которую еще не видал в своей жизни. На следующий день пошел в собор, где служил архиерей. Меня научили, как подать прошение: после службы, когда он станет выходить из собора, встать на колени и положить прошение на вытянутую руку кверху ладонью, а другой рукой прикрыть прошение. Архиерея сопровождала целая свита монахов, не менее десяти человек, были и мальчики, и все в золоченых ризах; кто нес особую

шапку архиерея, кто его особый посох — жезл. Когда эта процессия поравнялась со мной, один из монахов взял прошение из моих рук и сказал:

— Встань, завтра получишь ответ, тут же в соборе!

На следующий день тот же монах подозвал меня и подал мне разрешение на женитьбу и венчание в церкви и сказал:

— Можешь венчаться с девушкой, которую любишь.

Я сказал: — Спасибо.

В первых числах мая 1910 года состоялась наша свадьба с девушкой Марьяной, с которой живу и доныне. Мы поженились, не зная и не думая ни о какой любви, даже не знали друг друга до свадьбы. Так делали все. Нужна была женщина в доме: работать, стирать, варить. Конечно, знали я и она, что будем спать вместе и будут у нас дети, которых надо растить и воспитывать. Всего родилось у нас десять детей, из которых шестеро выросли.

Так обзавелся я семьей после долгих лет сиротства, странствований по батракам, с неродными отцом и матерью, по чужим людям. Отец-старичок и ее сестра перешли в наш дом, и дом зажил полной жизнью. Брат Михаил тоже жил с нами, проводя больше времени в поле, с лошадьми. Мы купили плуг и пахали уже не сохой. Марьяна потом рассказывала, что она тоже была сосватана в то село, где была моя первая невеста, но у ее жениха заболела нога и ее отрезали,— так у них свадьба и не состоялась.

Свадьба была у нас очень пышная и несколько дней после венца. Священник вел нас с Марьяной до нашего дома пешими, так как дом был недалеко от церкви. Сзади ехало много родных, и с моей стороны, и с Марьяниной, все на тарантасах.

О том, как мы прожили с моей женой всю жизнь, будет сказано позже, но недоразумения у нас с ней стали возникать уже скоро из-за ее приданого. Дело было в том, что нас было два брата, и хозяйство было общее, а я затрачивал в хозяйство и ее деньги, которые она принесла, и она стала говорить: почему израсходовал и мои деньги в общий дом?

В нашем селе Бурдино бывали кулачные бои три раза в год: на Святках — это декабрь — январь, на масленице — февраль и на Пасху — апрель. Село делилось пополам, а на масленицу бились село на село — Бурдино и Тербуны. Я тоже участвовал в этих боях. Наш поп говорил, что кулачные бои — это неплохо, люди тренируются, на войне

они будут более смелыми и развязными. Начинали бои мальчики, потом подростки, потом взрослые, потом уже старики бородатые. Так один раз старики стенкой сошлись тесно и меня прижали как раз против одного самого сильного старика с той стороны, и я его сбил, и с тех пор меня стали считать силачом, говорили: «Какого деда срезал!» Было правило: лежачего не бить, сбили ли его или сам упал, но иногда сговаривались и самых сильных брали под мышки, а тоже сильные падать не дают и бьют. Иногда бывали смертельные исходы. Один раз богатый лавочник из Тербунов объявил, что ставит два ведра водки тем, кто победит. На бой собралось не менее трех тысяч человек. Наше село тогда победило.

Еще будучи работником, с хозяином я ходил на общие собрания, на сходы всего села, и хотя туда ходили старики, против меня никто не возражал, так как все знали, что я являюсь хозяином дома, так что с шестнадцати лет меня интересовали общественные дела, а не девки. Осенью 1910 года староста собирает сельский сход, десятские оповещают народ идти на сход, что будет какой-то агроном. Что такое агроном, никто не знал, но хотелось узнать, сходка собралась большая. Пошел и я.

Агроном, представительный человек лет тридцати, докладывает собравшимся: «Елецкое земство ставит вопрос о поднятии сельского хозяйства. Оно дает вам быка симментальской породы бесплатно, хряка йоркширской породы бесплатно, барана шерстистого, который дает за один настриг 12 фунтов». Кроме того, предлагает открыть здесь прокатный пункт сельскохозяйственных машин и орудий — плуги двухлемешные, запашники четырехлемешные, сортировку для отборки лучших семян, а от лучших семян и урожай будет лучше, и т. д. На первый случай дадут нам бесплатно минеральных удобрений: костяной муки, суперфосфата и томас-шлака, чтобы мы убедились на своем собственном поле в выгоде минеральных удобрений, а на приусадебные участки для молочного скота дадим вам бесплатно несколько фунтов семян люцерны, которую можно косить на зеленый корм до четырех раз в лето, и семян кормовой свеклы, корнеплоды также необходимы для молочного скота. Далее агроном докладывал, что Елецкое уездное земство открывает в Ельце сельскохозяйственные курсы на 50—60 дней, где будет бесплатное питание и квартира. Там будут читаться лекции и доклады для ознакомления с научными данными о поднятии сельского хозяйства.

— Прошу вас, старички, записываться на курсы, это для вашей же пользы, чтобы у вас был хороший скот, земля давала большие урожаи хлебов и трав.

Но никто не записывался, агроном несколько раз повторил свою просьбу. Я сидел около стола, агроном посмотрел на меня, я улыбаюсь: и хочется поехать, и думаю — стоит ли ехать и тратить на поездку деньги. Он достал бумажник, вынул три рубля и подал мне:

— Вот тебе на дорогу.

Записал мою фамилию, имя, отчество, указал, куда и в какое время должен приехать.

В то время в Тербунской волости было около восемнадцати тысяч душ, восемь сел и поселков, а в Елецком уезде была двадцать одна волость. В нашей волости, кроме меня, записался еще в Тербунах — А. А. Гулевских, из зажиточного хозяйства. В назначенное время мы приехали в Елец. Нас поместили в Народном доме, а курсы проходили в «Доме трудолюбия», на Сенной площади. Оба дома были почти рядом. Питались в небольшой столовой бесплатно. На занятиях нас знакомили с земледелием, садоводством, огородничеством, животноводством, а также с организацией кредитных товариществ и потребительских обществ.

Все это было поздней осенью 1910 года, в то же время умер Лев Толстой, и здесь я в первый раз услышал в частных беседах о Льве Толстом. Одни говорили, что он безбожник, не признает ни Бога, ни церкви, ни царя и его проклинают в церквах, как Стеньку Разина — разбойника. Другие говорили, что он хороший человек и писатель, известный всему миру. Но все эти разговоры не затронули меня, и никакого впечатления не осталось о Толстом. Прослушав курсы, я там же достал уставы потребительских обществ и, вернувшись домой, собрал человек шесть или семь, подписали устав и послали на утверждение к губернатору в Орел. Без утверждения губернатора невозможно было создать никаких объединений. Но прежде чем утвердить устав потребительского общества (кооперации), да и других кооперативных объединений, губернатор дал указание секретно становому приставу, а пристав дал указание уряднику — немедленно сообщить о благонадежности лиц, подписавшихся под уставом. Об этом мне рассказывал урядник. Но мы, подписавшие устав, были крестьяне и один волостной писарь, и устав был утвержден. Это было летом 1911 года, и я получил от Елецкого земства сельскохозяйственные машины для прокатного пункта, несколько десятков пудов

минеральных удобрений и некоторое количество семян люцерны и кормовой свеклы. Удобрения и семена раздавались бесплатно, а машины давались напрокат, так же бесплатно.

Елецкое земство поручило мне подыскать лиц из крестьян для получения производителей племенного скота — быка, хряка и барана, на следующих условиях: бык в возрасте полутора лет симментальской породы выдается тому бесплатно, кто изъявит желание взять его и содержать в течение трех лет. По истечении трех лет бык является собственностью хозяина. За случку взимать плату не более одного рубля в свою пользу. Что же касается хряка и барана, то условия такие же, только не на три, а на два года.

На вторичных курсах в 1911 году я вступил членом в организацию под названием «Императорское общество птицеводства», откуда я получал яйца для вывода цыплят породистых кур следующих пород: минорки черные яйценоские, плимутрок крупные яйце-мясные, легторны мясные крупные, черные, фавероль желтые, брудастые мясо-яичные. Цель общества также была распространение породистой птицы среди крестьян.

В июле 1911 года у нас родился сын Тимофей. Мне было восемнадцать с половиной лет.

Осенью 1911 года я приступил к организации потребкооператорского общества, целью которого было снабжение членов товарами, и в то же время невольно получался подрыв частной торговли лавочников. Набралось несколько десятков человек, втянул местную интеллигенцию — учителей и работников волостного правления. На первом организационном собрании я был выбран председателем правления. Для магазина нашлось в нашем доме кирпичное помещение, построенное еще моим дедом. Средств было собрано мало, и товары пришлось покупать на станции Тербуны у торгового дома братьев Абрамовых, т. е. у частной фирмы.

Союза потребительских обществ в Ельце тогда еще не было. Товары в магазине были самые необходимые, на первый случай: соль, керосин, спички, табак, чай, папиросы, кренделя, конфеты, пряники и всякая мелочь. Едва оправдывали расходы. Местные торговцы стали сердиться на меня.

Зимой 1911 года Елецкое уездное земство открыло вторичные курсы, куда был приглашен и я на два месяца. На этот раз обещались дать бесплатно десять корней саженцев плодовых деревьев для раздачи крестьянам при условии, что они будут ухаживать за деревьями по инструк-

ции. Вся эта работа свалилась на меня, конечно, бесплатно; пришлось составлять списки желающих взять саженцы по нескольким садам, так как в Тербунской волости я был один.

Весной 1912 года, после посева ранних яровых, мне пришлось ехать в питомник за плодовыми саженцами. Ехали на нескольких подводах. В селе Стегаловке — от нас километров тридцать-сорок — находилась садоводческая школа. Помещик Бедров, умирая, завещал свое небольшое имение и земли Елецкому земству с тем, чтобы оно устроило садоводческую школу для крестьянских детей. Там меня ознакомили с разбивкой сада в шахматном порядке с расстоянием друг от друга на двенадцать аршин. И после приходилось несколько раз ездить в стегаловскую школу за инструкциями. Спустя десять лет я сам развел плодовый питомничек на тысячу саженцев в нашей небольшой коммуне «Возрождение» в 1922 году.

Прошло уже более пятидесяти лет с того времени, и я вспоминаю с благодарностью, какие большие усилия делала русская общественность для развития сельского хозяйства и тем самым для повышения благосостояния крестьянства.

Работы у меня становилось все больше и больше: и кооперация потребительская, и прокатный пункт, и случной пункт, так как взять производителей племенного скота не нашлось желающих, и я их взял себе. Становилось трудно и брату Михаилу, и так как он стал недоволен, то пришлось зимой 1912/13 года женить его. Жену взяли — дочь капитана парохода, из крестьян; приданое было незначительное.

Осенью 1913 года меня вызвали на рекрутский набор в солдаты для жеребьевки. Приемный пункт был в селе Колодезь Сергиевской волости, куда съезжались из пяти волостей, это составляло около тысячи человек, так как из одного нашего села было более двухсот человек. Вызывали по списку по волостям и тянули жребий, но часть жребиев были пустые или, вернее, дальние номера. Так, если требуется набрать шестьсот человек, а явилась тысяча, то четыреста номеров оставались пустые — и зачислялись в запас. Подошел и я к ящику со жребиями и копался в них, все хотел, чтобы достался дальний номер, в запас, и вытащил номер первый! На следующий день вызвали на врачебно-военную комиссию. Раздевались наголо, хотя и стыдно было, но делать нечего, там уже не свой. На весы — кричат: четыре пуда двадцать один фунт. Подхожу к врачам — посмотрели

в рот и в задницу. Еще повернись. Кричат: годен в крепостную артиллерию во Владивосток.

После приема нас отпустили на целый месяц на сборы и для гулянок. Но мне гулять не пришлось, некогда было, только несколько раз ко мне приходили с гармонией принятые, и я их тоже угощал.

В нашем доме слезы. Жена остается беременной вторым ребенком, с нею отец и мой брат. Сестре жениной мы поставили домик под горой около церкви, какой ей и хотелось. Все сваливалось на брата, кроме кооперации. Через месяц призванные со всего уезда собрались в г. Елец. Там опять проверочная комиссия по родам войск. Меня опять вызвали первым и опять сказали: годен в крепостную артиллерию во Владивосток. Я обратился к комиссии: нельзя ли назначить меня ближе к месту моего жительства, так как росли сиротами с опекунами, по чужим людям, а теперь мы собрались в свой дом, ведем сельское хозяйство, я больший из двух братьев, за хозяйством нужно наблюдение, которое лежало на мне.

Начальство в золотых погонах посовещалось и тут же сказало: «Пойдешь в Тулу, в пехоту». Я им сказал спасибо, что удовлетворили мою просьбу, но самому не хотелось в пехоту, солдаты говорили, что в пехоте труднее.

Свои обязанности по кооперации я сдал другим. В Ельце со мною была и жена. Я уже стал хорошо понимать, что такое любовь. Перед женщиной надо улыбаться, почаще ее целовать, после этого и любовь становится радостной и старается как бы тебе угодить, а тут при расставании она плачет, и мне становится ее жалко.

Привезли нас несколько вагонов в Тулу. На разбивке один из солдат, которые пришли за новобранцами, все смеялся над нами: завтра отведаете наших щей и каши, но я вас погоняю, и я все боялся, что попаду к нему, и все обращался к Богу с молитвой, чтобы Бог избавил меня от него. Но, видно, не усердно просил я Бога — попал я в 4-ю роту, как раз к нему. Пойдешь в уборную, он раз десять вернет тебя, что не так отдал честь ему. Со мной в 4-й роте был один небольшого роста солдат, по фамилии, кажется, Челноков. Он был из Ясной Поляны. Мы лежали рядом, и вот от него-то я и услышал опять о Льве Толстом. Челноков, бывало, рассказывал: добрый был барин, граф, писатель. Он много помогал людям бедным, учил наших сельских детей в своем доме. Он писал и говорил народу о Боге, о царе, о попах и о войне. Он говорил, что люди должны жить

мирно, не воевать и помогать друг другу и не ходить в солдаты. Он говорил, что простой народ обманывают ученые, попы, генералы. Детей у него было много, они приходили к нам в село, играли с нашими сельскими детьми и приглашали к себе, но жена его была злая, все хотела нас наказывать за лес, за скот, т. е. за порубку и потраву, даже наняла чеченца-стражника, караулить все от нашей деревни.

Но все эти рассказы о Толстом нисколько на меня не действовали, проходили мимо ушей, не задевая ничего в сознании. Я отвечал ему: как же не бить врагов, когда они нас хотят забрать? Челноков еще говорил, что Толстой учил, что никто нас забирать не будет, если не пойдете воевать и служить генералам, но в тюрьму посадить могут.

Я быстро усвоил военные приемы и в январе 1914 года был назначен в учебную команду. Заведовал учебной командой полковник Аверьянов; как-то он спросил меня, чем я занимался до службы, я ответил — чернорабочим.— Так ты что же, говно чистил? — Никак нет, я пахал землю, сеял хлеб, сажал сады.— Так, значит, ты был хлеборобом, это самый честный труд — быть кормильцем народа,— сказал он.

Так началась у меня другая деятельность и работа, уже не сельская и не кооперативная, а военная.

В июле началась война с Австрией и Германией. Мы были в лагерях за 15—20 километров от Тулы, в лесу. Солдат поднимает чемодан и бьет его об землю — война! Раздирает палатки — война! Учебную команду распустили как окончивших. Из 12-го Великолуцкого полка был создан еще новый полк, и меня назначили фельдфебелем. Стали поступать мобилизованные, были и из нашего села Бурдина; за несколько дней полк был сформирован, и нас повезли, эшелон за эшелоном, на фронт, в район Гомель — Брест-Литовск. Но все же до отъезда мне удалось побывать дома на трое суток и увидеть жену. Тесть мой Ларион Филиппович умер вскорости как я был взят в армию. Жена родила, и ребенок умер. За эти несколько месяцев в моей семье уже были изменения.

В первый бой мы вступили 15 августа по старому стилю, на праздник Успения. Особенно было жутко, когда стала бить наша артиллерия залпами, и нам было видно из леса, где мы окопались, как падали австрийцы. Потом с криком «ура!» мы бросились на них, они быстро побросали оружие и подняли руки вверх. Собрали две тысячи пленных. Нашу

роту назначили сопровождать их в Киев. Сдав пленных, я вторично побывал в Киево-Печерской лавре, у святых мощей; первый раз был там в 1910 году вместе с женой Марьяной. Там я увидел много для себя непонятного и нового.

Сдав пленных, наше начальство решило идти на фронт пешими, и так мы шли около трех месяцев. Везде были интендантские склады, пройдем верст 15—18, опять остановка, продукты везде были. А когда добрались до своего полка, нас встретили как дезертиров и всех расформировали по три-четыре человека в роту. Один офицер, еще тульской роты, командовал разведкой, он-то и взял меня к себе фельдфебелем.

В начале 1915 года я был легко ранен и направлен в Киев в военный госпиталь. Там в одном из отдельных корпусов я увидел страшную картину: солдат, больных сифилисом. Нет носов, а у некоторых даже губ нет. Страшно и жутко смотреть — как будто черепа мертвых приделаны к туловищам живых людей...

На фронте я не боялся, что убьют, по пословице: либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Возвращаясь из госпиталя в часть с группой товарищей, мы шли по ровному полю, оно было все покрыто трупами убитых австрийцев; это поле тянулось на несколько верст (наши убитые были уже убраны). Тут я снял с одного убитого австрийца золотое кольцо.

Ну, а в госпитале было хуже и страшнее, чем на фронте. Я видел, как многие умирали от заражения крови. Тело пухло и синело, они плакали и в бреду, и в полном сознании. Звали жен и детей и заочно прощались с ними, и умирали никому не нужными. Противник отступал. Наши заняли большую железнодорожную станцию. Горели облитые бензином продовольственные склады — мука, сахар, рис, овес, крупы, разные кондитерские изделия, а солдаты голодовали. Еще дальше солдаты набились в какое-то подземное помещение, оказалось — это был яичный склад длиной метров 200—300, вдоль проход, а по сторонам бетонные закрома, наполненные яйцами и залитые известковым раствором до краев. Солдаты все напирали и напирали, которых уже столкнули в известковый раствор, они захлебывались и кричали: «Спасите!» Начальство прислало охрану — выгонять из склада и вытаскивать утопленников. А еще дальше был спиртной завод. Баки со спиртом были пробиты пулями, и спирт разлился, и не менее двух десятков

солдат, опившихся и уже мертвых, валялось вокруг. И сюда поставили охрану. Так продолжалось несколько часов, потом пошли дальше. Заняли город Львов, там также горели продовольственные склады. Мы стали углубляться в Карпатские горы, покрытые лесом. Население там жило очень бедно, печи топили почти по-черному, но вдоль стен по полу был сложен боров дымохода для обогрева. В закопченной хате очень редко — два маленьких оконца. Однажды на моих глазах офицер стал приставать к молодой женщине. Ее муж или брат стал заступаться, и офицер застрелил его насмерть. Нас, несколько человек солдат, это взорвало, мы окружили его с угрозами. Он оробел и стал просить нас, что это, мол, случилось по ошибке.

Горы Карпатские покрыты крупным вековым лесом. На гору всходить легче, чем идти под гору, а на разведку ходили ежедневно. Мы уже посходили Карпаты и зашли в Венгрию. И здесь наступление остановилось. Это было летом 1915 года. Бывало, взойдешь на высокую гору и выглядываешь из-за дерева, а австрийцы тоже выглядывают на нас, но ни мы, ни они не стреляли.

С Карпатских гор мы не отступали, а бежали без боя. Около Львова приостановились на несколько дней. Хлеба зерновые уже были спелые, но уборку производить было некому: население разбежалось в местные леса. Неприятеля еще близко не было обнаружено. Начальник команды разведчиков взял нас троих и пошли на разведку днем, по нескошенным хлебам. Вышли на низменность, покрытую пышной травой. Небольшой бугорок, мы легли в траву и стали смотреть в бинокль, то один, то другой — противника не видно. Тогда начальник говорит: «Подвиньтесь», и стал сам смотреть в бинокль. Вдруг одиночный выстрел, мы встрепенулись, а начальник потянулся, и ни слова, ни вздоха. Пуля попала в бинокль и в голову, он был убит наповал. Мы бегом к штабу, доложили, и командир полка дал приказ принести тело убитого. Пошло нас шестеро с носилками. Место открытое, идти жутко, может быть, под выстрелы. Из нескошенного хлеба один из нас ползком добрался до убитого, привязал длинной веревкой, и мы втянули его в хлеб и доставили в полк, где его и похоронили. По нас больше не было ни одного выстрела, откуда был тот выстрел — неизвестно, и не ясно, что изблизи.

Расскажу еще об одной разведке за «языком». Не солдату трудно понять, как можно взять живого неприятельского солдата, да еще часового с ружьем, а дают

такое распоряжение — привести. Посылают, конечно, самых смелых и находчивых. Пошло нас трое. Я за старшего. Ночью, да еще когда потемнее — это лучше. Точно так же приходится, как кошка, к нему подкрадываться, но потом я привык. Не помню, отступали мы или наступали в это время, в Польше это было или в Западной Украине. Хлеба еще не убраны. Шоссейная дорога, край ее — кладбище. Было замечено, что на одном углу кладбища стоит часовой, окопы противника рядом; так мы пошли тихо, без разговоров, потом ползли, наконец, добрались до кладбища. Трава местами высокая, каменные доски в рост человека. Вдруг едва слышный свист из окопов противника, такой же свист с кладбища. Сидим, идут трое. Мы поодиночке прижались к памятникам. У меня поднялась фуражка на голове, а волос мой стоял, как на ежике колючки. Смерть близка — нам показалось, что нас услыхали и пришли за нами. А это привели смену часовых. Сменили и ушли. Новые часовые встали: один — около каменной доски и памятника, другой у ног. Стало тихо, так прошло несколько минут, хотя там минуты и долги, и коротки. Потом мы, как коты, бросились на них. Двое на часового, третий на подчаска. Беззвучно, сжав им горло, туго завязали рты платками и так же тихо ушли с кладбища, сначала в хлеб некошеный, а потом по дороге в штаб полка. Что там с ними делают, мы не знаем. За это мне дали Георгия 3-й степени, а другим двум георгиевские медали.

Был и другой случай с «языком». Там была другая обстановка. Громадная болотистая низменность, покрытая кустарником. Посредине протекала речка метров двадцать пять шириной, но глубокая. Окопы, наши и их, были расположены далеко друг от друга, на сухих противоположных берегах низменности. Заранее мы заготовили четыре бочки, доски и брусья для плота. По наблюдениям, где не замечалось неприятельской разведки, ночью тихо перенесли этот плот, опустили в воду, и шесть человек сели на него и поплыли в ту сторону. А что там нас ждет? А другие шесть человек остались на своем берегу для прикрытия, в случае, если нас обнаружат. Высадились на том берегу, заросшем кустарником. Скоро заметили: что-то сверкнуло. Мы быстро в ту сторону, там два неприятельских солдата. Навалились на них, завязали рты и к речке, но там нас обнаружили и открыли по нас стрельбу. Плот поднял только шесть человек, двое остались на том берегу ждать. Стрельба была сильная, но немного в сторону. Поехали и за двумя оставши-

мися, никому не хотелось ехать, но, наконец, переправили и их. Привели мы двух «языков». Из разведчиков никого не ранило, а в селе около окопов несколько человек было раненых.

Был случай: и наших двух разведчиков захватили, а они в испуге закричали: «Спасите!» — но скоро замолкли. Да, были случаи, что разведчики не возвращались назад.

Теперь последний случай, на котором закончилась моя военная служба навсегда, в июле или в августе 1915 года. Во время нашего наступления команда разведчиков идет впереди до начала боя, а потом уходит в тыл, а при отступлении разведчики идут задними. Нашим войскам было приказано отступать, и части вышли из окопов с вечера, а команда разведчиков заняла окопы всего полка, и всю ночь изредка стреляли, как будто у нас здесь все на месте. Утром уже совсем рассвело, нам было приказано сняться и уходить в направлении нашего полка. Мы быстро собрались и почти бегом по дороге, не кучей, а один за другим. Подбегаем к большому селу. К нему подходят две дороги. На одной из них мы заметили разъезд, догоняющий нас, но еще далеко — километра два-три, а потом глядим, и по другой дороге показался большой разъезд. Мы дали залп, они повернули обратно. Солнце уже высоко, в селе никого из жителей не было видно. Мы бегом пробежали все село, а там свернули в сторону, в неубранные хлеба, перебрались через большой овраг, все больше уходя в сторону. Неубранные хлеба нас скрывали. Вдруг выезжает из села разъезд, не менее пятидесяти всадников, по дороге, вдогонку за нами. И проскочили впереди нас, а мы остались сзади, но в стороне. Затем они врассыпную поехали по хлебам назад, ища нас, но не наткнулись и спешились на передышку у села. Так мы пролежали у села в хлебах часов до пяти-шести. Было слышно, как в село вступила армия. Мы спустились в овраг и по нему дошли до села, пересекли его; дошли до реки Буг и перешли вброд и пришли в свой полк. Получили обед и еще не успели поесть, как нас опять направили в разведку.

Ночь не спали, день бежали, ну, что же поделаешь, пошли. На этот раз команда разведчиков двадцать шесть человек, пятеро перешли Буг. Опять подошли к тому селу. Трое или четверо влезли на крышу — ничего не заметно. Мы разделились на три группы и пошли в разные стороны, вернее, в одну сторону, в сторону противника, но отдельно друг от друга. Хлеба не убраны. Противник не знает, где

наши войска, а мы не знаем про них, так что будем разведывать, разнюхивать: и мы, и они. Уже темнело, но летняя заря не потухает. Идем по меже, середь нескошенных хлебов, цепочкой друг за другом, без разговоров. Я впереди. Так мы прошли саженей сто пятьдесят. Шли согнувшись, и не дойдя до конца хлебов сажен двадцать, остановились и сели. Вдруг что-то мелькнуло. Я махнул рукой — не шевелись! Хотя и в темноте, но видно — подошла группа человек в двенадцать, разведка противника. Остановилась против нашей межи и стали всматриваться в нашу сторону, но так и не разглядели нас. У каждого из них в руке граната, и войдя в хлеб, пошли в нашу сторону. Когда они были уже против нас, мы вскочили. Я крикнул: «Стой!» — и с криком «ура!» кинулись на них. Место было неровное. Взрыв бомбы, я падаю, в голове пробежала мысль, что я убит, но поднялся и вперед. Уже наши держали двух разведчиков. На крик «ура» и взрыв бомбы сюда поспешили и наши две группы и конные разведчики другого полка и погнались за остальными. У меня не было ружья. Я был весь голый, лишь на одной ноге был сапог и часть штанины. Я был весь в крови, но в сознании, и мы втроем повели этих пленных опять вброд через Буг. Привели в штаб. В штабе я лишился сознания и очнулся через трое суток уже в санитарном поезде. Как и на чем везли к санитарному поезду и где он стоял, я не знаю, но привезли в Минск и поместили в дом губернатора. Там лежали тяжело раненные. Я уже стал ходить, и нас, которые на своих ногах, опять санитарным поездом повезли в Курск. Здесь нас прямо с поезда человек двенадцать взяли в частный госпиталь. Это было уже недалеко от дома. Я окреп после операции по очистке моей груди и черепа от осколков ручной гранаты, жестяной. В груди было пятнадцать осколков, в голове — шесть и один в левом глазу. Грудная клетка не была пробита, голова тоже, и я стал быстро поправляться.

Вот тут-то я и вспомнил о Толстом Льве Николаевиче. Попросил почитать Толстого, и мне дали небольшую книжечку. Я ее читал вдумчиво. Прочитал другую, третью, только Льва Толстого, и так около двух месяцев. Читал — не помню названия ни одной книги, но помню, читал о войне, о вере, о государстве, о собственности, и в прочитанном в моем сознании не возникало противоречия, и я полюбил Толстого и поверил ему, его чистосердечной правде и истине. Много и много открылось мне из книг Толстого. Я не слышал никаких лекций о Толстом, никаких бесед о том;

все это пришло в мой маленький умок — не ум, после долгих переживаний, начиная с детства и кончая войной.

Будучи в госпитале в Курске, я написал домой письмо. Долго не было ответа. Я прошел комиссию и был освобожден начисто. Вдруг меня вызывает санитарка — к тебе приехала жена. И действительно, Марьяна с сыном Тимофеем. Неописуемая радость после такой адской жизни, ежедневно грозившей смертью, и вдруг — жена, сын, и я свободен!

И через несколько дней мы поехали домой вместе в радостном настроении, хотя я только с одним глазом, другой был погублен войной навсегда.

Еще что запомнилось о войне. Оказывается, в каждом железнодорожном мосту и даже маленьком мостике для переезда в каждом быке или плече есть пустое место для закладки взрывчатки. Мы как разведчики проходили последними во время отступления, так уже были положены заряды и проведены шнуры, только зажечь — и взрыв, и мост падает в реку. Так же взрывали и зажигали склады с продовольствием. Так бессмысленно и дико уничтожался труд человека, необходимый для жизни людей.

И еще о войне. Когда стреляешь на войне, то трудно сказать — в человека или в свою смерть. Если человека расстреливают, то ясно — стреляют в человека. А на войне другое дело: не ты его, так он тебя. Все время были страшные враги друг другу, а кончился бой, пойдешь убирать раненых и сожалеешь как о брате-человеке. Так называемый неприятель, враг, раненый лежит, корчится от боли, истекает кровью, но с трудом подносит руку ко рту, значит: дай воды, ведь хотя и не понимаем словами друг друга, но понимаем чувством, и в минуты доброты сердечной отдаешь последний глоток воды из своей фляги, и неприятель, промочив свои уста, благодарит со слезами. Но бывают минуты злости, когда убили твоего друга. В это время многие не видят человека в корчащемся враге, и бывают — правда, редкие случаи — подойдет и приколет штыком раненого.

Итак, моя военная жизнь закончилась. Вернувшись домой, я уже имел представление о Льве Толстом как о добром, даже божественном, справедливом и правдивом человеке. Я полюбил его всем своим существом, хотя я еще очень мало читал его. От дикого бесчеловечного обмана я освободился и от рабства я очнулся.

В мое отсутствие сожгли наш дом за потребиловку, не нравилась кому-то кооперация. Мой брат Михаил был

дома, но к нему подходила очередь мобилизации. Когда я вернулся домой, брат тут же уехал в Ростов-на-Дону, к своему тестю капитану. Тесть принял его на работу, и на него наложили броню. У брата был работник, так он и остался со мною: и дом доделывать после пожара, и посевы. На сельском сходе меня просили взяться за кооперацию. И я взялся за свое детище — потребкооперацию. Собрал паи, хотя некоторые упрекали за первые паевые взносы. Устав был старый, утвержден был губернатором. Я поехал в Елец, в котором не был уже два года. Там уже было отделение Центросоюза — называлось: Елецкий союз потребительских обществ, хотя их было еще мало. Там оказались два человека, с которыми я был на сельскохозяйственных курсах в 1910—1911 годах, и мне, а вернее нашей кооперации, дали товаров на несколько тысяч рублей. Подыскали большой магазин. Наше Бурдинское потребительское общество пошло в гору. Частникам стало труднее, к нам стали вступать в члены и из других сел.

Так я проработал весь 1916 год. В феврале 1917 года пришла революция, как-то сразу все стало поворачиваться по-новому, и у меня началась новая деятельность. Начались съезды: волостные, уездные, губернские и даже церковные, а сельские сходы ежедневно. Меня уполномочивали на все съезды: и в волость, и в Елец, и в Орел, и даже на съезд духовенства. На одном из съездов в Ельце я резко выступил с критикой новых и старых начальников. Однажды ко мне во время перерыва подходит начальник станции Долгоруково и говорит:

— Есть у меня в деревне друг — толстовец, который так же смело говорит, он даже был знаком лично со Львом Толстым, у него много друзей в Москве, Петрограде, Самаре.

Мне сразу же захотелось увидеть его. После съезда я поехал на станцию Долгоруково, а оттуда восемь верст до деревни Грибоедово и нашел там Гуляева Ивана Васильевича; ему было уже лет пятьдесят. Познакомился и с его женой Клавдией Ивановной. Ночевал там три ночи. У него было что почитать, а главное — было что от него послушать. Он много влил в мою душу светлого и чистого.

От нас до Грибоедова было верст тридцать пять; я частенько бывал у него, а он у меня. Иван Васильевич хорошо рисовал и писал хорошие стихотворения о жизни. Впоследствии, в 1931 году, переселился в Сибирь, в коммуну «Жизнь и труд». Вместе нас судили в 1936 году, и мы отбыли

по десять лет в тюрьмах и лагерях. Во время одного из моих посещений, еще в 1922 году, когда был страшный голод в Поволжье, он зачитал письмо от своего друга Ефремова Василия Матвеевича, что в Самаре обнаружили еще одну группу людей (в девять человек), в их числе одна женщина, и отобрали у них несколько пудов человеческого мяса, которыми они торговали на базарах. Иван Васильевич Гуляев знакомил меня с тем, что делалось в Москве, он вел переписку с Владимиром Григорьевичем Чертковым и другими друзьями; у него я брал толстовские журналы «Единение», «Голос Толстого», «Истинная Свобода». Мне и самому хотелось побывать в Москве и увидеться с Чертковым.

В нашем селе, еще до знакомства с Гуляевым, даже еще до призыва в армию, была группа лиц (около десяти человек), которых у нас звали «забастовщиками». Что они делали и к чему стремились? Они открыли слесарно-кузнечную мастерскую. Я их знал. Они приглашали меня приходить, и я приходил для ремонта сельскохозяйственных машин. Я был моложе их всех. Я у них не спрашивал их стремления, да и не мог бы спросить, к чему они стремились,— у меня тогда для этого не было соображения. Но знал, что кличка «забастовщики» — плохая. Впоследствии они открыли небольшую птицеферму, над которой все смеялись. Но они, очевидно, хотели объединиться, а более тесное объединение без разрешения губернатора было невозможно. Теперь же после революции почти ежедневные сходы, собрания, и тут уже я стал с ними сближаться. Иногда они читали Толстого в мастерских, а теперь даже и на собраниях. Так у нас организовалась группа друзей. Осенью 1917 года при реорганизации волости в волостное земство были выборы, и из нашей группы тоже были выбраны трое: я — председатель продовольственной управы, Стоянцев Василий Андреевич — заведующий народным образованием, Логунов Александр Васильевич —заведующий земельным отделом.

Кооперацию мне пришлось оставить. На собрании волостного земства мы поставили вопрос о постройке большой 4-классной школы и добились этого. Моя работа заключалась в учете продовольственных запасов. Нас было три человека. Я полагал, это будет делаться простым опросом домохозяев, сколько он имеет хлеба, разных культур и сколько он может сдать на заготовительный пункт государству, а получилось другое. Приехали из Ельца представители от рабочих и солдат с отпечатанной таблицей; в кубиче-

ских аршинах указывалось, какое количество вмещается хлеба зерном, ржи, проса, овса, гречихи и других хлебов, а мы должны были ходить по амбарам, вымерять в кубических аршинах и приказывать вывозить хлеб на приемные пункты в обязательном порядке, оставляя домохозяину незначительное количество зерна для пропитания семьи, скоту же не оставалось ничего. Это была губметла или «красная метла». Мне эта работа скоро опротивела, так как каждый хозяин ругал тебя на чем свет стоит, и на первом съезде волостного земства я сложил с себя эту обязанность — председателя продовольственной управы.

Я взялся за создание кредитного сельскохозяйственного товарищества; для финансирования населения и поднятия маломощных хозяйств выдавались деньги взаймы на покупку скота и инвентаря. В начале 1918 года я съездил в Елец, привез устав, подписали и зарегистрировали — теперь уже не у губернатора, а в уезде. В скором времени я с казначеем выехал в Елец, в Госбанке получил несколько тысяч денег. Директор банка предупредил нас, чтобы мы выдавали деньги только на восстановление хозяйства и тем, кто может возвратить ссуду обратно по истечении срока, и ни в коем случае не выдавать тем, «на кого не надеетесь, что они могут возвратить: вы там людей знаете, хозяйственных и бесхозяйственных». И получилось так, что в первую очередь пошли те, кто и не думал о хозяйстве, а думал, как бы получить ссуду без отдачи. Правление товарищества стало некоторым отказывать. Посыпались на нас жалобы в волостное земство и в Госбанк, там им говорили, что деньги только для бедных. И правление оказалось в огне, пошли угрозы, жалобы бесконечные. Я созвал общее собрание товарищества, доложил, что делается, и сложил с себя обязанности председателя, хотя и был организатором товарищества. В это время стали часто наезжать из города представители разных политических партий: социал-демократов и социалистов-революционеров, призывая вступать в партию. Больше вступали в партию демократов, которые говорили: «Долой войну!» Война шла уже четыре года, и ее никто не хотел. В общем, вступало в партию мало людей, и больше из тех, кто ходил на отхожие промыслы, а крестьяне, которые работали дома, почти не вступали в партию, чего-то сомневались.

Отказавшись от работы по учету хлебов и от работы в кредитном товариществе, я вновь вернулся к своей старой работе в потребкооперации, да я ее и не оставлял совсем.

Мы, старые работники, собирались часто, обсуждали дела и стали говорить о создании сельскохозяйственной коммуны. Многим этого хотелось, а особенно за это высказывался я, хотя и был самым молодым. К нам на собрания стали приходить многие. Читали Толстого. Когда я еще был председателем продовольственной управы Тербунского волостного земства, мы собрали вагон ржи как подарок Ленину и отправили с уполномоченным Логуновым Александром Васильевичем в Москву. Так он добрался до Ленина, который сказал: «Нам не все области присылают в подарок хлеб, а здесь волость подарила вагон хлеба», и за это была прислана из Москвы благодарность Тербунской продовольственной управе.

Может быть, впоследствии это нам и помогло. В конце 1918 года более зажиточное население было обложено не обычным, а повышенным налогом, которого раньше не брали с населения. Некоторые отказались платить, говоря, что нечем. В декабре таких стали сажать раздетых в холодные амбары на ночь при 20° мороза, в нашем селе Бурдино. На сельском сходе я выступил с критикой и порицанием таких действий сельсовета и представителей из уезда и Ельца. Через день был волостной съезд, такие же случаи были и в других селах, и на этом съезде нас выступило уже несколько человек против такого бесчеловечного отношения к людям. Говорили: «Только от одних деспотов царизма избавились, а здесь явились другие не лучше!» 24 декабря нас, пять человек, арестовали и отправили в Елец в Чрезвычайку.

Большой хороший дом занимала Чрезвычайка. На стене у входа большая вывеска прибита вертикально и на ней надпись: Чрезвычайка, и от каждой буквы вправо и влево — отросток: змея с разинутой пастью. Одна вывеска пугала людей. Нас загнали в подвальное помещение в полную темноту. Посредине был громадный паровозный котел, как видно, когда-то здесь была котельная. Там уже были люди. Так мы жили там несколько дней. На допрос водили по ночам. Нас обвиняли как анархистов-толстовцев, тормозящих сбор налога для государства. Потом отправили в тюрьму. Конвою сказали: «Отведите их на тряпичный склад». Мы не знали о нем ничего, он был за городом. Мы шли и смеялись, что будем заниматься сортировкой тряпья, а оказалось, что там отправляли людей в туманные дали навсегда, без возврата. Но нас привели в тюрьму. Один старичок сказал, когда нас выводили: «Здесь, видно, живет хороший хозяин, ворота железные, да еще двойные».

Стоянцева обвинили как руководителя, а Моргачева и Логунова — как лидеров, находящихся под руководством и влиянием Стоянцева; что цель наша была тормозить укрепление нового советского государства, что мы вели агитацию в народе против сбора налогов, необходимых советскому правительству. На допрос нас водили под конвоем туда, где была вывеска с разинутыми змеиными пастями, после допросов — опять в тюрьму. В тюрьме у меня было свидание с Марьяной. Обстановка свидания точно такая, как описано Толстым в романе «Воскресение», когда Нехлюдов приходил к Катюше Масловой. Помещение разделено двумя сетками от пола до потолка. Между ними проход шириной метра два. С одной стороны сеток заключенные, с другой — те, кто пришли к нам на свидание, а между сетками по коридору ходит вооруженный страж. Чтобы услышать друг друга, надо было кричать. Шум, крик, слезы, боль душевная.

В процессе следствия все же выяснилось, что мы были активными работниками правления волостного земства и выступали на собраниях против незаконных и бесчеловечных действий лиц, которые грубо обращались с народом во время сбора налога. Нас освободили в марте 1919 года, и мы вернулись домой. В это время происходили выборы в Советы. Волостные земства были отменены, а создавались райисполкомы. Я был известен как человек общественно-деятельный, не только в своем селе, но и в волости, и, несомненно, был бы избран, но я категорически отказался и выбирать и быть избранным.

Наша группа близких друзей приходила к выводу о необходимости создания коммуны и ведения общего, коммунального землевладельческого хозяйства на братских, справедливых началах, на отрицании частной собственности, от которой страдает человечество, а также и мы. Все зло в мире происходит от частной собственности, и нашей главной целью было — воспитание детей жизнью в коммунистическом духе, чтобы дети не знали, что это «мое», а знали бы, что это наше общее, нужное и необходимое для всех членов коммуны, а также и лично для каждого труженика коммуны.

Наконец договорились. Надо приступать к делу, а для этого надо, чтобы земля была в одном месте. Обратились к нашему Бурдинскому обществу, чтобы отвели землю в одном месте, причитающуюся на наши душевые наделы, а так как мы там будем строиться и жить, то чтобы там была

вода. А чтобы нам не завидовали — пусть это будет земля похуже. Долго нас водило земельное общество, на многих собраниях обсуждали нашу просьбу. Наконец, нам было отказано: не выдумывайте разных новостей, еще передеретесь, когда вместе соберетесь. Живите вместе с нами, земли мы вам не отдадим. Идти против общества мы не хотели.

Нас было девятнадцать хозяйств, да двое из других сел. Мы согласились принять их на наши душевые наделы. Всего с детьми нас было пятьдесят человек. После революции у нас был душевой надел — одна десятина на душу обоего пола. Я продолжал работать в потребкооперации у нас в селе, а на съезде, в Ельце, был избран членом правления Елецкого потребсоюза. Но занять должность в уезде я не согласился, так как у нас все же была другая цель: во что бы то ни стало создать земледельческую коммуну. Но внештатным членом правления Елецкого потребсоюза я все еще оставался и меня вызывали на более важные заседания.

Хотя я работал в потребкооперации, но со стороны райисполкома стали уже придираться: почему не вступаешь в партию и не хочешь быть избранным в члены Совета? Члены райисполкома были уже в партии социал-демократов: Зимой, в начале 20 года, когда я был на съезде потребсоюза, мне почему-то было нужно зайти в Елецкий уездный исполком, там членами Совета были знакомые. Я много раз бывал в Елецком уездном земстве, видал, какой там был порядок: все разговаривали вежливо: «Садитесь, я вас слушаю»; и тут же дают тебе совет или распоряжение, что тебе нужно. А какая же суматоха и бестолковщина во всех учреждениях после революции! Даже за столом ругаются самым отвратительным матом и тут же смеются своей пошлости и глупости. А то все кричат: «К стенке его поставить!» И сколько времени потребуется, чтобы люди вошли в нормальную колею.

Летом 1920 года мы, друзья, все же решили окончательно сойтись в коммуну, но так как общество отказалось нам выделить землю, мы решили добровольным обменом с гражданами нашего села взять землю к рубежу деревни Языково. Земля была в частном владении, после революции присоединена к нашему селу. Земля хорошая: торфяной луг на топливо и на удобрение. Путем обмена мы собрали 12 десятин пашни без луга. В июле после уборки ржи приступили к переселению. Моя жена Марьяна Илларионовна не хотела идти в коммуну, детей у нас уже было трое. Я ей дал время — трое суток подумать, и если она не пожелает идти в коммуну, я ей оставляю все хозяйство, а сам

все же пойду в коммуну. Пишу эти строки спустя сорок шесть лет, и если бы жена не пошла в коммуну, я действительно бросил бы ее в то время, но она сказала: «Делай как хочешь, а я буду с тобой».

Первой постройкой на новом месте была моя рига, ее в селе разобрали и перевезли на новое место, и все это сделали ночью, недалеко от деревни Языково. Убранные хлеба с полей перевезли на новое место, а после молотьбы покрыли этот большой сарай соломой. Потом приступили к перевозке моих двух амбаров и еще одного — Ульшина Петра Васильевича, и построили из них дома, хотя и небольшие, но в них мы зимовали.

Однако большинство членов нашей коммуны, наших друзей, раздумали переселяться в коммуну, объясняя это тем, что их жены не хотят, но в переселении нам помогали. Дома в селе были кирпичные, пришлось их продавать или ломать и возить кирпич.

Весной 1921 года мы распахали луг и посадили капусту. Капуста уродилась хорошая, и несмотря на голодный год, мы капусту продали на хлеб зерном. Озимые хлеба были плохие. Яровые еще сносные. У нас была посеяна кормовая черная вика, которая уродилась неплохо. Как известно, 1921 год был очень голодный, особенно в Поволжье, где в 20-м году хлеб был весь вывезен, а в 21-м — неурожай и голод страшный. Пришла осень. Сельсовет потребовал сдачи хлеба для голодного Поволжья. Мы заявили, что голодает там население по вине государства, которое отобрало хлеб от населения, а в Поволжье периодически бывают недороды хлеба. Мы согласны взять детей из Поволжья, как невинных существ, человек 10—12, и кормить их до нового урожая, но хлеб сдавать мы не будем. В начале 22 года мы были арестованы и направлены в Елецкую тюрьму, я — уже в другой раз. Началось следствие. Мы и там заявляем следователю, что виновато в голоде государство, отобравшее хлеб у крестьян. Следователь был молодой, иногда вызовет на допрос и беседует о Толстом с нами, так как он о Толстом ничего не знал и спрашивал: неужели Толстой был таким, как вы говорите? Одного спросит и другому зачитает показания первого, и остальных спрашивает: вы с этим согласны? И что еще хотите добавить?

Наконец, мы предстали перед судом трибунала. На суде народу было много; мы и на суде говорили то же, что и на следствии, и просили дать нам нескольких детей из голодающих для прокормления, так как дети невинные

существа. Народ шептал: «Эти отжились — так говорят о государстве». Суд задавал много вопросов. Совещание судей трибунала продолжалось более двух часов. Уже был вечер, когда судьи зачитали приговор: ввиду искренности подсудимых и их убеждений суд решил: обвиняемых освободить, и хлеб у них взять в порядке конфискации, сколько такового найдется, бесплатно.

Из суда в тюрьму нас привели поздно вечером, был сильный снежный буран, а нам приказали немедленно собираться и выходить. Мы стали просить остаться до утра, но нас немедленно выдворили за ворота. Вышли из тюрьмы, буран свищет, гудит, метет и несет. Пошли километра за четыре на вокзал и там переночевали. На этот раз в тюрьме мы пробыли недолго, месяца полтора.

В это время, зимой 1922 года, голодающие Поволжья, женщины с детьми шли по направлению к Москве. Доходили и до нас, крайне истощенные и обессиленные. Многие на дороге замерзали. Иногда мать с ребенком или с двумя лежит на краю дороги — замерзшие. Жалко и больно было смотреть на них, на этих голодных детей. Многие делились с ними чем могли. Я встретил одну женщину, она рассказала про свою сестру. Они жили в селе под Самарой. Где голод, там и болезни. Муж умер. Соседи затащили мертвого в подвал, а его жена лежала в беспамятстве и все время просила есть, и соседи стали отрубать от мертвого мясо, варить и кормить его жену. Та стала поправляться и уже стала ходить и наткнулась на останки своего мужа, поняла, чем ее кормили, и сошла с ума. Если бы она не узнала, чем ее кормили, она, вероятно, жила бы и была в сознании.

Недели через две после того, как мы вернулись с суда домой, в сельсовет пришло распоряжение о том, чтобы отобрать имеющийся у нас хлеб. Из членов сельсовета никто не хотел отбирать у нас хлеб. Наконец один согласился — Абрам Волынкин. От села мы жили в семи километрах. Пригнали несколько подвод, и никто не хочет заходить к нам в амбар. Наконец осмелились. Мы к амбару даже не подходили и не смотрели, что там делалось. Забрали весь хлеб подчистую, даже забрали женские дерюги — насыпать хлеб в них. Хлеба не осталось, а жить надо. Решили продать коров. Мы поехали по направлению к Ливнам, там все же был урожай, и в одном селении продали двух коров за 10—12 пудов проса. Коровы были очень хорошие. Тогда мы решили, что если когда-нибудь придется покупать

какую-либо вещь, продаваемую по нужде, то надо платить за нее настоящую стоимость, а не за сколько ее продают по нужде.

Как это было больно — отдать коров почти ни за что: из-за голода.

В коммуне нам пришлось установить крайне ничтожный паек: по 100 г. хлеба на душу, но все же у нас был хлеб зерновой, а другие пекли хлеб почти из мякины и дубовой коры, а у кого была лебеда, то говорили: «Это не беда, что в хлебе лебеда, а то беда, когда ни хлеба, ни лебеды». Многие говорили, что дети не понимают, что нет хлеба, и просят, и плачут: «Дай хлеба». Это неправда. Дети все понимают, и во время нашей голодовки паек каждому выдавали на руки, а дети посмотрят на свой кусочек, лизнут его и опять приберут, а иные еще оставят на другой день и утром показывают его другим: «У меня остался, а у вас нет». Никто из нас ничего не говорил детям, и никогда дети не просили хлеба добавочного.

Весной пошла трава, стали ее варить и есть, а когда пошел конский щавель, его варили в больших чугунах и питались им.

Яровые хлеба посеяли, кое-кто из знакомых моих давали понемногу семян — пуд-два, так как все знали, что хлеб у нас забрали весь. В 1923 году урожай был хороший: и озимых, и яровых хлебов. Все убрали: хлеб в закрома, солому, мякину, сено — в ригу, скоту.

Осенью 1923 года мы построили небольшой домик для школы, так как детей надо было учить, а с нами была учительница Иванова Раиса Ивановна, одинокая, дочь кузнеца из соседнего села Солдатского. Она была очень доброй. Всех детей школьного возраста поместили в школу, где они и жили вместе с учительницей, там и варили. Детей мы отделили потому, чтобы дети наши воспитывались без семейных дрязг, а в служении и в помощи друг другу, чтобы они не знали личной собственности, а признавали бы общественную и пользовались ею сообща. В свою школу мы приняли детей из деревни Языково, которая была от нас менее километра. В этой деревне взрослые были почти все неграмотные. Эти ученики ходили к нам только на занятия. Платы мы с них не брали никакой.

Мы порвали полностью с церковью, никто туда не ходил. Детей не крестили, а я даже в сельсовете детей не регистрировал. Люди не только в нашем селе, но и в окружающих селах стали говорить, что у нас какая-то новая вера.

У меня родилось уже трое детей, и некрещеных, и нерегистрированных, и в народе пошел слух, что у некрещеных детей стали расти рога, и когда жене приходилось идти с ребенком в село, женщины без конца останавливали ее — посмотреть, как растут рога у некрещеных детей, и увидев, что никаких рогов нет, удивлялись, что напрасно говорят. У нас с женой помер один ребенок, и мы его схоронили на коммунальной усадьбе в молодом плодовом саду. Потом померла мать одного из коммунаров, мы и ее тоже похоронили в том же саду. Пошел в народе слух, что эта старушка, умершая без причастия и схороненная без попа, ходит по ночам по полю и плачет. Многие стали говорить, что видели ее не один раз во многих местах. От нашего селения менее километра были копани с водой для мочения конопли. Один крестьянин рано утром приехал за вымокшей коноплей, стал накладывать на воз и ему показалось, что что-то застонало в снопах конопли и человеческий голос якобы сказал: «Не трогай снопы, мне здесь хорошо». Он вскочил на подводу и в беспамятстве гнал лошадь километров шесть, а старушка его преследовала до самого села; он с испуга заболел и вскоре умер. Тут еще больше заговорили, что всё это от того, что она схоронена без попа и без причастия. Некоторые говорили, чтобы мы сходили к попу, отслужили панихиду, а то она может многих запугать до смерти.

— Но какая же у вас вера? — многие думали, гадали и наконец кто-то придумал, что мы католики, а сокращенно стали называть «котлы». Говорили также, что мы молимся на котел с водой и через него перепрыгиваем, и кто перепрыгнет, тот уже святой; а кто зацепится, тот грешный и должен всю ночь смотреть в котел, пока ему ответит голос: или еще походи около котла, или отдыхай.

Ходили о нас самые нелепые басни. Я часто бывал в селе, и мне и другим задавали об этом вопросы, иногда в шутку ответишь, что это всё правда, а иногда мы смеялись и отрицали, но нам все равно не верили. Вот как трудно принимаются людьми новые, непривычные им взгляды на жизнь.

В деревушке Языково всего в двадцать дворов когда-то ночевал прохожий и что-то украл, и они перестали пускать на ночлег, а отсылали к нам:

— Вон там живут «котлы», они никому в ночлеге не отказывают.— И действительно, мы никому не отказывали, даже дверей не запирали на крючки и засовы. Бывали и такие случаи: ночью зайдет чужой человек и будит нас,

просится ночевать. Так же не замыкались и амбары с хлебом.

В 1924 году женщины в коммуне стали все больше и больше не ладить, пошли побранки. Обмолотили хлеб, его нужно вывозить на повозках в амбар, а мешков почти не было. У моей Марьяны было большое рядно, стлалось в повозку и в него насыпалось зерно до 30 пудов, а у других не было такого рядна. Один приходит ко мне и говорит:

— Твоя жена не дает рядна.

Я пошел и стал говорить:

— Марьянка. Дай рядно!

— Не дам. Пусть воз дадут, и я дам.

— Да у них нет.

— А мне какое дело.

Долго я ее уговаривал и не мог уговорить, с досады я стегнул ее по голове гимнастеркой, и пояс с пуговицей попал ей под глаз, глаз распух и под глазом черно. После мне было стыдно, и больше я за всю жизнь нашу ее не трогал.

Мы пришли к выводу, что надо создать колхоз, тем более что многие наши друзья дали согласие вступить в колхоз. Осенью 1924 года мы приняли устав сельскохозяйственной артели, зарегистрировали его в райисполкоме. Теперь нам отвели землю землеустроители. Имущество наше мы распределили по душам, не учитывая, кто что вносил. Посаженный сад также разделили по душам.

Так кончилась наша коммуна. Большую роль в неудаче нашей коммуны сыграли женщины. Им чужды и непонятны были волновавшие нас вопросы о собственности, о коммуне, об общем труде, о воспитании детей и другие важные коренные вопросы жизни. Они оставались на прежнем уровне привычной, обособленной крестьянской жизни. Не знаю, можно ли их винить за это или надо жалеть, но мы оказались не в силах сделать им понятными и близкими понятия и стремления, и всё, чем мы жили. Общая жизнь не выдержала такого расхождения, и мы опустились на ступеньку ниже.

Не знаю, прав ли я, но у меня ото всего этого осталось чувство горечи и некоторое неуважение к женщинам, хотя я знаю, что не все такие: были и такие, которые могли считаться равными товарищами в нашем труде.

Хотя я жил в коммуне, но руководство кооперацией лежало на мне, хотя я и не всегда бывал там. Так, правление с моего согласия заготовило сорок голов рогатого скота,

я сообщил об этом в Елец. Мне ответили, что их надобно пригнать в Елец, там уже есть двести голов скота, и его по договору надо отправить в Москву на бойни, и что меня уполномочивают свезти и сдать скот. Я согласился, так как мне давно хотелось побывать в Москве и познакомиться с В. Г. Чертковым. Погрузили скот в вагоны, и нас несколько человек сопровождающих тоже поехали в товарном вагоне вместе с кормом и продуктами. Хотя я был за старшего, но с нами был специалист по сдаче скота и определению сортности мяса, так как от сортности зависит цена на мясо. Приехали в Москву, железнодорожная ветка была прямо на бойню. На следующий день приступили к убою нашего скота. Норма на двух бойцов за восемь часов 45—50 голов. Они так быстро справлялись, что, разделав тушу на две части — зад и перед, спустят в ледник, а там еще все жилки бьются.

Покончив дела со скотом на бойне, произведя расчет через банк, я освободился и пошел искать Владимира Григорьевича Черткова. Нашел, не помню где: или в Лефортовском, или в Газетном. Принял он меня хорошо, беседовали не менее двух часов, обо всем он меня спрашивал, и сколько у меня там друзей. Потом сказал: «Приходите вечером, у нас будет собрание».

Я пришел, было человек тридцать молодежи, потом вышел Владимир Григорьевич, все расселись. Первым его словом было: «У нас здесь присутствует гость из Орловской губернии, Елецкого уезда, я с ним беседовал сегодня и прошу его рассказать нам о своей жизни».

Все присутствующие в один голос сказали: «Просим!» Я подошел к столу, встал рядом с Владимиром Григорьевичем и рассказал кратко, как мог, как я услышал в первый раз о Толстом в 1910 году, и во второй раз в Туле от яснополянского рекрута, и как уже в 1915 году, будучи раненым в госпитале, я вспомнил слова этого рекрута о Толстом, что он против войны, и попросил книг Толстого, читал их с увлечением и принял душой всё, о чем говорил Толстой. Рассказал о судах — и о первом, и о втором, и как нас все-таки оправдали. Рассказал и об организации коммуны.

После меня встал Чертков и стал говорить: друзья, вы слышали, что рассказал нам этот человек о своей жизни. Такие люди — самородки из народной гущи... Вырос сиротой в людях, среди трудового народа. Не знал ничего о Льве Николаевиче. Великая истина, раскрытая Толстым, пронизывает своим светом темноту народной жизни и пробуждает

темных людей к разуму и сознанию. И вот перед нами этот человек, почти безграмотный, и ведь он все время был в труде. Это не то, что вы: собираетесь на собрания, слушаете доклады и лекции и сами читаете, и у многих из вас родители указывают вам истинный путь, а эти люди безграмотные, сами стали на путь правды и добра...

Много еще говорил Владимир Григорьевич на эту тему о нас и о городской молодежи. Раздались голоса: и мы хотим создать коммуну.

На следующий день меня пригласила одна старушка за книгами. И я пришел в Газетный, в помещение Московского Вегетарианского общества. Там было много книг с продажи. Пожилая женщина, она была вечером у Владимира Григорьевича на собрании, стала расспрашивать, какие у меня есть книги. Я назвал несколько, но и те моего друга И. С. Гуляева. Она набрала мне книг и книжечек и порекомендовала прочитать «Папалаги» — о том, как один индеец попал в Лондон или Париж и, вернувшись,рассказал, что он видел большие горы, и в них там живет много людей, но они не знают друг друга. Вот на острове мы знаем всех, а там в одной горе — и не знают, кто живет рядом. Это говорилось о больших многоэтажных домах, где и сейчас люди так живут.

Владимир Григорьевич отнесся ко мне по-доброму, как к сыну. Встречался я с ним и позднее, наверное, когда ехал для переселения в Сибирь в 1931 году. Помню, он дал мне отнести какой-то пакет. Я взял и положил в наружный карман. А он вынул и говорит: «Так в Москве не носят, это тебе не деревня, здесь надо держать ухо востро, тут тебе на ходу срежут подошвы»,— и сунул пакет во внутренний карман.

Я уже сказал, что мы на месте коммуны создали сельхозартель «Возрождение» (так же называлась ранее и коммуна). В начале 1925 года мы решили взять трактор «Фордзон» — американский. Одного из нас послали на курсы трактористов. Получили трактор, и это было чудо: и возит, и пашет. Наш трактор был первый в районе, да и колхоз был единственный и первый в районе. Хотя большой связи с районом у нас не было, но начальство «росло», зная, что у нас в колхозе, в их районе, есть трактор. Когда были районные съезды, нас с трактором требовали явиться. Мы докладывали, как он работает — пашет, косит, возит, и районная власть гордилась: вот что дает советская власть крестьянам.

Всем было известно, что мы порвали с церковью. Как-то я приехал на районный съезд на тракторе. Народу было много. Подходит ко мне председатель райисполкома

Полухин и просит сказать народу что-нибудь о церкви. Я согласился, но сказал коротко:

— Товарищи! Священники-попы в церквах проповедуют с амвонов, обманывают народ, затуманивая истину. Недалеко то время, когда с амвонов народ будет слушать доклады ученых, академиков на тему о повышении жизненного уровня народа, а особенно крестьянства. Тут уж мне засыпали столько аплодисментов, что и на тракторе не увезешь.

Недалеко от нас проходила большая дорога — Екатерининский большак, с Орла на Воронеж, 70 метров шириной. Райисполком разрешил нам вспахать две трети этой дороги для нашего коллектива. Мы подняли целину дороги длиной на два километра. Посеяли пшеницу, которую нам дали с сахарного завода Хмелинец. В нашей местности пшеницу не сеяли, а рожь. У нас пшеница уродилась хорошая. Хлеб в артели мы выдавали на каждую живую душу, по равной доле, а не только на рабочего. Решили купить мельничный постав к трактору. Тракторист Петр Васильевич Ульшин съездил в Орел, купил и привез, и мы устроили мукомольную мельницу в селе Бурдино. Гарнцевый сбор должны были сдавать государству.

В 1922 году был голод, и за килограмм хлеба платили деньгами и вещами, сколько запросят, а в 1924 году рожь у нас стоила 20 коп. В 1927 году у нас был неурожай ржи, и у некоторых членов колхоза хлеба было совсем мало, и я как председатель артели часть гарнцевого сбора роздал нуждающимся членам для питания, а за гарнцевый сбор строго спрашивали. Уполномоченный райисполкома сделал проверку. Гарнцевого сбора в наличии нет, а по записям есть. Составили акт и направили в суд, в райисполкоме на меня смотрели косо, что не вступаю в партию. Суд присудил меня к трем годам тюремного заключения с конфискацией имущества. Я обжаловал в уездный суд и повез кассационную жалобу в Елец сам. Уездный суд приговор отменил, а гарнцевый сбор обязал уплатить из нового урожая.

Наступил 1929 год. Началась коллективизация в районе, где наш колхоз был единственный. Все начальство района вело агитацию за коллективизацию, а их упрекали и даже смеялись: «Нас хотите собрать в колхоз, а сами не идете». Тогда они из разных селений подали заявления в наш колхоз о приеме их в члены, чтобы им легче было вести агитацию. Нам не понравилась такая подделка, и мы на общем собрании артели в приемы в члены начальству рай-

исполкома отказали. Это, конечно, их очень обидело и восстановило против меня. Из числа партийцев некоторые были на моей стороне и советовали мне уйти или уехать:

— Тебя теперь будут преследовать на каждом шагу и съедят вовсе. Ты способный, поезжай на курсы директоров совхозов.

Но я не хотел уезжать: буду до конца и будь что будет.

Наконец, районное начальство разделалось со мной — вычистили из колхоза как «сектанта-толстовца» и раскулачили меня, взяли корову и барахлишко, лошадь же моя находилась в колхозе. Я поехал в Елец, где меня многие знали. Там все удивились на неразумные действия районного начальства, и решение райисполкома было отменено. Барахлишко мое пропало, а корову два или три месяца не возвращали, ее взяли себе родственники председателя сельсовета. Мне давали любую корову, отобранную у людей, но я не брал чужую, а требовал свою, и наконец добился. Но районное начальство все же хотело меня выслать как раскулаченного, а сельский актив не соглашался с этим: во-первых, мы были сиротами, более четырех лет я жил в работниках; во-вторых, я уже пятнадцать лет работал в потребкооперации, и вся беднота и весь актив в нашем селе Бурдино были за меня. Я продолжал работать председателем колхоза, ведь колхоз состоял из наших друзей, и они не соглашались с районным начальством переизбрать меня. А я шел напролом. Бывали такие случаи: в мое отсутствие добьются у актива бедноты какого-либо решения против меня, а в моем присутствии ни один не поднимает руки против меня. Какой-нибудь уполномоченный с ума сходит, что беднота на моей стороне. Так прошел весь 1929 год. Во время молотьбы прокурор района приехал меня арестовывать, но я был на стогу соломы, и так они постояли, поговорили со мной и не взяли.

В конце 1929 года началась без согласия народа коллективизация. Стали собирать на общие дворы лошадей, коров, нетелей, овец. Стали отбирать плуги, бороны, повозки, корма из сараев у крестьян, и вдруг в январе или феврале 1930 года появилась статья Сталина «Головокружение от успехов». На следующий день народ с радостью побежал на общие дворы за своим скотом и инвентарем. Но актив был очень недоволен, говорили: недолго будете торжествовать, осенью помажем некоторым задницу купоросом, запрыгаете по-другому, сами побежите в колхоз без оглядки. Так го-

ворил председатель райисполкома Александр Алексеевич Ульшин.

В 1930 году все работали индивидуально, в августе некоторых обложили хлебопоставкой, по 500—800 пудов, заведомо не выполнимой. Этих людей в сентябре — октябре судили и дали по 3—8 лет лагерей с конфискацией имущества. Попал и мой брат Михаил Егорович на три года, и Волков Тимофей Семенович на шесть лет, который когда-то собирался с нами в коммуну, да жена не захотела; его послали в Караганду, где он и сложил свои косточки, а брат Михаил выжил, но более не вернулся к сельскому хозяйству, остался на производстве.

Зимой 30 года опять началась коллективизация, и здесь уже не было головокружения, всё пошло как по маслу, без скрипа. Человек 15—20 были осуждены, а остальные, более зажиточные середняки, первыми пошли в колхоз. Некоторые из бедноты еще сомневались, колебались, а некоторые из них ушли на производство навсегда, забрав свои семьи.

От И. В. Гуляева я узнал, что Чертковым возбуждено ходатайство перед ВЦИКом об отводе земель для поселения коммун и артелей из единомышленников Л. Н. Толстого. Потом Гуляев сообщил мне, что уехали ходоки выбирать участок для поселения. Потом — что участок уже закреплен в Западной Сибири.

В январе я выехал в Москву. После 24 года я не был там. Приехал к В. Г. Черткову, он меня принял радушно, как своего. Рассказал мне о готовящемся переселении. Я сказал ему, что тоже хочу переселиться к друзьям-единомышленникам Толстого. Чертков направил меня в подмосковную коммуну «Жизнь и труд». Туда мы шли вдвоем с Дмитрием Киселевым, приехавшим из Тулы также по вопросу о переселении. Дмитрий веселый человек, по дороге со смехом мне рассказывал, как они держат кур, а петухов не режут, а их много: как запоют, каждый на свой лад!

Пришли в коммуну. Председателем был Борис Мазурин. Он основательно поговорил с каждым из нас. Пришло время обеда, пригласили нас за общий стол. После обеда мы немного помогли колоть дрова на кухне. Вечером мы еще беседовали с Мазуриным. Он спрашивал, какие у нас семьи, какое имущество. Я ему сказал, что хотя у меня и было имущество, но взять его теперь невозможно, а семья восемь душ, трое из них взрослые. Мазурин еще задал мне вопрос шутя: «А работать ты не ленив на такую семью?» Я тоже

ответил шутя: «Ведь сейчас я могу тебе соврать, но раньше не ленился». Я рассказал, какое у меня было имущество, и сад около гектара, посадил в 23 году. Потом сказал, что домой я уже не поеду, а если вы не примете меня, то буду устраиваться здесь на работу или на курсы пойду учиться, у меня была рекомендация. Вечером за ужином со мной поговорили уже многие члены-коммунары, расспрашивали и решили принять меня.

В коммуне еще осенью 30 года была направлена в Сибирь на место нового поселения рабочая дружина для подготовки жилья и т. п. Когда я пришел в коммуну, рабочий и продуктивный скот за несколько дней до меня уже был погружен в вагоны и отправлен с Петром Яковлевичем Толкачом, а теперь готовилась к отправке еще группа коммунаров: Марта Толкач с детьми Олей, Лидой, Вовой, Нина Лапаева с сыном Шурой, Надя Гурина, Ольга Любимова, Ваня Сурин, Миша Барбашев, Вася Лапшин и другие, и я, Димитрий Моргачев, поехал с ними. Погрузились в вагон пассажирского поезда и тронулись в Сибирь. Сибирь для всей нашей небольшой группы была новой, неизвестной страной.

Всё еще было покрыто снегом. На четвертые сутки приехали на станцию Новокузнецк, за нами были высланы лошади с бричками. Погрузились и поехали. Подъехали к Томи, по льду уже идет вода, переезжать рискованно, но все же переехали благополучно. На другой стороне реки поселок, это оказался город Кузнецк — старый. Маленькие деревянные домики, на горе, над городом, старая крепость. В городе когда-то отбывал ссылку Достоевский. Но меня больше удивило село Феськи, через которое мы ехали. Домики тоже деревянные. Я зашел в один дом попить. Чистота и опрятность, цветы на окнах и даже на полу в кадках, полы крашеные, а ведь Сибирь считали каторжной, а здесь намного лучше живут, чем в центральной России. У нас полы в избах были редкость, а цветы были только у духовенства, а у крестьян ни у кого не было.

Вот приехали мы в свой новый поселочек. Несколько домиков недалеко от берега реки Томь прижались к горам. Переночевали на новом месте. Наутро на работу. Нужно было делать кухонный очаг под навесом. Никто не мог класть печи, сделать котел и духовку. Предложили мне, а я не только не мог их делать, а даже не видал, как их делают. Надя Гурина говорит мне: «Пойдем, я видала, как клали кухонный очаг»,— и мы с ней вместе взялись за работу и к вечеру сделали кухонный очаг с плитой, котлом и духовкой.

Тяга была хорошая: быстро варилось и поджаривалось. Еще зимой был сделан новый большой дом; хотя еще крыши не было, но нужно было в нем делать печи. Я уже оказался печником и приступил к кладке печей трех и пяти оборотов. Как сложили печи, подсушили, и тут же поселились жильцы: новая семья коммуны стала прибывать. Стали покупать дома в окрестных селах, перевозить и ставить. Я все клал печи.

По вечерам мы обсуждали, как лучше, свободнее устроить семейную жизнь коммунаров, и все пришли к выводу: надо каждой семье предоставить отдельную комнату или домик. Было известно, что прибудут на новое поселение несколько сот семей из разных концов страны, разных национальностей и разных оттенков христианской религии. Материальной помощи переселенцам не было ни от государства, ни от кого, лишь предоставлялся льготный переселенческий проезд по железной дороге, согласно билетам, выдаваемым Наркомземом. У кого был хлеб и фураж, опять-таки, согласно правилам, их сдавали на местах по соответствующей переселенческой квитанции, а здесь получали в местном «Заготзерне». Это было очень удобно. В апреле 31 года приехали последние члены коммуны «Жизнь и труд», закончив ликвидацию хозяйства под Москвой. Стали усиленно подъезжать переселенцы из разных республик и областей Советского Союза.

Кое-что посеяли весной. Озимых посевов не было. Приезжающих приходилось размещать с трудом, по несколько семей в домике или квартире. У кого из приезжающих были средства, поручали им самим покупать дома в окружающих селах; потом из разбирали, перевозили и ставили силами коммуны. У кого не было средств, как у меня, тем строили за счет коммуны, с этим не считались.

Всё привезенное имущество, и скот, и хлеб вступавших в члены коммуны оценивалось и принималось в общее достояние коммуны и записывалось на лицевой счет сдававшего, так же как и деньги.

Переселявшихся всё прибывало, и даже начали приезжать самотеком, без переселенческих билетов, и не только единомышленники Толстого, но и из разных религиозных течений: субботники, малеванцы, баптисты, добролюбовцы, но надо сказать, что и эти люди были близки по своему отношению к жизни и быту к толстовскому учению. Были субботники, которые еще в царское время присуждались к 12 годам каторги за отказ от военной службы. Малеванцы и добролюбовцы также не брали оружия в руки. Почти все при-

держивались вегетарианства. Все отрицали церковную веру с ее обрядами, иконами, таинствами и т. д. Ну, и, само собой разумеется, вели более или менее нравственный образ жизни: не пили, не курили, не сквернословили. Потом решили не стеснять друг друга в выборе формы жизни, и все приехавшие могли объединяться по их желанию в коммуны, артели, общины. Так, кроме коммуны «Жизнь и труд», создались: артель «Мирный пахарь» — субботники и украинцы; «Всемирное братство» — община из-под Сталинграда, считающая себя последовательницей Толстого. Барабинская группа создала свое поселение в 3—4 километрах от коммуны. Бийская группа создала свое хозяйство около шахты Абашево. Омская группа была небольшой. Так что на земле, отведенной в Кузнецком районе Западной Сибири под толстовское переселение, создалось несколько самостоятельных групп.

Я был уже в коммуне, а семья моя находилась на родине, где когда-то создалась наша первая коммуна. В июне 1931 года я поехал за семьей. Ехать нужно было через Москву, и Совет коммуны дал мне несколько поручений. Часть членов коммуны, прибывших из Киргизии, были там лишены гражданских прав. Коммуна ходатайствовала за них, указывая на незаконность лишения, так как они не были эксплуататорами. Прибыл я в Москву и пошел к В. Г. Черткову. У меня было еще словесное поручение — выяснить, нельзя ли будет нам переселиться за пределы страны, не помню точно, куда предполагалось, кажется, на какой-то остров.

Владимир Григорьевич договорился с заместителем М. И. Калинина — со Смидовичем Петром Гермогеновичем, в какой день он нас примет, и в назначенный день я, Дима Чертков и Вася Шершенев пришли в приемную Калинина. У Калинина и Смидовича был один секретарь между двух кабинетов. Всего в приемной Калинина было восемнадцать кабинетов, где принимали крестьян с просьбами и ходатайствами по всем делам, и сами секретари решали от имени Калинина, куда направить просителей. Кабинет Калинина был на втором этаже и туда пускали по пропускам. Нас пропустили, сидим в секретарской в ожидании Смидовича. Заходит М. И. Калинин, я его не знал. Все встали и сказали: «Здравствуйте, Михаил Иванович». И я встал, я понял, кто это. Калинин — небольшой старичок, очень схожий со своими портретами. Он, обойдя секретаря, зашел в левый кабинет. Через несколько минут приходит человек и спра-

шивает: «Пришел ли Михаил Иванович? Мне надо к нему». Секретарша отвечает: «Сейчас доложу». А этот человек говорит: «Он вчера давал мне поручение, и мне нужно с ним поговорить».— «Нет, я спрошу»,— и секретарша вошла в кабинет Калинина, тут же вышла: «Нет, Михаил Иванович не может вас принять». Человек пожал плечами: «Тогда передайте ему эту папку». Тут я подумал: «Как крестьянам ездить к Калинину, когда он не принял, по-видимому, члена правительства».

Наконец, пришел Смидович, позвал нас к себе в кабинет. Он сам закрыл дверь на крючок и поставил ширму; потом сел и усадил нас. Начался разговор. Я подал ему ходатайство коммуны о восстановлении лишенных избирательных прав. Он прочитал и сказал: «Это очень плохо, не наши люди». Долго мы говорили об этом. Наконец, Смидович сказал: «Я поговорю об этом с товарищами, а вы через несколько дней наведайтесь». Потом он попросил, чтобы нам принесли по стакану чая и какую-то сдобу. Тут мы ему помянули о переселении за границу, на остров. Он посмотрел на нас удивленно и сказал: «Нет, друзья, этого мы не разрешим, да и я не могу поставить этот вопрос перед своими товарищами. Там безработица, а у нас нужны рабочие, так что живите на своем месте и будьте примером коммунистической общественной жизни в нашей стране». Так сказал Петр Гермогенович Смидович.

Перед поездкой за семьей на родину было получено мною письмо от жены, что на мое имя пришел какой-то большой пакет, но сельсовет его не отдает, да еще что-то ругает меня. Пакет этот был — переселенческие документы от Наркомзема моей семье на переезд по железной дороге по льготному, переселенческому тарифу в Западносибирский край, до ст. Новокузнецк. Я рассказал об этом Владимиру Григорьевичу. Он мне советовал не ехать за семьей самому, время такое безответственное, и могут меня посадить. Пиши, мол, ей, чтобы она сама с детьми ехала сюда, в Москву. Но я не послушался его, говоря, что я никому не покажусь. Владимир Григорьевич был даже недоволен, что я поехал. От Москвы четыреста километров, приехал на станцию Тербуны перед вечером, до дома 7—8 километров, пошел пешком по полевой дороге. В моем доме жил один коммунист. Иду по своему саду, уже было почти темно, а жена коммуниста увидела меня. Поздоровались. На следующий день быстро собрали свое незначительное имущество, отвез на станцию и сдал в багаж до Москвы. Это было в на-

чале июля, и я со своей семьей пошел в сарай спать. Мы с женой долго разговаривали о Сибири, о коммуне. Уже под утро заходит несколько человек с председателем сельсовета. Арестовали меня и хотели забрать оставшееся барахлишко, но мы его успели уже сдать в багаж. Повезли меня в село Бурдино, поместили в церковную караулку. Предположение Черткова оправдалось.

Сельсовет находился рядом с домом дьячка. На этот день было намечено общее собрание села Бурдино. Слух о моем аресте быстро облетел всё село. Знакомые и друзья стали собираться в караулку ко мне. Я шутя всем отвечал: «Я приехал сюда, чтобы получить часть имущества церкви, ведь я много лет сюда подавал». Потом говорили о Сибири, о коммуне. Караулка переполнилась народом, потом пришел председатель сельсовета и сказал, чтобы шли на собрание, а меня охранять поставили молодого парня, чудачка. Часам к одиннадцати пришел мой сын Ваня, принес мне завтракать, вареных яиц; я немного позавтракал и предложил моему караульному поесть, а сам вышел. Обошел вокруг церкви, в церковной ограде было кладбище, где похоронены мои родители: отец, мать, дедушка и бабушка. Обошел их могилы, постоял около могилы матери. Потом подошел к кирпичной ограде. Посмотрел: на дороге никого нет, и тут же созрела мысль — уйти. Перепрыгнул через стену, перешел дорогу, спустился в ложок к кузнице, а там уже прибавил шагу, свернул на огороды, засеянные хлебом и коноплей, и бегом, пригнувшись, добежал до лесу и в лес. Я ушел уже около двух километров, и тут услышал крик и смех всего общего собрания: «Лови, лови его!» Но теперь было уже поздно ловить меня. Да и где ловить? Ведь никто не видал, куда я ушел. Мой сторож подождал меня, а потом видит — меня нет, пошел и заявил собранию, что я убежал. Тут-то и закричали, и засмеялись.

Прошел я по лесу километров пять в место против нашего поселка, но до него тоже было километров пять. Стало темнеть, и я пошел напрямик по хлебам. Пришел к дому уже в темноте. Убедившись, что здесь тихо, показался жене, а сам отправился спать в нескошенную рожь, провел там ночь и заболел животом. Пришла жена, а я умираю от боли, она всё плакала; я провел там весь день на жаре, а вечером кое-как добрался до друга, бывшего нашего коммунара Петра Васильевича Ульшина, нашего тракториста. Попил чаю с вареньем и мне стало легче, тут я поспал и стало совсем хорошо.

Я был в трудном положении: дом занят, какие были вещицы, отправили в Москву. Куда деться жене с шестью детьми, из которых только один уже взрослый — Тима. Надо было всем уезжать. Хотя лошади теперь были все колхозные, но люди-то были свои, дали лошадь, и сестра довезла мою семью до ст. Тербуны. Взяли билеты, но не на тот поезд, который шел без пересадки до Москвы, в середине дня. Районное начальство знало меня и ненавидело и часто приходило к этому поезду, а потому мы взяли билеты на поезд, отходящий утром, с пересадкой в Ельце. Жена с детьми садилась с перрона, а я стоял около церкви с другой стороны поезда, метрах в сорока от линии. И когда поезд дал второй звонок, я бегом к поезду, прицепился с другой стороны, в вагон взошел уже на ходу. В Ельце пересели на другой поезд на Москву через станцию «Лев Толстой» и благополучно приехали.

На следующий день я уже один пришел к Смидовичу. Меня долго не пропускали на второй этаж. Охрана говорила, возьми пропуск у кого-либо из секретарей. И началось хождение по секретарям, никто не дает пропуска и никто не хочет позвонить к секретарю Смидовича, который знает, что я должен зайти. Наконец, один все же позвонил. Секретарь Смидовича приказал дать пропуск, и я прошел к Смидовичу. Захожу, поздоровался. Петр Гермогенович стал задавать вопросы о месте расположения коммуны. Я объяснил: место горное, отроги Алтая, есть и лес, и сенокосы. Строим своими силами дома и скотные дворы. Покупаем рабочий скот. Одним словом, оснащаемся основательно.

— Это хорошо,— сказал Смидович и далее спросил:

— Как далеко от вас строится завод? Не просится ли в вашу коммуну местное население?

Я отвечал, что завод от нас строится в 25 километрах, а из местного населения пока еще никто не просится к нам.

Наконец он говорит мне:

— Ваше ходатайство о восстановлении в правах граждан членов коммуны я согласовал с товарищами, они дали согласие просьбу удовлетворить, о чем вам будет письменное уведомление.

Смидович был в хорошем расположении духа и много интересовался коммуной. А когда я рассказал о себе, что в мое отсутствие меня лишили избирательных прав как сектанта-толстовца, Смидович сразу же сменил свое настроение и нахмурился:

— Это дело хуже,— сказал он.

Я объясняю ему свое положение, что я раньше с рабочей дружиной уехал в коммуну, а теперь приехал за семьей. Семья уже в Москве. Взгляды Толстого я разделяю с 1915 года. Организовал у себя в селе кооперацию, организовал коммуну в 1922—1924 годах, которая впоследствии перешла на устав артели, первой в нашем Елецком районе.

Смидович задавал еще много вопросов. Наконец сказал:

— Я даю тебе отношение в Моссовет, чтобы тебе выдали переселенческие документы и билеты.

Я поблагодарил его. Смидович на прощанье сказал:

— Желаю вам успеха в строительстве новой общественной формы жизни — коммунистической.

Я вышел от него в радостном настроении, был рад и за себя, и за других.

На другой день братья Алексеевы — Петя и Илюша, съездили за моим багажом. Съездили со мною в Моссовет — получить документы и проездной билет — книжечку, куда были вписаны я и вся моя семья и еще несколько человек, ехавших в коммуну.

В июле 1931 года мы приехали в коммуну. Мне выделили маленький домик, бывшую баньку, где я прожил до 1936 года, а семья до 1947 года. Я опять приступил к строительству жилых и хозяйственных построек, а сын Тимофей пошел в полеводческую бригаду.

Я чувствую потребность описать свои переживания и впечатления от жизни в коммуне «Жизнь и труд», но пережитого так много и такого яркого, полного и разностороннего, что охватить всё я не в состоянии, тем более что и память уже ослабела, и я буду описывать то, что еще не изгладилось совсем из памяти.

К осени 1931 года в коммуне насчитывалось более пятисот душ, а урожай был собран небольшой, хлеба нет, на рынке он очень дорог, один кирпичик стоил 40—50 рублей. Наличных средств оставалось мало в коммуне, так как покупали дома и рабочий скот. Совет коммуны собрал общее собрание для решения насущных вопросов о хлебе. Было решено поручить совету подыскать работу для всех трудоспособных мужчин. Скоро работа нашлась. Договорились с лесозаготовительной конторой построить по речке Абашево, впадающей в Томь, на трех участках — Каменушка, Сленцы и Узунцы — дома и подсобные помещения для рабочих лесозаготовителей. По условиям пайки хлеба и продовольствие выдавалось не только рабочим, но и членам их семей.

Так все трудоспособные мужчины выехали из коммуны на производство в Горную Шорию. Получаемая зарплата, а главное, продукты, получаемые на пайки, сильно снизили напряженность с питанием в коммуне. Я работал на среднем участке — Каменушке, где работой руководил Гриша Гурин. Закончили громадный клуб уже к весне, и наша бригада перешла на постройку железной дороги — ветки в лесную гавань Абагур, где также выдавался паек и на членов семьи.

В 32 году коммуна посеяла уже больше хлеба и овощей. Овощеводство давало коммуне в дальнейшем основной доход. Сбыт овощей был неограниченный, так как километрах в 25 от нас строился гигантский Кузнецкстрой, овощи требовались очень, а местное население ранее огородничеством не занималось.

К июлю месяцу вернулись с производства все члены коммуны и приступили к ее благоустройству и постройке жилых домов, скотных дворов, амбаров, овощехранилища и т. п. Населения в 1932 году стало немного меньше, чем в 31-м, происходил естественный отсев, как во всяком переселении: кто убоялся трудностей, кому климат не подошел, кто не нашел того, чего ожидал в мечтах. К этому времени в коммуне уже были люди разных специальностей по всем видам труда, необходимым в сельском хозяйстве. Хозяйство росло не по дням, а по часам. Были люди со средним и даже высшим образованием, и это помогло нам организовать свою школу. Так что детям уделялось много внимания и серьезности.

Построили две теплицы для выращивания ранней рассады: огурцов и помидоров. Заложили парниковое хозяйство на триста рам. В теплицах в зимнее время выращивались огурцы и помидоры. Огородники были опытные: Сережа Алексеев и Прокоп Кувшинов. Вначале по сбыту овощей был уполномочен от коммуны Василий Шипилов, но он заболел, и тогда выбрали меня.

Коммуна находилась от г. Сталинска вверх по Томи на 20 километров. Там на берегу Томи построили домик как перевалочную базу. Туда причаливали наши гарбуза, которые мы завели для облегчения транспортировки овощей, картофеля, хлеба. Там выгружали и развозили уже на подводах по столовым Кузнецкстроя. Назад гарбуза тянули лошадью — тросом. Весь рабочий день я ходил по цеховым столовым завода, договариваясь, кому чего и сколько надо.

Вечером собираемся в свой домик на берегу реки, и я даю указание каждому: сколько и в какую столовую.

Под огород мы раскорчевали участок поймы реки, и родились овощи хорошо. Сажали мы их не менее трех гектаров, и в теплые дни прирост достигал ста пудов с гектара в сутки, а в холодные падал до десяти пудов с гектара. Это я помню потому, что сам их сбывал. Если после снабжения столовых что оставалось, то отправляли овощи на базар. Скажу — кому ехать, почем продавать. Со всеми столовыми расчет производился через банк перечислениями, а вырученные на базаре деньги передавались мне, а я их передавал в коммуну или сдавал на текущий счет в Госбанк. Все было основано на честности, на совести. Я уже знал, например, сколько должно быть выручено денег за воз огурцов, и когда продававший сдавал деньги мне, то я видел, что полностью, но были и такие случаи: чувствую, что деньги сданы не все, но я никому не говорил об этом, даже не делал замечания тому человеку лично, а пишу об этом только теперь, через тридцать пять лет. Да, совесть — великое дело, тем более, когда тебе доверяют; и вот этот человек, зная за собой грех присвоения, всегда стыдился, и не только меня, но и других. Ему казалось, что все знают об этом, что он нарушил доверие, оказанное ему.

Были в Сталинске столовые Инснаба, т. е. снабжение иностранцев, специалистов, инженеров, которые строили завод: немцы, бельгийцы, французы; кто строил доменные печи, кто прокатные станы, кто ГЭС, кто водоснабжение. О ценах там не разговаривали, только давай свежие овощи. Они когда садились за стол, то жевали сырую капусту — боялись цинги. Даже представители приезжали из горсовета в коммуну и просили снабжать иностранцев свежими овощами.

Для строительства коммуны требовалось железо, гвозди, стекло и другие материалы, даже мануфактура. Всё это трудно было найти в то время в продаже, и мне приходилось доставать через заводоуправление или через цеховые столовые, и много пришлось походить по заводоуправлению, а там отделов бесконечное множество и в каждом отделе что-нибудь есть. Впустую, т. е. с деньгами, ничего не выходило, и я нашел выход. В корзинку зимой возьму несколько кило огурцов свежих, помидоров, прихожу в тот отдел, что нам нужно, и тихонько покажу бухгалтеру и заведующему огурцы и помидоры. Они тут же затрясутся и просят продать им. Я говорю, что этого у нас в коммуне много, а у вас много

того, чего у нас нет, но очень нужно. И передаешь корзиночку, ее освободят и выпишут, что нам нужно; конечно, все это за деньги. Надо было застеклить у нас большую теплицу, я нашел стекло зеленоватого цвета с проволокой внутри. Привез образчик домой, огородникам, те говорят: «Давай скорее!» Также был нужен двигатель небольшой для молотьбы хлебов, даже съездили за ним в Кундыбаш, но по распоряжению Кузнецкого завода.

Появлялись в коммуне люди, колеблющиеся по разным причинам, и они уезжали обратно на родину, получив расчет за внесенное в коммуну имущество. Хотя те, кто вступал в коммуну серьезно, вносили свое имущество безвозвратно и никогда его назад не спрашивали и не получали.

В коммуне без всякого сговора между отдельными лицами, но из искренних, честных, правдивых, любящих общую жизнь людей создался костяк; не костяк, а гранит; не гранит, а алмаз. А раз был алмаз, то был и песчаник, но об этом будет сказано позже. Колеблющиеся были, они уезжали. Но иногда, уехав, возвращались и просились вновь, да еще как просились!

Все трудоспособные мужчины проработали на производстве, получая пайки на иждивенцев, с октября 1931 года по июль 1932 года. Благодаря этому труду коммуна безболезненно вышла из самого трудного положения с питанием большой семьи в то время, когда хлеб был очень дорог и его не было.

Питание в коммуне было вегетарианское, без мяса. Члены коммуны не хотели поддерживать свою жизнь, пользуясь жизнью других существ. Хотя в коммуне был молочный скот и куры, но молоко и яйца шли главным образом для детей. Кроме школы, у нас был организован детский сад, и дети находились под наблюдением определенного человека, воспитателя, с которым они гуляли, ходили на речку купаться и на огороды, где работали почти одни женщины. Впоследствии в коммуне был посажен плодовый сад и клубника для продажи и для детей.

В коммуне решили построить водопровод. Мне поручили достать водопроводные трубы. На верхней колонии был утильцех, где было очень много труб, и новых, и забракованных, и погнутых, но вполне для нас пригодных. Договорились с заведующим утильцехом, я взял рабочих, отобрали трубы, погрузили на три или четыре парных брички, выписали фактуру. Я уплатил деньги. Переправились через реку и поехали по дороге в коммуну. В селе Феськи нас

встретил уполномоченный ОГПУ Попов, приказал свалить трубы, а меня арестовал и привез в Первый дом.

Из десяти кирпичных домов, построенных в Новокузнецке в 1931 году, самый первый был занят под ОГПУ. Председателем совета коммуны был тогда Борис Мазурин. Он пошел искать меня. Ему везде отвечали, что меня нет: и в ГПУ, и в милиции, и в тюрьме. Но я был в ГПУ. Попов меня штурмовал, добивался, чего ему было надо. Предлагал мне материальную помощь: мы знаем, что ты из бедных, имеешь много детей, мы будем тебе помогать, но ты должен с нами разговаривать и чтобы никто из членов коммуны об этом не знал. Я заявил ему, что нужды я ни в чем не имею, я и семья всем обеспечены, разговаривать я с ним готов, но открыто, чтобы всё о разговоре было известно всем коммунарам. А где есть тайна, там для меня есть ложь и подлость. Попов начинает сердиться и с криком говорит мне: ты сгниешь здесь, в этих стенах! Я отвечаю ему: все равно где-нибудь гнить, и вам тоже свое время придет — сгниете. Однажды посадили ко мне в камеру молодую женщину. Двое или трое суток она сидела вместе со мной, жаловалась мне, что ее мучают ни за что (не упомню, какую причину своего ареста она выставляла). Но я понял, что она была подсажена для искушения меня и чтобы узнать от меня что-нибудь.

Однажды Попов вызвал меня на допрос ночью, хотя это было обычное дело, и задает мне вопрос: «Признаешь ли ты советскую власть?» Вопрос колкий. Я задумался, что ответить следователю, а мысли в голове бегут одна за другой, а я молчу. Следователь несколько раз требует ответа и говорит: «Что, у тебя языка нет или не действует?» А я сосредоточенно думаю и, наконец, прихожу к выводу: если я стал на этот путь, то чего же мне бояться, скажу ему откровенно.

— Я не признаю никакой власти насильственной.

Попов громче: — А советской?

Я отвечаю: — Никакой!

Наконец, Попов крикнул, сколько у него было сил: — А советской? — вскочил и так сильно ударил по столу кулаком, что стол подпрыгнул и всё, что на столе: папки и чернила — всё упало на пол. Я сижу и не шелохнусь, гляжу на следователя, и тут же решил, что не буду больше с ним разговаривать. Он посидел немного, поднялся и стал собирать с полу всё, что упало со стола. Наконец, начинает спрашивать у меня другое. Я молчу. Так он несколько раз обра-

тился ко мне.— Что не отвечаешь? — И я сказал ему, что не желаю разговаривать с ним.— Почему? — Потому что вы сумасшедший, так ударили по столу, что на нем ничего не удержалось.— Он рассмеялся и говорит, что теперь он нормальный. Но я все же молчал. Он вызвал охрану и говорит:

— Возьми эту сволочь и дай ему так, чтобы он с третьего этажа донизу по лестнице полз.

Так я сидел несколько дней. Один раз я увидел в окно кого-то из коммунаров и крикнул, что я здесь. Мазурин продолжал ходить к Попову насчет меня. Тот отказывался: Моргачева у нас нет. Наконец, Мазурин уличил его во лжи, но сам был арестован и затем осужден.

Один раз меня выпустили в уборную. Возвращаясь, я в конце коридора увидал: сидят арестованные из коммуны — Клементий Красковский и из общины Василий Матвеевич, Иоанн и Эммануил. Я, пройдя мимо своей камеры, подошел к друзьям, поздоровался за руки и сел рядом. Дежурный кричит: «Иди сюда!» Я ответил ему: «Не пойду от друзей». Охранник был здоровенный мужчина, подошел ко мне, взял за шею и так сжал, что я стал обезволен собой, подвел к камере и так пихнул, что я на животе просунулся до противоположной стены камеры по полу и не смог сразу подняться; всё было больно, а особенно шею.

Прошло около двух месяцев со дня моего ареста. Вызывает следователь и говорит: «Мы вас отпускаем, выяснили, что трубы были куплены правильно, но ты дашь подписку нам, что ты никому не расскажешь, о чем мы здесь говорили». Подписки я никакой не дал.— «Ну, смотри, запомни и молчи».— Я понял, что трубы были только предлог, а просто им надо было найти человека, который бы давал им тайно сведения о коммуне.

Пришел я в коммуну вечером, и вечером же состоялось общее собрание, где я доложил, о чем меня спрашивали и что мне обещали, чтобы я дал согласие разговаривать с ними, и о том, чтобы об этом никому не рассказывал. Я сказал, что об этом надо всегда помнить, еще многие могут там побывать, но надо вести себя всегда честно перед друзьями.

И я опять приступил к своим обязанностям. Как-то во время уборки хлебов я пришел из города в коммуну. Косили лобогрейкой. Нож срезает солому на площадку, а сидящий на сиденье человек сбрасывает скошенное на землю вилами. Работа эта очень тяжелая. Я сел и стал скидывать и едва смог пройти круг. Действительно, название «лобогрейка» дано правильно. Приехав в город, я пошел в сельхозснаб. Там

были две жнейки-самосброски. Я их взял и отправил в коммуну без согласия совета коммуны, хотя и сам был членом совета, но ведь я был один. Через два-три дня мне передают из коммуны благодарность за самосброски, а лобогрейки пошли на отдых, а главное — люди получили облегчение от этого тяжелого труда.

Я уже сказал, что питание было общее. Построили мы большую столовую и кухню при ней. Многие семейные брали обеды на дом, некоторые питались в столовой. Допускалось в коммуне брать сухим пайком и дома приготовлять для себя, но таких желающих почти не было, так как все были загружены работой: и мужчины, и женщины, и подростки, так что еще дома возиться со стряпней никому не хотелось. Работать приходилось много, ведь коммуна строилась на новом месте, от государства никаких ссуд не получали, всё делалось своими силами и средствами. Поэтому сухой паек брали некоторые лишь в выходной день — воскресенье, если какая хозяйка хотела что-нибудь сварить и сготовить по-своему.

В воскресенье, особенно летом, в коммуну собирались ото всех групп разных течений, в бедной, но чистой одежде, особенно молодежь — цветущая, как алтайские горные цветы. Собирались и пели каждая группа свои любимые стихи или песни. Были и общие всем группам песни, которые пелись сообща. Настроение было у всех праздничное, радостное. Старики беседовали о своих делах. Молодежь шла гулять на берег Томи и в горы. В годы 1931—32—33 даже субботники из «Мирного пахаря» приходили в воскресенье. В коммуне были и русские, и украинцы, и белорусы, поляки, евреи, немцы. По религиозному направлению — последователи Толстого; были и субботники, и молокане, добролюбовцы, малеванцы, баптисты, но не узкосектантского направления, а уже охваченные свободным духом Толстого. В коммуне несколько семей субботников не работали по субботам, их подменяли, а они в свою очередь подменяли тех, кто не работал в воскресенье, так что и здесь при разумном и терпимом отношении находился общий язык.

По мере совместного труда и жизни стали возникать новые вопросы, связанные с убеждениями. Создалась группа ручников, которые не хотели эксплуатировать труд животных как рабочей силы, а также пользоваться молочным скотом, считая, что молоко принадлежит детенышам коровы, а лошадь должна быть свободна. И эта группа просила дать им возможность заниматься ручным земледелием,

с лопатой и мотыгой. После обсуждения и критики этого вопроса коммуна дала им возможность быть ручниками в летнее время, а зимой работать на общих работах в коммуне, и чтобы они обеспечивали себя продовольствием. Ручниками были братья Тюрк — Гутя и Гитя, Соня Тюрк, братья Катрухи — Федя и Миша, Валентин Александрович Кудрявцев, Ефим Безуглый, Ваня Лукьянцев и еще несколько человек. Ваня Зуев и Иван Степанович Рогожин работали в коммуне без лошадей по семеноводству.

С одной стороны, ручное земледелие в наш машинный век кажется неразумным и даже диким, а на самом деле это, если разобраться глубже,— и разумно, и нравственно, честно и благородно. Наши ручники наглядно показали, что это вполне осуществимо, когда они обрабатывали по 5—7 соток зерновых и овощных культур. Получали они с сотки по 8—10 пудов пшеницы и, кроме пропитания, были еще и излишки. Но при современном государственном устройстве это невозможно допустить (ручное земледелие), теперь на одного рабочего приходится несколько сот иждивенцев, протягивающих руки за хлебом, овощами, фруктами, мясом, молоком, яйцами. Ручное земледелие возможно, когда каждый человек сам несет свою долю крестьянского труда.

Я уже говорил, что у нас была своя школа со своими учителями. Я не учитель и не могу как следует рассказать о работе школы. Когда отобрали у нас здание школы, я на собрании коммуны с представителями гороно выступил, что если у нас отобрали школу, то мы будем заниматься в каком-либо жилом доме. Представители гороно сказали: мы и дом отберем, а я сказал: «До последнего дома будем отдавать под школу, но в вашу государственную школу мы своих детей не пошлем». Это мое выступление послужило обвинением на обоих судах: в 1936 и 1940 годах.

В 1933 году часть членов коммуны выделилась из состава коммуны и создала сельскохозяйственную артель «Сеятель». Выделились следующие друзья: Гриша Гурин (инициатор), Яков Калачев, Петр Каретников, Иван Чернявский, И. И. Андреев, Алеша Буланкин, Тимофей Моргачев, Миша Дьячков и другие. Этим выбывшим людям хотелось жить материально выше, чем мы жили в коммуне, так как у нас в коммуне было много инвалидов, стариков, вдов с детьми и многодетных. Но всех постигла одна и та же участь: в 1937—1938 годах было арестовано много мужчин и женщин, как членов коммуны, так и членов артели, и почти все они там погибли.

В коммуне велся учет рабочих дней, но без учета выработки, кто сколько сделал. Мы считали, что важно, чтобы у человека было желание трудиться честно, а у кого какие силы и кто сколько мог сделать, это не так важно. За невыход на работу никаких претензий не предъявлялось, хотя председатель обязан был выяснить, почему человек не вышел. Обычно это была или болезнь, или стирка, или побелка дома. За невыход на работу деньги не начислялись. За питание с членов коммуны и их семей никаких вычетов не производилось. На одежду, обувь, белье носильное и постельное выдавалось деньгами как взрослым, так и детям, из следующего расчета: в течение года выдавался аванс, а после отчетного года, когда был известен доход коммуны и количество выходов на работу, объединяли выходы мужа и жены, как семьи, и на каждого ребенка выдавалось 25 % зарплаты отца и матери вместе. На двух детей — 50 %, на трех — 75 % и т. д. Такая же установка была для инвалидов и стариков в семьях, инвалидам-одиночкам выдавалось по среднему заработку взрослого. В коммуне велась бухгалтерия, учет прихода и расхода денег, продовольствия, фуража, рабочих дней. На каждую семью и одиночку были открыты лицевые счета. Было на учете всё движимое и недвижимое имущество, а также скот.

Мяса в коммуне не ели, но продуктивный скот был, и возникал вопрос, куда девать молодняк и старых животных. Сначала этот вопрос обсуждался в частных беседах, а потом был поставлен на общем собрании и решили: старых коров держать до их естественной смерти, а ненужных бычков и телок раздавать на племя окружающему населению бесплатно, при условии, что они обязуются выращивать их на племя. Часть молодняка мы обменивали есаульскому колхозу «Пчела» на пчел. Бывали и такие случаи: возьмет человек бычка или телочку бесплатно растить на племя, а заведет в кусты, зарежет, и мясо — на базар в город.

Еще о чувстве собственности. Да, уважаемый читатель, трудно и очень трудно, и много надо мышления — обдуманно отказаться от личной собственности природному крестьянину. Когда его гнут и отбирают скот и другое имущество, он кряхтит и молчит. А когда он приехал в коммуну добровольно и сдал имущество свое не бесплатно, а по оценке, то жалко, и некоторым кажется, что лучше вернуться на родину. И он подает заявление о выходе. Коммуна рассчитывается с ним деньгами (натурой коммуна никому не возвращала), приезжает тот на родину и видит, что де-

лается на родине: жить индивидуально невозможно — и поворачивает обратно в коммуну. Прокатал все средства. Подает заявление о приеме обратно в коммуну, вторично. Просит, чуть не плачет: примите, это была моя большая ошибка, что я уезжал. Вот такие-то люди не составляли крепости алмаза, а были слабым песочком, но коммуна принимала их обратно в свою семью. Личная собственность во многих семьях была причиной раздора, даже у единомышленников Льва Толстого. Он хочет с радостью вступить в коммуну, а жена его и слушать не хочет о коммуне, и начинается крик и плач. Но у нас не то что коллективизация, а дело свободное. Но ввиду такого раздора в семье многие убежденные люди всё сомневались, надо ли идти наперекор жене в коммуну. Правда, многие жены соглашались ехать в чужую страну, в далекий край, к единомышленникам не ее, а мужа; но приезжали не по сознанию, а по нужде. Вот из таких-то и образовались шептуны, т. е. недовольные не собою, а другими.

Многие, особенно женщины, жили в коммуне не как хозяева, а как рабочие: работали честно и всё.

Проработал я три с лишним года по сбыту и снабжению. Устал и надоело, попросил смены. Совет коммуны согласился при условии ознакомить с этой работой новых товарищей — Васю Бормотова и Егора Иванова. Я их ознакомил со всеми учреждениями и отдельными лицами, с которыми имел связь. А сам принял пасеку и приступил к новой работе — интересной, на лоне природы. Пасеку я перевел в лог против поселка барабинцев и работал в уединении.

Летом, наверное, в 1935 году вечером я пришел в коммуну, а жена говорит, что все члены совета арестованы, спрашивали и меня. Я говорю жене: «Я туда сейчас не пойду, до утра». Вдруг дверь отворяется и входит председатель Блинов и говорит: «Следователь просит тебя прийти, и тогда он всех нас распустит до утра». Ну, я согласился, и пошли вместе к следователю. Было часов 11—12 ночи. Когда я пришел, следователь и говорит:

— Ну вот, теперь все собрались, сейчас я от всех вас возьму расписку, что явитесь утром к девяти часам, а сейчас пойдете по домам.

Стали подписываться, но когда очередь дошла до меня, я отказался: «Может, я до утра помру, поэтому никаких обещаний не даю вперед, но я никуда не уйду и скрываться не буду». Отказались дать подписку еще Вася Бормотов и Вася Кирин. Следователь начал волноваться и говорит:

«Я вас сейчас отправлю в тюрьму». Тогда Бормотов и Кирин подписались, а меня ночью отправили с милиционером в Сталинск, в ОГПУ, но там меня не приняли: не было письменной причины моего ареста. Тогда меня повезли в тюрьму. Там, конечно, приняли.

Дня через три меня повели на допрос в ОГПУ. Тот самый следователь говорит мне:

— Ты должен быть в числе обвиняемых как член совета, но мы решили — ты будешь свидетелем. Ты хорошо знаешь председателя?

— Хорошо,— отвечаю.

— Ну, расскажи, как он работает и кто к нему ездит в гости?

— Вы сами у него спросите. Он не уполномочивал меня говорить за него, а также ни о ком из членов совета я говорить не буду.

Разговор был долгий.

— О своей работе я могу всё рассказать.

— О твоей работе мы сами всё знаем.

Он пугал меня судом и тюрьмой, а потом достал книжечку — кодекс законов и зачитал мне:

— За отказ дать показания судебным и следственным властям подвергается тюремному заключению сроком от трех до шести месяцев. Понял?

— Понял,— говорю, а сам просто обрадовался, что срок небольшой, отсижу, а ни о ком ничего говорить не буду.

Следователь написал протокол, а я его подписывать не стал. Меня опять в камеру, в тюрьму. Дня через два опять к следователю, и я опять не подписываю протокол; тогда какие-то два человека заверили мой отказ от подписи и сами подписались.

Тем дело для меня в тот раз и кончилось. А членов совета — кого и на сколько осудили, я уже не помню. Раза два или три меня вызывали по этому делу в суд, но я не являлся.

В апреле 1936 года забрали десять человек: Мазурин, Пащенко, Епифанов, Гуляев, Драгуновский, Гитя Тюрк, Гутя Тюрк, Красковский, Барышева, Оля Толкач, а в мае взяли и меня, и пробыл я в заключении до июня 1946 года.

Начались допросы, все мы были разъединены по разным камерам.

На все вопросы следователя я отвечал только: я ничего

плохого не делал никому, а вы хотите меня обвинить. И так на все вопросы.

Следователь ругался:

— Что ты, как попугай, затвердил одно? Отвечаешь не по существу...

И протоколов допросов я не подписывал ни одного. Я не помню, сколько времени велось следствие, но нас то перевозили в кузнецкую тюрьму, то в КПЗ в Первом доме. Кузнецкая тюрьма под горой, а выше, на уровне второго этажа, шла дорога. Щитков на окнах в 1936 году еще не было, и когда я видел, что по дороге идет кто-либо из коммуны, я пел в форточку стих, сложенный уже в тюрьме Мазуриным:

Буйный ветер гуляет по воле,
Вкруг тюрьмы он порой зашумит,
Сквозь решетку в окно вдруг повеет,
И за ним моя мысль полетит.
Эх! Наверно по нашему полю,
По хлебам словно волны бегут.
А внизу под горами, по Томи,
Волны тоже и плещут и бьют.
Мне б в коммуну, где дышит свобода,
Полежать под колосьями ржи,
А в тюрьме здесь владычица — злоба,
Сгусток крови, насилья и лжи!
Но в душе моей все же сияет
Радость светлая, вера в добро.
Выше тюрем мой разум летает,
Быть в неволе ему не должно.
И я здесь, за решеткой, сумею
Жизнь как благо в душе ощущать.
Лишь суметь бы владеть мне собою,
Лишь суметь бы терпеть и прощать...

Так просидели мы все лето, до ноября 1936 года. Следствие закончилось. Я отказался знакомиться с делами следствия по той причине, что не хотел возбуждать в себе, в своем сознании дурных чувств против тех, кто на меня показывал дурно, ложь.

Суд состоялся в ноябре. Судила нас спецколлегия Западно-сибирского краевого суда из Новосибирска. От защитника мы все отказались — будем сами себя защищать от неправды и лжи. Мне дали три года, другим товарищам — от трех до десяти лет. По суду были оправданы и освобождены Димитрий Пащенко, Гитя Тюрк, Егор Епифанов и Оля Толкач. Клементия Красковского освободили еще из-под следствия. Нас, шестеро осужденных: Бориса Мазурина, Гутю Тюрка, Ивана Васильевича Гуляева, Якова Дра-

гуновского, Анну Барыщеву и меня, Димитрия Моргачева,— повезли по тюрьмам и лагерям.

Без всякого порядка встают в памяти тюрьмы: мрачная старинная огромная мариинская; новосибирская — тоже огромная. Говорили, что ее строил сельхозинститут, а повернули на тюрьму ввиду недостатка в этих культурных учреждениях в наше время; потом опять старокузнецкая, но уже обновленная, с глухими козырьками на окнах, с тщательными обысками и раздеванием догола и т. д. В одно время мы сидели в небольшой камере. Против нас, дверь в дверь, была смертная, высоко под потолком маленькое окошко с толстыми решетками, бетонный пол и вмурованные в него ножки кровати, прикованная на замке к стене параша и ко всему этому вещественно ощутимый запах смерти. Однажды ночью загремели замки в камере смертников, кого-то вывели из камеры и повели по коридору, а он тихим голосом говорил:

— Прощайте, прощайте, прощайте...

Когда его вывели во двор, он замолк, наверно, заткнули ему в рот кляп. И в эту ночь мы не спали, просидели, проговорили.

Возили нас в томскую тюрьму, построенную когда-то с гуманной целью купцом Кухтериным, и где начальником еще в 1932 году был сын или внук его — Кухтерин. Побывали и в Горной Шории, где лагерь был среди гор и тайги, но без дров, так как вывезти их с крутых гор, засыпанных двухметровым слоем снега, было очень трудно. Завели нас там в баню, где под краном висели ледяные сосульки, а в бараках было так переполнено, что своего места ни у кого не было: встал, передвинулся и всё — там, где ты сейчас был, всё уже сомкнулось. А на воротах лагеря большими буквами: «Добро пожаловать!» Такое не забудется до могилы.

Кассационный суд приговор утвердил, и тогда нас повезли в лагеря, не помню уж, пусть будет хотя бы в Прокопьевск, центр шахтного Кузбасса, на погрузку угля в вагоны. Работать приходилось днем и ночью. Работа трудная, вручную и грязная, при 40 ° мороза, но сбрасывали многие с себя телогрейки, чтобы скорее погрузить вагон. И в дежурку, а если погружали скорее, чем было задано — 16-тонный вагон в полтора часа, 55-тонный — за 2 часа 40 минут,— то шахта давала от себя еще вдобавок к лагерному пайку 500 граммов хлеба или махорки и сахару. Потом попали мы на лесозаготовки и погрузку бревен на баржи, в Моряковку, поселок на берегу Томи. Зимой мы заготовляли лес. Его под-

возили к берегу затона, где стояли огромные баржи, и мы к весне грузили этот лес вручную, укладывая огромные, тяжелые бревна слоем вдоль баржи, а второй слой поперек него, и так далее, до 18—20 рядов вверх. По мере погрузки баржа оседала всё глубже и глубже. Основная масса заключенных была на подкатке леса, а на самой барже стояло уже пять человек более сильных и ловких с бревнами, которые укладывали их, нянчили, как говорили мы. Для облегчения этой тяжелой работы мы пели старинную «Дубинушку». Был у нас один шахтер из Прокопьевска — Алеша Киреев, он хорошо запевал и присочинял от себя новые куплеты. Нам на обед привозили баланду из требухи, и вот он, бывало, запевает:

— И-их-и-хи, подернем!

Или:

— Еще раз тарарам, мы получим триста грамм. Подернем!

И всё в таком духе, много он мог запевать, и это помогало в работе. Потом Киреев был арестован в лагерях «третьей частью». У него все домогались: о чем толстовцы говорят? Что они думают? А не сбивают ли они тебя в свою веру? Киреев работал с нами на лесозаготовке в одном звене: Киреев, Мазурин, Моргачев, Гутя Тюрк, затем мы разделились на два звена: Мазурин — Киреев, Моргачев — Тюрк. Они выполняли задание на 120 %, а мы на 105—107 %, и все же мы получали дополнительный паек: вечером хлеба 300 г., вдобавок к лагерной пайке 600 г. Но Киреев не подвел нас, не сделал подлость, ничего на нас не клеветал, и куда он делся — я не знаю, вернее всего погиб. Потом нас перегнали, как скот, в Томск — перевалочная база Черемошники. Здесь лес, идущий с низовьев реки Оби, выгружался, складывался в штабеля, а потом грузился в вагоны. Работа очень тяжелая, вручную, вернее — вплечевую. Здесь мы работали на пару с Борисом. Берешь с барки ношу досок на плечи, идешь метров 50—100 по качающимся трапам до берега, там всходишь по трапам на верх штабеля, по команде заднего: «Бьем!» — бросаем доски и раскладываем в порядке, и так далее. Несмотря на особые подушечки на плечах, «вареники», плечи болят, болят и мускулы ног.

В Черемошники проведать нас приезжали мой сын Тимофей и дочь Тося. Сыну говорили в охране: а не боишься, что приехал проведать отца, а тебя самого-то арестуют.

Это ведь был 1937 год. А дочь моя очень плакала, и после свидания, уже в лесу, было написано стихотворение:

Заплакала дочка, заплакала горько,
Слезами мне грудь облила.
Не плачь, моя детка! — И сам прослезился,
Мне детская скорбь тяжела.
Ни годы неволи, ни боль испытаний,
Я знаю — меня не согнут,
Но детские слезы, невинные слезы
Свинцом мою душу гнетут.
Когда я очнулся от тьмы суеверий,
Когда перестал я насилью служить,
Тогда я решил свою жизнь без сомнений
На мир и на благо людей посвятить.
Я знаю, дочурка, уже ты большая,
Отца своего ты поймешь.
Своею душою мой путь оправдаешь
И детские слезы утрешь.
Свези же, дочурка, в коммуну родную
От узников братский привет.
Скажи, чтобы жили свободно, бесстрашно:
В страданьях за правду — не горе, а свет.

Из Черемошников раннею осенью нас, 800 человек плотников, погрузили на баржи, прицепили к пароходу и повезли на север, в Нарым. Сначала мы плыли по Томи. Потом Томь слилась с Обью, река стала очень широкая, и было видно, как в одной реке текут воды двух рек: одна чистая, томская вода, другая желтая — обская. Проплыли Колпашево и за него еще шестьдесят километров, и высадили нас на пустынном берегу Оби (левом). Тут были сделаны большие каркасы из жердей для палаток, но брезентов не привезли, а все было покрыто соломенными матами, сквозь которые проникал свет, а тем более дождь, который начался в ночь. С реки дул холодный ветер. В палатках были построены двойные нары, также из жердей. Люди мокли и жались от сырости и холода, а мы с Борисом разделись до белья, всю одежду постелили вниз, легли тесно друг к другу и накрылись чем было, а сверх всего моим большим плащом, который не пропускал воды, и так спали замечательно. Плащ этот, который спасал нас, подарил мне Лева Алексеев, большое и большое ему спасибо! В 36 году, когда меня уже арестовали и я сидел на подводе, Лева шел с работы, увидел, снял с себя плащ и бросил на подводу:

— Бери, может, пригодится.

И он, действительно, пригодился.

Строили мы в Нарыме большие, чистые бараки, недалеко от берега реки. Когда мы спрашивали, для чего эти бараки в таком пустынном месте, то говорили, что это будет рыбоконсервный комбинат. Но когда стали обносить вы-

строенный поселок высокой тюремной оградой, то заговорили, что здесь будет политизолятор для семей расстрелянных видных коммунистов: сестры Тухачевского, жены Якира и других.

Туда приезжали проведать нас моя жена Марьяна и Коля Ульянов. Мы их видели мельком издали, но их к нам не пустили. Даже хотели арестовать, заперли в сарай; они уничтожили все письма, что везли к нам из коммуны от друзей. Коля скрылся в лесу, а Марьяну всё пытали: где он? с кем приехала?

— Уезжайте,— припугнули ее. И она взяла билет на обоих, и они с Колей благополучно уехали.

Мы с Борисом работали хорошо и просили начальника лагеря дать свидание, но он сделал удивленный вид:

— Ко мне никто не приходил.

Мы с Борисом еще придерживались вегетарианства и добились от начальства, чтобы нам варили на кухне отдельно. Однажды приносят бачки с обедом для бригады к воротам и выкликают: такая-то бригада, такая-то бригада, а потом: «Итальянцы!» Все молчат. Опять: «Итальянцы!» Мы поняли, что это нам. Взяли трехлитровый котелок, принесли в барак, копнули ложкой, а там полно мяса. На кухне поняли: итальянцы, варить отдельно, значит, хотели иностранцев кормить получше и постарались. Пришлось идти объясняться.

В конце осени пришли баржи с продуктами для будущих жильцов поселка. Продукты все были хорошие.

Иногда нам приходилось ходить с бригадой в лес; дикий, запущенный, с буреломом и вырубками, там нам попадались какие-то берлоги, выкопанные в земле, покрытые грубым накатником из бревен. Это оказались первые пристанища крестьянских семей «кулаков», высланных в эти дикие места.

Уже поздно осенью, когда по Оби проходили последние перед зимой пароходы, давая длинные гудки в знак того, что идут на зимовку,— нас спешно, всю 58-ю статью «контриков», человек семьсот, погрузили на пароход и увезли опять в Черемошники. В Нарыме осталось человек сто обслуги из бытовиков, и потом они рассказывали нам, что там зимовали лишь в одном бараке женщины, и туда никого близко не подпускали. Кто они были — неизвестно.

Из Черемошников нас зимой погнали пешими в лесозаготовительный лагерь: 41-й квартал, километров за сорок от Томи, на другом берегу. Подвод под багаж не дали, люди

устали, стали бросать чемоданы на дорогу. Бросил и я, только не бросил мешок с перетертой соломой, который служил мне матрацем, и все смеялись: вот колхозник, не расстается с мешком с навозом. Уже поздно ночью дошли мы до нашего нового жительства. Барак, только что срубленный из сырого дерева, и нары из сырых мерзлых досок. Мороз градусов тридцать, а мы все потные. Стоят две печи железные, затопили, а дым идет не в трубу, а в барак. Холодище, но усталость валит прилечь, и вот тут-то я положил на обледенелые нары свой мешок и лег на него, а Борис подложил под бок свои большие собачьи рукавицы, и мы так заснули.

В этом лагере был ужасный деспотизм, казалось бы, недопустимый в стране рабочих и крестьян. Зимой, в мороз, на работу выгоняли до света, в темноте, и держали во дворе, у шахты, не менее двух часов, пока начальство ходило по всем баракам и углам, разыскивая и выгоняя на работу тех, кто заболел и не хотел выходить. Наконец, тронулись, больные отстают, их бьют, гонят. В лесу заходим в огромный участок, обведенный конвоем свежей лыжней; шаг за лыжню — считается побег. Все расходятся по бригадам, а там по звеньям, человека по два-четыре, и начинается повал леса. Бывает, снег до двух метров, идти по нему нельзя, тогда становятся на четвереньки и ползком расползаются по лесу, каждое звено к своему месту. Кто работает, а кто мерзнет у костров — доходит. Уже в сумерки рабочий день кончается. Идти домой в барак километров пять-семь, снег по дороге сыпучий, конвой требует порядка в рядах, больные падают, не могут идти, их опять гонят, бьют. Мы с Борисом просим разрешения нести больного на плечах. Конвой разрешает, а мы просим товарищей поднести наш инструмент: пилу и топор. Приносим больного в лагерь, сдаем в стационар, утром заходим узнать о его здоровье, а он уже умер. В лагерь приходят все мокрые и замерзшие и спешат по баракам, а тут крик: на поверку! И все опять выходят на мороз, стоят в рядах, иногда по полтора-два часа, пока конвой пересчитает всех, редко с одного раза, а то и два, и три. Наконец кричат: разойдись! На ужин! А ужин — миска жидкой баланды и 600 г. хлеба при выполнении нормы, а кто не выполнил — 300 г.

Летом нас, четыреста человек «контриков», перегнали из барака в овощехранилище под землей. Сырость, мрак, плесень, дым от железных печек и от коптилок, а сверху сыплется песок, ни одной ложки не съешь без песка. Здесь

люди быстро доходили и умирали. Иногда за одну ночь в лагере умирало от восьми до девятнадцати человек.

Наконец, нас перегнали в лагерь на станцию Тайга. Там, хотя и старенькие, но были бараки; и там все стали поправляться, питание было лучше, режим не так суров, а в ларьке продавались продукты. Сюда к нам приезжали повидаться моя жена Марьяна и Борисова — Алена.

Вот так бывает в жизни: кажется, что я в самом плохом положении, дальше некуда, но это неправда. Всегда есть еще хуже. Так было и с нами. В Прокопьевске — погрузка угля в вагоны днем и ночью, весь грязный, пыли наглотаешься и задыхаешься, и плюешь сажей, и думаешь: хотя бы перевели куда в другое место. Переводят в Черемошники, таскать на плечах доски и тяжелые шпалы по 10—12 часов: куда-нибудь бы еще? А оттуда — на 41-й квартал — еще хуже. И опять думаешь: куда бы нибудь еще? И попадаем в Нарым, осенью во время дождей, жить под светящейся крышей из одного мата. Но на 41-м квартале было хуже всего.

Еще в 1937 году до нас стали доходить слухи, что в коммуне многих друзей забрали и увезли в неизвестность. Забрали и моего сына Тимофея, и он погиб там. В 1938 году еще брали, а остальные жили в ожидании своей очереди, и некоторые пали духом, а были даже такие, что встали на путь иудин, ради спасения своей шкуры. Все реже и реже стали нам присылать письма из коммуны. Ездить к нам стало опасно. И наконец, связь с коммуной почти прекратилась. И тогда родилось стихотворение:

Где вы, откликнитесь, смелое племя
Верных, бесстрашных за правду борцов?
Или погибли вы в тюрьмах жестоких?
Или не вынесли тяжких трудов?
Или вас душат заботы житейские?
Мелочи тянут ко дну?
Нету ответа, мрак все сгущается,
Мир превратился в тюрьму...

Прошло уже более тридцати лет, а мороз проходит по коже и сейчас, как вспомню, как проходили не часы, не дни, а годы в этой бесчеловечной, дикой жизни, и люди гибли, как мухи осенью, от тяжелого труда, от голода, от жгучего сознания своей невиновности и незаслуженности позора и кары.

Сначала мы были втроем. Потом Гутю взяли на этап, на Дальний Восток, а летом 1938 года и Бориса назначили на этап. Так уже не раз было, но мы просили начальство

не разлучать нас и либо оставить обоих, либо отправить вместе, и с нами считались. Но на этот раз начальник не согласился: туда набирают только сильных и здоровых, таким признали Бориса, а меня не взяли.

В лагере тайгинском внутри общей зоны была еще одна зона, огороженная заостренными сверху бревнами вплотную и высотой метров шесть. Внутри этой зоны был барак. Туда отделили из наших бригад тех, у кого была статья 58 пункты 2, 8, 9, 11 и т. п., человек семьдесят. Туда попали и славгородские немцы, работавшие с нами — Гегельгансы, отец и сын, Лай и другие. В хлеборезке работал заключенный Добрусов (из Гурьевска), ему было заказано принести 40 паек для этапа из нашей колонии. Он нарезал и ждал, когда придут и возьмут. Никто не идет. Ждал-ждал, никого нет, и к 12 часам ночи он понес пайки на вахту. За воротами было сильно освещено, стояли подводы и конвой не тюремный, а военный; и на телегах лежат повязанные люди и рты заткнуты. Охрана, как увидала Добрусова, так набросилась на него с криком: «Кто приказал тебе хлеб нести сюда? Уходи, не оглядывайся да молчи, а то язык вырвем». Думаю, что их отправили в дальний этап, безвозвратно, в «туманные дали».

В 1939 году меня вызвали на этап, одного из лагеря ст. Тайга. Привезли в Кемеровскую тюрьму. Там уже был Иван Васильевич Гуляев. Мы были рады друг другу, обнялись, расцеловались. Дней через десять опять на поезд, и привезли нас в нашу кузнецкую тюрьму.

Посадили нас с Иваном Васильевичем в одну большую камеру, по обе стороны которой были камеры женские. В одной камере была дырочка в стене. Я спросил сквозь нее: есть ли у вас Ольга Толкач? Мне ответили, что она рядом с вами, но с другой стороны, постучите ей, она ответит.

Тут у меня началась работа и соображения, как постучать Оле. Я постучал ей в стенку, оттуда ответили. И мы с Иваном Васильевичем подумали: это Оля. Иван Васильевич приступил складывать стихотворение Оле, а я вспомнил, как Борис рассказывал, что есть такая азбука для перестукивания через стену. Вспомнилось мне: писать буквы по пять в ряду, ряд над рядом — шесть рядов, по порядку алфавита. Но я никогда сам не перестукивался, помнил только, что сначала стучат, какой ряд, а потом — какая буква по счету в ряду. Например, чтобы спросить через стенку: кто? — надо сначала вызвать стуком. Когда ответят, нужно

выстучать букву «к» — второй ряд, два удара, пауза маленькая и пятая буква в ряду — пять ударов. Это будет буква «к». Дальше «т» — четвертый ряд, четыре удара и третья буква в ряду — три удара. «О» — третий ряд, четвертая буква. Из стука получится живое слово «кто».

Так же перестукивают и фамилию, и т. д., но для этого надо знать азбуку, выучить ее наизусть и тогда тренироваться, и дело пойдет довольно быстро. В тюрьме времени хватает. У меня был черный мешочек, я распорол его по шву, расстелил на койке, кусочком мыла сделал тридцать клеток. Вместе с Гуляевым написал мылом буквы в клетках и, сверяя по написанному, выстучал: кто? Оттуда ответ: Оля.

Иван Васильевич так и не выучил этой азбуки, но мне помогал: я хожу по камере, а он задает мне буквы, на каком ряду, в каком месте. Все же я передавал целые стихотворения.

В это время в Кузнецкой тюрьме было полно заключенных по 58-й статье. Было много хорошо грамотных партийных; некоторые научились стучать очень быстро. Особенно быстро и хорошо, как на телеграфе, стучал Курганов, секретарь Сталинского райкома.

Из Кузнецкой тюрьмы нас перевели в Первый дом ОГПУ. Сижу там и не знаю, в чем дело? Пишу заявление: одно, два, три — следователю, почему меня держите 6—7 месяцев, ничего не говоря?

Наконец, вызывает меня следователь и говорит, что я еще не осужден, а подследственный, и зачитывает, что по протесту прокурора РСФСР Рогинского приговор выездной сессии Западно-сибирского крайсуда отменен за «мягкостью» (еще в 1937 году). Поэтому те, кого оправдали: Пащенко, Епифанов, Гитя Тюрк и Оля Толкач — были вскоре опять арестованы и сидели более двух лет, пока нас, осужденных уже ранее, соберут из разных лагерей со всех концов Союза.

Последним привезли Бориса, уже в сентябре 1939 года. Во внутренней тюрьме ОГПУ было пятнадцать камер и еще один изолятор, где, вместо койки, стоял гроб. Я сидел в 15-й камере. В 14-й был кто-то один, и я с ним перестукивался от скуки. Он ежедневно передавал, о чем его спрашивал следователь; наконец, передает: приговор — десять лет; еще через два дня передает: «ухожу», и 14-я опустела. Потом слушаю, кто-то ходит по ней, видно, в сапогах. Я вызываю стуком на разговор — не отвечает. Еще вызываю — не отвечает, а через два дня отозвался. Я спрашиваю: кто? Он отве-

чает: Борис.— Откуда? — Из коммуны,— и спрашивает меня: кто? Отвечаю: Димитрий. Так мы стали соседями, только через стенку, и то была радость.

По другую сторону 15-й камеры, за стеной, была столовая сотрудников ОГПУ, слышно было, когда у них бывали гулянки, а на следующий день после их гулянок заключенных кормили лучше: остатками от гулянки. Между 14-й и 15-й камерами была дырка вдоль трубы парового отопления, и я решил написать Борису и передать по этой дырочке. Но тут встал целый ряд затруднений: на чем писать? чем писать? как протолкнуть? Наконец, придумал: писать на тряпочках, разорвал белый мешочек. Чем писать? Чернилами? — В своем сапоге наковырял грязи, развел ее слюной с сахаром,— вот и чернила. В уборной набрал горелых спичек, расщепил их — вот и перо. Писал печатными буквами. Что писал, не помню: наверное, я выучил от Гуляева наизусть несколько мыслей из «Круга чтения» Л. Толстого, и я их передавал как самое нужное. Оставалось просунуть записочку сквозь стенку. В уборной из веника вытащил несколько прутиков, под рубашкой принес в камеру, наматывал на прутик тряпочку с написанным и просовывал в дырочку Борису. А ему стучал: возьми! А иногда по договоренности оставляли записку в условленном месте в уборной. Мне приходилось брать записки от Пащенко, хотя его камера была очень далеко. Однажды во время вечерней поверки я заметил, что дежурный внимательно посмотрел на трубу, по которой мы передавали записки. В следующий раз после передачи я сахаром, разведенным слюной, смазал трубу, поскреб со стены побелку и посыпал по трубе; она быстро высохла и не стало видно никаких следов.

А вот как произошла встреча братьев Тюрк. Гитя около двух лет уже томился в душных, переполненных камерах, через которые непрерывным потоком проходили все новые «жильцы»; приходили и уходили — кто в лагеря, а кто и под пулю. Приходили и уходили, а он всё томился, надрывая свое и так не крепкое здоровье. И вот привезли с Дальнего Востока его брата Гутю и посадили в соседнюю камеру, но они сначала не знали об этом. Вот стихотворение Гити:

Тук, тук, тук!
Где этот стук?
Кто-то стучит за стеной,
Кто-то назойливо хочет узнать,
Кто я такой?
Тук, тук, тук,
Отвечаю на стук.

— Я издалека приехал, друг.
Я устал и хочу отдохнуть.
Я приехал на новый суд.
Тук, тук, тук —
Снова доносится стук,
Удар за ударом,
Он имя мое выбивает.
В волненье стучу я опять:
Как можете вы меня знать?
Доносятся медленно стуки,
За дверью глушатся шаги,
Дробятся, сливаются звуки:
— Я брат твой, я здесь же, как ты.
Массивно повисли замки,
Железом окованы двери,
Крепки в стенах кирпичи,
Но все же они не сумели
Замкнуть нас в свой каменный круг.
Тук, тук, тук.

Зачем я помещаю в свою жизнь стихи? Да потому, что они, хотя написаны не мною, но отражают, чем все мы жили эти годы неволи. Недаром Толстой и многие мудрецы Востока говорили: «Одна душа во всех», и то, что переживал один из нас, близко чувствовал другой.

Вот еще тюремный стих Мити Пащенко:

Серым светом брызнуло над городом,
Ночь бессонная, уйди, уйди!
Сердце вновь неволею распорото.
Дни, застывшие в моей груди.
Что досуг, когда он, цепенеющий,
Стиснут удалью тюремных палачей.
Сколько молодости, жизни тлеющей
За забором мертвенных ночей.
Я в тюрьме, до гущи натабаченной,
О, измученная горем мать!
Как безумный, жаждой я охваченный —
Жаждой жить, свободою дышать.
И за что? за что? в тюрьму заброшенный
Я, полей, труда крестьянский сын.
На земле я, что ли, гость непрошеный?
Сердце доброе, остынь! Остынь!

За время пребывания в тюрьмах и лагерях я испытал и насмотрелся столько дикости, жестокости, что становился в тупик: где же я? Кто же это делает? Неужели это делают представители власти коммунистов, идеал которых — безвластие, безнасильственное общество — дорог одинаково и им, и мне? Неужели это делают те, кто так возмущался произволом и дикостью царских властей над людьми из народа? Но я знаю, что тогда политические, даже револю-

ционеры — прямые враги существовавшего строя — и то имели возможность в ссылке писать свои труды, заниматься науками, иметь книги, бумагу. Тогда было кому делать критику о жестоком обращении в тюрьмах; эта критика сдерживала тюремщиков, а теперь? Против кого будешь критиковать? Против коммунистов? Но их идея — сама гуманность. Теперь никто не может выразить протест или неудовольствие о жестоком обращении тюремном и лагерном с людьми. Нельзя даже сказать за самого себя, а не то, чтобы встать на защиту других. Чего стоят одни обыски: раздевайся догола, отойди в другой угол, и в это время щупают, перетирают в руках все швы твоей одежды.— Подойди, подними ногу, повернись задом, нагнись, раздвинь половинки руками. Одевайся.— Письма от родных, которые тебе так дороги в заключении, отбирают, несмотря на то, что они проверены, когда получались. Нет никакого основания их отбирать, но у того, кто делает над тобой обыск, власть неограниченная, а ведь известно: самовластие развращает не одних царей. Не было в этих людях ни стыда, ни совести, ни разума, ни просто ума, а были пропитаны они грубой бессовестностью, матерщиной и нахальством.

Вот и приходилось каждое важное событие, каждый стих из нашей жизни прятать и хранить в мозгу, куда не достигают ревнивые блюстители «порядка», где не могут они копаться в твоих переживаниях и не найдут, даже если бы череп вскрыли.

Чудесное там Божье хранилище! И как ни строго содержат в тюрьмах, в подчинении и молчании, но добрые мысли, добрые чувства, любовное отношение между людьми — лезут сквозь каменные стены с железными дверями и большими массивными замками. Лезут молча, без слов, чтобы подбодрить духовные, а порой и физические силы, уставшие в этих жестоких, нечеловеческих условиях, где разумных людей держат как диких зверей.

Итак, нас собрали вновь для второго суда. Собрали, но не всех — двоих уже не было: Якова Драгуновского и Анны Барышевой, о которых следователь мне ответил, что «они отправлены в туманные дали». Я тогда вздохнул и понял, куда они отправлены, и следователь понял, что я понял это. Но спросил: «Что ты так вздохнул?» На что я ответил: «А где туманные дали?» Он ответил: «Где-то на Севере».

А когда я ознакомился с делом по нашему обвинению, которое состояло из нескольких объемистых томов, то обна-

ружил в них две небольшие бумажки — уведомление сталинского ОГПУ о том, что Драгуновский в декабре 1937 года был взят в ведение «третьей части», а Барышева взята в ведение «третьей части» в январе 1938 года. Барышева была в Мариинском лагере, а Драгуновский в лагере «Орлова Роза». Я знакомился с делом больше месяца, следователь уже начал сердиться на меня, так как ему все это время приходилось сидеть со мной; но я мало интересовался делом, а старался заучить на память стихотворение, отобранное у И. В. Гуляева, «Живые мертвецы», но так и не удалось мне его записать в свою мозговую библиотеку.

Суд над нами был уже ранней весною 1940 года и, как и первый, шел пять дней. Сроки всем дали большие, но вышки никому не было, хотя мы думали, что без нее не обойдется. Приговор мы обжаловали, и пока мы были кассационниками, нас содержали всех вместе в Мариинском централе, хорошем, крепком, еще царском. Несмотря на то, что тюрьма была обнесена высокой кирпичной стеной, во дворе ее еще были выгорожены маленькие дворики, огороженные высокими досками. Туда нас выгоняли минут на пять, а иногда и меньше — на прогулку. Руки назад и ходи по кругу гуськом, пока часовой не скомандует: повернись! — и идем в обратную сторону, чтобы не закружилась голова.

Об этих двориках Гитя Тюрк сложил такой стих:

Пахнут утренней сыростью доски,
И сегодня здесь, как вчера,
Две скупые зеленые слезки —
Две травинки в углу двора.
Утро каждое, грустный и робкий,
После всех пережитых мук,
Рад я встретить в тюремной коробке
Наш сомкнувшийся братский круг.
Как мне дороги бледные лица,
Их улыбки и бодрость слов...

После утверждения кассации нас из Мариинска опять стали раздергивать и рассылать — кого куда. Меня послали в сельскохозяйственный лагерь Орлюк; Гитя с Гутей после некоторого скитания по лагерям встретились в одном, что было для них большим счастьем. Гуляев, Пащенко также остались где-то в системе мариинских лагерей. Оля Толкач попала в лагерь под Новосибирском. Егора Епифанова по кассации отпустили домой, где он недолго прожил и умер от туберкулеза; а Бориса отправили опять на Север.

Как-то я получил от него письмо, в котором он писал так: «Димитрий, я радуюсь, что ты не попал сюда вместе

со мной. Ты бы здесь не выжил. У нас здесь за одну зиму в нашей колонии в 1200 человек умерло более 500 человек, а во всем усть-вымьском лагере умерло 36 %. Дай Бог тебе здоровья на долгие годы, пережить тебе всё это и вернуться к своей семье и оставшимся еще в живых друзьям».

В Орлюке 30 мая 1943 года я закончил свой срок, но меня не отпустили, а перегнали в другой лагерь, в Юргу, где я и был закреплен в лагере работать «по вольному найму». Всё это было на основании какой-то директивы № 185. Работал я в должности пчеловода и заведующего подсобным хозяйством.

В 1945 году окончилась война. Наступил 1946 год, и исполнилось десять лет моего заключения. Мне объявили, что за хорошую работу директива с меня снята, и я могу уехать, но ехать можно было не во все места. Меня спросили, куда я хочу. Я сказал: в Киргизию. От друзей Васи Бормотова, Сергея Семеновича Шипилова и Якова Калачева я слышал, что жить там неплохо. Но долго еще я не мог устроиться, переезжал с места на место. Потом во Фрунзе встретился с одним директором хозяйства на озере Иссык-Куль. Он мне сказал: нужен такой человек, как я. Он повел меня в ресторан обедать, за обедом написал удостоверение и сказал, чтобы я ехал в Пржевальск, а дня через два-три за мной пришлют. Через несколько дней за мной действительно приехали и повезли на новое место работы. Дали мне квартиру из четырех комнат с гардинами на окнах и дверях, со стульями, столами и с пружинной кроватью, на каких я в жизни не спал. Вот туда-то и приехала ко мне семья, с огромными трудностями вырвавшаяся из Сталинска.

Тося и Виталий учились в Сталинске в сельхозтехникуме. Тосе пришлось бросить учебу и помогать матери с переездом, а Виталию дали перевод во Фрунзе. У Тоси хотя и не было перевода, но ее все же приняли на второй курс техникума. Оба они окончили на отлично. Тося пошла работать на Иссык-Куль, поближе к нам, а Виталий поступил в сельхозинститут во Фрунзе.

Мне не понравилось там жить и я рассчитался, но всё же сделал там большое дело на память о себе: посадил плодовый сад в несколько гектаров, сделал обсадку декоративными деревьями,— это будет память лет на восемьдесят.

В Пржевальске я купил домик, правда, неважный, но с хорошим садиком. На этой усадьбе мы живем и поныне.

Сделали новый домик из жженого кирпича. В 1949 году я поступил пчеловодом в Пржевальский леспромхоз и проработал там пять лет. Работа по найму не то что коммуна, но любимый труд среди природы скрашивал мне жизнь. Пасека была от города за шестьдесят километров, в горах. Неудобно было — далеко от дома, и когда через пять лет леспромхоз предложил мне еще куда-то переехать, на другое место, то я уже не захотел и рассчитался. Осенью 1954 года сдал пасеку. У меня там было своих четыре улья, а весной купил еще пятнадцать ульев, нашел себе место у одного киргиза на усадьбе в селе Джеты-Огуз и стал заниматься пчелами. В 1967 году в том же селе купил себе домик-времянку с усадьбой шесть соток, обнес ее дувалом (глинобитной стеной), посадил там сад, более тридцати деревьев, смородины, малины, сделал беседку, увитую плющом. Теперь там настоящая дача, только домик плохой. Я никогда не гнался за личной собственностью и хотел строить жизнь без нее, но не дали. А труд я люблю, и достаток сам лезет ко мне.

В 1958 или 59 году я пригласил к себе из Ташкента Гутю Тюрка (Гитя уже умер в то время в Бийске) заняться пчеловодством. Он приехал со своей семьей, купил себе домик с садиком и занялся пчеловодством. 20 марта 1968 года Гутя скончался от болезни сердца. У меня радикулит, вывезенный еще из лагеря, кругом нас курорты с горячими подземными источниками, но и они не помогают. Уже двадцать два года, как меня освободили из лагеря. Дети выросли и отделились.

Еще несколько слов о коммунах. Коммуны (общины) возникали и до революции. Обычно на помещичьих землях, которые предоставляли для коммун ее владельцы, принявшие идеи коммуны. В то время членами коммун были в большинстве своем интеллигенты, увлеченные этой идеей. Но им трудно было вживаться в крестьянский труд, и в силу этого коммуны существовали недолго и распадались.

После революции организовывалось много коммун, которые вначале приветствовались и поощрялись властью и партией. Много среди этих коммун было несерьезных: получали имущество, проживали его и расходились; но много было и таких, которые убежденно и по-хозяйски брались за дело и крепко становились на ноги. В этих коммунах состав был целиком почти крестьянский, привыкать к труду им было не нужно, оставались трудности преодоления в сознании старых, отживших понятий и взглядов на жизнь.

От всех этих коммун не осталось сейчас ни одной, потому что кому-то, кто сам не работал и участия в жизни коммун не принимал, но считал, что у него есть какое-то право стоять выше людей и заставлять их жить по-своему, пришло в голову закрыть коммуны одним росчерком пера. Ликвидация коммун утверждалась законами и крепкими решетками.

И еще несколько слов о первой коммуне «Возрождение», близ села Бурдино Елецкого района, в которой я жил и которую создавал с товарищами. Строилась она на голом месте, из крестьян-середняков. Свои постройки в селе мы сломали и перевезли на новое место своими силами. Был посажен большой плодовый сад и всё обсажено декоративными деревьями в несколько рядов. Через 7—8 лет многим не верилось, как голое место превратилось в цветущий участок. После коллективизации весь наш поселок был переселен в старое село. Садами несколько лет пользовался колхоз, а во время войны все сады были безжалостно вырублены. В 1962 году, через тридцать один год, я поехал на родину и походил по тем местам, где я с друзьями строил коммуну. Дикая поросль по рядам, где были плодовые деревья. Наверно, и сейчас там так.

Привожу список членов коммуны «Возрождение», единомышленников Толстого, с 1915 по 1930 годы.

1. Стоянов Василий Андреевич. Был арестован в 1922 году в Ростове-на-Дону. Там его жизнь и кончилась.

2. Логунов Александр Васильевич. Тот самый, который возил хлеб Ленину. Уехал из родного села в 1930 году.

3. Астафьев Иван Васильевич. Его жена не хотела идти в коммуну, и он покончил жизнь самоубийством.

4. Волгов Тимофей Семенович. В 1930 году был сослан в Караганду, где и умер от голода.

5. Волгов Тимофей Евдокимович.

6. Ульшин Петр Васильевич.

7. Дорохин Леонтий Иванович.

8. Ульшин Василий Васильевич.

9. Ульшин Иван Дементьевич.— Все эти люди умерли у себя в селе, в Бурдино.

10. Волгов Данила Иванович (умер в Ростове-на-Дону).

11. Иванова Раиса Ивановна — наша учительница, умерла в селе Солдатское.

12. Ульшин Михаил Григорьевич. Умер в Донбассе.

13. Бельских Филипп Егорович. Умер.

14. Моргачев Димитрий Егорович. Переселился в Сибирь в коммуну единомышленников Льва Толстого. Я приглашал своих друзей к нам, но они побоялись Сибири.

И опять я думаю: почему этим людям не дали жить? Люди трудовые, местные, вся их жизнь как на ладони; никогда я от них не слышал, чтобы они стремились или добивались какой-либо своей политической власти, у них на этот счет никаких дум не было и в помине. Казалось бы, цвести их трудам на благо и на пример людям. Так нет, с упорством, достойным лучшей цели, жить и трудиться им не дают. И кто же не дает? Власть рабочих и крестьян с идеалом коммунизма впереди. Мне кажется, однако, что рабочие и крестьяне здесь ни при чем, а действует голое самоуправство чиновников, стоящих над народом, а не служащих ему.

Наша сибирская коммуна «Жизнь и труд», возникшая в декабре 1931 года, росла и крепла год от году и была прикончена к концу 1938 года.

Член коммуны Иван Васильевич Гуляев, состоявший в свое время в дружеской переписке с Толстым, по поводу разгрома коммуны написал стихотворение. Оно начинается словами:

Чем толстовцы провинились
Пред свободною страной.
За что прав своих лишились
Жить в коммуне трудовой?..

И кончается так:

Может, в том лишь провинились
Пред свободною страной,
Что по совести стремились
Жить, как учит Лев Толстой.

С 1936 по 1940 год у нас было арестовано и осуждено шестьдесят пять человек; из них вернулось несколько человек, больные вскоре умерли. А остальные не вернулись к семьям никогда.

С 1941 по 1945 год было арестовано и осуждено за отказ носить оружие и идти на войну из толстовской коммуны и других толстовских объединений более сорока человек; и они не вернулись. А всего было взято более ста человек. Эти люди за искренние убеждения отдавали свои жизни.

Вечная им память!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Жизнь прожита. Оглядываюсь на весь пройденный путь. Условием всей моей жизни был труд, труд необходимый, труд любимый, труд по сознанию.

Но труд никогда не был для меня средством наживы, обогащения ради накопления личной собственности. Я привык жить деятельной жизнью, в беспрестанном движении, а теперь силы телесные оставляют меня, и я перешел на положение старческое, непривычное мне, и признаюсь, это приводит меня иногда в уныние, к чувству своей неполноценности, ненужности. Но я преодолеваю это чувство. Всему свое время. Были силы — тратил их, не жалея. Теперь надо пожить стариком. И взглядом старика, много повидавшего, много пережившего, умудренного опытом жизни, оцениваю свой путь и вижу, что я и сейчас не сомневаюсь в том, что дело, которому я отдавал силы, дело объединения людей в направлении братского единения людей на началах свободных, разумных, трудовых — дело истинно хорошее.

Я и сейчас бы, не раздумывая, оставил бы всё и свой обеспеченный, спокойный угол и пошел бы в неизвестность, на труды и лишения, лишь бы участвовать в строительстве такой коммуны, какая была моим стремлением всю жизнь, и к старости еще более укрепилось мнение, что путь этот правильный, достойный разумных людей.

Но есть в моей жизни вопросы, которые тяготили меня всю жизнь, которые так до сих пор и остались не разрешенными мною ни в жизни, ни в моем сознании.

Это вопрос о семье. Как быть? Как должно быть правильно, чтобы никого не подгибать под себя и чтобы самому не подгибаться? Человеку свойственно находить себе пару жить семейной жизнью, и происходит это еще в молодые годы, когда человек еще не особенно углубляется в вопросы о смысле жизни. Но человеку также свойственно не стоять на месте, мыслить, думать о жизни и приходить к каким-то решениям, которые нельзя уподобить одежде: давай сегодня рубаху, завтра другую, а послезавтра и вовсе без рубахи похожу. Нет, если убеждения искренни, тверды, от них не отмахнешься, душа не позволит, потеряешь уважение к себе.

И вот я, молодой человек, живший «как все», хлебнул по горло благ жизни государственной с патриотизмом, военщиной, собственностью, освященными церковью, понял весь этот обман.

Такая жизнь стала мне чужда, я не мог больше верить во всё это, хотя бы мне за это предстояла смерть. И меня потянуло строить и личную и общественную жизнь на других, более человечных началах.

Тесна мне стала жизнь узкосемейная, замкнутая только в кругу своих интересов, благосостояния только своей семьи. Я понял, что никакого благосостояния семьи не может быть отдельно от всего общества, и мне было бы тяжело, я считал бы неправильным, если бы у меня был достаток, а вокруг нужда. Я и другим хотел того же хорошего, что и себе, и верил, что если в обществе будет хорошо, то и мне, и моей семье будет хорошо.

Я понял всё это и стал жить этим, а жене это всё было чуждо. Ей непонятно, зачем заботиться о каких-то посторонних делах, когда у нас есть своя забота, свои нужды, своя семья. Я не виню Марьяну ни в чем. Она хорошая, честная, трудовая женщина, заботливая мать и жена. Но я не могу винить и себя. Но как же согласовать в совместной жизни её понимание с моим? Я знаю, что это больной вопрос, и не только для меня одного. Я знаю, что этим мучаются и мучались многие другие. Я знаю, что во многих семьях — и у верующих, и у политических — многие женщины хотя и не очень глубоко понимают мужа, но считают, что он прав, верят ему и не только не спорят, но поддерживают его и защищают от нападок. Жизнь в таких семьях идет много складнее и легче и для мужа и для жены. Но всё же и здесь остается вопрос: а правильно ли это? Хорошо это или плохо — такое добровольное подчинение жены? Но, во всяком случае, и мужу, и жене легче, чем вечное препирательство, недовольство, слезы. Лучше это для них самих, а главное — лучше для детей. Я никогда не принуждал Марьяну верить по-моему, да это и невозможно, но в некоторых случаях я проявлял твердость: так, я никогда не разрешал говорить мне плохо о людях. Есть сказать что хорошее — говори, нет — молчи. Слушать плохое о людях, осуждать их я не хочу.

Я иногда думаю: что сказал бы обо всем этом человек, которому я так верю,— Толстой? Я знаю, что он сказал бы: что порядок в жизни, не только в семье, но и в обществе, может быть только тогда, когда люди искренни, разделяют единое — доброе и разумное понимание жизни, имеют единую религию. Тогда всё, что так трудно, даже невозможно разрешить и согласовать, решается само собою. И я согласен с этим, но живем мы сейчас в такую эпоху, когда нет

в людях этого общего всем мировоззрения; старое отжило и не имеет силы, а новое еще не сложилось. А отсюда все страдания, тот хаос в жизни, который мы видим во всем мире.

Думаю еще о судах. За мою долгую жизнь меня много раз судили, и большой кусок моей взрослой сознательной жизни я провел как раб, за решеткой, под штыком.

Зачем-то судьям, следователям, прокурорам, ученым юристам надо было представить меня каким-то врагом народа, преступником. Я не знаю, зачем это надо было, может быть, они этим кормятся? Пусть это будет на их совести. Но моя совесть чиста перед народом. Я никогда не стремился к власти над людьми. Все свои силы я отдавал смолоду на благо народа. Всегда я хотел людям только хорошего, только того, что они сами для себя хотят: свободы, мирного труда, и в этом отношении моя совесть чиста. Да и судьи в первое время после революции, когда они были ближе к народу и не совсем еще обюрократились и очиновничились, всё же хотя и судили меня, но признавали мою не злостность, а искренность и, уважая ее,— освобождали. И этим освобождением они возвеличивали себя, показывали, что и они мыслящие люди, а не бездушные чиновники.

На этом кончаю свои записи о моей жизни, хотя жизнь моя здесь на земле еще не кончилась, но конец этот уже близок. Смерти я не боюсь, она меня не пугает. Страшнее быть мертвецом при жизни.

Буду стремиться, прилагать все силы, чтобы почувствовать радость жизни не только в деятельном труде, а и в старческой немощи, в упорном труде в своей душе в том же направлении, в каком шел всю жизнь.

И. Я. ДРАГУНОВСКИЙ

ИЗ КНИГИ «ОДНА ИЗ МОИХ ЖИЗНЕЙ»

14 сентября 1931 года мы оставили прекрасные предгорья Кавказа. В Москве заехали к В. Г. Черткову, побеседовали, а 24 сентября нас встречали предгорья Алтая и незнакомые, но приветливые и родные коммунары из коммуны «Жизнь и труд».

Общественная работа без всяких норм, по силам и способностям каждого человека, была мне по душе: да и не только мне, а и остальным членам коммуны была по душе такая свободная и непринужденная работа, отчего она спорилась, была качественной, добросовестной, приятной, радостной. Отношение к нашим помощникам-лошадкам было у всех любовное, без окрика и понукания, без кнута, без лишней нагрузки, без переутомления наших меньших братьев.

Особенно понравились мне люди нашего нового общества своими дружескими, простыми, душевными отношениями друг к другу. Не слышно ни одного грубого, бранного и даже обидного слова, пьяных речей и табачного дыма. Даже пожилые люди называют друг друга ласкательными именами: Петя, Ваня, Миша, Егорушка, Таня, Феня, Мотя.

Мы, молодежь, быстро подружились между собою, потому что у всех у нас были одни трезвые, разумные стремления и развлечения. Организовали хор, которым руководила Анна Степановна Малород, где в основном исполнялись песни духовного нравственного направления, стихи и песни русских поэтов: Пушкина, Лермонтова, Надсона, И. Горбунова. Организовали струнный оркестр, руководимый Мишей Благовещенским.

В 1936 году в коммуне арестовали около десяти человек, среди которых были учителя нашей свободной безгосударственной школы и другие члены коммуны. Мой отец написал в защиту арестованных «Обращение» к правительству. Еще были арестованы за отказ от военной службы двое наших коммунаров: Лева Алексеев и Федя Катруха.

Коммунальную школу закрыли, но вскоре ее открыли и прислали в нее государственных учителей. Дети коммунаров стали ходить в эту школу, так как хотелось учиться грамоте.

Я вспоминаю одного государственного учителя Петра Ивановича, который с первых дней занятий с учениками вел

себя гордо и вызывающе. Во время перемен он выходил на улицу с гармошкой и, смеясь, играл залихватские частушки, как бы хвастаясь перед коммунарами: «Вот, мол, какие мы сильные и смелые. Забрали вашу школу и ваших детей и учим их, как нам хочется!» Но пожив некоторое время среди коммунаров, видя их ежедневно трезвыми, добрыми и приветливыми с ним, видя и зная, за что арестовали наших учителей и других коммунаров, у него изменилось отношение к нам. Незаметно он стал близким и добрым другом коммунаров. Дети любили и уважали Петра Ивановича как лучшего учителя школы.

Вот как можно добрым любовным примером влиять на других людей.

Не буду слишком идеализировать жизнь нашей коммуны, так как и в ней были некоторые недостатки, которые есть и в каждом человеке. Так, например, было выделение небольшой группы коммунаров в сельскохозяйственную артель, где была небольшая личная собственность, как дома, огороды, коровы, а остальное всё общее. Было выделение маленькой группы ручников, т. е. людей, обрабатывающих землю только ручным способом, без применения животных. Эта группа нигде не регистрировалась, занимала крутые, никому не нужные склоны гор, не платила никаких налогов, так как у них не было ничего лишнего.

Коммуна и артель платили налоги за землю зерном, овощами, деньгами. Когда же правительство требовало сдавать коров в мясопоставку и лошадей для армии, то они отказывались. Представители власти приезжали, забирали сами, сколько хотели, лошадей и коров.

Нравственное преимущество коммуны состояло в том, что в ней жило много одиноких стариков, вдов с детьми, сирот, инвалидов, которые чувствовали себя в коммуне как в родном доме.

Маленькая группа ручников сделала себе на маленьком ручье маленькую мельницу для размола зерна, так как руками тяжеловато вертеть мельничные камни, а вода все равно без дела течет. Узнал об этом сельсовет. Приехали, разломали мельничку и жернова спустили с кручи в реку Томь: «Вода ведь государственная и ею нельзя пользоваться свободно».

Мизерный урожай зерна, добытый от ручного земледелия на никому не нужных крутых склонах, сельские власти забирали почти весь. Ручники не жаловались и не обижались за это и питались картошкой и другими овощами и

с грустным сожалением смотрели на этих заблудших людей, называвших себя «сильными мира». Коммуна не оставляла в беде обиженных людей и принимала как родных братьев.

Так люди, решившие сознательно и добровольно жить общественной братской жизнью без насилия, по закону непротивления злу насилием, с кротостью переносили страдания и смерть от окружающего мира и от «сильных мира сего».

Во время воскресных бесед в коммуне никто никому не навязывал своих взглядов, а происходил свободный обмен мнениями, мыслью. На собраниях могли присутствовать посторонние люди, так как коммунары не скрывали ни от кого своих убеждений и никакой политикой не занимались. На собрания часто приходили учителя государственной школы, которым было задание свыше — «прислушиваться».

Мой отец часто выступал с рассказами о своей жизни, о страданиях, заблуждениях, об исканиях смысла жизни, о своих отказах от военной службы и об избиениях за это.

Жена учителя Клавдия Жук часто бывала на собраниях, слушала рассказы отца и передавала в НКВД в совершенно искаженном виде. Из города к отцу стал часто приезжать следователь Ястребчиков. В доме отца он проводил с ним долгие беседы. Степан Ястребчиков, как человек умный, образованный, серьезный, не находил ничего «контрреволюционного» в словах отца и, дружески попрощавшись с ним, уезжал в город с глубоко задумчивым лицом. (После, во время сталинской инквизиции, он был расстрелян своими же единомышленниками-материалистами, возможно, за «мягкость» к толстовцам.)

В воскресенье 8 августа 1936 года мы все были дома: сестры Клава, Люба, моя жена Фрося, наш маленький годовалый сын Алик и я. Отец лежал в постели, завернутый в мокрые простыни. Он накануне, идя со своего маленького поля, упал в незамеченную им в траве яму своей больной ногой и сильно разбередил язвы на голени, отчего рана сильно кровоточила. Отец, привыкший к боли, не стонал, а тихо лежал в компрессах, успокаивающих физическую боль.

Под вечер к нашему дому подъехали на лошади, запряженной в телегу, два молодых вооруженных человека и зашли к нам в дом. Подойдя к лежавшему в постели отцу, они сказали ему, чтобы он вставал, одевался и шел с ними, так как они ириехали арестовать и увезти его. Отец продолжал лежать молча и смотрел на молодых людей удивлен-

ными грустными глазами. Тогда они сдернули с него одеяло, развернули мокрые простыни, и перед их взорами открылось голое, худое, изнуренное тело с окровавленной ногой, покрытой язвами.

Любой человек содрогнулся бы от чувства жалости при виде этого телесного образа. Молодые вооруженные (на этого слабого человека) слуги закона тоже, видно, не были еще вовсе лишены чувства жалости. Они растерянно стояли перед неподвижным голым худым телом отца, не зная, что же с ним делать дальше. И хотя они имели еще добрые человеческие чувства, данные природой, но ум их был уже извращен ложным воспитанием того закона, при котором они росли и учились в государственной школе. Теперь они были слугами, слепыми исполнителями этого закона, и, не имея ничего своего разумного в душе, выполняли волю и приказания этого закона, были под гипнозом закона.

Исполнители закона обратились к нам четверым и попросили нас «помочь им одеть нашего голого отца, чтобы меньше его мучить». Мы все четверо отказались от такой «помощи».

Тогда они, превозмогая неловкость, стали искать белье отца и верхнюю одежду, стали, как мертвеца, одевать отца. Кое-как одев его, они взяли отца за руки и за ноги и понесли из дому на улицу к своей телеге, возле которой уже собралась большая толпа коммунаров, предвидевшая что-то нехорошее. Молодые слуги закона положили отца в телегу и, сев в нее сами, быстро помчались из деревни, убегая от взоров людей, молча и грустно смотревших на их неестественные, неразумные, нечеловеческие действия.

20 ноября 1936 года, в день памяти Л. Н. Толстого, над его последователями коммунарами-толстовцами был произведен суд. Их судили за то, что они не шли в ногу с обществом, которое поддерживало насилие, убийство, церковное и государственное суеверие. Судили за их гуманные человеколюбивые убеждения, за непротивление злу *насилием*. Люди власти, судьи, говорили им: «Вы еще рано строите коммунизм, рано отказываетесь от поддержания насилия и убийства. Вот надо разбогатеть материально, накормить всех досыта, и тогда коммунизм придет сам собой, без нашего усилия».

Сроки заключения были разные. Отца осудили на пять лет лагерей.

Мне очень не хочется рассказывать о жутких 1937—1938 годах, так как, вспоминая это, на душе делается тяжко

от того, как русские люди, ввиду своего заблуждения, издевались над своими же русскими людьми. Арестовывали, избивали, судили, ссылали, казнили... Арестовывая и ссылая на Север друг друга сотнями, тысячами, миллионами, люди эти не имели зла друг к другу. Часто это были даже добрые люди, но они были очень одурманены государственным гипнозом, слепо верили в то, что эти миллионы ссылаемых (и погибших) действительно были «враги народа», т. е. враги сами себе. А главное зло было в самих людях, в их несовершенных душах, в их личном эгоизме, в сохранении своей отдельной личности, в слепой вере в «материю», в объективную реальность своего тела как единственной ценности, ради сохранения которого люди употребляют самые безнравственные средства и предательство друг друга. Какое великое заблуждение!

Октябрь 1937 года... Под вечер я ушел из поселка коммуны по глубокому снегу на пасеку, которая находилась в трех километрах от поселка в красивом лесу. Туда же раньше меня ушли Лева Алексеев и Анатолий Иванович Фомин. Лева и Анатолий сразу же залезли на чердак большого омшанника, а я расположился спать на полу в домике, где жил наш пчеловод Миша Благовещенский со своей женой Дусей.

Спали плохо, тревожно. В полночь раздался стук в дверь. Через минуту не закрюченная дверь отворилась и в комнату вошли четверо мужчин с зажженным фонарем. Трое из них были с пистолетами в руках, направленными в комнату, четвертый без оружия, член коммуны Онуфрий Жевноватый. Осветили мне лицо, спросили у Онуфрия мою фамилию, сказали: «Нет, этого нам пока не надо» и прошли в другую комнату, где были Миша и Дуся. Мише приказали одеваться, а сами стали производить обыск по всему дому. Перерыли все вещи, раскидали по полу книги и разные вещи, но, кроме пчеловодной и художественной литературы, ничего другого не нашли. Трое из них ушли обыскивать омшанник, но через полчаса вернулись, никого и ничего не нашедши. На чердак омшанника не лазили.

Моего друга Мишу Благовещенского, милого, доброго, веселого, тщедушного человека увели в темноту холодной зимней ночи, не дав мне попрощаться с ним. С тех пор я его больше не видел и не увижу в этой земной жизни. Дуся ушла провожать, а я остался один в доме.

Когда рассветало, из омшанника пришли Анатолий и

Лева, посиневшие, дрожавшие от зимнего холода и от ужаса, производимого умными, но заблудшими людьми. Они остались в доме обогреться и успокоиться, а я отправился домой в поселок коммуны, но по пути решил зайти в Долину Радости, где жил один в маленькой избушке Федя Катруха, брат моей жены Фроси, ручник-свободник.

Спускаясь по глубокому снегу в лог, поросший разнолесьем, я увидел возле избушки много человеческих следов, разбросанную по снегу домашнюю утварь и кучи золы.

Я вошел в избушку. Федя лежал на кровати под одеялом, с открытыми глазами и серьезным грустным лицом. На земляном полу были разбросаны нищенские вещи, листы изорванных книг. Я спросил: «Что, Федя, и у тебя, видно, были?» Он ничего не отвечал и продолжал тихо лежать. Тут я заметил у него на лице и на шее следы побоев. Я просидел у Феди с полчаса, и за это время мы не промолвили ни одного слова. Слова были не нужны, и так всё было ясно. Я не стал просить его показать избитое и изуродованное тело; это было бы ненужное любопытство. Книги его все были уничтожены: часть книг сожгли прямо в избушке на земляном полу, часть на улице. Вещи и посуда были поломаны, перебиты и похищены.

Придя в поселок коммуны, я зашел к матери Феди и рассказал ей о нем. Она отправилась к нему, а я пошел домой.

Подойдя к сеням дома, я остановился, пораженный. Крепкая хорошая дверь в сени была вся изломана в куски и щепки. Я вошел в дом. Фрося и моя сестра Люба сидели бледные и молчащие. Двухлетний сын наш Алик сидел на коленях у своей мамы, прижавшись к ней, с испуганным личиком. Мне рассказали следующее.

В два часа ночи к ним постучали в дверь. Фрося вышла в сени и спросила: «Кто там?»

Со двора кричат: «Отворяй без разговоров! Мы из НКВД!»

Фрося говорит: «Позовите с собой кого-либо из наших соседей, тогда я открою, а то я ведь не знаю вас».

Тогда назвавшие себя НКВД взяли из кучи лежавших во дворе дров сырое березовое полено и стали им разбивать дверь. Когда эта дверь была разбита, они вошли в сени с бревном и стали таранить вторую дверь в комнату. Фрося, поняв, что они и вторую дверь так же разломают в щепки и тогда они с маленьким замерзнут, отворила им дверь.

Вошли несколько вооруженных пьяных людей, называвших себя НКВД. Они сразу же стали кричать, выража-

ться нецензурными словами, полезли в подполье и стали обыскивать квартиру.

Их первый вопрос был: «Где Михаил Катруха?» (Второй брат Фроси.)

Фрося ответила: «Я только про себя знаю, а про других людей я ничего не знаю»,— и больше не стала отвечать на их вопросы. Долго кричали, матерились эти хмельные люди, угрожая Фросе и Любе оружием, и всё добивались: «Где Михаил Катруха?» Но так и не добились они в этот раз ничего. Про меня почему-то не спрашивали.

В эту ночь многих коммунаров увезли в тюрьму, и почти никто из них не вернулся ни домой, ни к этой земной жизни...

Миша Катруха и я продолжали ночевать где придется: то в коммунальной бане, то в сушилке, то в поле в стогу сена, то в лесу. Уж очень не хотелось быть схваченным этими дикими охотниками и посаженным за решетку, не зная за что, не чувствуя за собой никакого преступления, никакой вины. Возможно, это было эгоистично с моей стороны — уклоняться от страданий, от смерти, оберегая свою личность. Это было как будто отрицанием единства жизни. Если жизнь едина, обща, то и радости и страдания должны быть общими, круговой порукой: один за всех и все за одного. Но я почему-то не видел смысла в перенесении этих ненужных страданий и в преждевременной смерти. Я не хочу верить ни в какие суеверия: ни в церковные, ни в государственные. Я не хочу враждовать и воевать ни с кем на всей планете; я не хочу и не могу убивать не только людей, но и наших меньших братьев животных для забавы или для съедения. Неужели меня хотят наказать и лишить жизни за это? Как это дико, бессмысленно!

В одну из таких беспокойных ночей я заночевал у Каретниковых, которые жили рядом с нами за стеной. Их зять Миша Овсюк был в это время уже в тюрьме, и в доме жила его жена Клава с маленькой дочкой Верой. У нас в комнате, кроме Фроси, Любы и Алика, ночевала еще Дуня Агуреева. Миша Катруха ночевал эту последнюю ночь у Чернявских.

Среди ночи я внезапно проснулся, как от электрического тока. Не знаю, отчего я проснулся. То ли от внутреннего предчувствия беды, то ли от сильного шума за стеной. В моей квартире был слышен топот ног, удар чем-то в стену, за которой я лежал, и вслед за этим отчаянный крик маленького Алика. Я разбудил Клаву Овсюк и попросил ее сбегать в наш дом, попросить еще кого-нибудь из соседей пойти

в наш дом и узнать, что там происходит. Клава побежала, но быстро вернулась, взволнованная, сказав, что ее в наш дом не пустили вооруженные люди, да и вообще страшно выходить на улицу: там всех хватают, кидают в сани и увозят.

Я не выдержал и босиком, в одном нижнем белье побежал задворками к своей квартире. Была лунная ночь с сильным морозом, но я его не чувствовал. Во дворе в это время никого не было, и я пробрался возле стены к самым сеням нашей квартиры. В окно, при лунном свете, я увидал две человеческие фигуры. Присмотревшись, я увидал у одного в руке блестевший пистолет, направленный дулом в лицо другому человеку. Хотя я был всего в трех шагах от них, я не мог узнать, в кого направлен пистолет.

— Говори, где муж?! — услышал я грубый мужской голос.

Тишина...

Фрося! Так это ты, бедная! Меня затрясло как в лихорадке. Это тебе в лицо направлен пистолет! Тебя пытают и угрожают смертью за меня! Нет! Этого не должно быть! Я сейчас вскочу и крикну: «Вот я! Оставьте ее!»

Но... я не выскочил из своего укрытия, не закричал, а подвинулся еще ближе, еще на шаг, почти вплотную к окну, ожидая развязки.

Что это было? Трусость или немой ужас сковал мне рот? Не знаю. Если бы человек с пистолетом повернулся немного лицом к окну, он, наверное, увидал бы меня, но всё его внимание было приковано к внешне спокойному лицу Фроси. Я решил ждать у окна конца этого кошмара, хотя ноги мои уже примерзли и я ничего не чувствовал.

— В последний раз спрашиваю: где муж? Или пулю в лоб вгоню!

Тишина. От Фроси ни звука.

— Вот женщина, черт побери! — толкнул Фросю левой рукой, и оба вошли в комнату.

Я вернулся в дом Каретниковых. Оделся и обулся. Хотел было залезть в подполье, но Клава испугалась, говоря: «Они могут и сюда прийти; найдут тебя и меня заберут за укрытие тебя». Я полез на чердак, который был общим на несколько коммунальных квартир. Из моей комнаты в потолке была сделана отдушина вентиляции с широкой деревянной трубой, которая в это время оказалась открытой, и мне через нее не только всё было слышно, но и порядочно видно, что происходило в комнате. Я сел рядом с отдушиной, смотрел и слушал. НКВД все молчали, курили и отдыхали

после своей «работы». Только один Алик жалобно стонал и плакал. Эти люди вывихнули ему руку...

— Ну, вот что,— начал говорить один,— если ты не говоришь, где твой муж, то одевайся, мы тебя арестовываем за него!

От Фроси ни слова, ни движения. Теперь я уже пришел к решению: если Фросю станут тащить из дома, то я слезаю и отдаюсь им.

Но какие бывают в жизни непонятные, загадочные странности, которых я не могу объяснить. Вместо меня на выручку Фросе пришел ее бедный брат Миша Катруха. Обычно Миша после ночных облав приходил к нам в дом только с рассветом, зная, что облавы и аресты производились только по ночам. А тут, как нарочно, в четыре часа раннего утра, при наступившей в комнате тишине, я вдруг услышал шаги в сенях. Отворилась дверь и... в комнату вошел Миша. Он хотел шагнуть назад, но люди, называвшие себя НКВД, все сразу бросились на него и схватили.

— Как фамилия? — грозно закричали они.

— Зачем вам фамилия? Я человек. Скажите: что вам от меня нужно?

Они вывели Мишу в сени, завели в пустую холодную кладовку, повалили его на пол, сели ему на руки и на ноги, и один из них стал бить его деревянной сапожной колодкой по голове, по лицу, спрашивая фамилию.

Долго они били и мучили Мишу, но Миша молчал...

Меня трясло от ужаса, видимого и слышанного мною, и отдушина, выступавшая из комнаты на чердак, закачалась и заскрипела. Они услыхали это и, бросившись к отдушине, закричали: «Он там, на чердаке!» Один из них, встав на табурет, стал примерять головой, не сюда ли я вылез из комнаты. Но поняв, что сюда не пролезть взрослому человеку, они бросились бегом на улицу и с другого конца дома залезли по лестнице на чердак. Я уже слышал топот шагов по чердаку, приближавшихся ко мне, но все еще продолжал сидеть возле отдушины в оцепенении. Когда шаги и голоса уже приближались ко мне, я очнулся от сковавшего меня ужаса и, спрыгнув с другого конца чердака на снег, спрятался в недалеко находившейся конюшне и оттуда из окна наблюдал за происходившим во дворе.

Начинало рассветать. Вот вижу, из моей квартиры повели за руки Мишу Катруху на улицу к подводам, уже нагруженным, как дровами, нашими коммунарами, малыми и старыми. Я все ждал, не поведут ли или понесут Фросю.

Нет, видимо, оставили. Значит, я буду пока сидеть в конюшне с лошадками, мирно жующими сено и ничего не знающими о неразумных делах умных существ мира — людях.

Из окна конюшни мне было видно часть улицы. Вот несколько саней, нагруженных всвалку людьми, поехали из поселка. Большая толпа женщин и детей провожали их. Я вышел из конюшни и пошел домой. В комнате было как после разгрома. Фрося, Люба, Дуня и маленький Алик сидели бледные, молчащие. Мне кажется, что они не удивились и не обрадовались моему приходу, что я на сей день остался на свободе и живой. Не сегодня, так завтра, все равно заберут. ⟨...⟩

В эту же ночь в Долине Радости взяли Федю Катруху и Анатолия Фомина. После один из участников этого дикого ареста, самый старательный, Колодин, рассказывал, не с сожалением, а с насмешкой:

— Анатолий Иванович согласился идти сам, а Федя отказался. Тогда его голого завернули в одеяло, обвязали ноги веревкой, которую привязали к хвосту лошади, и так по глубокому двухметровому снегу долго тащили до дороги, садясь на него по очереди и избивая.

Коммуна опустела, лишившись почти всех мужчин, и ночные налеты и облавы стали постепенно утихать. Да и арестовывать стало уже некого. Мы закрыли свою квартиру и не стали в ней жить, так как охота за мной, возможно, еще не закончилась и ночные издевательства могли продолжаться. Фрося с Аликом поселились в домике Шуры и Тани Алексеевых. Люба ночевала у своих подружек, а я по-прежнему ночевал где придется.

Алик стал по ночам вскрикивать, в ужасе прижиматься к своей маме. Руку ему вправили, и она постепенно зажила. Днем, увидя на улице милиционера или солдата, он в страхе прижимался к маме Фросе.

Из опасения, что Фросю могут арестовать вместо меня, а маленького Алика осиротить или искалечить, мы решили, что Фросе с Аликом нужно уехать на Украину к ее сестре Саше и там временно пожить. Провожал их я и Ваня Шалин. Когда в Сталинске перед отходом поезда мы сидели в вагоне и прощались, к нам подошли двое в штатском и, обращаясь ко мне и Шалину, спросили: «А вы тоже едете?» Мы сказали, что провожаем. Внимательно посмотрев на нас, они ушли. Мы ожидали, что нас арестуют, но благополучно вернулись домой.

Я продолжал жить один в бегах. Добрался на лыжах в Долину Радости, поселился в пустой избушке Феди. Днем спал, а ночью чутко прислушивался, держа лыжи наготове. Все же я теперь был спокойнее: Фросю и Алика не будут терзать за меня, а если и поймают, то меня одного...

Первые пять дней моей одинокой жизни в лесу я добровольно голодал, хотя у меня были сухари с собой и овощи в подвале у Феди. Читал взятое из дома Евангелие и часто повторял место из него: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». На восьмую ночь моей одинокой жизни в лесу я вдруг услышал недалеко от избушки голоса людей. Я вышел и услышал знакомые веселые голоса нашей коммунальной молодежи. К избушке подъехали на лыжах сестра Люба, Шура Шилов и другие. У меня отлегло от сердца. Они рассказали, что в коммуне всё спокойно. Мы все вместе ушли домой.

Настала весна 1938 года. Облав и арестов у нас больше не было. Да и кого арестовывать? В красивой, но теперь тихой и грустной Долине Радости из всей группы ручников-свободников остался только я один, чудом уцелевший пока от ареста. Я уже засеял небольшие участки земли подсолнухами и пшеницей, а убирать мне их уже не пришлось. Урожай убирала Фрося одна, и то, что убрала и намолотила своими мозолистыми руками, сельсовет забрал всё.

В конце апреля я пошел в Сталинск купить кое-что из одежды. Потолкавшись в огромных очередях и мало что купив, я пошел переночевать в коммунальную избушку, стоявшую у города на левом берегу Томи, куда мы каждое лето привозили из коммуны в лодках и карбузах овощи для жителей города. В избушке был только один Миша Барбашов, живший там за сторожа и конюха. Остальные несколько человек коммунаров, уехавших в город за покупками, еще не вернулись. Барбашов ушел из избушки в конюшню выкидывать навоз, а я прилег на нары и задремал.

Вскоре из города пришел Андрей Совин. Через несколько минут мы с ним увидели большую толпу милиционеров, направлявшихся прямо к нашей коммунальной избушке. Мы с Андреем вздрогнули.

— А давай, Ваня, отвяжем лодку и уплывем,— предложил Андрей. Но мы этого не сделали. Мы ведь не знали, зачем они идут к избушке. Подошедшие милиционеры велели нам зайти в избушку и стали производить обыск. Обшарили всё в избушке, на чердаке, в конюшне, но ничего не

нашли, кроме кучи писем на столе, которые мы привезли из коммуны и забыли опустить в почтовый ящик. Эти письма они забрали себе.

В это время остальные коммунары, бывшие в городе, всё подходили в избушку, и когда все собрались, то запрягли лошадей в пароконную телегу, в которую усадили женщин и ребятишек, а мы, мужчины, пешком, под конвоем милиционеров, направились в Сталинск. Всех нас, коммунаров, было двенадцать человек. Разместили нас уже поздней ночью в подвале. Женщин и детей в одну камеру, мужчин в другую. На другой день женщин и детей отпустили домой, а нас, мужчин, оставили. Остались: Андрей Совин, Николай Слабинский, Алексей Шипилов, Сергей Юдин, Михаил Барбашов и я.

Допросы делали нам, как обычно, по ночам. Мне предложили подписаться на каких-то написанных чернилами и на чистых листах бумаги. Я отказался от подписи. Следователь (или, может быть, он еще как назывался), размахивая пистолетом перед моим носом, кричал:

— Сгною в подвале, если не подпишешь!

— Ну что же, умирать все равно когда-то придется и мне, и тебе, а подписывать ваши бумаги я не буду,— отвечал я.

— Ну ладно, и без тебя подпишем!

Мне предъявили статью 58-ю, пункт 10. Самая модная статья того времени, по которой можно было обвинить любого человека, что и делалось в бедной России. В своем обвинении они написали, что я будто бы агитировал кого-то против Советской власти, что я не платил налоги и этим агитировал других коммунаров, агитировал не давать лошадей в Красную Армию, не давать животных на убой, что я якобы писал сочинения против Советской власти и рассылал их по всей стране, сам ездил по всей стране и вел агитацию и т. п.

Среди писем, изъятых в избушке коммуны, было и мое письмо к Фросе на Украину, в котором я излагал свои взгляды на всякую земную власть как на ненужное насилие, которого не должно быть в разумном обществе. Это письмо было предъявлено мне как обвинение. Молодой следователь Николаев вел себя по-разному: то спокойно, то больше грубо, дерзко, с нецензурными выражениями. Называл меня фанатиком. Спрашивал о жизни коммуны, а как-то спросил: «А как ты смотришь на вашего умника Мазурина?» Я сказал, что смотрю на него как на рядового члена коммуны, а если он умнее некоторых людей, так он в этом не виноват.

В июле отпустили домой Андрея Совина, Алексея Шипилова, Николая Слабинского, Сергея Юдина, а Мишу Барбашова отправили в психбольницу. Из коммунаров остался в тюрьме только я один. Как же было больно Фросе и Алику, уже вернувшимся с Украины, прийти в свой пустой дом.

Всё жаркое лето 38 года я «пропарился» в старокузнецкой тюрьме, и уже осенью, когда на улице шел снег и в камере дышалось легче, меня перевели в другую камеру, где я встретился с учителем нашей коммунальной школы, человеком высокой, благородной, нравственной души — Гитей Тюрком. Сколько же было радости у нас при этой встрече! Живя на воле, в коммуне, мы не испытывали столько радости при наших частых встречах.

Вскоре меня увезли в Первый дом НКВД на суд, который был закрытым. Та же зала, тот же судья Тармышев, который в 36 году судил моего отца и других коммунаров. Суд был коротким: никаких вопросов, никакого последнего слова. Я сказал судье Тармышеву:

— Какая странная судьба. Два года тому назад вы судили моего отца, а теперь и меня — сына. А за что же вы судите?

— Провинился, так и судим,— сухо ответил он, не поднимая головы.

Свидетелями по обвинению были: Андреев Иван Иванович, Юдин Сергей, Чекменев Василий, Жевноватый Онуфрий. На суде их не было, а были только бумаги следователя, которые свидетели подписывали (как впоследствии выяснилось) под нажимом следствия.

Никакого зла я не имел на этих бедных людей, что они под страхом насилия подписались под ложью.

Прочитали приговор суда: «Десять лет заключения».

Выхожу с конвоирами в коридор. Там стоит Фрося с нашей новорожденной дочерью Наташей, но глаза без слез, что меня ободрило. Идем с конвоиром в КПЗ. Фрося идет рядом с нами. Конвоир оказался добрым человеком, которых, к счастью, много на свете, но который, имея добрые чувства, возможно, и жалел меня, но ум его был одурманен государственным гипнозом; он дал присягу, клятву начальству, и теперь слепо, послушно выполнял любые неразумные приказания других заблудших людей.

Он шел тихо, не торопя меня и не запрещая разговаривать с Фросей. Я развернул одеяльце и в первый раз увидал нашу дочь Наташу. Она крепко, сладко спала. Милые, полные розовые щечки и губы, которые так хотелось поцело-

вать, но я боялся разбудить ее чистый безмятежный сон. Нет! пусть она лучше спит и не открывает глаза на действительность, которая так неестественна, грустна...

На другой день меня увезли в старокузнецкую тюрьму, а через несколько дней собрали большой этап, погрузили в вагоны и привезли в новосибирскую пересыльную тюрьму. Из новосибирской тюрьмы нас вскоре погрузили в товарные вагоны и повезли в Томск. В вагонах кормили только хлебом и соленой рыбой, а воды не давали. Люди лизали обмерзшие стены вагонов, болты, железные ручки вагонов.

Приехав в Томск, мы прошли огромной колонной по заснеженным улицам города, с низенькими старинными деревянными домами, пришли в Черемошники, а оттуда в Тимирязевку на лесозаготовки, в места, столь знакомые многим коммунарам, бывшим там долгие годы, и другим людям, оставшимся в живых. Я написал кассационную жалобу на имя Крупской и Калинина, хотя и не надеялся, что она дойдет до этих добрых, гуманных людей. Вскоре пошли слухи, что Ежова сняли с поста и как будто в стране стало «мягче». Пробудились надежды на освобождение из «плена».

При погрузке сырых тяжелых бревен на платформы вагонов я сильно заболел радикулитом. Я мог ходить только согнувшись, с трудом передвигая ноги. Фельдшер (заключенный) не дает освобождение от работы, так как температура у меня почти нормальная. Я показываю ему свою опухшую воспаленную поясницу. Он верит, что я больной, но говорит: «Не могу дать бюллетень. Меня за это самого накажут». Меня запирают в холодный ледяной карцер, как за отказ от работы. На другой день меня насильно ведут под руки, за восемь километров, в лес на работу. Мне дают в руки лопату, чтобы я мог работать, не разгибая своей больной спины, и я очищаю от глубокого снега железнодорожную линию. С работы меня опять ведут под руки друзья заключенные, а сзади конвоиры подталкивают ружьями и собаки овчарки рычат. Отстанешь, упадешь — разорвут.

Так продолжалось целую неделю, пока болезнь не прошла сама собой. Спасибо, что товарищи по несчастью поддерживали меня под руки. Видимо, никакая жестокость, бессердечность властей, и страдания, переносимые людьми, не могут погасить в душах людей доброты, жалости друг к другу. В этом уже видно единство жизни.

Здесь я встретился с нашим коммунаром Шипиловым Алексеем, которого снова арестовали и осудили по какой-то другой статье. Но вместе с ним мы пробыли недолго, так как

меня и кое-кого других назвали «переследственными» и отправили в Искитим, где мне пришлось еще поработать полгода на тяжелых работах: каменоломня известняка и погрузка негашеной извести в вагоны. После погрузки извести мы все откашливались кровью.

Летом 1939 года меня привезли в старокузнецкую тюрьму. Здесь еще месяц шло переследствие, во время которого все свидетели обвинения отказались от своих прежних ложных показаний и меня освободили из неволи, взяв с меня слово, что я никому ничего не расскажу, что видел и слышал в тюрьмах и лагерях.

Моя жалоба каким-то чудом дошла до Крупской и Калинина, дошла к этим чутким людям, не верившим сказкам о «врагах народа», спасшим много человеческих жизней, как, например, коммунаров братьев Алексеевых и многих других, и, может быть, за эту свою доброту поплатившимся своими жизнями и рано ушедшим из этого мира...

ИЗ БУМАГ
ЯКОВА ДЕМЕНТЬЕВИЧА ДРАГУНОВСКОГО

В середине 1970-х гг. Иван Яковлевич Драгуновский составил жизнеописание своего отца. Оно основано на чудом сохранившихся материалах — дневниках, автобиографических записях, стихотворениях, трактатах, переписке этого самобытного человека — солдата первой мировой войны, активного толстовца в послереволюционные годы, в середине 1920-х перебравшегося со Смоленщины в Ставрополье, чтобы основать там колхоз, затем коммунара на Алтае, затем там же артельца, наконец, энтузиаста ручного земледелия; и всегда — мыслителя, всегда — искателя истины. Документы (или отрывки из них) извлечены нами из труда И. Я. Драгуновского и по возможности сверены с первоисточниками, также предоставленными в наше распоряжение. Материал мы расположили в хронологическом порядке, разбив его на несколько частей, соответствующих, как нам кажется, основным этапам жизни Я. Д. Драгуновского, землепашца и философа, от его рождения до трагической гибели в одном из сибирских лагерей.

1886—1914

МОЯ ЖИЗНЬ

Конспективное изложение

Я родился 7 октября 1886 года. Большая крестьянская семья. Православная религия. Наши детские драки. Розги за эти драки. Я плакса. Мое воспитание. Сельское образование. Приучение к труду. Моя беспрекословность старшим. С 1900 по 1906 год я покорный и ценный работник. Малоземелье в Смоленщине. Покупка земли. Труд увеличивается. Религиозное соблюдение постов. Молитвы перед праздниками и в праздники. От плохой обуви и одежды я нажил себе ревматизм. Заболеваю воспалением легких. Умирать не страшно. Когда мне было семнадцать лет, наше семейство, выросшее до двадцати одного человека,— разделилось на три двора. Моя мать с больным мужем (моим отцом) уже не боялись жить самостоятельно своей семьей, имея пятерых подрастающих детей, во главе со мной, 17-летним юношей, на которого дяди полагали надежду, что я хороший работник, хорошо поведу хозяйство. В сущности, я плохой еще мог быть хозяин; я был хорошим послушным работником, никогда не ослушивавшимся приказаний дяди, и теперь я находился под руководством матери, что очень не плохо — не иметь забот мне, молодому.

Заключение: ценный трудовик, крестьянин, покорный раб с некоторыми нравственными качествами. Я знакомлюсь со столярным делом, хочу найти учителя по столярничеству. Я слишком застенчивый. Делаюсь женихом, а боюсь девушек, боюсь общества. До некоторой степени я дикарь. Домоседство меня удовлетворяет. Отдаюсь больше религиозности. Люблю ходить в церковь. Японская война наводит на меня неопределенный ужас. Революция 1905 года для меня непонятна. Союз русского народа. В девятнадцать лет я у столяра на полтора месяца. Скупость столяра и голодная жизнь.

Как нарочно, против моей застенчивости, в душу прокрадывается чувство любви к девушкам. Первая встречная могла быть предметом моей первой любви. К душевной любви примешивается какое-то туманное, страстное влечение. Сосед ведет меня около хороводов девушек на ярмарке —

для подбора мне невесты. Но до самой женитьбы у меня не было невесты.

Мать собирается женить меня: «Нужна помощница в хозяйстве». Я не знаю, что ответить; говорю, что не буду жениться, но соседи советуют матери женить меня. Несмотря на мое упорство, мать сватает незнакомую мне девушку. Нас сводят в церкви, посмотреть друг на друга. Шагов на десять расстояния мы, будущие супруги, любовались друг на друга. Не познакомившись ближе, мне трудно было сказать, понравилась ли мне предполагаемая невеста. Сосед, помогавший мне смотреть, сказал: « ля тебя бы надо лучше». Я согласился и пригорюнился. Придя домой, и есть не мог. Но мать налегает, чтобы я определенно сказал. Я не могу говорить ни да, ни нет. Приехавшая женщина, из той деревни, где эта невеста, стала уговаривать меня, что лучшей жены не найти. Наконец, меня уговорили. Мать с братишкой поехали к невесте с водкой, и через две недели свадьба: 7 мая 1906 года толстовского Алешу Горшка женили.

Если до сих пор по своей застенчивости я не мог определенно любить ни одну девушку, то эту первую любовь я отдаю моей жене. Если до женитьбы я был домоседом, то женившись — тем более. Я очень не любил бывать на пирушках (свадьбах, гуляньях, игрищах). Жена была мне противоположностью. Уступая жене, я присутствовал с ней на редких пирушках и не мог выносить, когда с моей женой кто-либо из мужчин заговаривал или один и тот же мужчина несколько раз шел танцевать с ней. Я страшно ненавидел танцы: к чему эта толчея, все эти топтанья ногами, все эти бессмысленные телодвижения, все эти глупые прыганья вверх головой, как толкач. Словом, все эти кривлянья были для меня противны. Я очень не рад был, что жена моя участвует в этой бессмыслице. Я делаюсь ревнивым и страдаю от этого. Но убедить ее я не мог. Я не мог передать ей свой характер, свою нелюбовь к пирушкам, к танцам. Но в общем живем с женой дружно, хорошо.

К концу второго года нашей совместной жизни явилась закрепляющая нас связь — сын Ваня: 25 января 1908 года *(ст. ст.)*.

Осень. Мой призыв на военную службу. Я рекрут. Начинаю пить водку. Впечатление от водки. Я принят на военную службу. Я налагаю себе фамилию Драгуновский. Я первый раз в поезде. Я в казарме. Я серый баран.

С конца 1908 года по ноябрь 1911 года я солдат. Военная служба давит всей тяжестью. Я тоскую по родине,

часто плачу. Нахожу радость и успокоение в церкви. Наверно воспитание в нашей религиозной семье вложило в меня желание ходить каждый праздник в церковь. Весь 1909 год меня учат «ходить», учат дисциплине, учат не быть самостоятельным, разумным человеком, а покорным слугой в руках начальства, по приказанию которых я должен буду защищать «веру, царя и отечество от врагов внешних и внутренних». Эти враги очень пугали меня. Что вдруг не на словах, а на деле прикажут убить. Как тогда быть, когда это страшно при одной мысли? А интересно все-таки было бы увидеть царя, которого придется защищать от воображаемых внутренних и прочих врагов...

1910 год. Солдаты пьянствуют на Пасху, протестуют против плохого фельдфебеля. Меня за это приговаривают на десять часов стоять под ружьем. Пропадает револьвер. Мне дают 30 суток гауптвахты. Страх тюрьмы напугал меня, будто я никогда не выйду из тюрьмы, никогда не возвращусь на родину с военной службы. Смерть Л. Н. Толстого. Первое знакомство с произведениями Толстого. Читаю «Войну и мир».

1911 год. Летом мы несем караульную службу в Петрограде. Знакомлюсь с городом, с музеями, с некоторыми садами — Таврическим, Зоологическим, Народным домом. Покупаю и читаю Толстого: «Воскресение», «Суратская кофейня» и другие. Запасные солдаты своим пьянством подводят меня под ружье на десять суток. Наводят опять страх на меня, что со службы не вырвусь. Тяжесть службы воспитала во мне отвращение к ней. Дисциплина. Страх за свою жизнь. Озлобленность. Суеверие не изменилось. Два раза бываю на охране железной дороги, при проезде царя. Воздержание от водки. Церковь, книги. Люблю читать Толстого. Истина не приобреталась. Звание — серый баран — не изменяется. Демобилизация. Слава Богу, уволился. Я дома, радуюсь и семейные радуются моему возвращению. Привез с собой несколько книг. Начинаю любить книги, читаю и еще приобретаю. Что-то тянет к трудам Л. Н. Толстого.

Жизнь дома. Жизнь крестьянская, материально сытая, пьяная, мало осмысленная. Основное — работа, работа и работа, приобретение побольше средств, даже какое-то соревнование друг перед другом. Опять церковь дает мне некоторый душевный отдых и покой. Читаю в церкви часы и очень радуюсь, что могу читать громко, отчетливо, правильно. Начинаю читать Апостола. Вместе с тем меня что-то тянет к трудам Толстого. Весной 1913 года умер семи-

месячный сын Алексей. Очень сильно отразилось на моей душе. Осенью в этом же году чуть не умерла жена от кровоизлияния. Братья — Петр и Тимофей — уехали в Ригу на заработки. Я работаю по столярничеству у моих отделившихся дядей в Долгомостье. Зарабатываю на токарный станок. Аукционные торги у помещика. Свадьба у дяди Абрама. Я без чувств пьяный, после этого болею три дня и осуждаю себя. Лето сухое, хлеба убрали быстро.

С 20 июля 1914 года по август 1915 года — мобилизация.

⟨запись 1920-х годов⟩

1914—1915

ВОЙНА

Прибыв в госпиталь раненый, я вздумал написать свой дневник-рассказ с начала первой мобилизации и до сего дня.

Июль 1914 года. Стоит все время сухая жаркая погода. Сена наготовили зеленого, пушистого. Скошенные луга стали желтеть от палящего солнца. В воздухе страшная духота. За короткое время сняли и убрали рожь. Половина полевой работы к 15 июля сделана, остается только яровое, которое еще чуть зеленовато, но горячее солнце заставляет его без времени сохнуть. В некоторых деревнях уже приступили к уборке яровых: косят луга, выдергивают лен. Кажись, всё шло хорошо, как по маслу: мирно и радостно трудились, и вдруг всё это грубо нарушилось по чьей-то воле. 18 июля была объявлена мобилизация. Все сразу приуныли. Не стало слышно веселых песен, ни разговоров мужиков, сидящих на завалинке и толкующих о своих крестьянских делах. Везде и всюду пошли слухи о войне. Приуныли мужики, плачут бабы. Меня тоже как чем-то ошеломило. Хожу как пьяный. Объявление мобилизации застало меня в то время, когда я читал какую-то книгу Толстого. Я сразу задумался, бросил книгу и стал ходить взад и вперед. Увидал жену — плачет, потом бросилась мне на шею и совсем заревела. Стал ее уговаривать, что не один я иду на войну и не всех там убивают, может быть, и жив вернусь? Ее уговариваю, а у самого сердце так и щемит. Ну ладно, чему быть — того не миновать. Попросил истопить баню. Вымоюсь в послед-

ний раз и уеду. Вымылся, надел белье, которое со службы было привезено. Мать говорит: «Оделся ты точно на смерть»,— а сама плачет. Ночь прошла тревожная. Грезится о войне всякая чепуха: то думается, как вдруг меня ранит, быть может, и тяжело, и как долго, может быть, придется лечиться. А то совсем представишь себя убитым и как уже не придется больше видеть прекрасную природу, родную страну, свое милое семейство. Сынишка какой уже умный стал, седьмой год ему идет. Прошедшую зиму выучил его немного читать.

19 июля приказано собираться всем солдатам в свою волость, а также и коней вести, говорят, что оттуда солдаты поедут на подводах в уездный город к воинскому начальнику. Я прибыл в волость в восемь часов утра. Уже много собралось людей и коней. Вижу, что делать здесь пока нечего, и я пошел в церковь. После обедни я попросил попа отслужить мне напутственный молебен. Молился я с большим усердием и печалью, прося Бога, чтобы он помиловал меня и чтобы я на войне остался живым. Уж очень не хотелось умирать в таких молодых летах и при таком хорошем физическом здоровье. Отслужив молебен, поп пожелал мне всего счастливого. Я пошел опять к волости. В это время там слышались крики между солдатами: «Давайте казенку разобьем! Почему водку не дают? Может быть, последний раз тут живем! Надо же с родными выпить на прощанье!» Урядник приказал сидельцу открыть винную лавку, и все ринулись туда. Я запряг лошадь и уехал домой. Дома я стал ходить везде, как бы прощаясь со всем милым и родным. Всего было жаль: семью, дом, огород, родное поле и только что изученное столярное и токарное ремесло, приобретенные книги. Хорошо, что дома оставались два брата и третий был на заработках, но и этого уже спрашивали при мобилизации.

Утро 20 июля было пасмурное, ночью прошел дождик и воздух освежило. Природа торжествовала и звала к мирной радостной жизни, а на душе было грустно и тяжело. Сегодня отправка на войну. Может быть, уже последний раз вижу свою семью и этот прелестный мир. Зажгли свечи перед иконами. Изба наполнилась бабами и ребятишками, и все пособляли мне молиться Богу. Я стал громко читать молитву, которую читают перед сражением и выученную мною на действительной службе,— «Спаситель мой», но всю я договорить не смог, забыл и остановился на словах: «на одоление врагов наших». Больше всего я молился о том, чтобы опять возвратиться домой.

До уездного города было 35 верст, и к 12 часам дня мы приехали туда. Пришли на воинский двор и там узнали, что солдаты уже разломали две казенки с вином. Пьяные кричат, ругаются, лезут в канцелярию и суют военному начальнику свои воинские билеты. Вдруг послышалась стрельба. Говорят, что солдаты ломают третью казенку с водкой.

Врачи признали нас годными. Я подумал: для чего годными? Но дальше этого вопроса мысль не двигалась. На станции нас распределили по вагонам, и поезд тронулся.

⟨...⟩ 10 ноября 1914 года мы прибыли в Варшаву, и тут нам стало ясно, что нас везут на немецкий фронт. Из Варшавы нас перевезли в город Гродзинск, где мы увидали следы прошедших боев: разрушенную станцию, сгоревшие и разбитые дома. Вечером 12-го прибыли в город Скерневицы. Здесь наша выгрузка.

В Скерневицах мы в первый раз бегали смотреть пленных немцев, которые были окружены конвоем наших солдат. Было интересно посмотреть, что это за люди, которых мы будем убивать? Оказывается, такие же люди, как и мы. Стоят, постукивают ногами от холода. Лица печальные, унылые, как будто предчувствуют будущие страдания.

14—15 ноября. Первый бой. Шел мелкий снег и уже начал покрывать землю. Прибыл командир полка, верхом на лошади, поздоровался с солдатами, и мы тронулись в путь. Прошли версты три, встретили человек сто солдат, которые вели впереди себя одного немца. На наш вопрос: «Откуда идете?», они ответили: «Идем с позиции, были в нескольких боях, и вот это все люди, оставшиеся в живых от полного полка». Как-то не верилось: неужели воюют до такой степени, что от целого полка осталась горсть людей? Слышался недалекий грохот орудий. Солдаты шли и крестились на ходу, призывая в помощь Бога и Христа, который завещал любить врагов. Шли как серые бараны.

Нам было дано задание: взять деревню Белявы, где засел противник. Шли мы по ровному вспаханному полю. Перешли канаву среди этой пахоты. На небе редкие, быстро бегущие облака, из-за которых начала выглядывать луна: то стемнеет, то сделается светло, торжественно. Природа звала к тишине, счастью, радости, а куда и зачем мы идем? Но такие вопросы редко вспыхивали в мозгу, одурманенном заблуждениями, дисциплиной, массовым государственным гипнозом...

Мы двигались всё вперед и вперед и прошли уже с версту, как вдруг над нами завизжали пули: дзынь-дзынь! дзынь-

дзынь! Мы быстро полегли на вспаханную землю. Чаще и чаще визжали пули, но мы не стреляли. Ротный командует перебежку вперед, мы перебегаем, но при сильном визге пуль ложимся, стараясь попасть в борозду. Вдруг: з-з-з-бу-у-ух! Поднял я голову после взрыва посмотреть, где взорвался снаряд. Недалеко впереди нас поднималось густое облако дыма. За этим стали еще и еще разрываться близко от нас: б-у-ух! бу-у-ух! Ну вот, подумал я, тут, наверное, и конец. Попадет снаряд прямо и разнесет на мелкие куски...

От зарева пожара наша двигающаяся цепь хорошо видна противнику, и наша рота как раз и двигалась на видневшиеся в зареве пожара домики, но ротный командир командует всё вперед и вперед, и никто не посмел ослушаться его. Разве это не гипноз?

Шагах в 200—300 были окопы, которые не были заняты немцами, вот мы их поспешили занять и, засевши в них, начали усиленно стрелять по немцам.

Наши войска стали обходить деревню левым флангом. Немцы, увидевшие этот маневр наших войск, открыли по ним сильный огонь. Попавшие под этот огонь наши солдаты подумали, что это мы, сидящие в окопах, по ошибке открыли по ним стрельбу, и закричали: «Русские! Не стреляйте! Это свои!» Немцы еще более усилили по ним стрельбу, и они стали отходить от деревни.

Вдруг несколько немцев вылезли из окопов и побежали прямо к нам. Сразу мы не могли понять, чего они хотят: в атаку бегут или сдаваться в плен? С нашей стороны закричали: «Ура-а!», и мы побежали им навстречу. Немцы испугались и бросились назад, но мы их преследовали, и они, остановившись, стали сдаваться в плен.

Проходя мимо немецких окопов, я увидел жуткую картину. Окопы полны убитыми, и большинство, видать, в голову, а у некоторых и черепа снесены. Вступил я в один окоп и с ужасом выпрыгнул из него: в соломе был мертвец, и я наступил на него ногами. Проходя мимо других окопов, я видел много раненых, из которых некоторые уже уснули и храпели, а многие просили помощи. Но чем я мог им помочь, один — многим? Подошли мы к сараю, там стонут раненые немцы, просящие помощи у нас, у врагов своих. Некоторые просят на немецком языке, другие на польском. Были тут и не раненые, которых тут же отводили в штаб полка.

Проходя дальше, слышу, зовет меня солдат нашей роты и просит перевязать ему спину. Я взглянул на спину и ужаснулся: как я могу перевязать ему эту огромную рану,

выхваченную куском шрапнели, ее и двумя ладонями не закроешь! Шинель вся смочена кровью. Я сказал, что я такую рану перевязать не смогу, тогда он попросил у меня воды. К счастью, у меня была полная фляжка воды, и он с жадностью напился. Просит он меня отвести его в часть: «Я,— говорит,— ничего не знаю и не соображаю, куда идти». Я согласился. Идем мы с ним мимо тех окопов, где лежат убитые немцы. Слышу, кто-то просит помощи. Подошел я, смотрю, раненый немец просит пить. Дал я ему потянуть из своей фляжки. В знак благодарности немец приложил руку к груди. Идем дальше. Вдруг слышим, кто-то не просит, а кричит и машет мне рукой. Вижу, лежит на пахоте, далеко от окопа, раненый немец. Я говорю своему раненому товарищу: постой немного, потерпи, а я пойду узнаю, в чем дело. Вижу, лежит человек, растянувшись на животе, и подает мне рукой знак: «пить». И этому дал напиться. Немец указывает мне на карман своих шаровар. Я полез туда рукой и вытащил старенький бумажник; спрашиваю: это? Он мотает головой и что-то говорит. Я лезу глубже в карман, там мокро. Выдергиваю руку — она вся в крови. Немец видит, что я не понял его, указывает мне на свою ногу, выше колена, чтобы я перевязал ему. Но что я буду делать? Тут свой товарищ, тяжело раненный, еле стоит, ожидает меня, тоже просит перевязать его, и я не смог, а теперь ты просишь, и не один ты, а многие в окопах просят помощи. Болит сердце от жалости, а помогать — не помогаю. Приложил я руку к груди и говорю: «Не могу, брат!» Понял он, не стал больше просить меня, и я ушел от него, посмотрев с глубоким сожалением на страдальца. Идем дальше с раненым товарищем. Еще раненый немец просит пить; и этому дал, и товарища своего еще попоил. Не знаю, откуда у меня столько воды появилось — столько людей напоил, и вода еще осталась.

Вышли мы из деревни в поле. Под деревьями лежат две убитые лошади и недалеко от них более десятка мертвых людей: русские и немцы. Видно, была рукопашная схватка, и все они легли вместе, как безумные братья...

Стало почти темно. Попробовали мы копать окопы, но земля уже замерзла и коротенькой лопаткой ничего не сделаешь.

С передней линии послышались крики: «ура-а!», и эти крики долго еще слышались, но на помощь мы не ходили, и генерального сражения не состоялось. Мало-помалу стало стихать и, наконец, всё затихло. Нас построили, и мы куда-

то двинулись. Долго шли и в дороге делали остановки, во время которых я начинал засыпать, да и другие тоже. Стало сильно морозить, и с ветром. Остановились, легли на мерзлую землю и прижались друг к другу, как будто немного согрелись и стали засыпать, но спать долго не приходилось, ноги замерзали до боли и бесчувственности, вскакивали и начинали бегать до сильной усталости, а согреться все равно не удавалось. Усталый и измученный ложишься и начинаешь засыпать, но через несколько минут снова вскакиваешь и бегаешь, бегаешь. Думалось: зачем всё это нужно?.. Вспомнил, что сегодня воскресенье, и перенесся мыслями на родину, к милому семейству. Думают ли, знают ли мои родные, где я сейчас? Как я мерзну и страдаю и за что?.. Очень смутно, как во сне, возникает мысль: а ведь мы, солдаты, стадо серых баранов, и гонят нас пастухи куда хотят, а мы не думаем своим умом и слепо подчиняемся...

Настал день. В соседнем окопе старый солдат читает Часослов и молитвы; в словах и голосе слышатся душевный стон и почти рыдания. Вдруг совсем близко разорвался немецкий снаряд; солдаты насторожились. Из окопчика попрежнему слышалось жалостное пение молитв. Снаряды начали рваться один за другим, но все они пока то не долетали, то перелетали наши окопы, и мы благодарили Бога.

Часто у самых нравственных от рождения людей их инстинктивная вера выливается в формы неразумно-суеверные и может быть поколеблена, пока она не подчинена доводам разума. Старый солдат был от рождения добрый человек. Ему было жаль своей жизни, которая вот-вот оборвется так глупо и жестоко; жаль было своих и немецких солдат, приносящих друг другу страдания и смерть. Он ни в ком не видел и не чувствовал врага, но он поклялся, дал присягу, его заставили взять оружие и убивать того, на кого ему укажет командир. Ужасно!

...В минуты раздумий я стал замечать за собой, что начинаю звереть. Стреляя из окопа в немцев, я не чувствовал жалости к ним. Мне сказали, что это наши враги. Поп, святой отец наш, отправляя нас в бой и благословляя, нас, солдат, называл «христолюбивым воинством», говорил, что мы идем на священную войну, за царя и отечество. Жалость к человеку исчезла; ум, чувства и воля оказались во власти массового гипноза, дисциплины. Как был я серым бараном, таким и остался...

Утром видел, как хоронили солдат, умерших ночью от ран. Возле халупы, под яблоней, вырыли яму, аршина полто-

ра глубиной; мертвых завернули в шинели. Поп пропел над ними молитвы, и, свалив покойников в яму, завалили землей. Сколько же таких безвестных могил по земле польской...

Привели нас на фольварк Курдванов. Остановились и стали варить картошку, потому что хлеба не было. Поев, пошли, как стадо баранов, ближе к позиции, а пройдя версту, увидали, как в фольварк полетели немецкие снаряды; а вскоре снаряды стали рваться в стороне, недалеко от нас. Солдаты бросились врассыпную. Нас поставили в цепь и приказали рыть окопы. Я выкопал себе небольшой окопчик, вспомнил, что сегодня воскресенье. Умылся в бывшей неподалеку канаве, помолился Богу и стал доедать вчерашний ужин. Утро было тихое, солнечное, с легким морозцем.

Уже в который раз я перечитываю письмо от брата из дому, и в это чудесное ясное утро я всей душой был дома, среди милых и дорогих моей душе людей. Брат писал, что жена моя родила дочь (Клаву), но что брата Тимофея взяли в армию в обоз.

Вдруг мои мысли были прерваны оглушительным треском рвавшихся недалеко снарядов. Громыхали снаряды тяжелого калибра, осколки от них прилетали в наши окопы, а вскоре снаряды стали рваться так близко, прямо над нашими окопами, и некоторых людей уже ранило. Во время этой сильной стрельбы пришло приказание: нашей роте идти для прикрытия батареи. Страшно было вылезать из окопов, в открытое поле, но что делать? Надо вылезать и выполнять приказание начальства. Гипноз оставался в своей силе.

Ротный командир назначил меня и еще нескольких солдат идти в дозор в близлежащий от нас лес, осмотреть его и узнать, какие есть дороги в лесу и прочее. Мы были рады этому назначению, пойти в этот красивый лес. Лес был квадратный, верста на версту, огороженный проволочной стеной. Это было что-то в виде парка или заповедника.

Войдя в лес, мы почувствовали себя как будто на свободе. Снег таял, с елок капало, воздух ароматный, смолистый. Тишину леса нарушали только мы, люди, и вспугиваемые нами большие стаи фазанов и перепелок. Вспугнули дикую козу; встречались стада зайцев, штук по десять, которые, к нашему удивлению, не пугались нас и подпускали к себе совсем близко. Природа растопила наши огрубевшие в братоубийственных боях души. Не верилось, что рядом самые умные существа — люди — тайно высматривают друг друга и, прицелившись, убивают, как диких зверей. Зачем?.. Для чего?..

Рождество и Новый год, 1915, мы провели спокойно, без боев, только страшно беспокоили вши, и с ними мы вели бои каждый день. 14 января у немцев был какой-то праздник; говорили, будто Вильгельм именинник. Весь день слышались веселые пьяные песни из их окопов, до которых от нас было шагов восемьсот.

18 января праздновали полугодовщину начала братоубийственной войны. Ходил и я в походную церковь, устроенную в лесу. Странно было слышать слова священника, воодушевлявшего на новые победы христиан, которые должны любить врагов.

День ото дня становится теплее и теплее. Легче становится нести службу. Ожидаем великого праздника, Воскресения Христова, завещавшего нам любить врагов наших. Какая насмешка! Думалось: хотя бы этот великий праздник прошел мирно и спокойно. Действительно, чувствовалось, что с противником дело клонится к миру. Радостно!

19 марта, в четверг, за три дня до Пасхи, мы, по обыкновению, отдежурили ночь и, попив чаю, залегли в землянку отдыхать, как вдруг услышали радостные крики солдат. Мы быстро выскочили из землянок, из других тоже вылезли все солдаты и смотрят на немецкие окопы. И чудная картина предстала перед нашими глазами: там тоже все немецкие солдаты вылезли из окопов, а десять человек отделились и шли к нашим окопам. Это было для нас радостным чудом. Побежал и я туда узнать, каким образом произошел этот мир.

Десять человек немцев подходили к левому флангу 1-й роты, а батальонный командир не пускал нас туда, но немцы сошлись с нашими солдатами в середине фланга и разговаривали с ними. Один из немцев пришел и к нашим окопам, и мы дали ему булку хлеба, а он стал жаловаться, что им мало дают хлеба.

Мирное братание русских и немцев, враждующих и стреляющих по приказанию начальства друг в друга, продолжалось бы дольше и скорее всего кончилось бы миром. Но оно нарушилось страшной руганью командира, что солдаты без разрешения начальства стали брататься. И он передал по телефону артиллерии, чтобы стреляли по немцам. Два шрапнельных снаряда разорвались над немецкими окопами, но солдаты не прятались, а продолжали сидеть наверху и мирно разговаривать. Остальные пятнадцать выстрелов были далеко переброшены за немецкие окопы. Простые, рядовые люди жалели друг друга.

После этого стрельба прекратилась, и русские с немцами стали расходиться по своим окопам, уговорившись не стрелять друг в друга. «За что мы убиваем друг друга? Давайте мириться!» — говорили те и другие. День выдался такой чудесный — тихо, ясно, тепло, что этих измученных, воюющих людей невольно влекло к мирным, добрым чувствам.

Весь день и всю ночь не слышно было ни одного выстрела. Все ходили открыто, и у всех солдат были радостные лица, слышались песни. Начали немцы махать нам из окопов белыми платочками и что-то кричать. Мы ответили им тем же. Два наших добровольца отправились к немцам, с их стороны тоже пришли к нам гости. Все солдаты с обеих сторон вылезли на большом пространстве и около часу наблюдали за этой мирной, дорогой сценой. Ночью, когда мы дежурили у бойниц, было слышно, как немцы все время пели песни. Чуть рассвело — два наших солдата пошли к немцам в гости. Там их хорошо приняли, угостили водкой и закусками так, что они не могли идти сами к своим окопам, и их привели немцы под руки к нам со словами: «Возьмите своих ребят».

Утром батальонный командир выдумал написать записки, которые прикрепили к колышкам, а колышки велели вынести вперед окопов и забить в землю. В записках значилось: «Если пойдете к нам, то останетесь в плену, а побежите назад — будем стрелять».

Днем 20 марта к нам шли два немца с дружеским визитом. Дойдя до колышков с записками, они остановились и прочитали их. Один из них схватил записку и побежал назад. По нем сделали три выстрела, но он скрылся, а второй пришел к нам. С этим пришедшим немцем вело разговор только наше начальство, а о чем — мы не знаем. Пустили слух, что как будто этот немец говорил, что немцы не хотят мирной сделки, а хотят только под видом этой сделки заманить побольше наших солдат к себе и оставить их в плену. Но где правда — нам не удалось узнать. Думалось, что без начальства простые люди, солдаты, скорее договорились бы и помирились бы между собою, а начальство только мешает этому доброму делу и отправляет нас, как диких зверей, на драку.

Так и раздружились мы с нашими «противниками». Правда, перестрелки не было, но ходить открыто нам запретили.

...Было воскресенье. Май. Деревня, в которой мы остановились на отдых, мало пострадала от войны, но заборы и

ограды были разрушены для костров. Солдаты ходили, прогуливаясь, по деревне, а мы с товарищем зашли в цветущий сад, легли под кустом смородины в густую зеленую траву и любовались ближайшим полем, на котором колыхалась волнами уже высокая зеленая рожь, а дальше, за этим полем, виднелась другая деревня, тонущая в фруктовых садах. Тут мы с товарищем, лежа в траве, заканчивали чтение «Анны Карениной».

На другой день, в пять часов вечера, нас погнали снова на позицию. При выходе из деревни нас провожала кукушка своим кукованием. Солдаты говорят, что это плохой признак, он ведет к несчастью; а какого же нам счастья ожидать, оставаясь послушным стадом серых баранов, идущих на бойню?

И действительно, только пришли мы к штабу полка, как услышали, что на той стороне реки Равки одна рота уже занимает окопы. Выпал жребий и нашей роте идти занимать окопы. Перебрались мы по бревнышкам через реку и стали занимать окопы, которые были сделаны на скорую руку, кое-как. Распределились мы в них только к утру 5 мая и, поставив наблюдателей, легли поспать.

Когда я проснулся, солнце было уже высоко и жарко пригревало. Я стал осматривать местность. Шагах в шестистах от нас полуразрушенная деревня, занятая немцами; ближе к нам линия их окопов, и даже видны дырочки бойниц; впереди окопов прочное заграждение, а у нас заграждения поломаны. Сходил на реку, умылся и, придя в окоп, занялся чтением молитвенника; рядом лежащий солдат слушал. В 12 часов дня ели хлеб с маслом, перемешанным с землей. В 2 часа немцы начали обстреливать наши окопы. Постреляв с час, прекратили. К ночи стало пасмурно, и ночью полил настоящий ливень, который промочил нас до нитки, и в окопах образовались глубокие лужи воды. Во время ливня немцы стреляли редко, но как только дождь стал утихать, они открыли по нашим окопам сильную артиллерийскую стрельбу из трех батарей. Страшно рвутся снаряды, и шрапнельные, и земляные, и при некоторых взрывах трясется земля. Слышим, что в третьем взводе уже много убитых и раненых, и люди третьего взвода начали перебегать в другие окопы, куда не так часто попадают снаряды. Наша артиллерия молчит, не сделала ни одного выстрела, а немцы стреляли до самого утра и только утром утихли. День был пасмурный, немцы среди дня выпустили к нам несколько снарядов и умолкли. Из моих соседей четыре чело-

века были убиты и десять ранены. На душе было тяжело, но я оставался на месте, никаких перемен в моем сознании не происходило; я продолжал считать такое положение нужным и данным от Бога. Есть враги и их нужно убивать...

Зашло солнце. Санитары пронесли с поля убитых и раненых, которых днем было опасно убирать. Снова с ужасающей силой загрохотали немецкие орудия. Сначала в наши окопы попадало мало снарядов, а все больше по соседнему с нами полку стреляли, но вскоре и на наши окопы посыпались убийственные снаряды. Наша артиллерия выпустила несколько снарядов по деревне и замолчала, после чего еще злее и убийственнее засыпали нас снарядами разных калибров. Грохотало много батарей, от взрывов колыхалась земля, отчего наши землянки начали обсыпаться, разваливались бойницы; сделанное мною углубление в стене окопа рухнуло, чуть не задавив меня. Открылся такой ад, что Боже сохрани! Полегли солдаты в окопе и молчат, с бледными лицами, ожидают скорой смерти. Прижался я к передней, уцелевшей стенке окопа и после каждого взрыва выглядываю через вал, не наступают ли немцы. Удивляются солдаты, что я так смело и открыто выглядываю из окопа.

Настала полночь, но стрельба не утихает. Пора бы уже прийти нашей смене, но смены нет — видимо, ждут, когда утихнет стрельба. Прибежал командир десятой роты и спрашивает: «Где ваш командир?» Не успел он получить ответ, как нас оглушило разорвавшимся снарядом. Присел он к стенке, где я стоял. Видим, остались целы. «Ваше высокоблагородие,— говорю я,— ну и натерпелись же мы сегодня страху!» — «Да,— говорит,— не знаю, что с нами будет и как мы отдежурим свою смену». С этими словами он пошел искать нашего командира.

Во время этого адского грохота орудий и снарядов солдаты передают по цепи, что в третьем взводе снаряд попал в землянку с людьми и разрушил ее. Я схватил лопаточку, выскочил из окопа и побежал к месту катастрофы. Бегу и кричу солдатам, спрашивая, где эта землянка? Солдаты высовываются из окопов, показывают мне руками и снова прячутся в окопы, потому что беспрестанно рвутся снаряды. Странное состояние — у меня в это время не было никакого страха перед смертью, летавшей, грохотавшей и рвавшейся вокруг меня. В голове была одна мысль: спасти товарищей, засыпанных землей. Из любви к людям я невольно проявил храбрость. Вскочив в воронку, вырытую снарядом, я начал быстро раскапывать землю, и вскоре показалась рука. Уви-

дав руку, я начал копать в том месте, где должно быть лицо. Освободив от земли лицо, я увидал, что человек еще живой, стал освобождать ему грудь и туловище и тянуть из земли. Человек слабо застонал, а затем стал говорить, чтобы я освободил ему ноги, что там очень больно, наверно, ранены. На его ногах лежали потолочины, перебитые снарядом, и много земли. Кое-как освободил я его от бревен и земли и стал тащить дальше, но он закричал от боли: «Ногу мою возьмите!» На мой зов прибежал один солдат, и мы вместе с ним вытащили спасенного. Он сказал, что их было в землянке двое, и я начал быстро копать землю и вскоре нащупал лопаточкой шинель, дальше показалась тесьма от вещевого мешка, перекинутого через плечо, за которую я вытащил голову человека. Лицо было мертвое. Стал тащить за пояс и за руку, но рука хрустит и отрывается, вся перебитая снарядом. Оставил я его, вижу, что помощь ему уже не нужна. Прибежал санитар и стал перевязывать нашего спасенного, у которого правая нога была сильно изранена в нескольких местах.

Адский грохот орудий продолжался по-прежнему; несколько снарядов разорвались над моей головой, от их страшного треска я присел в яме. Потом перебежал обратно в свой окоп и опять стал выглядывать через край. Вскоре передают, что спасенный раненый опять просит меня. Прибежал я туда и вижу, что его снова завалило землей от сильных взрывов и сотрясений земли; даже санитар еще не успел уйти от него, но у санитара не было с собой лопаточки и нечем было откопать. Вместе мы вытащили его из земли, и дважды спасенный стал просить нас увести его из этой могилы, но у нас не было носилок, да и как нести по открытому месту, под градом рвущихся снарядов? Но вот снаряды стали рваться реже, пришли санитары с носилками, и раненых стали уносить.

К утру стрельба утихла, стреляла только одна батарея. Утром нас сменили, и мы свободно и радостно вздохнули, очутившись в лесу и в полной безопасности. Тут мы узнали, что в эту ночь по нашим окопам немцы выпустили более тысячи снарядов разных калибров, и тут же я услышал, что куском шрапнели в голову ранило моего хорошего товарища, с которым мы читали и немного не дочитали «Анну Каренину». Этот мой добрый товарищ вскоре умер в госпитале, о чем я сообщил его родным. Никогда не забыть мне этой ужасной ночи...

Но, оказывается, не все существа занимаются тем, чем

в эту ночь были заняты самые умные существа — люди. Здесь, рядом с нами, в лесу над речкой всю ночь заливался серебряной трелью соловей. Никакой грохот орудий, изобретение человеческого ума, не прерывал его пения — он пел всю ночь. В речных заводях кричали лягушки, и их тоже, видимо, не беспокоило людское безумие. Днем над враждующими позициями, выше летящих снарядов, летали и пронзительно кричали чибисы. Все эти низшие существа, наверное, не знали, что делают друг с другом эти разумные существа — люди.

Так чем же мы можем хвастаться перед нашими низшими братьями — животными и прочими тварями? Своим умом, который мы извратили и превратили в орудие зла и страданий? Нет! Не гордиться, а стыдиться нам надо перед животными!..

8 мая меня назначили наблюдателем с дерева. К толстой и высокой сосне была приставлена лестница, а наверху, в ветках сосны, была устроена площадка из досок, на которой можно стоять или сидеть. Взобрался я на эти полати и стал смотреть в бинокль на немецкие окопы и дальше. Простояв час, я не заметил ничего подозрительного, но вот вблизи меня стали повизгивать пули.

Я слез с сосны и перебрался к дубу, у которого тоже стояла лестница и так же наверху была площадка. Но дуб был ниже сосны и с него хуже было видно, и я снова перелез на сосну. Верстах в восьми от позиции, на немецкой стороне, виден город Скорневицы; из фабричной трубы валит дым. Верстах в трех вижу идущего немца, а дальше как будто группа людей, но всматриваюсь внимательно и вижу, что это кустики. Вот наша артиллерия сделала выстрел, мне необходимо увидеть, где разорвался снаряд. Вот второй, третий выстрел, но мне не видно за верхушками сосен, куда падают снаряды. Вдруг затрещал немецкий пулемет, пули завизжали близко около меня. Я догадался, что пулемет был направлен на меня, и стал быстро слезать с лестницы. На секунду пулемет умолк, но тут же опять затрещал, и пули полетели над моей головой; еще секунда перерыва и пули завизжали ниже меня. Я ясно видел, что пули искали и ловили меня, и я не знал, что мне делать. Я снова поднялся чуть выше, но пули рядом срезáли сучья и впивались в ствол сосны возле меня. Я замер и ожидал, что вот еще мгновение и я полечу вниз с огромной высоты. Пулемет умолк, наводя на меня точную цель, и в этот момент я бегом сбежал вниз по лестнице. Затрещал пулемет, завизжали пули уже внизу и

долго еще визжали, ища меня, но я был уже за сосной, в полной безопасности.

Люди выстреливают тысячи патронов на одного человека — лишь бы попасть в него и лишить жизни. Для чего это нужно, думал я.

2 июня нас сменили, и мы ушли на отдых, верст за десять от позиции. В лесу разбили палатки, и мы немного почувствовали себя людьми. 11 числа было назначено занятие, во время которого мы занимались ружейными приемами, взводным и ротным ученьем. Во время ротных занятий командир обучал нас здороваться с начальством, но ответ солдат получался плохой, недружный, за что командир разозлился и начал гонять бегом всю роту. Солдаты измучились, вспотели и стали роптать на эти издевательства: «Зачем нам нужно учиться правилам приветствия вблизи противника и перед смертью?» Хорошо, что подошел батальонный командир, и эта комедия прекратилась.

И все же смело, вслух никто из солдат не посмел выразить возмущения, все продолжали слепо и беспрекословно выполнять все неразумные приказания и капризы начальства. Мы оставались послушными баранами.

После обеда нам приказали построиться. Нас принимал новый командир полка на временное командование. Стал говорить нам, как мы должны воевать и побеждать врагов. «В плен немцев не берите, не надо, всех колите!» После командира полка приехал на автомобиле начальник дивизии. Он был не в духе и смотрел на нас волком. Видел ли он нас в это время, думал ли о нас, как о людях, равных себе? По его сердитому лицу было видно, что нет. Он думал совсем о другом. Возможно, что его распекал командующий армией за то, что он потерял столько-то процентов живой силы, и он лишился долгожданной награды, которою он бы впоследствии блистал на петербургских балах. А может, он был зол на то, что вчера в Варшаве, у богатого польского пана на балу, ему многообещающе улыбнулась гордая красавица полька, а к концу бала показала ему нос и хвост? С досады он зашел в ночной ресторан и, опорожнив несколько стаканов коньяку, еле добрел до гостиницы. Сегодня у него сильно болела голова.

12 июня, как только стемнело, нас отправили на поддержку наших войск к Воле-Шидловской. Пробыли там два дня, и нас опять возвратили в дивизионный резерв. На пути возвращения солдаты просили нового ротного командира (назначенного временно, вместо нашего, заболевшего) не-

много отдохнуть. Но он кричал на солдат и безжалостно гнал восемь верст по глубокому песку в страшной жаре, как стадо баранов. Не дай Бог такому злому и безжалостному человеку быть начальником.

И когда пришли на место отдыха, он не давал нам отдохнуть, а придумывал всякие работы и занятия, что, видно, доставляло ему большое удовольствие — мучить нас и распоряжаться нами, как своими вещами.

Но между недобрыми есть много и добрых людей. Был у нас командир полка, старичок, который, к нашему сожалению, часто болел. Какой же он был для солдат дорогой человек! Он всегда относился к солдатам, как к родным братьям. Никогда не кричал, не наказывал никого, а всегда давал добродушный совет, который солдаты выполняли с охотой. Солдаты дорожили им, любили его и до сих пор жалеют, что он уехал по болезни. Глядя на его доброту, не верилось, что такой человек может принимать участие в человекоубийстве. Видимо, к его добрым чувствам не хватало разумного Сознания. У меня его тоже не было.

Меня все чаще и чаще начали посещать мысли о неразумности, ненужности этой братоубийственной войны. У меня начали открываться глаза, стала разрушаться вера в какого-то личного бога, создавшего людей и пожелавшего им таких ужасных страданий. Но затемненное сознание не могло сразу освободиться от ложных внушений и суеверий, и я не мог смело отказаться от участия в войне. Я решил избавиться от этого участия другим путем: я решил сделать саморанение, но трусость не позволяла привести это в исполнение.

Вечером 22 июня нас передвинули влево версты на три и остановили против линии противника. Здесь нам предстояло нести охрану линии позиции. Для охраны днем посылали десять человек, а в ночную охрану назначали человек тридцать, которые, пройдя шагов восемьсот к линии противника, залезали в небольшие окопчики и там дежурили.

Пришли мы на место дежурства в одиннадцать часов ночи и разместились по окопчикам, откуда стали следить за нашими «врагами». Ночь прошла спокойно, и как только стало рассветать, мы вернулись в свои окопы на отдых. Не успел я уснуть, как вдруг кричат: «Бери ружье и беги скорее к ротному, зачем-то требует».

Я вскочил, схватил ружье, бегу к ротному и думаю: наверно, будет ругать, что рано легли спать. Но ротный сказал мне: «Вот что, Драгуновский, возьми тридцать че-

ловек, которые были с тобой ночью в карауле, пойди с этими людьми опять в караульные окопчики, там присоединитесь к десяти человекам дневных караульных, и вот эти сорок человек рассыпь в цепь по окопчикам, затем сделайте перебежку к вражеским позициям и откройте редкую стрельбу по неприятельским окопам, после чего прекратите стрельбу; сделайте еще перебежку ближе к врагу и тогда открывайте самую частую стрельбу по врагу. Это нужно нам для того, чтобы услышать, какая будет стрельба с немецкой стороны: если частая — то немцы сидят густо, если редкая — значит, редко. Если будет стрельба слева, то этого не бойтесь, это будут стрелять другие наши роты. Головы свои старайтесь меньше показывать, а вызвав стрельбу с немецкой стороны, прекращайте стрелять и возвращайтесь обратно».

Затрясся я, зная, что нас посылают на верную смерть, но отказаться от этого не мог: не хватало ясного разумного сознания.

Собрали людей, и мы пошли. Пришли и засели в окопчики. Все солдаты боятся вылезать из окопчиков и идти в наступление. Говорят: «Надо, чтобы и ротный был с нами, ведь если мы пойдем, нас всех перебьют». Кое-как я уговорил их. Рассыпались в цепь и открыли редкую стрельбу. Немного помолчав, открыли частую стрельбу. Часто завизжали над нами и немецкие пули.

Не слышал я, как одна пуля пробила мне два пальца левой ноги; боль почувствовал, только идя обратно, и еще больнее стало, когда увидел пробитый сапог. Подходя к нашим окопам, я услышал, что еще одному солдату оторвало палец на руке. Кое-как дошел я до окопов, где была наша рота. Позвали санитара, сняли сапог, полный крови, и перевязали рану.

Собрали нас, несколько легко раненных, и мы, попрощавшись с товарищами, отправились пешком до бывшего в двух верстах околотка. Тут нам сделали перевязку и, посадив в телегу, повезли в перевязочный отряд, находившийся в имении Воля-Пенчковская. Здесь мы отдохнули, нам добавили бинтов и, собрав 25 человек раненых, повезли в линейках в город Жирардов, в госпиталь. В этом госпитале мы пробыли одни сутки, и в эти сутки мне еще раз пришлось увидеть последствия войны. Привезли с позиции огромное количество людей, отравленных удушливыми газами. Весь госпиталь был переполнен этими несчастными страдальцами, которые, страшно хрипя, бросались во все стороны, ища спасения: просили пить, положить на голову холодный ком-

пресс. Им дают и то и другое, делают уколы, но, видно, ничего не помогает.

Против моей койки лежал один такой отравленный. Он метался из стороны в сторону, от ужасных страданий. Ему сделали несколько уколов, прикладывали компрессы, давали пить, но он все кричал и молил о помощи. Подошла сестра, посадила его на койке, но он не мог сидеть, и она не могла удержать его. Подошел фельдшер, стал делать укол; больной жмется от боли укола, хочет отстранить руку фельдшера, но бессилен. После укола изо рта его показалась пена, и он стал корчиться. Сестра заплакала. Пришли санитары, завернули мертвого в простыню, привязали к ней номер и, положив на носилки, унесли. С утра и до трех часов дня, покуда я ждал отправления, из нашей палаты вынесли десять человек мертвых.

Когда мы садились в вагон, то видели у одного каменного дома сотни мертвых тел, сложенных рядами. Теперь враги были им не страшны, и... они врагу. Их ожидала одна общая братская могила.

Ехать в вагонах было хорошо; радостное чувство охватывало душу, что ад остался позади. Я любовался из окна вагона мирной природой или предавался новым, зарождавшимся мыслям. Понемногу мне начинал открываться новый духовный мир. Вспоминал, как у нас в полку награждали солдат, которые убили или закололи несколько немцев, и кто больше убил, того больше хвалили и награждали. Мне теперь казалось странным и страшным: как же так? Если в мирной обстановке человек убьет человека, то его строго судят и наказывают; а на войне, на которую его посылают и благословляют, он убивает ни в чем не виновных перед ним людей, кого он никогда не видел прежде, и его за это еще хвалят и превозносят. Нет! Тут что-то не то. Всякое убийство человека человеком, кем бы и чем бы оно ни оправдывалось, безнравственно и ужасно... Я не могу быть больше участником этого!

Проезжая Двинск, мы просили врача отпустить нас, несколько человек, в наш город Смоленск, но врач не пустил, и 27-го утром мы приехали в Петроград. Из вагонов нас тут же на станции распределили по госпиталям. Я попал в 6-й городской лазарет имени Гоголя, на 9-й Рождественской. В больнице было чисто, светло, кормили хорошо, и рана моя стала заживать. Свободного времени было много, я читал Библию и написал по памяти этот дневник.

⟨Из дневника 1915 года⟩

МОЯ ЖИЗНЬ. КОНСПЕКТИВНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

Мне дали трехмесячный отпуск с 15 августа по 15 ноября 1915 года. Дома я хорошо поправился, но меня охватывал ужас при мысли, что меня могут опять отправить на позицию. Разумного выхода я еще не находил, поэтому я стал тайно тревожить свою зажившую рану, но этого было мало, и я испортил себе ухо, которое навсегда осталось глухим. Во время этого отпуска я знакомлю своих родных с новым жизнепониманием, открывающимся мне.

Несмотря на мое нежелание быть военным, меня после комиссии отправили в запасной батальон, бывший недалеко...

Видя, что членовредительство не помогает, я стал искать выхода в неподчинении начальству и в невыполнении обязанностей военной службы, за что подвергся преследованию и меня отправили в дисциплинарный батальон для «исправления». Тут на меня напал страх, что я отсюда не выйду больше на свободу.

1917 год. Революция. Радостное возбуждение, от которого я плачу... Я свободен. Испорченное ухо освобождает меня от звания «военный». Чувство злобы к бывшему старому гнету. Я дома. С радостью работаю и всеми силами души хочу помогать строительству новой жизни. Меня радует отбирание земли у попов и помещиков. Принимаю горячее участие в выборах в Учредительное собрание в земстве. Соглашаюсь служить в кредитном товариществе. Неурожаи, голод в Смоленской губернии. Меня командируют за хлебом в Орловскую и Воронежскую губернии. Закупаю несколько вагонов муки. На обратном пути обстрел наших вагонов. В мире по-прежнему нет мира: то белые, то красные грабят мирных жителей. Названия разные, а души-то у них, наверно, одинаковые, сознание не переменилось от революции, те и другие материалисты, эгоисты и желают только личного блага. Радуюсь, что удалось закупить и привезти хлеба для голодающего населения. Восхищаюсь, что мой брат Петр больше меня проявляет деятельности на губернских съездах и был избран делегатом в Москву, где видел и слушал В. И. Ленина.

Я все больше и сильнее чувствую необходимость активного участия в строительстве новой жизни, но не знаю,

где проявить эту деятельность. Меня избирают в волисполком, заместителем председателя, назначают в финотдел, в военкомат. На всех этих работах я чувствую сильное противоречие в моей душе. Я противник насилия, а мое служебное положение заставляет применять насилие: требовать военный налог, контрибуции, подводы с населения, продукты, деньги. Вижу, что, служа у власти, я участвую в насилии. Недоволен собой, что живу и делаю не так, как думаю.

Дома со своими семейными я груб и иногда жесток. Меня легко рассердить. Чувствую, что характер мой не улучшается. Видимо, мое участие в войне наложило этот отпечаток. Никогда я не забуду своих суровых поступков с пятилетним сыном за то, что он плохо выучивал молитвы и буквы. Однажды я сильно ударил его ногой за то, что он от ребятишек выучился ругательным словам, а после, когда он учился в школе, я часто наказывал его розгами или рвал уши до крови за то, что он плохо учился грамоте. Грубо относился к жене, когда она не всегда разделяла мои взгляды и не хотела со мной вегетарианствовать. Меня злило, что другие думают и делают не так, как я, а это только охлаждало и удаляло от меня близких мне людей. Я был не в меру требователен к другим и всегда хотел, чтобы мои дети и жена выполняли то, что я хочу.

Не знаю, как бы я жил дальше в своем православии, смягчил ли бы свои отношения к другим или остался бы строгим исполнителем православных правил, но этому пришел конец. Я стал думать, что должен примкнуть к какой-либо мирной, разумной организации. Услышал, что есть анархисты-коммунисты, отвергающие насилие. Познакомился, побеседовал, но они почему-то не приняли меня. Услышал, что в тридцати верстах от нашей деревни есть толстовцы, братья Пыриковы, с которыми я вскоре познакомился и почувствовал духовное родство. У них я приобрел брошюры Толстого и навсегда прекратил есть мясо. Задушевные беседы с Елизаром Ивановичем Пыриковым во многом открыли мне глаза на смысл жизни.

С большой радостью я оставил свою кипучую деятельность в волисполкоме и сменил ее на родственную моей душе деятельность — на чтение книг Толстого, на беседы с друзьями, и уже смело отказывался от звания «военный». Стал часто ездить в Смоленск и оттуда привозил пудами книги, и к осени 1919 года у меня уже была большая библиотека. Устроил переплетную мастерскую, научил сына переплетать книги, благодаря чему он привык их читать.

Библиотека привлекла много читателей, которым я охотно давал книги и этим приобретал много друзей, сочувствующих моим взглядам. Некоторые из них перестали ходить в церковь и стали отказываться от военной службы. Сельский поп, услышав об этом, стал тревожиться. У некоторых моих читателей он отбирал книги Толстого и сжигал их. Через Пыриковых я стал членом Московского Вегетарианского Общества. Я «толстовец». Вскоре открыл у себя «Общество Истинной Свободы в память Л. Н. Толстого» *.

1919 год. Читаю Толстого, переписываюсь с Московским Вегетарианским обществом, с некоторыми новыми друзьями. Расстрел восьми человек, отказавшихся от военной службы, среди которых был и мой брат Семен, ужасает мою душу, но не отпугивает от открывшейся истины. Арест братьев Пыриковых прибавляет и жуткости, и решимости. Я пишу первое письмо В. Г. Черткову об ужасах и о моих намерениях быть стойким и радоваться, что придется страдать за истину, а это не то, что страдание и ожидание смерти на войне.

⟨*Запись 1920-х годов*⟩

ПИСЬМО Я. Д. ДРАГУНОВСКОГО В МОСКВУ В «ОБЩЕСТВО ИСТИННОЙ СВОБОДЫ»

Милые друзья! Хотя вам уже известно об открывшемся О. И. С. в деревне Драгуны Смоленской губернии, но считаю нелишним написать вам еще. До весны прошлого года я был только сочувствующим взглядам Л. Н. Толстого, но не знал, что есть такое общество; и вот 6 апреля я вступил членом в Общество при почтовом отделении «Донец» Смоленской области, в тридцати верстах от нас, устроенном

* «Деревня Драгуны, Смоленской губернии, Демидовского (Пореческого) уезда Касплянской волости. В декабре 1919 г. здесь возникло О. И. С. в память Л. Н. Толстого. Учредители общества: Я. Д. Драгуновский, Л. С. Лурье, А. И. Федосова, М. Я. Драгуновская и другие. Учредители прислали в Московское О. И. С. письмо, в котором, между прочим, говорится: «Мы хотим пойти по тому пути правды, истины и добра, идти по которому так громко призывал всех людей Лев Николаевич. Мы чувствуем в себе призыв той силы Духа, которая соединяет всех людей и ведет их к добру и благу и освобождает от всех напастей жизни и лжи лжеучителей» (журнал «Истинная Свобода», № 1, апрель 1920 г.).

братьями Пыриковыми. Там же я написал заявление о вступлении членом в Общество в Москву.

У Пыриковых я купил брошюр Л. Н. Толстого. Только тогда я стал узнавать больше и больше мировоззрение Льва Николаевича, даже стал думать: почему же я раньше этого никак не мог понять? Я бы давно стал стремиться осуществить эти идеи на деле. Но потом я понял, что никогда не бывает поздно стремиться к добру. Потом я прочел письмо Московского О. И. С. «Всем друзьям и единомышленникам», через которое я задумал открыть такое общество у себя. И вот этому еще способствует приехавший к Пыриковым Федор Алексеевич Страхов, а также и Елизар Иванович Пыриков. Я хотя редко, но бываю на беседах дорогого Федора Алексеевича, и вот его милые беседы, ласковые слова и чисто детская любовь так располагают, что после беседы хочется или очень радоваться или от радости плакать! Начинаешь переходить как будто в новый мир: и солнце-то, которое раньше светило, да не то; и в дожде, и в ненастье, и в холоде, и в зиме — во всем начинаешь видеть все прекрасное и любовное, хочется всех людей расцеловать, передо мной исчезает всякое зло, свою любовь хочется проявить ко всему живому, даже к дикому зверю; всем хочется сказать, что будем жить такой жизнью, и не только сказать, но прямо хочется закричать, что вот она жизнь, что всем надо так жить, чтобы было хорошо. Мало и закричать — хочется сделать что-то героическое или в этом роде, или даже чудо. Хочется сделать все по щучьему велению. И такие порывы мне приходилось высказывать Е. И. Пырикову, который говорил, что не надо стремиться делать какое бы то ни было чудо над людьми, а надо поработать над самим собой, тогда будешь видеть, как все само по себе переделается без всякого усилия с твоей стороны. Я углубляюсь в смысл сказанного и вполне присоединяюсь к справедливости подобных доводов, но все-таки почему-то не хочется молчать, а хочется говорить, чтобы все люди поняли это, а так как говорить и передавать мысли не так могу, то я начал приобретать книги и распространять среди людей. Но вот книг уже много, а хочется еще большего: открыть Общество. Стал я просить Ф. А. Страхова поехать на открытие, но Федор Алексеевич не мог по своему здоровью в такой холод, а согласился поехать Е. И. Пыриков, и совместно с ним мы 14 декабря 1919 года устроили собрание, на котором присутствовало около 60 человек слушателей. Членами вступили совсем мало, но не к этому

мы стремились, открывая, а к тому, чтобы сказать во всеуслышание то, что услышали на ухо, положить закваску, как евангельская женщина, чтобы скисло все тесто. И вот брожение уже начинается. Заволновались власть имущие, духовенство и люди наружного обряда. Почти все они кричали в один голос, что эти люди приносят вред и проч. Но истина не боится клеветы, и люди, начавшие следовать по стопам ее, не боятся никаких страхов: перед ними исчезает всякий страх, и они видят выше всего, куда и стремятся — новое небо, на котором обитает правда!.. С братским приветом и любовью Я. Д. Драгуновский. 20 февраля 1920 г. *(Из журнала «Истинная Свобода» № 2, май 1920 г.)*

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АРЕСТЕ 31 октября 1920 года ЗА ОТКАЗ ОТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ *

Только один милиционер привел нас двенадцать человек в политбюро уездного города Демидова. Хотя мы были уже арестованные, на каковых в прежнее время смотрели как на опасных людей, но только один милиционер, да и то не все время, находился с нами, а по дороге заходил по своим делам. Из этого видно, что нас не считают за каких-то преступников, которых надо строго охранять, а было полное доверие, что мы никуда не разбежимся. Да и в самом деле, что мы преступного сделали, а если нас и арестовали, так ведь могут же ошибаться люди, делающие арест...

3 ноября около 12 часов дня мы уже были в политбюро. Коридор в доме на набережной реки Гобзы, где сказали нам постоять, был очень маленький и уже до нас переполнен людьми. Мы же, двенадцать человек, еле втиснулись. Там

---

* Мне было двенадцать лет, и я, хотя и слабо, но вспоминаю, как 31 октября 1920 года в нашу деревню Драгуны перед вечером приехали вооруженные люди и, войдя к нам в дом, стали делать обыск. Они переворачивали все вещи, перерыли всю нашу большую библиотеку и, отобрав несколько книг и журналов издания «Посредника», объявили об аресте всех членов Общества Истинной Свободы. Арестовали двенадцать человек, среди которых были мой отец и три его брата: Петр, Тимофей и Василий. Другие члены общества: Егор Иванов, Сергей Поляков, Иван Федосов, Ефим Федосов, Елисей Кожурин, Игнат Поляков, Максим и Никанор Мищенковы.

Отец попросил меня, чтобы я сообщил об их аресте в Москву кому-либо из друзей, что я и сделал на другой день. (Из записок И. Я. Драгуновского).

были такие же люди, как и мы: четырнадцать человек из Свистовической волости. В этом маленьком коридорчике, битком набитом людьми, надо было еще давать проход в три разные стороны. Проходившие, вернее пролезавшие, работники политбюро ругали нас, мешавших им проходить, такими страшно нехорошими, нецензурными словами, что просто коробило от этой ругани. Да теперь и вообще стали страшно ругаться в «свободной» России, при устройстве «равенства и братства». Не диковинка слышать дикую ругань в «мать», в «Христа», в «Бога» и во все доброе и святое... «У-у, набилось сколько святых чертей! Отвернись хоть немного, апостолы! Дай пройти, поганое мясо!..» — и тут же добавлялась скверная ругань. Один из пролезавших среди нас, прижавшихся к стене, был Ершов, арестовавший нас в доме и проводивший обыск. Проходя мимо меня, он поздоровался, дав мне руку и сказав: «Вот вы все двенадцать человек в полном смысле толстовцы, а вот эти — указав на свистовических — далеко не похожи». С этими словами он ушел. А я стал всматриваться в этих «не похожих» на толстовцев людей, и сколько я ни смотрел, наружных признаков, по которым можно было бы определить духовную жизнь людей, не было...

«Поляков Игнат!» — Я немного вздрогнул, когда услышал первый вызов на допрос. Его повели. Учащенно застучало сердце в груди, и мысленно я перенесся в комнату допросов. Может ли перенести все трудности этот молодой Поляков? Долго думать не пришлось. С вызванным Поляковым что-то поговорили и выслали его обратно. За ним вышел один из работников политбюро и крикнул: «Драгуновский Яков!» Я пошел за зовущим в зал, освещенный электрическим светом. Но здесь не остановились, а прошли в дверь направо, в маленькую комнату, которая была около четырех аршин ширины и около трех саженей длины, с одним окном в узком простенке. Перед окном стол, за которым два человека сидели и еще трое стояли, в том числе и мальчик небольшого роста. Обоих сидящих за столом я узнал сразу: один Шуруев, приезжавший в августе с отрядом солдат в нашу деревню за маслом, наряд на сдачу которого мы тогда не выполнили. Он тогда много и сильно кричал, угрожал расстрелом, но расстались мы тогда все-таки хорошо. Второй — Парфенов, бывший заведующий уездным отделом здравоохранения, знакомый мне еще с уездного съезда. Теперь он был здесь за следователя: писал протоколы, положив больную в ступне ногу на два стула, а косты-

ли его стояли тут же у стены. Когда я вошел, мне предложили сесть на стул в конце стола. Теперь я был совершенно спокоен: спокойно вошел, спокойно сел на предложенный стул и спокойно отвечал на задаваемые вопросы. Прекратилось учащенное сердцебиение, и ни один мускул не дрогнул. Парфенов взял лист бумаги, на котором с одной стороны было напечатано: «Протокол обвиняемого», а дальше следовали вопросы: где родился, холост или женат, был ли судим и т. п., словом, была подробная так называемая «анкета», которую «необходимо заполнить» при первом знакомстве с обвиняемым. Анкетные вопросы задавались мягко, и заполнили ее скоро. После последнего вопроса: «Был ли под судом или следствием», начиналось обвинение. Здесь уже шло не так гладко, как при заполнении анкеты: много задавалось вопросов, много сыпалось ругательств, угрожали Губчекой, расстрелом и всем-всем, что только мог придумать ум людской.

— Ты когда заразился Толстым? — спрашивает следователь.

— Я давно хочу быть человеком, не делающим и не желающим никому зла,— ответил я.

— Давно?! А при Николае небось служил?

— Да, служил. Но что поделать, что тогда я служил не за совесть, а за страх. И хотя на фронте пришлось быть, но врагов, которых мне приказывали убивать, я все-таки не видел. Наоборот, когда приходилось видеть немцев, я испытывал к ним жалость и пробуждающуюся любовь. И не только убивать, а мне хотелось их обнять, как братьев; мне хотелось помочь им чем-нибудь.

— Ну, пой песни, прикидывайся святым! Говори, сколько месяцев был на фронте? Ну, отвечай коротко, да не разводи свои басни!

— Семь месяцев.

— Когда оставил позицию?

— 23 июня 1915 года.

— Каким образом оставил?

— Так оставил — попал в лазарет.

— А потом, до революции, где ты был?

— До февральской революции так скитался в тылу, немного дезертировал, а до Октябрьской был дома.

— Почему же ты тогда не отказывался, а так болтался?

— Не было такого сознания, а к тому и страх еще меня одолевал.

— А теперь разве не одолевает?

— Да, теперь я повинуюсь совести.

— Что значит совести, где она у тебя сидит?

— Совесть не только у меня — и у вас есть. И если мы живем сколько-нибудь доброй жизнью, то благодаря тому, что люди все-таки прислушиваются к голосу этой совести.

— Ну, довольно тебе чушь молоть! Теперь скажи: когда ты познал это учение?

— Я начал познавать на позиции в мае и в июне 1915 года. С течением времени стал узнавать больше и больше. После февральской революции, когда началось свободное издательство ранее запрещенных произведений Толстого, вот тогда я начал узнавать о разумной жизни. Во мне и так была чуткая душа, а тут еще встретился, через книги,— с великой душой. Представьте себе, я никогда не слыхал, что есть люди, которые не едят мяса. В первый раз прочитав маленькую брошюру Толстого «Первая ступень», я сразу перестал употреблять в пищу мясо. И теперь знаю, что не только потому я не могу есть мяса, что про это сказал Толстой, а просто по своему внутреннему чувству не могу и мысли допустить, что мясо можно есть. И животных-то я никогда не убивал, за исключением только одной курицы, про которую во весь век свой не забуду.

— Как же ты мяса не ешь, а шубу носишь?

— Ношение шубы я не оправдываю. Действительно, делаю не по совести. Из этого видно, что я еще грешный человек и не нашел еще способа, чтобы заменить шубу в зимнее время.

— Тогда ваше учение какое-то непонятное: то жить по совести, то немножечко можно увернуться от совести. Поэтому и перед нами ты говоришь так, а живешь по-другому?

— Да, во мне еще много нехорошего, которое не нужно бы делать, но по своей человеческой слабости, по своему недомыслию — делаю.

— Тогда ты нам скажи: у вас есть что-нибудь определенное, к чему вы, толстовцы, стремитесь?

— Да, есть! Это Бог, а к нему разные пути, по которым люди идут. И отдельно у каждого человека есть свой крест, который он и несет. Вот почему и бывает так, что один живет более по совести, другой менее. Совершенных людей нет, но, главное, надо делать больше добра и держаться дальше от зла, увеличивать в себе любовь к людям, «не делать другому того, чего себе не желаешь».

— Ну, довольно! Теперь скажи: твой год был призван в ряды Красной Армии?

— Нет, не был.

— Зачем же ты, дурак, отказываешься от военной службы, когда тебя никуда и не спрашивают?

— Я полагал, что скоро могут призвать, а потому заблаговременно подал заявление в суд.

— Заблаговременно! Вот как посидишь в тюрьме, тогда узнаешь свое «заблаговременно»!

— Да ведь, по правде сказать, вам и не угодишь,— сказал я,— то я не угодил, что стал отказываться от военной службы, когда меня и не думали спрашивать; то мои братья не угодили, отказываются, когда их заставляют сейчас идти воевать. Когда же, по-вашему, надо отказываться от ужасных дел?

— Теперь война не такая, как при царе Николае была: тогда защищали капиталистов, а теперь мы должны защищать свои права на землю, на фабрики и на управление страной. Поэтому и отказываться от завоевания этих прав — преступно! Признаешь себя в этом виновным?

— Нет, не признаю.

— А почему не признаешь?

— Потому что завоевывать права — стало быть, идти убивать людей, а всякое убийство есть самое величайшее зло в мире. Я давно уже чувствую в душе, что не могу делать это ужасное дело, убивать людей. И кто бы мне ни приказывал: царь Николай, Керенский или Ленин, я все равно не могу и не буду этого делать.

— Стало быть, ты всякую власть считаешь насилием?

— Совершенно верно,— говорю я.

— И в советской власти ты не замечаешь никаких хороших стремлений?

— Хороших стремлений я замечаю очень много, но не таким путем все это достигается. Для осуществления таких великих идей устарелый прием насилия не годится. Да разве и непонятно, что хорошее, доброе дело надо и делать хорошо, а плохо делавши — разве может из этого выйти что-либо хорошее? Дорогие друзья! — продолжал я,— где те ваши прекрасные лозунги, которые были написаны на знамени 1917 года: «Долой войну! Долой смертную казнь и всякое насилие! Да здравствует равенство и братство!»? Ведь теперь этих прекрасных лозунгов и в помине нет, они давно запачканы кровью. Людей же, которые хотят осуществить эти великие идеи на деле, считают

какими-то врагами; их преследуют, сажают в тюрьмы и даже расстреливают.

— А ты знаешь, дурья твоя башка, что не вечно ведь будет продолжаться война, а лишь только до тех пор, пока сотрем с лица земли всех буржуев и паразитов, тогда наступит царство социализма, и войны уже не будет.

— Да, но представьте,— продолжал я,— что я в какое-то отдаленное будущее не могу верить, как не верю попам в их будущий рай, так не верю и в ваш будущий рай. Я живу только настоящим, сегодня. Я даже не знаю, что может случиться со мной завтра; как же я могу сегодня делать что-либо ужасное для блага завтрашнего? Если я хочу хорошего для завтрашнего, еще не существующего, то я должен сегодня делать только хорошее. Так что, если мы хотим людям, и теперешним, и будущим, хорошего, то самое лучшее, что мы можем сделать, это вот сейчас делать все самое лучшее, доброе. Мы живем только теперь, только в эту минуту можем располагать своими поступками, из которых будет вытекать или хорошее, или плохое.

Видимо, не понравилось следователям это мое объяснение.

— Ну, довольно басни рассказывать, давай перейдем к делу! Скажи, ты агитировал против советской власти?

— Нет!

— Как же нет, когда сперва ты отказался от военной службы, а после тебя — и твои братья?

— Это без агитации. Они сами пришли к сознанию никому не делать зла.

— Но ведь ты организовал библиотеку в своем доме, ведь это тоже агитация, потому что книги ты давал и другим читать! Сколько ты имеешь книг?

— Да, действительно, библиотеку я организовал и другим читать давал, и имеется в библиотеке свыше тысячи томов. Организовал же я ее не с какой-либо дурной или корыстной целью, а для просвещения людей. Я полагал, что этим я иду навстречу Комиссариату народного просвещения, который задался целью создать частую сеть библиотек по всей России для просвещения темных масс. У нас в деревне безграмотность. Сам я получил начальное образование, и вот теперь своим трудом добавил и добавляю образования и просвещения. Из этих соображений я и организовал библиотеку: для своего просвещения и других людей.

— Так не признаешь себя виновным в агитации?

— Нет!

— А почему не выполнил наряд по хлебу?

— Потому,— отвечаю я,— что это требовалось для армии, а я ни служить, ни помогать ей своим трудом не могу и не буду.

— А правда ли, что к вам приезжали за хлебом сельские власти с армейцем и вы не хотели давать?

— Правда, приезжали, взяли шесть пудов ржи, и мы не протестовали.

— А почему не выполнял наряд подводами, и когда посылали устраивать склады-погреба для картофеля, ты не хотел?

— Все потому же, что это связано с войной,— говорю.— Подводы крестьянские требуются большею частью для солдат, чтобы отнимать продукты у крестьян. Погреба строить не пошел из тех же соображений. Я не могу помогать этому.

— Что ж, и виноватым себя не признаешь?

— Нет!

Все эти вопросы задавались мне двумя сидящими за столом, остальные же только слушали. Некоторые вопросы задавались в мягком тоне, а некоторые в очень грубом. Когда я хотел больше развить свою мысль, Парфенов (следователь) кричал на меня: «Замолчать!», что и приходилось делать; когда же я молчал и не отвечал на заданный мне вопрос, он кричал, чтобы я отвечал. Когда кончили спрашивать, то стали копаться в документах, отобранных у меня при обыске. Наткнулись на мандат, выданный мне как уполномоченному по Смоленской губернии от Объединенного Совета Религиозных Общин и Групп.

— Какой черт выдал тебе этот мандат, такому дураку? Какой из тебя уполномоченный. Посмотри на себя, ведь ты совершенный дурак! Защищать он других будет! Он и за себя-то толком сказать не может. Молол-молол такую непонятную чертовщину, что тошно стало. Черт дурной, скажи: признаешь ты себя виновным в агитации против советской власти?

— Нет, не признаю!

— Как не признаешь, когда признался, что имеешь библиотеку, а это уже доказывает агитацию! Признавайся: если бы ты не был смутьян, не было бы столько отказывающихся от войны!

— Что с ним толковать,— сказал другой,— пиши в протоколе: «Признаю себя виновным в агитации против советской власти», а он потом подпишет.

Я молчал. Написали протокол.

— Ну, слушай протокол,— сказал Парфенов и стал читать.

Я внимательно слушал, но не дослушал до конца, так как далее было написано: «Признаю себя виновным в агитации против советской власти». После этих слов я не стал больше слушать, я не мог согласиться с таким обвинением.

Прочитав протокол, его положили на стол передо мной, сказав: «Подписывай!» Я отказался от подписи. Взволновал их мой отказ. Шуруев, сидевший во время допроса за столом, встал.

— Почему не подписываешь?! — закричал он на меня.

— Потому что не считаю себя виновным в агитации.

— Так и не будешь подписывать? — кричали на меня со всех сторон.

— Нет, не подпишу.

— Подписывай, чертова голова, иначе плохо будет!

— Нет, не буду. Перепишите протокол, с которым я мог бы согласиться, тогда подпишу.

Еще больше их это взорвало.

— О-о! С ним будут нянчиться, переписывать протокол, проводи с ним одним время, тогда как там еще девять ожидают! Слушай, ты, идиот! Даем тебе последнее предложение, и если только не подпишешь, тогда пеняй на себя!

Я категорически отказался от подписи. Вот тогда-то и посыпались самые страшные, отвратительные ругательства, какие только мог придумать ум человеческий. При ругани они стали еще больше волноваться и бегать по комнате. Наконец, все ругательства вылились и, видно, новых еще не придумали.

— Вот что! — крикнул Шуруев, как бы открывая что-то новое и успокоительное.— Садись, пиши ордера в Губчеку, расстрелять его к черту, а в протоколе напишем, что от подписи отказался!

Они быстро, человека четыре, подписали протокол, а один начал писать ордер в Губчеку. Опять та же анкета, но в другой форме, опять было задано несколько вопросов, на которые я спокойно отвечал. Вообще я все время чувствовал себя спокойно. Они кричали, ругали, а я продолжал спокойно сидеть, как будто все это не касалось меня. Как будто и угрозы расстрелом не пугали меня. Пусть будет что будет.

Кончив писать ордер, опять обращаются ко мне:

— Знаешь ты, дура чертова, что через твое идиотское упрямство тебя можем отдать к расстрелу? Губчека не станет с тобой церемониться, как мы здесь.

— Ну что ж, это дело ваше, а мое дело — прощать вам, как не понимающим, что делаете.

— Довольно, довольно соловьем петь, убирайся к черту! Мы увидим, как ты запоешь перед Губчекой!

С такими сопроводительными словами я вышел из комнаты допросов и возвратился к своим друзьям, с волнением ожидающим меня. Хоть и через двое дверей, но им были слышны ругательства и крики, и это их волновало. Когда я сел, ко мне в темноте прильнуло несколько голов и шепотом стали спрашивать: «Что тебе было при допросе?» Я в коротких словах рассказал, чего от меня хотели и за что ругали.

Успокоились мои друзья, узнав, что меня не били.

На несколько секунд наш разговор был прерван вызовом опять Игната Полякова. У меня опять стали спрашивать, какие задавались мне вопросы и как выслушивали мои ответы. Им хотелось все знать, но разговор наш был окончательно прерван прошедшими через коридор в комнату допросов двумя человеками. Не прошло и минуты, как опять вызывают: «Драгуновский Яков!»

Из этих двух пришедших один был (как после узнали) заведующий политбюро — Летаев. Как только он пришел, ему, вероятно, сказали, что самого главного уже допрашивали и он отказался подписать протокол. Когда я вошел в комнату допросов и остановился у двери, передо мной стоял этот заведующий. Кто-то за спиной у него сказал: «Вот он, ихний главарь, агитатор против советской власти, не хочет признать себя виновным и не подписывает протокол».

— Ты почему не подписываешь протокол? — закричал Летаев, свирепо сверкнув глазами. По его лицу было видно, что он мастер своего дела. Только глазами он мог испугать человека, а если искажал лицо и открывал рот, в котором вверху не было двух зубов, тогда он становился страшен и непохож на нормального человека.

— Я не согласен с обвинением в агитации,— ответил я.

— Так не подпишешь?

— Нет, не подпишу.

Не успел я произнести последних слов, как посыпались удары кулаками по левой щеке. Летаев был среднего роста,

но крепкого телосложения, и удары наносил такие веские, что я не мог устоять на одном месте: меня повело в сторону, и я упал бы, если бы не поддержала стена. Ударов около шести было нанесено, и при первом же ударе я почувствовал сильную боль в челюстях, а потом и головокружение. Увидев, что меня повело в сторону и с моей головы слетела шапка, он остановился как бы перевести дух и собраться с новой силой. В это время я поднял шапку и остановился перед ним, чувствуя головокружение.

— Теперь подпишешь протокол, признаешь себя виновным в агитации?

— Нет, виновным себя в агитации не признаю и протокол, с которым я не согласен, подписывать не буду.

От моего твердого, категорического отказа в нем проснулся дикий зверь. Он удар за ударом, со всего размаха стал бить меня сапогом, попадая между ног. Мне стало невыносимо больно... Чувствую: вот-вот, еще удар — и смерть. Каждый знает, что это самое чувствительное место у мужчины, и одним метким ударом можно лишить жизни. У меня из глаз потекли слезы. Я инстинктивно стал закрывать шапкой то место, по которому он ударял, но Летаев был свиреп и ловок, и эта защита ему не мешала, он метко попадал в желаемое ему место из-под низу. Несколько раз он попал сапогом по рукам, которыми я закрывался, и из них полилась кровь. Я подумал, что вид крови остановит его, но зверь, проснувшийся в этом человеке, только обрадовался. Он без смущения продолжал бить сапогами изо всей силы. Вижу, что он хочет окончательно убить меня, и стал умолять его:

— Брат! Образумься! Брат! Прости!

Но ни мои мольбы, ни кровь, ни слезы не тронули его, он продолжал бить до тех пор, пока не устал, и только тогда остановился.

— Теперь подпишешь протокол? — крикнул Летаев.

— Нет, не подпишу.— У меня появилась какая-то каменная твердость. Когда меня били, чувствовал страшную боль, но подписать тот ужасный протокол все равно не мог. Летаев не стал больше бить меня и, как ни в чем не бывало, стал предлагать, чтобы я сам написал о своих убеждениях. Хотел я и от этого отказаться, но потом решил написать. Меня вывели из этой комнаты в другую, свободную, и, посадив за стол, дали лист бумаги. Но как я буду писать, когда у меня такое сильное головокружение, во рту пересохло, все болит и кровь из руки течет? Сел я и задумался:

как и что я буду писать, когда ничего не соображаю. Вышедший со мной Шуруев, видя, что я не могу писать, наклонился ко мне через стол и ласково стал показывать, как надо заполнять анкету. Когда анкета с трудом была заполнена, он сказал:

— Теперь пиши о своих убеждениях.

С этими словами он ушел опять в комнату пыток. Там били одного за другим Поляковых, которые так же, как и я, умоляли своих палачей. Мне в таких условиях очень трудно было писать. Чтобы написать слово, я долго думал. Не знаю, сколько времени я писал, но знаю, что обоих Поляковых уже «допросили» и уже завели Ефима Федосова... За моими показаниями два раза приходил тот безнравственный мальчишка, прислуживающий и развращающийся в политбюро. В третий раз пришел и стал вырывать у меня бумаги.

— Давай, больше не хотят ожидать!

Многое мне хотелось еще написать, но не дают. Ладно, пусть берут. Мои друзья сидели в темной комнате не шевелясь, только вздыхали и ужасались, когда сюда долетали звуки ударов и стоны из комнаты пыток. Видя мое состояние, со мной в разговор они уже не вступали, и вообще никто не хотел проронить ни одного слова, всех охватил ужас побоев. Сейчас были слышны удары и вопли: в комнате пыток был Ефим Федосов. Его били, а он умолял не мучить его...

Ужасно переносить, когда бьют тебя самого, но еще ужаснее, когда бьют и мучают другого человека и до тебя долетают звуки ударов и тяжелые стоны. Слезы и страдания других так и щемят за сердце. Но вот затихло, и тут же представляешь себе что-то ужасное: вот уже убили... вот человек кончается... Ужас, ужас! Вот пробежали по коридору с большим ковшом с водой. Воображаешь себе, что прибили человека до беспамятства и теперь будут отливать водой...

Но оказалось, Федосов сам попросил воды, так как от побоев у него сильно пересохло во рту.

— Драгуновский Яков! — кричат опять. Я пошел, думая, что еще будут допрашивать.

— Кто здесь есть из твоих братьев в той комнате?

Я сказал, что только брат Василий.

Вызвали Василия, а меня выслали вон. Прошло минут десять, опять вызывают меня. Я вошел в четвертый и в последний раз. Брат сидел на стуле, а заведующий полит-

бюро Летаев стоял возле него и требовал подписать протокол. Брат отказывается подписываться, потому что в протоколе обвинение в дезертирстве. Он попросил самому прочитать протокол. Действительно, протокол составлен как на дезертира: «Протокол обвиняемого в дезертирстве под укрытием «толстовства». Брат не стал дальше читать, положил протокол на стол со словами: «Не буду подписывать такой протокол». Тогда Летаев обращается ко мне:

— Ты ихний учитель, заставь своего ученика подписать протокол.

— У нас один Учитель — Христос, а мы между собою братья, и протокол подписать заставить я не могу, потому что у него свой разум.

— Да ведь ты написал и подписал, почему же он не подписывает?

— Так вы дайте ему самому написать, тогда и он подпишет.

— Что-о,— закричал Летаев,— если за вами, отдельно за каждым, записывать, вся ночь пройдет! — И обращаясь к брату:

— Ты подпишешь протокол?

— Нет, не подпишу.

Тогда Летаев ударил брата три раза наотмашь кулаком по носу и правой щеке. Ручьем хлынула кровь из носа.

— Подпишешь протокол?

— Нет, не подпишу.

Меня сейчас же выгнали вон, а брата начали бить: того брата, который отказывался, бывши у французов; отказывался, бывши у Деникина, воевать против своих русских, так называемых «красных»; теперь отказывается и здесь, у «красных», идти на ужасное дело — убивать на войне себе подобных, русских же, только названных «белыми»; и его начали страшно бить, назвав «злостным дезертиром». Я испытывал неописуемый ужас. Через две двери были слышны возня, кряхтение, глухие удары и страшно болезненные вздохи... Слышался частый топот ногами, и опять глухие удары... удары...

Не знаю, сколько времени это продолжалось, но нам, сидящим в другой, темной комнате, слышавшим все это, показалось очень долго. Долго молчал брат под ударами, но не выдержал и закричал:

— Братцы! Пристрелите лучше меня!..— но и после этого крика его продолжали бить, бить... Но вот все затихло; проходит несколько томительно жутких, мертвых минут.

Опять представляю себе, что брата уже убили, вот здесь, рядом, в эту минуту...

Брата Василия били до тех пор, пока сами избивавшие не устали и их жертва пришла в беспамятство. Тогда они посадили его, бесчувственного, в стоявший тут же рядом разбитый шкаф, и один из них побежал за водой. Они, видимо, знали, что холодная вода приводит в сознание избитого до полусмерти человека, но... Василий не взял ее. Почему не взял, он и сам не знает. После он рассказывал, что в это время он был как сумасшедший и ничего не соображал, а через некоторое время, когда пришел в сознание и сильно хотел пить, ему воды уже не предлагали, а сам просить он не хотел. Из шкафа его вытащили и, переведя в другую комнату, посадили на стул. К нам он пришел не скоро, когда пришел в себя.

В комнату допросов и пыток был вызван Кожурин. Этого молодого человека тоже сильно избили. Из всех десяти человек, вызванных этой ночью на допрос, не били только двоих: Ивана Федосова и Гусарова; нам же, остальным, подвергшимся избиению, досталось очень и очень тяжело. Тем, которых били последними, досталось меньше побоев, так как время уже было далеко за полночь и работники политбюро торопились закончить свою «работу»; да к тому же такая «работа» тяжела и физически, и нравственно.

— Веди их в милицию! — поручили они милиционеру.

Когда мы выходили, то один из работников политбюро, Шуруев, освещал лампой коридор и всматривался нам в лица.

— Что, сердиты? — говорил он тем, кто не смотрел в его сторону,— а толстовцами считаетесь! Толстовцы ведь не должны сердиться.

Я проходил последним и взглянул в его сторону.

— И видно, что нарочно глянул, а все-таки сердит! — сказал он.

Такими сопроводительными словами нас отправили, побитых и измученных, обратно к нашим друзьям, ожидающим нас с нетерпением и тревогой на душе. Придя в темное холодное помещение, мы ощупью нашли свободный уголок. Подложив под головы мешочки с сухарями, мы кое-как, охая, легли.

Уснул я только под утро. Иван Федосов нисколько не спал в эту ночь; он думал, вздыхал и говорил: «Почему это всех били, а меня миновали? Как будто я святее всех?» Ему сильно хотелось, чтобы и его побили, и непременно

больше всех... он мог бы все перенести, а тут, как нарочно, его миновали...

Днем нас перекликали по фамилии и, поставив по два человека, под конвоем из пяти человек отправили в тюрьму.

⟨запись 1920-х годов⟩

Я. Д. ДРАГУНОВСКИЙ — В. Г. и А. К. ЧЕРТКОВЫМ ИЗ ТЮРЬМЫ Г. ДЕМИДОВА.

Письмо первое

Милые друзья! Только что успел кончить писать последние слова в первом письме, как увидал через окно, на тюремном дворе, отряд вооруженных людей. Часть отряда вошла на второй этаж тюрьмы с веревками. Мы предполагали, что поведут в трибунал связанными опасных преступников. Но каков был наш ужас, когда смотревшие в окно увидели, что повели связанных попарно четырнадцать человек, приговоренных к расстрелу. Что делать? Куда деваться от такого ужаса? Я не мог взглянуть на уводимых: меня охватил ужас, заболело в груди и закололо в сердце. О, Боже мой, Боже мой! Что это делается на белом свете, среди бела дня и кем же? Людьми, этими разумными творениями, созданными для жизни, для радости. Что же за радость в жизни устраивают люди? О ужас, не радость — а горе, а безумие!.. Или я ошалел, что так чувствую и так ужасаюсь, или те ошалели, кто наводит такой ужас...

Вот их вывели, всех четырнадцать человек, на расстрел: четверых за бандитизм, а десять человек за отказ от войны, за отказ от убийства людей, за их чисто человеческие добрые чувства, за то, что они не могут вредить и делать зла другому,— приговорили к смертной казни. Все они, живые, своими ногами пошли к приготовленной для них яме. Своими умными, добрыми глазами они увидят приготовленное ложе в сырой земле для своих тел. А душой, а разумом они чувствуют, что за дело любви они пожертвовали собой.

Они удостоились уйти из этой жизни и слились со всем добром. Их не стало с нами... Вот их имена:

Митрофан Филимонов, Иван Терехов, Василий Терехов, Елисей Елисеев, Василий Павловский, Василий Петров, Варфоломей Федоров, Иван Ветитнев, Глеб Ветитнев, Дмитрий Володченков.

Дело их всех было в нарсуде, были получены заключения из Москвы от Объединенного Совета об искренности их убеждений, а Елисеев даже был уже осужден нарсудом к какому-то сроку, а их все равно осудили как дезертиров и расстреляли...

Писать больше не могу, если останусь в живых, напишу подробно.

⟨декабрь 1920 года⟩

Письмо второе

Милый друг Владимир Григорьевич! Шлю Вам дополнительные сведения по поводу наших тюремных переживаний и о тех десяти расстрелянных за отказ от военной службы по религиозным убеждениям. Дополнительные сведения будут следующими. Священник села Свистовичи Демидовского уезда Прокофий Богданов был тайным работником от Демидовского уездполитбюро по предательству Общества в память Л. Н. Толстого и его деятелей. За неаккуратное же исполнение своей обязанности священник этот был арестован политбюро и сидел девять дней в этой тюрьме, где и мы сидели. Неаккуратностью же его было то, что всему населению стало известно о его действиях по предательству толстовцев. Товарищи по тюрьме, Л. Ульяновский и И. И. Беляев, передали нам следующее. В первый же день этот священник стал спрашивать у них, что за это может быть и ему, и тем людям, которых он выдавал. Они ему ответили: «Хорошо было бы, если обошлось бы без расстрелов». Священник пришел в большой переполох и со слезами на глазах стал раскаиваться в своем поступке. Беляев и Ульяновский спросили: какая же была его обязанность? Он рассказал, что доносил, если толстовец ходил в церковь, вступал в брак через церковь и крестил ребенка, а также о поведении их в жизни. Беляев не раз утешал его в его горьких слезах и говорил: «Довольно плакать, не вашему сану так расстраиваться». Но он так расстроился, что не мог не плакать и не исповедоваться. Его тревожило еще, вероятно, то, что десять человек толстовцев, которым предстояла неизвестная участь, сидели в арестном доме. Когда же 11 декабря трибунал присудил расстрелять этих десять человек за отказ от войны по религиозным убеждениям, священника в тюрьме уже не было.

Неизвестно, как почувствовал он себя, когда услышал,

что часов в 10—11 утра тринадцатого декабря этих десять толстовцев расстреляли, и три человека были его соседями из того же села Свистовичи.

При своей искренней исповеди этот священник сказал, что им всем, священникам Свистовической волости, было предложено взяться за эту работу, но все отказались, за исключением его и другого какого-то неизвестного священника.

Вот какие дела начинают твориться, милый друг Владимир Григорьевич. Должно быть, настало время инквизиции свободно-религиозных течений. С братским приветом и любовью ваш брат Яков Драгуновский.

Этап, 17 декабря 1920 года.

Документы 1921 года

1.

«Выписка из протокола № 30 заседания Касплянского съезда сельсовета волости Демидовского уезда Смоленской губернии, 10 ноября 1921 г.

Слушали: текущие дела, о произведенном аресте «толстовцев» как контрреволюционеров, которое вносится тов. Сидором Михайловым.

Постановили: довести до сведения властей, что бандитов по волости не имеется, население стоит на защите завоеваний Октябрьской революции. Арестованных Якова, Петра, Тимофея и Василия Драгуновских, Ивана Евдокимова, Никанора Мищенкова, Сергея Полякова, Максима Мищенкова Съезд советов знает с лучшей стороны,в контрреволюционной агитации не замечались и вообще ни в чем предосудительном не замечались.

Подписи, печать».

2.

«Объединенный Совет Религиозных Общин и Групп, 23 ноября 1921 г.

№ 3694. Москва, Петровские ворота.

В Смоленскую Губернскую распределительную комиссию.

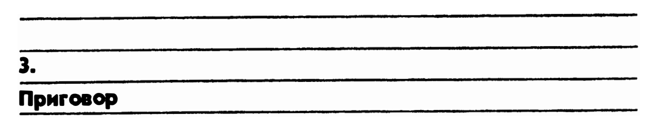
При сем прилагаем заявление заключенных в Смоленском концентрационном лагере принудительных работ: бра-

тьев — Якова, Петра, Тимофея и Василия Драгуновских, Сергея Полякова, Ивана Федосова, Никанора Мищенкова и Егора Иванова. Объединенный Совет просит губернскую Распределительную комиссию освободить их из заключения, применив к ним амнистию от 4 ноября 1921 года, пункт а-3 — а-4, т. е. гласящий об освобождении во всяком случае сектантов, не связанных с контрреволюционными организациями, и пункт «г» того же 3-го, гласящий об освобождении дезертиров, всецело к ним относится.

Аналогичное же ходатайство Объединенный Совет возбуждает о гражданах Николае и Иване Ивановичах Пыриковых и Клементии Емельяновиче Красковском, находящихся в одинаковых с вышеупомянутыми восемью лицами, подавшими заявление, условиях.

Объединенный Совет Религиозных Общин и Групп удостоверяет, что все вышеозначенные лица ему хорошо известны как искренние, стойкие и последовательные проводники в жизнь свободно-христианского жизнепонимания, наиболее ярким выразителем которого был Л. Н. Толстой. При этом Объединенный Совет ручается, что все вышеозначенные граждане чужды каких-либо контрреволюционных стремлений или организаций, а действовали исключительно по религиозным мотивам.

Председатель В. Г. Чертков, член сов. Н. Родионов, секретарь Н. Дубенский».



3. Приговор

«Именем Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 1921 года октября 10 дня Особая сессия народного суда при Демидовском уездном бюро юстиции в открытом судебном заседании под председательством П. П. Петрова и народных заседателей: Степанова, Пуле, Бородкина, Новикова, Комонова и Лавровского, при секретаре Е. А. Шулькове, рассмотрев дело по ходатайству гр-на Касплянской волости дер. Драгуны Якова Драгуновского от военной службы по религиозным убеждениям замены таковой работою на пользу народу и обществу, нашла: что гр. Яков Драгуновский, согласно экспертизе Московского Объединенного Совета религиозных общин и групп от 2 января 1920 года за № 9494 действительно в силу своих религиозных убеждений в духе свободно-хри-

стианского жизнепонимания действительно не может нести как строевой, так и нестроевой военной службы, а потому, руководствуясь пунктом 1 Декрета Совета Народных Комиссаров от 4 января 1919 г., Особая сессия народного суда Демидовского убюста определила: гр. Касплянской волости деревни Драгуны Якова Дементьевича Драгуновского, 35 лет, в силу его религиозных убеждений освободить от военной службы и на случай призыва его сверстников заменить таковую работой в заразных бараках и лазаретах. Определение окончательное, может быть обжаловано в Смоленский Губсов. народных судей в 2-недельный срок в кассационном порядке.

Председатель Петров, нарзаседатели: Степанов, Пуле, Бородкин, Новиков, Лавровский. С подлинным верно: секретарь Особсессии Демидовского убюста Шульков».

Я. Д. ДРАГУНОВСКИЙ — В. Г. ЧЕРТКОВУ

Дорогой друг Владимир Григорьевич! На твой вопрос об «отпадении двоих» из числа десяти просидевших год в заключении за отказ от военной службы по религиозным убеждениям отвечаю, что здесь кроется много причин, но главная из них — это тюрьма... Как тебя интересует этот вопрос, а также не меньше и меня, а потому я с радостью и беспристрастно описываю этот случай. И хотя в коротких словах, я все-таки коснусь причин, заставивших их усомниться в истинности тех идей, которых они хотели придерживаться. Дело в следующем. Когда нас всех посадили в тюрьму, это были люди, твердые духом. За них приходилось только радоваться. Ведь представьте себе: подвергались ужасным пыткам, грозили расстрелом, а они все-таки были крепки. Думается, что если бы даже пришлось предстать пред трибуналом и услышать ужасные слова: «Расстрелять!» — и тогда они остались бы, пожалуй, твердыми. Такая удивительная была сила духа. 18 ноября в тюрьму приходили двое из политбюро делать отказывающимся последнее предложение — отказаться от своей затеи и вступить в ряды Красной Армии, иначе будет плохо: или в тюрьме сгниете, или расстреляют. Но и это последнее предложение на них не подействовало, они продолжали оставаться твердыми в своем решении. В первой половине декабря трибунал судил и расстрелял двадцать три человека, в том числе и наших единомышленников десять человек;

ожидали и мы этой участи, но отступать от истины никто не думал.

Наконец, другая тюрьма, губернская, где тоже виделись нами и переживались великие ужасы. Тут тоже брали людей на расстрел, и про свое дело мы не знали, чем оно могло кончиться. Нас могли присудить заочно, а потом вызвать, посадить в автомобиль, свезти к яме и убить, как вызывались и убивались многие. Однажды, седьмого марта, из окна тюрьмы мы видели, как шесть человек с половины дня и до вечера рыли яму в мелком кустарнике, в трехстах метрах от тюрьмы. Невольно подумал каждый из нас, что, может быть, это готовится для меня... Все это: и ужасы, перенесенные нами при пытках, и ужасы расстрелов в одной, другой и третьей тюрьмах, а также и несправедливое отношение начальства концлагеря — заставило многих глубоко призадуматься. И вот как представился им весь этот ужас, все эти безобразия, они и усомнились в своей последовательности. Не то что они усомнились в истинности великой идеи любви, а усомнились в том, что ведь все равно не осуществить, а будешь скитаться по тюрьмам, а еще хуже — могут и расстрелять, так и загубишь свою молодую жизнь. Не лучше ли жить, как и все живут? Война — так война; давай не отказываться от нее, а помогать ей. Ведь на войне не всех убивают, а в большинстве случаев возвращаются домой целы и невредимы. А еще лучше, можно и военным быть, и на войну не ходить, а так, пристроиться где-либо, как пристраиваются многие. И не только не примешь какое-либо страдание, а наоборот, будешь доволен службой. Так и давай пользоваться всеми правами человека, давай отстаивать свои права и перед судом, а то ведь и в самом деле какая-то неловкость при осуществлении идеи Христа по Толстому — и за свое постоять нельзя, а отбирают — так молчи; бьют — так и подставляй еще под удары свое тело. Как-то странно выходит: а нельзя ли сдачи дать? Пожалуй, будет выгодней, а то ведь и курицы мокрой не будешь стоить? Ведь вот живут же люди, не выдумывают ничего особенного. Они, наверное, надеются, что Царство Божие придет каким-нибудь другим образом, сразу, без всяких усилий отдельных лиц; или по-православному — чудом; или же по-революционному — борьбой. А потому и не надо распылять отдельно, каждому свои, маленькие силы, а сгруппировать их в общую массу; так-то, пожалуй, будет понадежней. А главное — будешь, как обыкновенный человек, иметь право

везде. А то вот побили и виноватыми еще за эти побои считают; а жаловаться и не думай, ведь сам же суды не признаешь!.. И действительно, они так думали и говорили: «За что же меня виноватят? Ведь меня же побили, а я никого не тронул, а, между прочим, виноватят. Вот ведь дурацкое положение!..»

Дело в следующем: когда нас в Смоленске в Губчека стали допрашивать о побоях, нанесенных нам при допросе в уездном политбюро, мы не хотели об этом говорить, боясь, что тех людей могли наказать и даже расстрелять за их зверское обращение. Ведь мы им простили и не хотим жаловаться, а потому и не желали об этом показывать. Следователь же говорил: «Вот этим-то своим молчанием вы и размножаете зло, тогда как его надо уничтожать. Если бы вы не были так глупы, поняли бы, что советская власть с подобного рода людьми борется; сейчас же удаляет из органов правления негодных элементов. Своим же молчанием вы их скрываете, хотите, чтобы и других они могли бить. Потому вы не уничтожаете зло, а увеличиваете».

Слыша такое суждение, я думал, что следователь шутит, что ведь он хорошо понимает, как изгоняется зло в мире, что только непротивлением злу — злом. Но каково было наше удивление, когда при помещении нас в тюрьму нам прочитали в Губчека, между обвинениями «в контрреволюции», «агитации» и других, обвинение — «в непротивлении злу». Они забыли, что мы именно противимся злу, но только не злом, а добром. Мне показалось очень смешным это обвинение, а некоторые недоумевали: «Как же это так: нас побили, мы же и виноваты?»

Одним словом, все это, одно к другому, очень возмутительно действовало на души этих двух молодых людей, и к концу года своего заключения они потеряли всякую веру в добро. Видя вокруг все зло, все неправды, поощряемые всеми, за исключением малой горсточки людей, они стали забывать все святое души, которое было началом их стремлений. Как большевики забыли свои святые лозунги: «Долой войну!», «Долой смертную казнь!», «Долой насилие!», «Да здравствует свобода, равенство и мир всех людей!» И первыми признаками этой «свободы» для некоторых людей было страшное сквернословие, пьянство, курение, разврат и другие неразумные дела. Часто приходилось слышать от этих двух молодых людей порицание всех религиозных людей, отказывающихся от военной службы по велению совести. «Все они шкурники, не то что

не хотят убивать других, а просто боятся, что их самих могут убить, поэтому и не идут воевать!» Они забыли, что подобными «шкурниками» были они сами. Они забыли, что тогда-то они и не дорожили своей шкурой: их били, а они твердо стояли на своем разумном понимании. Должно быть, они забыли, как одному из них не пришлось испытать ударов при пытках-допросах, каким подвергались другие, и как потом этот не изведавший побоев всю ночь не спал и все думал: «Почему же это меня миловали? Я не святее других!» Ему хотелось, чтобы непременно побили и его. Они забыли, что тогда же им угрожали расстрелом, но и тогда они не дорожили своей шкурой, были тверды на своем. И наконец, они забыли или стали забывать, что религиозных людей за их отказ от военной службы — расстреливали.

Они стали забывать об этом и под влиянием тюремных условий. Они стали считать себя «шкурниками». «Но больше мы ими не будем,— заключили они,— а по первому же призыву пойдем служить, постараемся сделаться комиссарами и будем тогда гнать и преследовать так называемых «религиозников», отказывающихся от военной службы!» Одного из них вызывали в суд (в начале отказа) по поданному им же самим заявлению об отказе от военной службы по религиозным убеждениям, но он не пошел в суд, сказав: «Я теперь не пойду в суды по этому делу». Так и не пошел.

У второго я был в его доме после освобождения. Он было начал хвастаться своей «самостоятельной жизнью, без авторитетов каких-то Христов и Толстых», но смутился, когда глянул мне в глаза. Он увидел, что я не разделяю его взглядов, и замолчал.

Не будем осуждать этих молодых людей в их измене своим убеждениям, я хотел скорее бросить упрек той ужасной тюремной обстановке — она развратила их, и не только их, а и многих «из малых сих» развращала и продолжает развращать. Люди же эти не совсем потеряли совесть.

Я думаю, что это временная хандра нашла на них. Ведь они уже разбирались разумом в жизненных вопросах и были тверды. А теперешняя измена разуму временная. Придет время, думаю — скоро, они поймут свою ошибку и тогда ревностнее прежнего встанут на путь добра и правды. Сначала я хотел их уговаривать, но это все равно, что добавлять масло в огонь. Они начали сильно сердиться на это. Тогда я подумал, что не нужно ничего со стороны

навеивать, а пусть сами хорошенько разберутся в своей ошибке.

Думаю, что и ты, дорогой Владимир Григорьевич, не бросишь в их сторону упрека, как не бросил никто из иудеев в евангельскую женщину. Не упрека они заслуживают, а сострадания и сожаления.

Вот все то, что я мог сообщить в коротких словах об отпадении двоих. Имена их не пишу здесь, считая неудобным. А пока будь здоров, добрый старичок. Желаю тебе благоденствовать. С любовью твой меньшой брат Яков Драгуновский. *28 декабря 1921 года.*

1921—1929

МОЯ ЖИЗНЬ

Конспективное изложение

После амнистии и освобождения месяца два мною овладевает оптимизм. Любая погода радует меня. Еду в Москву. Радостная встреча с друзьями. Я у Бонч-Бруевича, беседую с ним. Какая-то мучительная тоска по дому овладевает мной. Приехал домой и опять не успокаиваюсь: тоска не покидает меня. Часто и подолгу серчаю на жену, требую, чтобы она вегетарианствовала. Веду неправильное, неразумное воспитание сына. Не рад, что имею такое злое сердце, а как изменить — не знаю. Новое миропонимание не изменило меня к лучшему, характер не улучшается. Кидаюсь и туда, и сюда, надеясь со стороны получить поддержку.

В июне я опять в Москве. Знакомлюсь близко с некоторыми друзьями, с Сергеем Михайловичем Поповым, с его замечательной, разумной системой ручного земледелия. Радуюсь, что еще больше знакомлюсь и сближаюсь со старыми толстовцами: В. Г. Чертковым, И. И. Горбуновым-Посадовым и другими; беседую с ними как с равными, но все же Чертков является каким-то авторитетом, почему я и не могу понять Сережу Попова и его понимание духовного монизма. Посетил «Живую Церковь», где слушал проповедь Антонина. Побывал у евангелистов, послушал их пение, орган, но все это меня не удовлетворяет.

Скитание по друзьям опять толкает меня скорее воз-

вратиться домой. Дома опять радуюсь, но не надолго: часто тоскую, часто сержусь и мучаюсь. Удивляюсь, что со мной происходит. Сравнивая свою жизнь в православии и теперь, не нахожу разницы — даже как будто характер ухудшается. Работаю, а на душе неудовлетворенность и ужасная тоска, а от чего и сам не знаю. С женой — несчастье, тяжело заболела. Пришлось отвезти в губернскую больницу. На сердце большая тревога, боюсь расстаться с другом. Радуюсь ее благополучному выздоровлению и возвращению. Вскоре опять серчаю и злюсь. Характер не улучшается.

Опять Москва. Голицыно. Звенигород. Я в колонии у друзей в рощах. Предлагают организовать коммуну. Я почему-то боюсь втиснуть семью в такую организацию; пугают меня чужие (барские) постройки, как это пугало меня в 20 году, когда я бывал у И. М. Трегубова в Наркомземе. Знакомство с Корниловичем дает мне некоторый толчок. Очень глубокое впечатление произвела на меня жизнь и жизнепонимание Сергея Михайловича Попова. Побывал я у многих друзей: у О. А. Дашкевич, у Страховых, у Булгакова, у Плешкова, у Добролюбова; побывал у квакеров, у бегаитов, у трезвенников. В Вегетарианском обществе пришлось постолярничать: делал скамьи, витрину и проч., за что обещают купить мне билет на дорогу. Втягиваюсь в работу, хочу заработать.

Англичане-квакеры своей богатой, буржуазной обстановкой и пищей не дают мне ничего положительного. У бегаитов свободный обмен мнениями — нравится; у трезвенников кликушество — отталкивает. Почему-то не посещаю собрания друзей. 29 декабря не посетил диспут, после которого В. Ф. Булгакова наметили выслать за границу. Тревога многих друзей. Мы ожидали арестов. С М. Кучиным смотрели в Москве демонстрации против Рождества. Пришел от квакеров, решил ехать домой, так как меня слезно просят домашние.

Желание вести культурную крестьянскую жизнь; возможность дает только переход деревни на отруба (столыпинские участки). С отрубами не удалось. Брат Тимофей едет на Кавказ искать свободные земли. Телеграмма и письмо брата окончательно вселяют желание переселиться. Приехавшие ходоки привезли бумаги о принятии нас в с/х артель.

Москва. Хлопоты в Москве и пугают, и успокаивают. Переселение разрешается. Я снова у Чертковых, у Трегубо-

ва, у Вересаева, у Смидовича, в Наркомземе, у М. И. Калинина.

Дома. От продажи имущества тревога на сердце, но так как был занят продажей и переселением, мало уделял внимания и помощи заболевшей жене. Мое четырехдневное отсутствие заставляет жену попасть в больницу, но благополучно возвращается.

Я снова в Смоленск, к переселенческому начальнику на шесть дней. Предчувствую несчастье. Я все время в тревоге и в последнюю ночь сильно заболел. 13 декабря я возвратился домой и нашел жену умершей.

⟨запись 1920-х годов⟩

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ С/Х ТОВАРИЩЕСТВА В СТАВРОПОЛЕ В 1924 ГОДУ

Рано утром я в Ставропольской степи. Ровное поле, плодородный чернозем, трели жаворонков, пение других птиц, восходящее солнце — все должно бы радовать меня, но на душе лежит гнетущее горе. Посетил коммуну, в которую нас приняли членами. Побывал на станции, на хуторе Беляев; нигде не могу успокоиться.

Комиссия определила, что ввиду засухи урожая в этом году не будет. Нас предупредили, что заберут наших лошадей, привезенных нами из Смоленщины, за долги государству — за те долги, в которые коммуна залезла до нашего приезда. Мы отказались от чужих долгов; тогда нас исключили из этой странной коммуны...

Из неудачной коммуны, где председателем был горький пьяница, мы опять переехали в село Донское на квартиру; остались без земли, а это для крестьянина — равносильно смерти.

Ужасная потеря друга, неудачи на новом месте свили в моем сердце постоянное горе, которое чуть не привело к умопомешательству. До некоторой степени меня успокаивает столярный труд, от которого мы и существуем.

Организовываем товарищество по совместной обработке земли, это дает мне работу по выхлопатыванию земельного участка для нового колхоза. Часть смоленских переселенцев уехали обратно — не понравилось. В горе и труде закончился 1924 год. Переписка с друзьями до некоторой степени успокаивала меня.

Принимаю активное участие на съезде в Ставрополе.

Пишу в газеты против предполагаемого открытия продажи водки.

Работа по организации колхоза, работа за верстаком, на кусок хлеба; переписка с друзьями и средний урожай несколько успокаивают мои нервы. Книги моей библиотеки сближают меня с населением, но самому мало приходится читать.

Две дочки, Клава и Маня, ходят в школу, мое же личное руководство и воспитание ускользают из моих рук — некогда...

Целый год пришлось ходатайствовать о выделении большого хутора для нового колхоза. Пришлось побывать в Ростове в Крайзу.

РАБОТА В С.-Х. ТОВАРИЩЕСТВЕ «СВОБОДНЫЙ ПАХАРЬ» (1924—1929 гг.)

К годовому отчету с.-х. товарищества «Свободный пахарь» Донского сельсовета, Московского района, Ставропольского округа. Председателя совета товарищества Драгуновского Якова Дементьевича

Доклад

В захолустном уголке, на окраине земель села Донского, вдруг возникло несколько саманных бедных построек. Это колхоз — с.-х. товарищество по общей обработке земли, под наименованием «Свободный пахарь». Этот колхоз организован мною весной 1924 года из двенадцати бедных семей, переселившихся из Смоленской губернии, на земле Госземимущества. Вслед за организацией колхоза последовал неурожай 24 года, который прогнал больше половины переселенцев обратно на родину, а оставшихся членов колхоза поставил в бедственное положение. Полуголодное существование, неземлеустроенность; негде развернуть силы правильного полеводства, негде возводить постройки; такое положение для крестьянина — гибель.

Но чтобы не погибнуть и чтобы дальше жить, организация стала влезать в долги: весной 25 года получили денег на рабочий скот, получили семян для весеннего сева и жнейку в долг.

Средний урожай 25 года позволил свободнее вздохнуть, но покрыть всю задолженность не было сил, так как среди лета пали две рабочие лошади. Все хлебные излишки пошли на приобретение лошадей. Но несмотря на то, что задолженность осталась непогашенной, организация не потеряла авторитета; осенью 25 года нам дали еще в долг семян озимой пшеницы, урожай которой в 26 году помог рассчитаться почти со всей задолженностью, остаток которой не пришлось погасить и до сего времени, так как последовавшие один за другим неурожаи 27 и 28 годов подорвали и так слабую мощь организации.

В начале июля 27 года прошло землеустройство. Почти квадратной формы отрезан участок в 235 га, разбит на шесть полей: 1 — пар, 2 — озимые, 3 — пропашные, 4 — озимые, 5 — травы и 6 — яровые.

Свободно я вздохнул, увидав результат своих трудов. До отвращения надоела долгая волокита. Но с проведением землеустройства не все мои заботы кончились: теперь надо организовывать общественное хозяйство. Кроме меня, никто не думал об организации хозяйства. Все были заняты своими личными делами. Везде и всюду приходилось бегать, хлопотать, писать — только мне и мне. Требуется собрать экстренное собрание — никого не дозовешься; садишься и пишешь протокол, а потом бежишь по членам коллектива подписывать.

Увидав результат моих трудов по землеустройству, я поверил в свою силу и в дальнейшем при организации общественного хозяйства: не может быть, чтобы я не добился. Мне страшно хотелось, чтобы все члены работали с прилежанием на земле и чтобы ни один клочок земли не пустовал и не шел по отдельным арендным рукам, как это имело место до сего времени при чересполосном землепользовании у отдельных безлошадных членов. Такой порядок землепользования меня пугал.

Со стороны же задавалось много вопросов: «Вот вы выхлопотали и получили прекрасный участок земли, но сумеешь ли ты использовать ее надлежащим образом? Ведь организация твоя собралась разношерстная, большинство не хлеборобы. Что ты будешь делать со своей гоп-компанией, имея пять лошадей и без сельскохозяйственных машин и построек для жилья? Не ляжет ли на тебя ответственность за нерациональное использование участка?..»

Имеющейся у отдельных членов тягловой силы не хватит обработать весь участок. Надо машинизировать.

Как же это сделать? Ведь для того чтобы получить машины, надо иметь задаток в 25 %; где же взять эти средства? Вытиснуть что-либо из бедных членов колхоза не представлялось возможности. Надо искать источников извне.

Мне приходилось слышать об агроуплотненных поселках в засушливых местностях, что этим поселкам отпускаются с.-х. машины без задатка. С этой целью я обратился к районному агроному, который мне объяснил, что требуется только согласие всей организации, и дело можно повести. Не верилось, что нам, такому «сброду», дадут машин на десять тысяч рублей. А если дадут, то как поведешь хозяйство с такой разношерстной публикой: тот слесарь, этот портной, фабричный, столяр, пимокат, православный, старовер, баптист, молоканин, толстовец, смоленский, орловский, калужский, брянский, тульский, тамбовский, черниговский, минский, волынский, таврический, акмолинский, ставропольский, пьяница, лжец и старатель стянуть что плохо лежит?

Неурожай 27 года не вернул и семян. Чем жить и чем сеять поле? Вопрос мучительный, не дающий покоя; если не хочешь умереть с голоду, надо работать не покладая рук, и я работал. Работал и мыслил — за всех один, как будто все члены колхоза составляли туловище, а я один — голову. И мысленно я этим гордился. Тщеславие даже туманило мне голову: я умней всех членов колхоза, могу спорить даже с некоторыми учеными, защищать и отстаивать общественные интересы. С большим упорством я добился землеустройства, наладилось дело с получением машин, и не может быть, чтобы я не добился получения семян.

В районе возникло семенное хозяйство. Я туда: так и так, мол, мы получили землю в одном месте, разбили на шесть полей, нельзя ли вступить к вам в члены и получить сортовые семена? Опять успех. Опять я торжествую. 25 октября мы получили семена озимой пшеницы (поздновато) и сеяли до самых заморозков, но и половины полученных семян мы не рассеяли — захватила зима.

Наступил 28 год. Год подъема нашей общественной деятельности. Первый год опыта в общественном труде и вознаграждения за этот труд. Год крупных скандалов и склок.

Особенно я обрадовался новому американскому красавцу-трактору «Интернационал», в 10—20 лошадиных сил. Я был опьянен от радости; тут машины получаем, а тут одновременно семена получать надо.

Приехали за машинами пять человек на пяти лошадях. Все эти машины погрузили на две пароконные телеги, прицепили к трактору (он, мол, всё увезет), лошадей впрягли в сеялки. Мои помощники советовали не брать сразу все машины: «На кой черт теперь жнейки, не снег ты ими будешь косить, успеешь получить и увезти по хорошей дороге, а по такой плохой дороге пропадешь с этим грузом!»

Куда послушать такого разумного совета! Я настоял взять сразу все машины по трем причинам: первая — зав. складом настаивал, чтобы мы забрали все машины, чтобы они не мешали на складе; вторая — я не знал трактовой дороги, так как сюда приехал поездом; и третья, самая главная — интересно было прокатить по селам такую массу новых машин: звенит, гремит, лошади пугаются, собаки лают, люди выбегают из хат посмотреть: «Какой черт там едет?» А ты сидишь себе этак наверху всех машин и чувствуешь, как мурашки по телу бегают и волосы подымаются дыбом от восторга. Вот, мол, мы какие счастливые, не то что вы, обыкновенные смертные...

Уложили машины, увязали, поехали!

В полдень 10 марта мы выехали из Ставрополя. Загремели. Восторг, да и только! Но недолго пришлось радоваться. Не пришлось показать свой парад в селах. Ровно версту мы отъехали от места погрузки, как вдруг всей тяжестью машин и трактора застряли в снегу двухметровой глубины, под высокой железнодорожной насыпью. Стоп машины: ни взад, ни вперед.

— Так тебе и надо, черт ты этакий! — обругал меня один из компаньонов.

Сидит трактор брюхом на прикатанном снегу, гребут безрезультатно шпоры задних колес. Два часа мы бились. Тракторный груз на двух телегах вытащили лошадьми; трактор вылез сам, когда из-под него был выкопан снег. Только вечером тронулись мы из этого злосчастного места. В полночь мы въехали с «триумфом» в село Михайловское, в семи верстах от Ставрополя, предварительно посидев в нескольких местах, сильно заснеженных,и бросив в поле часть машин. Лошади еле дотащили себя до ночлега.

Два дня мы ехали пятьдесят верст до своего села. И хотя пришел один трактор, все же вся улица, где мы жили, высыпала посмотреть на это чудо техники. У меня восторга уже не было, мне было больно за разбросанные машины: все ли они будут целы и когда удастся их собрать?

И я работал не покладая рук. Я чувствовал себя на

высоте своего призвания. Своим упорным старанием я обогатил наше товарищество. Мы теперь легко могли выходить из нищенского положения, мы свободно могли подниматься в гору. Затруднял меня только вопрос об оценке труда, этого регулятора наших взаимоотношений. Дело перед нами новое, пример взять неоткуда, но оценку надо ввести до начала весенних работ, так как уже видно, что дружности в работе не будет. Кто будет перерабатывать, а кто недорабатывать.

Но природа и время не знают, что мы не готовы. Весна пришла, поле требовало труда. Работать приступили без оценки труда. 6 апреля первый день пахоты трактором.

3 апреля я устроил собрание в надежде разрешить вопрос об оценке труда; но собрание было неполное, разрешить этот вопрос отказались; отказались принять и артельный устав, предложенный мною; не решили и вопрос об обобществлении тягловой силы. Только и сделали, что исключили одного убегающего от долгов, приняв взамен гражданина села Донское, похвастявшегося, что может ездить на тракторе. Такие люди нам нужны, потому что своего тракториста нет, а нанять прошедшего курсы — не хватало средств, и новичок-член стал кое-как ездить и работать на тракторе, не требующем много знаний, а лишь старания и внимания — садись и работай.

С началом весенних полевых работ начались в организации и скандалы. Сначала из-за пустяка (при расценке труда), а потом понемногу стали прибавляться, и к середине весеннего сева скандалы дошли до полного напряжения. Откровенно говоря, против меня организовалась группа, желавшая свергнуть меня с «престола».

Всё это я видел, учитывал и приходил к заключению, что мне надо уйти с занимаемого поста. Но нельзя же уходить в разгар весеннего сева. Кончим сев, тогда, пожалуйста, садись и «царствуй». Однако конца сева не пришлось дожидаться — скандалы усилились. Ни за что ни про что две бабы вцепились друг другу в волосы и давай кататься в грязи возле колодца; насилу разняли; чуть не подрались мужчины. Тракторист ушел с трактора: надоело работать, и, уходя, крепко ругнул организацию «сволочами» за то, что ему мало дали жалованья и не дали документов, указывающих количество проработанных им дней.

Кончать сев яровых пришлось самому, так как из села в степь никто из наших членов не показывался. Остались мы небольшой кучкой в степи, как будто этой кучке и принадлежит всё богатство. Тракторист был нанят посторонний.

Пришло время прополки колосовых хлебов; пригласили членов на 4 июня — не пришли. Надо принять меры к сохранению от гибели кукурузы и подсолнуха, так как колосовые не сулили ничего хорошего. Все равно не идут наши ребята из села на прополку. На непрополотых участках пропашные культуры погибли на 25, 50 и 100 %, что отнесли за счет виновных.

Необходимость заставляет попутно сказать, что большинство членов смотрят на колхоз, как на дойную корову летом, когда корову доят, не произведя больших расходов на ее содержание,— всё старание прилагают, как бы побольше стянуть с колхоза. У некоторых чудаков даже ум не работает о хозяйстве, о труде, а только: получить, взять, стянуть...

— Яков Дементьич, давайте разделим несколько пудов хлеба, нигде не записывая.

Но каков же был их ужас и возмущение, когда даже весь фураж был оценен и выдавался в счет труда. Меня очень удивляло это детски-наивное рассуждение: как можно выдавать что-либо без записи? Другое дело, если бы труд вносился пропорционально едокам, а то ведь труд вносится далеко не поровну: кто «дурней», тот работает больше общественное дело, а кто хитрей, тот сумел заработать себе на стороне, а на общественное дело бросил ребятишек или никого, а потом лезет к трудовику с кулаками в лицо. И поставленные за организацией наблюдатели — колхозный и агропоселковый агрономы — соглашаются с такими бузотерами, тоже лезут трудовику в морду, если не кулаками, то своим мнением, а между тем видят, почему у нас идет недружная работа.

Как назло, чем энергичнее я работаю, тем больше восстанавливаю свою компанию против себя. Кто скандалом, кто злоупотреблением — стараются подставить мне ногу. Видно, на одной материальной основе нельзя построить разумную жизнь.

Даю казначею-старичку шестьдесят пять рублей на покупку хлеба членам колхоза, пока свой не обмолотим. Он подозвал еще двоих, купили хлеба на 47 рублей, а остальные ушли на магарыч. Спрашиваю отчет, чтобы по книгам провести, а казначей говорит: «Запиши, что все деньги пошли на хлеб». Так и не добился, чтобы казначей дал отчет; пришлось наводить справки, и в результате восемнадцать рублей было записано на счет магарычников. А когда эта тройка молола колхозное зерно на вальцовой мельнице,

то и там устроили скандал, который был отнесен в позор организации: все собранные от размолотого зерна отруби они высыпали под пол мельницы, чтобы вместо отрубей получить полностью по весу мукой, но преступление было открыто и чуть не задержали всю муку. Мне после говорили на мельнице: «За каким чертом ты доверяешь эти дела таким пьяницам?»

21 сентября делили прибыли. Трудно было решить безобидно для всех. Вот вам задача — решите правильно: работать не все работали, а обедать все хотят. Ни в коем случае нельзя сказать: раз ты не работал — то и не ешь. Если сделать так, то скорее ты сам откажешься от всего своего заработка, лишь бы оставили в покое.

Постановили так: хлеб выдавать паями. Семье, выработавшей сверх двадцати трудовых единиц, давать хлеба на десять рублей на каждого едока, а семье, не выработавшей 20 трудовых единиц,— хлеба на пять рублей на каждого едока. Дополнительно хлеб выдавать в счет будущего труда, но не превышая пятнадцати пудов на едока; фураж и деньги выдавать только в счет затраченного труда.

Вот тут-то и выявилась физиономия каждого: работать не хотел, а получить хотел наравне со всеми. Неудовлетворение же этих требований повело на самый грандиозный скандал. Этим скандалом как бы завершилась наша годовая деятельность. Все бывшие скандалы сложились в общую сумму. Один обижается: «Зерно не такое дали». Другой: «Мало выдали». Третий, получивший больше, чем заработал, стал требовать и фураж в счет будущих работ: «Отдали, мол, вершки, отдайте и корешки».

Затеявшие скандалы стали действовать извне. Прежде всего они каждый день стали посещать сельсовет и устно и письменно заявлять жалобы, жалобы. Этак хоть кому уши раструби — поверит, а тут, на их счастье, новенький колхозный агроном. Не выдержал агроном, 12 октября мчится на хутор, к нам в колхоз. Меня дома не застает. Посмотрел мою бухгалтерию, уехав, оставил мне записку: «Тов. Драгуновский, в понедельник 15 октября будьте добры явиться в президиум сельсовета с полным отчетом, письменным и устным. Ваша неявка повлечет за собой ответственность».

Прочел я эту записку и поразился: в уме ли агроном — требовать отчет в три дня?

Два понедельника приходил я в сельсовет, но президиум так и не состоялся; только 25 октября на кустовом

собрании агроном ярко показал свое отношение ко мне: «Забрались кулачье в колхоз, шкуру свою спасать. Почему ты не организовал чисто сектантский колхоз? Я бы знал тогда, что делать; а то вишь, какой хитрый черт, собрал шайку и сам между ними втиснулся, как волк среди овец. Погоди ж, я доберусь до вас, сделаю чистку. Таким людям не место в колхозе...»

Агроном бы сказал и еще что-либо «приятное» в этом духе, но в защиту меня сказал несколько слов представитель артели: «Сначала надо проверить, а потом угрожать, быть может, Драгуновский и не виноват».

Агроном угрожал ликвидацией колхоза и исключением из организации таких «шкурников», как я, и отдачей под суд. Дурное дело легко сделать. Посадят — сиди. Хотя даже не виновен. Да разве суду тяжело написать «виновен»? Оправдывайся тогда чем хочешь. Хоть само небо призывай в свидетели.

Я готовился быть выброшенным из организации голым как «негодный» и даже «вредный элемент». Я готовился сесть в тюрьму. Видно, уж такой мой жребий: за мой непосильный труд и долготерпение назначается мне тюремный отдых. Ничего мне не было жаль, только жаль было детей, без меня круглых сирот. Куда они преклонят голову? Кто их обласкает на чужой стороне? Но да мимо идет чаша сия: в тюрьму меня пока не посадят.

30 октября приехал агроном делать чистку организации от забравшихся в нее «кулаков-шкурников». Многих, должно быть, интересовало такое событие: все члены колхоза пришли из села. Забилось сердце сильнее: что-то будет — тюрьма или... Долго составлял агроном анкету обследования, на вопросы которой я давал ответы по своим записям. Подошел вопрос лично обо мне, ответ на который должно дать всё общее собрание.

Агроном обращается ко всему собранию: «Товарищи! Вы должны дать справедливую оценку деятельности Драгуновского, потому что я приехал делать чистку организации, и от этого зависит хорошая жизнь колхоза. Кулак ли Драгуновский, залезший в колхоз спасать свою шкуру, и какое он со своими братьями имеет засилье? Отвечайте не стесняясь».

Тишина. Никто ни полслова.

«Говорите, не бойтесь. Я должен сделать справедливую оценку»,— говорит агроном. Молчание. Агроном нервничает...

«Почему же молчите? Почему вы в сельсовете надоели со своими жалобами, а теперь не хотите говорить?»

Через силу начал один: «Я... я в сельсовете не жаловался, а подал только одно заявление, чтобы сделать ревизию Драгуновскому, так как он не сделал ни одного отчета. А теперь прошу исключить меня из колхоза».

Только теперь агроном увидел, что все эти жалобы — клевета и что моя деятельность «засилья» не предосудительна; что с такой компанией надо быть более строгим, чем был я. В заключение агроном сказал: «Зачем ты собрал такую гоп-компанию?!»

Я сын земли. Я люблю землю и труд на ней, и преступление сделает тот, кто лишит меня этого права; и если бы даже предположить, что меня исключили, лишили меня земли, все равно я в другом месте вцеплюсь в землю и приложу всё старание, чтобы пустить в ней корни. Хотя даже земля иногда плохо вознаграждает за труд, но земля не оттолкнула меня от себя.

Я трудовик старого закала, люблю работать физически, потому что физическая работа оздоровляет и мой организм, и мой ум. Физический труд — это необходимое условие, закон природы для каждого человека.

Но удивительно, почему я сделал преступление, применив закон природы. За мой неутомимый труд на благо колхоза один агроном назвал меня «кулаком и политически подозрительным»; другой агроном назвал меня тоже «кулаком, залезшим в колхоз шкуру спасать». Своим колхозникам тоже не угодил своим трудом. Невольно делаешь вывод: неужели совершаешь преступление, когда много трудишься?..

Если бы пришлось кому, со здравым смыслом, посмотреть со стороны — не поверхностно, как агрономы-няньки, а глубоко проникнуть, понять, разумно взвесить, то он увидел бы, как же мало людей, интересующихся общественной жизнью, постановкой хорошего хозяйства, на которых можно положиться, доверить, поручить,— тот изумился бы моему терпению.

Такова была пробная работа в организации в прошлом 28 году, но не должно быть таковой в будущем. Пройденная практика говорит за то, что надо улучшить дело, и новый лозунг «Повысить урожайность!» требует поставить дело лучше. Посеянное озимое по чистому пару и пропашным и подготовленное зяблевое поле говорит уже за улучшение дела: за [illegible]вышение урожайности, за улучшение хозяйства

Для улучшения хозяйства и повышения урожайности мною намечены еще следующие планы. Я, как северный житель, любитель лесов, хочу изменить безбрежную степь; я хочу сделать лесонасаждение вокруг всего нашего участка — аллеи в два ряда, а с восточной стороны, более ветреной — в четыре ряда, в виде защитной полосы. Для этого у нас уже вспахано под зябь вокруг участка больше двух гектаров и окружным лесничеством отпускаются саженцы из питомника — гледичь и ясень, тридцать штук бесплатно.

Дело как будто пустячное для степняка и в первые годы не может повлиять на улучшение урожая. Но ведь мы готовимся вообще к борьбе за урожай не только на 29 и 30 годы, но и в дальнейшем, и, по моему мнению, будь бы сделано такое лесонасаждение всеми хуторами и колхозами, то сыграло бы огромную роль в повышении урожайности в нашей суровой степи через пятьдесят лет.

Для повышения урожайности надо восстановить пруды. Когда здесь были пруды, тогда был и урожай лучше; пруды разрушены — и урожай понизился. Помню, я как-то писал в окружную газету о восстановлении одного разрушенного пруда, где затрат требуется мало. Мне уплатили за эту заметку десять копеек, да и только. Мне не гривенник был нужен, а чтобы мелиораторы обратили на это внимание и восстановили пруд.

Самую главную роль в повышении урожайности сыграл бы единый сельхозналог с ценности земли, отменив налог подоходный. Все люди в селах или городах, пользующиеся землей, должны платить ренту с ценности земли, с той площади, какую занимают, независимо от того, какое вносят улучшение и извлекают доход. Этим самым мы поощрили бы труд культурника и желающего работать. Подоходный же налог делает как раз обратное: культурнику не дает больше развернуть свои знания и полностью применить свои силы, почему и гибнет много богатств и в земле, и в людях, а эти богатства нам необходимы в поднятии урожайности.

Всех нетрудоспособных в организации учесть: детей до двенадцати лет, стариков свыше шестидесяти лет, старух свыше пятидесяти пяти лет, и за их долю земли, идущую в общественный севооборот, положить аренду — третью часть урожая, и тем самым обеспечить существование нетрудоспособных.

Дети от двенадцати лет до шестнадцати и все трудоспособные женщины до пятидесяти пяти лет должны полу-

чить для своего существования за свою долю земли шестую часть урожая, т. е. половину пайка нетрудоспособных, а для своего обеспечения они должны будут работать на общественных работах. Болезнь лица из этой категории во время работ дает право на получение полного пайка нетрудоспособных, т. е. третью часть урожая за свою долю земли.

Все мужчины от 16 до 60 лет, трудоспособные, никакого пайка за землю не получают, а для своего существования они должны работать на общественных работах.

Вот та погонялка, которая должна заставить работать. Не хочешь работать — не будешь получать; мало работал — мало получишь; много работал — много получишь. Если женщины и подростки, могущие работать, не будут работать, они не получают пайка за землю. Если родители, могущие работать, не будут работать, их дети не должны получать пайка за землю.

Надо понять, что колхоз не дойная корова, которую летом доят не кормивши, и лодыри — не стрекозы, слетевшиеся песни петь всё лето, а колхоз — трудовая организация муравьев, обеспечивающих свое существование.

Такое предложение о труде я вносил в прошлом году, но оно было отвергнуто, и получилась большая глупость: не работавший лентяй лез с кулаками в лицо труженику. В будущем году, при новом положении, лентяй будет тихим. Ведь если здраво рассудить, то мы живем только трудом; а кто живет и не трудится, тот должен знать, что кто-то трудится через силу. Природа создала закон жизни и создала закон труда; стало быть, кто не трудится, тот преступник закона, тот преступник природы. Такой закон годится для каждого человека, живущего на планете Земля, в том числе годится и для каждого члена нашего колхоза.

Вот вам проделанное, подготовленное, устроенное хозяйство. Вот вам участок земли, вот вам сельскохозяйственные машины, вот вам посев и подготовленная зябь, семена для ярового посева, план на будущий год.

Берите, руководите, распоряжайтесь. Беритесь за дело дружно, живите мирно, не забывайте Бога, Высшее Сознание, этот источник жизни.

Мне же позвольте отдохнуть, успокоиться, поправить свое разрушенное здоровье и подумать о душе.

За эти пять лет я много пережил, испытал, измучился, сделался врагом для многих, чего не должно быть; а это всё только потому, что я забыл самое главное — забыл Бога.

Итак, прошу освободить меня от занимаемой должности руководителя и счетовода. Позвольте мне быть рядовым членом. Теперь и без моего руководства можно повести хозяйство образцово. Всё тяжелое сделано, хозяйство поставлено на рельсы, и теперь легко можно двинуть вперед и покатить как по маслу.

За всё, кому я чем насолил,— простите и не поминайте лихом бывшего вашего нервного организатора и руководителя Якова Драгуновского.

6 февраля 1929 года.

1930—1931

Я. Д. ДРАГУНОВСКИЙ — В. Г. ЧЕРТКОВУ

Дорогой друг Владимир Григорьевич! Прежде чем получить Ваше письмо № 3 за апрель месяц, извещающее о Вашем обращении к правительству об отведении толстовцам на окраине Республики земли и что правительство на это согласилось, указав на Алтай Кузнецкого района в Сибири,— я был уже знаком с этим положением от Бориса Мазурина из коммуны «Жизнь и труд». На это извещение Мазурина я ответил согласием присоединиться к переселяющимся друзьям; но вторым письмом Мазурин меня предупреждает не торопиться, а жить пока, где придется...

Ваше письмо больше разжигает у меня желание не откладывать дела в долгий ящик, а сейчас же повести серьезную переписку о моем присоединении к коммуне «Жизнь и труд», а потом совместно ехать в Сибирь.

После Вашего письма у меня созрел следующий план: осенью, сняв урожай, продав ненужные вещи, ехать нам в Москву, в коммуну «Жизнь и труд». Но только как это сделать, чтобы, проработав здесь лето, свезти туда продуктов, чтобы хватило на год для моего семейства, чтобы не стать ничьим бременем. Если здесь у меня не насобирается из урожая нисколько хлеба, то можно ли будет там заработать и купить хлеба?

Не знаю, насобираю ли средств на дорогу? Ведь вот какое несчастье: седьмой год здесь живем, а никак не выкарабкаемся из плохого материального положения. Шутка ли сказать: у меня на семью в шесть душ имеется посева всех культур тринадцать десятин, а у меня лежит на сердце забота, насобираю ли хлеба на год для своей семьи? Если в ско-

ром времени не пройдет дождь, то ничего не уродит, как не родило все шесть прошлых лет.

Словом, с материальным положением в коммуне как-нибудь надо уладить, но только непременно устроить так, чтобы меня с семьей в шесть душ приняли, чтобы я мог поехать в рабочей бригаде возводить постройки на новом месте.

Относительно моего желания жить совместно с друзьями я наперед хвастаться ничем не могу, разве только своим сильным желанием присоединиться к единомышленникам во что бы то ни стало, и для полного сведения о моем стремлении к общественной жизни я прилагаю мой доклад по организации и моем пятилетнем страдании при устройстве общественного хозяйства из ничего, с людьми разных взглядов и мировоззрений. Своим упорством и долготерпением я создал хорошее хозяйство, но все же не выдержал и еще в прошлом году ушел из созданного мною колхоза, оставив свое рожденное детище благоустроенным.

Моему уходу из моего же колхоза причин много, что Вы, читая мой доклад, увидите; но главная причина (в докладе не указана) — это в связи с гонением на сектантские колхозы; в связи с разорением благоустроенных хозяйств и арестами их руководителей.

Я увидал, что и мне за мой непосильный и самоотверженный труд грозит тюрьма, только за то, что имею свои религиозные убеждения.

Еще причиной моего бегства из колхоза был страх перед военизацией всех колхозов. Я ужаснулся, когда прочитал весь номер журнала «Коллективист» за февраль 1929 года, издаваемый центром. Весь номер напичкан военщиной, ненужной в колхозе. Советуется устраивать в каждом колхозе военные уголки, приучать всех колхозников к меткой стрельбе, даже женщин приучать к военному делу; брать пример с существующих уже военных уголков в колхозах, и в заключение журнал говорит: «Колхозы, все как один, должны встать на защиту Советского Союза в случае нападения врага».

Если я не признаю и не имею никаких врагов, если я раньше отказался от военной службы и от всякого участия в насилии и в военщине, за что и в тюрьме сидел, тем не менее, находясь в колхозе, я должен чувствовать себя военнообязанным, и в случае если власть имущие скажут: «Вот это враг, убей его, задуши, перегрызи ему горло»,— и я как активный колхозник, как военнообязанный должен буду выполнить все их приказания. Этот журнал открыл мне глаза,

что, находясь в колхозе, я сижу не в своих санях. Я ясно понял, что с моими убеждениями спасение вне колхоза, и потому нет ничего удивительного, что я, подхватившш остаток моих пожиток, давай Бог ноги бежать из колхоза.

Год прожил я, выйдя из колхоза, при очень плохом материальном положении, но чувствую себя бодро: я не мобилизован в палачи.

Проходившая сплошная коллективизация мало меня коснулась, разве только выкриками некоторых неразумных людей: «Мы вас разорим! Мы вас на Соловки сошлем! Мы вас сотрем с лица земли!»

Некоторые же «активисты» боялись иметь нас в колхозе, как чумы колхозной, как сектантской заразы, могущей разрушить основы колхозного насилия.

Ничто меня не пугало, я твердо решил не идти в колхоз, строящийся насилием, в колхоз, который разоряет жизнь людей, так называемых «кулаков», у которых отбирали всё имущество в колхоз, не оставляя даже детям «кулацким» куска хлеба на питание и выбрасывая из хат зимой маленьких, раздетых «кулацких» детишек. Разве можно быть участником этого грабежа, этого кошмара и потом радоваться, что колхоз богатеет от разорения других. Быть в таком колхозе, быть участником этого грабежа, быть палачом! Боже упаси, я еще пока не ошалел — творить такие дела.

После постановления ЦК партии и после статьи Сталина как будто несколько полегчало, но все же продолжают угрожать: «Все равно единоличникам жить не дадим, все равно загоним в колхоз».

Близкие знакомые сообщают мне: «Берегитесь, Яков Дементьевич, Вы давно стоите на заметке у власти. Очень жалеют, что не арестовали Вас за то, что Вы читали собравшимся крестьянам постановление ЦК партии о добровольном вступлении в колхоз».

На одном собрании председатель исполкома бросил суровый упрек по адресу единоличников якобы за злостный срыв плана посевной кампании. Я выступил в защиту справедливости, что не в этом коренится зло срыва посевной кампании, что якобы теперь единоличники злостно решили не сеять, а зло срыва устроено еще осенью, когда бригады с музыкой и танцами выгребали у тружеников хлеб, и что некоторых крестьян за свой труд переводили в кулаки. Вот боясь попасть в «кулаки», боясь за свой труд быть виновными, крестьяне перестают работать, чтобы у них не

было ничего лишнего, могущего вызвать незаслуженное звание «кулак»! Вот где коренится срыв посевной.

За мое такое справедливое выступление председатель готов был сейчас же арестовать меня. В своем заключительном слове он с пеной у рта, весь трясясь, кричал на меня, что это, мол, и кулацкий подпевала, и контрреволюционер, и в заключение просит собрание «дать жестокий отпор моей клевете». Но собрание отнеслось молчанием к его выкрикам, тогда как моим справедливым доказательствам аплодировало. Теперь мне говорят: «Берегитесь, Яков Дементьевич, теперь попадешь в тюрьму ни за что, против тебя страшно обозлились; ведь ты был активный коллективист, а теперь упорно не идешь в колхоз; твой выход из колхоза считается агитацией против коллективизации».

Сумма таких обстоятельств заставила меня не сегодня-завтра бежать отсюда. Еще в 24 году, попав здесь, на Кавказе, в плохое материальное положение, я возмечтал об организации колонии из друзей и единомышленников, но твердой почвы для этого не было, я вел лишь с одним другом активную переписку, а поехать подыскать местность, создать организацию — мне не удалось, и моя идея такой организации осталась только мечтой, до сего времени не забываемой.

Вот почему я и не хочу ожидать, когда эти две организации переедут устраиваться и заживут, а потом к готовому пирогу нас позовут. Пока есть небольшое здоровье, я хочу и могу быть полезным столяром и плотником при строительстве помещений на новом месте, а потому и не откажите мне в приеме в члены коммуны «Жизнь и труд» и помогите мне советом, что мне делать в данное время: наверное, ожидать, пока ходоки утвердят участок за собой; затем, наверное, придется здесь снять урожай, если только он не погибнет совсем, а потом к осени перебраться с семьей и вещами к Вам в Москву.

Повторяю: как бы это так устроить, чтобы я своим приездом не стал ничьим бременем.

С дружеским приветом и любовью Яков Драгуновский.
26 мая 1930 года. Донское, Ставропольского округа.

Б. В. МАЗУРИН — Я. Д. ДРАГУНОВСКОМУ

Письмо первое

Коммуна «Жизнь и труд». Уважаемый Яков Дементьевич! Хотя лично мы с вами не знакомы, но я о вас немного знаю, так как у нас есть некоторые общие знакомые. Вас я один раз видел и слышал в Газетном, когда вы рассказывали о своих мучениях и ваших братьев за правду. Еще слышал о вас от Елизара Ивановича о неудачной попытке вашей жить в какой-то артели на юге России. Мне было очень жаль об этом слышать, так мало людей, желающих отдать свои силы на общую жизнь и общий труд,— и те попадают не туда, куда надо.

Так дело вот в чем, Яков Дементьевич; я пишу вам из коммуны «Жизнь и труд», верстах в 10—12 от Москвы. Организовалась она в те годы, когда много коммун организовывалось и много людей шло в коммуны; из ничего мы создали хозяйство, довольно крепкое, во всяком случае, жить можно безбедно, но беда в том, что жить становится почти некому, кто идет служить, кто учиться, и вся тяжесть труда ложится на нас, маленькую кучку людей, и мы ищем себе товарищей на жизнь и на труд, таких, которые никуда бы больше не стремились, которых не манили бы города и службы и которых удовлетворяла бы мирная, честная трудовая жизнь.

В эту субботу, 28 января, я был на собрании в Газетном и узнал от Лизы Щенниковой, что она получила от вас письмо и хочет писать вам и приглашает вас жить в Перловку. Я пришел домой и сказал Клементию Красковскому (он живет у нас), и мы решили тоже написать вам, чтобы узнать ваши намерения насчет дальнейшей жизни, и если вы думаете покидать Ставропольский округ, то пригласить вас жить к нам. Может быть, вы не думаете переезжать совсем, тогда сообщите нам об этом; а если же думаете, то, конечно, надо будет подробнее обо всем списаться, а еще лучше, если вы сами побываете у нас: тогда всё было бы ясно.

Наш почтовый адрес: Москва, Теплостанское почтовое агентство, с. Богородское, коммуна «Жизнь и труд».

С дружеским приветом. Борис Мазурин. 2 февраля 1928 года.

Письмо второе

Дорогой Яков Дементьевич! Получил ваш ответ; вполне понимаю ваше положение и думаю, что вам виднее, как поступать. Если у вас дело пойдет на худой конец, то мы всегда будем вам рады (если сами будем живы). Долго вам не отвечал и пишу мало, потому что нет ни одной минуты свободной. Строим сейчас дом — пятнадцать человек плотников. Надо доставлять материал, а народу в коммуне маловато. Пока всего хорошего. Если у вас есть время, то пишите нам о своей жизни, будем рады поддерживать дружескую связь. Адрес: Москва, Теплый Стан, коммуна «Жизнь и труд». *22 марта 1928 года. Борис. Мазурин.*

Письмо третье

Дорогой Яков Дементьевич! Давно получил твое второе письмо, но ответить собрался только сейчас, да и то только воспользовавшись случаем своего ночного дежурства, потому что я так же, как и ты, вот уже пять лет живя в коммуне, не имею свободного времени, чтобы как следует отдохнуть, почитать, ответить на письма. Правда, последний год как будто становится свободнее. В моем положении в коммуне так много общего с твоим; да такова, видно, доля всех людей, которые бескорыстно и горячо отдают свои силы на общее дело. Многие люди не могут еще привыкнуть, придя в коммуну, к своим родным делам и работают спустя рукава; а все заботы сваливают на других людей, стараются найти корыстные побуждения или же просто желание властвовать и распоряжаться. Мне, как одному из организаторов нашей коммуны, приходилось за борьбу с паразитством и халатностью в коммуне слышать и в глаза и за глаза такие названия, как «хозяин» (в обидном для коммунара смысле), «диктатор» и даже «милиционер». Ну что же, я думаю, смущаться этим не надо, хотя крови это портит очень много. Но мое положение все-таки, я думаю, немного легче твоего, у меня все-таки есть куда опереться, два-три человека, близких человека, рядом, плечом к плечу — помощь большая.

Ты пишешь, что жаль, что не удалось устроиться среди друзей. Но знаешь, что то, что тяжело тебе переносить от людей, может быть, далеких,— тем тяжелее переносить от людей, которых хочешь считать за близких и ошибаешься, а это, к сожалению, мне пришлось за эти пять лет испытать

очень сильно. Но все-таки близость такого центра, как Москва и Вегетарианское общество, дает очень много; сходишь на беседу, послушаешь милых, сильных духом стариков — Ивана Ивановича Горбунова-Посадова, Владимира Григорьевича Черткова, Николая Николаевича Гусева и других, встретишься и поговоришь с молодежью и стряхнешь немного пыль повседневных забот, осевшую на душу.

Ты пишешь о детях, но что мы можем дать им, кроме личного примера жизни? Я думаю, что вся наша задача и всё воспитание — это самим надо жить как можно лучше, а что западет детям в душу и что из них получится, это не в нашей воле. У нас в коммуне тоже есть человек семь детишек, от года до двенадцати лет. Они видят старших за постоянным трудом, среди природы и животных. Но есть еще много других сторон, которые мешают правильному развитию детской души, и одно — это семейное разногласие: муж тянет на землю, к свободе, жена к городу, к рабству. Так что, Яков Дементьевич, если у тебя тяжело, то и у нас есть много своих тяжестей, так что наше дело, наверное, не в том, чтобы их не было, а в том, чтобы правильно к ним относиться. Я сам грешу тем же, что слишком мало уделяю душевной работе, а всё расходуюсь на внешнее, на житейские мелочи, и слишком мало остается на долю главного — жить по-Божьи, а ведь придет время, станешь лицом к смерти и, пожалуй, ужаснешься, на что же ушла жизнь, куда ушли силы, как много их отдано на пустое и как мало на самое нужное — для души. Я пишу это, но боюсь, как бы ты не понял меня неправильно. Я не хочу сказать, что надо менее горячо работать, что это ни к чему; нет, я целиком остаюсь за упорный, старательный, нужный земельный труд, я не отрекаюсь от попыток устройства новых внешних форм жизни.

Я знаю, как трудно достичь душевного равновесия, но добиваться его нам необходимо, без этого жить будет слишком тяжело, а этого не должно быть, недаром же учил Лев Толстой, что «жизнь благо». Так нам нужно добиваться этого блага жизни — в этом жизнь.

Немного о нашем хозяйстве: мы живем верстах в 10—12 от Москвы, у нас 50 десятин земли, из нее — половина пашни. Основа хозяйства — коровы и молоко, поля наши приспособлены для нужд скотоводства: травы (клевер), вика (луг природный), корнеплоды (свекла, турнепс, картофель), зерновые (пшеница, рожь). Коров у нас сейчас девятнадцать, лошадей... Есть пасека в зачатке, ульев де-

сять, десятина старого сада, думаем закладывать новый сад. Начали в этом году строить дом для жилья (старый — очень ветхий).

Вообще в хозяйственном отношении жить можно, конечно, при наших скромных потребностях.

Еще мне хочется сказать тебе (хотя я не говорил с остальными коммунарами, но я думаю, никто не будет против, тем более что Клементий Красковский знает тебя лично), что в случае неудачи там у нас найдется для тебя угол и место в коммуне...

У меня есть мечта, что, может быть, усилиями ряда лет удастся собрать в нашей коммуне кучку людей искренних, более или менее близких друг к другу по взглядам, не вздорных, трудолюбивых; я думаю, что тогда можно было бы наладить более нормальную жизнь, чем та, какая у нас идет сейчас.

Мне жаль, что лучшие силы так рассеяны и борются врозь, а иногда думается: что, может быть, это так и надо.

Ну, пока кончаю и буду ждать ответа. Адрес: Москва, Теплый Стан, п/о коммуна «Жизнь и труд», *Борису Васильевичу Мазурину.*

Письмо четвертое

Дорогой друг Яков Дементьевич! Получил твое письмо, а также читал твое письмо Льву Семеновичу (он сейчас живет у нас). Что мне отвечать на твои жгучие вопросы?

У меня сейчас голова идет кругом. О Перловке ты уже знаешь, но там они отчасти были и сами виноваты в своем разложении изнутри, но вот во вчерашней газете напечатано постановление Моссовета о ликвидации коммуны имени Льва Толстого (Иерусалим); там другой вины нет, кроме той, что люди (коммунары) не захотели принять на совместное жительство людей незнакомых и другого направления мысли. Против нас уже начались действия со стороны волостного И. К.-а, и надежды уцелеть у нас нет. Многие из иерусалимцев и из нас не имеют куда пойти; имущество вряд ли дадут нам разделить. Тяжелый труд многих лет идет насмарку. Так что положение трудное, но Бог даст — всё к лучшему. Мы никто не унываем.

Прости, пожалуйста, что мало пишу, голова не варит, может быть, потом, когда освободят нас от коров и прочих хозяйственных забот, будет побольше времени, тогда напишу больше. Как в вашей местности, есть ли возможность

получить землю в надел; есть ли возможность там жить; дорого ли станет построить маленький домик; дорого ли стоит лошадь, корова? Сообщи, пожалуйста, мне эти сведения: хорошо иметь в виду различные возможности на случай переселения. Желаю всего хорошего и светлого.

Борис Мазурин. Москва, Теплый Стан, коммуна «Жизнь и труд». 8 апреля 1929 года.

Письмо пятое

Дорогой Яков Дементьевич! Получил твое письмо и спешу ответить. Я очень рад за твою готовность и стремление к объединению, но спешу предупредить: не торопись и не предпринимай никаких шагов, кроме обдумывания и связи с нами.

Дело в том, что мы очень добивались каких-либо гарантий и специального постановления высших органов о том, что нас на новом месте не будут тревожить, *но мы этого не добились*. Нам сказали устно, что «таких исключений для вас мы делать не можем», но обещали, когда мы переселимся, дать инструкцию местному облисполкому насчет нас, но всё это голословные заявления и потому размах переселения надо сократить.

Мы думаем, что в первую очередь переселиться и взять эту задачу — быть пробным камнем, взяв на себя, как наша коммуна и коммуна наших друзей под Сталинградом.

Дело в том, что нашей коммуне все равно здесь не выдержать; ты и так удивляешься, как это мы уцелели, да и правда, что каким-то чудом. Напор был силен, у нас было взято всё: и штамп, и печать, и привели новых людей, назначили из них совет, а нас под суд и т. д., но мы не пали духом, не сдались сразу — и вот уцелели, хотя для труда время с 13 января и по сей день пропало. Еще только вчера Кассационный окружной суд подтвердил приговор народного суда, который приговорил меня и Клементия к двум годам высылки, а еще трех человек по году, но мы будем бороться дальше. Нас осудили как совет лже-коммуны, хотя мы разбили все обвинения суда, но дело решено было вне суда.

Сталинградская коммуна уцелела тоже только крайней твердостью, но потеряла всё имущество (забрали), но посев все-таки произвели на себе вручную и на двух клячах. Их теперь оставляют на месте, но они народ боевой и хотят пытать счастья вместе с нами.

Так вот, на днях, мы, трое ходоков, думаем выехать для выбора места или в Семиречье, или в Кузнецком районе (Алтай); когда будет что выяснено, сообщу тебе, а пока трудись спокойно; а в случае же невозможности оставаться на месте, пиши к нам в коммуну, может быть, можно будет присоединиться к нашей коммуне и сейчас.

Для начала не старайся привлекать людей к переселению, особенно тех, кто колеблется; для начала лучше немного, но покрепче. Когда мы съездим и выберем место, тогда будем посылать рабочую дружину: готовить кров к зиме и другие работы. Обо всем напишу, когда все будет пояснее. Ты тоже пиши, как у вас дела. Пиши на Клементия, на коммуну. Я, наверное, проезжу от одного до двух месяцев.

Всё это наши планы, их можно строить, но жить надо так, как приходится; если наши предположения выходят — хорошо, а если нет, так, значит, так и надо, огорчаться этим не будем. На всё воля Божия.

Прощай. Борис Мазурин. 29 апреля 1930 года.

Письмо шестое

Здравствуй, Яков Дементьевич! Недавно вернулись мы из нашего путешествия; проехали около 12 тысяч верст и все-таки нашли и закрепили участок земли для переселения в Кузнецком районе Сибири. Подробно описывать тебе его сейчас не стану (скоро будет разослано большое подробное письмо), но сообщу, что участок хотя и расположен на довольно высоких гривах, но обеспечен пашней, лугами, лесом и водой. Земля довольно хорошая. Можно найти заработок. Рядом река Томь. Когда ты получишь это письмо, то наши друзья (человек восемь, в том числе и Клементий Красковский) уже, наверно, выедут туда. Мы с этим делом очень спешим, чтобы захватить хоть немного сенокоса, а то покупать корма будет трудно. Я из твоих писем знаю о твоем желании переселиться, и вот думаю, как это лучше сделать. Если бы ты был налегке, без хозяйства, то всего лучше было бы ехать, не медля нисколько, к нам в коммуну, дела у нас теперь хватает (народу поубавится), а весной всей коммуной двинулись бы на новое место жительства, а тем временем дружина немного подготовила бы жилищ и тем облегчила переселение остальным; но у тебя есть хозяйство, гораздо лучше было бы его сохранить (по крайней мере, то, что ценно) и перебросить на новое место, но это уже придется

делать к весне, так как в зиму ехать туда, когда там ничего не подготовлено, довольно трудно, а главное, чтобы получить документы на льготный проезд и провоз имущества, понадобится здесь порядочно времени. Ведь нам нельзя ходить в Наркомзем и брать на каждого отдельную бумажку (желающих много), а придется списываться, составлять списки всех и тогда идти оформлять документы. Может быть, тебе нельзя пережить зиму, то можно приехать к нам, места и дела хватит, и мы были бы рады. Я чувствую, что пишу очень нескладно, но голова у меня сейчас как дубовая, надеюсь, что ты поймешь, каково положение и как тебе лучше сделать.

Одежонка на новые места тоже нужна потеплее, зимы довольно крепкие. Лето достаточно теплое, сеют, главным образом, пшеницу яровую, рожь озимую, овес, ячмень, просо, растет всякая огородина; говорят, даже можно выращивать арбузы и дыни. Садов нет, но предполагаем, что можно разводить сибирские сорта. Дождей бывает достаточно, засухи не бывает. Места очень красивые: по долинам небольших гор растут хвойные и лиственные деревья — береза, осина, сосна, пихта и другие.

Хоть и жалковато нам бросать обжитое место и свои труды, вложенные в землю, но думаем попытать счастья на новом месте. Жить там будет можно, но трудно первое время корни пустить. Буду ждать от тебя скорого ответа. *Борис Мазурин. 25 июля 1930 года.*

Документы

1.

«Настоящим Совет коммуны «Жизнь и труд» удостоверяет, что гр. Драгуновский Яков Дементьевич со всем своим семейством принят в члены с.-х. коммуны «Жизнь и труд» Московской области, которая переселяется в Кузнецкий район Сибкрая, согласно постановлению Президиума ВЦИК от 28 февраля 1930 года, протокол № 41.

На основании сего предлагается не препятствовать отъезду тов. Драгуновского, а также не задерживать ему расчет.

Председатель Совета коммуны Б. Мазурин. 30 января 1931 года».

2.

«Сев.-Кавказскому Крайземуправлению РИК.

Драгуновскому Якову Дементьевичу.

На основании распоряжения ВЦИК без задержки выдайте через подлежащие райзо указанным единомышленникам Л. Толстого переселенческие документы с правом на льготный проезд по ж.-д. на общих основаниях новым переселенцам до ст. Кузнецк Томской ж. д., переселяющимся для пополнения толстовских коммун на участки Угольный, Осиновский и Курейный Кузнецкого района Зап.-Сиб. края.

В случае необходимости снабдите райзо бланками переселенческих билетов и одновременно поставьте в известность, что срок переселения определен до 1 января 1932 года, что кулацкие элементы и лишенные избирательных прав не подлежат переселению и снабжению льготными переселенческими билетами. Отправляющиеся должны по возможности погрузиться группами.

Член коллегии НКЗ РСФСР (Мурза-Галиев).

Секретарь В. Шершенев. 17 марта 1931 года».

1931—1935

МОЯ ЖИЗНЬ

Конспективное изложение

Красивые горы. Река Томь. Друзья толстовцы. 29 сентября я в тайге. Столярничаю с другими коммунарами, так как в коммуне своего хлеба мало, да нужно и зарабатывать средства для коммуны. Лечу свою болезнь. По воскресеньям приезжаю к детям в коммуну. В тайге по вечерам беседы в бараке. Недовольство большой организацией. Из коммуны выделяется артель, примыкаю к ней. Сын остается в коммуне, тоже столярничает в тайге, зарабатывает для коммуны.

⟨запись 1932 года⟩

Е. И. ПЫРИКОВ — Я. Д. ДРАГУНОВСКОМУ

Москва, 13 мая 1932 года. Дорогой Яков Дементьевич!

Давно собираюсь написать тебе, да все как-то был занят, да к тому лентяй я большой писать, но ты меня за это прости, хотя и ты тоже по отношению ко мне в расчете. Хотелось мне с тобой повидаться в Москве, перед твоим отъездом на Алтай. Уже собрался поехать к тебе, а потом раздумал. Раздумал потому, что было тяжело не повидаться, но не легче и увидевшись, так как мне нечего было сказать тебе утешительного в твоем переезде, знал, сколько ты перенес трудностей в артелях, а здесь снова лишения. Тем более не хотелось подрывать твой энтузиазм, когда ты сделал уже полпути. Я думал и думаю, что ты, со своим жизненным опытом, для коммуны будешь очень нужен, они тебя оценят. Я сам чуть вперед тебя не уехал на Алтай, да побоялся своего плохого характера. Я в артелях и коммунах люблю быть свободным в своих мнениях. Подумал, что ехать за несколько тысяч верст для того, чтобы переругаться — не стоит, а что ругаться пришлось бы — факт, так как на месте не обсудили серьезно.

И вот теперь пишу настоящие строки из своего глубокого уважения к вам, к людям, стремящимся на деле осуществить хорошую, трудовую жизнь на земле, занимаясь естественным для человека земельным трудом. Я сам старался основаться на земле в трудовых колониях, но как скоро начинали работать вместе, то появлялись трения между собой, которые вели к тому, что люди теряли не только способность работать вместе, но и те человеческие добрые отношения, которые были у нас до совместной жизни на земле.

До отъезда наших друзей на Алтай я некоторым высказывал свои соображения о том, как нужно было бы селиться на Алтае. Примерно так: селись с теми и сотрудничай с той группой, с которой ты до известной степени подошел близко друг к другу. Или если ты сговорился не на духовных началах, а на чисто деловых, грубо говоря, на плане работ. Например, задались люди целью создать известный род хозяйства, воодушевились этой идеей, ну вот вам и группа. Для других, может, будет казаться, что они пустяками занимаются, а для них это до известной степени — любимое дело. А без любви к делу — это уже не дело.

Таким образом, вся ваша коммуна распалась бы на

множество групп и объединений, но огорчаться этим не следует, так как каждая группа или отдельный человек запустит свой жизненный плуг постольку, поскольку он может его вытянуть и не застопорить общее дело. Таким образом получился бы свободный труд отдельных группировок и личностей. Но при таком сожительстве не нужно забывать одного: раз ты хочешь быть свободен, то и сам не стесняй свободу других; раз ты не хочешь, чтобы твой труд шел куда-то, и чужого не захватывай. А под захватом чужого я понимаю не заработанный своим трудом доход (рента) с занятой вами земли. Вот эту ренту каждая группа или личность должны внести в общую кассу, которая должна существовать для содержания общественных, бытовых необходимых учреждений: школы, больницы, содержание стариков и т. п.

Собиранием ренты и расходованием её должен заведовать совет коммуны, выбранный всеми живущими на том участке, где это мероприятие проводится.

Далее мне кажется, что после ваших льготных лет как переселенцев с вас начнет государство брать налог на общих основаниях; вот здесь опять могут произойти трения, как внутри общины, так и с властями. Внутри общины из-за разных убеждений: одни будут говорить (да уж, кажется, есть такие), что я государство не признаю, а поэтому платить налог не желаю; а другие будут говорить, что как, мол, мы от государства получали, хотя бы пользовались железной дорогой при переселении и другими, а поэтому платить нужно. А со стороны власти (особенно местной) может произойти неправильное обложение в сторону большого налога, и у вас-то твердого основания дать справедливый отпор не будет. Вы только опять можете делать то, что обивать пороги ВЦИКа с голыми руками. А при введении у себя сбора ренты вы могли бы с твердыми данными явиться в тот же ВЦИК и сказать, «что мы и до вас (в льготно-переселенческие годы) всё, что нам принадлежало, ренту собирали и тратили на общественные нужды, а теперь на ваше усмотрение берите из этой ренты себе, но часть оставьте и на поддержание нашего общественного благоустройства». И для всех живущих было бы ясно, что если правительство берет часть ренты, то оно поступает справедливо, оставляя часть на бытовые нужды, если берет всю ренту, то, значит, оно не желает уделять на вашу культурную жизнь, и вы должны будете сами ее поддерживать, но опять-таки большой несправедливости власть не делает; если же она пойдет дальше

ренты, то вы вправе заявить, что вот, мол, рента (кесарево — кесарю), берите, это народное (так как вы представители его), но моим трудом разрешите распоряжаться мне самому. И мне кажется, что с властью, понятно, здесь, в Москве, можно будет сговориться, так как они поймут справедливость ваших доводов. Да притом по земельному обложению они ренту не добирают.

Но все, что я тебе пишу, это не ново, с этим был согласен и Лев Николаевич, который сам писал одобрительно про Генри Джорджа. Я лишь этим хотел подтвердить тебе мой взгляд на устройство хорошего, добрососедского сожительства на земле.

Я. Д. ДРАГУНОВСКИЙ — В. Е. БЕЛЕНКИНУ

Милый друг Влас Ефимович! Прости, что долго не писал тебе. Я теперь не знаю, с чего начать, чтобы познакомить тебя хоть вкратце со здешней жизнью. Я знаю, что тебе интересно знать, а мне хочется, как с другом, поделиться с тобой моими переживаниями. А потому решил описать тебе от начала здешней жизни моей и до сего дня.

Приехал я в Кузнецк 22 сентября 31 года. Неприветливо встретил нас грязный, холодный, только что начавший строиться город Кузнецк (теперь Сталинск). 24 сентября мы в коммуне. Поселок коммуны тоже только начал строиться, а люди всё приезжают и приезжают. Мало квартир, мало будет продуктов питания, а потому надо идти на производство. Артель плотников и столяров от коммуны уже работают в тайге, за 25 верст, куда и я должен буду поступить. С 29 сентября я работаю столяром в тайге восемь месяцев без выходных. До ухода в тайгу я четыре дня работал в коммуне, помогая рыть картофель. За эти четыре дня я сориентировался: увидел, как расположен поселок. В четверти километра от широкой реки Томь, быстро несущей в Ледовитый океан свои серебристые воды по дну, устланному крупной чистой галькой. Поселок расположен у подножия горы, на горах находится вся пахотная земля, а луга — крутые склоны гор. Земля очень мягкая, плодородна, но бурьяниста. На лугах трава растет пышно, но много бурьяну и папоротника, так что много сена идет в отброс. На склонах гор березовые и осиновые рощи. Взобравшись на вершину горы, открывается красивый вид на бугры, перелески, на широкое ровное плато возле Томи, на тайгу, густые заросли лозы, черемухи, калины. Плодовых деревьев здесь пока нет.

Черемуха здесь плодовое дерево, потом калина, черная смородина. Где-то в тайге есть малина, клубника, рябина и говорят, что верст за тридцать в тайге есть кедровые рощи с орехами, тоже пока недоступные нам: из-за спешной работы некогда расхаживать в лес по малину, мы остаемся пока довольны черемухой и калиной. Видно, через суровую зиму плодовые деревья пока еще не уживаются и не приспосабливаются северные сорта.

А зима действительно длинная, суровая, морозы доходят иногда до 60 градусов, средними же морозами считаются 30—35 градусов. Лето бывает короткое, теплое, иногда жаркое. С работами надо торопиться как весной, так и осенью. Весной в холод приходится пахать, сеять, а осенью торопиться с уборкой, а то морозы и ранняя зима сожрут труды. В общем, надо быть очень энергичным: лазить по крутым горам и торопиться с работой. Но вот что здесь замечательно: обилие солнца и плодородие почвы. Солнце здесь не скупится светить и летом и зимой и этим оно скрашивает суровость природы. Почва настолько плодородна, что стоит хорошо вовремя обработать и вовремя получить дождь — и урожаем обеспечен. Тягостны только крутые горы, по которым приходится работать. Только четыре природных богатства заставляют примириться с суровостью севера: животворящее солнце, хорошая плодородная почва, хорошая вода и хорошее отопление. Отапливаться можно дровами или углем за 16 рублей тонна. Угольная шахта в полкилометре от нашего поселка. Здесь все горы наполнены углем, стоит только прорыть гору в несколько метров — и достанешь уголь.

Вот таковы вкратце здешние богатства. И если бы у меня спросили, где легче прожить: в нашей деревне Драгуны или здесь, то, конечно, Алтайские отроги лучше смоленской бедной почвы.

Но меня это не притягивает здесь. Мне хочется юга, мне хочется тепла, мне хочется копаться в саду и выращивать плодовые деревья. Здешние плоды — калина, черемуха — не удовлетворяют меня. Не знаю, придется ли мне осуществить мою мечту — садоводство и райское плодовое питание. Ведь мне теперь не нужны обширные площади сельского хозяйства с обработкой лошадьми или даже машинами. Мне достаточно четверти гектара для обработки ручным способом. А потому юг, юг — моя болезненная мечта. Ни в коем случае я не соглашаюсь вечно жить здесь.

Даже в смысле плодоводства климат нашей Смолен-

ской губернии лучше здешнего. Но придется ли осуществить мое желание при теперешней коллективизации и казармщине? Я страшно боюсь казармы и подневольного труда, а это неизбежно в настоящее время.

Но поживем дальше — увидим, а сейчас заглянем в тайгу, в барак, где я живу и работаю зиму 31—32 года. Я не буду говорить о работе, так как она всюду одинакова, а скажу о моем знакомстве с друзьями и отношениях между собой. Работаем мы коммунально: совместно работаем, получаем паек, а весь заработок и иждивенческий паек идут в коммуну. Ни с кем из друзей я здесь близко не сошелся. Или я был слишком индивидуален, эгоистичен, или не было подходящего друга, но я остался одинок так же, как был одинок до приезда в общество друзей. Весь мой интерес всю зиму был в наблюдении, в слушании разговоров и в редком случае вмешательстве в беседу.

Я чувствовал себя малознающим, а особенно когда речь шла о коммуне, об отношении членов к коммуне и между собою и о неправильном ведении коммунального хозяйства. А такие разговоры были главной темой всей зимы. И нельзя сказать, что эти разговоры были напрасными. Неправильное отношение как руководителей, так и рядовых заставляло много думать и изливать в беседах.

В конце концов, эти беседы стали выливаться в пожелания: сделать реорганизацию коммунального хозяйства — иметь коммуну не одно целое в 350 разношерстных душ, а разбиться на группы, подобравшись в группах по духу, темпераменту, по влечению друг к другу.

При такой группировке будет целесообразнее и продуктивнее вести хозяйство и работать, и не будет тогда людей привилегированных и людей в более трудных условиях.

Но такой группировке не пришлось осуществиться, так как руководитель коммуны Мазурин и поддерживающие его воспротивились такому новшеству, а потому реформаторам пришлось ограничиться тем, что подобрали желающих и выделились из коммуны в самостоятельное хозяйство-артель. Мне поднесли список артели и спросили моего желания, присоединяюсь ли я к новой организации. Я подписался в артельном списке.

С наступлением весенних работ наша организация начинает пахать и сеять самостоятельно. Бедное положение нашей новой организации не позволяет всем членам принимать участие в полевых работах: нет семян, нет хлеба для питания, а поэтому я до 15 июня работаю на производстве в тайге.

Первый год своей жизни наша артель работает по-коммунальному, без всякого учета труда, с общей кухней. Лишь осенью было распределение продуктов по едокам, причем стали возникать споры: кто на кого переработал. Одиночки доказывают, что они переработали на семейных, а семейные доказывают, что их семьи не отставали в общественной работе. Стали возникать споры: чье имущество преобладает в хозяйстве артели, и имущие стали требовать, чтобы выделить их капитал — часть деньгами и часть имуществом, установить равный для всех имущественный артельный пай. Так и было установлено. А относительно равного участия в общественных работах: распределить работы по семьям, чтобы каждая семья отработала свои паевые единицы на каждой артельной работе. Овощи и картофель пусть засевает каждая семья самостоятельно.

Такой артельной установкой мы думали избежать упреков и споров. Особенно тяжело было мне, больному, почти инвалиду, думать, что на меня кто-то перерабатывает.

Здесь я должен заметить, что при выделении из коммуны мой сын Ваня не пошел со мной, помогать мне, инвалиду, а остался в коммуне. А потому по своему инвалидному адресу мне тяжело было думать, что моя семья находится на иждивении трудоспособных; мне очень хотелось установления нового внутреннего распорядка в артели, не коммунального, а работы по семьям. Пусть я буду пользоваться тем, что в силах сработать.

За лето 32 года наша артель стала на ноги: хлеба, продуктов и денег хватило на целый год. А потом зиму 32—33 года никто не думал идти на заработки.

С наступлением весны 33 года в нашу артель присоединилось еще столько же людей (было 35 человек, прибыло — 30). Часть коммунаров позавидовала нашей артели, а потому решили выделиться из коммуны и присоединиться к нам в артель. Мой сын Ваня перешел в это время в артель.

С расширением нашего хозяйства наш проект о работе семьями был нарушен, только три хозяйства остались верны этому проекту, а оставшиеся три четверти артели повели хозяйство коммунально. Мой сын Ваня хотя и перешел в артель, но не стал работать со мной, помогать мне, а стал работать в большой коммунальной группе. Он перетянул от меня к себе старшую дочь Клаву. Остались мы втроем: сам я, инвалид, мать-старушка и дочь Люба двенадцати лет.

⟨1933 год⟩

Четвертый год живу на Алтае, среди друзей. Из моих к тебе писем, до августа 33 года, ты знаешь до некоторой степени о нашей здешней жизни. Почти за полтора года я должен буду посвятить тебя в мою деятельность. Но чтобы картина была яснее, я начну с весны 33 года.

Почти весь 33 год я живу в артели, состав которой до семидесяти человек. Председатель артели Гурин Гриша. Внутренний распорядок артели был таков: большинство, 3/4 артели, под руководством Гриши решили вести хозяйство по образцу коммуны, а нас три хозяйства, четвертая часть, стали требовать артельного порядка: чтобы у нас были отдельные грядки с овощами, картофель, а всё остальное общее, артельное.

В половине октября выселяют отсюда, с Алтая, три больших группы наших друзей, не желающих регистрировать никаких уставов, отказывающихся от планов и уплаты налогов. Их увозят от нас севернее, верст за пятьсот, в район Кожевниково, в ста верстах от Томска, в захолустный район, где еще нет сплошной коллективизации. А здесь, вблизи Кузнецкстроя, район сплошной коллективизации, район, в котором нельзя жить таким грешникам, не признающим государственного насильственного распоряжения.

Мой Ваня, не говоря со мной ни слова, не предупредив даже Гурина, уехал с выселенцами в Кожевниково. Там он попал в хорошее общество Василия Матвеевича (из Сталинградской группы). Побыв там три месяца, он одумался. Пишет мне: «Плохо я сделал, что эти два года, живя на Алтае, не помогал тебе, больному отцу. Раскаиваюсь в своей вине, хочу возвратиться к своему отцу, как блудный сын. Будем жить вместе: я хочу искупить свою вину, помогая тебе, больному. Переселяться нам не надо никуда: ни на юг, ни в Кожевниково. Будем жить там, на Алтае, и заниматься ручным земледелием».

Мы с сыном делаемся единомышленниками, друзьями, ручниками-земледельцами. В январе 34 года Ваня возвратился из Кожевниково.

В эту зиму выделилась пятая группа из коммуны. Эти выделившиеся разбились на три лагеря: часть остается на Алтае, часть едет в Кожевниково, а часть на юг, в Среднюю Азию.

Активное участие принимаю и я во всех трех группах.

И в конце концов, я присоединяюсь к группе южан. В этой группе двадцать человек. Мои дети согласились ехать на юг, а я с матерью и младшей дочерью Любой остался ликвидировать остаток имущества, а потом в мае приеду и я.

24 марта уехали наши южане. Из моей семьи уехало три человека: Ваня, Клава и Ванина жена Фрося (Ваня женился перед отъездом на юг).

Когда я отправил детей на юг, то думал не позже мая быть там всей семьей вместе, но бедственное положение моих детей остановило меня, одернуло мою горячность. И хорошо, что я не поторопился распродаться. Какое-то предчувствие удерживало меня.

11 мая получаю с юга такое сообщение: «Оставайся на месте и сей яровые на Алтае».

14 мая я начал копать землю мотыгой, а 13-летняя дочь Люба боронует граблями. Потом я провожу уголком тяпки бороздки в 6—7 вершков друг от друга, в которые Люба сеет зерно и заравнивает бороздки колодочкой граблей.

Копаем и сеем, копаем и сеем. Надо спешить, а то ведь опоздали на целых полмесяца. У меня явилось желание посеять побольше, чтобы хватило продуктов для всей семьи и для моих южан, предполагающих вернуться. Месяц мы так работали, и оказалось посеянным: пшеницы 20 сотых га, проса 24 сотых га, гречихи — 13, картофеля — 33 и остальных культур — 6 соток. В общем, чуть ли не гектар.

Уж как мне понравилась работа — ручное земледелие! Несмотря на трудность, при моем здоровье, и я хорошо торопился, я не утомлялся, а радовался. А когда радуешься при работе, то и усталость проходит быстро. 5—6 соток, а если земля мягче, то и восемь соток я вскапывал за день. Вот если бы земля была вблизи поселка, тогда я один сумел бы наработать продуктов питания на семью в 5—6 человек, а то ведь посев в трех верстах от поселка коммуны и на очень крутых склонах.

Только закончили сев, как появились всходы первых посевов, надо пропалывать сорняки, надо рыхлить землю, надо помогать растению успешно вести борьбу за скорый рост.

Как приятно, радостно наблюдать за посевами, изучать жизнь растений, изучать, когда надо помогать растению. И физически, и духовно весь входишь, углубляешься в радостное дело. Но иногда бывают случаи, что бессилен помочь растению. Последний посев: просо, гречиху — я производил в совершенно сухую землю. Я надеялся, что скоро

пойдет дождь и посев дружно взойдет, но я ошибся. Весна была засушливая, и мой посев лежал, не всходивши, около месяца, и поздно взошедшее просо не успело созреть; августовский утренник приморозил его в цвету, и я не получил ни одного зерна. Остальные культуры дали следующий урожай: пшеница — 20 пудов, гречиха — 13, картофель — 450 пудов, просо погибло и остальные культуры не дали ничего. Если бы мороз не побил просо, то результат был бы хороший.

Как хорошо работать без помощи животных. Чувствуешь, что освободил невинное животное, освободился и сам от многой обузы по уходу за скотом. Когда работаешь на лошади, то часто приходится сердиться, нервничать и бить палкой или кнутом иногда по худым ребрам обессиленное животное, что недостойно звания вегетарианца и вообще недостойно звания доброго разумного человека.

Никогда не забыть мне горького случая, когда весной 33 года при посеве яровых, при выполнении заданного правительством плана, наши артельцы ужасно торопились, и, при малом количестве лошадей, трудно было справиться с большим планом, да по крутым горам. Бедных лошадей не только сильно замучили, но две лошади не выдержали чрезмерного труда и пали.

Что же после этого мы, вегетарианцы, толстовцы, представляем из себя? Мы не едим мяса из-за сострадания и любви к животным, считаем их своими друзьями и тут же на работе так жестоко бьем своих друзей палками и замучиваем до смерти. Ручное земледелие освобождает от этой жестокости, от этого греха. Но, однако, как печально, что мало есть сознательных и желающих этого людей. А все же как хорошо, что хоть единичные случаи, а все же имеют хороший пример для зарождающейся более человечной жизни.

В этот первый год моего опыта ручного земледелия хотя и не получилось полных результатов, по независящим от меня причинам, и хлеба будет маловато, но зато картошки вдоволь. Как будто плоховато, что для продажи нет никаких овощей, даже пришлось купить капусты 25 пудов, так как своей не было.

А тут власть имущие угрожают разорить нас и отвезти на принудительные работы, если только мы будем продолжать работать на этой, никому не нужной земле и не платить налогов. В этом году они уже пробовали некоторых ручников потрясти, меня пока миновала чаша сия.

Здесь, на Алтае, как бы самой властью определено

место для так называемых «толстовцев». Но очень жаль, что коммуна и артель вот уже два года выполняют почти все государственные задания.

Хорошо поступили высланные в Кожевниково. Но пусть бы лучше выселяли всех, чем мучиться от налогового ярма. Пусть выселенные потерпят гонения, чем усиливать мощь государства, этого органа насилия, приносящего вред для всех людей на земле.

Оставаясь здесь, среди плательщиков налогов, как будто имеешь больше силы поступать так, как велит совесть. Пусть даже всё отберут за неуплату налога. Но, поступая так, люди власти всё же считаются до некоторой степени, зная, что здесь нет политической подкладки, а по религиозным убеждениям люди не участвуют в государственном устройстве. А на новом месте — кто знает, за кого могут принять?

Другое преимущество оставаться здесь — что здесь есть люди, вышедшие из коммуны, мыслят об этом и начинают проводить в жизнь. В общем, чувствуется духовная поддержка, когда сам еще не совсем окреп.

Ручниками засеяно было порядочно. Когда был закончен сев яровых, то начали посещать власть имущие, чтобы обмерить и зарегистрировать посевы. Среди лета была целая комиссия из пяти человек; этим тоже отказали в помощи. Осенью несколько раз был председатель сельсовета, требовал, чтобы мы платили налоги — а то приедут сами заберут. «Ну что ж, приезжайте, забирайте, а мы сами платить не будем».

И, конечно, забрали, но не у всех.

Некоторые ручники испугались, что разорят, и один не только уплатил свой налог, но пошел даже понятым, когда у соседа-ручника взламывали замок и насильно брали налог.

Приезжающие представители власти благодарят коммуну за полное и своевременное выполнение хлебосдачи, денег, молока, сена. Но многих коммунаров коробит такая благодарность.

Даже Мазурин говорит: «По слабости своей выполняем, а то ведь не надо поддерживать никакое государство».

За отказ от лесозаготовок забрали лошадей: восемь в коммуне и две в артели; за отказ от мясозаготовок взяли часть лучших коров; за отказ от государственной школы отобрали в коммуне здание школы под государственную школу и будут разбирать дело о школе во ВЦИКе, а покуда коммунальные учителя учат детей где придется и по прош-

логодней программе, т. е. без вмешательства власти, без внушения детям классовости, милитаризма, военизации и проч.

Наши друзья здесь выполняют Моисеев закон: шесть дней работать, а в седьмой — воскресение, день отдыха и бесед. С трех часов дня пение, иногда и чтение, но редко беседа. Не особенно далеко продвигаемся. Пение входит в обрядовую форму, как и в православной церкви. Иной день часа четыре подряд поют и поют и ничего не читают, ни о чем не беседуют. Скучна такая обрядность. Но все же в коммуне есть люди живые, мыслящие, а вот в артели, пожалуй, ни одного. Артельцы иногда приходят на коммунальное собрание, посидят и уйдут: им некогда заниматься какой-то духовной работой, а то нечего будет есть, будешь без сапог и одежды, а потому что смотреть на какую-то идею, уж мы тогда успеем поговорить об идее, когда будем сыты, одеты и в тепле и посматривать, как бы не развалилось артельное хозяйство.

В материальном положении артельцы в настоящий год и день — богаты. И неужели же как закон — когда становится богат человек или организация, то становится жадней? В прошлом году артельцы были не богаты и были мягче, а теперь разбогатели и огрубели.

Я инвалид, но не завидую такому богатству и такому жалкому душевному состоянию. Хотя и скудно питаемся, хлеба мало, но зато картошка наполняет живот, мускулы, кровь. С картошкой жить можно. Ирландцы живут почти одной картошкой. Питаясь картошкой, жить можно, даже и мыслить можно. При этом никому не завидуя. Здоровье мое от картошки нельзя назвать нормальным, но и отчаиваться не думаю. Нога болит иногда так сильно, даже работать мешает. Но ничего, я веду упорную борьбу против болезни. Голоданием и недоеданием я облегчаю боль и думаю этим совсем изгнать недуг. В первом полугодии 33 года я пережил 75 голодных дней; в феврале 34 года голодал двадцать дней и в июле восемь дней, и часто голодаю один раз в неделю. Теперь я питался два месяца, кушая по одному разу на день, а в данное время опять голодаю.

Болезнь ноги заставляет делать над собой всевозможные опыты и, пожалуй, добьюсь результатов: слишком укоренившаяся болезнь уступит место благородному составу крови.

Некоторые удивляются, что я такой больной наработал продуктов питания. Сейчас я в близких, дружеских отно-

шениях с духовным монистом Павлом Леонтьевичем Малородом. Знакомимся с философским пониманием П. П. Николаева о духовном монизме. Исследуем наше сознание, уясняем смысл нашей жизни. И как хорошо и радостно работать в этом направлении.

За три года жизни на Алтае я увидал, что и здесь я ошибался. Куда бы я ни бегал, а от себя не мог убежать; без духовного усилия разумная жизнь сама собою не устроится.

⟨1935 год⟩

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ

34 год вышел для меня разорительным в материальном отношении. Мать уехала от меня на родину, считая меня обанкротившимся и не надеясь больше на лучшее питание ее больного организма. Ваня, Клава и Фрося возвратились из Средней Азии.

Отобрание властями у меня всего — всех вещей и продуктов — меня не испугало, но дети испугались голода и опять вступили в коммуну; одна Люба осталась со мной. Весной мне был преподнесен план посева в 3,5 гектара и сдача государству 74 пудов зерна и 35 пудов картофеля. Я отказался, и тогда у меня забрали весь урожай и все вещи. Люба тоже испугалась, что есть будет нечего, и тоже вступила в коммуну.

Я не испугался этого разорения. Весной написал рассуждение против военного налога, а 10 ноября стихотворение. Я ожидал, что за налог заберут самого, но этого не случилось. 29 декабря было два представителя власти: один из края и один из горсовета города Сталинска, которым я сказал, что для войны не дам ни одной копейки. Я уже имею полную уверенность в принципе разумной жизни и не могу поддерживать неразумные организации, служащие разъединению людей. Люди — разумные существа, должны проявлять в себе сознание истинной жизни.

⟨1935 год⟩

ИЗ «РАССУЖДЕНИЯ О НАЛОГЕ»

12 апреля сего 1935 года председатель Есаульского сельсовета в мое отсутствие оставил в моей квартире две бумажки: «Обязательство планового посева и поставки зерна государству» и «Предупреждение в случае невыполнения о привлечении к ответственности».

Не желая нарушать срока, нарушающего эти обязательства, и подвергаться ответственности за невыполнение, я решил объясниться перед налогодателями двумя мотивами: налогоплательщика и неплательщика налога.

Налогоплательщик.

Вследствие того, что представители налога помнят обо мне, считают меня в живых, постарались написать на мое имя эти обязательства — со мной, значит, считаются, как с человеком сознательным, доверив обязательства заочно, надеясь, что я пойму, а поняв — выполню.

Но так ли это? Считаются ли со мной, как с человеком, могущим и имеющим право реагировать?

Бессомненно нет!

Считаются лишь в том случае, когда предлагают план посева и сдачи хлеба государству в срок. И не считаются со мной, как с человеком, могу ли я физически и психически выполнить назначенное?

План посева: пшеница — 1 гектар, прочих зерновых — 1,9 га и картофеля — 0,6 га. Сдать государству: пшеницы — 4,2 центнера, прочих зерновых — 7,98 центнера и картофеля — 10,8 центнера. Все эти 23 центнера надо отвезти на ссыпной пункт в город Сталинск за 30 километров. Окончательный срок сдачи: зерна — 15 октября и картофеля — 15 ноября.

Давая эти цифры, налогодатели имели ли в виду — какие силы должны выполнить это задание?

По возрасту я 48-летний полустарик, по здоровью — полуинвалид. Моя помощница — 14-летняя дочь. Лошадей, коров, вообще никакой тягловой силы не имею. Земельного участка в пользовании нет.

По выходе моем из артели «Сеятель» я прошлым летом практиковал ручное земледелие, занимая на артельном участке крутые склоны гор, неудобные для обработки лошадьми и машинами и ненужные для артели. Опыт ручного земледелия показал, что своими слабыми силами мы с дочерью скудно будем питаться и одеваться, но хорошо и то, что мы ни у кого не будем сидеть на шее.

Сопоставляя написанное в обязательстве и мое положение, встает вопрос: имеется ли здесь какая-либо разумная увязка? Есть ли здесь какой-либо общий язык для понимания друг друга?

Бессомненно нет!

Здесь какая-то ошибка или недоразумение, или же нежелание считаться с моим положением, с моей мощью.

На чем хочешь — посей, какой хочешь силой — выполни, но чтобы в срок было сдано в город, иначе привлечение к ответственности.

Такое непосильное задание наводит на мысль, что здесь намеренно хотят посадить в тюрьму. Но дело не в этом. Здесь я только освещаю механическую ошибку или неправильность налогодателя к налогоплательщику; но дело в том, надо ли вообще платить налог государству или не платить?

Неплательщик налога.

Государство требует от меня, как земледельца, выполнения некоторых обязательств: известное количество посевов и известное количество налога на необходимые общественные нужды. Говоря разумным человеческим языком, между этими сторонами должна быть четкость и ясность.

Государственное общество должно указать, что на такие-то общественные нужды идет по столько-то процентов общего расходования, а потому с каждого земледельца, занимающего известное количество известного качества земли, полагается налога столько-то, в том числе и с меня столько-то.

Рассмотрев и убедившись в разумности или неразумности статей расхода, налогоплательщик будет так или иначе реагировать.

Сколько раз я пытался узнать, какая доля налога идет на разумную общественную взаимопомощь! Я никогда не получал определенного ответа. Люди, стоящие на стороне государственного насилия, мало уделяют внимания разумному, сознательному вопросу, не отвечают на него. Они ссылаются на установленный законом налог, а если не подчиняешься, привлекают к ответственности. Действуется не убеждением, а принуждением. Невольно задаю себе вопрос: что же представляют из себя люди государственного общества, люди, поддерживающие насилие, бессознательную, бездушную гигантскую машину? В том числе и считающие меня винтиком этой бессердечной машины. И хорошо, если эта машина имеет разумное назначение, а вдруг это — гильотина?

Но даже и хорошей машины — хорошего общества отдельный винтик, отдельный член общества не может быть бездушным, бессознательным винтиком; не может быть бессознательным, не рассуждающим членом. Поскольку общество мирное, ведет разумные начала жизни, то в таком обществе взаимопомощь не только необходима, но и обязательна. И взаимопомощь или налог в таком разумном

обществе будет взиматься с тех больше, кто пользуется большими и лучшими природными условиями, принадлежащими всему обществу. С членов же, находящихся в худших природных условиях, разумное общество будет взимать мало налога или вовсе не будет взимать; а в некоторых случаях члену, живущему в плохих природных условиях, разумное общество будет даже оказывать помощь.

Быть налогоплательщиком разумного общества я не отказываюсь. Если я пользуюсь общественным достоянием, то и должен перед обществом в виде налога на разумную взаимопомощь.

Но поскольку общество возглавляется государственным, организованным насилием, постольку и взимаемый налог идет большей частью на усиление государственной угнетательской мощи, на поддержание насилия: на суды, на тюрьмы, на штат чиновников насильственных учреждений, на кабаки, на армию, на военные цели, на вооружение, на подготовку к войне — к этому самому ужасному преступлению, которое только может совершить человек, к убийству себе подобных.

Я не хочу быть слепым членом общества, возглавляемого государственным насилием. Я не хочу быть безрассудным винтиком бездушной государственной машины. Я давно вывинтил себя из бессознательного повиновения неразумному насилию. Я хочу быть членом мирного общества, устраивающего жизнь на разумных, сознательных началах. Я хочу разумно руководить своими поступками и своим трудом.

Я противник войны и всяких убийств. Я противник всяких насилий человека над человеком. Я глубоко убежден, что убийство и насилие нельзя оправдать никакими благотворительными целями и райскими перспективами. Всякое насилие человека над человеком противно нашему здравому смыслу, нашему разумному сознанию, нашему внутреннему духовному единению. Насилие — это грубый эгоизм, разделяющий людей на своих и чужих. Насилие — это грубое и низшее желание земного блага только себе, только своей низшей, неразумной, иллюзорной природе; желание земных благ низшей, неразумной и иллюзорной природе людей своего круга, своего государства. Насилие — это признание за собой права на свою жизнь, а за другими — непризнание этого права. Насилие — это пережиток старого варварского времени, которое в современном разумном обществе должно отойти в музей как кошмарное воспоминание минувшего

прошлого. Насилие, применяемое в современном сознательном обществе,— это позор для участников насилия.

Как можно без ужаса и кошмарного сотрясения всего организма подготовляться к войне, к уничтожению людей: ружьем, штыком, прикладом, доходя при этом до ужасной злости, до остервенения, до состояния дикого зверя? Как можно без ужаса и кошмара бить и насиловать людей вообще — где бы то ни было?

Поэтому ни индивидуально, ни организованно я не могу и не буду участвовать в насилии. А также не могу и не буду поддерживать своим сознанием и своим трудом насильственные организации.

Капиталист, как и все прочие материалисты, верящий в реальность своего тела, в свою эгоистическую обособленную личность, всеми средствами стремится приобрести как можно больше земных благ для своей «ценной» личности, доходя при этом до борьбы с другими, до порабощения или истребления других. Ведет самый роскошный образ жизни, освобождает свою личность от переутомления, освобождает себя от физического труда, переложив все тяжести на других.

А для того, чтобы могло существовать такое кричащее противоречие, разделяющее людей на знатных и рабов; для того, чтобы рабы согласились, что иначе и быть не может, чтобы рабы не проснулись к сознанию, что и они такие же люди, имеющие право на жизнь и на свободное распоряжение собою, надо было создать внушение, надо было создать мнимо истинные законы, надо было создать насилие, чтобы держать просыпающихся рабов в ежовых рукавицах силами полиции, жандармерии и вооруженной армии.

И что происходит в одной стране, то как образец копируется и в другой. Итак, круг классовости и рабства установлен, выхода нет. Кто же попытается доказать ложность существующего положения, то для тех лиц имеются не столь отдаленные места в каменном мешке, в домах умалишенных, а то и на перекладине виселиц или ружейная пуля.

Такому порядку усердно помогают частично научные изобретения и ухищрения. Частью ученых пишутся законы, книги, делаются внушения, изобретается хитро-страшное насилие: порох, оружие, танки, подводные лодки, самолеты, бомбы, ядовитые газы, открывается война, устраивается человекоистребление.

А рабы, слепо повинующиеся установленным законам и внушениям, платят всевозможные налоги, губящие их же

самих, держат на своих плечах всю тяжесть насилия и порабощения. Вдобавок ко всему этому, когда капиталист в союзе с учеными устраивает человекобойню, войну во имя бога, во имя братства, равенства и человечности, рабы усердно избивают, мучают, калечат друг друга. Капиталист же в это время только посматривает на театр военных действий и от удовольствия потирает руки, что своя своих не познаша. Бейтесь, мол, бессмысленные бараны, а мы в это время будем считать доходы от войны, будем смотреть, как бы под дурацкий этот шумок прихватить новую территорию с новыми доходами, с новыми рабами, благо хватает для войны баранов и пушечного мяса. Если же за это и обидится мой заграничный сосед-капиталист, ну что же, надо же кому-либо остаться в проигрыше.

Помогающие этому злодейству ученые в это время тоже вместе со своими хозяевами и руководителями посматривают на картину театра военных избиений и калечений. Смотрят и радуются, что ихние изобретения пулеметов, бомб, удушливых газов и прочих умных пакостей как раз и делают то, что им хотелось, изобретая эти вещи. Ученые теперь пускают весь свой гениальный ум и всю изобретательность на то, как бы изобрести такой яд для людей, чтобы сразу отравить жизнь целой страны, или как бы устроить такие мины, бомбы или ракеты, чтобы в один момент взорвать целую страну.

А люди-рабы дерутся между собою, уничтожают друг друга этими изобретениями: порохом, железом, огнем, газами, а потом, к стыду своему, даже кулаками, даже зубами перегрызают горло друг другу, веря, что это нужно какому-то богу, какому-то равенству, братству и человечности.

Человек же, не потерявший разумного сознания, увидев этот кошмар крика и скрежета зубовного, увидав ужас человеческих страданий, не поверит, что он видит естественную жизнь, достойную людей как разумных существ; он скорее подумает, что попал в общество умалишенных или в фантастический ад, где черти мучают грешников.

Здесь я хотел напомнить людям, взимающим налог для государственного насилия, чтобы они могли войти в мое положение, чтобы они поставили себя на мое место земледельца, с такими взглядами на жизнь и на насилие, а меня на их место государственного чиновника-насильника, требующего с них безоговорочного выполнения всех моих насильственных требований. С радостью ли они будут выполнять мои требования, зная определенно, что их сознание

и их труды пойдут не только на неразумные, но прямо вредные цели? Думаю, что не стали бы беспрекословно выполнять, несмотря на мои угрозы применения насилия, этого дикого способа, недостойного человека с разумным сознанием.

В данном случае в таком положении нахожусь и я.

Как природный хлебороб, я хочу трудиться на земле. Этот труд я считаю самым естественным и разумным для существования человека. Ручное земледелие самая лучшая отрасль сельского хозяйства. Еще лучше было бы на юге, где можно было бы вести плодо-овощное хозяйство ручным способом. Но надо приспосабливаться ко всем природным условиям, где бы ни остановило положение.

С первых чисел мая я иду со своей помощницей — дочерью Любой за три километра пахать ручным способом крутые склоны. Хорошо, что здесь еще много пустующих крутых склонов, никому не нужных, но ручному земледелию такие места становятся доступны. Хотя и трудновато мне, больному, лазить по этим крутизнам, но спешить некуда, прокормим себя — и хорошо, лишь бы не сидеть ни у кого на шее. Конечно, и десятой доли предложенного плана я едва ли сумею обработать, так что об излишках труда нечего и думать. Ну, а если бы вдруг оказались излишки нашего труда, то неужели я буду держать их у себя, неужели я буду лежать на них, как собака на сене? Конечно, нет!

Для излишков моего труда есть очень хорошее и полезное дело — это помощь борцам за идею добра и правды, заброшенным в тюрьмы и ссылки и нуждающимся в материальной помощи.

Эти как будто незаметные люди, одиночки, сколько света несут они для людей и истинного блага! Но общество, в котором так мало мыслящих и разумно сознательных личностей, может превратиться в толпу, которая, в благодарность за добро, рассчитывается с ними, как с Иисусом, Сократом, Яном Гусом и другими, и в лучшем случае — сажает в клетку.

Своим святым долгом считаю помогать страдающим, истинным поборникам учения Разума. Я протягиваю руку помощи не организованному насилию, а противникам этого насилия. Ибо это мои друзья! Это мои единомышленники! Я считаю такую помощь полезной и разумной, это не то что помогать государству отливать пушки и снаряды и подготавливаться к человеческой бойне, к самому ужасному преступлению.

Но я также не отказываю в помощи и всем лицам, находящимся в нужде и заблуждении. Если мне будет известно, что общество имеет материальную нужду, а у меня будет чем помочь, то буду стараться непосредственно помогать. В случае же если не будет возможности помогать непосредственно, то могу согласиться и на посредника в виде государственной организации, но с условием сохранения за собой права наблюдения или контроля, чтобы мой труд шел именно по назначению и чтобы я имел возможность узнавать корень этой нужды. И если эта нужда вызвана неразумным действием общества, то буду стараться уяснять эту неразумную деятельность, находить выход уяснением лучшего разумного смысла жизни, чтобы не могли повторяться ошибки, приводящие к нужде.

Хотелось бы могуче воззвать: люди-братья! Остановитесь! Одумайтесь! Проверьте свою жизнь! Проверьте свою деятельность! Ведь вы не то делаете, что подобает делать разумному человеку в жизни! Зачем вы участвуете в насилии? Зачем вы закрепляете деспотизм насилия? Зачем вы закрепляете свое рабство, повинуясь и поддерживая насилие? Зачем вы, к сугубому своему несчастью и позору, возводите насилие в идеал? Зачем вы еще больше усовершенствуете свои кандалы? Зачем вы отдаете и тело, и душу на служение гильотине? Разве еще непонятно, что убийство человека есть самое ужасное преступление, которое нельзя оправдать: ни будущим коммунизмом, ни будущим Царством Божиим?!

Что мне блаженство святых в будущем, когда нет блаженства, разумной, радостной жизни в настоящем! Будущее? Это самообман! Будущее? Это хитрое замазывание своей дурной жизни в настоящем! Это иллюзия жестокого божества, требующего безумной жертвы в настоящем! Разумом... жизнью... Будущее? Это бездонная пропасть...

Всем своим существом я против насилия. Я сторонник ненасилия над другими людьми. Я сторонник — не насилием перевоспитывать других, а убеждением побуждать людей осознать в себе разумное, высшее сознание. Но прежде чем пробуждать других к сознанию, я должен сначала в себе самом раскрыть, осознать и проявлять Сознание Истинной Жизни. Поворачивать в ту или другую сторону сначала я имею право только себя. Улучшать и перевоспитывать прежде всего я должен себя, пользуясь, конечно, добытым человечеством общим коллективным миропониманием.

Перевоспитывая самого себя, конечно, я не могу ставить эгоистических рамок: я не хочу вариться только в собственном соку, зная, что истинная, высшая жизнь только в единении с другими людьми и другими существами, а поэтому я с радостью буду помогать людям-братьям и сообща с ними раскрывать ложную веру в неразумную жизнь. Но помогать по-сократовски, только тогда, когда в этом является необходимость, а не насильное навязывание, если люди не хотят этого понимать — помогать, как бабка-повитуха помогает при рождении ребенка. С радостью буду помогать и сообща уяснять истинный смысл жизни, достойный звания члена коммунистического общества, достойный звания человека, живущего не насилием и разъединением, а любовью и единением с другими людьми и другими существами. Жизнь должна быть Разумна, Едина, Божественна; насилие же неразумно.

Я. Драгуновский. 1 мая 1935 года.

1936—1937

ИЗ «ОБРАЩЕНИЯ»

〈Написано в связи с арестами в коммуне. Адресовано правительству.〉

Дорогие друзья! Мы смотрим картину!

Перед так называемым судом на так называемой скамье подсудимых находятся так называемые толстовцы.

Эти явления я называю так потому, что ни одно из них не обладает абсолютной идеальной истиной, а потому и не носит постоянного, положительного характера, а лишь временный, относительный.

Суд? Может ли суд признать за собой, что он обладает абсолютной правдой, что он безошибочно судит и наказывает других? Бессомненно нет! Судят приблизительно, иногда и с большими ошибками, словом, что иногда Бог на душу положит.

Толстовцы? Могут ли толстовцы сказать, что они обладают абсолютной истиной и проявляют ее в жизни безошибочно? Бессомненно нет! До некоторой степени истинный смысл жизни только нащупывается и частично проявляется.

Скамья подсудимых? Является ли эта грань, разделяющая людей на осуждающих и осуждаемых, абсолютно необходимой и постоянной вещью, если даже и жизнь людей будет иной, чем теперь? Бессомненно нет! Эта скамья будет

до тех пор, пока люди не нашли точку опоры, объединяющую людей в одно целое.

Общество пролетарского государства хотя пока бессознательно, но уже во многом руководится разумом, этим альтруистическим, интернациональным средством, объединяющим людей для устройства нового быта, нового понятия о жизни; для устройства нового, бесклассового общества, для устройства идеально-коммунистического общества.

Толстовское общество в основу своих понятий о жизни кладет тот же разум, то же высшее сознание, что и общество пролетарского государства, и частично сознательно начинает проявлять в своей жизни этот разум. Но часто, конечно, и у толстовцев разум проявляется не всегда сознательно, как и у людей государственного общества.

Если бы этот общий источник, объединяющий людей,— разум был основан в его наивысшем достижении в данное время и проявлялся бы в жизни как тем, так и другим обществом, прекратилось бы тогда и недоразумение между этими обществами. Исчезла бы тогда и скамья подсудимых, эта грань, разделяющая людей на наказывающих и наказываемых. Лишь тогда скорее поняли бы друг друга, поняли бы тот общий идеал, к которому они стремятся.

В данном случае настоящее явление нельзя назвать судебным процессом, где правда судит неправду, а скорее должно бы принять вид собеседования, обмена мнениями, уяснением коренных вопросов жизни для взаимного, более ясного понимания и уважения, для подведения жизненных понятий и проявлений под общую рубрику — разума.

Если же вопреки всему в нас прекрасному, вопреки нашему разуму суд все же будет судить и присуждать как преступников, то такое явление будет противоречить нашему высшему сознанию. Тогда разум не будет ставиться как руководящее и объединяющее начало, а как благозвучное слово, прикрывающее наши ошибки. Разум будет считаться не коренным источником жизни, а придаточным. И судить тогда будут не мнимых преступников толстовцев, не сделавших никакого преступления, а будет разбираться и судиться идея. Будет судиться понятие о жизни. Будет судиться мировоззрение, кладущее в свою основу Разум. Будет рубиться тот сук, на котором сами сидим.

Но все же есть надежда на положительный исход дела. Есть надежда, что общество пролетарского государства поймет положительную сторону толстовского общества. Поймет стремления и идеал пионеров новой, лучшей жизни.

А поняв это, простит и те недостатки и несовершенства, не изжитые людьми толстовского общества.

В свою очередь, и толстовцы лучше поймут стремления и идеал общества пролетарского государства. И поняв это, простят те недостатки и несовершенства, проявляемые людьми этого общества.

И поняв друг друга, обе стороны оценят по достоинству всё то лучшее, что есть в стремлении этих обоих обществ, скорее помогут друг другу изживать недостатки и несовершенства, мешающие единению.

Толстовцев считают не только противниками, но и контрреволюционерами, мешающими строить социализм, бесклассовое коммунистическое общество, а потому и все усилия направляют на то, чтобы ликвидировать мешающий элемент, выбить из сознания людей разумное понятие о жизни.

Но в чем же здесь недостатки и ошибки толстовцев? В чем их контрреволюционность и чем они мешают строить социализм? Неужели только в том недостатки, что комиссия от сталинского горзо подметила: «Хозяйство коммуны не образцово, нет ничего показательного. Ненормальная уравниловская зарплата. Калечащая детей школа, учащая не по государственной программе. Только один коммунальный котел, готовящий всегда один и тот же белый постный картофельный суп».

Вот то наивное обвинение, по которому судят данных преступников. Но есть ли здесь контрреволюционность? Кроется ли здесь какое-либо злоумышленное вредительство, мешающее строить социализм? Бессомненно нет! Здесь просто люди, согласно своему мировоззрению, считая вредным излишнее богатство,— не делают свое хозяйство богатым и образцовым. Толстовцы считают, что человек должен иметь столько, сколько требует от него простая жизнь.

Точно так же не является преступлением уравнительная зарплата: все коммунары проявляют свою способность без всякого расчета, а потребность всех считают одинаковой.

Школа? Неужели за школу так виноваты толстовцы, что потребовался арест и суд над учителями? Неужели нельзя воспитывать им своих детей в необходимом в настоящее время нравственном духе? И неужели только тем и плоха толстовская школа, что из этой школы исключена классовая враждебность, исключен государственный милитаризм, готовящий молодых людей к военной катастрофе? Что вместо

классового и государственного антагонизма толстовцы хотят преподать своим детям: альтруизм, гуманизм, интернациональность?

Подсудимые друзья-толстовцы! Судят не вас, ибо вы не сделали никакого преступления, а судят ту идею, которой вы хотели придерживаться! Судится жизнепонимание, основанное на разуме. Судится ваше высшее сознание. Судится наш разум! И тем лучше для людей, судящих эту идею. Они скорее могут понять, когда судят и разбирают, чем тогда, когда об этом ничего не думают.

Друзья! Нам брошен еще упрек, что толстовцы не понимают, не оценивают и не принимают участия в строительстве социализма, в строительстве бесклассового, коммунистического общества. «Толстовцы — контрреволюционеры!» Такое обвинение, безусловно, неверно. Толстовцы видят и оценивают те огромные попытки и усилия людей, желающих построить жизнь на новых, разумных началах. Сколько здесь проявлено геройства, сколько потребовалось самопожертвования, чтобы доказать ложность существующего неразумного классового общества, неразумность феодального и капиталистического строя. Чтобы доказать неразумность и жестокость законов, признающих право за одним человеком пользоваться тысячью гектаров земли, тогда как у тысячи человек не было возможности сделать себе несколько грядок огорода. Чтобы доказать неразумность и жестокость законов, дающих право одному фабриканту отбирать труд у тысячи рабочих, чтобы самому жить в роскоши, а тысячу семей обречь на жалкое существование или даже на голодную смерть!

Все эти пожелания и стремления теоретически так велики и ценны, что не только толстовцы, но и вообще ни один разумный человек не может не признать их настоящее и жизненное значение. И не только признает, но и примет участие в строительстве нового, великого, разумного.

Но когда друзья-революционеры стали у руля новой, разумной жизни, когда теоретики великих идей равенства, братства и бесклассовости стали применять на практике устарелый, консервативный и контрреволюционный метод насилия, то здесь толстовцы с ними категорически расходятся. И в своем расхождении они не видят за собой никакой консервативности и контрреволюционности, а, наоборот, чувствуют себя пионерами той великой и разумной жизни, желательной для всех сознательных, разумных людей.

Знают ли коммунисты свое противоречие, что прекрасная теория идеального общества — сторона положительная, а метод насилия для достижения этой разумной цели совсем другое — сторона отрицательная?

Идея коммунизма в теории согласуется с нашим разумом; метод насилия противоречит разуму. Идея, основанная на разуме,— это мировой интернационализм; метод насилия — это эгоистический, разъединяющий деспотизм. Что есть общего между этими двумя явлениями?

Знают ли коммунисты своих мнимых «врагов» и «контрреволюционеров-толстовцев», отбрасывающих, как противоречащий разуму, метод насилия, а признающих только разумное и прекрасное, что намечено в теории новой стройки бесклассового общества — новой стройки коммунизма?

Знают ли коммунисты, что толстовцы, по своей идее и по своему методу безнасилия, являются не врагами коммунизма, а друзьями? И не только рядовыми друзьями, а пионерами новой стройки?

Знают ли коммунисты, что обе идеи — и теория коммунизма, и разумная религиозность толстовства — необходимы, жизненны и своевременны?

Знают ли коммунисты, что эти два течения не так уж враждебны между собою, чтобы иметь эту грань — скамью подсудимых? Должно быть, коммунисты не знают всего этого, поскольку имеется эта картина судящих и судимых. Но если коммунисты и толстовцы мало знали друг друга до настоящего момента, то теперь стыдно не знать, теперь должны как те, так и другие понять и, вместо произнесения незаслуженного сурового приговора, должны бы протянуть друг другу руки для взаимного понимания и для осуществления единой разумной жизни.

Мы поймем, что человек, стремящийся к истине, но делающий еще по незнанию ошибки, не так уж виновен, как нам казалось. Мы поймем, что скорее тот виновен, кто знал верный путь к высшей жизни, но умышленно уклонялся от него или умышленно извращал его. Если человек знает, в чем истинная жизнь, но не следует этому знанию или даже извращает это знание, то это есть непростительная хула на дух жизни, это есть зарывание таланта. И совсем не враг тот, кто открыто и смело говорит и предупреждает об опасности; а скорее враг тот, кто молчит, зная опасность, или даже подставляет ногу, когда человечество катится в пропасть вражды и ненависти. Но человек, искренно желающий

и стремящийся к разумной жизни, если и делает еще по неведению ошибки, то он не виновен.

Виноват ли человек за то, что он понял, что он не какой-то простой комок глины, из которой можно лепить что угодно и кому угодно, но что он духовная сущность, единая со всей духовной жизнью?

Виноват ли человек, понявший свою духовную сущность, переставший вести борьбу с другими такими же духовными существами, как он — людьми, за какие-то личные эгоистические преимущества и за материальные блага?

Виноват ли человек, понявший свое духовное единство со всей жизнью и начавший гармонировать свои поступки с требованиями этой жизни?

Каждый мыслящий человек скажет, что не только не виноват такой человек, понявший духовное единство, но что всем нам надо понять это единство и начать борьбу с нашим несовершенством.

Изложив вкратце миропонимание так называемых толстовцев и их бескровную революционность, я думаю, что люди суда, люди социализма и коммунизма поймут то великое значение нравственно-разумных идей своих мнимых врагов, поймут не как врагов, а как близких друзей, помогающих строить жизнь на разуме. А поняв идеи и стремления своих подсудимых, поймут и свои ошибки по отношению к мнимым виновникам и вообще ошибки, совершаемые против разума, против жизни, перестанут совершать их и начнут исправляться, руководствуясь разумом.

Друзья-толстовцы тоже больше поймут и почувствуют жизненное значение разума, нашего высшего сознания, а поняв, будут во всех своих поступках руководиться разумом и станут меньше делать ошибок.

Думаю, что, подойдя со всех сторон к настоящему делу, а главное, осветив его разумом, нашим высшим сознанием, мы можем предотвратить могущий случиться юридический казус. А посему моим душевным пожеланием будет и для судящих, и для «подсудимых»: стараться избегать казусов, стараться избегать недоразумений как в данном явлении судебного процесса, так и вообще в повседневной нашей жизни. Не судить и осуждать мы должны, а прощать друг друга, помня пословицу: «Лучше двадцать виновных простить, чем одного невинного наказать».

Яков Драгуновский. 25 мая 1936 года.

ПИСЬМА Я. Д. ДРАГУНОВСКОГО ИЗ ТЮРЬМЫ И ЛАГЕРЯ

Письмо первое

Детям.

Август 1936 года

Милые дети: Ваня, Клава, Люба, Фрося! Помните, как вечером 8 августа уполномоченные НКВД со своим кучером, забирая меня больного с постели, говорили мне, что берут только для того, чтобы там, в НКВД, поговорить со мной, выяснить дело, и меня отпустят, как отпустили Клементия Красковского. Я, конечно, таким словам не верил, и, действительно, они оказались ложью. Что дальше со мной было, я расскажу вам подробно.

Как с постели взяли меня и понесли в повозку так вежливо, как бы боясь потревожить мою больную ногу, так же и в Сталинске (Новокузнецке) осторожно сняли меня с повозки и внесли в комнату на постель. Здесь же мне пообещали больничное лечение, но хорошо, что я взял с собой бутылку с чаем для обливания компресса, а тут и чайник вы передали скоро, и я спасал себя от болей компрессами.

Обещанный врач пришел только 13-го, посмотрел ногу и, не говоря о диагнозе и лечении, стал спрашивать статью и потом, выходя из камеры, сказал, что «я справлюсь у следователя Ястребчикова о подсудности».

Три дня разбирали мою подсудность и ставили диагноз болезни по статье, наконец 16-го я был в поликлинике № 2. Откинув тряпки компресса, мне сделали перевязку: на язвы наложили марли, обмоченные в марганце, затем ваты, бинт — и готово. Вторая перевязка была назначена на 19-е августа. Начиная с утра и до самого вечера 19-го я и Борис Мазурин просили и умоляли отвезти меня в клинику на назначенную врачом перевязку, но так и не повезли. 20-го опять стали просить, и наконец вечером 20-го взяли на перевязку. От ноги стало отвратительно пахнуть (ведь четыре дня лежит повязка). Развязали, обмыли и опять такую же повязку положили. На третью перевязку доктор назначил уже не через три дня, а через два, т. е. 22-го в шесть часов вечера. Опять с утра и до вечера мы стали напоминать служителям о перевязке. Особенно Борис часто напоминал, но безрезультатно. 22-го на перевязку не повезли. Пробовал Борис напоминать 23-го, но я стал просить Бориса не беспо-

коить, не сердить их. Наверное, таково отношение к заключенным: не как к людям, а как к отбросам общества. Я решил не беспокоить никого своей больной ногой: пусть будет, что будет. Понятно, хорошего ничего не будет. Ведь дома я лечил себя то компрессами, то солнечными или паровыми ваннами, ногу облегчал и не так страдал, а теперь пятый день сегодня, как лежу в повязке: нога болит и тяжело пахнет.

Утром 9 августа сторожа зовут меня наверх, на допрос. Я сказал, что на допрос не пойду, потому что не считаю себя виновным, и как человек, признающий руководителем в жизни разум, наше высшее сознание, это духовное начало, не могу идти на компромисс, не могу поддерживать насилие, не хочу развращать ни себя, ни других своим повиновением принуждению. Служители не могли понять этого. Один из них грозно крикнул, но я на грубый возглас не ответил; тогда двое молодцов подхватили меня под руки и под ноги и потащили на четвертый этаж в комнату НКВД к Смирнову и положили на пол.

Смирнов улыбнулся и говорит: «Что, ты и перед судом будешь так лежать?»

— А что ж тут плохого? — сказал я.

Смирнов предложил мне сесть на стул. В комнате было три человека: начальник НКВД Смирнов, уполномоченный, который забирал меня из дома, и еще один в военной форме, которого Смирнов называл Волосовским.

Волосовский стал засыпать меня вопросами о моем отношении к власти и насилию. Он стал придумывать, что если я против насилия, стало быть, и против советской власти, потому что я, живя здесь, против насилия именно здесь, в советской стране. Видя, что Волосовский искусственно развивает софизм в таком направлении, не хочет слушать и понимать моих объяснений, я сказал, что перестану отвечать. После этого Смирнов стал разъяснять, почему меня арестовали:

«На предварительном совещании крайсуда установлена твоя вина, и до суда тебя надо содержать под стражей, вот я и распорядился взять тебя под стражу».

Я спросил: «В чем же моя виновность?»

Смирнов сказал: «Материализм и идеализм — противоположные мировоззрения, и люди этих убеждений не могут сойтись для устройства одной жизни. Тебя как последователя идеализма решили изолировать стенами тюрьмы».

Письмо второе

Детям.

9 ноября 1936 года

Меня опять сносили на 4-й этаж к начальнику НКВД Смирнову на беседу. «Начальник» Смирнов посулил мне за мое неподчинение «усиление наказания». В процессе беседы Смирнов опять напомнил, что суд даст мне годиков пяток за мою виновность.

— В чем же эта виновность? — снова спросил я.— Ведь донос, по которому вы привлекаете меня к ответственности, оказался ошибочным.

— За литературу, отобранную у тебя,— сказал Смирнов.

— Да ведь эта литература была разрешена в 20-м году,— сказал я.

— В 20-м была разрешена, а в 36-м привлекаем к ответственности.

Я хотел было доказать духовное единство жизни, но Смирнов не стал слушать: «Некогда».

Сидя в камере, я стал думать, что при нашей беседе со Смирновым осталась недоговоренность. Мне хотелось уяснить Смирнову, что духовно-монистическое мировоззрение не только не враждебно для жизни людей, но что только через духовно-монистическое понимание жизни люди придут к сознанию Истинной Жизни.

14 августа я написал Смирнову заявление. 17 августа Смирнов пригласил меня к себе в кабинет.

Когда я вошел в кабинет к Смирнову и поздоровался, он улыбнулся и говорит:

— Что, теперь надумал сам ходить?

Я сказал, что на беседу к человеку я с радостью пойду, но на допрос и на суд не пойду.

Эта беседа продолжалась около часа, но и теперь Смирнов не хотел понять глубокой истины духовного мировоззрения. Он материалист, находящийся в большинстве, а потому и ближе к истине, и это большинство строит новую жизнь и ведет борьбу с религиозным дурманом, с поповским, а также и толстовским «мракобесием».

Я старался дать понять ему, что истинная религия не дурман и не мракобесие, а истинный ответ на вопрос о смысле жизни. Смирнов в конце сказал, что ему некогда дискутировать с разными контрреволюционерами, что он не за это получает тридцать рублей на день, а если хочешь

дискутировать, то я переведу тебя в камеру к Мазурину, там сидит заядлый коммунист, с ним и дискутируй.

Девять дней я провел с молодым человеком (техником) и девять дней с Борисом и коммунистом. Мне казалось, что в молодом человеке я приобретаю друга-единомышленника. Он так внимательно слушал, соглашался, что слышит о новом миропонимании, и как он опечалился, когда нас разлучили. Но потом здесь, в тюрьме, я заметил, что он слишком легкомысленный, у него в одно ухо входит, а из другого выходит; у него осталось только уважение ко мне. Совсем другое дело «заядлый» коммунист. В первые два дня Борис и коммунист задавали вопросы и старались сами много говорить. Видя, что при такой частушке-споре я не сумею развить логическую мысль о духовно-монистическом мировоззрении, я спросил у моих собеседников, если они желают, то я сделаю доклад или небольшую лекцию. И когда я сделал этот доклад, коммунист сказал:

— Хотя я и не сделался идеалистом, но этот доклад дал толчок моим мыслям, освежил их.

26 августа меня перевели из ГПУ в тюрьму вследствие того, что я 25-го объявил голодовку из-за того, что не лечат мою ногу. Когда подвезли меня к тюрьме, я отказался идти сам. Три часа с половиной упрашивали меня (в той комнате, где бывают свидания), чтобы я сам пошел в тюрьму. Но видя, что я категорически отказываюсь, нашли двух сильных служителей и меня внесли на второй этаж в больничную камеру.

Голодовку продержал я только четыре дня: мою просьбу отчасти удовлетворили, когда прекратил голодовку. Я сутки проболел душой, что я пошел на какой-то компромисс. И только тогда полегчало на душе, когда явилась мысль написать заявление. 2 сентября родилось первое объяснение, копия которого у вас есть. Копию я отдал друзьям на критику. Епифанов побаивается такой смелости и думает, что читать не станут. Пащенко сказал: «Напрасно писать не стоит; всё равно, что горохом об стену — что писать им». Моргачев одобрил.

Подав это объяснение, я увидал, что надо еще дополнить, но бумаги нет. Наконец, получил от вас бумагу. 12 сентября явилось новое, второе объяснение — продолжение. 28 сентября родилось третье объяснение, но с этим заявлением случилась история: пропало в конторе. 5 октября пришлось объявить голодовку. На десятый день где-то нашли, и я, проголодав четыре дня, прекратил. Во время этой голо-

довки родилось четвертое дополнение и пятое маленькое. Тогда же, 6 сентября, решили скопировать все эти заявления, поданные начальнику НКВД, и послать во ВЦИК Калинину. Копии всех этих заявлений хранятся у вас, я очень рад этому. Интересно знать, как вам понятно это мое обращение к людям-братьям, так называемым «начальникам и судьям». Об этих моих заявлениях я говорил своим друзьям, просил у них бумаги, карандашей. Епифанов начал предупреждать. Моргачев сначала сказал: «Пиши больше». А потом, когда услышал, что Епифанов и Пащенко не одобряют моих действий, сказал мне: «Поменьше пиши, потому что в многословии больше лжи, а истина должна быть выражена кратко и просто». Моргачев говорил, что он и на допросах не говорил ничего о миропонимании, кроме одного евангельского изречения: «Не делай другому того, чего себе не желаешь». И как бы следователь ни вертел, куда бы ни заходил в непроходимые дебри, получал от Моргачева один ответ: «Не делай другому того, чего себе не желаешь». Моргачев считает, что «больше этой истины нечего прибавить в жизни». А Епифанов говорит: «Ты своими заявлениями как бы не повредил нам, коммунарам. Ведь мы не разделяем с тобой духовного монизма. Ты вот и налоги не платишь, а мы платим по нашей слабости».

Я говорю: налог вы платите не по слабости, а по несознанию. Епифанов смутился. Тогда я ободряю его, говорю, что если коммунарам не нравятся мои заявления, то в любой момент они могут отказаться от них, и тогда за меня не пострадаете, и что я свободен в своих действиях, и вы, коммунары, не можете мне воспретить писать и говорить то, что требуется для сознания Истинной Жизни.

С 10 сентября меня перевели из больничной камеры в общую, где сначала было 25 человек, потом 30, 40 и до 50 человек доходило; теперь в среднем 37—38; теснота, дурнота от табачного дыма, ругань, воровство, иногда драки. Редкий день бывает, что голова не болит. Несколько раз пробовал говорить против ругани, против курения, против той неразумной жизни, какую ведет это общество. В редкие минуты прислушаются, а большей частью принимают всё в шутку и глупыми выходками заглушают все. Когда переводили меня из больничной камеры, я просился к Моргачеву, просился к тому коммунисту, который был переведен из ГПУ в тюрьму, но не поместили по просьбе. В этой общей камере я вооружился терпением, чтобы больше узнать жизнь преступников: чем люди живут, дышат и к чему стремятся.

Мало находится таких, которые желали бы исправиться и жить более разумной жизнью. Свои преступления не считают за преступления, а считают, что глупо сделали, что попались и посажены в тюрьму. И очень восхищаются хитрыми выходками некоторых «специалистов», которым удается совершать преступления и никто о них не узнает. Попавшие же в заключение ругают не себя, а кого-то: закон, начальство, тюрьму. Изучают статьи и кодексы, сроки и как бы убежать и жить, не исправляясь. А пока, в ожидании приговора, лежат день и ночь: ругаются, играют в карты, некоторые воруют и курят, курят, курят: отравляют воздух, тяжело дышать, болит голова, болит в груди, тошнит, а курильщики ни о чем не хотят думать, ничего не хотят понять разумного, отравляют и для себя и для других воздух, отравляют друг другу жизнь.

Несмотря на то, что почти постоянно болит голова, я не хочу проводить времени напрасно: часто пишу, немного читаю, из прочитанного делаю выдержки на бумаге.

Теперь мне хотелось бы прочесть Челпанова «Мозг и душа». Ваня, если не трудно будет передать эту книгу (она находится в шкафике стола), так же, как ты передавал тетради-доклад Николаева. В книгу вложи тетради, бумаги, хотя бы такой тонкой, как ты передавал мне две недели тому назад, 12 листов. Если можно, бумаги вложи 20—30 листов, конвертов штук десять, открыток десять, карандашей простых и химических. Всё это передай, Ваня, только тогда, когда согласится на это Е. (Е.— Елена, библиотекарь тюрьмы.— *Сост.*). Мои четыре книги Ромена Роллана «Очарованная душа», которые Павел Леонтьевич передавал для Анны Григорьевны, почти уничтожены тюрьмой, ходивши по рукам. Я захватил остатки и теперь хоть бросай, пожалуй, придется бросить.

Вчера закончил выписки из брошюры Н. К. Лебедева о «Элизе Реклю», как человеке, ученом, мыслителе. Очень ценные мысли. Реклю действительно был великий человек. Побольше бы таких людей, побольше таких революционеров. Несмотря на то что он был революционер и анархист, но какой он был гуманист, какая хорошая душа была.

Письмо третье

Детям.

17 ноября 1936 года

Вечером 13 ноября получил «обвинительное заключение».

Вся камера преступников: хулиганы, жулики, мошенники, воры, человекоубийцы и т. п.— с большим интересом пожелали услышать это обвинение в том, что человек не хочет никому зла и насилия.

Вымышленная клевета начинает возмущать и волновать. Организм расстроился: есть не могу, тревожно сплю, болит голова, трепещутся мускулы. Двое суток не ел. От недосыпания — болен. Утром 14-го дежурный по тюрьме предлагает готовиться в суд. Здесь я чувствую себя радостно, чувствую: в суд не пойду, потому что на мои обращения к обвинителям они ничего не ответили. В каком случае я могу пойти в суд?

Видя, что я категорически отказываюсь идти в суд, меня одели и вынесли. Здесь, в Первом доме НКВД, мы вчетвером: Борис Мазурин, Егор Епифанов, Димитрий Моргачев и я.

Когда вызвали в суд, я спокойно подал обращение. Друзья ушли. Я ожидаю: что-то будет? Проходит час, другой; ничего не слышно. Видно, не хотят говорить со мной о духовном монизме.

Приходят друзья, сообщают: суд своим совещанием постановил: «Драгуновский не может участвовать в суде по своим религиозным убеждениям; суд нашел возможным дело по обвинению Драгуновского разобрать заочно».

Хотя и хотелось мне высказаться в защиту духовно-монистического мировоззрения перед людьми суда, но что делать — когда они не хотят об этом слушать, а хотят судить только по предъявленному обвинению.

Ночь прошла спокойно. Сегодня чувствую себя хорошо. Есть какая-то уверенность, что меня освободят. Если же присудят, то своим отказом от суда я завоевал себе большую силу, для моих дальнейших отношений к этому приговору. Но за будущее говорить преждевременно не буду, ибо не знаю, что со мной будет завтра.

Удивляюсь моим друзьям. Пришли из суда и рассказывают: суд запросил подсудимых — «может они не желают, чтобы суд разбирал их дело?»

Борис сказал: «Конечно, не желательно, чтобы суд судил нас, но что делать, когда мы не по своей воле пришли сюда, а потому что́ будешь делать? Согласны судиться».

Как тяжело и больно было мне услышать это. Как жаль, что мы сидим в тюрьме вместе, обвиняют нас по одному делу, а я остаюсь одинок. Но что делать? Будем надеяться, что рано или поздно начнет ясно определяться черное от белого.

Говорят, что Анна Григорьевна не дождется, когда удастся излить всю истину перед судом. Бывши сегодня на прогулке, я заметил ее в окне тюрьмы. Она закинула голову и говорит: «Эх, говорун, напрасно отказываешься говорить на суде». Я объяснил ей, что говорить перед людьми суда я не отказываюсь, а отказываюсь от судебной формальности. Я не могу согласиться, чтобы люди, не сведущие в религиозном, чисто духовном миропонимании, могли разбирать духовное понятие о жизни и судить как за контрреволюцию. Ведь это абсурд, если мы согласимся на то, чтобы люди суда, основывающие свои понятия на насилии, могли разбирать и справедливо решать великий вопрос о ненасилии.

Не знаю, поняла ли Анна Григорьевна или нет, но дальше говорить не дал дежурный, выводивший на прогулку.

Теперь сижу и думаю: а ведь доносчики на меня говорят в суде обо мне Бог знает какие небылицы, и суд им поверит. Является ли это справедливостью? А суд совершенно не хочет говорить со мной, не хочет узнать о моих беседах в столовой коммуны. Выходит, что я, по словам клеветников, вроде ни о чем, кроме контрреволюции, и не говорил. Думаю: хорошо, если бы люди научились разумно понимать о жизни и говорить всегда правду. Но что делать, когда нет сил и возможности внушить это людям? Что делать, когда кто-то со стороны будет говорить ложь? Как рассеять эту ложь? Если присудят, то я решаю не подавать кассацию. Раз я отказываюсь от участия в суде, то этим как бы лишаюсь возможности кассировать.

После сурового приговора, если таковой произнесется, я хотел бы написать свое критическое мнение — с точки зрения чисто духовного понимания. Но не знаю, куда посылать и как посылать? И будет ли от этого польза? Польза будет и для себя — будешь упорно думать над этим, и для вас — как памятник моих переживаний и исканий выхода из ложного положения к истине.

Но остановка в судебном процессе. Друзья возвратились из суда и говорят: дело отложено на три дня, т. е. на

20 ноября, т. е. на день 26-й годовщины со дня смерти Л. Н. Толстого. Будут судить последователей его мировоззрения. Судить и приговаривать к наказанию за какую-то контрреволюцию, т. е. за то, что нельзя быть последователем мировоззрения дорогого Л. Н. Толстого. На сегодня довольно.

С приветом ваш друг Яков.

Письмо четвертое

Памяти дорогого друга Л. Н. Толстого (отрывок).

18 ноября 1936 года

Да, дорогой Лев Николаевич, я теперь ясно осознал и имею полную уверенность в истинности этого мировоззрения. И за этот великий и светлый идеал чисто духовной жизни в данный момент, в день твоей светлой памяти, меня представили перед судом как преступника, как какого-то «контрреволюционера».

Люди, не понимающие идеала чисто духовной жизни, хотят судить и наказать меня. Хотят заставить меня, чтобы я отказался от этого «дурмана и мракобесия», как они, эти заблудшие люди, считают. Чтобы я перестал верить в идеал чисто духовной жизни, который один только может объединить людей в жизнь Единую, Совершенную, хотят, чтобы я поклонился богу материальной, эгоистически-обособленной личности и вел борьбу с другими людьми за материальные блага для этой личности, т. е., дальше и дальше разъединяясь друг от друга, самому страдать и других заставлять страдать. Хотят заставить, чтобы я признал насилие необходимым условием человеческой жизни, а идеал ненасилия отбросил как контрреволюционную идею.

Нет! — скажу я своим обвинителям. Дорогой Лев Николаевич, не могу я признать суеверие за истину; как нельзя назвать черное белым, так нельзя считать ложь за истину. Ведь в мире существует только одна сущность, только одна реальность. Эта реальность духовна — это жизнь бесчисленных существ, или точнее: это Совершенная, Неограниченная жизнь, которую люди могут проявлять в своей душе путем соединения в любви, радости и совершенстве.

Письмо пятое

Детям.

25 ноября 1936 года

Милые дети: Ваня, Клава, Люба, Фрося и Алик! Итак, пять лет исправтрудлагерей и три года поражения в правах.

Я не пошел на слушание приговора, волновался и представлял себе: что же сделают за это? Сознание говорит: что требовалось от тебя, ты сделал, а что люди сделают над тобой, дело не твое. И совершилось всё по-хорошему. В первом часу ночи разбудили и попросили идти в канцелярию за получением приговора. Не пошел. Второй раз повторили это приглашение — не пошел. Вдруг является секретарша с судьей и спрашивает: «Желаешь ли получить приговор?» Я говорю: «Не интересен он для меня. Считаю себя невиновным». Тогда секретарша предложила: «Желаешь ли послушать приговор?» Я согласился прослушать. Секретарша читает: я лежу под одеялом; судья сзади секретарши смотрит на меня. Я чувствую себя спокойно, даже радостно; чувствую, что я не виноват и с вашим неверным постановлением не согласен.

В этот момент, если бы потребовали от меня, чтобы я пошел в этап или в тюрьму, я не пошел бы; пусть делают со мной что хотят. А как будет в дальнейшем, я не знаю.

Кассационную жалобу думаю написать. Будет ли толк с этого? Но пусть побывает дело в Москве.

Милые дети! Прошу вас, не беспокойтесь обо мне. Надейтесь, что всё будет по-хорошему, если мы во всех своих поступках будем руководиться Разумом, нашим Совершенным сознанием. Не беспокойтесь, что мы будем в разлуке. Если мы будем верить Разуму и руководиться Разумом, то, несмотря на расстояние, мы будем Едины.

Мой духовный привет всем друзьям-коммунарам и артельцам, всегда сочувствующим и разделяющим духовное мировоззрение. Я рад, что в своем заявлении суду о не контрреволюционности подсудимых артельцы упомянули и мою фамилию. Коммунары же всегда помнили меня в заключении и передавали мне еду. За всё приношу мою глубокую благодарность коммунарам и артельцам.

Милый Ваня! Я вчера возвратил пакеты. Там в тетради «О налоге» копия обращения к суду от 20 ноября, поданная в первый день суда, т. е. 20 ноября. С этим письмом передаю копию статьи «Памяти дорогого друга Л. Н. Толстого». Эти

две вещи я хотел зачитать перед судом, но не разрешили, а материал взяли и приложили к делу. Сохраните. Если не придется самому привести в порядок эти мои рукописи, то вам, детям, останется хорошей памятью.

Будем надеяться, что жизнь посредством суда рассеивает нас, чтобы не в одном уголке распространялись великие идеи добра и правды.

С моим дружеским приветом, ваш отец и друг Яков.

Письмо шестое

П. Л. Малороду.

31 мая 1937 года

Ты спрашиваешь маршрут, как из Мариинска попасть ко мне? Этот маршрут я знаю не больше тебя. Если ты читал мое письмо от 14 марта, что третьего марта нас, полсотни с лишним человек, вывели из Мариинского распреда ночью, посадили на две автомашины. Правда, я не мог сесть в машину и последним втиснулся, и мог только стоять около бокового борта; и нас повезли по такой ухабистой дороге, с такими нырками, какой я не видал еще. От сильной раскачки в стороны стал трещать и надламываться боковой борт машины. Я крепко держался за одного человека, а то мог бы перевалиться через борт и поломать себе ноги. Вот и всё моё знание маршрута. Ехали мы часа два с лишним. Сказывают, что от Мариинска 27 километров. Из Мариинска мы ехали не то на восток, не то немного севернее. В общем, ежели, Боже сохрани, пришлось бы мне отсюда идти на Мариинск, то я спрашивал бы у добрых людей дорогу. Хотя спрашивать и не надо, кажется, по ней телеграфные столбы и часто ходят грузовые автомобили. Тебе придется в Мариинске спросить: как добраться до Орлово-Розовского лагпункта. А на этом пункте легко найти больницу. Но придется, пожалуй, прежде чем видеться со мной, побыть у уполномоченного 3-й части, взять разрешение на свидание, а потом ко мне. Может быть, ты застанешь меня работающим в небольшом бедном палисаднике.

Смотри по расстоянию, можешь ли ты донести до меня некоторый груз; если не можешь, то не бери его, а иди налегке. Ведь тебе самому придется нести с собой продукты для себя. Приходи с запасом хороших мыслей, поделиться со мной, буду рад встретить, поговорить; но предупреждаю: на мое гостеприимство не надейся. Несмотря на то, что ты мне близкий друг, а квартиру дать не могу. Придется тебе

ночевать в поселке, не доходя до лагпункта 12 километров.

Ты спрашиваешь о книгах, какие можно принести мне. Если бы весь труд П. П. Николаева, то хорошо бы; но на нет и суда нет.

Письмо седьмое

Детям.

31 мая 1937 года

Седьмого мая я сдал пакет для отправки в Академию наук с некоторыми моими статейками, со всеми копиями моих заявлений в НКВД и копией доклада П. П. Николаева. Всего собралось материала на 360 страниц. И сейчас не знаю, пошло ли это мое письмо или нет. Дал рубль на заказное. Вот и вышло у меня в это время какое-то грустное настроение. Полезли все прежние воспоминания о неразумно проведенной жизни; я стал винить себя, что не всё мог дать вам, детям, что чувствовала моя душа к вам. Мне стало жаль напрасно проведенного времени. Стало больно, что дожил до полсотни лет, а пользы для жизни вряд ли дал, даже не научился правильно излагать мысли. Например: большое желание высказать о Разуме перед учеными, и вдруг много ошибок. 21 мая смотрю через окно в степь. Шагах в 30—40 от окна кусок обработанной земли, соток в двадцать; прошлым летом тут была капуста. Явилось желание поработать чекменем, сделать небольшой посев. Решил договориться об этом. Чувствую, что моя нога гораздо легче прошлогоднего, могу лечиться и работать. Я сказал сестре больницы, которая переговорила с доктором, после чего получился следующий результат: «Посев отдельного кусочка земли никто не разрешит, так как посев делается только общий, машинный; да и не заключенному затевать такое дело на год или хотя бы на одно лето, когда каждую минуту могут взять в этап, а потому работать надо только такую работу, которую можно оставить в любую минуту, а ведь посев требует ухода, требует не меньше четырех месяцев. Если хочешь работать и позволяет здоровье, то вот перед больницей надо привести в порядок цветные клумбы и газоны. Никто здесь принуждать тебя не будет, сколько будет желания и возможности — поработаешь».

Я решил, что дело не плохое, хотя немного могу скрасить для больных, для их глаз, маленький кусочек земли, где в теплые дни прохаживаются и отдыхают под лучами солнца больные заключенные.

22 мая я начал работать лопатой, копать грядки газонов и круглые клумбы, копать ямки и канавки для посадки деревьев. Утомительно работал восемь дней, и результат получился прекрасный: пустырек зацвел зеленью смородины, 5—6 штук березочек, две черемухи, одна боярышница, два десятка малюсеньких пихт, привезенных за десять километров. Одним словом, работой довольны больные, доктор, сестры больницы. Посадка деревьев несколько опоздала, которые только вчера закончил. Смородина цветет, и березки распустили листики. Чтоб деревья принялись, приходилось носить много воды, которой выливаю по 60 ведер за день. Воду ношу в ведрах на коромысле метров за пятьдесят.

Ваня! Ты пишешь, а также и Павел Леонтьевич, что он собирается побыть в наших краях. Если у тебя будет время, то перепиши странички две из первого тома (Николаева), о котором я раньше тебе напоминал. Вложи все мои выписки из книг, они, кажется, в одном месте; вложи мои заметки о Разуме и другие тоже — там же в одном месте всё. Вложи статью о налоге и тетрадку «Защита друзей в суде», тетрадку моей биографии (конспект). Вложи четыре общих тетради, карандашей, ручку, перьев, книгу духовно-монистического понимания мира (Введение), книгу «Руководство для начинающего поэта»; книгу «Как работать с книгой»; «Мозг и душа» Челпанова. Хотел просить еще книги «Путь жизни» и «Круг чтения» и «В чем моя вера». Вот какую уйму я запрашиваю, а съестного ничего не надо.

Письмо восьмое

Детям.

21 июня 1937 года (отрывок)

А пока ничего не присылай; у вас там много работы, я не хочу мешать своими требованиями, тем более я делаю их так, между прочим. Я чувствую себя духовно хорошо, а эти выписки и бумага мне нужны только для того, что хотел кое-что написать. Но если у меня нет работы, то я мыслю, и это превосходная и самая необходимая работа.

А пока до свидания. *Ваш Яков.*

Из воспоминаний И. Я. Драгуновского.

О СУДЕ НАД ОТЦОМ

На суд над нашими друзьями-коммунарами пришли многие члены коммуны, в том числе и я. Чужих, посторон-

них людей не было в зале суда; да и суд проходил в небольшом зале Первого дома НКВД.

На судебные процедуры отец отказался ходить, и его насильно не приносили в суд, но когда судьи объявили, что в заключительном слове подсудимый может говорить всё что угодно: о своих убеждениях, о своей жизни — отец сам пришел в зал суда. Когда очередь дошла до него, он встал и начал говорить.

Голос у отца был чистый, звучный и говорил он ясно, красноречиво, просто и понятно. Во время речи лицо его воодушевлялось, глаза выразительно блестели, богатая мимика украшала его разумную речь.

Отец начал свой рассказ со своего рождения и продолжал его в том же порядке, как записано мною в его биографии. Говорил он около двух часов, и за это время его рассказ дошел до первой мировой войны.

Отец поверил судьям, думая, что в последнем слове он может говорить сколько угодно времени, пока не расскажет о всей своей жизни: о том, как искал смысла жизни, как делал неразумные ошибки, как страдал от этого сам и другие люди; и как он при помощи произведений Л. Н. Толстого нашел истинный Разумный путь жизни, давший ему духовную радость и рождение свыше.

Но судьи остановили его и сказали: «Слушать больше не желаем, и пора выносить приговор». Отец перестал говорить и больше не отвечал на вопросы судей, считая их неразумными.

После вынесения приговора нам всем, коммунарам, было разрешено побеседовать с нашими осужденными друзьями и родными. Я и Павел Леонтьевич долго беседовали с отцом, который был жизнерадостным, спокойным и не обращал внимания на данный ему судьями какой-то «срок».

О ГИБЕЛИ ОТЦА

В 1938 году, когда я сам был арестован и осужден тем же судьей, что судил и отца, на десять лет неволи за такую же странную «контрреволюцию», в какой-то пересыльной тюрьме я услышал от одного заключенного, Коргова, такую весть об отце: «Я знал Якова Драгуновского и находился с ним в одном лагере. Он смело говорил и писал о ненужности насилия, о неразумной жизни людей и еще что-то многое. Был судим за свои слова и писания лагерным судом и приговорен к расстрелу».

ПРИЛОЖЕНИЕ

М. И. ГОРБУНОВ-ПОСАДОВ

ТРИ КОММУНЫ

Отрывки из воспоминаний

Вернувшись весной 1922 года с хутора М. С. Дудченко под Полтавой, мы, почти не задерживаясь в Москве, переехали в подмосковную толстовскую коммуну «Березки», обосновавшуюся в имении того же названия какого-то бывшего помещика — коннозаводчика (в имении был огромный манеж). Самого помещичьего дома уже не сохранилось, остались лишь фундамент и несколько флигелей, где и разместились коммунары. Официально это имение было передано коммуне Наркомземом в целях сохранения стада породистых коз. Эти несчастные козы были бичом коммунаров, так как, во-первых, их породистость вызывала, мягко говоря, сомнение, и, во-вторых, они почти не давали молока, отличаясь в то же время капризным и драчливым нравом. Однако юридически они оправдывали то, что коммуне было передано довольно много пахотной земли, а также участок прилегающего леса.

Состав коммуны в основном определяли толстовцы-интеллигенты.

Мы поселились в бывшем доме управляющего. Главными хозяевами этого дома было семейство Страховых. Отец — Федор Алексеевич Страхов — был одним из близких друзей Л. Н. Толстого. Дворянского, помещичьего происхождения, он сохранил внешне некоторые черты старого русского барина. Но он был человеком необычайной доброты, душевности, философом (может быть, даже по образованию — он написал много философских статей). Главное же его занятие в «Березках» заключалось в работе над «Сводом мыслей Толстого». Это было давно задуманное вместе с В. Г. Чертковым дело: систематизировать и собрать все мысли Толстого по отдельным вопросам жизни. Для этой цели мысли выписывались на карточки, которые и раскладывались по отделам. Занимался он этим в отдаленном от всего имения особнячке. Сейчас этот свод мыслей хранится, кажется, в Толстовском музее. Кроме всего, он был небольшим композитором и положил на музыку различные стихи. Столь же музыкальной была (ныне здравствующая) и его старшая дочь Наталья Федоровна. Она была высока, хороша собой и тоже с барственной осанкой, великолепно исполняла под аккомпанемент отца романсы и старые русские песни. Особенно запомнилось ее экспрессивное исполнение «Песни разбойника» («Что затуманилась, зоренька ясная»). Эта песня, казалось бы, столь далекая от толстовской философии, часто звучала в «Березках». Кроме того, Наталья Федоровна душевно и мастерски писала стихи.

Подобно тому, как мы спасались от голода в Полтаве, Страховы также спасались в Смоленской губернии у крестьянской семьи Пыриковых. Там Наташа вышла замуж за Елизара Ивановича Пырикова, толстовца, довольно начитанного, но просто державшегося человека. У них был сынишка Алеша. Елизар Иванович был одним из главных тружеников «Березок», и я хорошо помню его колоритную фигуру за плугом в совершенно рваном облачении, так как о своем оформлении он мало заботился. Вторая дочка Федора Алексеевича Аля (Елена Федоровна, ныне покойная) была очень ищущим человеком (и в отношении мировоззрения, и в отношении чтения, и искусства), она недурно писала красками пейзажи. На Алечке главным образом держалось козье разнесчастное хозяйство. Алечка была меньше ростом, проще, демократичнее, уютнее. Жили мы вместе со Страховыми удивительно хорошо и дружно. Обычно после трудового дня собирались все вместе, к нам присоединялись другие коммунары, и начиналось на ступенях веранды пение хором хороших песен вроде «Вечернего звона». Каких-то идейных песен, а тем более сектантских, я совсем не помню.

Главой другого дома был А. П. Сергеенко, сын известного единомышленника Толстого журналиста П. А. Сергеенко. Алексей Петрович был смешанного русско-еврейского происхождения и, как это часто бывает в этих случаях, красив собою, так же как и его сестра Марина Петровна, жившая в том же доме. Кроме Алексея Петровича, там жили его близкая подруга Марья Федоровна Николаева и два её взрослых сына Александр и Николай. Насколько помню, Алексей Петрович был главным организатором коммуны и во многом задавал ей тон, хотя в общем все жили очень свободной и независимой жизнью.

Третьей была семья Ивана Константиновича Роше, тоже красивого человека с русыми волосами и бородой. Он был женат, и у него было двое детей. Наконец, подобно нам, в качестве летних гостей жила семья Алексеевых, очень близких друзей нашей семьи, отец которых был управляющим конторой «Посредника».

Все это были интеллигентные люди, без всякой сектантской подкладки, и поэтому жизнь текла как-то особенно свободно и радостно.

Нашелся еще домик, чтобы принять на лето и семью Бирюковых, временно приехавших из Швейцарии в Советскую Россию. Они были уже давно гражданами Швейцарии, но их душевные корни были русскими, да и сочувствие их было на стороне Советской России, почему даже их маленькая усадьба Онекс подвергалась нападению со стороны швейцарских фашистов.

Для меня главной фигурой в семье Бирюковых была и остается средняя дочь — Оля. В то время она была милой девушкой, с румянцем на лице, несколько курносенькая. Она была на несколько лет старше меня, но я был в нее немножко влюблен. Оля Бирюкова всегда была идейным, ищущим человеком. Взяв из

толстовства вегетарианство и антимилитаризм, она в то же время, отчасти под влиянием матери, стала фанатичной атеисткой. Правда, в то время она еще не проявляла резко эту черту своего мировоззрения. Она увлекалась живописью. Мне давала уроки французского языка.

Наконец, в «Березках» были еще экзотические фигуры. Один из них, Иван Дмитриевич Плешков, молодой человек, увлекающийся духовным монизмом, т. е. учением П. П. Николаева, согласно которому существует только духовная субстанция, а материи нет. Он жил уединенно, почти монахом, в удаленной избушке вблизи парка. Он писал роман под претенциозным названием «Наш путь не верен», что служило предметом общих шпилек в его адрес.

Еще более колоритной фигурой был Василий Андреевич Демин, добродушный мужик, весь обросший волосами и полный самой преданной веры в толстовские идеи. После закрытия коммуны «Березки» Василий Андреевич переселился в Ясную Поляну, где служил сторожем. Но миссия его была гораздо шире. В Ясной уже не осталось никого из последователей Льва Николаевича, хотя многие иностранные туристы, посещавшие Ясную, приезжали к могиле не только великого художника, но и великого учителя жизни. Вася решил в какой-то мере заполнить этот пробел. Он попросил кого-то перевести на французский стихи моего отца «Есть на Руси великая могила». Сам Вася по-французски не знал, но перевод был переписан русскими буквами. Вася с большим чувством произносил стихи перед изумленными туристами, которые видели в нем (и отчасти справедливо) истинного пейзана, представителя русского народа, тем более что оформлен он был соответствующе.

Большим событием в общей жизни «Березок» была постановка в школе деревни Жуково, где заведующим был тоже единомышленник Толстого, «Русалки» А. С. Пушкина. Роль мельника там потрясающе играл папа. Одетый в невозможные лохмотья, он таким страшным голосом говорил: «Я ворон, черный ворон», что волосы вставали дыбом. Декорации в стиле «а ля рюсс» написала Оля Бирюкова, особенно импозантен был княжеский терем.

Перехожу к воспоминаниям о другой толстовской коммуне — новоиерусалимской.

Здесь мы прожили лето 1926 года. Председателем её был Вася — Василий Васильевич Шершенев — муж Алечки, о которой я уже писал. Это был необычайно милый, душевный и умный человек. В молодости он и его брат Петя служили милиционерами. Узнав толстовское учение, они бросили эту службу. В коммуне Вася пользовался большим авторитетом и любовью. После его женитьбы на Алечке Страховой семья Шершеневых стала на многие годы самой близкой к горбуновской.

Петя Шершенев был менее ярким человеком, но хорошим художником, по-настоящему понимавшим природу. Состав ком-

муны, в противоположность «Березкам», был лишь наполовину интеллигентским, половина же была крестьянского происхождения. Однако и половины было достаточно, чтобы в коммуне не было сектантского духа, чтобы царила жизнерадостность. Помню, какие устраивались по вечерам капустники. Особенно запомнилось исполнение в лицах романса «Три красавицы небес шли по улицам Мадрида, донна Клара, Долорес и прекрасная Пепита». Этими тремя красавицами были самые огромные мужики, конечно, накинувшие на себя платки и еще какие-то женские атрибуты. Прекрасную Пепиту изображал детина колоссальных размеров — Митрофан Нечесов, густо обросший бородой и полностью по внешности соответствующий своей фамилии. Как известно, красавицам повстречался нищий. Донна Клара дала ему два реала. Долорес — один, «Но Пепита всех бедней, Не имеет ни реала, Вместо золота она Бедняка расцеловала». Нищий взглядом останавливает проходящего торговца цветами: «За букет душистых роз Отдал он все три реала И красавице поднес, что его расцеловала». Успех этого номера был колоссальный.

Как всегда в коммунах, мы, Горбуновы, помогали коммунарам в их работе и, кажется, имели собственный огород.

Здесь в коммуне я впервые познакомился с приехавшим в гости Густавом Адольфовичем Тюрком, сыновья которого Густав и Гюнтер (Гутя и Гитя) накрепко вошли в историю толстовства в последние годы его существования. Густав Адольфович был великолепнейшим и популярнейшим в Москве детским врачом. Он был членом Вегетарианского общества, а также одним из активнейших членов общества «Старая Москва» и «Общества изучения русской усадьбы» (ОИРУ), за что впоследствии жестоко поплатился. В начале 1934 года Густав Адольфович был арестован и сослан на Соловки, где и сгинул в 1937 году.

В те годы под влиянием различных тягостных для меня событий я начал горбиться, и Густав Адольфович прочел мне целую проповедь — «Человек должен ходить и жить прямо, не сгибаясь».

С третьей, наиболее яркой толстовской коммуной «Жизнь и труд» мне пришлось познакомиться в 1928 году. Среди близких людей эта коммуна называлась в то время обычно «Шестаковка». Она находилась в окрестностях Москвы, недалеко от теперешней станции метро «Юго-Западная». Мы провели в этой коммуне вместе с моей матерью около месяца, мало общаясь и с коммунарами, и с природой, так как были поглощены редакционной работой над двумя томами полного собрания сочинений (юбилейного) Л. Н. Толстого, включающими его последний труд — «Путь жизни». Работа эта была огромной — такую массу рукописей и корректур надо было просмотреть, чтобы установить, нет ли в опубликованном ранее тексте ошибок, заполнить места, выброшенные царской цензурой, составить историю писания и печатания. Официально редактором этих томов был мой отец,

фактически работу из-за его болезни и слабости пришлось выполнять нам под руководством Н. Н. Гусева.

«Шестаковка» имела совсем другой характер, чем «Березки» и новоиерусалимская коммуна. Жизнь и быт здесь были гораздо более суровыми. Среди коммунаров было мало интеллигентов, большей частью это были крестьяне, многие из близких сект. Хор исполнял толстовские и полусектантские песни. Руководил коммуной ныне здравствующий Борис Васильевич Мазурин, человек во всех отношениях незаурядный.

Знакомство с расширившейся коммуной после её переезда в 1931 году в Западную Сибирь в моей памяти тесно связано с глубокой дружбой с двумя братьями Густавом и Гюнтером Тюрк, об отце которых я уже рассказывал. Густав (Гутя) окончил физико-математическое отделение МГУ по специальности «астрономия», которой очень увлекался. Еще будучи студентом, он опубликовал статью о статистическом исследовании кратеров на Луне. В университете он познакомился и женился на своей однокурснице Соне. Вместе они составляли эффектную пару, на которую все оглядывались: он высокий, курчавый брюнет, она миловидная малышка с золотистыми вьющимися волосами. Я впервые увидел его, когда он стал приходить к папе. Сначала он не обращал на меня никакого внимания, но, узнав о моей любви к Блоку, увидев страшный портрет его последних лет, висевший над моим столом, он признался в такой же глубокой любви к поэту. Это быстро вызвало преданную дружбу, которая длилась почти сорок лет.

Быстро к нам с Гутей примкнула его жена Соня. Мы решили сьездить в блоковское Шахматово. В то время там никто не бывал. Эта поездка глубоко врезалась в мою память. Не увидев удивительную шахматовскую природу, овраг с ручьем, где жили болотные попики, зубчатые ели на горизонте, нельзя до конца понять блоковскую поэзию природы.

Вскоре вернулся из тюрьмы Гитя, осужденный за отказ от военной службы. Он был на несколько лет моложе Гути, значительно ниже его ростом. Братья, во многом схожие между собой, отличались тем, что для Гути голос его «я» был святым и оправдывающим все его поступки. Гитя же был человеком долга. Жить поэтому ему было нелегко. Гитя был гораздо большим толстовцем, чем Гутя. Согласившись с идеями Толстого, он отказался не только от мяса и рыбы, но и от кожаной обуви, молока и яиц. Это нисколько не мешало ему жить в остальном полнокровной душевной жизнью. Он был поэтом, неплохо играл на рояле.

В начале 30-х годов братья жили в Лосиноостровке и занимались столярничеством. Но жизнь в Москве при их убеждениях казалась им бесперспективной. Ещё в 1928 году был арестован весь кружок молодежи Вегетарианского общества во главе с секретарем общества Алексеем Ивановичем Журбиным (мужем моей старшей сестры Кати). Уцелел я один, может быть, потому что еще сохранялся некоторый авторитет у отца. В 1929 году было

уничтожено и само общество. Постановления о его закрытии не было, а просто Моссовет отказал в продолжении аренды занимаемого им помещения. Пришла пора и толстовских коммун. После того как в 1931 году коммуна «Жизнь и труд» переселилась из Подмосковья в Западную Сибирь и закрепилась на новом месте, мои дорогие Тюрки тоже решили двинуться в путь. Они договорились с коммуной, что им дадут отдельный участок земли, летом они будут жить там, заниматься ручным земледелием и сами обеспечивать себя овощами и даже хлебом (хлебный огород!), а зимою жить в коммуне и преподавать в школе — Гутя и Соня, как окончившие физико-математическое отделение МГУ, точные и естественные науки, Гитя — гуманитарные науки.

Вспоминаю отъезд Тюрков в коммуну в феврале 1933 года. На вокзале их провожали их мать, милейшая Надежда Карловна, сестра Леночка и я с женой. Было грустно смотреть на Надежду Карловну,она не могла не предчувствовать, что, может быть, расстается с сыновьями навсегда. Отца, Густава Адольфовича, на вокзале не было. Все мы, москвичи, чувствовали, что отъезд в коммуну для Тюрков связан с огромным риском, отговаривали их, но они были непреклонны.

Выделенный им участок представлял собой маленькую долину, отделенную от коммуны небольшим пригорком. Долинка выходила прямо на берег Томи. Там они и построили себе собственными руками деревянную хибарку, с минимальным запасом вмещавшую в себя трех поселенцев. Как только жизнь Тюрков на новом месте относительно наладилась, меня с женой Ниной потянуло их навестить, да и посмотреть коммуну.

В Сталинске (Новокузнецке) нас встретил Гитя. Показал нам этот город. Каким-то образом вечером мы проникли на территорию металлургического завода и видели собственными глазами, как разливалась расплавленная сталь, озаряя все вокруг ослепительным блеском. На другой стороне Томи, где расположен старый Кузнецк с домом Достоевского, была изба коммуны, где мы и переночевали. Утром мы отправились на телеге в коммуну. Дело было в начале лета, и погода стояла отличная.

Мы проехали, не останавливаясь, через коммуну и оказались в хибарке Тюрков, наскоро сколоченной из досок с деревянной крышей.

Первым, задолго до остальных, вставал Гитя и отправлялся с мотыгой на рыхление и прополку огорода. Время от времени он отвлекался и заносил в записную книжку строчки стихов или мысли. Потом поднимались и остальные. Для нас с Ниной огромное наслаждение было купание в бешено несущейся Томи, вцепившись в сплавляющиеся по реке бревна. На крутом берегу Томи проступали пласты каменного угля (после ликвидации коммуны здесь были заложены шахты).

Один раз Гутя устроил нам прогулку в тайгу. Гитя, как более совестливый, не отрывался от работы. Тайга была южная, с мощными деревьями, с завалами, и путешествие было сплош-

ным удовольствием. Часто встречались кусты красной смородины со сказочно большими ягодами. А дальше пошли сплошные заросли малины, оторваться от которой было почти невозможно.

В долинку заглядывали и друзья Тюрков, особенно тогдашний председатель коммуны Митя Пащенко, умнейший парень и прекрасный поэт. Был он самородком. Приходили ученики Тюрков. Устраивались вечером маленькие концерты с гитарой. В этом принимала участие Нина. Читали стихи, читал и я, не имея ни малейшего успеха.

Часто мы ходили в коммуну. Там было множество близких знакомых, но, конечно, еще более незнакомых людей. Из близких прежде всего были Алексеевы, друзья нашей семьи с дореволюционных времен. Они переехали туда всей семьей вместе со своей матерью Верой Ипполитовной. Но в наш приезд её уже не было — одной из первых Вера Ипполитовна была похоронена на кладбище коммунаров. Трогательна была семья Левы Алексеева и его жены Кати, приютивших старика Евгения Ивановича Попова, в то время уже совсем ослепшего. Он был горячо привязан к их маленькой дочке.

Какие еще люди там встречались? Прежде всего упомяну ныне здравствующую Женечку Савельеву-Литвинову. Она была названной дочкой моих родителей. Когда Женя жила в Ленинграде и училась в тамошней сельскохозяйственной академии, она увлеклась чтением Толстого и приходила на доклады моего отца во время его приездов в Ленинград. Обычно он выступал на вечерах памяти Толстого вместе с А. Ф. Кони. Папа очень полюбил Женю, человека с чудесной, чистой, любящей всех — и людей, и животных — душою. Потом она познакомилась и с мамой, и у них была частая переписка. В коммуне она работала учительницей в школе, но коммуна использовала и её агрономические знания.

Чудесным человеком была и Анна Степановна Малород. Маленького роста, с курносым носиком, она была одним из любимейших учителей школы коммуны. У нее был небольшой поэтический дар, как и музыкальный. Она пела, аккомпанируя себе на фортепьяно, положенные ею самой на музыку собственные и чужие стихи. Человек она была удивительно добрый.

Побывали мы и в «филиалах» коммуны, где жили сектанты. Встречали нас дружественно, но эти люди нам были не так близки.

Пришлось побывать и на вечернем собрании коммунаров. Я выступил там с небольшим докладом о новостях среди единомышленников в Москве, в стране и за рубежом. Выслушали меня, показалось мне, не очень внимательно, тут было много людей иного происхождения, чем члены Московского Вегетарианского общества, много с периферии, больше простые крестьяне, многие явно с сектантским уклоном.

После моего доклада Боря Мазурин предложил спеть. Вот тут народ подтянулся, и пение явно доставило всем большое удо-

вольствие. На меня же оно произвело несколько тягостное впечатление. В репертуаре были и обычные для московских толстовцев песни, многие на слова моего отца, но были и чисто сектантские, вроде «Коль славен наш Господь в Сионе». Вряд ли люди даже толком знали, что такое этот Сион, но пели с большим чувством. После этого пения я высказал Боре мое впечатление. Что-то гипнотическое чудилось мне в этом пении. Боря возразил мне: «Но ведь Анна Константиновна Черткова сама любила эти песни, и музыка многих из них написана ею». Что мне было на это ответить? Конечно, Чертковы были гораздо более верующими в Бога, чем семья Горбуновых, да и ближе знавались с сектантством. Но для меня это не было аргументом.

Пришел конец наших отпусков, и нас с Ниной сердечно проводили в обратный путь. Здесь мы плыли на баркасе, и провожать нас на берег вышла почти вся коммуна.

Тюрки горячо полюбили школу, своих учеников. Особенно Гутя. Семейная жизнь его далеко не удалась, своих детей не было, и он всю любовь отдал ребятишкам, встречая у них ответное горячее чувство. Он рассказывал им массу историй из прочитанного им когда-либо — об астрономии и звездах, устраивал игры, всего не перечесть. Ребята не отходили от него ни на шаг, цеплялись за него, гордились возможностью идти с ним за руку, девчонки, конечно, влюблялись. Гитя и Соня были сдержаннее, но их тоже очень любили, как, впрочем, и весь учительский персонал школы.

Через год после нашей поездки, летом 1935 года, Гутя был в Москве и добился (с помощью председателя Политического Красного Креста Екатерины Павловны Пешковой и помогавшей ей моей сестры Кати) разрешения на свидание с Густавом Адольфовичем. Свидание состоялось в Кеми, куда отца специально для этого привезли с Соловков. А еще через год, весной 1936 года, арестовали вместе с руководством коммуны Гутю и Гитю. Они долго сидели в одиночках, отрезанными от всего мира, и ровным счетом ничего не знали, что делается в стране, в коммуне. Конечно, им предъявляли дикие обвинения. Гутю винили в том, что он был японским агентом. В 1940 году коммунаров снова свезли из разных лагерей и судили повторно, чтобы увеличить сроки.

На этом кончу свой рассказ о коммуне и моих друзьях Тюрках. Они пробыли в лагерях все 10 лет, к которым были приговорены. К счастью, много лет они были вместе и поддерживали друг друга. Не буду рассказывать все ужасы, которые они испытали, сейчас об этом много уже написано. Гитя вышел из лагеря тяжело больным чахоткой. Он прожил еще несколько лет с Галей, на которой женился за год до ареста, в семейной теплоте, и умер в Бийске, оставив сиротами двух девочек. Гутя же сразу женился на своей бывшей ученице Тане, которая ждала его все 10 лет. У них было трое детей. Умер он в Киргизии в 1968 году, оставив интереснейшие дневники и воспоминания о коммуне, о школе.

БЕСЕДА

группы единомышленников Льва Николаевича Толстого в составе: В. В. Янова, П. И. Фролова, Д. И. Гришина, В. И. Фролова с антирелигиозником Ф. М. Путинцевым 8 февраля 1925 года в Песочне, Бежицкого уезда, Брянской губернии *

Вопрос 1. Что вы считаете самым важным в своем учении?

Ответ 1. Самым важным считаем для себя объяснение смысла нашей жизни.

Вопрос 2. В чем смысл и цель жизни?

Ответ 2. Конечная жизнь человека непонятна и неизвестна людям, но разумный смысл жизни должен быть для людей.

Вопрос 3. Значит, для вас цель достижения райских блаженств загробного существования отсутствует?

Ответ 3. Да, отсутствует, о загробной жизни знать мы ничего не можем.

Вопрос 4. На чем основывается ваше учение?

Ответ 4. Учение наше основывается на мудрости общечеловеческой и, главное, на стремлении каждого отдельного человека к разумной и правильной жизни.

Вопрос 5. Что вы считаете общечеловеческой мудростью?

Ответ 5. Общечеловеческой мудростью мы считаем то самое существенное учение, которое ясно и просто, доступно для всех объясняет смысл человеческой жизни и помогает руководиться в ней. Это определение общее. У всех народов всегда была такая мудрость. Самым же близким для нас, ясно выраженным, является христианское учение.

Вопрос 6. Считаете ли вы приемлемым христианское учение для всех граждан одинаково?

Ответ 6. Христианское учение — неизбежный путь для всех людей; только в нравственных истинах этого учения совершается прогресс человечества.

Вопрос 7. Почему человечество не шло этим, по-вашему, неизбежным путем?

Ответ 7. Мешало этому заблуждение людей и то, что в его существенных чертах христианство не было понято и искажено церковью. Но человечество все же подвигалось в этих рамках: уничтожение рабства, голоса против войн и смертных казней и даже социальное учение — лишь односторонне понятое христианство.

Вопрос 8. Злоумышленно или не злоумышленно искажено христианское учение церковью?

Ответ 8. Этого мы знать не можем.

Вопрос 9. Можно сопротивляться злоумышленникам и злу?

Ответ 9. Можно, уничтожая его в корне только добром.

Вопрос 10. Считаете ли вы злом собственность?

Ответ 10. Христианин собственности не признает, но считает неотъемлемым правом каждого человека пользоваться произведениями своего труда.

* Печатается по изданию: «Антирелигиозник», 1928, № 7, июль. С. 52—55.

Вопрос 11. Считаете ли вы злом брачные половые отношения?

Ответ 11. Половые отношения — зло, потому что потакательство животным страстям препятствует полному развитию духовного сознания в человеке.

Вопрос 12. Считаете ли вы злом сквернословие, табакокурение и употребление алкоголя, хотя бы в лекарствах и перед обедом по предписанию врача?

Ответ 12. Да, безусловно. Даже не признаем пользы употребления для так называемого аппетита или лечения.

Вопрос 13. Считаете ли вы злом употребление мясной пищи?

Ответ 13. Да.

Вопрос 14. Считает ли Василий Васильевич Янов допустимым употребление домашних животных для работы?

Ответ 14. Лично В. В. Янов не считает возможным употреблять скот даже для работы.

Вопрос 15. Считает ли В. И. Фролов допустимым работу на домашних животных?

Ответ 15. В. И. Фролов считает допустимым и работает на лошади.

Вопрос 16. Считаете ли вы допустимым насилие и убийство животных с какой бы то ни было целью?

Ответ 16. Нет, не считаем.

Вопрос 17. Как в таком случае бороться человеку, например, с волком или вшой?

Ответ 17. Чистота вообще нужна и желательна. Она же является и лучшим средством против насекомых. Группа от своего имени заявляет, что с волками близких сношений не имела и не надеется иметь.

Вопрос 18. Считает ли В. В. Янов допустимым для себя употребление молочных продуктов?

Ответ 18. В. В. Янов не считает возможным для себя употребление молочных продуктов и яиц.

Вопрос 19. Считает ли В. В. Янов допустимым ношение меховых или шерстяных, выделанных из шерсти и кожи животных, одежд?

Ответ 19. В. В. Янов на этот вопрос ответил: «Насилие над животными признаю злом, даже употребление кожи и шерсти с мертвых животных считаю отвратительным».

Вопрос 20. Считаете ли вы злом существование какой-либо власти или партии?

Ответ 20. Деление людей на властвующих и подчиненных и разделение их на партии, занятые устройством жизни других, считаем безусловно злом.

Вопрос 21. Считаете ли вы допустимым в данное время борьбу с белогвардейцами и уголовными преступниками путем насилия?

Ответ 21. Раз мы признаем всех людей братьями и желаем им добра, то считаем единственно возможным исправлять людей только добром и разумным убеждением.

Вопрос 22. Считаете ли вы допустимым для себя участие в классовой борьбе и гражданской войне?

Ответ 22. Ни в каком случае, ни в какой войне.

Вопрос 23. С уничтожением власти исчезнет ли экономическое неравенство?

Ответ 23. Власть только и нужна для поддержания экономического неравенства. Если бы было равенство, не было бы и власти.

Вопрос 24. Значит, советская власть существует не для уничтожения экономического неравенства, а для его поддержания?

Ответ 24. Да, как и всякая другая.

Вопрос 25. Считаете ли вы злом политэкономию и юридические науки?

Ответ 25. Есть науки ложные и есть истинные. Истинными науками мы считаем все те: 1) которые соединяют людей в любви (науки религии и нравственности), 2) прикладные науки, помогающие человеку в борьбе с природой. Такие же науки, как юридические и политическая экономия, считаем ложными, потому что они оправдывают насильнический характер жизни.

Вопрос 26. Ваш взгляд на медицину?

Ответ 26. Постольку, поскольку медицина будет свободной, она может принести пользу, но при настоящем устройстве общества, когда она поддерживается государственным насилием, она приносит больше вреда, чем пользы.

Вопрос 27. Ваш взгляд на астрономию?

Ответ 27. Практический: узнавать время и страны света.

Вопрос 28. Как вы понимаете бога? Как отдельное существо, как личного бога?

Ответ 28. Личного бога не признаем. Признаем только высшее духовное, любовное начало всего, доступное человеку в высших проявлениях его природы: разум, совесть, любовь.

Вопрос 29. Признаете ли вы христа сверхъестественным существом?

Ответ 29. Нет.

Вопрос 30. Признаете ли вы полезным существование фабрик, заводов и железных дорог?

Ответ 30. Все то, что основано на насилии и поддерживается им, не помогает благу человеческой жизни. Признаем желательным устройство фабрик и заводов только на свободных началах.

Вопрос 31. Ваш возраст?

Ответ 31. Янов — 27 лет, Гришин и В. И. Фролов — 22 года, П. Фролов — 20 лет.

Вопрос 32. Грамотность, социальное положение?

Ответ 32. Образование — начальное. П. Фролов учился 4 года в ремесленно-технической школе. В. Фролов — рабочий фабрики 10 лет, Гришин, Янов — крестьяне. Янов работал на заводе 4 года слесарем, кузнецом, Фролов — 6 лет конторщиком.

Вопрос 33. Состоял ли когда-либо в каких-либо политических партиях?

Ответ 33. В. Янов состоял в партии коммунистов с марта месяца 1917 года до укрепления советской власти в 1918 году.

Вопрос 34. Семейное положение?

Ответ 34. Все, за исключением Карпутина, который во время беседы отсутствовал, холосты.

Вопрос 35. Адрес?

Ответ 35. Жители Большой и Малой Песочни.

УСТАВ КОММУНЫ «ЖИЗНЬ И ТРУД». 1931 ГОД.*

Цели и права коммуны.

I

1. На основе действующих узаконений о сельскохозяйственной кооперации по сему Уставу учреждается сельскохозяйственная коммуна под наименованием «Жизнь и Труд». Коммуна действует в Кузнецком районе Сибирского края.

Земельный участок состоит из участка земли площадью... Местонахождение Совета Коммуны на участке.

2. Коммуна имеет своей целью путем организации единого хозяйства на основе полного обобществления земли, жилищ, труда, инвентаря и прочих средств производства удовлетворять жизненные и культурные потребности своих членов.

3. Для достижения своих целей Коммуна вправе:

а) по своему усмотрению хозяйственно использовать имеющиеся в ее распоряжении землю, постройки и прочее имущество;

б) устраивать и приобретать подсобные производственные предприятия и мастерские и разные технические сооружения, хозяйственно необходимые;

в) возводить хозяйственные и жилые постройки для своих членов;

г) организовывать сбыт произведений своего труда;

д) содействовать распространению общих и сельскохозяйственных знаний среди членов Коммуны, путем устройства школ, библиотек, детских ясель и садов и прочих культурно-просветительных кружков.

4. Коммуна пользуется всеми правами юридического лица, и может, в соответствии с задачами Коммуны (§ 3), совершать всякого рода сделки, выдавать, получать и учитывать векселя, заключать договора, приобретать и отчуждать права по имуществу, принимать пожертвования и прочее.

5. Коммуна имеет право, по постановлению общего собрания, вступать членом в Союзы, секции, бюро колхозов и другие объединения и общественные организации, цели которых соответствуют задачам Коммуны.

6. Обязательства Коммуны обеспечиваются всем принадлежащим ей имуществом, а также дополнительной ответственностью членов, согласно (§ 13) сего Устава.

7. Коммуна имеет штамп и печать с надписью своего наименования.

---

* Печатается по рукописной копии 1930-х годов. Собр. И. Я. Драгуновского.

II

Состав Коммуны; права и обязанности ее членов

8. Членами Коммуны могут быть трудящиеся, достигшие 18-летнего возраста, занимающиеся, а равно приступающие к занятию сельским хозяйством или связанного с ним промысла, разделяющие взгляды Л. Н. Толстого и отрицающие всякое убийство не только человека, но и животного, а также отрицающие употребление дурманов: водки, табака и др., и мяса.

9. Прием членов в Коммуну производится общим собранием Коммуны с соблюдением (§ 43) сего Устава.

Примечание 1: Для вступления в Коммуну устанавливается испытательный срок не свыше 6 месяцев, в течение которого вступающий участвует в работах Коммуны наравне с членами. В случае непринятия его в члены, он обязан покинуть Коммуну в 2-недельный срок, а имущество, внесенное им в Коммуну, возвращается ему натурой. Расчет Коммуны с ним за все время работы производится согласно установленных в Коммуне правил оплаты труда.

Примечание 2: Дети вступающих в Коммуну членов, а равно находящиеся на их иждивении несовершеннолетние члены семьи, зачисляются в состав членов Коммуны по достижении ими 18-летнего возраста по решению общего собрания.

10. Каждый член Коммуны имеет право участвовать в общем собрании Коммуны с решающим голосом.

11. Каждый член Коммуны обязан принимать участие в работах Коммуны личным трудом, исполнять Устав, постановления общего собрания, хозяйственные распоряжения Совета Коммуны и правила внутреннего распорядка в Коммуне.

12. Каждый член Коммуны, вместе с остальными ее членами, несет по обязательствам Коммуны дополнительную ответственность своим вкладом и личным накоплением, которое, однако, не может превышать двукратной стоимости пая. Дополнительная же ответственность наступает в случае несостоятельности при ликвидации Коммуны.

III

Порядок и условия приема членов Коммуны

13. Входящий в члены Коммуны ликвидирует свое личное хозяйство и передает Коммуне как денежные средства, так и принадлежащее ему имущество.

Передаваемое в Коммуну вступающим в нее членом имущество оценивается и принимается по усмотрению общего собрания в полное распоряжение Коммуны.

Примечание: Коммуна вправе принимать только нужное.

14. Внесенное членами в Коммуну имущество и денежные средства зачисляются члену: 20 рублей безвозвратным вступительным взносом; 100 рублей паевым взносом, и остающаяся сумма зачисляется вкладом вступающего, который (вклад) может быть возвращен члену в случае выхода или исключения члена, или ликвидации Коммуны.

Примечание 1: В случае отсутствия у вступающего в члены Коммуны имущества или других средств для полного покрытия паевого взноса, последний (паевой взнос) по решению общего собрания может вноситься в рассрочку.

15. Вступающий в Коммуну член несет ответственность и по тем обязательствам, которые возникли до его вступления.

IV
Порядок и условия выбытия и порядок исключения членов

16. Каждый член Коммуны имеет право выйти из Коммуны, подав о том письменное заявление в Совет Коммуны за месяц до выхода.

17. Член Коммуны, нарушающий устав, не подчиняющийся постановлениям общего собрания и вообще действующий в ущерб Коммуне, может быть исключен из Коммуны по постановлению общего собрания с соблюдением (§ 43) сего устава.

18. Добровольно выбывающий или исключенный член Коммуны имеет право на получение в сроки, установленные общим собранием Коммуны, обратно своих паевых взносов и вкладов, внесенных им в Коммуну за исключением части, за счет которой покрывается падающий на его долю убыток Коммуны, определяемый на конец отчетного года, в который член выбыл. Окончательный расчет с каждым выбывающим из Коммуны членом производится в месячный срок по утверждении общим собранием годового отчета за тот год, в котором член выбыл. С каждым выбывающим или исключенным членом производится расчет за затраченный им труд в Коммуне по правилам, установленным общим собранием Коммуны.

V
Средства Коммуны

19. Средства Коммуны составляются из взносов и вкладов членов, доходов от хозяйственных операций, займов и других источников.

20. Средства Коммуны разделяются на капиталы: основной (делимый и неделимый), запасный и особые (специальные).

21. Делимый капитал образуется из паевых взносов членов, вкладов, отчислений от прибылей и иных поступлений.

Примечание: часть делимого капитала, составившаяся из ежегодных отчислений от прибылей, не подлежит выдаче выбывающим членам, а при ликвидации Коммуны получает назначение по усмотрению общего собрания.

22. Неделимый капитал создается для усиления обобществленных средств Коммуны и придания большей устойчивости образуемым в Коммуне капиталам. Неделимый капитал образуется из ежегодных отчислений из чистой прибыли Коммуны в размере 20 %, безвозвратных государственных и кооперативных ссуд со специальным назначением в неделимый капитал и других отчислений.

23. Для покрытия убытков от стихийных бедствий и случайных событий — недорода, пожара, хищений и т. п., а также убытков по хозяйственным операциям, Коммуна образует запасный капитал, в который производится ежегодно отчисление от чистой прибыли Коммуны в размере 20 %. По достижении запасным капиталом размера паевой стоимости капитала дальнейшее отчисление в запасный капитал из прибылей может быть прекращено по постановлению общего собрания.

24. Коммуна может образовывать также специальные капиталы, предназначаемые для устройства специальных предприятий и производства специальных операций Коммуны (мелиоративные работы и др.); такие капиталы образуются и расходуются по особым постановлениям общего собрания.

25. Кроме того, создается амортизационный фонд из ежегодного отчисления из общих доходов хозяйства в размере изнашиваемой доли имущества (построек, мертвого и живого инвентаря и т. п.), участвующего в производстве. Амортизационный фонд расходуется, может находиться в хозяйстве Коммуны в форме таких запасов (продуктов и материалов), которые в случае надобности могли бы быть реализованы без ущерба хозяйственной деятельности Коммуны, или же храниться на текущем счету, или вкладом в кредитных учреждениях.

26. Для усиления своих средств Коммуна может заключать займы у кооперативных организаций, государственных и иных учреждений. Займы заключаются Советом Коммуны в размерах и на условиях, определяемых общим собранием. Капиталы Коммуны не подлежат отчуждению по долгам и обязательствам отдельных ее членов.

VI

Организация хозяйства Коммуны и порядок производства работ

27. Хозяйство Коммуны ведется по организационно-хозяйственному плану, составляемому на ряд лет и по ежегодному производственному плану, утвержденному общим собранием.

Порядок производства работ

28. Все работы в хозяйстве Коммуны производятся личным трудом ее членов согласно правилам о производстве работ, установленным общим собранием.

29. Наемный труд, как правило, в Коммуне не допускается. Привлечение к работам в Коммуне лиц со стороны допускается в исключительных случаях, когда в Коммуне не хватает рабочей силы на производство срочных хозяйственных работ (например: уборка сена, хлебов, молотьба). Кроме того, Коммуна может приглашать для постоянной работы специалистов по сельскому хозяйству, для работы на промышленных и подсобных производственных предприятиях, специалистов по счетоводству и прочих лиц со специальными познаниями, необходимых для ведения дел Коммуны.

Примечание: Постоянно и временно работающие в Коммуне по найму лица получают вознаграждение в соответствии с существующими законами об оплате труда.

30. Распределение на работы производится Советом Коммуны или специально назначенным Советом лицом, причем каждому предоставляется работа по его силе и здоровью, навыкам и способностям.

Ни один член Коммуны, независимо от его выборной должности или специальности, не может отказываться от несения физической работы. Освобождение от таковой навсегда или на длительные сроки допускается лишь по постановлениям общего собрания. В случае временной утраты трудоспособности (инвалидность, болезнь, беременность и проч.), заявление о правильном назначении на работу разрешается Советом. В случае несогласия члена с решением Совета вопрос передается на решение общего собрания. Денежные и иные выдачи временно потерявшим трудоспособность определяются общим собранием. При этом беременные женщины на время прекращения ими работ получают выдачи полностью наравне с работающими (средняя величина вознаграждения за труд).

VII

Правила о вознаграждении за труд членов Коммуны

31. Вознаграждение за труд членов Коммуны производится пропорционально числу рабочих дней, затраченных членом в хозяйстве Коммуны. Оплата труда производится с соблюдением полного равенства для всех членов.

32. Расценка рабочей силы членов Коммуны производится заблаговременно в начале хозяйственного года с учетом хозяйственных возможностей и с окончательным расчетом в конце хозяйственного года.

33. Содержание детей и трудоспособных членов Коммуны, а также удовлетворение других общих нужд ее (культпросветработа, медицинская помощь и проч.) организуются за общие средства Коммуны, согласно правилам внутреннего распорядка, утвержденным общим собранием.

VIII

Порядок распределения доходов и покрытия убытков

34. Расходы Коммуны производятся согласно смете, утвержденной общим собранием Коммуны.

35. Остаток, получаемый согласно годовому отчету за покрытием всех расходов (в том числе и оплата труда) и амортизационного отчисления, составляет чистую прибыль коммуны.

36. Чистая прибыль, полученная согласно годовому отчету, распределяется следующим образом: 20 % — отчисляется в неделимый капитал; 20 % — в делимый, 20 % — в запасный; 10 % — на культурные просветительные нужды и улучшение быта членов. Остальные 30 % на дополнительную оплату труда, которая распределяется между членами пропорционально числу затраченных дней.

37. Если Коммуна потерпит убыток, то таковой покрывается за счет запасного капитала, а в случае его недостачи по усмотрению общего собрания — из других капиталов Коммуны (за исключением неделимого).

IX

Управление делами Коммуны

38. Делами Коммуны управляют:

а) общее собрание; б) Совет Коммуны

А) Общее собрание:

39. Общее собрание членов Коммуны является высшим органом управления Коммуны, ему принадлежат общее руководство делами Коммуны и разрешение всех важнейших, возникающих в жизни Коммуны, вопросов.

40. В частности, общему собранию принадлежит:

а) утверждение инструкций Совету Коммуны и ревизионной комиссии;

б) утверждение годового отчета Совета, сметы расходов и доходов производственного плана;

в) прием и исключение членов Коммуны;

г) разрешение жалоб, приносимых в Совет и ревизионную комиссию;

д) распределение чистого дохода, получаемого в результате года;

е) разрешение вопросов об изменении устава и прекращении деятельности Коммуны, а также разрешение всякого рода вопросов, касающихся организации и деятельности Коммуны и не отнесенных по уставу в круг ведения Совета и ревизионной комиссии.

41. Общие собрания бывают очередные и чрезвычайные. Очередные собрания созываются в сроки, определенные общим собранием, но не реже 6 раз в год. Чрезвычайные собрания созываются Советом по инициативе его собственной, ревизионной комиссии, или по требованию одной пятой общего состава членов Коммуны.

42. Общее собрание действительно при наличии на собрании не менее половины общего числа полноправных членов Коммуны. Решения общего собрания выносятся простым большинством голосов открытым голосованием. Постановления общего собрания обязательны для всех членов Коммуны.

Примечание. Для изменения уста́ва утверждений правил об оплате труда, решения вопросов об оплате труда, решения вопросов о приеме и исключении членов, отзыве членов Совета и ревизионной комиссии, о ликвидации Коммуны необходимо присутствие трех четвертей членов Коммуны и согласие 2/3 голосов всех членов Коммуны.

43. Если созванное собрание не состоится за неприбытием должного числа членов, то вторичное собрание назначается не ранее как на следующий день и не позднее, чем через две недели. Состав вторичного собрания законен при всяком количестве явившихся членов.

Примечание: данная статья не распространяется на общее собрание, созываемое по вопросам, предусмотренным в примечании к § 42 устава.

44. Члены Коммуны должны быть своевременно извещены о времени и месте каждого общего собрания, а равно и о вопросах, надлежащих его обсуждению. Общее собрание открывается председателем совета и ведется особым председателем, избираемым каждый раз общим собранием.

45. Заседаниям общего собрания обязательно ведутся протоколы, подписываемые председателем и секретарем собрания и не менее чем тремя присутствующими членами Коммуны.

46. В общем собрании каждый член может заявить особое мнение и требовать внесения его в протокол.

Б). Совет:

47. Совет Коммуны является исполнительным органом Коммуны и заведует ее делами, действуя согласно Уставу. Совет Коммуны без особой на то договоренности ведет все дела и сношения с государственными учреждениями, различными организациями и частными лицами и заключает от имени Коммуны сделки и договора.

48. Члены Совета избираются открытым голосованием на общем собрании из среды членов Коммуны сроком на год, не менее 5 человек. К членам Совета избираются 3 кандидата, которые заменяют членов Совета во время их отсутствия или выбытия.

Председатель Совета выбирается общим собранием.

Примечание: в состав Совета и ревизионной комиссии не могут входить одновременно лица, состоящие между собой в родстве до третьей степени включительно.

49. Обязанности членов Совета распределяются между ними по взаимному соглашению, при этом обязанности казначея не могут быть совмещены с обязанностью счетовода.

50. Заседания Совета считаются состоявшимися при наличии не менее трех его членов, в том числе председателя или его заместителя. Дело в Совете решается простым большинством голосов. Постановления Совета заносятся в Книгу протоколов и подписываются всеми присутствующими членами.

51. Совет обязан давать отчеты общему собранию о положении дел Коммуны в сроки, определяемые общим собранием. Годовой отчет Совета должен быть составлен в письменном виде и представлен на рассмотрение общего собрания с заключением ревизионной комиссии.

52. Жалобы на действия Совета приносятся на общее собрание. Денежные документы, обязательства и доверенности, выдаваемые Коммуной, должны подписываться председателем и одним из членов Совета. Члены Совета, нарушившие свои обязанности, отвечают совместно за все убытки, понесенные Коммуной по их вине.

X

Ревизионная комиссия

53. Ревизионная комиссия является органом контроля хозяйственно-финансовой деятельности Совета. Она избирается общим собранием сроком на 1 год в составе 3 членов. К членам избираются кандидаты. В права и обязанности ревизионной комиссии входят: фактическая ревизия кассы всего имущества и всех операций коммуны, проверка счетоводства, оправдательных документов, текущей отчетности Совета с представлением по нему заключения общему собранию.

54. Ревизионная комиссия дает отчет о своей деятельности общему собранию не реже 2 раз в год.

55. Ревизионная комиссия имеет право производить ревизии по своей инициативе, по поручению общего собрания или по письменному требованию (с указанием причины) 1/10 части состава Коммуны.

Примечание 1: о каждом своем действии ревизионная комиссия составляет надлежащий акт, а свои заключения сообщает Совету Коммуны для принятия соответствующих мер.

Примечание 2: Совет Коммуны, служащие и все члены Коммуны обязаны представлять ревизионной комиссии, по ее требованию, все имеющиеся у них документы и сведения, относящиеся к ревизии.

XI

Счетоводство и отчетность

56. Отчетный год Коммуны считается с 1 января по 31 декабря включительно. Коммуна обязательно ведет счетоводство. Форма счетоводства утверждается на общем собрании. Не позднее 3 месяцев по окончании отчетного года Совет Коммуны должен составить письменный годовой отчет, с указанием: а) всех капиталов Коммуны; б) общего прихода и расхода продуктов, а также денежных сумм; в) наличного имущества; г) счета долгов Коммуны; д) подробного отчета о расходах Коммуны; е) счета прибылей и убытков; ж) баланса Коммуны.

Вместе с годовым отчетом должна быть представлена также смета на будущий год.

57. Отчет по книгам, документам и наличному имуществу проверяется ревизионной комиссией, которая на отчете излагает свое заключение и докладывает его общему собранию.

58. Отчет должен быть составлен и подписан всеми членами Совета, а также проверен ревизионной комиссией не позднее как за две недели до общего собрания, которому этот отчет должен быть представлен. В течение двух недель отчет должен быть в определенные часы открыт членам Коммуны для ознакомления.

XII

Порядок изменения и дополнения Устава

59. Общее собрание членов Коммуны может, при соблюдении § 44, изменить и дополнить настоящий устав.

60. О всех изменениях в уставе Совет Коммуны обязан немедленно довести до сведения учреждения, зарегистрировавшего устав Коммуны. Изменения приобретают законную силу только после регистрации их в регистрирующем их органе. В развитие настоящего устава Коммуной вырабатываются правила внутреннего распорядка.

XIII

Ликвидация Коммуны

61. Коммуна прекращает свои действия по постановлению общего собрания членов Коммуны, с соблюдением § 43 сего устава.

62. Порядок прекращения деятельности Коммуны, срок ликвидации, порядок работы ликвидационной комиссии и удовлетворение претензий кредиторов определяется общим собранием.

63. Возврат членам Коммуны внесенных ими паев производится не ранее 3 месяцев со дня публикации о назначении к ликвидации. По уплате долгов Коммуны, по возвращении членам паев и вкладов и по выделении неделимого капитала, остающемуся имуществу, приобретенному сообща Коммуной, дается назначение по постановлению общего собрания.

ПРИМЕЧАНИЯ

История толстовства, существовавших внутри него идейных течений, его организационных форм почти не исследована. В особенности это касается послереволюционного периода. Меж тем толстовское движение этой эпохи представляет особый интерес. В первые послереволюционные годы в движение приходят новые силы — рабочие, крестьяне, бывшие солдаты. Для них, переживших две войны, толстовские идеалы, основанные на любви ко всему живому и на отрицании насилия, обладали огромной притягательностью. Эти люди образовывали сельскохозяйственные коммуны и артели со своими — независимыми — уставами, советами, школами. В конце 1920-х гг., с началом сплошной коллективизации, почти все толстовские объединения такого рода были разгромлены. До 1936—38 гг. сумела продержаться лишь коммуна «Жизнь и труд», переселившаяся из ближнего Подмосковья в Западную Сибирь.

Антирелигиозники того времени писали о толстовцах как о «наиболее вредной секте» (Ф. Путинцев. О «толстовствующих».— «Антирелигиозник», 1928, № 7, с. 51). Но никак нельзя считать объективными и работы о толстовцах, появившиеся 40—50 лет спустя. И это при том, что недостатка в материалах исследователи испытывать не могли — в библиотеках сохранилось множество толстовских изданий, в архивах — тысячи документов (правда, основной массив материалов — фонд В. Г. Черткова в Отделе рукописей ГБЛ уже более четверти века недоступен ученым). Наконец, с середины 1960-х гг. начинают создаваться воспоминания о толстовском движении. Авторы их — единомышленники и последователи Толстого, уцелевшие после обрушившихся на них в свое время репрессий. Зачинателем мемуарной работы был, по-видимому, Б. В. Мазурин: следом за ним написали свои воспоминания Е. Ф. Шершенева-Страхова, В. В. Янов, Д. Е. Моргачев, И. Я. Драгуновский, Ю. М. Егудин и др. Впервые (1976—77 гг.) серьезную работу по собиранию воспоминаний крестьян-толстовцев предпринял писатель М. А. Поповский; итогом ее стала содержательная, насыщенная материалами книга «Русские мужики рассказывают. Последователи Л. Н. Толстого в Советском Союзе. 1918—1977» (Лондон, 1983). Предлагаемый нами сборник — первый опыт издания мемуарного наследия русских толстовцев. Мы сознательно ограничили себя текстами, где рассказывается жизнь толстовцев-крестьян, поэтому за пределами нашей книги остались интереснейшие воспоминания самарского журналиста И. П. Яркова (около 1000 страниц машинописи), воспоминания-дневники учителя коммунарской школы Густ. Г. Тюрка (пять толстых тетрадей, рукопись), воспоминания заведующей школой коммуны «Жизнь и труд» А. С. Малород, воспоминания толстовца из Литвы Э. Левинскаса и др. Несомненно, отдельного издания заслуживают и мемуары вышедшего из толстовской среды М. И. Горбунова-Посадова, лишь в небольших отрывках публикуемые в настоящем сборнике.

Все воспоминания (кроме записок В. В. Янова) печатаются нами с сокращениями, обусловленными как соображениями объема, так и пересечениями в содержании. В некоторых случаях, чтобы сделать изложение более ясным, мы позволили себе минимальную стилистическую правку.

Характер настоящего издания заставил нас предпочесть постраничному комментарию краткие справки об основных реалиях толстовского движения, которые должны ввести читателя в контекст публикуемых материалов. Мы помещаем также краткие сведения об авторах, по возможности дополняющие мемуарные свидетельства.

Мы считаем долгом назвать имена тех, кто в разные годы способствовал сбору, сохранению и обработке материалов толстовцев. Это Е. А. Грин, М. И. Перпер, В. И. Лашкова, А. Ю. Даниэль. За помощь в работе мы сердечно благодарим также семью Эйгес-Тюрк, Г. Мейтина, А. Д. Моргачеву, Е. Б. Жемкову, а также ныне здравствующих авторов этой книги.

Московское Вегетарианское Общество (МВО) было основано 28 февраля 1909 года. 16 марта 1909 г. под председательством И. И. Горбунова-Посадова состоялось его первое собрание. В почетные члены единогласно был избран Л. Н. Толстой, которому была послана приветственная телеграмма. В своей речи И. И. Горбунов-Посадов указал, что конкретные цели Общества — распространение безубойного питания, пропаганда вегетарианства в печати и создание возможности общения для людей, интересующихся вегетарианством — имеют громадное гуманитарное значение и служат главной цели — великой идее установления любви и мира между всеми живыми существами. Девиз Общества — «Душа одна во всех». В октябре 1909 г. была открыта центральная столовая МВО (Газетный пер., ныне ул. Огарева, 12), а вскоре — еще две столовые (Моховая, 26 и 3-й Смоленский пер., 1/5). При центральной столовой имелся книжный склад, продававший литературу по вегетарианству и книги против пьянства и курения, а также библиотека. Двухэтажное здание МВО в Газетном переулке было в течение двух десятилетий центром духовного и жизненного общения всех людей, тяготеющих к мировоззрению Л. Н. Толстого. Особое значение МВО — как неофициальное ядро толстовского движения — приобрело после 1922 г., когда перестали выходить толстовские журналы и прекратилась деятельность Общества Истинной Свободы в память Л. Н. Толстого. Во главе МВО стоял Совет из 16 человек, ежегодно избираемый на общих собраниях. По вечерам, после окончания работы столовой, в Главном зале почти ежедневно проводились лекции, беседы, концерты, вечера памяти выдающихся людей. Приводим, для примера, расписание работы МВО на март 1927 г. (ОР ГБЛ, ф. 345, к. 62, ед. хр. 30):

По четвергам (3, 10, 17, 24, 31 марта) — цикл лекций Н. Н. Гусева «Жизнь Толстого».

По вторникам (1, 8, 22, 29) цикл лекций М. А. Калины по истории общественно-политической мысли (Оуэн, Фурье, Прудон, Лассаль, Маркс, Г. Джордж).

5. Н. Н. Гусев. Самовнушение с лечебной и воспитательной целью.

7. Концерт, посвященный 20-летию со дня смерти Э. Грига.

12. М. А. Калина. Непротивление злу как условие истинной свободы.

14. Второй вечер памяти Л. А. Сулержицкого.

19. В. В. Чертков. Опасность войны и когда с ней надо бороться.

20. Некрасовский вечер.

26. Н. Н. Апостолов. Толстой — судья искусств.

Кроме тематических лекций и концертов, по субботам (особенно в летнее время) друзья Л. Н. Толстого — В. Г. Чертков, И. И. Горбунов-Посадов, П. И. Бирюков (постоянно живший в Швейцарии, но часто приезжавший в 20-е годы в СССР) в свободной форме беседовали со слушателями о жизни, читали письма, отвечали на вопросы. Среди деятелей искусства, постоянно выступавших в зале МВО, пианист В. Фере, певица А. М. Сац, артисты И. М. Москвин, Л. М. Леонидов, О. Л. Книппер-Чехова. При Обществе работал «Кружок молодежи» (Ю. Неаполитанский, Б. Песков, И. Сорокин, А. Григорьев, А. Журбин, И. Баутин, М. Горбунов-Посадов) и Духовно-монистический кружок (последователи философа П. П. Николаева — И. Д. Плешков, Ф. А. Вейсброд, Н. В. Троицкий, С. М. Попов). Сын В. Г. Черткова Владимир Владимирович Чертков (1889—1963) постоянно выступал с информацией о международном пацифистском движении, активным участником которого он являлся.

С декабря 1921 по июль 1923 года в помещении МВО находился пункт для голодающих, обеспечивавших беженцам из Поволжья питание и кров. При Обществе был открыт «детский очаг» (детский сад), выезжавший на лето в подмосковные толстовские коммуны. Он действовал по крайней мере до 1927 г. В 1924—1929 гг. ежемесячно издавалось и рассылалось подписчикам «Письмо Московского Вегетарианского Общества» — ротаторное издание, включавшее, помимо решений Совета Общества, расписания лекций и вечеров, статьи на философско-этические темы, письма из СССР и из-за рубежа (в том числе от Ромена Роллана). Смысл работы МВО во второй половине 20-х годов ясно сформулирован в «Наказе общего собрания Совету МВО» (март 1927): «Идейное направление нашего Вегетарианского Общества ⟨...⟩ всегда было значительно глубже, шире и разностороннее, чем это свойственно узко-вегетарианской организации, и это идейное направление не может быть нами охарактеризовано иначе, как направлением в духе учения Л. Н. Толстого, понимаемого в самом широком смысле. ⟨...⟩ Это направление нашего Общества должно остаться и впредь» (ОР ГБЛ, ф. 345, к. 62, ед. хр. 30). Там же определены и задачи Общества: «1. ⟨...⟩ чисто просветительская

задача, осуществляемая посредством бесед, докладов, лекций, библиотеки, путем распространения через наш книжный отдел соответствующей литературы, посредством ⟨...⟩ «Писем МВО» и т. п. 2. ⟨...⟩ уделять возможно больше внимания вопросам социальной жизни и прилагать все усилия к тому, чтобы содействовать разрешению сложных и трудных социальных вопросов и бедствий в духе миролюбия, человечности и терпимости. 3. ⟨...⟩ налаживать связь с нашими членами и единомышленниками, живущими в провинции и зачастую находящимися в очень тяжелом положении (т. е. в заключении или в ссылке.— *Сост.*) ⟨...⟩ 4. ⟨...⟩ идти навстречу инициативе и желаниям членов Общества в деле устройства при Обществе разного рода кружков (научных, художественных, ремесленных и т. п.), не противоречащих общему идейному направлению нашего Общества. 5. ⟨...⟩ идти навстречу неоднократно выражавшейся ⟨...⟩ потребности сближения с нашим обществом детей наших членов путем устройства для них разумных развлечений и занятий. 6. ⟨...⟩ участвовать в делах братской помощи тем, кто в ней особенно нуждается, как например беспризорные дети».

100-летие со дня рождения Толстого в сентябре 1928 г., торжественно отмеченное в МВО (за неделю с 9 по 16 сентября там состоялись торжественное собрание, беседа «Заветы Толстого» и пять публичных вечеров, на юбилей приехали сотни толстовцев со всей страны), привлекло к Обществу (и вообще к единомышленникам Толстого) недоброжелательное внимание властей. Вскоре после толстовского юбилея были арестованы члены «Кружка молодежи», а в феврале 1929 г. Моссовет отказал Московскому Вегетарианскому Обществу в продлении аренды здания в Газетном переулке. 19 февраля 1929 года там состоялась последняя беседа; другого помещения, как и следовало ожидать, арендовать не удалось, и 28 июня 1929 г. в доме В. Г. Черткова (Лефортовский пер., д. 7а) состоялось последнее (ликвидационное) заседание Совета МВО (ОР ГБЛ, ф. 345, к. 62, ед. хр. 30). Библиотека и архив МВО были перевезены в квартиру В. Г. Черткова.

Общество Истинной Свободы в память Л. Н. Толстого (ОИС) было основано в Москве в июне 1917 г. Название общества восходит к статье Толстого («Истинная свобода», 1907), использовавшего евангельское «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоанн, VIII, 32). Согласно уставу, его целью было «облегчение общения между всеми, сочувствующими тому жизнепониманию, выразителем которого является Толстой, а также содействие просветительным задачам» («Голос Толстого и Единение», 1917, № 3, с. 15). ОИС не имело четкой структуры: членом ОИС мог быть каждый желающий, без баллотировки; размер ежегодного членского взноса каждый определял добровольно, решения большинства не являлись «нравственно обязательными» для остальных членов, каждый вступающий сохранял за собой «полную свободу во всех вопросах своей веры и жизни», общество принципиально отказалось от выборов председателя и работало

под руководством ежегодно избираемого Совета. По методам своей работы — собеседования, устройство библиотек-читален, организация лекций и собраний, помощь преследуемым за религиозные убеждения — ОИС было чисто гуманитарно-просветительской организацией. Однако в основе существования ОИС лежало стремление к радикальному преобразованию (путем нравственного совершенствования людей) современного общества, основанного на государственном насилии, в безгосударственную общину. Программные принципы ОИС были сформулированы в 14 пунктах «Опыта краткого изложения основ истинной свободы» (ОР ГБЛ, ф. 345, к. 61, ед. хр. 25): «...7. Единственной силой, воспитывающей людей и приводящей их к мирной жизни, является закон любви, поэтому всякого рода насилие, совершаемое над людьми как со стороны отдельных лиц, так и со стороны каких бы то ни было собраний людей, в том числе и называющих себя правительствами или партиями, противно основному закону человеческой жизни. 8. Отечество наше — весь мир, и все люди наши братья. Поэтому никакие люди, как бы они ни называли себя — монархическими, конституционными, демократическими или социалистическими правительствами,— не имеют права собирать, вооружать и обучать людей убийству, нападать на других людей и, ведя с людьми другой народности войну, разорять и убивать их. 9. 〈...〉 Ничем не может быть оправдано применение насильственных мер воздействия на людей — привлечений к суду и наказаний: казней, тюрем, ссылок, карательных отрядов, лишений имущества и т. д. 10. 〈...〉 никому не должно быть предоставляемо право собственности на землю, которая составляет общее достояние всех людей. 11. Никто из людей и никакое собрание людей не может насилием или под угрозой насилия отбирать имущество у одних людей и передавать его другим (подати, таможни, экспроприации). 〈...〉 13. 〈...〉 и за неправительственными людьми не может быть признано право употреблять насилие для каких бы то ни было целей, в том числе и для ниспровержения существующего правительства. 〈...〉 Но, не борясь ни с кем применением грубой силы 〈...〉 истинно религиозный человек в то же время считает первейшим и необходимейшим долгом своей совести решительно отказываться от участия во всяком насилии: в военных, полицейских, судебных, тюремных и других подобных установлениях, основанных на насилии. 14. 〈...〉 Не на установление новых форм жизни должна быть направлена деятельность людей, желающих служить ближнему, а на изменение и совершенствование внутренних свойств как своих, так и других людей». В государственные органы с просьбой о регистрации Общество не обращалось, существуя явочным порядком. Официальным адресом ОИС был адрес Московского Вегетарианского общества (Газетный переулок, 12). Собрания и лекции проводились в зале МВО, а также в доме-музее Л. Н. Толстого (Хамовнический переулок, 21). Широкая пацифистская агитация, развернутая ОИС, вызвала поток писем в его адрес из действующей армии. Частично письма были опубликованы в «Ежегоднике» ОИС за 1917/1918 год (М.,

1918). В дни вооруженного восстания в Москве руководство ОИС выпустило листовку «Прекратите братоубийство!», датированную 28 октября 1917 г. и подписанную В. Г. Чертковым и И. И. Горбуновым-Посадовым. Члены ОИС распространяли ее на улицах Москвы среди участников боев. В ноябре 1917 г. ОИС издало еще одно воззвание — «К враждующим русским людям», где содержался призыв прекратить гражданскую войну («Голос Толстого и Единение», 1917, № 4, с. 12; ОР ГБЛ, ф. 345, к. 61, ед. хр. 31). В 1918—19 гг. ОИС, помимо издательской деятельности (ею в это время руководил В. А. Жданов), отдельных лекций и вечеров, организовало в зале МВО «Курсы свободно-религиозных знаний». Открытие состоялось 17 ноября 1918 г. Лекции проходили три раза в неделю, посещать их мог любой желающий. Читались курсы: Ф. А. Страхов. Мировоззрение Толстого; Н. Н. Гусев. Жизнь Толстого; В. Г. Чертков. Основы правильного мышления; М. В. Муратов. История сектантства в России; К. С. Шохор-Троцкий. Голос совести и веления государства; С. Л. Урсынович. Происхождения Библии. Организатором лекций был. Вал. Ф. Булгаков. Тогда же, в ноябре 1918 г., ОИС обратилось в СНК РСФСР с петицией об отмене смертной казни (опубл. в «Голос Толстого и Единение», 1918, № 5/11, с. 6). Образованное при Совете ОИС «Бюро защиты противников насилия» стало зародышем Объединенного Совета религиозных общин и групп. По образцу московского ОИС подобные общества стали возникать по всей России. Первыми — еще в 1917 г.— были общества в Царицыне и Витебске, затем организовались общества в Сочи, Киеве, Умани, Владимире, многих других городах, а также селах и деревнях (например, в деревне Драгуны Смоленской губ., селе Никольское Ярославской губ., селе Осиновское Екатеринбургской губ. и мн. др.). Провинциальные общества организационно не были связаны с московским ОИС, но постоянно получали оттуда идейную помощь, советы, а также литературу. Так, в изданной весной 1919 г. брошюре «Всем друзьям и единомышленникам» Совет ОИС в Москве рекомендовал в качестве одного из основных направлений работы пропаганду перехода городского населения на земледельческий труд и устройство сельскохозяйственных общин. Там же содержался призыв «возвысить свой голос против войны, смертной казни, погромов, самосудов, истязания животных и других уродующих общественную жизнь явлений». Высшая точка в деятельности ОИС — 1920-й г. Московское ОИС непрерывно устраивало в Москве и Подмосковье (Звенигороде, Орехово-Зуеве) лекции, вечера, диспуты о Толстом, направляло своих членов (в основном молодежь) воспитателями в детские дома и колонии, издавало одновременно два журнала. Широкий размах приобрела тогда же деятельность ОИС в Киеве, где важную роль играл Н. Н. Апостолов. Здесь начали издавать журнал «Братство», организовали «театр-аудиторию» с читальней, вегетарианскую столовую, детскую земледельческую колонию в одном из предместий города, а в конце 1920 г. открыли (по образцу московских курсов) Академию нравственных наук имени

Л. Н. Толстого. Среди лекторов были известный философ и богослов В. И. Экземплярский, а также А. А. Гольденвейзер, И. Б. Тенеромо и др. В ноябре 1920 г. толстовские организации отмечали 10-летие со дня смерти писателя (см. обзор «Толстовские дни в Москве и провинции» в объединенном выпуске журналов «Голос Толстого и Единение» и «Истинная Свобода», 1920, с. 25—28). Последний по времени известный нам документ московского ОИС — «Сводка решений Совета» ОИС от 26 июня 1922 г. (ОР ГБЛ, ф. 345, к. 62, ед. хр. 25). Секретарем ОИС на этот раз был избран Н. Н. Апостолов (переехавший в Москву), секретарем «по сношениям с друзьями за границей» В. В. Чертков, казначеем — В. А. Жданов. Были приняты решения об основании театра и кинематографа им. Л. Н. Толстого, о возобновлении издания журнала (прекращенного в 1921 г.), о деятельности Курсов свободно-религиозных знаний. Однако к концу 1922 г. ОИС прекращает свое существование. Причины этого не вполне прояснены. По-видимому, в том же 1922 г. прекращается в основном и деятельность провинциальных обществ Истинной Свободы.

Объединенный Совет религиозных общин и групп (ОСРОГ) был создан в Москве в октябре 1918 г. Помещался по адресу: Москва, Малая Лубянка, 1. Адрес для телеграмм — Москва, Совесть. Устав ОСРОГ формулировал цели организации так: «1. Защита свободы совести от всех, откуда бы они ни исходили, посягательств на нее. 2. Способствование сближению на почве духовных интересов различных свободно-религиозных течений и установлению взаимного между ними понимания» (РО ГБЛ, ф. 345, к. 61, ед. хр. 17). Инициатором и бессменным председателем ОСРОГ был ближайший друг Л. Н. Толстого Владимир Григорьевич Чертков (1854—1936), его заместителем — литературовед и общественный деятель Константин Семенович Шохор-Троцкий (1892—1937). В Совет входили, кроме толстовцев, представители евангельских христиан, баптистов, меннонитов, адвентистов седьмого дня и московских народных трезвенников. Кроме того, ОСРОГ взял на себя защиту интересов ряда других религиозных течений — малеванцев, добролюбовцев, иеговистов, молокан, субботников, евреев евангелистов. Согласно Уставу, ОСРОГ являлся «представительным органом, имеющим выражать мнение и взгляды различных религиозных течений по всевозможным, затрагивающим их нужды и интересы, вопросам и обращаться ко всяким учреждениям и лицам с просьбами, заявлениями, ходатайствами и протестами, как в интересах целых групп, так и отдельных лиц». В обстановке ожесточенной гражданской войны основной задачей ОСРОГ стала юридическая защита людей, отказывающихся по религиозно-этическим мотивам от военной службы. Первым (и важнейшим) результатом работы ОСРОГ стало принятие Совнаркомом РСФСР 4 января 1919 г. Декрета «Об освобождении от военной повинности по религиозным убеждениям» (Декреты Советской власти, т. 4, М., 1968, с. 282—283). Согласно этому декрету, ОСРОГ получил исключительное

право на судебную экспертизу «как на то, что определенное религиозное убеждение исключает участие в военной службе, так и на то, что данное лицо действует искренне и добросовестно». К 1920 году ОСРОГ назначил 117 своих уполномоченных (представителей на местах) в Петрограде, Новгороде, Смоленске, Витебске, Туле, Орле, Владимире, Н. Новгороде, Рязани, Вятке, Казани, Тамбове, Пензе, Симбирске, Саратове, Самаре, Царицыне, Астрахани, Уральске, Оренбурге, Уфе, Воронеже, Гомеле, Могилеве, Киеве, Харькове, Полтаве, Кременчуге, Сумах, Армавире, Пятигорске, Омске, Барнауле и Иркутске, а также в десятках уездных городов и сел (в местностях, где значительная часть населения принадлежала к религиозным группам, представленным в Совете). Уполномоченные собирали сведения о лицах, арестованных за отказ по религиозным убеждениям от военной службы, и направляли к ним экспертов (кроме членов ОСРОГ, правами эксперта было наделено всего 12 человек; в частности, экспертом по Смоленской губернии был неоднократно упоминаемый в настоящем сборнике Елизар Иванович Пыриков). Экспертиза зачастую носила весьма напряженный характер; так, анонимный автор воспоминаний «Рассказ об одной коммуне» (по нашему предположению, им является идейный руководитель общины «Всемирное братство», принявший имя Иоанна Добротолюбова — см. о нем в публикуемых в данном сборнике воспоминаниях Б. В. Мазурина) рассказывает об экспертизе, проведенной уполномоченным ОСРОГ по Саратовской губернии баптистом М. М. Щепкиным в следственном изоляторе г. Царицына в 1920 г.: «... входит в нашу камеру комендант, с ним помощник начальника внутреннего управления и неизвестный благообразный старичок. 〈...〉 Этот человек обратился ко мне с вопросом: «На каком основании Вы отрицаете войну?» — «А на каком основании Вы признаете войну?» — спросил я его. Он смутился 〈...〉 «Зачем Вы так, может быть, я не признаю тоже войны»,— и, обратившись к А., спрашивает: «А Вы на каком основании отрицаете войну?» — «На основании пятой заповеди Христа»,— ответил А. «А что говорится в пятой заповеди?» — «Прочитай,— сказал А.,— у тебя в руках Библия» 〈...〉 Тогда он взволновался и заговорил обиженным тоном: «Товарищи, мы пришли к вам как братья, чтобы узнать и облегчить ваше положение, а вы даже и разговаривать не хотите!» — «Братья-то братья, а голодом морите». 〈...〉 «А к какому течению Вы принадлежите?» — снова спросил эксперт А.— «Смотрите по делам». 〈...〉 Эксперт обратился к третьему: «Как Ваша фамилия?» — «Олхутов».— «Скажи, О., к какому религиозному течению ты принадлежишь?» — «Я — евангельский христианин».— «А почему ты себя называешь евангельским христианином?» — «Потому что я верую в Господа Иисуса Христа».— «А в Евангелии сказано, что и бесы верят в Христа и даже трепещут 〈...〉 можно ли их назвать евангельскими христианами?» О. смутился и молчал 〈...〉 Эксперт обратился к четвертому: 〈...〉 «К какому религиозному течению Вы принадлежите?» — «Я иудей, караим.» — «На каком основании отрицаете войну?» —

«В Законе Бога сказано: не убий.» — «А хочешь, я найду тебе в Библии, что Моисей воевал и сам Бог воевал. Ты что, больше Моисея?» — «Нет»,— отвечал Б.— «А если ты не больше Моисея, на каком основании ты отрицаешь войну?» Б. молчал. ⟨...⟩ Эксперт ушел неудовлетворенным нашим с ним общением ⟨...⟩ он дал заключение, что не признает нас религиозниками. Узнав о том, что это был представитель от Объединенного Совета, мы опечалены были той несоответствующей ролью искусителя, которую принял этот брат» (РО ГБЛ, ф. 369, к. 414, ед. хр. 13, лл. 18—20). Заключение ОСРОГ могло быть и заочным, если обвиняемый был хорошо известен членам или уполномоченным Совета (см. стр. 366 настоящего сборника — экспертиза по делу Я. Д. Драгуновского). Всего за 1919—1920 гг. было проведено около 10 000 экспертиз. Отношения между ОСРОГ и органами Советской власти не сводились к конфликтам и к «консолидации сектантских течений на базе отказа от защиты советского отечества» (Записки ОР ГБЛ, вып. 28, М., 1966, с. 49), как это представляли в своих работах исследователи сектантства Ф. М. Путинцев и А. И. Клибанов. Так, в марте 1920 г. председатель Самарского съезда религиозных общин Василий Федорович Яковлев (молоканин) отправил телеграмму В. И. Ленину и В. Г. Черткову с предложением направить в Москву в адрес СНК РСФСР и ОСРОГ по вагону хлеба, собранного христианами-евангелистами Самарской губернии (см.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. Т. 8. Ноябрь 1919 — июнь 1920. Москва, 1977, с. 383—394; инициалы Яковлева в именном указателе к тому — с. 654 — даны неверно: ср. список уполномоченных ОСРОГ — РО ГБЛ, ф. 345, к. 62, ед. хр. 21, л. 3). В июне 1920 г. ОСРОГ созвал в Москве Всероссийский съезд внецерковных религиозных течений, а в марте 1921 г. (при содействии Наркомзема РСФСР) — Всероссийский съезд сектантских сельскохозяйственных и производительных объединений. Успешному сотрудничеству ОСРОГ с органами Советской власти способствовал тот факт, что управляющий делами СНК РСФСР в 1917—1920 гг. Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич был близким другом В. Г. Черткова и крупнейшим специалистом по русскому сектантству (в 1908—1916 гг. Б.-Б. собрал и выпустил семь выпусков «Материалов к изучению русского сектантства и раскола», неоднократно выступал экспертом на процессах сектантов). С его помощью 8 сентября 1920 г. В. Г. Чертков добился приема у В. И. Ленина, где поставил вопрос о нарушении отдельными представителями власти Декрета от 4 января 1919 г. (Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. Т. 9. Июнь 1920 — январь 1921. М., 1978, с. 254). Основательность поставленного В. Г. Чертковым вопроса подтверждается публикуемыми в настоящем издании воспоминаниями В. В. Янова, Д. Е. Моргачева и Я. Д. Драгуновского (см. с. 19, 351—364). В конце октября 1920 г. Чертков направил Ленину доклад и записку о новых нарушениях Декрета от 4 января 1919 г. (там же, с. 433), а 10 ноября 1920 г.— письмо на эту же тему (там же, с. 459). 11 ноября 1920 г. Ленин поручил замнаркома просвещения РСФСР

М. Н. Покровскому, замнаркому внутренних дел М. Ф. Владимирову, замнаркому РКИ и члену Коллегии ВЧК В. А. Аванесову образовать комиссию под председательством Покровского для рассмотрения жалоб ОСРОГ (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 52, с. 5). Очевидно, результатом работы комиссии стал декрет СНК РСФСР от 14 декабря 1920 г., согласно которому экспертиза по делам об отказе от военной службы по религиозным убеждениям возлагалась по усмотрению народных судов на «внушающих доверие представителей соответствующих вероучений» и «других лиц, обладающих соответствующими знаниями и опытом» (Собрание Узаконений РСФСР, 1920, № 99, ст. 527). После этого ОСРОГ потерял функции органа официальной судебной экспертизы, продолжая действовать как независимая правозащитная организация. По некоторым сведениям, он просуществовал до 1928 г., однако его ходатайства после 1920 г. в расчет почти не принимались. В марте 1921 г. Чертков пытался еще раз попасть на прием к Ленину, но это ему не удалось (см.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. Т. 10. Январь — июль 1921. М., 1979. С. 491). Законы и постановления об обязательной военной службе, принимавшиеся в 1925—33 гг., содержали положения об освобождении от призыва по религиозным убеждениям, однако круг лиц, на которых распространялись льготы, становился все более ограниченным. В Законе СССР от 1. 09. 1939 «О всеобщей воинской обязанности» льготы для «религиозников» окончательно исчезли.

Издательства и журналы единомышленников Л. Н. Толстого после 1917 г.

Основным издательством, пропагандировавшим идеи Толстого, оставался «Посредник» (1884—1935), бессменным руководителем которого был И. И. Горбунов-Посадов. В первые послереволюционные годы «Посредник», как и другие издательства, уделял особенное внимание тем произведениям Толстого, которые ранее были запрещены цензурой. Всего в 1917—18 гг. «Посредник» выпустил 63 издания Толстого. Главным образом это были книжки для народного чтения по жгучим вопросам современности: о войне и патриотизме («В защиту отказывающихся быть воинами», «Как бороться с войнами», «Патриотизм и правительство»), о земельном вопросе («Великий грех», «Письмо к крестьянину о земле»), о смертной казни («Не могу молчать», «Христианство и смертная казнь»), религиозно-этические сочинения («Без веры жить нельзя», «Истинная свобода», «Что такое религия и в чем сущность ее», «Краткое изложение Евангелия») и мн. др. Цена большинства книжек была 10—20 копеек. В 1917 г. В. Г. Чертков начал выпуск серии «Голос Толстого» под маркой издательства «Единение». Тип изданий был тот же, что и у «Посредника», некоторые книжки повторялись. Всего в 1917 г. в серии вышло 15 книжек. Религиозно-этические произведения Толстого, его публицистику широко печатали и провинциальные издательства: «Благая весть» (Самара, 12 изданий), «Истинная свобода» (Воронеж, 3 издания), «Сеятель»

(Харьков, 4 издания), «Колосов и Жандармов» (Екатеринодар, 15 изданий — перепечатки книжек «Посредника») и др. Не связанное впрямую с толстовским движением московское издательство «Задруга» выпустило 13 книжек в серии «Сочинения Л. Толстого, запрещавшиеся цензурой». Примечателен факт выпуска 7 книжек Толстого (в том числе «Краткого изложения Евангелия» и «Учения Христа») в 1918 г. Комиссариатом Народного просвещения Смоленской губернии. Уже в 1919 г., после перехода монопольного права на издание сочинений Толстого к государству, Трудовая община-коммуна «Трезвая жизнь» (Москва), одним из руководителей которой был известный толстовец А. П. Сергеенко, выпустила четыре книжки писателя. Тогда же в Киеве Н. Н. Апостолов (впоследствии известный литературовед, а тогда активный толстовец) издал «Избранные сочинения Льва Толстого с биографическими комментариями». В 1919 г. три книги Толстого выпустило московское Общество Истинной Свободы. Кроме того, в годы гражданской войны вышло довольно много книг и брошюр, популяризирующих толстовское учение (В. Ф. Булгакова, Н. Н. Гусева, А. И. Архангельского, Н. Н. Апостолова, Ф. А. Страхова и др.). Издательская активность толстовцев способствовала бурному развитию движения в первые послереволюционные годы. Характерно, что в 1917—1918 гг. «Война и мир» и «Анна Каренина» в России не переиздавались.

В первые послереволюционные годы издавалось несколько толстовских журналов. Еще в 1916 г. при ближайшем участии В. Г. Черткова начало выходить «*Единение*» («журнал, посвященный обновлению жизни при свете разума и любви»). Редактором-издателем был А. И. Зонов, журнал выпускался раз в два месяца, каждый номер открывался публикацией неизданных текстов Толстого. Основные разделы журнала: религия и философия, кооперация, вегетарианство, всемирный язык, физический труд, борьба с алкоголизмом, хроника добрых поступков, литература и искусство, обмен мыслей. В 1916 г. вышло 3 номера,в 1917—2. С номера 3 (сентябрь) 1917 г. журнал стал выходить под единоличной редакцией В. Г. Черткова и получил новое название «*Голос Толстого и Единение*» (объем журнала — 16 полос большого формата). Раздел «Голос Толстого», которым по-прежнему открывался журнал, содержал подборки текстов Толстого, раздел «Единение» — статьи и заметки друзей и единомышленников Толстого, хронику событий и письма с мест. Журнал постоянно информировал читателей о деятельности Общества Истинной Свободы в Москве, печатал его отчеты, давал сведения о работе Курсов свободно-религиозных знаний. Публиковались наиболее важные декларации и выступления толстовцев по актуальным общественным проблемам. Под рубрикой «Мученики за братство и мир» помещались сведения о гибели противников насилия по обе стороны фронта в ходе гражданской войны. В 1917—18 гг. вышло 11 номеров журнала, в 1919 — всего один, в 1920 — три. На номере 3(15), объединенном с журналом «Истинная свобода», издание прекратилось.

Летом 1917 г. было начато издание ежемесячного журнала «*Обновление жизни*» под редакцией И. И. Горбунова-Посадова, А. С. Зонова и В. А. Шнейдермана. Вышло всего два номера. Основное место в журнале занимали статьи и декларации редакторов, важные, в частности, для понимания настроений в толстовской среде после Февральской революции. В апреле 1920 г. вышел в свет первый номер журнала «*Истинная Свобода*», издаваемого совместно московским ОИС и Трудовой общиной-коммуной «Трезвая жизнь» (редакторы Вал. Ф. Булгаков и А. П. Сергеенко). Восемь вышедших номеров журнала представляют собой основной печатный источник по истории толстовского движения в России в период его наивысшего подъема. Список предполагаемых сотрудников, опубликованный на последней странице обложки, включает всех видных представителей движения. Тираж журнала доходил до 10 тысяч экземпляров. В «Истинной свободе» печатались подборки изречений великих мыслителей, статьи на религиозно-философские темы, стихотворения, отзывы о новых книгах, хроника свободно-религиозного движения и мн. др. Среди важнейших материалов — доклад И. И. Горбунова-Посадова «О смертных казнях в Советской республике», направленный в августе 1919 г. в правительственные органы (№ 6, с. 4—15), отчет о 35-летнем юбилее издательства «Посредник» (№ 1, с. 11—16), обращение против еврейских погромов «В защиту гонимых» (№ 1, с. 21—23), отзыв В. Г. Черткова на воспоминания М. Горького о Толстом (№ 1, с. 30), отчет о лекции А. В. Луначарского «Толстой и Маркс» (№ 7, с. 22—24; ср. на с. 24 настоящего сборника отзыв об этой лекции В. В. Янова, услышавшего ее годом раньше в Смоленске); особенный интерес вызывает раздел «Вести пробуждения», где регулярно печаталась обильная информация о деятельности толстовцев в разных уголках России. Журнал прекратился весной 1921 г. К этому же времени перестали выходить и журналы в других городах: «*Братство*» (Киев, вып. 1—1919 г., вып. 2—1920 г.), «*Путь к свету*» (Царицын, 1919, № 1, 2), «*Искатель истины*» (г. Балаково Самарской губ., 1921, № 1), «*Открытое слово*» (Харьков, 1919, № 1). Насколько нам известно, в последующие годы существовали лишь некоторые рукописные и ротаторные периодические издания. Из последних важнейшее — «*Письмо Московского Вегетарианского Общества*», ежемесячно печатавшееся в 1924—29 гг. (о нем см. выше, с. 3, 461).

Об авторах

Василий Васильевич Янов (1897—1971) родился в деревне Большая Речка Жиздринского района Калужской губернии (ныне — в черте г. Кирова, районного центра Калужской области), скончался в селе Машуковка Мотыгинского района Красноярского края. Среди последователей Л. Н. Толстого, воспоминания которых собраны в настоящей книге, Янов выделялся не только тем, что никогда не жил в коммунах и артелях, но и тем, что его жизнь

представляла собой последовательное, бескомпромиссное и, пожалуй, абсолютно точное воплощение этических требований Толстого, включая самые суровые. Он никогда не употреблял в пищу животных продуктов — мяса, рыбы, молока, яиц; не носил одежды и обуви из кожи и шерсти; даже пуговицы старался делать сам из дерева; никогда не брал в руки оружия, отказывался работать на военных заводах. Землю обрабатывал только вручную, не прибегая к эксплуатации животных. Наиболее интересный (и наименее документированный) период его жизни — 1922—35 гг., когда он осуществил своеобразную «робинзонаду», раскорчевав под огород участок леса и построив там дом. Описание жизни Янова находим в рукописных воспоминаниях ныне здравствующего толстовца Ю. М. Егудина, посетившего яновский хутор в середине 1920-х гг.: «Хутор был далеко от поселка, и дорога туда шла лесом. Вася ожидал моего приезда и встретил добрыми словами. Он был высокий, коренастый, одет в домотканный костюм из полотна, а на ногах какие-то брезентовые туфли. Вася был строгий вегетарианец. Вокруг его хатки был обработан огород, все было посажено по методу Е. И. Попова, рядочками. В трех верстах от хутора находилась деревня, в которой Вася родился и где проживали его родные. На Васю имели большое влияние этические книги Толстого. Не желая участвовать в насилии над животными и людьми, он жил в лесу монашеской жизнью. Обыкновенно Вася с раннего утра уходил в ближайшие села, где его все знали. Он был мастером и знал многие ремесла. Крестьяне приглашали его то сделать кадку, то починить кастрюлю, то сложить печь и т. д. Вася перед уходом показывал мне, что надо сделать в его отсутствие по дому и в огороде. По большей части я оставался один в лесу. Когда я жил в коммунах, меня окружали друзья, совместная трудовая жизнь объединяла нас по-особенному. А с Васей близости не получилось. Мы не чувствовали радости в единении. По-моему, основная причина была в том, что мы по происхождению и воспитанию были совсем разные. Вася был рано приучен к тяжелой трудовой крестьянской жизни, я же воспитывался в семье интеллигентной и трудового воспитания не получил. Я не любил в нем отсутствие деликатности и некоторую грубость. А он во мне белоручку и интеллигента, как он раз сказал. Я чувствовал, что он недоволен мной. Я решил уехать. Слова наших единомышленников, братьев Фроловых, что с Васей трудно ужиться, оправдались. Он был человек твердых убеждений и очень много пострадал. Не так давно я прочитал его автобиографию, она мне очень понравилась, и мне стало грустно, что наши чувства и отношения были не на должной высоте». Янова посещали не только единомышленники, но и идейные противники. Так, несколько раз к нему приезжал известный антирелигиозник и специалист по сектантству Ф. М. Путинцев. В 1935 г. в своей книге «Политическая роль и тактика сект» он опубликовал фотографию поселения Янова и орудий его труда. Воспоминания были написаны В. В. Яновым в конце 1960-х гг. и тогда же отредактированы Б. В. Мазуриным. Впервые опубликованы в историческом

сборнике «Память» (Вып. 2. Париж, 1979). В настоящем издании печатаются по машинописной копии, хранящейся у Б. В. Мазурина.

Елена Федоровна Шершенева (1905—1979) — дочь ученика и единомышленника Л. Н. Толстого Ф. А. Страхова (1861—1923). С детства была близка к семьям Толстых, Чертковых, Горбуновых-Посадовых. В 1919—21 гг. жила с отцом в Смоленской губернии в семье старшей сестры Натальи (род. в 1891), вышедшей замуж за известного толстовца Е. И. Пырикова (1893—1937, погиб в заключении). В 1921 г. семья Страховых-Пыриковых поселилась под Москвой в только что организованной толстовцами-интеллигентами А. П. Сергеенко, И. К. Роше и Пыриковым сельскохозяйственной коммуне (племхозе) «Березки». Здесь Е. Ф. познакомилась со своим будущим мужем В. В. Шершеневым (1900—1956), перебравшимся в 1922 г. в «Березки» из подмосковной детской толстовской колонии в Снегирях, где он некоторое время работал воспитателем. После смерти отца и ликвидации коммуны Е. Ф. около года прожила в доме В. Г. Черткова, а в 1924 г. поселилась с мужем в Новоиерусалимской коммуне; после ликвидации и этой коммуны (1929 г.) переехала в коммуну «Жизнь и труд». В 1931 г., когда основная часть членов коммуны переезжала в Западную Сибирь, В. В. Шершенев получил предложение стать техническим секретарем В. Г. Черткова. С этого времени и до конца жизни Е. Ф. живет в Москве, работает логопедом (в интернате для глухонемых детей и в других детских учреждениях). 29 ноября 1951 года был арестован ее муж, а вслед за ним его брат Петр — также последователь Толстого и бывший коммунар. Следствие, сколько можно понять по немногим доступным нам документам, создало версию о «нелегальном толстовском центре», одна часть которого (С. М. Булыгин, П. Н. Лепехин и др.) была «разоблачена» еще в 1937 г., а другая, создавшая террористическую организацию, готовившую покушение на Сталина,— в 1951 г. Арестованные по этому делу С. С. Баранов и И. К. Оськин были приговорены к смертной казни; В. В. Шершенев, после многомесячного тяжелейшего следствия в Сухановской тюрьме, получил 25 лет лагерей. Судьба В. В. Шершенева отражена в письме литературоведа Н. С. Родионова в Прокуратуру СССР от 15 июня 1954 г.: «Я знаю Шершенева Вас. Вас. и лично и по работе на протяжении трех десятков лет как искреннего и честного человека, разделявшего взгляды Л. Н. Толстого, и стремящегося проводить их в жизнь и руководствоваться в своих поступках морально-этическими принципами, вытекавшими из его убеждений. В. В. Шершенев родился в 1900 году в трудовой семье Московской области. Будучи последователем Л. Н. Толстого, в 1919 г. он отказывался от военной службы. Установленными законом органами была признана его искренность, и военная служба была заменена работой в заразных госпиталях санитаром, которую он и выполнял. 〈...〉. С начала 1930-х гг. В. В. Шершенев был личным секретарем ближайшего друга

Л.Н. Толстого и главного редактора его сочинений В. Г. Черткова до его смерти. ⟨...⟩. После смерти Черткова в 1936-м году В. В. Шершенев, хорошо разбираясь в почерке Л. Н. Толстого, работал литературным сотрудником главной редакции Академического издания сочинений Толстого. Его фамилия обозначена в некоторых вышедших томах этого 90-томного издания и в других советских изданиях. Во время войны Вас. Вас., будучи призван, работал на нестроевых должностях. В конце войны отказался от строевой службы и был приговорен к пяти годам заключения. По освобождении из заключения работал в Москве. В 1951 году по какому-то недоразумению был снова репрессирован и приговорен к 25 годам лагеря по 58 статье Уголовного кодекса. Хорошо зная В. В. Шершенева, могу утверждать и поручиться в том, что по своим морально-этическим убеждениям он не может быть преступником». Кроме Н. С. Родионова, за В. В. Шершенева ходатайствовали литературовед Н. Н. Гусев, бывший секретарь Л. Н. Толстого («Ни по своему характеру, ни по убеждениям Шершенев террористом быть не может»), В. В. Чертков («Подтверждая правдивость и искренность В. В. Шершенева и отрицание им всякого насилия, не могу допустить его участия в каком-либо контрреволюционном деле»), множество заявлений во все инстанции писала Е. Ф. Несмотря на хлопоты и очевидную абсурдность обвинения (толстовец-террорист!), освобождены братья Шершеневы были сравнительно поздно — весной 1956 г. В октябре того же года В. В. скончался. В 1960-е гг. Е. Ф. Шершенева написала мемуары «Об ушедшем спутнике, общем пути и друзьях», охватывающие события 1910—1950-х гг. В них включены документы, письма, отрывки из дневников, фотографии. К сожалению, значительную часть своего богатого архива Е. Ф. сожгла в 1951 г., после ареста мужа. Среди уничтоженной части архива — протоколы собраний Новоиерусалимской коммуны; глава из воспоминаний Е. Ф., посвященная этой коммуне, публикуется в настоящей книге. Воспоминания Е. Ф. Шершеневой (авторизованная машинопись) хранятся в собрании М. И. Горбунова-Посадова.

Борис Васильевич Мазурин родился в 1901 г. в Твери. Его отец Василий Петрович (1872—1939), педагог, преподаватель ручного труда в средних и высших учебных заведениях, был последователем Л. Н. Толстого, деятельно сотрудничал в Московском Вегетарианском обществе; в 1926 г. в Москве он выпустил сборник своих стихотворений «В царстве жизни». Б. В. Мазурин в 1919 г. закончил московскую единую трудовую школу 2-й ступени и поступил в Горную академию. Обстоятельства ухода из академии, жизнь в коммуне (вначале под Москвой, а затем в Западной Сибири), первые годы заключения — все это подробно описано Мазуриным в его воспоминаниях. О дальнейшей своей судьбе он рассказал в одной из автобиографических записок: «Семь месяцев одиночки, переследствие и суд. Потом Мариинский централ, оттуда попал в Архангельскую область на стройку железной дороги. Здесь я по-

терял силы, болел пеллагрой, цингой, высох как скелет. Домой, в колхоз уже, а не в коммуну, я вернулся в октябре 46-го и работал там на разных работах. В 1949 году на землях нашего колхоза обнаружили богатейшие залежи угля и построили там несколько шахт. И Совет Министров вынес постановление переселить наш колхоз на другой берег Томи опять на совсем голое место. Постановление было за подписью Сталина, и шахты взяли наши постройки, а взамен мы получили деньги и лес для строительства на новом месте. Колхоз назначил меня руководить постройкой поселка. Мы наняли человек 30 плотников и за два года поселок для всех жителей был готов, со школой, магазином, клубом, кузницей, лесопилкой и колодцами. И колхоз опять зажил полнокровной жизнью. В апреле 1957 года колхоз перевели на совхоз, забрав у нас без всякой оплаты все наше имущество — скот, инвентарь, постройки, хотя по закону все это считалось нашей кооперативной собственностью. В совхозе жить стало много скучнее. Никакой самодеятельности — царство бюрократии. Побывал я пилорамщиком, и в 1961 году вышел на пенсию, что-то около 50 рублей». И по сей день Б. В. Мазурин живет в деревне Тальжино под Новокузнецком, рядом с тем местом, где в 1930-е гг. располагалась толстовская коммуна «Жизнь и труд». В 1960- начале 70-х гг. Мазурин написал воспоминания о коммуне, затем воспоминания о друзьях, также последователях Л. Н. Толстого, И. Баутине (погибшем в Соловках) и И. Зуеве, затем биографическую книгу об отце. В кругу друзей и единомышленников получили широкую известность его письма литературоведу Б. С. Мейлаху (1961—1962) в связи с его книгой «Уход и смерть Льва Толстого» и писателю Л. М. Леонову (1962) по поводу его «Слова о Толстом». Воспоминания о коммуне «Жизнь и труд» со значительными сокращениями были опубликованы в журнале «Новый мир» (1988, № 9); в настоящем издании они публикуются в более полном виде. Письмо Д. Е. Моргачеву («Один год из десяти подобных»), посвященное пребыванию в Усть-Вымьлаге, печатается впервые. Остальные произведения Б. В. Мазурина, за исключением нескольких зарисовок мемуарного характера, напечатанных в машинописном журнале «Ясная Поляна» (Рига, 1988),— не опубликованы.

Дмитрий Егорович Моргачев (1892—1978) был инициатором реабилитации коммунаров-толстовцев, осужденных в 1936 г. и вторично по тому же делу в 1940 г. Такие попытки в 1956 г. и в 1963 г. закончились неудачей — в реабилитации было отказано. Приведем заявление Д. Е. в Прокуратуру СССР, отправленное им в 1976 г.:

«Заявление на предмет реабилитации. Заявляю: я, Моргачев Д. Е., член толстовской сельскохозяйственной коммуны, оставшийся в живых из немногих друзей и последователей Толстого. Был арестован в группе 10—12 человек в апреле месяце 1936 г. Был осужден в ноябре месяце 1936 г. Срок заключения дан 3 года

трудлагеря. В ноябре месяце 1937 г. приговор был отменен за мягкостью во время культа личности Сталина. Было и вторичное следствие. Состоялся и вторичный суд по этому же делу в апреле месяце 1940 г. через 4 г. после ареста. Срок был увеличен до 7 лет трудлагеря. По отбытии срока незаслуженного был закреплен за лагерем по директиве 185 работать по найму, где еще проработал 3 г. Уже отбыл 10 лет. Коммуна из друзей и последователей Льва Толстого переселилась в Сибирь на основании решения Президиума ВЦИК в 1930 г. Создали большое сельское коммунистическое хозяйство — без «мое», а все общее, наше, не откладывая на будущее, как Коммунистическая партия. А мы это делали теперь же, в настоящее время, за что очень дорого заплатили — жизнями членов коммуны. Мало осталось живых друзей и последователей Л. Толстого. Били нас жестоко за этот мирный человеческий идеал. Такую единственную в Советском Союзе коммуну надо было взять под охрану закона как образцовое коммунистическое хозяйство. Но под охрану взяты лишь редкие звери да птицы. Я счастливец! Еще живой, арестованный в 1936 г. И два раза судили. Все перенес. Арестованные в 1937—38 и 1941—45 не вернулись к своим семьям, к своим детям. Погибли в неизвестности. Все толстовское дело по обвинению членов коммуны создано во время культа личности Сталина надуманное, ложное. Хотя и было написано несколько объемистых томов лжи и клеветы на друзей и последователей Л. Толстого, я виновным себя не признал, так как не сделал никакого преступления, и не подписал протоколов обвинения. Принял я учение Л. Толстого в 1915 г. во время Первой мировой войны и держусь этого идеального учения уже 60 лет. Человек человеку брат. И с этим учением пойду в Вечность. В 1963 г. я обратился к вам с заявлением о реабилитации. Спустя 27 лет после ареста и 17 лет после отбытия 10 лет заключения за то, что я последователь учения Л. Толстого. Мне было уже 71 год от рождения. Инвалид второй группы. Получил безжалостный ответ-отказ. Я еще живой и так же разделяю взгляды на жизнь Льва Толстого. Мне 84 г. от рождения. Прошло 40 лет после ареста и 30 лет после отбытия в лагерях. Прошу меня реабилитировать перед уходом в Вечность. К сему Д. Е. Моргачев. 24 июля 1976 года». В официальном ответе, датированном 13 октября 1976 г., Моргачеву сообщали, что Генеральный Прокурор СССР внес протест на предмет отмены приговора Новосибирского областного суда от 4 апреля 1940 г. Кроме того, в протесте был «поставлен вопрос о прекращении дела в отношении других лиц, осужденных с Вами по делу (Мазурин Б. В., Тюрк Г. Г.,Толкач О. П. и др.)». В январе 1977 г. Д. Е. получил реабилитационную справку Верховного суда РСФСР. К этому моменту из осужденных в 1940 г. были живы, кроме Моргачева, лишь Мазурин и Д. И. Пащенко. Они также получили подобные справки. (Документы по реабилитации получены нами от А. Д. Моргачевой.) Воспоминания Д. Е., законченные им в конце 1973 г., печатаются по машинописной копии из собрания Б. Н. Равдина. Несколько небольших отрывков из воспоминаний были опуб-

ликованы в русской зарубежной периодике, в последний раз в альманахе «Минувшее», № 4 (Париж, 1987).

Иван Яковлевич Драгуновский родился в 1908 г. в деревне Драгуны Смоленской губернии. С детства находился под сильным влиянием отца, Якова Дементьевича Драгуновского, убежденного толстовца. К 1919—20 гг. относится и собственное знакомство И. Я. с произведениями Толстого. Важным фактором его духовного становления стал арест отца, и — перед этим — расстрел дяди за отказ от военной службы (1920 г.). И. Я. вспоминает: «Мой отказ от военной службы, от убийства братьев-людей начал зарождаться в моей душе еще в детские годы. Мой отец, его братья, дядя Семен, которого расстреляли, и другие отказавшиеся от дурного дела — военной службы казались мне смелее и выше всяких других героев на свете. Мне хотелось разделить их тюремную участь, хотелось чем-нибудь помочь, что я отчасти и делал, когда ездил к ним в лагеря с продуктовыми передачами. Мне хотелось быть таким же, как и они, делающими добро всем людям». К этому же времени относится знакомство И. Я.— вначале по переписке — с семьей Чертковых, которая принимала участие в судьбе арестованных крестьян. Вместе с отцом он переехал в 1924 г. в Ставропольский край, вступил в сельскохозяйственное товарищество «Свободный пахарь», созданное Яковом Дементьевичем, здесь закончил курсы трактористов и работал на полученном товариществом тракторе «Интернационал». В 1931 г. вместе со всей семьей И. Я. переезжает в Западную Сибирь, в коммуну «Жизнь и труд». В 1933 г., вслед за отцом, переходит в артель «Сеятель», выделившуюся из коммуны, вскоре уезжает оттуда в Кожевниково, куда были высланы «сталинградцы» (община «Всемирное братство»), в январе 1934 г. возвращается оттуда, но уже через несколько месяцев уезжает в Киргизию, куда стремились перебраться из Сибири многие толстовцы, однако, не сумев закрепиться там, вновь возвращается и продолжает работать в коммуне. В 1936 г. арестовали Драгуновского-отца, весной 1938 г.— сына. И. Я. был осужден на 10 лет лагерей, но через полтора года выпущен. Вернувшись домой (уже в колхоз), И. Я. закончил курсы шоферов и стал работать на колхозной «полуторке». В июле 1941 года после отказа от призыва в армию был арестован, судим и приговорен к 5-ти годам лагерей. В лагере на Урале И. Я. тяжело заболел; в 1943 г.— актирован. После этого работал счетоводом, шофером; в 1968 г. вышел на пенсию. В 1972 г. И. Я. с женой перебрались в Киргизию в село Беловодское, где и живут по сей день. Здесь И. Я., несмотря на сильную занятость (до 1980 г. он продолжал работать — теперь уже грузчиком), начал работу над биографией отца, которую ему удалось закончить в 1974 г. Кроме этого, он усиленно занимается философией, прежде всего, изучением Л. Н. Толстого, ведет (как и другие последователи Толстого) обширную переписку с единомышленниками. Воспоминания «Одна из моих жизней», отрывок из которых мы публикуем в настоящем сборнике, написаны в конце 1970-х гг. Они

завершаются следующим размышлением: «Недавно вот эту мою биографию взял почитать местный сельский учитель. От него она попала в руки «сильных мира сего». Меня вызвали и провели со мной длительную «беседу», во время которой сказали, чтобы я никому не давал читать мою автобиографию. Что же так обеспокоило сильных мира сего? Ведь я не собираюсь захватить у них власть. Я не собираюсь делать революцию, не занимаюсь никакой политикой. Я рассказываю только о своей жизни, о своем мирном мировоззрении, о поисках разумного смысла жизни. «Я сплю, мне сладко усыпленье». Если я сплю, то пусть же и другие спят и не просыпаются от одуряющего гипноза и заблуждения, хотя это и приносит им бедствия и страдания. Как бы ни противились властвующие люди пробуждению простого народа, оно непременно наступит — если не от размышления, то от страдания, которое заставит людей объединиться в любви и дружбе».

Яков Дементьевич Драгуновский (1886—1937) — единственный из авторов этой книги, не доживший до старости. После его гибели осталось огромное рукописное наследство — воспоминания, писавшиеся по горячим следам событий («Война», «Пытки на допросе», «Болезнь и смерть жены Марфы»), статьи, дневники, стихи, письма, обращения в государственные органы. Написанное и послужило непосредственным поводом к его аресту в 1936 г.: тогда он отправил в Москву два «Обращения», в которых, протестуя против арестов коммунаров, убеждал власти в совместимости толстовского идеала с коммунистическим. Он не прекратил писать и во время следствия — в заявлениях объяснял своим обвинителям, что не только нельзя судить людей за их взгляды, но и что сами понятия — суд, тюрьма — «противоречат нашему разуму, нашему высшему сознанию». И уже получив 5-летний срок, в первом же лагерном письме он просил прислать ему то, без чего не мыслил своей жизни — «четыре общих тетрадки, карандашей, ручку, перьев». Обстоятельства гибели Я. Д. мы доподлинно не знаем — по слухам, причиной последнего лагерного «дела» и приговора к расстрелу были все те же «агитация и пропаганда». Объем личности Я. Д., человека страстного, постоянно ищущего и, вдобавок, в своем максимализме трудно уживающегося с окружающими, стал ясен его единомышленникам лишь после того, как И. Я. Драгуновский составил биографию покойного отца. Последний председатель коммуны «Жизнь и труд» П. И. Литвинов писал Ивану Яковлевичу: после ее прочтения: «Это что-то потрясающее. До чего только мог подняться Ваш папа! О нем надо всем говорить и ставить в пример христианскую мученическую жизнь. Вот он какой был, Яков Дементьевич! А я о нем почти ничего не знал» (январь 1975 г.). Близкий к этому отзыв находим и в письме Б. В. Мазурина, осмысляющего былые разногласия с Я. Д., в частности, его уход из коммуны: «Я прочитал — впечатление страшное. И радостно, и жалко, и досадно. Радостно за силу, стремление к правде, непреклонность на пути к разумному. Жалко до слез за те

страдания, которых там много выпало на его долю. И досадно, что я не сумел в свое время поближе сойтись с Яковом Дементьевичем, поговорить откровенно, по-дружески, и тогда многое, может быть, получилось бы иначе» (1975 г.). Сам И. Я. характеризует своего отца следующим образом: «Необходимо, чтобы каждый, прочитавший историю его жизни, мог понять, как человек страданиями, усилием своей воли и разумным мышлением с помощью великих религиозных философов и мыслителей человечества мог внутренней душевной революцией изменить свою жизнь в лучшую, разумную сторону, а затем помогать и другим людям освобождаться от ненужных страданий и заблуждений, от которых он сам освободился под конец своей земной жизни. Чем бы он ни увлекался, что бы он ни делал, он все делал с убеждением, с искренностью, веря в то, что делал. Он был гордый, в высшей степени честный, не терпел двусмысленности и компромиссов, а в вопросах нравственности не знал никаких колебаний и был таким, каким он есть на той ступени своего духовного совершенствования».

Из документов Я. Д. Драгуновского, включенных его сыном в свой труд, мы отобрали для настоящего сборника лишь часть (менее половины). За пределами нашей публикации остались, например, тексты чисто философского характера, посвященные, в основном, объяснению «духовно-монистического мировоззрения» (философская доктрина П. П. Николаева, развивающая учение Толстого в сторону абсолютного идеализма), которым увлекся Я. Д. в последние годы. Подлинники писем Я. Д. Драгуновского 1936—37 гг. из тюрьмы и лагеря переданы И. Я. Драгуновским в архив «Мемориала».

Михаил Иванович Горбунов-Посадов родился в 1908 г. В 1930 г. закончил математический факультет МГУ. Всю жизнь работал в области расчетов конструкций на упругом основании и устойчивости фундаментов. В 1947 г. защитил докторскую диссертацию, в 1957 избран действительным членом Академии строительства и архитектуры СССР, в 1987 г. удостоен Государственной премии СССР. Автор неопубликованных воспоминаний и (вместе с матерью Е. Е. Горбуновой) книги об издательстве «Посредник».

СОДЕРЖАНИЕ

М. И. Горбунов-Посадов. Вместо предисловия 3

В. В. Янов. Краткие воспоминания о пережитом 5

Е. Ф. Шершенева. Новоиерусалимская коммуна имени Л. Н. Толстого 69

Б. В. Мазурин. Рассказ и раздумья об истории одной толстовской коммуны «Жизнь и труд» 93

Б. В. Мазурин. Один год из десяти подобных. (Письмо Дмитрию Моргачеву, другу по несчастью) 207

Д. Е. Моргачев. Моя жизнь 233

И. Я. Драгуновский. Из книги «Одна из моих жизней» 309

Из бумаг Якова Дементьевича Драгуновского 325

Фотоматериалы

Приложение

М. И. Горбунов-Посадов. Три коммуны. (Отрывки из воспоминаний) 438

Беседа группы единомышленников Льва Николаевича Толстого в составе В. Янова, П. И. Фролова, Д. И. Гришина, В. И. Фролова с антирелигиозником Ф. М. Путинцевым 8 февраля 1925 года в Песочне, Бежицкого уезда, Брянской губернии 446

Устав коммуны «Жизнь и труд». 1931 год 449

Примечания 459

Составитель
Арсений Борисович Рогинский

ВОСПОМИНАНИЯ КРЕСТЬЯН-ТОЛСТОВЦЕВ

Разработка серийного оформления
А. Т. Троянкер, Г. М. Грозная, Е. А. Родионова

Художественный редактор Н. Р. Синева
Технический редактор А. З. Коган
Корректор Н. И. Скворцова

ИБ № 1910
Сдано в набор 04.01.89. Подписано к печати 04.05.89. А01565. Формат 84×108/32. Бум. тип. № 2. Гарнитура Тип. Таймс. Печать высокая. Усл. печ. л. 25,2+1,68+0,11. Усл. кр.-отт. 26,99. Уч.-изд. л. 27,07+2,28+0,10. Тираж 75 000 экз. Изд. № 4804. Заказ 9-165. Цена 2 р. 20 к.

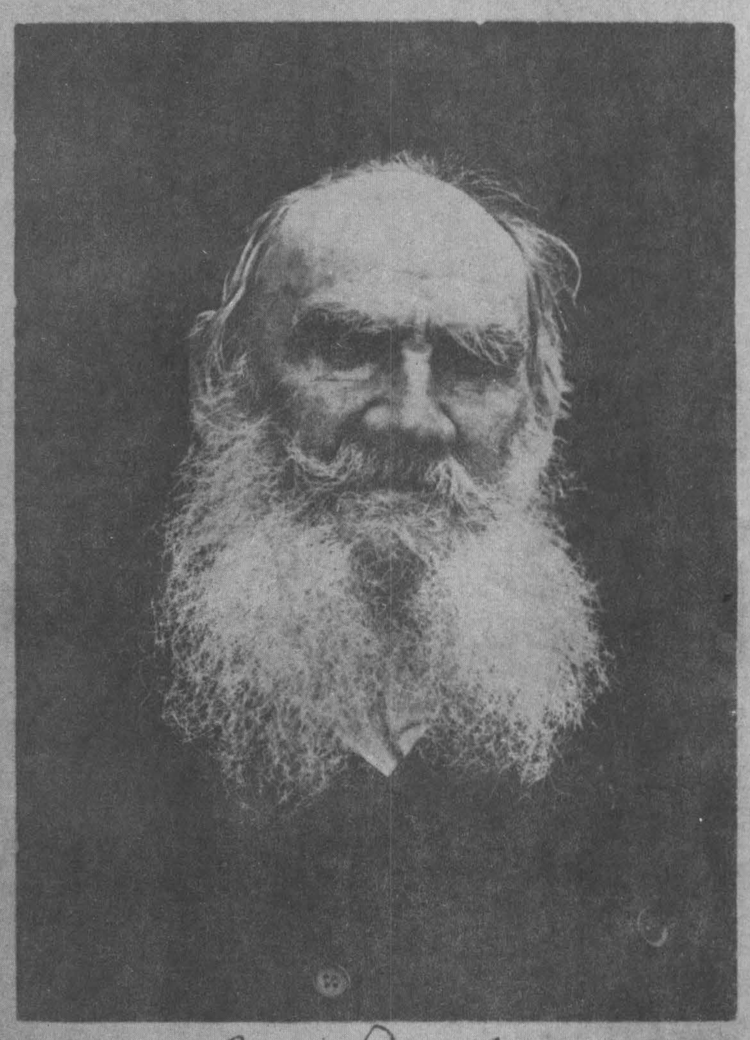
Издательство «Книга». 125047, Москва, ул. Горького, 50. Головное предприятие республиканского производственного объединения «Полиграфкнига». 252057, Киев-57, ул. Довженко, 3.

Воспоминания крестьян-толстовцев. 1910—1930-е
В77 годы. Сост. А. Б. Рогинский. М.: Книга, 1989. Илл.— 480 с.
ISBN 5-212-00299-0

В книге публикуются воспоминания крестьян-толстовцев, которые строили свою жизнь по духовным заветам великого русского писателя. Ярким, самобытным языком рассказывают они о создании толстовских коммун, их жизни и трагической гибели. Авторы этой книги — В. В. Янов, Е. Ф. Шершенева, Б. В. Мазурин, Д. Е. Моргачев, Я. Д. и И. Я. Драгуновские — являют собой пример народной стойкости, мужества в борьбе за духовные ценности, за право жить по совести, которое они считают главным в человеческой жизни. Судьба их трагична и высока. Главный смысл этой книги — в ее мощном духовном потенциале, в постановке нравственных, морально-этических проблем. Вместе с тем в ней найдут бесценный фактический материал историки сельского хозяйства и кооперации, историки права, филологи.
В книге помещены фотографии из семейных архивов коммунаров.
Для широкого круга читателей.

Д $\frac{4702010000-067}{002(01)-89}$ Без объявл.

ББК 84Р



Милию Гарбусову,
другъ его отца, Левъ Толст
17 окт. 1918.

1. Л. Н. Толстой. 1910 г.

2. Совет коммуны «Жизнь и труд» 1931 г. Нижний ряд слева направо: Бормотов В. И., Любимов Н. А., Кузнецов И. Я. Средний ряд: Чекменев А. И., Колесник А., Блинов С. А., Мазурин Б. В., Малород А. С. Верхний ряд: Кувшинов П. П., Иванов Е. Е., Красковский К. Е., Моргачев Д. Е.

3. В. Г. Чертков и И. И. Горбунов-Посадов среди друзей и учеников — последователей Л. Н. Толстого. Середина 1920-х гг.



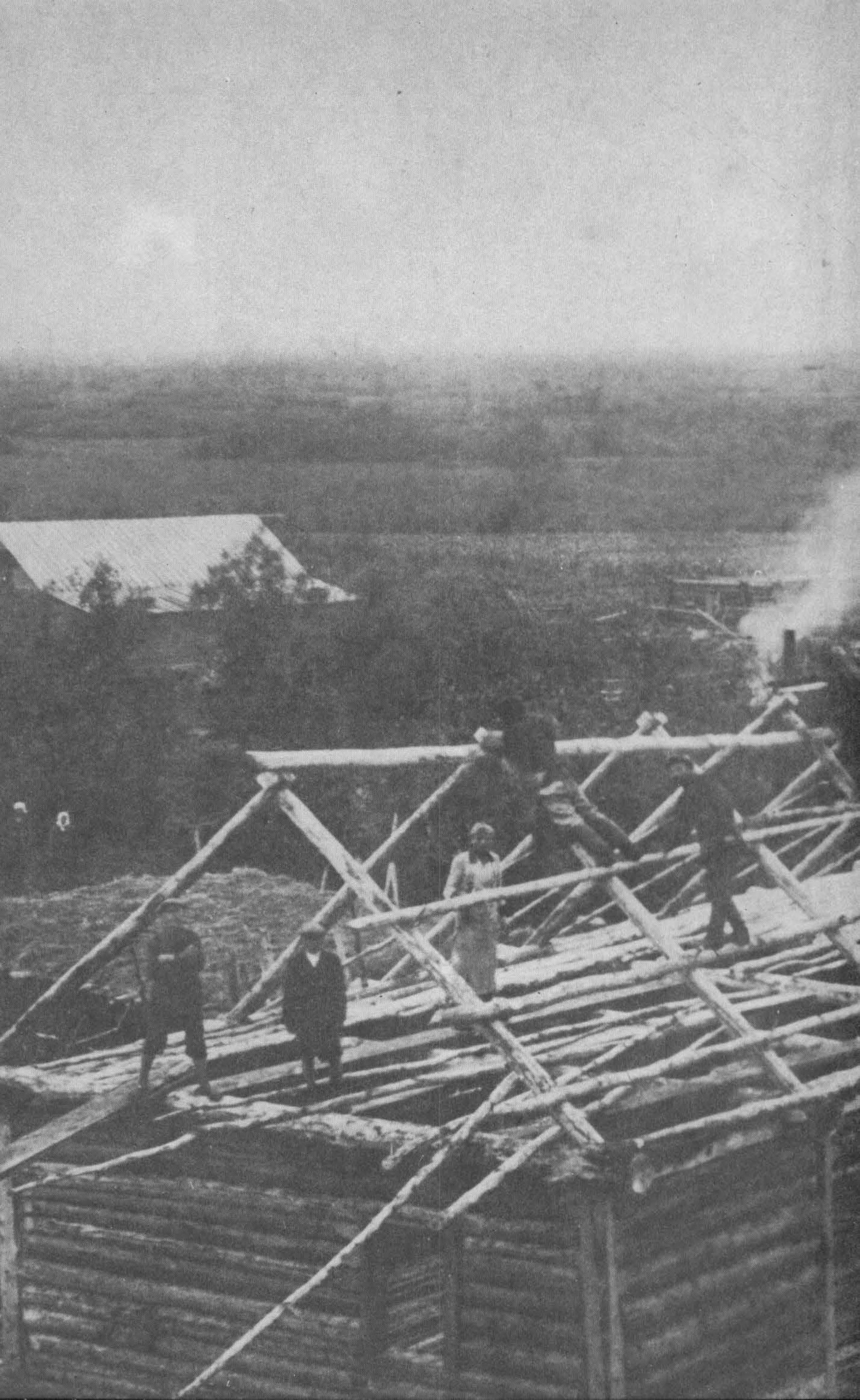
4.



5.

6.

4. В. Г. Чертков, П. И. Бирюков, И. И. Горбунов-Посадов.
5. В. Г. Чертков и его помощник В. В. Шершенев. 1934 г.
6. Воскресное собрание в коммуне «Жизнь и труд». 1933 г.
7. Еще один дом строится. Коммуна «Жизнь и труд». 1932 г. →





8.

9.

8. И. Свинобурко (Рутковский) с семьей. Нач. 1930-х гг.
9. И. Лукьянцев в долине Радости убирает картошку. 1933 г.

10.

11.

10. Ф. Карпов на пасеке коммуны «Жизнь и труд». 1933 г.
11. А. Алексеев, М. Крутов, В. Кирин строят дом. 1932 г.



12.



12. Новоиерусалимская коммуна им. Л. Н. Толстого. В центре Е. И. Попов. 1927 г.

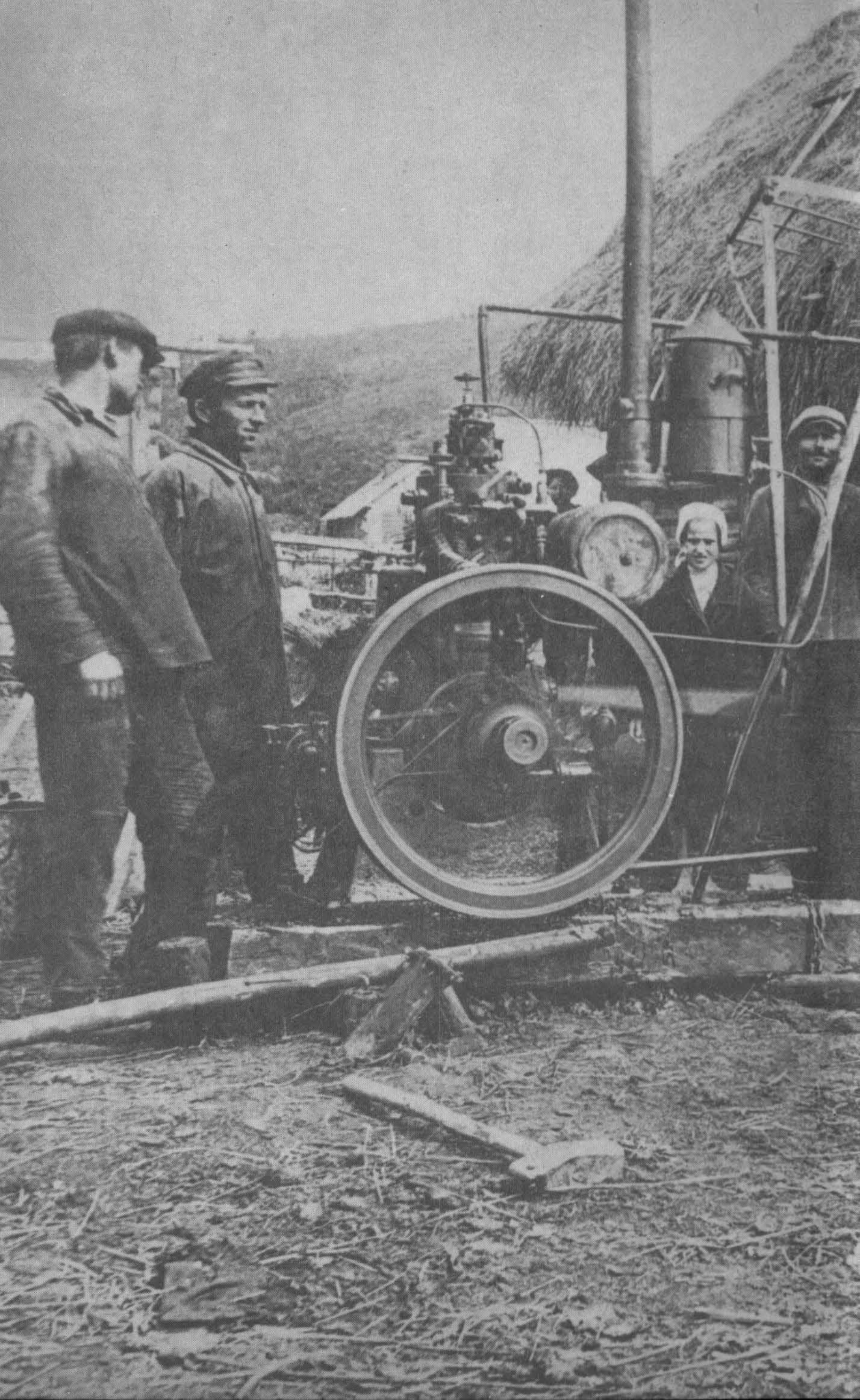


13. Солдаты 1914-го года. В центре — Я. Д. Драгуновский.

14.

15.

14. Иван Драгуновский с женой Фросей и сестрой Любой. 1934 г.
15. Иван Драгуновский с женой, сестрой и сыном Аликом. 1937 г.
16. Коммунары на сельскохозяйственных работах. Сер. 1930-х гг. →







17.

Брату — по духу,
Другу — по жизни,
Товарищу — по Свободной
Коммуне годам неволи,
Борису Мазурину.
На добрую память.
Дмитрий Моргачев.
снята в ноябре 1971 года
в начале восмидесятого
года в моей жизни.
19.1.1972 г.
Киргизия Пржевальск.

18.

19.

17. Б. В. Мазурин — председатель совета коммуны «Жизнь и труд». Западная Сибирь. 1931 г.
18. Дарственная надпись Д. Е. Моргачева на обороте фотографии Б. В. Мазурину. 1972 г.
19. Б. В. Мазурин с семьей. 1934 г.



20. Д. Е. Моргачев с семьей. 1951 г.



21. Молодежь коммуны «Жизнь и труд». 1932 г.



22.

23.

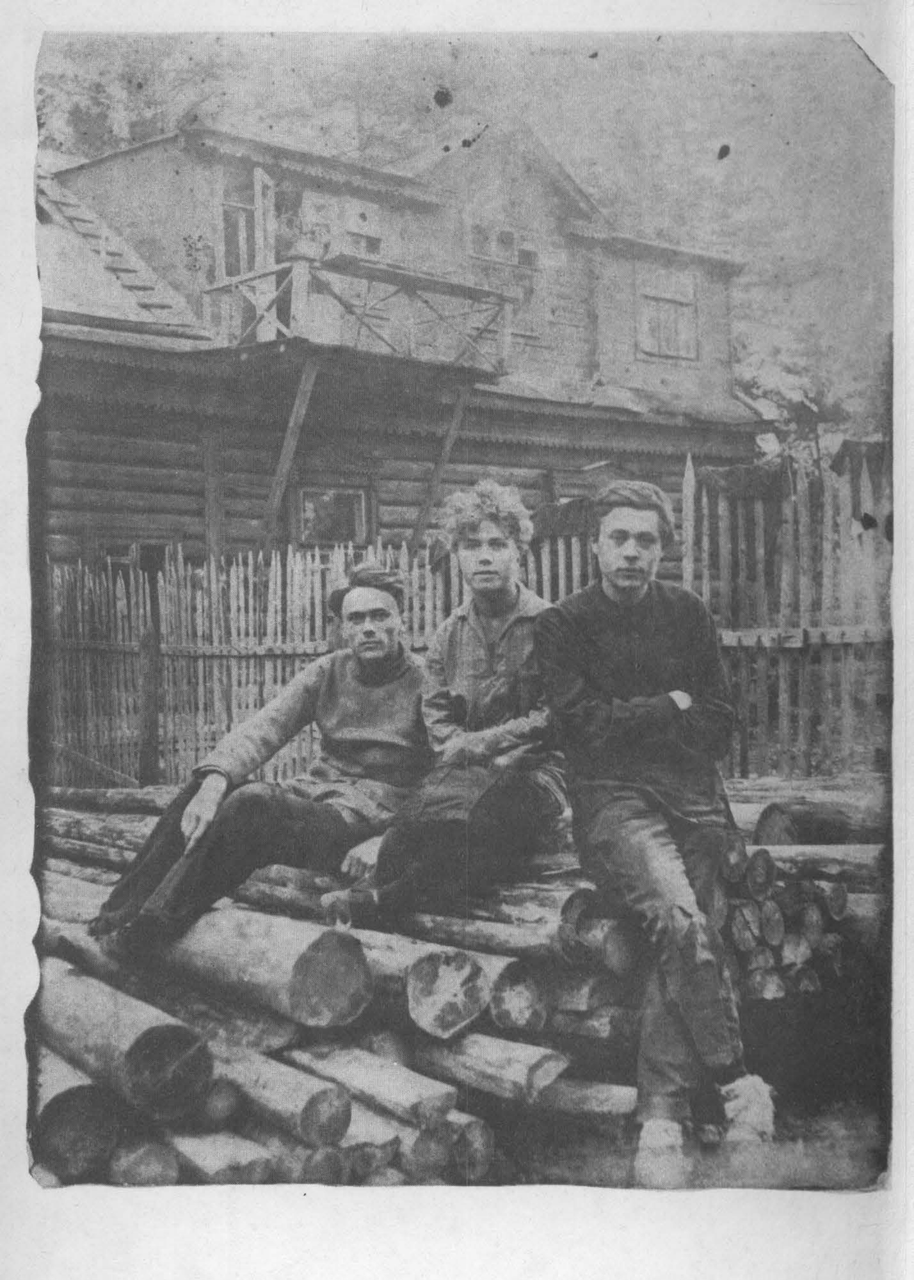
22. Новоиерусалимская коммуна. Рядом с К. С. Шохор-Троцким стоит Е. Ф. Шершенева. К ним направляется О. И. Горбунова-Посадова. 1925 г.
23. Е. Ф. и В. В. Шершеневы с детьми. Москва. 1934 г.



24. П. В. Шершенев в Новоиерусалимской коммуне. Сер. 1920-х гг.
25. На сенокосе. 1930-е гг. →







26. Густав, Софья и Гюнтер Тюрки — будущие учителя коммуны «Жизнь и труд». Подмосковье. 1930 г.

27.

28.

27. Густав Тюрк с ученицами Зиной и Олей. 1934 г.
28. В классе коммунарской школы. Учительница Е. Савельева. 1934 г.



29. Дети коммуны с учительницей А. А. Горяиновой. Сер. 1930-х гг.





30.



31.



32.

Про Федины сапоги [illegible]
Раз пасли мы коров с Федей
Батрухой. Погнали мы [illegible]
холодно. Мы оделись потеплее, [illegible]
когда солнце взошло - стало очень
жарко и мы разделись. Федя [illegible]
свои сапоги, а я пиджак. Таскать б[illegible]
очень неловко потому что приходилось
часто бегать за коровами.
Вот мы взяли да и положили свою
одежду на одну смирную
корову и погнали домой.
По дороге они ушли на [illegible]
и когда [illegible], то разбрелись
все по кустам потому что было
очень много оводов, которые их
сильно кусали.
Но вот коровы вышли из кустов
и мы сначала [illegible]
него не заметили, а потом
увидели что на корове ничего
не было. Тогда мы бросились [illegible]
искать. Долго искали, но ни[illegible]
не нашли. Так и пропали
Федины сапоги и мой пиджак

33.

30. Витя Бормотов.
31. Алеша Иванов.
32. Лева Колесник.
33. Рассказ Зины Шиловой «Про Федины сапоги и мой пиджак» из школьного стен-журнала. 1934 г.



34. Лиля, Оля и Клава. 1935 г.
35. Проводы М. И. Горбунова-Посадова из коммуны «Жизнь и труд». Лето 1934 г. →





Стен-журнал

Январь 1934 года.

Ученье свет

а неученье тьма!

36.



37.



38.

36. Стен-журнал школы коммуны «Жизнь и труд». Январь 1934 г.
37. Страница стен-журнала школы коммуны «Жизнь и труд». 1934 г.
38. Один из детских рисунков, подаренных учителю Густаву Тюрку. 1935 г.

39.

40.

39. В доме А. С. и П. Л. Малород. 1933 г.
40. Дети коммуны «Жизнь и труд». Сер. 1930-х гг.

41. Дети Д. Е. Моргачева после его ареста. Старший сын Тимофей. 1936 г.
42. Струнный оркестр коммунарской молодежи. Сер. 1930-х гг.

2 р. 20 к.